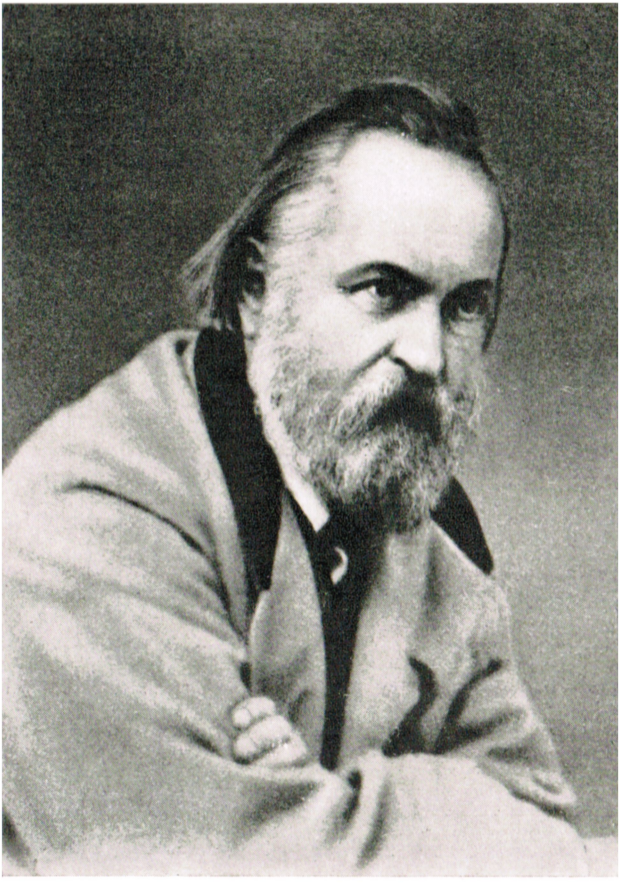
ГЕРЦЕН

СОЧИНЕНИЯ



ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ
ТОМ 96

Александр Иванович ГЕРЦЕН

СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ 2

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МЫСЛЬ»
МОСКВА — 1986

ББК 87.3(2)
Г 41

РЕДАКЦИИ
ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Редколлегия серии:

акад. *М. Б. МИТИН* (председатель), д-р филос. наук *В. В. СОКОЛОВ* (зам. председателя), канд. филос. наук *Н. А. КОРМИН* (ученый секретарь), д-р филос. наук *В. В. БОГАТОВ*, д-р филос. наук *А. И. ВОЛОДИН*, д-р филос. наук *А. В. ГУЛЫГА*, чл.-кор. АН СССР *Д. А. КЕРИМОВ*, д-р филос. наук *Г. Г. МАЙОРОВ*, д-р филос. наук *Х. Н. МОМДЖЯН*, д-р филос. наук *И. С. НАРСКИЙ*, д-р юрид. наук *В. С. НЕРСЕСЯНЦ*, д-р филос. наук *М. Ф. ОВСЯННИКОВ*, акад. *Т. И. ОЙЗЕРМАН*, д-р филос. наук *В. Ф. ПУСТАРНАКОВ*, д-р филос. наук *И. Д. РОЖАНСКИЙ*, д-р филос. наук *М. Т. СТЕПАНЯНЦ*, д-р филос. наук *А. Л. СУББОТИН*, чл.-кор. АН УзССР *М. М. ХАЙРУЛЛАЕВ*

Общая редакция
А. И. ВОЛОДИНА, З. В. СМИРНОВОЙ

Составитель тома и автор примечаний
З. В. СМИРНОВА

Г $\frac{0302010000\text{-}028}{004(01)\text{-}86}$ Подписное

© Издательство «Мысль». 1986

С ТОГО БЕРЕГА

СЫНУ МОЕМУ АЛЕКСАНДРУ

Друг мой Саша,

Я посвящаю тебе эту книгу, потому что я ничего не писал лучшего и, вероятно, ничего лучшего не напишу; потому что я люблю эту книгу как памятник борьбы, в которой я пожертвовал многим, но не отвагой знания; потому, наконец, что я нисколько не боюсь дать в твои отроческие руки этот, местами дерзкий, протест независимой личности против воззрения устарелого, рабского и полного лжи, против нелепых идолов, принадлежащих иному времени и бессмысленно доживающих свой век между нами, мешая одним, пугая других.

Я не хочу тебя обманывать, знай истину, как я ее знаю; тебе эта истина пусть достанется не мучительными ошибками, не мертвящими разочарованиями, а просто по праву наследства.

В твоей жизни придут иные вопросы, иные столкновения... в страданиях, в труде недостатка не будет. Тебе 15 лет — и ты уже испытал страшные удары.

Не ищи решений в этой книге — их нет в ней, их вообще нет у современного человека. То, что решено, то кончено, а грядущий переворот только что начинается.

Мы не строим, мы ломаем, мы не возвещаем нового откровения, а устраняем старую ложь. Современный человек, печальный pontifex maximus [1], ставит только мост — иной, неизвестный, будущий пройдет по нем. Ты, может, увидишь его... Не останься на *старом берегу*... Лучше с ним погибнуть, нежели спастись в богадельне реакции [2].

Религия грядущего общественного пересоздания [3] — одна религия, которую я завещаю тебе. Она без рая, без вознаграждения, кроме собственного сознания, кроме совести... Иди в свое время проповедовать ее к нам *домой*; там любили когда-то мой язык и, может, вспомнят меня.

...Благословляю тебя на этот путь во имя человеческого разума, личной свободы и братской любви!

Твой отец

Твикнем, 1 января 1855 г.

[ВВЕДЕНИЕ]

«Vom andern Ufer» [1] — первая книга, изданная мною на Западе; ряд статей, составляющих ее, был написан по-русски в 1848 и 49 году. Я их сам продиктовал молодому литератору Ф. Каппу по-немецки.

Теперь многое не ново в ней *. Пять страшных лет научили кой-чему самых упорных людей, самых нераскаянных грешников *нашего* берега. В начале 1850 г. книга моя сделала много шума в Германии; ее хвалили и бранили с ожесточением, и рядом с отзывами, больше нежели лестными, таких людей, как Юлиус Фрёбель, Якоби, Фальмерейер,— люди талантливые и добросовестные с негодованием нападали на нее.

Меня обвиняли в проповедовании отчаяния, в незнании народа, в dépit amoureux [2] против революции, в *неуважении* к демократии, к массам, к Европе...

Второе декабря ответило им громче меня [3].

В 1852 г. я встретился в Лондоне с самым остроумным противником моим, с Зольгером; — он укладывался, чтоб скорее ехать в Америку; в Европе, казалось ему, *делать* нечего. «Обстоятельства,— заметил я,— кажется, убедили вас, что я был не вовсе неправ?» — «Мне не нужно было столько,— отвечал Зольгер, добродушно смеясь,— чтоб догадаться, что я тогда писал большой вздор» [4].

Несмотря на это милое сознание, общий вывод суждений, оставшееся впечатление были скорее против меня. Не выражает ли это чувство раздражительности — близость опасности, страх перед будущим, желание скрыть свою слабость, капризное, окаменелое старчество?

...Странная судьба русских — видеть дальше соседей, видеть мрачнее и смело высказывать свое мнение,— русских, этих «немых», как говорил Мишле [5].

Вот что писал гораздо прежде меня один из наших соотечественников:

«Кто более нашего славил преимущество XVIII века, свет философии, смягчение нравов, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость правлений?.. хотя и являлись

---

* Я прибавил три статьи, напечатанные в журналах и назначенные для *второго* издания, которое немецкая цензура не позволила; эти три статьи: «Эпилог», «Omnia mea mecum porto» и «Донозо Кортес». Ими заменил я небольшую статью об России, писанную для иностранцев.

еще некоторые черные облака на горизонте человечества, но светлый луч надежды златил уже края оных... Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует соединение теории с практикой, умозрения с деятельностью... Где теперь эта утешительная система? Она разрушилась в своем основании; XVIII век кончается, и несчастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтоб лечь в нее с обманутым, растерзанным сердцем своим и закрыть глаза навеки.

Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плод наук и мудрости? Век просвещения, я не узнаю тебя; в крови и пламени, среди убийств и разрушений, я не узнаю тебя.

Мизософы торжествуют. «Вот плоды вашего просвещения,— говорят они,— вот плоды ваших наук; да погибнет философия!» — И бедный, лишенный отечества, и бедный, лишенный крова, отца, сына или друга, повторяет: да погибнет!

Кровопролитие не может быть вечно. Я уверен, рука, секущая мечом, утомится; сера и селитра истощатся в недрах земли, и громы умолкнут, тишина рано или поздно настанет, но какова будет она? — естьли мертвая, хладная, мрачная...

Падение наук кажется мне не только возможным, но даже неминуемым, даже близким. Когда же падут они, когда их великолепное здание разрушится, благодетельные лампады угаснут — что будет? Я ужасаюсь и чувствую трепет в сердце. Положим, что некоторые искры и спасутся под пеплом; положим, что некоторые люди и найдут их и осветят ими тихие уединенные свои хижины,— но что же будет с миром?

Я закрываю лицо свое!

Ужели род человеческий доходил в наше время до крайней степени возможного просвещения и должен снова погрузиться в варварство и снова мало-помалу выходить из оного, подобно Сизифову камню, который, будучи вознесен на верх горы, собственной тяжестью скатывается вниз и опять рукою вечного труженика на гору возносится? — Печальный образ!

Теперь мне кажется, будто самые летописи доказывают вероятность сего мнения. Нам едва известны имена древних азиатских народов и царств, но по некоторым историческим отрывкам можно ду́мать, что сии народы были не варвары... Царства разрушались, народы исчезали, из праха их рождались новые племена, рождались в сумраке,

в мерцании, младенчествовали, учились и славились. Может быть, Эоны погрузились в вечность, и несколько раз сиял день в умах людей, и несколько раз ночь темнила души, прежде нежели воссиял Египет.

Египетское просвещение соединяется с греческим. Римляне учились в сей великой школе.

Что же последовало за сею блестящею эпохой? Варварство многих веков.

Медленно редела, медленно прояснялась густая тьма. Наконец солнце воссияло, добрые и легковерные человеколюбцы заключали от успехов к успехам, видели близкую цель совершенства и в радостном упоении восклицали: *берег!* но вдруг небо дымится и судьба человечества скрывается в грозных тучах! О потомство! Какая участь ожидает тебя?

Иногда несносная грусть теснит мое сердце, иногда упадаю на колена и простираю руки свои к невидимому... Нет ответа! — голова моя клонится к сердцу.

Вечное движение в одном кругу, вечное повторение, вечная смена дня с ночью и ночи с днем, капля радостных и море горестных слез. Мой друг! на что жить мне, тебе и всем? На что жили предки наши? На что будет жить потомство?

Дух мой уныл, слаб и печален!» [6]

Эти выстраданные строки, огненные и полные слез, были писаны в конце девяностых годов — *Н. М. Карамзиным.*

Введением к русской рукописи были несколько слов, обращенных к друзьям на Руси. Я не счел нужным повторять их в немецком издании — вот они:

ПРОЩАЙТЕ!

(Париж. 1 марта 1849)

Наша разлука продолжится еще долго — может, всегда. Теперь я не хочу возвратиться, потом не знаю, будет ли это возможно. Вы ждали меня, ждете теперь, надобно же объяснить, в чем дело. Если я кому-нибудь повинен отчетом в моем отсутствии, в моих действиях, то это, конечно, вам, мои друзья.

Непреодолимое отвращение и сильный внутренний голос, что-то пророчащий, не позволяют мне переступить границу России, особенно теперь, когда самодержавие, озлобленное и испуганное всем, что делается в Европе,

душит с удвоенным ожесточением всякое умственное движение и грубо отрезывает от освобождающегося человечества шестьдесят миллионов человек, загораживая последний свет, скудно падавший на малое число из них, своей черною, железною рукой, на которой запеклась польская кровь. Нет, друзья мои, я не могу переступить рубеж этого царства мглы, произвола, молчаливого замиранья, гибели без вести, мучений с платком во рту. Я подожду до тех пор, пока усталая власть, ослабленная безуспешными усилиями и возбужденным противудействием, не признает *чего-нибудь* достойным уважения в русском человеке!

Пожалуйста, не ошибитесь; не радость, не рассеяние, не отдых, ни даже личную безопасность нашел я здесь; да и не знаю, кто может находить теперь в Европе радость и отдых,— отдых во время землетрясения, радость во время отчаянной борьбы.— Вы видели грусть в каждой строке моих писем; жизнь здесь очень тяжела, ядовитая злоба примешивается к любви, желчь — к слезе, лихорадочное беспокойство точит весь организм. Время прежних обманов, упований миновало. Я ни во что не верю здесь, кроме в кучку людей, в небольшое число мыслей да в невозможность остановить движение; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего, ни ее вершинное образование, ни ее учреждения... я ничего не люблю в этом мире, кроме того, что он преследует, ничего не уважаю, кроме того, что он казнит,— и остаюсь... остаюсь страдать вдвойне, страдать от своего горя и от его горя, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому он несется на всех парах.

Зачем же я остаюсь?

Остаюсь затем, что борьба *здесь*, что, несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но *гласны*, борьба открытая, никто не прячется. Горе побежденным, но они не побеждены прежде боя, не лишены языка прежде, чем вымолвили слово; велико насилие, но протест громок; бойцы часто идут на галеры, скованные по рукам и ногам, но с поднятой головой, с свободной речью. Где не погибло слово, там и дело еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь; за нее я отдаю все, я вас отдаю за нее, часть своего достояния, а может, отдам и жизнь в рядах энергического меньшинства, «гонимых, но не низлагаемых».

За эту речь я переломил или, лучше сказать, заглушил на время мою кровную связь с народом, в котором находил так много отзывов на светлые и темные стороны моей души,

которого песнь и язык — моя песнь и мой язык, и остаюсь с народом, в жизни которого я глубоко сочувствую одному горькому плачу пролетария и отчаянному мужеству его друзей.

Дорого мне стоило решиться... вы знаете меня... и поверите. Я заглушил внутреннюю боль, я перестрадал борьбу и решился не как негодующий юноша, а как человек, обдумавший, что делает, сколько теряет... Месяцы целые взвешивал я, колебался и, наконец, принес все на жертву:

Человеческому достоинству,
Свободной речи.

До последствий мне нет дела, они не в моей власти, они скорее во власти своевольного каприза, который забылся до того, что очертил произвольным циркулем не только наши слова, но и наши шаги. В моей власти было не послушаться — я и не послушался.

Повиноваться противно своему убеждению, когда есть возможность не повиноваться,— безнравственно. Страдательная покорность становится почти невозможной. Я присутствовал при двух переворотах, я слишком жил свободным человеком, чтоб снова позволить сковать себя; я испытал народные волнения, я привык к свободной речи и не могу сделаться вновь крепостным, ни даже для того, чтоб страдать с вами. Если б еще надо было умерить себя для общего дела, может, силы нашлись бы; но где на сию минуту наше общее дело? У вас дома нет почвы, на которой может стоять свободный человек. Можете ли вы после этого звать?.. На борьбу — идем; на глухое мученичество, на бесплодное молчание, на повиновение — ни под каким видом. Требуйте от меня всего, но не требуйте двоедушия, не заставляйте меня снова представлять верноподданного, уважьте во мне свободу человека.

Свобода лица — величайшее дело; на ней и *только на ней* может вырасти действительная воля народа. В себе самом человек должен уважать свою свободу и чтить ее не менее как в ближнем, как в целом народе. Если вы в этом убеждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здесь — мое право, мой долг; это единственный протест, который может у нас сделать личность, эту жертву она должна принести своему человеческому достоинству. Ежели вы назовете мое удаление бегством и извините меня только вашей любовью, это будет значить, что *вы* еще не совершенно свободны.

Я все знаю, что можно возразить с точки зрения романтического патриотизма и цивической натянутости; но

я не могу допустить этих староверческих воззрений; я их пережил, я вышел из них и именно против них борюсь. Эти подогретые остатки римских и христианских воспоминаний мешают больше всего водворению истинных понятий о свободе,— понятий здоровых, ясных, возмужалых. По счастию, в Европе нравы и долгое развитие восполняют долею нелепые теории и нелепые законы. Люди, живущие здесь, живут на почве, удобренной двумя цивилизациями; путь, пройденный их предками в продолжение двух с половиною тысячелетий, не был напрасен, много человеческого выработалось независимо от внешнего устройства и официального порядка.

В самые худшие времена европейской истории мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание независимости — некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на всю гнусность тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение, Лессинга не секли или не отдали в солдаты. В этом уважении не к одной материальной, но и к нравственной силе, в этом невольном признании личности — один из великих человеческих принципов европейской жизни.

В Европе никогда не считали преступником живущего за границей и изменником переселяющегося в Америку.

У нас нет ничего подобного. У нас лицо всегда было подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность — за крамолу; человек пропадал в государстве, распускался в общине. Переворот Петра I заменил устарелое, помещичье управление Русью — европейским канцелярским порядком; все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из муниципально-свободной Голландии в страну общинно-самодержавную, все было перенесено; но неписаное, нравственно обуздывавшее власть, инстинктуальное признание прав лица, прав мысли, истины не могло перейти и не перешло. Рабство у нас увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо. Европейские формы администрации и суда, военного и гражданского устройства развились у нас в какой-то чудовищный, безвыходный деспотизм.

Если б Россия не была так пространна, если б чужеземное устройство власти не было так смутно устроено и так беспорядочно выполнено, то без преувеличения можно сказать, что в России нельзя бы было жить ни одному человеку, понимающему сколько-нибудь свое достоинство.

Избалованность власти, не встречавшей никакого противудействия, доходила несколько раз до необузданности, не имеющей ничего себе подобного ни в какой истории. Вы знаете меру ее из рассказов о поэте своего ремесла, императоре Павле. Отнимите капризное, фантастическое у Павла, и вы увидите, что он вовсе не оригинален, что принцип, вдохновлявший его, один и тот же не токмо во всех царствованиях, но в каждом губернаторе, в каждом квартальном, в каждом помещике. Опьянение самовластья овладевает всеми степенями знаменитой иерархии в четырнадцать ступеней. Во всех действиях власти, во всех отношениях высших к низшим проглядывает нахальное бесстыдство, наглое хвастовство своей безответственностью, оскорбительное сознание, что лицо все вынесет: тройной набор, закон о заграничных видах, исправительные розги в инженерном институте. Так, как Малороссия вынесла крепостное состояние в XVIII веке; так, как вся Русь, наконец, поверила, что людей можно продавать и перепродавать, и никогда никто не спросил, на каком законном основании все это делается,— ни даже те, которых продавали. Власть у нас увереннее в себе, свободнее, нежели в Турции, нежели в Персии, ее ничего не останавливает, никакое прошедшее; от своего она отказалась, до европейского ей дела нет; народность она не уважает, общечеловеческой образованности не знает, с настоящим — она борется. Прежде, по крайней мере, правительство стыдилось соседей, училось у них, теперь оно считает себя призванным служить примером для всех притеснителей; теперь оно поучает.

Мы с вами видели самое страшное развитие императорства. Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции, в ее когтях; мы изуродовались под безнадежным гнетом и уцелели кой-как. Но не мало ли этого? не пора ли развязать себе руки и слово для действия, для примера, не пора ли разбудить дремлющее сознание народа? А разве можно будить, говоря шепотом, дальними намеками, когда крик и прямое слово едва слышны? Открытые, откровенные действия необходимы; 14-е декабря так сильно потрясло всю молодую Русь оттого, что оно было на Исаакиевской площади. Теперь не токмо площадь, но книга, кафедра — все стало невозможно в России. Остается личный труд в тиши или личный протест издали.

Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переезжая через границу, снова надеть колодки, но для того, чтоб работать. Жить сложа руки можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме *нашего* дела.

Кто больше двадцати лет проносил в груди своей одну

мысль, кто страдал за нее и жил ею, скитался по тюрьмам и ссылкам, кто ею приобрел лучшие минуты жизни, самые светлые встречи, тот ее не оставит, тот ее не приведет в зависимость внешней необходимости и географическому градусу широты и долготы. Совсем напротив, я здесь полезнее, я здесь бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель.

Все это кажется новым и странным только нам, в сущности, тут ничего нет беспримерного. Во всех странах, при начале переворота, когда мысль еще слаба, а материальная власть необузданна, люди преданные и деятельные отъезжали, их свободная речь раздавалась издали, и самое это *издали* придавало словам их силу и власть, потому что за словами виднелись действия, жертвы. Мощь их речей росла с расстоянием, как сила вержения растет в камне, пущенном с высокой башни. Эмиграция — первый признак приближающегося переворота.

Для русских за границей есть еще другое дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего; для этого знакомства обстоятельства превосходны, ей теперь как-то не идет гордиться и величаво завертываться в мантию пренебрегающего незнания; Европе не к лицу das vornehme Ignorieren [7] России с тех пор, как она испытала мещанское самодержавие и алжирских казаков, с тех пор, как от Дуная до Атлантического океана она побывала в осадном положении, с тех пор, как тюрьмы, галеры полны гонимых за убеждения... Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бое, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития; об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться — ответил через сто лет громадным явлением Пушкина. Пусть узнают европейцы своего соседа; они его только боятся, надобно им знать, чего они боятся.

До сих пор мы были непростительно скромны и, сознавая свое тяжкое положение бесправия, забывали все хорошее, полное надежд и развития, что представляет наша

народная жизнь. Мы дождались немца для того, чтоб рекомендоваться Европе [8].— Не стыдно ли?

Успею ли я что сделать?.. Не знаю,— надеюсь!

Итак, прощайте, друзья, надолго... давайте ваши руки, вашу помощь, мне нужно и то и другое. А там кто знает, чего мы не видали в последнее время! Быть может, и *не так далек,* как кажется, тот день, в который мы соберемся, как бывало, в Москве и безбоязненно сдвинем наши чаши при крике: «*За Русь и святую волю!*»

Сердце отказывается верить, что этот день не придет, замирает при мысли вечной разлуки. Будто я не увижу эти улицы, по которым я так часто ходил, полный юношеских мечтаний; эти домы, так сроднившиеся с воспоминаниями, наши русские деревни, наших крестьян, которых я вспоминал с любовью на самом юге Италии?.. Не может быть! — Ну, а если? — Тогда я завещаю мой тост моим детям и, умирая на чужбине, сохраню веру в будущность русского народа и благословлю его из дали моей добровольной ссылки!

I

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

(РАЗГОВОР НА ПАЛУБЕ) [1]

Ist's denn so großes Geheimnis was Gott und der Mensch und die Welt sei?
Nein, doch niemand hört's gerne, da bleibt es geheim.
Goethe [2]

...Я согласен, что в вашем взгляде много смелости, силы, правды, много юмору даже; но принять его не могу; может, это дело организации, нервной системы. У вас не будет последователей, пока вы не научитесь переменять крови в жилах.

— Быть может. Однако мой взгляд начинает вам нравиться, вы отыскиваете физиологические причины, обращаетесь к природе.

— Только наверное не для того, чтоб успокоиться, отделаться от страданий, смотреть в безучастном созерцании с высоты олимпического величия, как Гёте, на тревожный мир и любоваться брожением этого хаоса, бессильно стремящегося установиться.

— Вы становитесь злы, но ко мне это не относится; если я старался уразуметь жизнь, у меня в этом не было никакой цели, мне хотелось что-нибудь узнать, мне хотелось заглянуть подальше; все слышанное, читанное не удовлетворяло, не объясняло, а, напротив, приводило к противуречиям или к нелепостям. Я не искал для себя ни утешения, ни отчаяния, и это потому, что был молод; теперь я всякое мимолетное утешение, всякую минуту радости ценю очень дорого, их остается все меньше и меньше. Тогда я искал только истины, посильного пониманья; много ли уразумел, много ли понял, не знаю. Не скажу, чтоб мой взгляд был особенно утешителен, но я стал покойнее, перестал сердиться на жизнь за то, что она не дает того, чего не может дать,— вот все выработанное мною.

— Я, с своей стороны, не хочу перестать ни сердиться, ни страдать, это такое человеческое право, что я и не думаю поступиться им; мое негодование — мой протест; я не хочу мириться.

— Да и не с кем. Вы говорите, что вы не хотите перестать страдать; это значит, что вы не хотите принять

истины так, как она откроется вашей собственной мыслию,— может, она и не потребует от вас страданий; вы вперед отрекаетесь от логики, вы предоставляете себе по выбору принимать и отвергать последствия. Помните того англичанина, который всю жизнь не признавал Наполеона императором, что тому не помешало два раза короноваться. В таком упорном желании оставаться в разрыве с миром — не только непоследовательность, но бездна суетности; человек любит эффект, ролю, особенно трагическую; страдать хорошо, благородно, предполагает несчастие. Это еще не всё — сверх суетности тут бездна трусости. Не сердитесь за слово; из-за боязни узнать истину многие предпочитают страдание — разбору: страдание отвлекает, занимает, утешает... да, да, утешает; а главное, как всякое занятие, оно мешает человеку углубляться в себя, в жизнь. Паскаль говорил, что люди играют в карты для того, чтоб не оставаться с собой наедине. Мы постоянно ищем таких или других карт, соглашаемся даже проигрывать, лишь бы забыть дело. Наша жизнь — постоянное бегство от себя, точно угрызения совести преследуют, пугают нас. Как только человек становится на свои ноги, он начинает кричать, чтоб не слыхать речей, раздающихся внутри; ему грустно — он бежит рассеяться; ему нечего делать — он выдумывает занятие; от ненависти к одиночеству — он дружится со всеми, все читает, интересуется чужими делами, наконец, женится на скорую руку. Тут гавань, семейный мир и семейная война не дадут много места мысли; семейному человеку как-то неприлично много думать; он не должен быть настолько празден. Кому и эта жизнь не удалась, тот напивается допьяна всем на свете — вином, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, скупостью, благодеяниями; ударяется в мистицизм, идет в иезуиты, налагает на себя чудовищные труды, и они ему все-таки легче кажутся, нежели какая-то угрожающая истина, дремлющая внутри его. В этой боязни исследовать, чтоб не увидать вздор исследуемого, в этом искусственном недосуге, в этих поддельных несчастиях, усложняя каждый шаг вымышленными путами, мы проходим по жизни спросонья и умираем в чаду нелепости и пустяков, не пришедши путем в себя. Престранное дело: во всем, не касающемся внутренних, жизненных вопросов, люди умны, смелы, проницательны; они считают себя, например, посторонними природе и изучают ее добросовестно; тут другая метода, другой прием. Не жалко ли так бояться правды, исследования? Положим, что много мечтаний поблекнут, будет не легче, а тяжеле — все же нравственнее, достойнее, муже-

ственнее не ребячиться. Если б люди смотрели друг на друга, как смотрят на природу [3], смеясь сошли бы они с своих пьедесталей и курульных кресел, взглянули бы на жизнь проще, перестали бы выходить из себя за то, что жизнь не исполняет их гордые приказы и личные фантазии. Вы, например, ждали от жизни совсем не то, что она вам дала; вместо того, чтоб оценить то, что она вам дала, вы негодуете на нее. Это негодование, пожалуй, хорошо,— острая закваска, влекущая человека вперед, к деятельности, к движению; но ведь это один начальный толчок, нельзя же только негодовать, проводить всю жизнь в оплакивании неудач, в борьбе и досаде. Скажите откровенно: чем вы искали убедиться, что требования ваши истинны?

— Я их не выдумывал, они невольно родились в моей груди; чем больше я размышлял об них потом, тем яснее раскрывалась мне их справедливость, их разумность — вот мои доказательства. Это вовсе не уродство, не помешательство; тысячи других, все наше поколение страдает почти так же, больше или меньше, смотря по обстановке, по степени развития — и тем больше, чем больше развития. Повсюдная скорбь — самая резкая характеристика нашего времени; тяжелая скука налегла на душу современного человека, сознание нравственного бессилия его томит, отсутствие доверия к чему бы то ни было старит его прежде времени. Я на вас смотрю как на исключение, да и, сверх того, ваше равнодушие мне подозрительно, оно сбивается на охладившееся отчаяние, на равнодушие человека, который потерял не только надежду, но и безнадежность; это неестественный покой. Природа, истинная во всем, что делает, как вы повторяли несколько раз, должна быть истинна и в этом явлении скорби, тягости, всеобщность его дает ему некоторое право. Сознайтесь, что именно с вашей точки зрения довольно трудно возражать на это.

— На что же непременно возражать; я ничего лучше не прошу, как соглашаться с вами. Тягостное состояние, о котором вы говорите, очевидно и, конечно, имеет право на историческое оправдание и еще более на то, чтоб сыскать выход из него. Страдание, боль — это вызов на борьбу, это сторожевой крик жизни, обращающий внимание на опасность. Мир, в котором мы живем, умирает, т. е. те формы, в которых проявляется жизнь; никакие лекарства не действуют более на обветшалое тело его; чтоб легко вздохнуть наследникам, надобно его похоронить, а люди хотят непременно его вылечить и задерживают смерть. Вам, верно, случалось видеть удручающую грусть, томительную, тревожную неизвестность, которая распространяется в доме,

где есть умирающий; отчаяние усиливается надеждой, нервы у всех натянуты, здоровые больны, дела не идут. Смерть больного облегчает душу оставшихся; льются слезы, но нет более убийственного ожидания, несчастие перед глазами, во весь рост, безвозвратное, отрезавшее все надежды, и жизнь начинает врачевать, примирять, брать новый оборот. Мы живем во время большой и трудной агонии, это достаточно объясняет нашу тоску. К тому же предшествовавшие века особенно воспитали в нас грусть, болезненное томление. Три столетия тому назад все простое, здоровое, жизненное было еще подавлено; мысль едва осмеливалась поднимать свой голос, ее положение было похоже на положение жидов в средних веках, лукавое по необходимости, рабское, озирающееся. Под этими влияниями сложился наш ум, он вырос, возмужал внутри этой нездоровой сферы; от католического мистицизма он естественно перешел в идеализм и сохранил боязнь всего естественного, угрызения обманутой совести, притязания на невозможные блага; он остался при разладе с жизнию, при романтической тоске, он воспитал себя в страдания и разорванность. Давно ли мы, застращенные с детства, перестали отказываться от самых невинных побуждений? давно ли мы перестали содрогаться, находя внутри своей души страстные порывы, не взошедшие в каталог романтического тарифа? Вы давеча сказали, что мучащие вас требования развились естественно; оно и так и нет — все естественно, золотуха очень естественно происходит от дурного питанья, от дурного климата, но мы ее все же считаем чем-то чужим организму. Воспитание поступает с нами, как отец Аннибала с своим сыном. Оно берет обет прежде сознания [4], опутывает нас нравственной кабалой, которую мы считаем обязательною по ложной деликатности, по трудности отделаться от того, что привито так рано, наконец, от лени разобрать, в чем дело. Воспитание нас обманывает прежде, нежели мы в состоянии понимать, уверяет в невозможном детей, отрезывает им свободное и прямое отношение к предмету. Подрастая, мы видим, что ничто не ладится: ни мысль, ни быт; что то, на что нас учили опираться,— гнило, хрупко, а от чего предостерегали, как от яду,— целебно; забитые и одураченные, приученные к авторитету и указке, мы выходим с летами на волю, каждый своими силами добирается до истины, борясь, ошибаясь. Томимые желанием знать, мы подслушиваем у дверей, стараемся разглядеть в щель; кривя душой, притворяясь, мы считаем правду за порок и презрение ко лжи за дерзость. Мудрено ли после этого, что мы не умеем

уладить ни внутреннего, ни внешнего быта, лишнее требуем, лишнее жертвуем, пренебрегаем возможным и негодуем за то, что невозможное нами пренебрегает; возмущаемся против естественных условий жизни и покоряемся произвольному вздору. Вся наша цивилизация такова, она выросла в нравственном междоусобии; вырвавшись из школ и монастырей, она не вышла в жизнь, а прошлась по ней, как Фауст, чтоб посмотреть, порефлектировать и потом удалиться от грубой толпы в гостиные, в академию, в книги. Она совершила весь свой путь с двумя знаменами в руках; «романтизм для сердца» было написано на одном, «идеализм для ума» — на другом. Вот откуда идет большая доля неустройства в нашей жизни. Мы не любим простого, мы не уважаем природу по преданию, хотим распоряжаться ею, хотим лечить заговариванием и удивляемся, что больному не лучше; физика нас оскорбляет своей независимой самобытностью, нам хочется алхимии, магии; а жизнь и природа равнодушно идут своим путем, покоряясь человеку по мере того, как он выучивается действовать их же средствами.

Вы, кажется, меня считаете немецким поэтом, и то еще прошлой эпохи, которые сердились за то, что у них есть тело, за то, что они едят, и искали неземных дев, «иную природу, другого солнца» [5]. Мне не хочется ни магии, ни мистерии, а просто выйти из того состояния души, которое вы сейчас представили в десять раз резче меня; выйти из нравственного бессилия, из жалкой неприлагаемости убеждений, из хаоса, в котором, наконец, мы перестали понимать, кто враг и кто друг: мне противно видеть, куда ни обернусь, или пытаемых, или пытающих. Какое колдовство нужно на то, чтоб растолковать людям, что они сами виноваты в том, что им так скверно жить, объяснить им, например, что не надобно грабить нищего, что противно объедаться возле умирающего с голоду, что убийство равно отвратительно ночью на большой дороге тайком и днем открыто на большой площади при барабанном бое; что одно говорить, а другое делать — подло... словом, все те новые истины, которые говорят, повторяют, печатают со времен семи греческих мудрецов,— да и тогда, я думаю, они уже были очень стары. Моралисты, попы гремят с кафедр, толкуют о нравственности, о грехах, читают евангелие, читают Руссо — никто не возражает, и никто не исполняет.

— По совести, жалеть об этом нечего. Все эти учения и проповеди по большей части неверны, неудобоисполнимы и сбивчивее простого обычного быта. Беда в том, что мысль

забегает всегда далеко вперед, народы не поспевают за своими учителями; возьмите наше время: несколько человек коснулись переворота, который совершить не в силах ни они сами, ни народы. Передовые думали, что стоит сказать: «Брось одр твой и иди за нами» — все и двинется; они ошиблись, народ их так же мало знал, как они его, им не поверили. Не замечая, что за ними никого нет, эти люди предводительствовали, шли вперед; спохватившись, они стали кричать отставшим, махать, звать их, осыпать упреками,— но поздно, слишком далеко, голоса недостает, да и язык их не тот, которым говорят массы. Нам больно сознаться, что мы живем в мире, выжившем из ума, дряхлом, истощенном, у которого явным образом недостает силы и поведения, чтоб подняться на высоту собственной мысли; нам жаль старый мир, мы к нему привыкли, как к родительскому дому, мы поддерживаем его, стараясь его разрушить, и прилаживаем к своим убеждениям его неспособные формы, не видя, что первая йота их — его смертный приговор. Мы носим платья, шитые не по нашей мерке, а по мерке наших прадедов, мозг наш образовался под влиянием предшествующих обстоятельств, он многого не осиливает, многое видит под ложным углом. Люди с таким трудом добились до современного быта, он им кажется такою счастливой пристанью после безумия феодализма и тупого гнета, следовавшего за ним, что они боятся изменять его, они отяжелели в его формах, обжились в них, привычка заменила привязанность, горизонт сжался... размах мысли сделался мал, воля ослабла.

— Прекрасная картина; добавьте, что возле этих удовлетворенных, которым современный порядок по плечу, с одной стороны, бедный, неразвитый народ, одичалый, отсталый, голодный, в безвыходной борьбе с нуждой, в изнуряющей работе, которая не может его пропитать; а с другой — мы, неосторожно забежавшие вперед, землемеры, вбивающие вехи нового мира,— и которые никогда не увидим даже выведенного фундамента. От всех упований, от всей жизни, которая прошла между рук (да еще как прошла), если что-нибудь осталось, то это вера в будущее; когда-нибудь, долго после нашей смерти, дом, для которого мы расчистили место, выстроится, и в нем будет удобно и хорошо — другим.

— Впрочем, нет причины думать, что новый мир будет строиться по нашему плану...

...Молодой человек сделал недовольное движение головой и посмотрел с минуту на море — совершеннейший штиль продолжался; тяжелая туча едва двигалась над

головами, так низко, что дым парохода, стелясь, мешался с ней,— море было черно, воздух не освежал.

— Вы со мною поступаете,— сказал он, помолчав,— так, как разбойники с путешественниками; ограбивши у меня все, вам кажется еще мало, вы добираетесь до последнего рубища, которое меня предохраняет от стужи, до моих волос; вы заставили меня сомневаться в многом, у меня оставалось будущее — вы отнимаете его, вы грабите мои надежды, вы убиваете сны, как Макбет.

— А я думал, что я больше похож на хирурга, который вырезывает дикое мясо.

— Пожалуй, это еще лучше, хирург отрезывает больную часть тела, не заменяя ее здоровой.

— И по дороге спасает человека, освобождая его от тяжелых уз застарелой болезни.

— Знаем мы ваше освобождение. Вы отворяете двери темницы и хотите вытолкнуть колодника в степь, уверяя его, что он свободен; вы ломаете Бастилью, но не воздвигаете ничего в замену острога, остается одно пустое место.

— Это было бы чудесно, если б было так, как вы говорите; худо то, что развалины, мусор мешают на каждом шагу.

— Чему мешают? Где, в самом деле, наше призвание, где наше знамя? во что мы верим, во что не верим?

— Верим во все, не верим в себя; вы ищете найти знамя, а я ищу потерять его; вы хотите указку, а мне кажется, что в известный возраст стыдно читать с указкой. Вы сейчас сказали, что мы вбиваем вехи новому миру...

— И их вырывает из земли дух отрицания и разбора. Вы несравненно мрачнее меня смотрите на мир и утешаете только для того, чтоб еще ужаснее выразить современную тягость. Если и будущее не наше, тогда вся наша цивилизация — ложь, мечта пятнадцатилетней девочки, над которой она сама смеется в двадцать пять лет; наши труды — вздор, наши усилия смешны, наши упования похожи на ожидания дунайского мужика [6]. Впрочем, может быть, вы то и хотите сказать, чтоб мы бросили нашу цивилизацию, отказались от нее, воротились бы к отставшим.

— Нет, отказаться от развития невозможно. Как сделать, чтоб я не знал того, что знаю? Наша цивилизация — лучший цвет современной жизни, кто же поступится своим развитием? Но какое же это имеет отношение к осуществлению наших идеалов, где лежит необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу?

— Стало быть, наша мысль привела нас к несбыточным надеждам, к нелепым ожиданиям; с ними, как с последним

плодом наших трудов, мы захвачены волнами на корабле, который тонет. Будущее не наше, в настоящем нам нет дела; спасаться некуда, мы с этим кораблем связаны на живот и на смерть, остается сложа руки ждать, пока вода зальет,— а кому скучно, кто поотважнее, тот может броситься в воду.

...Le monde fait naufrage,
Vieux bâtiment, usé par tous les flots,
Il s'engloutit — sauvons-nous à la nage! *

— Я ничего лучше не прошу, но только есть разница между спасаться вплавь и топиться. Судьба молодых людей, которых вы напомнили этой песнью, страшна; сугубые страдальцы, мученики без веры, смерть их пусть падет на страшную среду, в которой они жили, пусть обличает ее, позорит; но кто же вам сказал, что нет другого выхода, другого спасения из этого мира старчества и агонии — как смерть? Вы оскорбляете жизнь. Оставьте мир, к которому вы не принадлежите, если вы действительно чувствуете, что он вам чужд. Его не спасем — спасите себя от угрожающих развалин; спасая себя, вы спасете будущее. Что вы имеете общего с этим миром — его цивилизацию? Но ведь она теперь принадлежит вам, а не ему, он произвел ее, или, лучше сказать, из него произвели ее, он не грешен даже в понимании ее; его образ жизни — он вам ненавистен, да и, по правде, трудно любить такую нелепость. Ваши страдания — он и не подозревает; ваши радости ему незнакомы; вы молоды — он стар; посмотрите, как он осунулся в своей изношенной, аристократической ливрее, особенно после тридцатого года, лицо его подернулось матовой землистостью. Это facies hypocratica [8], по которой доктора узнают, что смерть уже занесла косу. Бессильно усиливается он иногда еще раз схватить жизнь, еще раз овладеть ею, отделаться от болезни, насладиться — не может и впадает в тяжкий, горячечный полусон. Тут толкуют о фаланстерах, демократиях, социализме, он слушает и ничего не понимает — иногда улыбается таким речам, покачивая головою и вспоминая мечты, которым и он верил когда-то, потом взошел в разум и давно не верит... Оттого-то он старчески равнодушно смотрит на коммунистов и иезуитов, на пасторов и якобинцев, на братьев Ротшильд и на умирающих с голоду; он смотрит на все несущееся перед глазами,— сжавши в кулак несколько франков, за которые готов умереть или сделаться убийцей. Оставьте старика дожи-

* Беранже — на смерть Деку и Лебрю [7].

вать как знает свой век в богадельне, вы для него ничего не сделаете.

— Это не так легко, не говоря о том, что оно противно,— куда бежать? Где эта новая Пенсильвания, готовая?..

— Для старых построек из нового кирпича? Вильям Пенн вез с собою старый мир на новую почву; Северная Америка — исправленное издание прежнего текста, не более. А христиане в *Риме* перестали быть римлянами — этот внутренний отъезд полезнее.

— Мысль сосредоточиться в себе, оторвать пуповину, связующую нас с родиной, с современностью, проповедуется давно, но плохо осуществляется; она является у людей после всякой неудачи, после каждой утраченной веры, на ней опирались мистики и масоны, философы и иллюминаты; все они указывали на внутренний отъезд — никто не уехал. Руссо? — и тот отворачивался от мира; страстно любя его, он отрывался от него,— потому что не мог быть без него. Ученики его продолжали его жизнь в Конвенте, боролись, страдали, казнили других, снесли свою голову на плаху, но не ушли ни вон из Франции, ни вон из кипевшей деятельности.

— Их время нисколько не было похоже на наше. У них впереди было бездна упований. Руссо и его ученики воображали, что если их идеи братства не осуществляются, то это от материальных препятствий — там сковано слово, тут действие не вольно — и они, совершенно последовательно, шли грудью против всего мешавшего их идее; задача была страшная, гигантская, но они победили. Победивши, они думали: вот теперь-то... но теперь-то их повели на гильотину, и это было самое лучшее, что могло с ними случиться: они умерли с полной верой, их унесла бурная волна середи битвы, труда, опьяненья; они были уверены, что, когда возвратится тишина, их идеал осуществится без них, но осуществится. Наконец этот штиль пришел. Какое счастие, что все эти энтузиасты давно были схоронены! Им бы пришлось увидеть, что дело их не подвинулось ни на вершок, что их идеалы остались идеалами, что недостаточно разобрать по камешку Бастилью, чтоб сделать колодников свободными людьми. Вы сравниваете нас с ними, забывая, что мы знаем события пятидесяти лет, прошедших после их смерти, что мы были свидетелями, как все упования теоретических умов были осмеяны, как демоническое начало истории нахохоталось над их наукой, мыслию, теорией, как оно из республики сделало Наполеона, из революции 1830 г. биржевой оборот. Свидетели всего бывшего, мы не можем иметь надежды наших предшественников. Глубже

изучивши революционные вопросы, мы требуем теперь и больше и шире того, что они требовали, а их-то требования остались тою же неприлагаемостью, как были. С одной стороны, вы видите логическую последовательность мысли, ее успех; с другой — полное бессилие ее над миром — глухим, немым, бессильным схватить мысль спасения так, как она высказывается ему,— потому ли, что она дурно высказывается, или потому, что имеет только теоретическое, книжное значение, как, например, римская философия, не выходившая никогда из небольшого круга образованных людей.

— Но кто же, по-вашему, прав — мысль ли теоретическая, которая точно так же развилась и сложилась исторически, но сознательно, или факт современного мира, отвергающий мысль и представляющий, так же, как она, необходимый результат прошедшего?

— Оба совершенно правы. Вся эта запутанность выходит из того, что жизнь имеет свою эмбриогению, не совпадающую с диалектикой чистого разума. Я помянул древний мир, вот вам пример: вместо того, чтоб осуществлять республику Платона и политику Аристотеля, он осуществляет римскую республику и политику их завоевателей; вместо утопий Цицерона и Сенеки — Лангобардские графства и германское право.

— Не пророчите ли вы и нашей цивилизации такую же гибель, как римской? — утешительная мысль и прекрасная перспектива...

— Не прекрасная и не дурная. Отчего вас удивляет мысль, которая до пошлости известна, что все на свете преходяще? Впрочем, цивилизации не гибнут, пока род человеческий продолжает жить без совершенного перерыва,— у людей память хороша; разве римская цивилизация не жива для нас? А она точно так же, как наша, вытянулась далеко за пределы окружавшей жизни; именно от этого она с одной стороны и расцвела так пышно, так великолепно, а с другой не могла фактически осуществиться. Она принесла свое миру современному, она приносит многое нам, но ближайшее будущее Рима прозябало на других пажитях — в катакомбах, где прятались гонимые христиане, в лесах, где кочевали дикие германы.

— Как же это в природе все так целеобразно, а цивилизация, высшее усилие, венец эпохи, выходит бесцельно из нее, выпадает из действительности и увядает наконец, оставляя по себе неполное воспоминание? Между тем человечество отступает назад, бросается в сторону и начинает сызнова тянуться, чтоб окончить таким же махровым

цветом — пышным, но лишенным семян... В вашей философии истории есть что-то возмущающее душу — для чего эти усилия? — жизнь народов становится праздной игрой, лепит, лепит по песчине, по камешку, а тут опять все рухнется наземь, и люди ползут из-под развалин, начинают снова расчищать место да строить хижины изо мха, досок и упадших капителей, достигая веками, долгим трудом — падения. Шекспир недаром сказал, что история — скучная сказка, рассказанная дураком [9].

— Это уж такой печальный взгляд у вас. Вы похожи на тех монахов, которые при встрече ничего лучшего не находят сказать друг другу, как мрачное memento mori [10], или на тех чувствительных людей, которые не могут вспомнить без слез, что «люди родятся для того, чтоб умереть». Смотреть на конец, а не на самое дело — величайшая ошибка. На что растению этот яркий, пышный венчик, на что этот упоительный запах, который пройдет совсем ненужно? Но природа вовсе не так скупа и не так пренебрегает мимоидущим, настоящим, она на каждой точке достигает всего, чего может достигнуть, идет донельзя, до запаха, до наслаждения, до мысли... до того, что разом касается до пределов развития и до смерти, которая осаживает, умеряет слишком поэтическую фантазию и необузданное творчество ее. Кто же станет негодовать на природу за то, что цветы утром распускаются, а вечером вянут, что она розе и лилее не умеет придавать прочности кремня? И этот-то бедный, прозаический взгляд мы хотим перенести в исторический мир! Кто ограничил цивилизацию одним прилагаемым? — где у нее забор? Она бесконечна, как мысль, как искусство, она чертит идеалы жизни, она мечтает апотеозу своего собственного быта, но на жизни не лежит обязанность исполнять ее фантазии и мысли, тем более что это было бы только улучшенное издание того же, а жизнь любит новое. Цивилизация Рима была гораздо выше и человечественнее, нежели варварский порядок; но в его нестройности были зародыши развития тех сторон, которых вовсе не было в римской цивилизации, и варварство восторжествовало, несмотря ни на Corpus juris civilis [11], ни на мудрое воззрение римских философов. Природа рада достигнутому и домогается высшего; она не хочет обижать существующее; пусть оно живет, пока есть силы, пока новое подрастает. Вот отчего так трудно произведения природы вытянуть в прямую линию, природа ненавидит фрунт, она бросается во все стороны и никогда не идет правильным маршем вперед. Дикие германы были в своей непосредственности, potentialiter [12], выше образованных римлян.

— Я начинаю подозревать, что вы поджидаете нашествие варваров и переселение народов.

— Я гадать не люблю. Будущего нет, его образует совокупность тысячи условий, необходимых и случайных, да воля человеческая, придающая нежданные драматические развязки и coups de théâtre [13]. История импровизируется, редко повторяется, она пользуется всякой нечаянностью, стучится разом в тысячу ворот... которые отопрутся... кто знает?

— Может, бальтийские — и тогда Россия хлынет на Европу?

— Может быть.

— И вот мы, долго мудрствуя, пришли опять к беличьему колесу, опять к corsi и ricorsi старика Вико [14]. Опять возвратились к Рее, беспрерывно рождающей в страшных страданиях детей, которыми закусывает Сатурн. Рея только стала добросовестна и не подменивает новорожденных каменьями, да и не стоит труда, в числе их нет ни Юпитера, ни Марса...[15] Какая цель всего этого? Вы обходите этот вопрос, не решая его; стоит ли детям родиться для того, чтоб отец их съел, да вообще стоит ли игра свеч?

— Как не стоит! тем более что не вы за них платите. Вас смущает, что не все игры доигрываются, но без этого они были бы нестерпимо скучны. Гёте давным-давно толковал, что красота проходит, потому что только преходящее и может быть красиво,— это обижает людей [16]. У человека есть инстинктивная любовь к сохранению всего, что ему нравится; родился — так хочет жить во всю вечность; влюбился — так хочет любить и быть любимым во всю жизнь, как в первую минуту признания. Он сердится на жизнь, видя, что в пятьдесят лет нет той свежести чувств, той звонкости их, как в двадцать. Но такая неподвижная стоячесть противна духу жизни,— она ничего личного, индивидуального не готовит впрок,— она всякий раз вся изливается в настоящую минуту и, наделяя людей способностью наслаждения насколько можно, не страхует ни жизни, ни наслаждения, не отвечает за их продолжение. В этом беспрерывном движении всего живого, в этих повсюдных переменах природа обновляется, живет, ими она вечно молода. Оттого каждый исторический миг полон, замкнут по-своему, как всякий год с весной и летом, с зимой и осенью, с бурями и хорошей погодой. Оттого каждый период нов, свеж, исполнен своих надежд, сам в себе носит свое благо и свою скорбь, настоящее принадлежит ему, но людям этого мало, им хочется, чтоб и будущее было их.

— Человеку больно, что он и в будущем не видит

пристани, к которой стремится. Он с тоскливым беспокойством смотрит перед собою на бесконечный путь и видит, что так же далек от цели после всех усилий, как за тысячу лет, как за две тысячи лет.

— А какая цель песни, которую поет певица?.. звуки, звуки, вырывающиеся из ее груди, звуки, умирающие в ту минуту, как раздались. Если вы, кроме наслаждения ими, будете искать что-нибудь, выжидать иной цели, вы дождетесь, когда кантатриса перестанет петь, и у вас останется воспоминание и раскаяние, что вместо того, чтоб слушать, вы ждали чего-то... Вас сбивают категории, которые дурно уловляют жизнь. Вы подумайте порядком: что эта цель — программа, что ли, или приказ? Кто его составил, кому он объявлен, обязателен он или нет? Если да,— то что мы, куклы или люди, в самом деле, нравственно свободные существа или колеса в машине? Для меня легче жизнь, а следственно, и историю, считать за достигнутую цель, нежели за средство достижения.

— То есть, просто, цель природы и истории — мы с вами?..

— Отчасти, да *плюс* настоящее всего существующего; тут все входит: и наследие всех прошлых усилий, и зародыши всего, что будет; вдохновение артиста, и энергия гражданина, и наслаждение юноши, который в эту самую минуту пробирается где-нибудь к заветной беседке, где его ждет подруга, робкая и отдающаяся вся настоящему, не думая ни о будущем, ни о цели... и веселье рыбы, которая плещется вот на месячном свете... и гармония всей солнечной системы... словом, как после феодальных титулов, я смело могу поставить три «и прочая... и прочая»...

— Вы совершенно правы относительно природы, но, мне кажется, вы забыли, что через все изменения и спутанности истории прошла красная нитка, связующая ее в одно целое, эта нитка — прогресс, или, может быть, вы не принимаете и прогресс?

— Прогресс — неотъемлемое свойство сознательного развития, которое не прерывалось; это деятельная память и физиологическое усовершение людей общественной жизнию [17].

— Неужели вы тут не видите цели?

— Совсем напротив, я тут вижу последствие. Если прогресс — цель, то для кого мы работаем? кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и, в утешение изнуренным и обреченным на гибель толпам, которые ему кричат: «Morituri te salutant» [18], только и умеет ответить горькой насмешкой, что

после их смерти будет прекрасно на земле? Неужели и вы обрекаете современных людей на жалкую участь кариатид, поддерживающих террасу, на которой когда-нибудь другие будут танцевать... или на то, чтоб быть несчастными работниками, которые, по колено в грязи, тащат барку с таинственным руном и с смиренной надписью «*Прогресс* в будущем» на флаге? Утомленные падают на дороге, другие с свежими силами принимаются за веревки, а дороги, как вы сами сказали, остается столько же, как при начале, потому что прогресс бесконечен. Это одно должно было насторожить людей; цель, бесконечно далекая,— не цель, а, если хотите, уловка; цель должна быть ближе, по крайней мере — заработная плата или наслаждение в труде. Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту, по дороге развиваются новые требования, испытания, новые средства, одни способности усовершаются на счет других, наконец самое вещество мозга улучшается... что вы улыбаетесь?.. да, да, церебрин улучшается... Как все естественное становится вам ребром, удивляет вас, идеалистов, точно как некогда рыцари удивлялись, что вилланы хотят тоже человеческих прав! Когда Гёте был в Италии, он сравнивал череп древнего быка с черепом наших быков и нашел, что у нашего кость тоньше, а вместилище больших полушарий мозга пространнее; древний бык был, очевидно, сильнее нашего, а наш развился в отношении к мозгу в своем мирном подчинении человеку. За что же вы считаете человека менее способным к развитию, нежели быка? Этот родовой рост — не цель, как вы полагаете, а свойство преемственно продолжающегося существования поколений. Цель для каждого поколения — оно само. Природа не только никогда не делает поколений средствами для достижения будущего, но она вовсе об будущем не заботится; она готова, как Клеопатра, распустить в вине жемчужину, лишь бы потешиться в настоящем, у нее сердце баядеры и вакханки.

— И, бедная, не может осуществить своего призвания!.. Вакханка на диете, баядера в трауре!.. В наше время она, право, скорее похожа на кающуюся Магдалину. Или, может, мозг выделался в сторону.

— Вы вместо насмешки сказали вещь, которая гораздо дельнее, нежели вы думаете. Одностороннее развитие всегда влечет за собою avortement [19] других забытых сторон. Дети, слишком развитые в психическом отношении, дурно растут, слабы телом; веками неестественного быта мы воспитали себя в идеализм, в искусственную жизнь и разрушили равновесие. Мы были велики и сильны, даже

счастливы в нашей отчужденности, в нашем теоретическом блаженстве, а теперь перешли эту степень, и она стала для нас невыносима; между тем разрыв с практическими сферами сделался страшный; виноватых в этом нет ни с той, ни с другой стороны. Природа натянула все мышцы, чтоб перешагнуть в человеке ограниченность зверя; а он так перешагнул, что одной ногой совсем вышел из естественного быта,— сделал он это потому, что он свободен. Мы столько толкуем о воле, так гордимся ею и в то же время досадуем за то, что нас никто не ведет за руку, что оступаемся и несем последствия своих дел. Я готов повторить ваши слова, что мозг выделался в сторону от идеализма, люди начинают замечать это и идут теперь в другую сторону; они вылечатся от идеализма так, как вылечились от других исторических болезней — от рыцарства, от католицизма, от протестантизма...

— Согласитесь, впрочем, что путь развития болезнями и отклонениями — престранный.

— Да ведь путь и не назначен... природа слегка, самыми общими нормами, намекнула свои виды и предоставила все подробности на волю людей, обстоятельств, климата, тысячи столкновений. Борьба, взаимное действие естественных сил и сил воли, которой следствия нельзя знать вперед, придает поглощающий интерес каждой исторической эпохе. Если б человечество шло прямо к какому-нибудь результату, тогда истории не было бы, а была бы логика, человечество остановилось бы готовым в непосредственном statu quo, как животные. Все это, по счастию, невозможно, не нужно и хуже существующего. Животный организм мало-помалу развивает в себе инстинкт, в человеке развитие идет далее... вырабатывается разум, и вырабатывается трудно, медленно,— *его нет* ни в природе, ни вне природы, его надобно достигать, с ним улаживать жизнь как придется, потому что libretto нет. А будь libretto, история потеряет весь интерес, сделается ненужна, скучна, смешна; горесть Тацита и восторг Колумба превратятся в шалость, в гаерство; великие люди сойдут на одну доску с театральными героями, которые, худо ли, хорошо ли играют, непременно идут и дойдут к известной развязке. В истории все импровизация, все воля, все ex tempore [20], вперед ни пределов, ни маршрутов нет, есть условия, святое беспокойство, огонь жизни и вечный вызов бойцам пробовать силы, идти вдаль куда хотят, куда только есть дорога,— а где ее нет, там ее сперва проложит гений.

— А если на беду не найдется Колумба?

— Кортес сделает за него. Гениальные натуры почти всегда находятся, когда их нужно; впрочем, в них нет необходимости, народы дойдут после, дойдут иной дорогой, более трудной; гений — роскошь истории, ее поэзия, ее coup d'Etat [21], ее скачок, торжество ее творчества.

— Все это хорошо, но, мне кажется, при такой неопределенности, распущенности история может продолжаться во веки веков или завтра окончиться.

— Без сомнения. Со скуки люди не умрут, если род человеческий очень долго заживется; хотя, вероятно, люди и натолкнутся на какие-нибудь пределы, лежащие в самой природе человека, на такие физиологические условия, которых нельзя будет перейти, оставаясь человеком; но, собственно, недостатка в деле, в занятиях не будет, три четверти всего, что мы делаем,— повторение того, что делали другие. Из этого вы видите, что история может продолжаться миллионы лет. С другой стороны, я ничего не имею против окончания истории завтра. Мало ли что может быть! Энкиева комета зацепит земной шар, геологический катаклизм пройдет по поверхности, ставя все вверх дном, какое-нибудь газообразное испарение сделает на полчаса невозможным дыхание — вот вам и финал истории.

— Фу, какие ужасы! Вы меня стращаете, как маленьких детей, но я уверяю вас, что этого не будет. Стоило бы очень развиваться три тысячи лет с приятной будущностью задохнуться от какого-нибудь серноводородного испарения! Как же вы не видите, что это нелепость?

— Я удивляюсь, как это вы до сих пор не привыкнете к путям жизни. В природе, так, как в душе человека, дремлет бесконечное множество сил, возможностей; как только соберутся условия, нужные для того, чтоб их возбудить, они развиваются и будут развиваться донельзя, они готовы собой наполнить мир, но они могут запнуться на полдороге, принять иное направление, остановиться, разрушиться. Смерть одного человека не меньше нелепа, как гибель всего рода человеческого. Кто нам обеспечил вековечность планеты? Она так же мало устоит при какой-нибудь революции в солнечной системе, как гений Сократа устоял против цикуты,— но, может, ей не подадут этой цикуты... может... я с этого начал. В сущности, для природы это все равно, ее не убудет, из нее ничего не вынешь, все в ней, как ни меняй,— и она с величайшей любовью, похоронивши род человеческий, начнет опять с уродливых папоротников и с ящериц в полверсты длиною — вероятно, еще с какими-нибудь усовершениями, взятыми из новой среды и из новых условий.

— Ну, для людей это далеко не все равно; я думаю, Александр Македонский нисколько не был бы рад, узнавши, что он пошел на замазку,— как говорит Гамлет [22].

— Насчет Александра Македонского я вас успокою,— он этого никогда не узнает. Разумеется, что для человека совсем не все равно жить или не жить; из этого ясно одно, что надобно пользоваться жизнию, настоящим; недаром природа всеми языками своими беспрерывно манит к жизни и шепчет на ухо всему свое vivere memento [23].

— Напрасный труд. Мы помним, что мы живем, по глухой боли, по досаде, которая точит сердце, по однообразному бою часов... Трудно наслаждаться, пьянить себя, зная, что весь мир около вас рушится и, стало быть, где-нибудь задавит же и вас. Да еще это куда бы ни шло, а то умереть на старости лет, видя, что ветхие покачнувшиеся стены и не думают падать. Я не знаю в истории такого удушливого времени; была борьба, были страдания и прежде, но была еще какая-нибудь замена, можно было погибнуть — по крайней мере, с верой,— нам не за что умирать и не для чего жить... самое время наслаждаться жизнию!

— А вы думаете, что в падающем Риме было легче жить?

— Конечно, его падение было столько же очевидно, как мир, шедший в замену его.

— Очевидно для кого? Неужели вы думаете, что римляне смотрели на свое время так, как мы смотрим на него? Гиббон не мог отделаться от обаяния, которое производит древний Рим на каждую сильную душу. Вспомните, сколько веков продолжалась его агония; нам это время скрадывается по бедности событий, по бедности в лицах, по томному однообразию! Именно такие-то периоды, немые, серые, и страшны для современников; ведь годы в них имели те же триста шестьдесят пять дней, ведь и тогда были люди с душой горячей и блекли, терялись от разгрома падающих стен. Какие звуки скорби вырывались тогда из груди человеческой,— их стон теперь наводит ужас на душу!

— Они могли креститься.

— Положение христиан было тогда тоже очень печальное, они четыре столетия прятались по подземельям, успех казался невозможным, жертвы были перед глазами.

— Но их поддерживала фанатическая вера — и она оправдалась.

— Только на другой день после торжества явилась ересь, языческий мир ворвался в святую тишину их братства, и христианин со слезами обращался назад к временам

гонений и благословлял воспоминания о них,— читая мартиролог.

— Вы, кажется, начинаете меня утешать тем, что всегда было так же скверно, как теперь.

— Нет, я хотел только напомнить вам, что нашему веку не принадлежит монополь страданий и что вы дешево цените прошедшие скорби. Мысль была и прежде нетерпелива, ей хочется сейчас, ей ненавистно ждать,— а жизнь не довольствуется отвлеченными идеями, не торопится, медлит с каждым шагом, потому что ее шаги трудно поправляются. Отсюда трагическое положение мыслящих... Но чтоб опять не отклониться, позвольте мне теперь вас спросить, отчего вам кажется, что мир, нас окружающий, так прочен и долголетен?..

Давно тяжелые и крупные капли дождя падали на нас, глухие раскаты грома становились слышнее, молнии ярче; тут дождь полился ручьями... все бросились в каюту; пароход скрыпел, качка была невыносима,— разговор не продолжался.

Roma, via del Corso.
31 декабря 1847 г.

II

ПОСЛЕ ГРОЗЫ [1]

Pereat! [2]

Женщины плачут, чтоб облегчить душу; мы не умеем плакать. В замену слез я хочу писать — не для того, чтоб описывать, объяснять кровавые события, а просто чтоб говорить об них, дать волю речи, слезам, мысли, желчи. Где тут описывать, собирать сведения, обсуживать! — В ушах еще *раздаются* выстрелы, топот несущейся кавалерии, тяжелый, густой звук лафетных колес по мертвым улицам; в памяти мелькают отдельные подробности — раненый на носилках держит рукой бок, и несколько капель крови течет по ней; омнибусы, наполненные трупами, пленные с связанными руками, пушки на Place de la Bastille [3], лагерь у Porte St. Denis [4], на Елисейских Полях и мрачное ночное «Sentinelle — prenez garde á vous!..» [5]. Какие тут описания, мозг слишком воспален, кровь слишком остра.

Сидеть у себя в комнате сложа руки, не иметь возможности выйти за ворота и слышать возле, кругом, вблизи, вдали выстрелы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возле льется кровь, режутся, колют, что возле умирают,— от этого можно умереть, сойти с ума. Я не умер, но я состарелся, я оправляюсь после июньских дней, как после тяжкой болезни.

А торжественно начались они. Двадцать третьего числа, часа в четыре перед обедом, шел я берегом Сены к Hôtel de Ville [6], лавки запирались, колонны Национальной гвардии с зловещими лицами шли по розным направлениям, небо было покрыто тучами, шел дождик. Я остановился на Pont Neuf [7], сильная молния сверкнула из-за тучи, удары грома следовали друг за другом, и середь всего этого раздался мерный, протяжный звук набата с колокольни св. Сульпиция, которым еще раз обманутый пролетарий звал своих братий к оружию. Собор и все здания по берегу были необыкновенно освещены несколькими лучами солнца, ярко выходившими из-под тучи; барабан раздавался с разных сторон, артиллерия тянулась с Карусельской площади.

Я слушал гром, набат и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался; я страстно любил Париж в эту минуту; это была последняя дань великому городу — после июньских дней он мне опротивел.

С другой стороны реки на всех переулках и улицах строились баррикады. Я, как теперь, вижу эти сумрачные лица, таскавшие камни; дети, женщины помогали им. На одну баррикаду, по-видимому, оконченную, взошел моло-

дои политехник, водрузил знамя и запел тихим, печально-торжественным голосом «Марсельезу»; все работавшие запели, и хор этой великой песни, раздававшийся из-за камней баррикад, захватывал душу... набат все раздавался. Между тем по мосту простучала артиллерия, и генерал Бедо осматривал с моста в трубу *неприятельскую* позицию...

В это время еще можно было все предупредить, тогда еще можно было спасти республику, свободу всей Европы, тогда еще можно было помириться. Тупое и неловкое правительство не умело этого сделать, Собрание не хотело, реакционеры искали мести, крови, искупления за 24 февраля, закормы «Насионаля» дали им исполнителей [8].

Ну, что вы скажете, любезный князь Радецкий и сиятельнейший граф Паскевич-Эриванский? Вы не годитесь в помощники Каваньяку. Меттерних и все члены Третьего отделения собственной канцелярии — дети кротости, de bons enfants [9] в сравнении с собранием осерчалых лавочников.

Вечером 26 июня мы услышали, после победы «Насионаля» над Парижем, правильные залпы с небольшими расстановками... Мы все взглянули друг на друга, у всех лица были зеленые... «Ведь это расстреливают»,— сказали мы в один голос и отвернулись друг от друга. Я прижал лоб к стеклу окна. За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. *Горе тем, кто прощают такие минуты!*

После бойни, продолжавшейся четверо суток, наступила тишина и мир осадного положения; улицы были еще оцеплены, редко, редко где-нибудь встречался экипаж; надменная Национальная гвардия, с свирепой и тупой злобой на лице, берегла свои лавки, грозя штыком и прикладом; ликующие толпы пьяной мобили сходили по бульварам, распевая «Mourir pour la patrie» [10], мальчишки 16, 17 лет хвастались кровью своих братий, запекшейся на их руках; на них бросали цветы мещанки, выбегавшие из-за прилавка, чтоб приветствовать победителей. Каваньяк возил с собою в коляске какого-то изверга, убившего десятки французов. Буржуази торжествовала. А домы предместья св. Антония еще дымились, стены, разбитые ядрами, обваливались, раскрытая внутренность комнат представляла каменные раны, сломанная мебель тлела, куски разбитых зеркал мерцали... А где же хозяева, жильцы? — Об них никто и не думал... местами посыпали песком, но кровь все-таки выступала... К Пантеону, разбитому ядрами, не подпускали, по бульварам стояли палатки, лошади глодали береженые деревья Елисейских Полей, на Place de

la Concorde [11] везде было сено, кирасирские латы, седла; в Тюльерийском саду солдаты у решетки варили суп. Париж этого не видал и в 1814 году.

Прошло еще несколько дней — и Париж стал принимать обычный вид, толпы праздношатающихся снова явились на бульварах, нарядные дамы ездили в колясках и кабриолетах *смотреть* развалины домов и следы отчаянного боя... одни частые патрули и партии арестантов напоминали страшные дни, тогда только стало уясняться прошедшее. У Байрона есть описание ночной битвы; кровавые подробности ее скрыты темнотою; при рассвете, когда битва давно кончена, видны ее остатки, клинок, окровавленная одежда [12]. Вот этот-то рассвет наставал теперь в душе, он осветил страшное опустошение. Половина надежд, половина верований была убита, мысли отрицания, отчаяния бродили в голове, укоренялись. Предполагать нельзя было, чтоб в душе нашей, прошедшей через столько опытов, испытанной современным скептицизмом, оставалось так много истребляемого.

После таких потрясений живой человек не остается по-старому. Душа его или становится еще религиознее, держится с отчаянным упорством за свои верования, находит в самой безнадежности утешение, и человек вновь зеленеет, обожженный грозою, нося смерть в груди,— или он мужественно и скрепя сердце отдает последние упования, становится еще трезвее и не удерживает последние слабые листья, которые уносит резкий осенний ветер.

Что лучше? Мудрено сказать.

Одно ведет к блаженству безумия.

Другое — к несчастию знания.

Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимает все. Другое ничем не обеспечено, зато многое дает. Я избираю знание, и пусть оно лишит меня последних утешений, я пойду нравственным нищим по белому свету,— но с корнем вон детские надежды, отроческие упованья! — Все их под суд неподкупного разума!

Внутри человека есть постоянный революционный трибунал, есть беспощадный Фукье-Тинвиль и, главное, есть гильотина. Иногда судья засыпает, гильотина ржавеет, ложное, прошедшее, романтическое, слабое поднимает голову, обживается, и вдруг какой-нибудь дикий удар будит оплошный суд, дремлющего палача, и тогда начинается свирепая расправа — малейшая уступка, пощада, сожаление ведут к прошедшему, оставляют цепи. Выбора нет: или казнить и идти вперед, или миловать и запнуться на полдороге.

Кто не помнит своего логического романа, кто не помнит, как в его душу попала первая мысль сомнения, первая смелость исследования — и как она захватила потом более и более и дотрогивалась до святейших достояний души? Это-то и есть страшный суд разума. Казнить верования не так легко, как кажется; трудно расставаться с мыслями, с которыми мы выросли, сжились, которые нас лелеяли, утешали,— пожертвовать ими кажется неблагодарностью. Да, но в этой среде, в которой стоит трибунал, там нет благодарности, там неизвестно святотатство, и если революция, как Сатурн, ест своих детей, то отрицание, как Нерон, убивает свою мать, чтоб отделаться от прошедшего [13]. Люди боятся своей логики и, опрометчиво вызвав перед ее суд церковь и государство, семью и нравственность, добро и зло,— стремятся спасти клочки, отрывки старого. Отказываясь от христианства, берегут бессмертие души, идеализм, провидение. Люди, шедшие вместе, тут расходятся, одни идут направо, другие налево; одни замирают на полдороге, как верстовые столбы, показывая, сколько пройдено, другие бросают последнюю ношу прошедшего и идут бодро вперед. Переходя из старого мира в новый, ничего нельзя взять с собою.

Разум беспощаден, как Конвент, нелицеприятен и строг, он ни на чем не останавливается и требует на лавку подсудимых самое верховное бытие, для доброго короля теологии настает 21 января [14]. Этот процесс, как процесс Людовика XVI,— пробный камень для жирондистов; все слабое, половинчатое или бежит, или лжет, не подает голоса или подает без веры. Между тем люди, произнесшие приговор, думают, что, казнивши короля, нечего больше казнить, что 22 января республика готова и счастлива. Как будто достаточно атеизма, чтоб не иметь религии, как будто достаточно убить Людовика XVI, чтоб не было монархии. Удивительное сходство феноменологии террора и логики. Террор именно начался после казни короля, вслед за ним явились на помосте благородные отроки революции, блестящие, красноречивые, слабые. Жаль их, но спасти невозможно, и головы их пали, а за ними покатилась львиная голова Дантона и голова баловня революции, Камиль Демулена.— Ну, теперь, теперь, по крайней мере, кончено? Нет, теперь черед неподкупных палачей, они будут казнены за то, что верили в возможность демократии во Франции, за то, что казнили во имя равенства, да, казнены, как Анахарсис Клооц, мечтавший о братстве народов, за несколько дней до Наполеоновской эпохи, за несколько лет до Венского конгресса.

Не будет миру свободы, пока все религиозное, политическое не превратится в человеческое, простое, подлежащее критике и отрицанию. Возмужалая логика ненавидит канонизированные истины, она их расстригает из ангельского чина в людской, она из священных таинств делает явные истины, она ничего не считает неприкосновенным, и, если республика присвоивает себе такие же права, как монархия,— презирает ее, как монархию,— нет, гораздо больше. Монархия не имеет смысла, она держится насилием, а от имени «республика» сильнее бьется сердце; монархия сама по себе религия, у республики нет мистических отговорок, нет божественного права, она с нами стоит на одной почве. Мало ненавидеть корону, надобно перестать уважать и фригийскую шапку; мало не признавать преступлением оскорбление величества, надобно признавать преступным salus populi [15]. Пора человеку потребовать к суду: республику, законодательство, представительство, все понятия о гражданине и его отношениях к другим и к государству. Казней будет много; близким, дорогим надобно пожертвовать — мудрено ли жертвовать ненавистным? В том-то и дело, чтоб отдать дорогое, если мы убедимся, что оно не истинно. И в этом наше действительное дело. Мы не призваны собирать плод, но призваны быть палачами прошедшего, казнить, преследовать его, узнавать его во всех одеждах и приносить на жертву будущему. Оно торжествует фактически, погубим его в идее, в убеждении, во имя человеческой мысли. Уступок делать некому — трехцветное знамя уступок слишком замарано [16], оно долго не просохнет от июньской крови. И кого, в самом деле, щадить? Все элементы разрушающейся веси являются во всей жалкой нелепости, во всем отвратительном безумии своем.— Что вы уважаете? *Народное* правительство, что ли? — Кого вам жаль? — Может быть, Париж?

Три месяца люди, избранные всеобщей подачей голосов, люди выборные всей земли французской ничего не делали и вдруг стали во весь рост, чтоб показать миру зрелище невиданное — восьмисот человек, действующих, как один злодей, как один изверг [17]. Кровь лилась реками, а они не нашли слова любви, примирения; все великодушное, человеческое покрывалось воплем мести и негодования, голос умирающего Аффра [18] не мог тронуть этого многоголового Калигулу, этого Бурбона, разменного на медные гроши; они прижали к сердцу Национальную гвардию, расстреливавшую безоружных, Сенар благословлял Каваньяка, и Каваньяк умильно плакал, исполнив все злодейства, указанные адвокатским пальцем представителей. А грозное

меньшинство притаилось, *Гора* скрылась за облаками, довольная, что ее не расстреляли, не сгноили в подвалах [19]; молча смотрела она, как обирают оружие у граждан, как декретируют депортацию, как сажают в тюрьму людей за все на свете — за то, что они не стреляли в своих братий.

Убийство в эти страшные дни сделалось обязанностью; человек, не отмочивший себе рук в пролетарской крови, становился подозрителен для мещан... По крайней мере большинство имело твердость быть злодеем. А эти жалкие друзья народа, риторы, пустые сердца!.. Один мужественный плач, одно великое негодование и раздалось, и то вне Камеры. Мрачное проклятие старца Ламенне останется на голове бездушных каннибалов [20], и всего ярче выступит на лбу малодушных, которые, произнеся слово «республика», испугались смысла его.

Париж! Как долго это имя горело путеводной звездой народов; кто не любил, кто не поклонялся ему? — но его время миновало, пускай он идет со сцены. В июньские дни он завязал великую борьбу, которую ему не развязать. Париж состарелся — и юношеские мечты ему больше не идут; для того, чтоб оживиться, ему нужны сильные потрясения, варфоломеевские ночи, сентябрьские дни [21]. Но июньские ужасы не оживили его; откуда же возьмет дряхлый вампир еще крови, крови праведников, той крови, которая 27 июня отражала огонь плошек, зажженных ликующими мещанами? [22] Париж любил играть в солдаты, он посадил императором счастливого солдата, он рукоплескал злодействам, называемым победою, он воздвигал статуи, он мещанскую фигуру маленького капрала опять поставил, через пятнадцать лет, на колонну [23], он с благоговением переносил прах водворителя рабства [24], он и теперь надеялся найти в солдатах якорь спасения от свободы и равенства, он позвал дикие орды одичалых африканцев против братий своих, чтоб не делиться с ними, и зарезал их бездушной рукой убийц по ремеслу. Пусть же он несет последствие своих дел, своих ошибок... Париж расстреливал без суда... Что выйдет из этой крови? — кто знает; но что бы ни вышло, довольно, что в этом разгаре бешенства, мести, раздора, возмездия погибнет мир, теснящий нового человека, мешающий ему жить, мешающий водвориться будущему,— и это прекрасно, а потому — да здравствует хаос и разрушение!

Vive la mort! [25]

И да водружится будущее!

Париж, 24 июля 1848 г.

III

LVII ГОД РЕСПУБЛИКИ, ЕДИНОЙ И НЕРАЗДЕЛЬНОЙ

Ce n'est pas le socialisme, c'est la republique![1]

Речь Ледрю-Роллена в Шале
22 сентября 1848 года

На днях праздновали первое вандемиера пятьдесят седьмого года [2]. В Шале на Елисейских Полях собрались все аристократы демократической республики, все алые члены Собрания. К концу обеда Ледрю-Роллен произнес блестящую речь. Речь его, наполненная *красных* роз для республики и колючих шипов для правительства, имела полный успех и заслуживала его. Когда он кончил, раздалось громкое «Vive la République démocratique!» [3]. Все встали и стройно, торжественно, без шляп, запели «Марсельезу». Слова Ледрю-Роллена, звуки заветной песни освобождения и бокалы вина, в свою очередь, одушевили все лица; глаза горели, и тем более горели, что не все бродившее в голове являлось на губах. Барабан лагеря Елисейских Полей напоминал, что неприятель близко, что осадное положение и солдатская диктатура продолжаются.

Большая часть гостей были люди в цвете лет, но уже больше или меньше искусившие свои силы на политической арене. Шумно, горячо говорили они между собою. Сколько энергии, отваги, благородства в характере французов, когда они еще не подавили в себе хорошего начала своей национальности или уже вырвались из мелкой и грязной среды мещанства, которое, как тина, покрывает зеленью своей всю Францию! Что за мужественное, решительное выражение в лицах, что за стремительная готовность подтвердить делом — слово, сейчас идти на бой, стать под пулю, казнить, быть казненным. Я долго смотрел на них, и мало-помалу невыносимая грусть поднялась во мне и налегла на все мысли; мне стало смертельно жаль эту кучку людей — благородных, преданных, умных, даровитых, чуть ли не лучший цвет нового поколения... Не думайте, что мне стало их жаль потому, что, может быть, они не доживут до 1-го брюмера или до 1-го нивоза 57-го года, что, может, через неделю они погибнут на баррикадах, пропадут на галерах, в депортации, на гильотине или, по новой моде, их, может, перестреляют с связанными руками,

загнавши куда-нибудь в угол Карусельской площади или под внешние форты,— все это очень печально, но я не об этом жалел, грусть моя была глубже.

Мне было жаль их откровенное заблуждение, их добросовестную веру в несбыточные вещи, их горячее упование, столько же чистое и столько же призрачное, как рыцарство Дон-Кихота. Мне было жаль их, как врачу бывает жаль людей, не подозревающих страшного недуга в груди своей.— Сколько нравственных страданий готовят себе эти люди — они будут биться, как герои, они будут работать всю жизнь и не успеют. Они отдадут кровь, силы, жизнь и, состарившись, увидят, что из их труда ничего не вышло, что они делали не то, что надобно, и умрут с горьким сомнением в человека, который не виноват; или — еще хуже — впадут в ребячество и будут, как теперь, ждать всякий день огромной перемены, водворения *их* республики,— принимая предсмертные муки умирающего за страдания, предшествующие родам. Республика — *так, как они ее понимают*,— отвлеченная и неудобоисполнимая мысль, плод теоретических дум, апотеоза существующего государственного порядка, преображение *того, что есть;* их республика — последняя мечта, поэтический бред старого мира. В этом бреду есть и пророчество, но пророчество, относящееся к жизни за гробом, к жизни будущего века. Вот чего они — люди прошедшего, несмотря на революционность свою, связанные с старым миром на живот и на смерть,— не могут понять. Они воображают, что этот дряхлый мир может, как Улисс, поюнеть,— не замечая того, что осуществление одной закраины *их* республики мгновенно убьет его; они не знают, что нет круче противоречия, как между их идеалом и существующим порядком, что одно должно умереть, чтоб другому можно было жить. Они не могут выйти из старых форм, они их принимают за какие-то вечные границы, и оттого их идеал носит только имя и цвет будущего, а в сущности принадлежит миру прошедшему, не отрешается от него.

Зачем они не знают этого?

Роковая ошибка их состоит в том, что, увлеченные благородной любовью к ближнему, к свободе, увлеченные нетерпением и негодованием, они бросились освобождать людей прежде, нежели сами освободились; они нашли в себе силу порвать железные, грубые цепи, не замечая того, что стены тюрьмы остались. Они хотят, не меняя стен, дать им иное назначение, как будто план острога может годиться для свободной жизни.

Ветхий мир католико-феодальный дал все видоизмене-

ния, к которым он был способен, развился во все стороны до высшей степени изящного и отвратительного, до обличения всей истины, в нем заключенной, и всей лжи; наконец он истощился. Он может еще долго стоять, но обновляться не может; общественная мысль, развивающаяся теперь, такова, что каждый шаг к осуществлению ее будет выход из него. Выход! — Тут-то и остановка! Куда? Что там за его стенами? Страх берет — пустота, ширина, воля... как идти, не зная куда; как терять, не видя приобретений! — Если б Колумб так рассуждал, он никогда не снял бы якоря.— Сумасшествие ехать по океану, не зная дороги,— по океану, по которому никто не ездил, плыть в страну, существование которой — вопрос. Этим сумасшествием он открыл новый мир. Конечно, если б народы переезжали из одного готового hôtel garni [4] в другой, еще лучший, было бы легче, да беда в том, что некому заготовлять новых квартир. В будущем хуже, нежели в океане,— ничего нет, оно будет таким, каким его сделают обстоятельства и люди.

Если вы довольны старым миром, старайтесь его сохранить, он очень хил, и надолго его не станет при таких толчках, как 24 февраля; но если вам невыносимо жить в вечном раздоре убеждений с жизнию, думать одно и делать другое, выходите из-под выбеленных, средневековых сводов на свой страх; отважная дерзость в иных случаях выше всякой мудрости. Я очень знаю, что это не легко; шутка ли расстаться со всем, к чему человек привык со дня рождения, с чем вместе рос и вырос. Люди, о которых мы говорим, готовы на страшные жертвы, но не на те, которые от них требует новая жизнь. Готовы ли они пожертвовать современной цивилизацией, образом жизни, религией, принятой условной нравственностью? Готовы ли они лишиться всех плодов, выработанных с такими усилиями,— плодов, которыми мы хвастаемся три столетия, которые нам так дороги, *лишиться* всех удобств и прелестей нашего существования, предпочесть дикую юность — образованной дряхлости, необработанную почву, непроходимые леса — истощенным полям и расчищенным паркам, сломать свой наследственный замок из одного удовольствия участвовать в закладке нового дома, который построится, без сомнения, гораздо после нас? Это вопрос безумного, скажут многие.— Его делал Христос иными словами.

Либералы долго играли, шутили с идеей революции и дошутились до 24 февраля. Народный ураган поставил их на вершину колокольни и указал им, куда они идут и куда ведут других; посмотревши на пропасть, открывавшуюся перед их глазами, они побледнели; они увидели, что не

только то падает, что они считали за предрассудок, но и все остальное, что они считали за вечное и истинное; они до того перепугались, что одни уцепились за падающие стены, а другие остановились кающимися на полдороге и стали клясться всем прохожим, что они этого не хотели. Вот отчего люди, провозглашавшие республику, сделались палачами свободы, вот отчего либеральные имена, звучавшие в ушах наших лет двадцать, являются ретроградными депутатами, изменниками, инквизиторами. Они хотят свободы, даже республики в известном круге, литературно образованном. За пределами своего умеренного круга они становятся консерваторами. Так рационалистам нравилось объяснять тайны религии, им нравилось раскрывать значение и смысл мифов, они не думали, что из этого выйдет, не думали, что их исследования, начинающиеся со страха господня, окончатся атеизмом, что их критика церковных обрядов приведет к отрицанию религии.

Либералы всех стран, со времени Реставрации, звали народы на низвержение монархически-феодального устройства во имя равенства, во имя слез несчастного, во имя страданий притесненного, во имя голода неимущего; они радовались, гоняя до упаду министров, от которых требовали неудобоисполнимого, они радовались, когда одна феодальная подставка падала за другой, и до того увлеклись наконец, что перешли собственные желания. Они опомнились, когда из-за полуразрушенных стен явился — не в книгах, не в парламентской болтовне, не в филантропических разглагольствованиях, а на самом деле — пролетарий, работник с топором и черными руками, голодный и едва одетый рубищем. Этот «несчастный, обделенный брат», о котором столько говорили, которого так жалели, спросил, наконец, где же *его* доля во всех благах, в чем *его* свобода, *его* равенство, *его* братство. Либералы удивились дерзости и неблагодарности работника, взяли приступом улицы Парижа, покрыли их трупами и спрятались от *брата* за штыками осадного положения, спасая *цивилизацию и порядок!*

Они правы, только они непоследовательны. Зачем же они прежде подламывали монархию? Как же они не поняли, что, уничтожая монархический принцип, революция не может остановиться на том, чтоб вытолкать за дверь какую-нибудь династию. Они радовались, как дети, что Людовик-Филипп не успел доехать до С.-Клу, а уж в Hôtel de Ville явилось новое правительство и дело пошло своим чередом, в то время как эта легкость переворота должна им была показать несущественность его. Либералы были удовлетво-

рены. Но народ не был удовлетворен, но народ поднял теперь свой голос, он повторял их слова, их обещания, а они, как Петр, троекратно отреклись и от слов и от обещания [5], как только увидели, что дело идет не на шутку,— и начали убийства. Так Лютер и Кальвин топили *анабаптистов,* так протестанты отрекались от Гегеля и гегелисты — от Фейербаха. Таково положение *реформаторов* вообще, они, собственно, наводят только понтоны, по которым увлеченные ими народы переходят с одного берега на другой. Для них нет среды лучше, как конституционное сумрачное ни то ни се. И в этом-то мире словопрений, раздора, непримиримых противуречий, не изменяя его, хотели эти суетные люди осуществить свои pia desideria [6] свободы, равенства и братства.

Формы европейской гражданственности, ее цивилизация, ее добро и зло разочтены по другой сущности, развились из иных понятий, сложились по иным потребностям. До некоторой степени формы эти, как все живое, были изменяемы, но, как все живое, изменяемы до *некоторой степени;* организм может воспитываться, отклоняться от назначения, прилаживаться к влияниям до тех пор, пока отклонения не отрицают его особности, его индивидуальности, то, что составляет его личность; как скоро организм встречает такого рода влияния, делается борьба, и организм побеждает или гибнет. Явление смерти в том и состоит, что составные части организма получают иную цель, они не пропадают, пропадает личность, а они вступают в ряд совсем других отношений, явлений.

Государственные формы Франции и других европейских держав не совместны по внутреннему своему понятию ни с свободой, ни с равенством, ни с братством, всякое осуществление этих идей будет отрицанием современной европейской жизни, ее смертью. Никакая конституция, никакое правительство не в состоянии дать феодально-монархическим государствам истинной свободы и равенства — не разрушая дотла все феодальное и монархическое. Европейская жизнь, христианская и аристократическая, образовала нашу цивилизацию, наши понятия, наш быт; ей необходима христианская и аристократическая среда. Среда эта могла развиваться сообразно с духом времени, с степенью образования, сохраняя свою сущность, в католическом Риме, в кощунствующем Париже, в философствующей Германии; но далее идти нельзя, не переступая границу. В разных частях Европы люди могут быть посвободнее, поравнее, нигде не могут они быть свободны и равны — пока существует *эта* гражданская форма, пока

существует *эта* цивилизация. Это знали все умные консерваторы и оттого поддерживали всеми силами старое устройство. Неужели вы думаете, что Меттерних и Гизо не видели несправедливости общественного порядка, их окружавшего? — но они видели, что эти несправедливости так глубоко вплетены во весь организм, что стоит коснуться до них — все здание рухнется; поняв это, они стали стражами status quo. А либералы разнуздали демократию да и хотят воротиться к прежнему порядку. Кто же правее?

В сущности, само собою разумеется, все неправы — и Гизо, и Меттернихи, и Каваньяки, все они делали действительные злодеяния из-за мнимой цели, они теснили, губили, лили кровь для того, чтоб задержать смерть. Ни Меттерних с своим умом, ни Каваньяк с своими солдатами, ни республиканцы с своим непониманием не могут в самом деле остановить поток, течение которого так сильно обозначилось, только вместо облегчения они усыпают людям путь толченым стеклом. Идущие народы пройдут, хуже, труднее, изрежут себе ноги, но все-таки пройдут; сила социальных идей велика, особенно с тех пор, как их начал понимать истинный враг, враг по *праву* существующего гражданского порядка — пролетарий, работник, которому досталась вся горечь этой формы жизни и которого миновали все ее плоды. Нам еще жаль старый порядок вещей, кому же и пожалеть его, как не нам? Он только для нас и был хорош, мы воспитаны им, мы его любимые дети, мы сознаемся, что ему надобно умереть, но не можем ему отказать в слезе. Ну, а массы, задавленные работой, изнуренные голодом, притупленные невежеством, они о чем будут плакать на его похоронах?.. Они были эти не приглашенные на пир жизни, о которых говорит Мальтюс [7], их *подавленность* была необходимым условием нашей жизни.

Все наше образование, наше литературное и научное развитие, наша любовь изящного, наши занятия предполагают среду, постоянно расчищаемую *другими*, приготовляемую *другими;* надобен *чей-то* труд для того, чтоб нам доставить досуг, необходимый для нашего психического развития, тот досуг, ту деятельную праздность, которая способствует мыслителю сосредоточиваться, поэту мечтать, эпикурейцу наслаждаться, которая способствует пышному, капризному, поэтическому, богатому развитию наших аристократических индивидуальностей.

Кто не знает, какую свежесть духу придает беззаботное довольство; бедность, вырабатывающаяся до Жильбера,— исключение, бедность страшно искажает душу человека — не меньше богатства. Забота об одних материальных нуж-

дах подавляет способности. А разве довольство может быть доступно всем при современной гражданской форме? Наша цивилизация — цивилизация меньшинства, она только возможна при большинстве чернорабочих. Я не моралист и не сентиментальный человек; мне кажется, если меньшинству было действительно хорошо и привольно, если большинство молчало, то эта форма жизни в прошедшем оправдана. Я не жалею о двадцати поколениях немцев, потраченных на то, чтоб сделать возможным Гёте, и радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина. Природа безжалостна; точно как известное дерево, она мать и мачеха вместе; она ничего не имеет против того, что две трети ее произведений идут на питание одной трети, лишь бы они развивались. Когда не могут все хорошо жить, пусть живут несколько, пусть живет один — на счет других, лишь бы кому-нибудь было хорошо и широко. Только с этой точки и можно понять аристократию. Аристократия — вообще более или менее образованная антропофагия; каннибал, который ест своего невольника, помещик, который берет страшный процент с земли, фабрикант, который богатеет на счет своего работника, составляют только видоизменения одного и того же людоедства. Я, впрочем, готов защищать и самую грубую антропофагию; если один человек себя рассматривает как блюдо, а другой хочет его съесть — пусть ест; они стоят того — один, чтоб быть людоедом, другой, чтоб быть кушанием.

Пока развитое меньшинство, поглощая жизнь поколений, едва догадывалось, отчего ему так ловко жить; пока большинство, работая день и ночь, не совсем догадывалось, что вся выгода работы — для других, и те и другие считали это естественным порядком, мир антропофагии мог держаться. Люди часто принимают предрассудок, привычку за истину,— и тогда она их не теснит; но когда они однажды поняли, что их истина — вздор, дело кончено, тогда только силою можно заставить делать то, что человек считает нелепым. Учредите постные дни без веры? Ни под каким видом; человеку сделается так же невыносимо есть постное, как верующему есть скоромное.

Работник не хочет больше работать для другого — вот вам и конец антропофагии, вот предел аристократии. Все дело остановилось теперь за тем, что работники не сосчитали своих сил, что крестьяне отстали в образовании; когда они протянут друг другу руку,— тогда вы распроститесь с вашим досугом, с вашей роскошью, с вашей цивилизацией, тогда окончится поглощение большинства на выработывание светлой и роскошной жизни меньшинству. В идее

теперь уже кончена эксплуатация человека человеком. Кончена потому, что никто не считает это отношение справедливым!

Как же этот мир устоит против социального переворота? во имя чего будет он себя отстаивать? — религия его ослабла, монархический принцип потерял авторитет; он поддерживается страхом и насилием; демократический принцип — рак, снедающий его изнутри.

Духота, тягость, усталь, отвращение от жизни распространяются вместе с судорожными попытками куда-нибудь выйти. Всем на свете стало дурно жить — это великий признак.

Где эта тихая, созерцательная, кабинетная жизнь в сфере знания и искусств, в которой жили германцы; где этот вихрь веселья, остроты, либерализма, нарядов, песен, в котором кружился Париж? Все это — прошедшее, воспоминание. Последнее усилие спасти старый мир обновлением из его собственных начал не удалось.

Все мельчает и вянет на истощенной почве — нету талантов, нету творчества, нету силы мысли,— нету силы воли; мир этот пережил эпоху своей славы, время Шиллера и Гёте прошло так же, как время Рафаэля и Бонарроти, как время Вольтера и Руссо, как время Мирабо и Дантона; блестящая эпоха индустрии проходит, она пережита так, как блестящая эпоха аристократии; все нищают, не обогащая никого; кредиту нет, все перебиваются с дня на день, образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, все живут, как лавочники, нравы мелкой буржуази сделались общими; никто не берет оседлости; все на время, наемно, шатко. Это то тяжелое время, которое давило людей в третьем столетии, когда самые пороки древнего Рима утратились, когда императоры стали вялы, легионы мирны. Тоска мучила людей энергических и беспокойных до того, что они толпами бежали куда-нибудь в фиваидские степи, кидая на площадь мешки золота и расставаясь навек и с родиной, и с прежними богами.— Это время настает для нас, тоска наша растет!

Кайтесь, господа, кайтесь! Суд миру вашему пришел. Не спасти вам его ни осадным положением, ни республикой, ни казнями, ни благотворениями, ни даже разделением полей. Может быть, судьба его не была бы так печальна, если б его не защищали с таким усердием и упорством, с такой безнадежной ограниченностью. Никакое перемирие не поможет теперь во Франции; враждебные партии не могут ни объясниться, ни понять друг друга, у них разные логики, два разума. Когда вопросы становятся так, нет

выхода — кроме борьбы, один из двух должен остаться на месте — монархия или социализм.

Подумайте, у кого больше шансов? Я предлагаю пари за социализм. «Мудрено себе представить!» — Мудрено было и христианству восторжествовать над Римом. Я часто воображаю, как Тацит или Плиний умно рассуждали с своими приятелями об этой нелепой секте назареев, об этих Пьер Ле-Ру, пришедших из Иудеи с энергической и полубезумной речью, о тогдашнем Прудоне, явившемся в самый Рим проповедовать конец Рима. Гордо и мощно стояла империя в противуположность этим бедным пропагандистам — а не устояла однако.

Или вы не видите новых христиан, идущих строить, новых варваров, идущих разрушать? — Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землею, внутри гор. Когда настанет их час — Геркуланум и Помпея исчезнут, хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете. Ведь это они умирают от голода, от холода, они ропщут над нашей головой и под нашими ногами, на чердаках и в подвалах, в то время как мы с вами au premier [8],

Шампанским вафли запивая [9],

толкуем о социализме. Я знаю, что это не новость, что оно и прежде было так, но прежде они не догадывались, что это *очень глупо*.

— Но неужели будущая форма жизни вместо прогресса должна водвориться ночью варварства, должна купиться утратами? — Не знаю, но думаю, что образованному меньшинству, если оно доживет до этого разгрома и не закалится в свежих, новых понятиях, жить будет хуже. Многие возмущаются против этого, я нахожу это утешительным, для меня в этих утратах доказательство, что каждая историческая фаза имеет полную действительность, свою индивидуальность, что каждая — достигнутая цель, а не средство; оттого у каждой свое благо, свое хорошее, лично принадлежащее ей и которое с нею гибнет. Что вы думаете, римские патриции много выиграли в образе жизни, перешедши в христианство? или аристократы до революции разве не лучше жили, нежели мы с вами живем?

— Все это так, но мысль о крутом и насильственном перевороте имеет в себе что-то отталкивающее для многих. Люди, видящие, что перемена необходима, желали бы, чтоб

она сделалась исподволь. Сама природа, говорят они, по мере того как она складывалась и становилась богаче, развитее, перестала прибегать к тем страшным катаклизмам, о которых свидетельствует кора земного шара, наполненная костями целых населений, погибнувших в ее перевороты; тем более стройная, покойная метаморфоза свойственна той степени развития природы, в которой она достигла сознания.

— Она достигла его несколькими головами, малым числом избранных, остальные достигают еще и оттого покорены Naturgewalt'am [10], инстинктам, темным влечениям, страстям. Для того, чтоб мысль, ясная и разумная для вас, была мыслию другого,— недостаточно, чтоб она была истинна,— для этого нужно, чтоб его мозг был развит так же, как ваш, чтоб он был освобожден от предания. Как вы уговорите работника терпеть голод и нужду, пока исподволь переменится гражданское устройство? Как вы убедите собственника, ростовщика, хозяина разжать руку, которой он держится за свои монополи и права? Трудно представить себе такое самоотвержение. Что можно было сделать — сделано; развитие среднего сословия, конституционный порядок дел — не что иное, как промежуточная форма, связующая мир феодально-монархический с социально-республиканским. Буржуазия именно представляет это полуосвобождение, эту дерзкую нападку на прошедшее с желанием унаследовать его власть. Она работала для себя — и была права. Человек серьезно делает что-нибудь только тогда, когда делает для себя. Не могла же буржуазия себя принимать за уродливое промежуточное звено, она принимала себя за цель; но так как ее нравственный принцип был меньше и беднее прошлого, а развитие идет быстрее и быстрее, то и нечему дивиться, что мир буржуази истощился так скоро и не имеет в себе более возможности обновления. Наконец, подумайте, в чем может быть этот переворот исподволь — в раздроблении собственности, вроде того, что было сделано в первую революцию? — Результат этого будет тот, что всем на свете будет мерзко; мелкий собственник — худший буржуа из всех; все силы, таящиеся теперь в многострадальной, но мощной груди пролетария, иссякнут; правда, он не будет умирать с голода, да на том и остановится, ограниченный своим клочком земли или своей каморкой в работничьих казармах. Такова перспектива мирного, органического переворота. Если это будет, тогда главный поток истории найдет себе другое русло, он не потеряется в песке и глине, как Рейн, человечество не пойдет узким и грязным проселком,— ему надобно широ-

кую дорогу. Для того, чтоб расчистить ее, оно ничего не пожалеет.

В природе консерватизм так же силен, как революционный элемент. Природа дозволяет жить старому и ненужному, пока можно; но она не пожалела мамонтов и мастодонтов для того, чтоб уладить земной шар. Переворот, их погубивший, не был направлен *против них;* если б они могли как-нибудь спастись, они бы уцелели и потом спокойно и мирно выродились бы, окруженные средой, им не свойственной. Мамонты, которых кости и кожу находят в сибирских льдах, вероятно, спаслись от геологического переворота; это Комнены, Палеологи в феодальном мире [11]. Природа ничего не имеет против этого, так же, как история. Мы ей подкладываем сентиментальную личность и наши страсти, мы забываем наш метафорический язык и принимаем образ выражения за самое дело. Не замечая нелепости, мы вносим маленькие правила нашего домашнего хозяйства во всемирную экономию, для которой жизнь поколений, народов, целых планет не имеет никакой важности в отношении к общему развитию. В противуположность нам, субъективным, любящим одно личное, для природы гибель частного — исполнение той же необходимости, той же игры жизни, как возникновение его; она не жалеет об нем потому, что из ее широких объятий ничего не может утратиться, как ни изменяйся.

1 октября 1848 года.

Champs Elysées

IV

VIXERUNT! [1]

Смертию смерть поправ.

Заутреня перед Светлым воскресением

Двадцатое ноября 1848 года [2], в Париже, погода была ужасная, суровый ветер с преждевременным снегом и инеем в первый раз после лета напоминал о приближении зимы. Зимы ждут здесь как общественного несчастия, неимущие приготовляются дрогнуть в нетопленных мансардах, без теплой одежды, без достаточной пищи; смертность увеличивается в эти два месяца изморози, гололедицы и сырости; лихорадки изнуряют и лишают силы рабочих людей.

В этот день совсем не рассветало, мокрый снег, тая, падал беспрерывно в туманном воздухе, ветер рвал шляпы и с ожесточением тормошил сотни трехцветных флагов, привязанных к высоким шестам около площади Согласия. Густыми массами стояли на ней войска и народная стража, в воротах тюльерийского сада был разбит какой-то намет с христианским крестом наверху; от сада до обелиска площадь, оцепленная солдатами, была пуста. Линейные полки, мобиль, уланы, драгуны, артиллерия наполняли все улицы, идущие к площади. Незнавшему нельзя было догадаться, что тут готовилось... Не снова ли царская казнь... не объявление ли, что отечество в опасности?.. Нет, это было 21 января не для короля, а для народа, для революции... это были похороны 24 февраля.

Часу в девятом утра нестройная кучка пожилых людей стала пробираться через мост; печально плелись они, поднявши воротники пальто и выискивая нетвердой ногой, где посуше ступить. Перед ними шли двое вожатых [3]. Один, закутанный в африканский кабан, едва выказывал жесткие, суровые черты средневекового кондотьера; в его исхудалом и болезненном лице не примешивалось ничего человеческого, смягчающего к чертам хищной птицы; от хилой фигуры его веяло бедой и несчастием. Другой, толстый, разодетый, с кудрявыми седыми волосами, шел в одном фраке, с видом изученной, оскорбительной небрежности; на его лице, некогда красивом, осталось одно

выражение сладострастно-сознательного довольства почетом, своим местом.

Никакое приветствие не встретило их, одни покорные ружья брякнули на караул. В то же время, с противуположной стороны, от Мадлены, двигалась другая кучка людей, еще более странных, в средневековом наряде, в митрах и ризах; окруженные кадильницами, с четками и молитвенниками, они казались давно умершими и забытыми тенями феодальных веков.

Зачем шли те и другие?

Одни шли провозглашать под охраною ста тысячи штыков *народную волю,* уложение, составленное под выстрелами, обсуженное в осадном положении — во имя *свободы, равенства и братства*; другие шли благословить этот плод философии и революции *во имя отца и сына и святого духа!*

Народ не пришел даже взглянуть на эту пародию. Он грустными толпами гулял около общего гроба всех падших за него братий, около Июльской колонны [4]. Мелкие лавочники, разносчики, сидельцы, дворники близлежащих домов, трактирные слуги да наша братья — иностранные туристы — составляли кайму за шпалерами войск и вооруженных буржуа. Но и эти зрители смотрели с удивлением на чтение, которого слышать было невозможно, на маскарадные платья судей — красные, черные, с мехом и без меха, на снег, который хлестал в глаза, на боевой порядок войск, которому придавали что-то грозное выстрелы с эспланады Инвалидного дома. Солдаты и пальба невольно напоминали июньские дни, сердце сжималось. Лица у всех были озабочены, будто все имели сознание своей неправоты — одни оттого, что совершают преступление, другие оттого, что участвуют в нем, допустив его. При малейшем шорохе, шуме тысячи голов оборачивались, ожидая вслед за тем свист пули, крик восстания, мерный звук набата. Вьюга продолжалась. Войска, промокнувшие до костей, роптали; наконец, ударил барабан, масса шевельнулась, и началась бесконечная дефилея под бедные звуки «Mourir pour la patrie», которыми заменили великую «Марсельезу» [5].

Около этого времени молодой человек, с которым мы уже знакомы [6], продрался сквозь толпу к человеку средних лет и сказал ему с знаками истинной радости:

— Вот неожиданное счастье, я не знал, что вы здесь.

— Ах, здравствуйте! — отвечал тот, дружески протягивая ему обе руки.— Давно ли вы приехали?

— На днях.

— Откуда?

— Из Италии.

— Ну что, плохо?

— Лучше не говорить... скверно.

— То-то, мой милый мечтатель и идеалист,— я знал, что вы не устоите против февральского искушения и приготовите себе этим много страданий; страдания всегда достигают уровня надежд... Вы всё жаловались на застой, на дремоту в Европе. С этой стороны, кажется, нельзя ее упрекнуть теперь?

— Не смейтесь! Есть обстоятельства, над которыми смеяться нехорошо, какой бы скептицизм ни был в душе. Слез недостает подчас, время ли трунить? Мне, я признаюсь вам, страшно обернуться, страшно вспомнить; году еще нет, как мы с вами расстались, а точно век прошел. Видеть исполняющимися все лучшие упования, все задушевные надежды, видеть возможность их осуществления — и пасть так глубоко, так низко! все утратить — и не в бою, не в борьбе с врагом, а от собственного бессилья, неуменья — это страшно. Мне стыдно встречаться с каким-нибудь легитимистом; они смеются в глаза, и я чувствую, что они правы. Какая школа — не развития, а притупления всех способностей. Я ужасно рад, что столкнулся с вами, у меня, наконец, просто сделалась необходимость вас видеть; я с вами заочно ссорился и мирился, написал как-то вам предлинное письмо и теперь душевно рад, что изодрал его,— оно было полно дерзких надежд, я думал вас побить ими, а теперь мне хотелось бы, чтоб вы окончательно уверили меня, что этот мир гибнет, что ему выхода нет, что ему назначено заглохнуть, порасти травой. Теперь вы меня не огорчите, да, впрочем, я и не ждал облегчения от встречи с вами; от ваших слов мне становится всякий раз тяжеле, а не легче... да я этого-то и хочу... убедите меня, и я завтра еду в Марсель и отправляюсь с первым пароходом в Америку или в Египет, лишь бы вон из Европы. Я устал, я изнемогаю здесь, я чувствую болезнь в груди, в мозгу, я сойду с ума, если останусь.

— Мало нервных болезней упорнее идеализма. Я вас застаю после всех событий, случившихся в последнее время, таким, как оставил. Вы лучше хотите страдать, нежели понимать. Идеалисты — большие баловни и большие трусы; я уж извинялся за это выражение — вы знаете, что тут речь не о личной храбрости, ее почти слишком много. Идеалисты — трусы перед истиной, вы ее отталкиваете, вы боитесь фактов, не идущих под ваши теории. Вы думаете, что, помимо вами открытых путей, нет миру спасе-

ния; вы хотите, чтоб за вашу преданность мир плясал по вашей дудке, и, как только замечаете, что у него свой шаг и свой такт, вы сердитесь, вы в отчаянии, вы даже не имеете любопытства посмотреть на его собственную пляску.

— Называйте как хотите, трусостью или глупостью,— но действительно, у меня нет любопытства видеть этот макабрский танец, у меня нет пристрастия римлян к страшным зрелищам, может, оттого, что я не понимаю всех тонкостей искусства умирать.

— Достоинство любопытства меряется достоинством зрелища. Публика Колизея состояла из той же праздной толпы, которая теснилась на аутодафе, на казнях, сегодня пришла сюда, чтоб чем-нибудь занять внутреннюю пустоту, завтра пойдет с тем же усердием смотреть, как будут вешать кого-нибудь из нынешних героев. Есть другое, более почтенное любопытство, корни его в более здоровой почве, оно ведет к знанию, к изучению, оно мучится об неоткрытой части света, подвергается заразе, чтоб узнать ее свойство.

— Словом, которое имеет в виду пользу, но какая же польза смотреть на умирающего, зная, что время помощи прошло? Это просто поэзия любопытства.

— Для меня это поэтическое любопытство, как вы называете его, чрезвычайно человечественно — я уважаю Плиния, остающегося досматривать грозное извержение Везувия в своей лодке, забывающего явную опасность. Удалиться было благоразумнее и во всяком случае покойнее.

— Я понимаю намек; но сравнение ваше не совсем идет; при гибели Помпеи нечего было делать человеку, смотреть или идти прочь зависело от него. Я хочу уйти не от опасности, а оттого, что не могу остаться дольше; подвергаться опасности гораздо легче, чем кажется издали; но видеть гибель сложа руки, знать, что не принесешь никакой пользы, понимать, чем можно бы помочь, и не иметь возможности передать, указать, растолковать; быть праздным свидетелем, как люди, пораженные каким-то повальным безумием, мятутся, крутятся, губят друг друга, как ломится целая цивилизация, целый мир, вызывая хаос и разрушение,— это выше сил человека. С Везувием нечего делать, но в мире истории человек дома, тут он не только зритель, но и деятель, тут он имеет голос, и, если не может принять участия, он должен протестовать хоть своим отсутствием.

— Человек, конечно, дома в истории,— но из ваших слов можно подумать, что он гость в природе; как будто между природой и историей каменная стена. Я думаю, он

там и тут дома, но ни там, ни тут не самовластный хозяин. Человек оттого не оскорбляется непокорностью природы, что ее самобытность очевидна для него; мы верим в ее действительность, независимую от нас; а в действительность истории, особенно современной, не верим; в истории человеку кажется воля вольная делать что хочет. Все это горькие следы дуализма, от которого так долго двоилось у нас в глазах и мы колебались между двумя оптическими обманами; дуализм утратил свою грубость, но и теперь незаметно остается в нашей душе. Наш язык, наши первые понятия, сделавшиеся естественными от привычки, от повторений, мешают видеть истину. Если б мы не знали с пятилетнего возраста, что история и природа совершенно розное, нам было бы легко понимать, что развитие природы незаметно переходит в развитие человечества; что это две главы одного романа, две фазы одного процесса, очень далекие на закраинах и чрезвычайно близкие в середине. Нас не удивило бы тогда, что доля всего совершающегося в истории покорена физиологии, темным влечениям. Разумеется, законы исторического развития не противуположны законам логики, но они не совпадают в своих путях с путями мысли, так как ничто в природе не совпадает с отвлеченными нормами, которые троит чистый разум. Зная это, устремились бы на изучение, на открытие этих физиологических влияний [7] Делаем ли мы это? Занимался ли кто-нибудь серьезно физиологией общественной жизни, историей как действительно объективной наукой? — никто, ни консерваторы, ни радикалы, ни философы, ни историки.

— Однако действовали много; может, потому, что нам так же естественно делать историю, как пчеле мед, что это не плод размышлений, а внутренняя потребность духа человеческого.

— Вы хотите сказать — инстинкт. Вы правы, он вел, он и теперь еще ведет массы. Но мы не в том положении, мы утратили дикую меткость инстинкта, мы настолько рефлектеры, что заглушили в себе естественные влечения, которыми история пробивается к дальнейшему. Мы вообще городские жители, равно лишенные физического и нравственного такта,— земледелец, моряк знает вперед погоду, а мы нет. У нас осталось от инстинкта одно беспокойное желание действовать — и это прекрасно. Сознательного действия, т. е. такого, которое бы вполне удовлетворяло, не может еще быть, мы действуем ощупью. Мы все пробуем втеснять свои мысли, свои желания — среде, нас окружающей, и эти опыты, постоянно неудачные, служат для нашего воспита-

ния. Вы досадуете, что народы не исполняют мысль, дорогую вам, ясную для вас, что они не умеют спастись оружиями, которые вы им даете,— и перестать страдать; но почему вы думаете, что народ именно должен исполнять вашу мысль, а не свою, именно в это время, а не в другое? уверены ли вы, что средство, вами придуманное, не имеет неудобств; уверены ли вы, что он — понимает его; уверены ли вы, что нет другого средства, что нет целей шире? — Вы можете угадать народную мысль, это будет удача, но скорей вы ошибетесь. Вы и массы принадлежите двум разным образованиям, между вами века, больше, нежели океаны, которые теперь переплывают так легко. Массы полны тайных влечений, полны страстных порывов, у них мысль не разъединилась с фантазией, у них она не остается по-нашему теорией, она у них тотчас переходит в действие, им оттого и трудно привить мысль, что она не шутка для них. Оттого они иногда обгоняют самых смелых мыслителей, увлекают их поневоле, покидают середь дороги тех, которым поклонялись вчера, и отстают от других вопреки очевидности; они дети, они женщины, они капризны, бурны, непостоянны. Вместо того, чтоб изучить эту самобытную физиологию рода человеческого, сродниться, понять ее пути, ее законы, мы принимаемся критиковать, учить, приходить в негодование, сердиться, как будто народы или природа отвечают за что-нибудь, как будто им есть дело, нравится ли нам или не нравится их жизнь, которая влечет их поневоле к неясным целям и безответным действиям! До сих пор это дидактическое, жреческое отношение имело свое оправдание, но теперь оно становится смешно и ведет нас к битой роли — разочарованных. Вы обижены тем, что делается в Европе, вас возмущает эта свирепая, тупая и победоносная реакция; и меня также, но вы, верные романтизму,— сердитесь, хотите бежать для того только, чтоб не видать истины. Я согласен, что пора выходить из нашей искусственной, условной жизни, но не бегством в Америку. Что вы там найдете? Северные Штаты — последнее, опрятное издание того же феодально-христианского текста да еще в грубом английском переводе; год тому назад отъезд ваш не имел бы ничего удивительного — обстоятельства тащились томно, вяло. А как же ехать в пущий разгар перелома, когда все в Европе бродит, работает, когда падают вековые стены, кумир валится за кумиром, когда в Вене научились строить баррикады... [8]

— А в Париже научились их ломать ядрами. Когда вместе с кумирами (которые, впрочем, восстановляются на

другой день) падают навсегда лучшие плоды европейской жизни, так трудно выработанные, выращенные веками. Я вижу суд, я вижу казнь, смерть; но я не вижу ни воскресения, ни помилования. Эта часть света кончила свое, силы ее истощились; народы, живущие в этой полосе, дожили до конца своего призвания, они начинают тупеть, отставать. История, по-видимому, нашла другое русло; я иду туда; вы мне сами доказывали в прошлом году что-то подобное,— помните, на пароходе, когда мы плыли из Генуи в Чивитту.

— Помню, это было *перед грозой*. Только тогда вы возражали мне, а теперь согласились через край. Вы не жизнию, не мыслию дошли до вашего нового взгляда, оттого вместо спокойного характера он имеет у вас характер судорожный; вы дошли до него par dépit [9], от минутного отчаяния, которым вы наивно и без намерения прикрыли прежние надежды. Если б этот взгляд не был в вас капризом будирующего любовника, а просто трезвым знанием того, что делается, вы иначе выражались бы, иначе смотрели бы; вы оставили бы личную rancune [10], вы забыли бы себя, тронутые и исполненные ужаса при виде трагической судьбы, совершающейся перед вашими глазами; но идеалисты скупы на то, чтоб отдаваться; они так же упорно себялюбивы, как монахи, которые переносят всякие лишения, не выпуская из виду себя, свою личность, награду. Чего вы боитесь оставаться здесь? Разве вы уходите из театра при начале пятого действия каждой трагедии, боясь расстроить нервы?.. Судьба Эдипа не облегчится тем, что вы оставите партер, он все так же погибнет. Оставаться до последней сцены лучше; иногда зритель, задавленный несчастием Гамлета, встретит молодого Фортинбраса, полного жизни и надежд. Самое зрелище смерти торжественно — в нем лежит великое поучение... Туча, висевшая над Европой, не дозволявшая никому свободно дышать, разразилась, молния за молнией, удар за ударом, земля трясется, а вы хотите бежать оттого, что Радецкий взял Милан [11], а Каваньяк — Париж. Вот что значит не признавать объективность истории; я ненавижу смирение, но в этих случаях смирение показывает пониманье, тут место покорности перед историей, признания ее. Сверх того, она лучше идет, нежели можно было ожидать. За что же вы сердитесь? Мы приготовлялись зачахнуть, увянуть в нездоровой и утомительной среде медленного старчества, а у Европы вместо маразма открылся тифус; она рушится, разваливается, тает, забывается... забывается до того, что в ее борьбах обе стороны бредят и не понимают больше ни себя, ни врага. Пятое действие трагедии началось 24 февраля;

грусть, трепетное состояние духа совершенно естественно, ни один серьезный человек не глумится при таких событиях, но это далеко от отчаяния и от вашего взгляда. Вы воображаете, что вы отчаиваетесь оттого, что вы революционер, и ошибаетесь; вы отчаиваетесь оттого, что вы консерватор.

— Очень благодарен; по-вашему, я стою на одной доске с Радецким и Виндишгрецом.

— Нет, вы гораздо хуже. Какой же консерватор Радецкий? Он все ломает, он чуть не подорвал порохом миланский собор. Неужели вы серьезно полагаете, что это консерватизм, когда дикие кроаты берут приступом австрийские города и не оставляют там камня на камне? Ни они, ни их генералы не знают, что делают, но только они *не хранят*. Вы всё судите по знаменам: эти за императора — консерваторы, эти за республику — революционеры. Нынче монархическое начало и консерватизм дерутся с обеих сторон. Самый вредный консерватизм тот, который со стороны республики, тот, который проповедуете вы.

— Однако не мешало бы сказать, что я стремлюсь сохранить, в чем именно вы находите мой *революционный* консерватизм.

— Скажите, ведь вам досадно, что конституция, которую сегодня провозглашают, так глупа?

— Разумеется.

— Вас сердит, что движение в Германии ушло сквозь франкфуртскую воронку и исчезло [12], что Карл-Альберт не отстоял независимости Италии, что Пий IX оказывается как-то из рук вон плох?

— Что же из этого? Я не хочу и защищаться.

— Это-то и есть консерватизм. Если б ваши желания исполнились, вышло бы торжественное оправдание старого мйра. Все было бы оправдано — кроме революции.

— Стало быть, нам остается радоваться, что австрийцы победили Ломбардию?

— Зачем же радоваться? Ни радоваться, ни удивляться; Ломбардия не могла освободиться демонстрациями в Милане и помощию Карла-Альберта.

— Хорошо нам здесь рассуждать об этом sub specie aeternitatis...[13] Впрочем, я умею отделять человека от его диалектики; я уверен, что вы забыли бы все ваши теории перед грудами трупов, перед ограбленными городами, оскорбленными женщинами, перед дикими солдатами в белых мундирах.

— Вы вместо ответа делаете воззвание к состраданию, которое всегда удается. Сердце есть у всех, кроме у нрав-

ственных уродов. Судьбой Милана так же легко тронуть, как судьбою герцогини Ламбаль [14], человеку естественно сострадать; вы не верьте Лукрецию, что нет больше наслаждения, как смотреть с берега на тонущий корабль,— это клевета поэта [15]. Случайные жертвы, падающие от дикой силы, возмущают все нравственное существо наше. Я не видал Радецкого в Милане, но видел чуму в Александрии, я знаю, как эти роковые бичи унижают, оскорбляют человека, но на этом плаче останавливаться — бедно, слабо. Рядом с негодованием в душе является непреоборимое желание противудействия, борьбы, исследования, изыскания средств, причин. Чувствительностию не разрешишь этих вопросов. Доктора рассуждают о труднобольном не так, как безутешные родственники; они могут в душе плакать, принимать участие, но для борьбы с болезнию надобно пониманье, а не слезы. Наконец, как бы врач ни любил больного, он не должен теряться, он не должен удивляться приближению смерти, неотразимость которой он понял. Впрочем, если вы жалеете *только* людей, гибнувших при этом страшном брожении и разгроме, вы правы; к бесчувственности надобно воспитаться; люди, не имеющие никакого сострадания к ближнему,— военноначальники, министры, судьи, палачи — всею жизнию своей отучали себя от всего человеческого; если б им не удалось это, они остановились бы на полдороге. Ваша скорбь вполне оправдана, и я не имею для вас утешений — разве одни количественные: вспомните, что все случившееся, от восстания в Палерме до взятия Вены [16], не стоило Европе трети людей, погибнувших под Эйлау [17], например. Наши понятия так еще сбиты, что мы не умеем считать падших, если они пали в рядах, куда их привела не охота драться, не убеждение, а *гражданская чума*, называемая рекрутством. Павшие за баррикадами знали по крайней мере, за что падают; ну, а те, если б могли слышать, чем началось речное свидание двух императоров [18], им пришлось бы краснеть за свою храбрость. «Из чего мы с вами деремся? — спросил Наполеон,— это одно недоразумение!» — «В самом деле, не из чего»,— отвечал Александр, и они поцеловались. Десятки тысяч воинов, с удивительной отвагой, перебили бездну других и сами легли костьми из-за *недоразумения*. Как бы то ни было, мало ли, много ли погибло людей, повторяю, их жаль, очень жаль. Но мне кажется, что вы печалитесь не об одних людях, вы еще что-то оплакиваете!

— Очень многое. Я оплакиваю революцию 24 февраля, так величественно начавшуюся и так скромно погибнувшую. Республика была возможна, я ее видел, я дышал ее

воздухом; республика была не мечта, а быль, и что же из нее сделалось? Мне ее жаль так, как жаль Италию, проснувшуюся для того, чтоб на другой день быть побежденной, так, как жаль Германию, которая встала во весь рост для того, чтоб упасть к ногам своих тридцати помещиков. Мне жаль, что человечество опять отодвинулось на целое поколение, что движение опять заморено, остановлено.

— Что касается до движения собственно, его не уймешь. Девиз нашего времени, больше нежели когда-нибудь, semper in motu[19]...видите, как я был прав, упрекая вас в консерватизме, он у вас доходит до противуречий. Не вы ли мне рассказывали, год тому назад, о страшном нравственном падении образованных сословий во Франции и вдруг поверили, что за ночь из них сделались республиканцы, оттого что народ прогнал в три шеи упрямого старика и на место упорного квекера, окруженного мелкими дипломатами, позволил сесть бесхарактерному теофилантропу [20], окруженному мелкими журналистами.

— Теперь легко быть проницательным.

— И тогда было не трудно; 26 февраля определило весь характер 24-го. Все не-консерваторы поняли, что эта республика — игра слов,— Бланки и Прудон, Распаль и Пьер Ле-Ру. Тут не дар пророчества нужен, а навык добросовестного изучения, привычка наблюдать; вот оттого-то я и рекомендую укреплять, изощрять ум естественными науками. Натуралист привыкает не вносить до поры до времени ничего своего, следит, выжидает; он не проронит ни одного признака, ни одной перемены, он ищет истину бескорыстно, не подкладывая ни любви своей, ни своей ненависти. Заметьте, что самый проницательный публицист первой революции был коновал [21] и что химик* 27 февраля печатал в своем журнале [22], который сожгли студенты в Quartier Latin, то, что теперь все увидели, но чего уже поправить нельзя. Непростительно было ждать что-нибудь от политического сюрприза 24 февраля — кроме брожения; оно и началось с этого дня, и это великий результат его; отрицать брожения нельзя, оно влечет Францию и всю Европу от потрясения к потрясению. Того ли вы хотели, того ли ждали? Нет, вы ждали, что *благоразумная* республика удержится на золотушных ножках ламартиновской елейности, обернутых бюльтенями Ледрю-Роллена. Это было бы всемирное несчастие, такая республика была бы самым тяжелым тормозом, который задержал бы все колеса истории. Республика Временного правительства, основанная

* Распаль.

на старых монархических началах, была бы вреднее всякой монархии. Она явилась не как нелепость насилия, а как вольное соглашение, не как историческое несчастие, а как нечто рациональное, справедливое, с своим тупым большинством голосов и с своею ложью на знамени. Слово «республика» имело ту нравственную силу, которой нет больше ни у одного трона; обманывая своим именем, она ставила подпорки для поддержки падающего государственного устройства. Реакция спасла движение, реакция сбросила маски и этим спасла революцию. Люди, которые годы остались бы в опьянении от ламартиновского лауданума, протрезвели от трехмесячного осадного положения; они знают теперь, что значит усмирять возмущения по понятиям *этой* республики. Вещи, которые были понятны для нескольких человек, сделались доступны всем: все знают, что не Каваньяк виноват в том, что делалось, что винить палача глупо, что он больше гадок, нежели виноват. Реакция сама подрубила ноги последним кумирам, за которыми, как за престолом в алтаре, прятался старый порядок. Народ не верит теперь в республику и превосходно делает, пора перестать верить в какую б то ни было единую, спасающую церковь. Религия республики была на месте в 93 г., и тогда она была колоссальна, велика, тогда она произвела этот величавый ряд гигантов, которыми замыкается длинная эра политических переворотов. Формальная республика показала себя после июньских дней. Теперь начинают понимать несовместность *братства* и *равенства* с этими капканами, называемыми асизами; *свободы* и этих бойн под именем военно-судных комиссий; теперь никто не верит в подтасованных присяжных, которые решают в жмурки судьбу людей, без апелляции; в гражданское устройство, защищающее только собственность, ссылающее людей в виде меры общественного спасения, содержащее хоть сто человек постоянного войска, которые, не спрашивая причины, готовы спустить курок по первой команде. Вот польза реакции. Сомнения бродят, занимают умы, заставляют задумываться; а не легко было дойти до них, особенно французам, которые чрезвычайно туги на понимание нового, несмотря на всю остроту свою. То же в Германии; Берлину, Вене удалось сначала, они было обрадовались своим диетам, своим хартиям, о которых скромно вздыхали тридцать пять лет [23]. Теперь, испытав реакцию и зная по опыту, что такое диеты и камеры, они не удовлетворяются никакой хартией, ни данной, ни взятой, они сделались для немцев то, что для человека игрушка, о которой он мечтал ребенком. Европа догадалась, благодаря реакции, что пред-

ставительная система — хитро придуманное средство перегонять в слова и бесконечные споры общественные потребности и энергическую готовность действовать. Вместе того, чтоб радоваться этому, вы негодуете. Вы негодуете за то, что Национальное собрание, составленное из реакционеров, облеченное нелепой властию, под влиянием трусости вотировало нелепость; а по-моему, это великое доказательство, что ни этих вселенских соборов для законодательства, ни представителей вроде первосвященников — вовсе не нужно, что умной конституции теперь вотировать невозможно. Не смешно ли писать уложение для грядущих поколений, когда у дряхлого мира едва есть время на то, чтоб распоряжаться будущим и продиктовать как-нибудь духовное завещание? Вы оттого не рукоплещете всем этим неудачам, что вы консерватор, что вы, сознательно или нет, принадлежите к этому миру. В прошлом году, сердясь, негодуя на него, вы не выходили из него; за это он обманул вас 24 февраля; вы поверили, что он может спастись домашними средствами, агитацией, реформами, что он может обновиться, оставаясь при старом; вы верили, что он *может* исправиться, и теперь верите. Сделайся уличный бунт, провозгласи французы Ледрю-Роллена президентом, вы опять взойдете в восторг. Пока вы молоды, это простительно, но оставаться в этом направлении надолго я не советую, вы сделаетесь смешны. У вас натура живая, восприимчивая — переступите последний забор, отрясите последнюю пыль с сапогов ваших и убедитесь, что маленькие революции, маленькие перемены, маленькие республики недостаточны, круг действия их слишком ограничен, они теряют всякий интерес. Не надобно им поддаваться, все они заражены консерватизмом. Я отдаю им справедливость, разумеется, они имеют свою хорошую сторону; в Риме при Пии IX стало лучше жить, нежели при пьяном и злом Григории XVI; республика 26 февраля в некоторых отношениях дает более удобную форму для новых идей, нежели монархия, но все эти пальятивные средства столько же вредны, сколько полезны, они минутным облегчением заставляют забыть болезнь. А потом, как взглядишься в эти улучшения, как посмотришь, с каким кислым, недовольным лицом делаются они, как всякую уступку представляют благодеянием, дают нехотя, оскорбляя,—так, право, охота пройдет слишком дорого ценить их услугу. Я не умею выбирать между рабствами так, как между религиями; у меня вкус притупился, я не в состоянии различать тонкостей, которое рабство хуже, которое лучше, которая религия ближе к спасению, которая дальше, что притеснительнее: *честная*

республика или *честная* монархия, революционный консерватизм Радецкого или консервативная революционность Каваньяка, что пошлее: квекеры или иезуиты, что хуже: розги или краподина. С обеих сторон рабство, с одной — хитрое, прикрытое именем свободы и, следственно, опасное; с другой — дикое, животное и, следственно, бросающееся в глаза. По счастию, они друг в друге не узнают родственных черт и готовы ежеминутно вступить в бой; пусть борются, пусть составляют коалиции, пусть грызут друг друга и тащат в могилу. Кто бы из них ни восторжествовал, ложь или насилие, на первый случай это победа не для нас, а впрочем, и не для них; все, что победители успеют,— это ловко попировать денек, другой.

— А нам оставаться по-прежнему зрителями, вечными зрителями, жалкими присяжными, которых приговор не исполняется, понятыми, в свидетельстве которых не нуждаются. Я удивляюсь вам и не знаю, должен ли завидовать или нет. С таким деятельным умом у вас столько — как бы это сказать? — столько воздержности.

— Что делать? Я себя не хочу насиловать, искренность и независимость — мои кумиры, мне не хочется стать ни под то, ни под другое знамя; оба стана так хорошо стоят на дороге к кладбищу, что помощь моя им не нужна. Такие положения бывали и прежде. Какое участие могли принимать христиане в римских борьбах за претендентов на императорство? Их называли трусами, они улыбались и делали свое дело, молились и проповедовали.

— Проповедовали потому, что были сильны верою, имели единство учения; где у нас евангелие, новая жизнь, к которой мы зовем, добрая весть, о которой мы призваны свидетельствовать миру?

— Проповедуйте весть о смерти, указывайте людям каждую новую рану на груди старого мира, каждый успех разрушения; указывайте хилость его начинаний, мелкость его домогательств, указывайте, что ему нельзя выздороветь, что у него нет ни опоры, ни веры в себя, что его никто не любит в самом деле, что он держится на недоразумениях; указывайте, что каждая его победа — ему же удар; проповедуйте *смерть* как добрую весть приближающегося искупления.

— Уж не лучше ли молиться?.. Кому проповедовать, когда с обеих сторон падают ряды жертв? Это один парижский архиерей не знал, что во время сражения ни у кого нет уха [24]. Погодимте еще немного; когда борьба кончится, тогда начнемте проповедовать о смерти: никто не будет мешать на обширном кладбище, на котором лягут рядом все

бойцы; кому же лучше и слушать апотеозу смерти, как не мертвым? Если дела пойдут, как теперь, зрелище будет оригинальное; будущее, водворяемое погибнет вместе с дряхлым, отходящим; недоношенная демократия замрет, терзая холодную и исхудалую грудь умирающей монархии.

— Будущее, которое гибнет, не будущее. Демократия — по преимуществу настоящее; это борьба, отрицание иерархии, общественной неправды, развившейся в прошедшем; очистительный огонь, который сожжет отжившие формы и, разумеется, потухнет, когда сожигаемое кончится. Демократия не может ничего создать, это не ее дело, она будет нелепостию после смерти последнего врага; демократы только *знают* (говоря словами Кромвеля), *чего не хотят; чего они хотят, они не знают.*

— За знанием чего мы не хочем, таится предчувствие чего хочем; на этом основана мысль, которая до того часто повторялась, что совестно на нее ссылаться,— мысль о том, что каждое разрушение — своего рода создание. Человек не может довольствоваться одним разрушением: это противно его творческой натуре. Для того, чтоб он проповедовал смерть, ему нужна вера в возрождение. Христианам легко было возвещать кончину древнего мира, у них похороны совпадали с крестинами.

— У нас не одно предчувствие, но есть и нечто побольше; только мы не так легко удовлетворяемся, как христиане; у них один критериум и был — вера. Для них, конечно, было большое облегчение в незыблемой уверенности, что церковь восторжествует, что мир примет крещение; им и в голову не приходило, что крещеный ребенок выйдет не совсем по желанию духовных родителей. Христианство осталось благочестивым упованием; теперь, накануне смерти, как в первом столетии, оно утешается небом, раем; без неба оно пропало. Водворение мысли о новой жизни несравненно труднее в наше время: у нас нет неба, нет «вести божией», наша *весь* человеческая должна осуществиться на той почве, на которой существует все действительное,— на земле. Тут нельзя сослаться ни на искушения диавола, ни на помощь божию, ни на жизнь за гробом. Демократия, впрочем, и не идет так далеко, она сама еще стоит на христианском берегу, в ней бездна аскетического романтизма, либерального идеализма; в ней страшная мощь разрушения, но, как примется создавать, она теряется в ученических опытах, в политических этюдах. Конечно, разрушение создает, оно расчищает место, и это уж создание; оно отстраняет целый ряд лжи, и это уж истина. Но действительного творчества в демократии нет — и потому-то она не

будущее. Будущее вне политики, будущее носится над хаосом всех политических и социальных стремлений и возьмет из них нитки в свою новую ткань, из которой выйдут саван прошедшему и пеленки новорожденному. Социализм соответствует назарейскому учению в Римской империи.

— Если припомнить, что вы сейчас сказали о христианстве, и продолжить сравнение, то будущность социализма незавидная, он останется вечным упованием.

— И по дороге разовьет блестящий период истории под своим благословением. Евангелие не осуществилось, да это и не нужно было; а осуществились средние века, века восстановления, века революции, но христианство проникло во все эти явления, участвовало во всем, указывало, напутствовало. Исполнение социализма представляет также неожиданное сочетание отвлеченного учения с существующими фактами. Жизнь осуществляет только ту сторону мысли, которая находит себе почву, да и почва при том не остается страдательным носителем, а дает свои соки, вносит свои элементы. Новое, возникающее из борьбы утопий и консерватизма, входит в жизнь не так, как его ожидала та или другая сторона; оно является переработанным, иным, составленным из воспоминаний и надежд, из существующего и водворяемого, из преданий и возникновений, из верований и знаний, из отживших римлян и неживших германцев, соединяемых одной церковью, чуждой обоим. Идеалы, теоретические построения никогда не осуществляются так, как они носятся в нашем уме.

— Как и для чего они приходят в голову после этого? Это какая-то ирония.

— А отчего вам хочется, чтоб в уме человека все было в обрез? Что за прозаическое сведение всего на крайне нужное, на необходимо полезное, на неминуемо прилагаемое? Вспомните старика Лира, который, когда одна из дочерей уменьшала его штат и уверяла, что ему про нужду достанет, сказал ей: «Про нужду — может быть, но знаешь ли ты, когда человек сводится только на то, что ему нужно, он делается зверем»[25]. Фантазия и мысль человека несравненно свободнее, нежели полагают; целые миры поэзии, лиризма, мышления, независимые до некоторой степени от окружающих обстоятельств, дремлют в душе каждого. Их будит толчок, и они просыпаются с своими видениями, решениями, теориями; мысль, опираясь на фактическое данное, стремится к их всеобщим нормам, старается ускользнуть от случайных и временных опреде-

лений в логические сферы,— но от них до сфер практических очень далеко.

— Слушая ваши слова, я думал теперь, отчего у вас так много нелицеприятной справедливости,— и нашел причину: вы не ринуты в поток, вы не вовлечены в этот круговорот; посторонний всегда лучше разбирает семейные дела, нежели члены семейства. Но если б вы, как многие, как Барбес, как Маццини, работали всю жизнь, потому что внутри вашей души раздавался голос, который требовал этой деятельности, которого перекричать не было у вас возможности, потому что он поднимался из глубины оскорбленного сердца, обливающегося кровью при виде притеснения, замирающего при виде насилия; если б этот голос был не только в уме и сознании, но в крови, в нервах, и вы, следуя ему, попали бы в действительное столкновение с властью, долю жизни были бы в цепях, скитались бы изгнанником, и вдруг для вас наступила бы заря того дня, который вы ожидали полжизни,— вы бы, как Маццини, на итальянском языке, при громе рукоплесканий, говорили бы в Милане на площади, открыто, слова независимости и братства, не боясь белого мундира и желтых усов. Если б вы, после десятилетнего заключения, как Барбес, были принесены ликующей толпой на площадь того города, где вам один товарищ палача читал приговор, а другой его товарищ вас миловал пожизненными цепями [26], и вы бы после всего этого увидели осуществленную вашу мысль и слышали бы двухсоттысячную толпу, которая приветствует мученика криком: «Vive la République!», и вслед за тем вам пришлось бы увидеть Радецкого в Милане, Каваньяка в Париже и опять сделаться скитальцем, колодником; представьте к тому, что вы не имели бы утешения отнести все это на счет материальной, грубой силы, а напротив, видели бы народ, изменяющий самому себе, видели бы те же толпы, избирающие теперь, кому дать в руки нож против себя,— вы не стали бы тогда умеренно и основательно рассуждать, насколько мысль обязательна и где пределы воли. Нет, вы прокляли бы эти людские стада, любовь превратилась бы в ненависть или, хуже, в презрение. Вы, может, пошли бы в монастырь со всем атеизмом вашим.

— Это было бы доказательством, что я и слаб, подтверждением того, что все люди слабы, что мысль не только не обязательна для мира, но даже для самого человека. Но, простите, я никак не могу вам позволить свести разговор наш на личности. Замечу одно: да, я зритель, только это и не роль, и не натура моя, это мое положение; я понял его, это мое счастие; когда-нибудь поговорим обо мне, теперь

мне не хочется отвлекаться.— Вы говорите, что я проклял бы народ; может быть, но это было бы очень глупо. Народы, массы — это стихии, океаниды; их путь — путь природы, они, ее ближайшие преемники, влекутся темным инстинктом, безотчетными страстями, упорно хранят то, до чего достигли, хотя бы оно было дурно; ринутые в движение, они неотразимо увлекают с собою или давят все, что попало на дороге, хотя бы оно было хорошо. Они идут, как известный индийский кумир, все встречные бросаются под его колесницу [27], и первые раздавленные бывают усерднейшие поклонники идола. Народы обвинять нелепо, они правы, потому что всегда сообразны обстоятельствам своей былой жизни; на них нет ответственности ни за добро, ни за зло, они факты, как урожай и неурожай, как дуб и колос. Ответственность скорее на меньшинстве, которое представляет собою сознанную мысль своего времени, хотя и оно не виновато; вообще юридическая точка зрения не годится нигде, кроме в суде, и именно потому все суды в мире никуда не годятся. Понимать и обвинять — это почти так же нелепо, как не понимать и казнить. Виновато ли меньшинство, что все историческое развитие, вся цивилизация предшествующих веков была для него, что у него ум развит на счет крови и мозга других, что оно вследствие этого далеко ушло вперед от одичалого, неразвитого, задавленного тяжким трудом народа? Тут не вина, тут трагическая, роковая сторона истории: ни богатый не отвечает за богатство, найденное им в колыбели, ни бедный за бедность, они оба оскорблены несправедливостью, фатализмом. Если мы и имеем некоторое право требовать, чтоб страждущий, худой от голода и горя, притесненный и оскорбляемый народ отпустил нам наше неправое стяжение, наше превосходство, наше развитие, потому что мы в нем неповинны, потому что мы работаем над тем, чтоб сознательно поправить бессознательный грех, то откуда возьмем мы силу проклинать, презирать народ, который остался Каспаром Гаузером [28] для того, чтоб мы с вами читали Данта, слушали Бетговена? Презирать за то, что он не понимает нас, пользующихся монополью понимания,— это безобразная, гнусная жестокость. Вспомните, как было дело: образованное меньшинство, долго наслаждаясь в своем исключительном положении, в своем аристократическом, литературном, художественном, правительственном круге, наконец почувствовало угрызение совести, оно вспомнило забытых братий, мысль о несправедливости общественного устройства, мысль о равенстве, как электрическая искра, облетела лучшие умы прошлого века. Книжно, теоретиче-

ски поняли люди несправедливость и книжно хотели ее поправить, это позднее раскаяние меньшинства назвали либерализмом. Они, добросовестно желая вознаградить народ за тысячелетние унижения, провозгласили его самодержавным, требовали, чтоб каждый поселянин вдруг сделался политическим человеком, понял запутанные вопросы полусвободного и полурабского законодательства, оставил свою работу, т. е. кусок хлеба, и, новый Цинциннат, шел бы заниматься общественными делами. О хлебе насущном либерализм серьезно не думал: он слишком романтик, чтоб печься о таких грубых потребностях. Либерализму легче было выдумать народ, нежели его изучить. Он налгал на него из любви не меньше того, что на него налгали другие из ненависти. Либералы сочинили свой народ a priori, построили его по воспоминаниям, из прочтенного, одели его в римскую тогу и в пастушеский наряд. О действительном народе мало думали; он жил, работал, страдал возле, около, и если его кто-нибудь знал, то это его враги — попы и легитимисты. Судьба его оставалась по-старому, зато народ вымышленный сделался кумиром в новой политической религии — елей, которым мазали чело царей, перешел на загорелое чело, покрытое морщинами и горьким потом. Не освободивши ни его рук, ни его ума, либерализм посадил народ на трон и, кланяясь ему в пояс, старался в то же время оставить власть себе. Народ поступил, как один из его представителей, Санчо-Панса,— он отказался от мнимого престола или, лучше сказать, и не садился на него. Мы начинаем понимать ложное с обеих сторон, это значит, что мы выходим на дорогу; будемте указывать ее всем, но зачем же, обертываясь назад, мы будем ругаться? Я не токмо не виню народ, но не виню и либералов; они большею частию любили народ по-своему, они много жертвовали для своей идеи, это всегда почтенно,— но они были на ложном пути. Их можно сравнить с прежними натуралистами, которые начинали и оканчивали изучение природы в гербарии, в музее; все, что они знали о жизни, был труп, мертвая форма, след жизни. Честь и слава тем, которые догадались взять котомку и идти в горы, плыть за моря ловить природу и жизнь на самом деле. Но зачем же их славой, их успехами задвигать труды их предшественников? Либералы были вечные жители больших городов и маленьких кружков, люди журналов, книг, клубов, они вовсе не знали народа, они его глубокомысленно изучали по историческим источникам, по памятникам — а не по деревне, не по рынку. Больше или меньше все мы грешны в этом, отсюда недоразумения,

обманутые надежды, досада, наконец, отчаяние. Если б вы были знакомы с внутренней жизнию Франции, вы не удивлялись бы, что народ хочет вотировать за Бонапарта; вы знали бы, что народ французский не имеет ни малейшего понятия о свободе, о республике, но имеет бездну национальной гордости; он любит Бонапартов и терпеть не может Бурбонов. Бурбоны для него напоминают корвею [29], Бастилью, дворян; Бонапарты — рассказы стариков, песни Беранже, победы и, наконец, воспоминания о том, как сосед, такой же крестьянин, возвращался генералом, полковником, с Почетным Легионом на груди... и сын соседа торопится подать голос за *племянника*.

— Конечно, так. Одно странно, отчего же они забыли деспотизм Наполеона, его конскрипции, тиранство префектов, если у них так хороша память?

— Это очень просто: для народа деспотизм не может составить характеристики империи. Для него до сих пор все правительства были деспотизмом. Он, например, узнал республику, провозглашенную для удовольствия «Реформы», для пользы «Насионаля»,— по 45-сантимному налогу [30], по депортациям, по тому, что бедным работникам не выдают пассов в Париж. Народ вообще плохой филолог, слово «республика» его не тешит, ему от него не легче. Слова «империя», «Наполеон» его электризуют, далее он не идет.

— Если на все смотреть таким образом, то я сам начинаю думать, что не только перестанешь сердиться и что-нибудь делать, но перестанешь иметь даже желание что-нибудь делать.

— По-моему, я говорил вам, понимать — это уж действовать, осуществлять. Вы думаете, что, когда поймешь окружающее, пройдет желание действовать,— это значило бы, что вы хотели делать не то, что надобно. Ищите в таком случае другой работы; не найдете внешней, найдете внутреннюю. Странен человек, который ничего не делает, имея дело; но ведь странен и тот, который, не имея дела, делает. Труд вовсе не клубок на нитке, который дают котенку, чтоб его занимать, он определяется не одним желанием, но и требованием на него.

— Я никогда не сомневался, что думать всегда можно, и не смешивал насильственного бездействия с произвольным безмыслием. Я предвидел, впрочем, утешительный результат, к которому вы придете,— оставаться в рассуждающем бездействии, останавливая умом сердце и критикой любовь к человечеству.

— Для того, чтоб деятельно участвовать в мире, нас

окружающем, я повторяю вам, мало желания и любви к человечеству. Все это какие-то неопределенные, мерцающие понятия — что такое любить человечество? что такое самое человечество? Все это сдается мне прежними христианскими добродетелями, подогретыми на философском очаге. Народы любят соотечественников — это понятно, но что такое любовь, которая обнимает все, что перестало быть обезьяной,— от эскимоса и готтентота до далай-ламы и папы,— я не могу в толк взять... что-то слишком широко. Если это та любовь, которою мы любим природу, планеты, вселенную, то я не думаю, чтоб она могла быть особенно деятельна. Или инстинкт, или понимание среды, в которой вы живете, ведут вас к деятельности? Инстинкт ваш утрачен,— утратьте ваше отвлеченное знание и станьте самоотверженно перед истиной, поймите ее, тогда вы увидите, какая деятельность нужна, какая нет. Хотите вы политической деятельности в существующем порядке, сделайтесь Маррастом, сделайтесь Одилоном Барро, и она вам будет. Вы этого не хотите, вы чувствуете, что всякий порядочный человек — совершенно посторонний во всех политических вопросах, что он не может серьезно думать — нужен или не нужен президент республике? может или нет Собрание посылать людей на каторгу без суда? или еще лучше — должно ли подать голос за Каваньяка или за Луи Бонапарта?.. Думайте месяц, думайте год, кто из них лучше,— вы не решите, оттого что они, как говорят дети, «оба хуже». Все, что остается делать человеку, уважающему себя,— вовсе не вотировать. Посмотрите на другие вопросы à l'ordre du jour [31] — всё то же; «они посвящены богам», смерть у них за плечами. Что делает священник, призванный к умирающему? Он не лечит его, он не возражает на его бред, а читает ему отходную. Читайте отходную, читайте смертный приговор, исполнение которого идет не по дням, а по часам; убедитесь раз навсегда, что никто из осужденных не уйдет от казни: ни *самодержавие* петербургского царя, ни *свобода* мещанской республики, да и не жалейте ни того ни другого. Убеждайте лучше легкомысленных, поверхностных людей, которые рукоплещут падению австрийской империи и бледнеют за судьбу полуреспублики, что падение ее — такой же великий шаг к освобождению народов и мысли, как падение Австрии, что никаких исключений не надобно, никакой пощады, что время снисхождения не пришло; скажите словами либералов-реакционеров, что «амнистия — дело будущего», требуйте вместо любви к человечеству *ненависти* ко всему, что валяется на дороге и мешает идти вперед. Пора перевязать всех врагов развития и свобо-

ды одной веревкой так, как *они* перевязывают колодников, и провести их по улицам, чтоб все видели круговую поруку — французского кодекса и русского свода, Каваньяка и Радецкого,— это будет великое поучение. Кто теперь, после этих грозных, потрясающих событий не протрезвится, никогда не протрезвится и умрет каким-нибудь рыцарем Тогенбургом либерализма, как Лафайет? Террор казнил людей, наша судьба легче, мы призваны казнить учреждения, разрушать верования, отнимать надежду на старое, ломать предрассудки, касаться до всех прежних святынь без уступок, без пощады. Улыбка, привет одному возникающему, одной заре, и если мы не в силах подвинуть ее часа, то, по крайней мере, можем указывать ее близость тем, которые не видят.

— Как этот старик-нищий на Вандомской площади, который всякую ночь предлагает прохожим свой телескоп, чтоб посмотреть на дальние звезды?

— Ваше сравнение очень хорошо, именно показывайте каждому идущему мимо, как все ближе и ближе подступают, как растут и поднимаются волны карающего потока. Указывайте с тем вместе и белый парус ковчега... там вдали, на горизонте. Вот вам и дело. Когда все утонет, когда все ненужное растворится и погибнет в соленой воде, когда она начнет сбывать и уцелевший ковчег остановится, тогда будет людям другое дело, много дела. Теперь нет!

Париж, 1 декабря 1848 г.

V

CONSOLATIO [1]

Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein.

Goethe. «Tasso» [2]

Из окрестностей Парижа мне нравится больше других Монморанси. Там ничего не бросается в глаза, ни особенно береженые парки, как в Сен-Клу, ни будуары из деревьев, как в Трианоне; а ехать оттуда не хочется. Природа в Монморанси чрезвычайно проста, она похожа на те женские лица, которые не останавливают, не поражают, но привлекают каким-то милым и доверчивым выражением, и привлекают тем сильнее, что это делается совершенно незаметно для нас. В такой природе и в таких лицах есть обыкновенно что-то трогательное, успокаивающее, и именно за этот покой, за эту каплю воды Лазарю [3] всего больше благодарит душа современного человека, беспрерывно потрясенная, растерзанная, взволнованная. Я несколько раз находил отдых в Монморанси и за это благодарен ему. Там есть большая роща, местоположение довольно высокое, и тишина, которой под Парижем нигде нет. Не знаю отчего, но эта роща напоминает мне всегда наш русский лес... идешь и думаешь... вот сейчас пахнет дымком от овинов, вот сейчас откроется село... с другой стороны, должно быть, господская усадьба, дорога туда пошире и идет просеком, и верите ли? мне становилось грустно, что через несколько минут выходишь на открытое место и видишь вместо Звенигорода — Париж; вместо окошечка земского или попа — окошечко, в которое так долго и печально смотрел Жан-Жак...

Именно к этому домику шли раз из рощи какие-то, повидимому, путешественники: дама лет двадцати пяти, одетая вся в черном, и мужчина средних лет, преждевременно седой. Выражение их лиц было серьезно, даже покойно. Одна долгая привычка сосредоточиваться и жизнь, обильная мыслию, событиями, дают чертам этот покой. Это не природная тишина, а тишина после бурь, после борьбы и победы.

— Вот вам дом Руссо,— сказал мужчина, указывая на маленькое строение, окна в три.

Они остановились. Одно окошко было немного приотворено, занавеска колебалась от ветра.

— Это движение занавески,— заметила дама,— наводит невольный страх, так и кажется — вот сейчас подозрительный и раздраженный старик ее отдернет и спросит нас, зачем мы тут стоим. Кому придет в голову, глядя на мирный домик, окруженный зеленью, что он был прометеевской скалой для великого человека, которого вся вина состояла в том, что он слишком любил людей, слишком верил в них, желал им больше добра, нежели они сами? Современники не могли ему простить, что он высказал тайное угрызение их собственной совести, и вознаграждали себя искусственным хохотом презрения, а он оскорблялся; они смотрели на поэта братства и свободы как на безумного; они боялись признать в нем разум, что значило бы признать свою глупость, а он плакал об них. За целую жизнь преданности, страстного желания помочь, любить, быть любимым, освобождать... находил он мимолетные приветы и постоянный холод, надменную ограниченность, гонения, сплетни! Мнительный и нежный от природы, он не мог стать независимо от этих мелочей и потухал, оставленный всеми, больной, в нищете. В ответ на все его стремления к симпатии, к любви, ему досталась одна Тереза, в ней сосредоточивалось для него все теплое, вся сторона сердца,— Тереза, которая не могла научиться узнавать, который час, существо неразвитое, полное предрассудков, которая стягивала жизнь Руссо в узкую подозрительность, в мещанские пересуды и кончила тем, что рассорила его с последними друзьями. Сколько горьких минут провел он, облокачиваясь на эту оконницу, с которой кормил птиц, думая, каким злом они ему заплотят! У бедного старика только и оставалось, что природа,— и он, восхищаясь ею, закрыл глаза, усталые от жизни, тяжелые от слез. Говорят, что он даже ускорил минуту покоя... на этот раз Сократ сам осудил себя на смерть за грех сознания, за преступление гениальности. Когда взглядишься серьезно во все, что делается, становится противно жить. Все на свете гадко и притом глупо; люди хлопочут, работают, ни минуты не находят отдыха, а делают всё вздор; другие хотят их вразумить, остановить, спасти — их распинают, гонят — и все это в каком-то бреду, не давая себе труда понять. Волны подымаются, торопятся, клубятся без цели, без нужды... там они разбиваются с бешенством о скалу, тут подмывают берег... мы стоим середь водоворота, бежать некуда.— Я знаю, доктор, вы не так смотрите на жизнь, она вас не сердит, потому что вы в ней ищете один физиологический интерес и мало требуете от нее, вы большой оптимист. Иногда я с вами соглашаюсь, вы меня сбиваете с толку вашей диалектикой;

но как только сердце принимает участие, как только из общих сфер, где все разрешено и успокоено, коснешься живых вопросов, взглянешь на людей, душа возмущается. Подавленное на минуту негодование снова просыпается, и досадуешь об одном: что нет достаточно сил ненавидеть, презирать людей за их ленивое бездушие, за их нежелание стать выше, благороднее... если б было можно отвернуться от них! И пусть они делают что хотят в своих полипниках, пусть живут нынче, как вчера, опираясь на привычки и обряды, бессмысленно принимая на веру, что делать и чего не делать... и изменяя притом на каждом шагу своей собственной нравственности, своему собственному катехизису!

— Я не думаю, чтоб вы были справедливы. Разве люди виноваты в вашем доверии к ним, в вашем идеальном понятии об их нравственном достоинстве?

— Я не понимаю, что вы говорите, я сейчас сказала совершенно противуположное. Кажется, это не верх доверия, когда говорят об людях, что у них ничего нет, кроме мученических венцов для всякого пророка и бесполезного раскаяния после их смерти; что они готовы броситься, как звери, на того, кто, заменяя их совесть, *назовет* их дела; кто, снимая на себя их грехи, хочет разбудить их сознание.

— Да, но вы забываете источник вашего негодования? Вы сердитесь на людей за многое, чего они не сделали, потому что вы считаете их способными на все эти прекрасные свойства, к которым вы воспитали себя или к которым вас воспитали,— но они по большей части этого развития не имели. Я не сержусь, потому что и не жду от людей ничего, кроме того, что они делают; я не вижу ни повода, ни права требовать от них чего-нибудь другого, нежели что они могут дать, а могут они дать то, что дают; требовать больше, обвинять — ошибка, насилие. Люди только справедливы к безумным и к совершенным дуракам, их, по крайней мере, мы не обвиняем за дурное устройство мозга, им прощаем природные недостатки; с остальными страшная моральная требовательность. Почему мы ждем от всех встречных на улице примерных доблестей, необыкновенного понимания — я не знаю; вероятно, по привычке все идеализировать, все судить свысока — так, как обыкновенно судят жизнь по мертвой букве, страсть по кодексу, лицо по родовому понятию. Я иначе смотрю, я привык к взгляду врача, к взгляду, совершенно противуположному — судьи. Врач живет в природе, в мире фактов и явлений, он не учит, он учится; он не мстит, а старается облегчить; видя страдание, видя недостатки, он ищет причину,

связь, он ищет средств в том же мире фактов. Нет средств, он грустно пожимает плечами, досадует на свое неведение — и не думает о наказании, о пени, не порицает. Взгляд судьи проще, ему, собственно, взгляда и не надобно, недаром Фемиду представляют с завязанными глазами, она тем справедливее, чем меньше видит жизнь; наш брат, напротив, хотел бы, чтобы пальцы и уши имели глаза. Я не оптимист и не пессимист, я смотрю, вглядываюсь, без заготовленной темы, без придуманного идеала, и не тороплюсь с приговором — я просто, извините, скромнее вас.

— Не знаю, так ли я вас поняла, но, мне кажется, вы находите очень естественным, что современники Руссо его мучили маленькими преследованиями, отравили ему жизнь, оклеветали его; вы им отпускаете их грехи, это очень снисходительно, не знаю, насколько справедливо и нравственно.

— Для того, чтоб отпускать грехи, надобно прежде обвинять; я этого не делаю. Впрочем, пожалуй, я приму ваше выражение, да, я отпускаю им зло, ими причиненное, так как вы отпускаете холодной погоде, которая на днях простудила вашу малютку. Можно ли сердиться на события, которые независимы ни от чьей воли, ни от чьего сознания? Они иногда бывают очень тяжелы для нас; но обвинение не поможет, а только запутает. Когда мы с вами сидели у кроватки больной и горячка так развернулась, что я сам испугался, мне было бесконечно горько смотреть и на больную и на вас; вы так много страдали в эти часы — но вместо того, чтоб проклинать дурной состав крови и с ненавистью смотреть на законы органической химии, я думал тогда о другом, а именно о том, как возможность понимать, чувствовать, любить, привязываться необходимо влечет за собою противуположную возможность несчастия, страданий, лишений, нравственных оскорблений, горечи. Чем нежнее развивается внутренняя жизнь, тем жестче, губительнее для нее капризная игра случайности, на которой не лежит никакой ответственности за ее удары.

— Я сама не обвиняла болезнь. Ваше сравнение не совсем идет; природа вовсе не имеет сознания.

— А я думаю, что и на полусознательную массу людей нельзя сердиться; взойдите в ее состояние борьбы между предчувствием света и привычкой к темноте. Вы берете за норму береженые, особенно удавшиеся оранжерейные цветы, за которыми было бездна уходу, и сердитесь, что полевые не так хороши. Не только это несправедливо, но это чрезвычайно жестоко. Если б у большинства людей было сознание сколько-нибудь светлее, неужели вы думае-

те, что они могли бы жить в том положении, в котором живут? Они не только зло делают другим, но и себе, и это именно их извиняет. Ими владеет привычка, они умирают от жажды возле колодца и не догадываются, что в нем вода, потому что их отцы им этого не сказали. Люди всегда были такие, пора наконец перестать дивиться, негодовать; можно было привыкнуть со времен Адама. Это тот же романтизм, который заставлял поэтов сердиться за то, что у них есть тело, за то, что они чувствуют голод. Сердитесь сколько хотите, но мира никак не переделаете по какой-нибудь программе; он идет своим путем, и никто не в силах его сбить с дороги. Узнавайте этот путь — и вы отбросите нравоучительную точку зрения, и вы приобретете силу. Моральная оценка событий и журьба людей принадлежат к самым начальным ступеням понимания. Оно лестно самолюбию — раздавать Монтионовские премии [4] и читать выговоры, принимая мерилом самого себя,— но бесполезно. Есть люди, которые пробовали внести этот взгляд в самую природу и сделали разным зверям прекрасные или прескверные репутации. Увидали, например, что заяц бежит от неминуемой опасности, и назвали его трусом; увидали, что лев, который в двадцать раз больше зайца, не бежит от человека, а иногда его съедает,— стали его считать храбрым; увидали, что лев сытый не ест,— сочли это за величие духа; а заяц столько же трус, сколько лев великодушен и осел глуп. Нельзя больше останавливаться на точке зрения Эзоповых басен; надобно смотреть на мир природы и на мир людской проще, покойнее, яснее. Вы говорите о страданиях Руссо. Он был несчастлив, это правда, но и это правда, что страдания всегда сопровождают необыкновенное развитие, натура гениальная может иногда не страдать, сосредоточиваясь в себе, довольствуясь собою, наукой, искусством; но в практических сферах никак. Дело очень простое: такие натуры, входя в обычные людские отношения, нарушают равновесие; среда, их окружающая, им узка, невыносима, их жмут отношения, рассчитанные по иному росту, по иным плечам и необходимые для тех плеч. Все, что давило по мелочи того, другого, все, о чем толковали вразбивку и чему покорялись обыкновенные люди, все это вырастает в нестерпимую боль в груди сильного человека, в грозный протест, в явную вражду, в смелый вызов на бой; отсюда неминуемо столкновение с современниками; толпа видит презрение к тому, что она хранит, и бросает в гения каменьями и грязью до тех пор, пока поймет, что он был прав. Виноват ли гений, что он выше толпы, виновата ли толпа, что она его не понимает?

— И вы находите это состояние людей, и притом большинства людей, нормальным, естественным? По-вашему, это нравственное падение, эта глупость так и быть должны? — Вы шутите!

— Как же иначе? Ведь никто не принуждает их так поступать, это их наивная воля. Люди вообще в практической жизни меньше лгут, нежели на словах. Лучшее доказательство их простодушия — в искренней готовности, как только поймут, что совершили какое-либо преступление, раскаяться. Они спохватились, распявши Христа, что скверно сделали, и бросились на колени перед крестом. О каком нравственном падении речь, si toutefois [5] вы не говорите о грехопадении, я не понимаю. Откуда было падать? Чем дальше смотришь назад, тем больше встречаешь дикости, непонимания или совершенно иного развития, которое до нас почти не касается; какие-нибудь погибшие цивилизации, какие-нибудь китайские нравы. Долгая жизнь в обществе вырабатывает мозг. Выработывание это делается трудно, туго; а тут вместо признания сердятся на людей за то, что они не похожи ни на идеал мудреца, выдуманного стоиками, ни на идеал святого, выдуманного христианами. Целые поколения легли костьми, чтоб обжить какой-нибудь клочок земли, века прошли в борьбе, кровь лилась реками, поколения мерли в страданиях, в тщетных усилиях, в тяжелом труде... едва выработывая скудную жизнь, немного покоя и пять-шесть умов, которые понимали заглавные буквы общественного процесса и двигали массы к совершению судеб своих. Удивляться надобно, как народы при этих гнетущих условиях дошли до современного нравственного состояния, до своей самоотверженной терпеливости, своей тихой жизни; удивляться надобно, как люди так мало делают зла, а не упрекать их, зачем каждый из них не Аристид и не Симеон Столпник.

— Вы хотите меня уверить, доктор, что людям предназначено быть мошенниками.

— Поверьте, что людям ничего не предназначено.

— Да зачем же они живут?

— Так себе, родились и живут. Зачем все живет? Тут, мне кажется, предел вопросам; жизнь — и цель, и средство, и причина, и действие. Это вечное беспокойство деятельного, напряженного вещества, отыскивающего равновесие для того, чтоб снова потерять его, это непрерывное движение, ultima ratio [6], далее идти некуда. Прежде все искали отгадки в облаках или в глубине, подымались или спускались, однако не нашли ничего — оттого, что главное, существенное все тут, на поверхности. Жизнь не достигает

цели, а осуществляет все возможное, продолжает все осуществленное, она всегда готова шагнуть дальше — затем, чтоб полнее жить, еще больше жить, если можно; другой цели нет. Мы часто за цель принимаем последовательные фазы одного и того же развития, к которому мы приучились; мы думаем, что цель ребенка совершеннолетие, потому что он делается совершеннолетним, а цель ребенка скорее играть, наслаждаться, быть ребенком. Если смотреть на предел, то цель всего живого — смерть.

— Вы забываете другую цель, доктор, которая развивается людьми, но переживает их, передается из рода в род, растет из века в век, и именно в этой-то жизни неотдельного человека от человечества и раскрываются те постоянные стремления, к которым человек идет, к которым поднимается и до осуществления которых когда-нибудь достигнет.

— Я совершено согласен с вами, я даже сказал сейчас, что мозг вырабатывается; сумма идей и их объем растет в сознательной жизни, передается из рода в род, но что касается до последних слов ваших, тут позвольте усомниться. Ни стремление, ни верность его — нисколько еще не обезусловляет осуществление. Возьмите самое всеобщее, самое постоянное стремление во всех эпохах и у всех народов — стремление к благосостоянию, стремление, глубоко лежащее во всем чувствующем, развитие простого инстинкта самосохранения, врожденное бегство от того, что причиняет боль, и стремление к тому, что доставляет удовольствие, наивное желание, чтоб было лучше, а не было бы хуже; между тем, работая тысячелетия, люди не достигли даже животного довольства; пропорциально я полагаю, что больше всех зверей и больше всех животных страдают рабы в России и гибнут с голоду ирландцы. Отсюда вы можете заключить, легко ли сбудутся другие стремления, неопределенные и принадлежащие меньшинству.

— Позвольте, стремление к свободе, к независимости стоит голода — оно весьма не слабо и очень определенно.

— История этого не показывает. Точно, некоторые слои общества, развившиеся при особенно счастливых обстоятельствах, имеют некоторое поползновение к свободе, и то весьма несильное, судя по нескольким тысячам лет рабства и по современному гражданскому устройству, наконец. Мы, разумеется, не говорим об исключительных развитиях, для которых неволя тягостна, а о большинстве, которое дает постоянное démenti этим страдальцам, что и заставило раздраженного Руссо сказать свой знаменитый non-sens [7]: «Человек родится быть свободным — и везде в цепях!» [8]

— Вы повторяете этот крик негодования, вырвавшийся из груди свободного человека, с иронией?

— Я вижу тут насилие истории, презрение фактов, а это для меня невыносимо; меня оскорбляет самоуправство. К тому же превредная метода — вперед решать именно то, что составляет трудность вопроса; что сказали бы вы человеку, который, грустно качая головой, заметил бы вам, что «рыбы родятся для того, чтобы летать,— и вечно плавают».

— Я спросила бы, почему он думает, что рыбы родятся для того, чтобы летать?

— Вы становитесь строги; но друг *Рыбства* готов держать ответ... Во-первых, он вам скажет, что скелет рыбы явным образом показывает стремление развить оконечности в ноги или крылья; он вам покажет вовсе не нужные косточки, которые намекают на скелет ноги, крыла; наконец, он сошлется на летающих рыб, которые на деле доказывают, что *Рыбство* не токмо стремится летать, но иногда и может. Давши вам такой ответ, он будет вправе вас спросить, отчего же вы у Руссо не требуете отчета, почему он говорит, что человек должен быть свободен, опираясь на то, что он постоянно в цепях? Отчего все существующее только и существует так, как оно *должно* существовать, а человек напротив?

— Вы, доктор, преопасный софист, и если б я не коротко вас знала, я считала бы вас пребезнравственным человеком. Не знаю, какие лишние кости у рыб, а знаю только, что в костях у них недостатка нет; но что у людей есть глубокое стремление к независимости, ко всякой свободе, в этом я убеждена. Они заглушают мелочами жизни внутренний голос, и поэтому я на них сержусь. Я утешительнее нападаю на людей, нежели вы их защищаете.

— Я знал, что мы с вами после нескольких слов переменим роли или, лучше, что вы обойдете меня и очутитесь с противуположной стороны. Вы хотите бежать с негодованием от людей за то, что они не умеют достигнуть нравственной высоты, независимости, всех ваших идеалов, и в то же время вы на них смотрите как на избалованных детей, вы уверены, что они на днях поправятся и будут умны. Я знаю, что люди торопятся очень медленно, не доверяю ни их способностям, ни всем этим стремлениям, которые выдумывают за них, и остаюсь с ними так, как остаюсь с этими деревьями, с этими животными,— изучаю их, даже люблю. Вы смотрите a priori и, может, логически правы, говоря, что человек должен стремиться к независи-

мости. Я смотрю патологически и вижу, что до сих пор рабство — постоянное условие гражданского развития, стало быть, или оно необходимо, или нет от него такого отвращения, как кажется.

— Отчего мы с вами, добросовестно рассматривая историю, видим совершенно розное?

— Оттого, что говорим об розном; вы, говоря об истории и народах, говорите о летающих рыбах, а я о рыбах вообще,— вы смотрите на мир идей, отрешенный от фактов, на ряд деятелей, мыслителей, которые представляют верх сознания каждой эпохи; на те энергические минуты, когда вдруг целые страны становятся на ноги и разом берут массу мыслей для того, чтоб изживать их потом целые века в покое; вы принимаете эти катаклизмы, сопровождающие рост народов, эти исключительные личности за рядовой факт, но это только высший факт, предел. Развитое меньшинство, которое торжественно несется над головами других и передает из века в век свою мысль, свое стремление, до которого массам, кишащим внизу, дела нет, дает блестящее свидетельство, до чего может развиться человеческая натура, какое страшное богатство сил могут вызвать исключительные обстоятельства, но все это не относится к массам, ко всем. Краса какой-нибудь арабской лошади, воспитанной двадцатью поколениями, нисколько не дает право ждать от лошадей вообще тех же статей. Идеалисты непременно хотят поставить на своем, во что б то ни стало. Физическая красота между людьми так же исключение, как особенное уродство. Посмотрите на мещан, толпящихся в воскресенье на Елисейских Полях, и вы ясно убедитесь, что природа людская вовсе не красива.

— Я это знаю и нисколько не удивляюсь глупым ртам, жирным лбам, дерзко вздернутым и глупо висящим носам, они мне просто противны.

— А как бы вы стали смеяться над человеком, который принял бы близко к сердцу, что лошаки не так красивы, как олени? Для Руссо было невыносимо нелепое общественное устройство его времени; кучка людей, стоявшая возле него и развитая до того, что им только недоставало гениальной инициативы, чтоб назвать зло, тяготившее их,— откликнулись на его призыв; эти отщепленцы, раскольники остались верны и составили Гору в 92 году. Они почти все погибли, работая для французского народа, которого требования были очень скромны и который без сожаления позволил их казнить, я даже не назову это неблагодарностью, не в самом деле все, что делалось, делали они для народа; мы *себя* хотим освободить, *нам* больно видеть подавленную массу,

нас оскорбляет ее рабство, мы за нее страдаем — и хотим снять свое страдание. За что тут благодарить; могла ли толпа, в самом деле, в половине XVIII столетия желать свободы, Contrat social [9], когда она теперь, через век после Руссо, через полвека после Конвента, нема к ней, когда она теперь в тесной рамке самого пошлого гражданского быта здорова, как рыба в воде?

— Брожение всей Европы плохо соединяется с вашим воззрением.

— Глухое брожение, волнующее народы, происходит от голода. Будь пролетарий побогаче, он и не подумал бы о коммунизме. Мещане сыты, их собственность защищена, они и оставили свои попечения о свободе, о независимости; напротив, они хотят сильной власти, они улыбаются, когда им с негодованием говорят, что такой-то журнал схвачен, что того-то ведут за мнение в тюрьму. Все это бесит, сердит небольшую кучку эксцентрических людей; другие равнодушно идут мимо, они заняты, они торгуют, они семейные люди. Из этого никак не следует, что мы не в праве требовать полнейшей независимости; но только не за что сердиться на народ, если он равнодушен к нашим скорбям.

— Оно так, но, мне кажется, вы слишком держитесь за арифметику; тут не поголовный счет важен, а нравственная мощь, в ней *большинство* достоинства *.

— Что касается до качественного преимущества, я его вполне отдаю сильным личностям. Для меня Аристотель представляет не только сосредоточенную силу своей эпохи, но еще гораздо больше. Людям надобно было две тысячи лет понимать его наизнанку, чтоб выразуметь наконец смысл его слов. Вы помните, Аристотель называет Анаксагора первым трезвым между пьяными греками [11]; Аристотель был последний. Поставьте между ними Сократа — и у вас полный комплект трезвых до Бэкона. Трудно по таким исключениям судить о массе.

— Наукой всегда занимались очень немногие; на это отвлеченное поле выходят одни строгие, исключительные умы; если вы в массах не встретите большой трезвости, то найдете вдохновенное опьянение, в котором бездна сочувствия к истине. Массы не понимали Сенеки и Цицерона, а каково отозвались на призыв двенадцати апостолов?

— Знаете ли, по-моему, сколько их ни жаль, а надобно признаться, они сделали совершеннейшее fiasco.

— Да, только окрестили полвселенной.

— В четыре столетия борьбы, в шесть столетий со-

---

* Августин употребил выражение prioritas dignitatis [10].

вершенного варварства, и после этих усилий, продолжавшихся тысячу лет, мир так окрестился, что от апостольского учения ничего не осталось; из освобождающегося евангелия сделали притесняющее католичество, из религии любви и равенства — церковь крови и войны. Древний мир, истощив все свои жизненные силы, падал, христианство явилось на его одре врачом и утешителем, но, прилаживаясь к больному, оно само заразилось и сделалось римское, варварское, какое хотите, только не евангельское. Какова сила родовой жизни, масс и обстоятельств! Люди думают, что достаточно доказать истину, как математическую теорему, чтоб ее приняли; что достаточно самому верить, чтоб другие поверили. Выходит совсем иное, одни говорят одно, а другие слушают их и понимают другое, оттого что их развития разные. Что проповедовали первые христиане и что поняла толпа? Толпа поняла все непонятное, все нелепое и мистическое; все ясное и простое было ей недоступно; толпа приняла все связующее совесть и ничего освобождающее человека. Так впоследствии она поняла революцию только кровавой расправой, гильотиной, местью; горькая историческая необходимость сделалась торжественным криком; к слову «братство» приклеили слово «смерть». «Fraternité ou la mort!» [12] сделалось каким-то «La bourse ou la vie» [13] — террористов. Мы столько жили сами, сколько видели да столько за нас жили наши предшественники, что наконец нам непростительно увлекаться, думать, что достаточно возвестить римскому миру евангелие, чтоб сделать из него демократическую и социальную республику, как это думали *красные* апостолы; или что достаточно в два столбца напечатать иллюстрированное издание des droits de l'homme [14], чтоб человек сделался свободным.

— Скажите, пожалуйста, что вам за охота выставлять одну дурную сторону человеческой природы?

— Вы начали разговор с грозного проклятия людям, а теперь защищаете их. Вы меня сейчас обвиняли в оптимизме, я вам могу возвратить обвинение. У меня никакой нет системы, никакого интереса, кроме истины, и я высказываю ее, как она мне кажется. Я не считаю нужным из учтивости к человечеству выдумывать на него всякие добродетели и доблести. Я ненавижу фразы, к которым мы привыкли, как христиане к символу веры; как бы они ни были с виду нравственны и хороши, они связывают мысль, покоряют ее. Мы принимаем их без поверки и идем дальше, оставляя за собой эти ложные маяки, и сбиваемся с дороги. Мы до того привыкаем к ним, что теряем способность в них

сомневаться, что совестимся касаться до таких святынь. Думали ли вы когда-нибудь, что значат слова «человек родится свободным» [15]? Я вам их переведу; это значит: человек родится зверем — не больше. Возьмите табун диких лошадей, совершенная свобода и равное участие в правах, полнейший коммунизм. Зато развитие невозможно. Рабство — первый шаг к цивилизации. Для развития надобно, чтоб одним было гораздо лучше, а другим гораздо хуже; тогда те, которым лучше, могут идти вперед на счет жизни остальных. Природа для развития ничего не жалеет. Человек — зверь с необыкновенно хорошо устроенным мозгом, тут его мощь. Он не чувствовал в себе ни ловкости тигра, ни львиной силы, у него не было ни их удивительных мышц, ни такого развития внешних чувств, но в нем нашлось бездна хитрости, множество смирных качеств, которые, с естественным побуждением жить стадами, поставили его на начальную ступень общественности. Не забывайте, что человек любит подчиняться, он ищет всегда к чему-нибудь прислониться, за что-нибудь спрятаться, в нем нет гордой самобытности хищного зверя. Он рос в повиновении семейном, племенном; чем сложнее и круче связывался узел общественной жизни, тем в большее рабство впадали люди; они были подавлены религией, которая теснила их за их трусость, старейшими, которые теснили их, основываясь на привычке. Ни один зверь, кроме пород, «развращенных человеком», как называл домашних зверей Байрон, не вынес бы этих человеческих отношений. Волк ест овцу, потому что голоден и потому что она слабее его, но рабства от нее не требует, овца не покоряется ему, она протестует криком, бегом; человек вносит в дико-независимый и самобытный мир животных элемент верноподданничества, элемент Калибана, на нем только и было возможно развитие Проспера; и тут опять та же беспощадная экономия природы, ее рассчитанность средств, которая, ежели где перейдет, то наверное не дойдет где-нибудь и, вытянувши в непомерную вышину передние ноги и шею камелеопардала [16], губит его задние ноги.

— Доктор, да вы страшный аристократ.

— Я натуралист, и знаете, что еще?.. я не трус, я не боюсь ни узнать истину, ни высказывать ее.

— Я не стану вам противуречить; впрочем, в теории все говорят правду, насколько ее понимают, тут нет большого мужества.

— Вы думаете? Какой предрассудок!.. Помилуйте, на сто философов вы не найдете одного, который был бы откровенен; пусть бы ошибался, нес бы нелепицу, но только

с полной откровенностию. Одни обманывают других из нравственных целей, другие самих себя — для спокойствия. Много ли вы найдете людей, как Спиноза, как Юм, идущих смело до всякого вывода? Все эти великие освободители ума человеческого поступали так, как Лютер и Кальвин, и, может, были правы с практической точки зрения; они освобождали себя и других включительно до какого-нибудь рабства, до символических книг, до текста Писания и находили в душе своей воздержность и умеренность не идти далее. По большей части последователи продолжают строго идти в путях учителей; в числе их являются люди посмелей, которые догадываются, что дело-то не совсем так, но молчат из благочестия и лгут из уважения к предмету, так, как лгут адвокаты, ежедневно говоря, что не смеют сомневаться в справедливости судей, зная очень хорошо, что они мошенники, и не доверяя им нисколько. Эта учтивость совершенно рабская, но мы к ней привыкли. Знать истину не легко, но все же легче, нежели высказывать ее, когда она не совпадает с общим мнением. Сколько кокетства, сколько риторики, позолоты, околичносло вия употребляли лучшие умы, Бэкон, Гегель, чтоб не говорить просто, боясь тупого негодования или пошлого свиста. Оттого до такой степени трудно понимать науку, надобно отгадывать ложно высказанную истину. Теперь рассудите: у многих ли есть досуг и охота доработываться до внутренней мысли и копаться в туке, которым наши учители прикрывают свое посильное пониманье,— отрывая стразы и крашеные стекла их науки.

— Это опять приближается к вашей аристократической мысли, что истина для нескольких, а ложь для всех, что...

— Позвольте, вы во второй раз назвали меня аристократом, я при этом вспоминаю робеспьеровское выражение: «L'athéisme est aristocrate» [17] Если б Робеспьер хотел только сказать, что атеизм возможен для немногих, так точно, как дифференциальные исчисления, как физика, он был бы прав; но он, сказавши: «Атеизм аристократичен», заключил, что атеизм — ложь. Для меня это возмутительная демагогия, это покорение разума нелепому большинству голосов. Неумолимый логик революции срезался и, провозглашая *демократическую* неправду, народной религии не восстановил, а указал предел своих сил, указал межу, за которой и он не революционер, а указать это во время переворота и движения значит напомнить, что время лица миновало... И в самом деле, после Fête de l'Être Suprême [18] Робеспьер становится мрачен, задумчив, беспокоен, его томит тоска, нет прежней веры, нет того смелого шага,

которым он шел вперед, которым ступал в кровь и кровь его не марала; тогда он не знал своих границ, будущее было беспредельно; теперь он увидел забор, он почувствовал, что ему приходится быть консерватором, и голова атеиста Клоца, пожертвованная предрассудку, лежала в ногах его, как улика, через нее ему нельзя было перешагнуть [19]. — Мы старше наших старших братий; не будем детьми, не будем бояться ни были, ни логики, не станем отказываться от последствий, они не в нашей воле; не будем выдумывать бога — если его нет, от этого его все же не будет. Я сказал, что истина принадлежит меньшинству, разве вы этого не знали? Отчего вам это показалось странно? Оттого, что я не прибавил к этому никакой риторической фразы. Помилуйте, да ведь я не отвечаю ни за пользу, ни за вред этого факта, я говорю только о его существовании. Я вижу в настоящем и прошедшем знание, истину, нравственную силу, стремление к независимости, любовь к изящному — в небольшой кучке людей враждебных, потерянных в среде, не симпатизирующей им. С другой стороны, я вижу тугое развитие остальных слоев общества, узкие понятия, основанные на преданиях, ограниченные потребности, небольшие стремления к добру, небольшие поползновения к злу.

— Да сверх того необычайную верность в стремлениях.

— Вы правы, общие симпатии масс почти всегда верны, как инстинкт животных верен, и знаете отчего? Оттого, что жалкая самобытность отдельных личностей стирается в общем; масса хороша только как безличная, и развитие самобытной личности составляет всю прелесть, до которой доработывается с другой стороны все свободное, талантливое, сильное.

— Да... до тех пор, пока вообще будет толпа, но заметьте, что прошедшее и настоящее не дают вам причины заключать, что в будущем не изменятся эти отношения; все идет к тому, чтоб разрушить дряхлые основы общественности. Вы ясно поняли и резко представляете раздор, двойство в жизни, и успокоиваетесь на этом; вы, как докладчик уголовной палаты, свидетельствуете о преступлении и стараетесь его доказать, предоставляя суд — палате. Другие идут далее, они хотят его снять; все сильные натуры меньшинства, о котором вы говорите, постоянно стремились наполнить пропасть, их отделявшую от масс; им было противно думать, что это неизбежный, роковой факт, у них в груди слишком много было любви, чтоб остаться в своей исключительной выси. Они лучше хотели с опрометчивостию самоотверженного порыва погибнуть в пропасти, их отделяющей от народа, нежели прогуливаться по их краям,

как вы. И эта связь их с массами — не каприз, не риторика, а глубокое чувство сродства, сознание того, что они сами вышли из масс, что без этого хора не было бы и их, что они представляют ее стремления, что они достигли того, до чего она достигает.

— Без сомнения, всякий распустившийся талант, как цветок, тысячью нитями связан с растением и никогда не был бы без стебля, а все-таки он не стебель, не лист, а цветок, жизнь его, соединенная с прочими частями, все же иная. Одно холодное утро — и цветок гибнет, а стебель остается; в цветке, если хотите, цель растения и край его жизни, но все же лепестки венчика — не целое растение. Всякая эпоха выплескивает, так сказать, дальнейшей волной полнейшие, лучшие организации, если только они нашли средства развиться; они не только выходят из толпы, но и *вышли* из нее. Возьмите Гёте, он представляет усиленную, сосредоточенную, очищенную, *сублимированную* сущность Германии, он из нее вышел, он не был бы без всей истории своего народа, но он так удалился от своих соотечественников в ту сферу, в которую поднялся, что они не ясно понимали его и что он, наконец, плохо их понимал; в нем собралось все волновавшее душу протестантского мира и распахнулось так, что он носился над тогдашним миром, как дух божий над водами. Внизу хаос, недоразумение, схоластика, домогательство понять; в нем светлое сознание и покойная мысль, далеко опередившая современников.

— Гёте представляет во всем блеске именно вашу мысль; он отчуждается, он доволен своим величием; и в этом отношении он исключение. Таков ли был Шиллер и Фихте, Руссо и Байрон и все эти люди, мучившиеся из того, чтоб привесть к одному уровню с собою массу, толпу? Для меня страдания этих людей, безвыходные, жгучие, провожавшие их иногда до могилы, иногда до плахи или до дома умалишенных,— лучше, нежели гётевский покой.

— Они много страдали, но не думайте, что они были без утешений. У них было много любви и еще больше веры. Они верили в человечество так, как его придумали, верили в свой разум, верили в будущее, упиваясь своим отчаянием, и эта вера врачевала одушевление их.

— Зачем же в вас нет веры?

— Ответ на этот вопрос сделан давно Байроном; он отвечал даме, которая его обращала в христианскую веру: «Как же я сделаю, чтоб начать верить?» В наше время можно или верить не думая, или думать не веривши. Вам кажется, что спокойное, по-видимому, сомнение легко; а почем вы знаете, сколько бы человек иногда готов был

дать в минуту боли, слабости, изнеможения за одно верование? Откуда его возьмешь? Вы говорите: лучше страдать, и советуете веровать, но разве религиозные люди страдают в самом деле? Я вам расскажу случай, который был со мною в Германии. Призывают меня раз в гостиницу к приезжей даме, у которой занемогли дети; я прихожу: дети в страшной скарлатине; медицина нынче настолько сделала успехов, что мы поняли, что мы не знаем почти ни одной болезни и почти ни одного лечения, это большой шаг вперед. Вижу я, дело очень плохо, прописал детям для успокоения матери всякие невинные вещи, дал разные приказания, очень хлопотливые, чтоб ее занять, а сам стал выжидать, какие силы найдет организм для противудействия болезни. Старший мальчик поприутих. «Он, кажется, теперь спокойно заснул»,— сказала мне мать; я ей показал пальцем, чтоб она его не разбудила; ребенок отходил. Для меня было очевидно, что болезнь совершенно одинаково пойдет у его сестры; мне казалось, что ее спасти невозможно. Мать, женщина очень нервная, была в безумии и беспрерывно молилась; девочка умерла.— Первые дни человеческая натура взяла свое, мать пролежала в горячке, была сама на краю гроба, но мало-помалу силы воротились, она стала покойнее, толковала мне все о Шведенборге... Уезжая, она взяла меня за руку и сказала с видом торжественного спокойствия: «Тяжело мне было... какое страшное испытание!.. Но я их хорошо поместила, они возвратились чистыми, ни одной пылинки, ни одного тлетворного дыхания не коснулось их... им будет хорошо! Я для их блага должна покориться!»

— Какая разница между этим фанатизмом и верой человека в людей, в возможность лучшего устройства, свободы! Это сознание, мысль, убеждение, а не суеверие.

— Да, то есть не грубая религия des Jenseits [20], которая отдает детей в пансион на том свете, а религия des Diesseits [21], религия науки, всеобщего, родового, трансцендентального, разума, идеализма. Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в царство небесное — глупо, а верить в земные утопии — умно? Отбросивши положительную религию, мы остались при всех религиозных привычках и, утратив рай на небе, верим в пришествие рая земного и хвастаемся этим. Вера в будущее за гробом дала столько силы мученикам первых веков; но ведь такая же вера поддерживала и мучеников революции; те и другие гордо и весело несли голову на плаху, потому что у них была непреложная вера в успех их идей, в торжество христиан-

ства, в торжество республики. Те и другие ошиблись — ни мученики не воскресли, ни республика не водворилась. Мы пришли после них и увидели это. Я не отрицаю ни величие, ни пользу веры; это великое начало движения, развития, страсти в истории, но вера в душе людской — или частный факт, или эпидемия. Натянуть ее нельзя, особенно тому, кто допустил разбор и недоверчивое сомнение, кто пытал жизнь и, задерживая дыхание, с любовью останавливался на всяких трупоразъятиях, кто заглянул, может быть, больше, нежели нужно, за кулисы; дело сделано, поверить вновь нельзя. Можно ли, например, меня уверить, что после смерти дух человека жив, когда так легко понять нелепость этого разделения тела и духа; можно ли меня уверить, что завтра или через год водворится социальное братство, когда я вижу, что народы понимают братство, как Каин и Авель?

— Вам, доктор, остается скромное a parte [22] в этой драме, бесплодная критика и праздность до скончания дней.

— Быть может, очень может быть. Хотя я не называю праздностью внутреннюю работу, но тем не менее думаю, что вы верно смотрите на мою судьбу. Помните ли вы римских философов в первые века христианства,— их положение имеет много сходного с нашим; у них ускользнуло настоящее и будущее, с прошедшим они были во вражде. Уверенные в том, что они ясно и лучше понимают истину, они скорбно смотрели на разрушающийся мир и на мир водворяемый, они чувствовали себя правее обоих и слабее обоих. Кружок их становился теснее и теснее, с язычеством они ничего не имели общего, кроме привычки, образа жизни. Натяжки Юлиана Отступника и его реставрации были так же смешны, как реставрация Людовика XVIII и Карла X; с другой стороны, христианская теодицея оскорбляла их светскую мудрость, они не могли принять ее язык, земля исчезала под их ногами, участие к ним стыло; но они умели величаво и гордо дожидаться, пока разгром захватит когонибудь из них,— умели умирать, не накупаясь на смерть и без притязания спасти себя или мир; они гибли хладнокровно, безучастно к себе; они умели, пощаженные смертью, завертываться в свою тогу и молча досматривать, что станется с Римом, с людьми. Одно благо, остававшееся этим иностранцам своего времени, была спокойная совесть, утешительное сознание, что они не испугались истины, что они, поняв ее, нашли довольно силы, чтоб вынести ее, чтоб остаться верными ей [23].

— И только.

— Будто этого не довольно? Впрочем, нет, я забыл,

у них было еще одно благо — личные отношения, уверенность в том, что есть люди, так же понимающие, сочувствующие с ними, уверенность в глубокой связи, которая независима ни от какого события; если при этом немного солнца, море вдали или горы, шумящая зелень, теплый климат... чего же больше?

— По несчастию, этого спокойного уголка в тепле и тишине вы не найдете теперь во всей Европе.

— Я поеду в Америку.

— Там очень скучно.

— Это правда...

Париж, 1 марта 1849 г.

VI

ЭПИЛОГ 1849

Opfer fallen hier,
Weder Lamm noch Stier,
Aber Menschenopfer — unerhört.
Goethe. «Braut von Korinth» [1]

Проклятие тебе, год крови и безумия, год торжествующей пошлости, зверства, тупоумья.— Проклятье тебе!

От первого до последнего дня ты был несчастием, ни одной светлой минуты, ни одного покойного часа, нигде, не было в тебе. От восстановленной гильотины в Париже, от буржского процесса до кефалонийских виселиц, поставленных англичанами для детей, от пуль, которыми расстреливал баденцев брат короля прусского, от Рима, падшего перед народом, изменившим человечеству, до Венгрии, проданной врагу полководцем, изменившим отечеству,— все в тебе преступно, кроваво, гадко, все заклеймено печатью отвержения [2]. И это только первая ступень, начало, введение, следующие годы будут и отвратительнее, и свирепее, и пошлее...

До какого времени слез и отчаяния мы дожили!.. Голова идет кругом, грудь ломится, страшно знать, что делается, и страшно не знать, что еще за неистовства случились. Лихорадочная злоба подстрекает на ненависть и презрение; унижение разъедает грудь... и хочется бежать, уйти... отдохнуть, уничтожиться бесследно, бессознательно.

Последняя надежда, которая согревала, поддерживала,— надежда на месть,— на месть безумную, дикую, ненужную, но которая бы доказала, что в груди у современного человека есть сердце,— исчезает; душа остается без зеленого листа, все облетело... и все затихло — мгла и холод распространяются... только порой топор палача стукнет, падая, да пуля, тоже палача, просвищет, отыскивая благородную грудь юноши, расстреливаемого за то, что он верил в человечество.

И *они* не будут отомщены?..

Разве у них не было друга, брата? Разве нет людей, делящих их веру? — Все было, только мести не будет!

Вместо Мария [3] из их праха родилась целая литература

застольных речей, демагогических разглагольствований — мое в том числе — и прозаических стихов.

Они этого не знают. Какое счастие, что их нет и что нет жизни за гробом! Ведь *они* верили в людей, верили, что есть за что умереть, и умерли прекрасно, свято, искупая расслабленное поколение кастратов. Мы едва знаем их имена — убийство Роберта Блума [4] ужаснуло, удивило, потом мы обдержались...

Я краснею за наше поколение, мы какие-то бездушные риторы, у нас кровь холодна, а горячи одни чернилы; у нас мысль привыкла к бесследному раздражению, а язык к страстным словам, не имеющим никакого влияния на дело. Мы размышляем там, где надобно разить, обдумываем там, где надобно увлечься, мы отвратительно благоразумны, на все смотрим свысока, мы все переносим, мы занимаемся одним *общим, идеей, человечеством.* Мы заморили наши души в отвлеченных и общих сферах так, как монахи обессиливали ее в мире молитвы и созерцания. Мы потеряли вкус к действительности, вышли из нее вверх так, как мещане вышли вниз.

А вы что делали, революционеры, испугавшиеся революции? Политические шалуны, паяцы свободы, вы играли в республику, в террор, в правительство, вы дурачились в клубах, болтали в камерах, одевались шутами с пистолетами и саблями, целомудренно радовались, что заявленные злодеи, удивляясь, что живы, хвалили ваше милосердие. Вы ничего не предупредили, ничего не предвидели. А те, *лучшие из вас,* заплатили головой за ваше безумие. Учитесь теперь у ваших врагов, которые вас победили, потому что они умнее вас. Посмотрите, боятся ли они реакции, боятся ли они идти слишком далеко, замарать себе кровью руки? Они по локоть, по горло в крови. Погодите немного, они вас всех переказнят, вы не далеко ушли. Да что переказнят — они вас пересекут всех.

Меня просто ужасает современный человек. Какая бесчувственность и ограниченность, какое отсутствие страсти, негодования, какая слабость мысли, как скоро стынет в нем порыв, как рано изношено в нем увлеченье, энергия, вера в собственное дело! — И где? чем? когда эти люди истратили свою жизнь, когда они успели потерять силы? Они растлились в школе, где их одурачили; они истаскались в пивных лавках, в студентской одичалости; они ослабли от маленького, грязного разврата; родившиеся, выращенные в больничном воздухе, они мало принесли сил и завяли потом, прежде, нежели расцвели; они истощились не страстями, а страстными мечтами. И тут, как всегда,

литераторы, идеалисты, теоретики, они мыслию постигли разврат, они прочитали страсть. Право, иной раз становится досадно, что человек не может перечислиться в другой род зверей,— разумеется, быть ослом, лягушкой, собакой приятнее, честнее и благороднее, нежели человеком XIX века.

Винить некого, это не их, не наша вина, это несчастие рождения тогда, когда целый мир — умирает!

Одно утешение и остается: весьма вероятно, что будущие поколения выродятся еще больше, еще больше обмелеют, обнищают умом и сердцем; им уже и наши дела будут недоступны и наши мысли будут непонятны. Народы, как царские домы, перед падением тупеют, их понимание помрачается, они выживают из ума — как Меровинги, зачинавшиеся в разврате и кровосмешениях и умиравшие в каком-то чаду, ни разу не пришедши в себя; как аристократия, выродившаяся до болезненных кретинов, измельчавшая Европа изживет свою бедную жизнь в сумерках тупоумия, в вялых чувствах без убеждений, без изящных искусств, без мощной поэзии. Слабые, хилые, глупые поколения протянутся как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покрывалом и предаст забвению — летописей.

А там?

А там настанет весна, молодая жизнь закипит на их гробовой доске, варварство младенчества, полное неустроенных, но здоровых сил, заменит старческое варварство; дикая, свежая мощь распахнется в молодой груди юных народов, и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории.

Основный тон его мы можем понять теперь. Он будет принадлежать социальным идеям. Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, и снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией...

Вечная игра жизни, безжалостная, как смерть, неотразимая, как рождение, corsi e ricorsi истории, perpetuum mobile [5] маятника!

К концу XVIII века европейский Сизиф докатил тяжелый камень свой, составленный из развалин и осколков трех разнородных миров, до вершины, камень качнулся в сторону, в другую, казалось, хотел установиться — не тут-то было; он перекатился и стал тихо, незаметно склоняться — быть может, он запнулся бы за что-нибудь,

остановился бы с помощию таких тормозов и порогов, как представительное правление, конституционная монархия, потом выветривался бы века целые, принимая всякую перемену за совершенствование и всякую перестановку за развитие,— так, как этот европейский Китай, называемый Англией, так, как это допотопное государство, стоящее между допотопных гор, называемое Швейцарией. Но для этого надобно было, чтоб ветер не веял, чтоб не было ни толчка, ни потрясения; но ветер повеял, и толчок пришел. Февральская буря потрясла всю наследственную почву. Буря июньских дней окончательно сдвинула весь римско-феодальный наплыв, и он понесся под гору с усиливающейся быстротою, ломая по дороге все встречное и ломаясь сам в осколки... А бедный Сизиф смотрит и не верит своим глазам, лицо его осунулось, пот устали смешался с потом ужаса, слезы отчаяния, стыда, бессилия, досады остановились на глазах; он так верил в совершенствование, в человечество, он так философски, так умно и учено уповал на современного человека.— И все-таки обманулся.

Французская революция и германская наука — геркулесовские столбы мира европейского. За ними по другую сторону открывается океан, виднеется новый свет, что-то другое, а не исправленное издание старой Европы. Они сулили миру освобождение от церковного насилия, от гражданского рабства, от нравственного авторитета. Но, провозглашая искренно свободу мысли и свободу жизни, люди переворота не сообразили всю несовместность ее с католическим устройством Европы. Отречься от него они еще не могли. Чтоб идти вперед, им пришлось свернуть свое знамя, изменить ему, им пришлось делать уступки.

Руссо и Гегель — христиане.

Робеспьер и С.-Жюст — монархисты.

Германская наука — спекулятивная религия; республика Конвента — пентархический абсолютизм и вместе с тем церковь. Вместо символа веры явились гражданские догматы. Собрание и правительство священнодействовало мистерию народного освобождения. Законодатель сделался жрецом, прорицателем и возвещал добродушно и без иронии неизменные, непогрешительные приговоры во имя самодержавия народного.

Народ, как разумеется, оставался по-прежнему «мирянином», *управляемым;* для него ничего не изменилось, и он присутствовал при политических литургиях, так же ничего не понимая, как при религиозных.

Но страшное имя *Свободы* замешалось в мире привычки, обряда и авторитета. Оно запало в сердца; оно

раздалось в ушах и не могло оставаться страдательным; оно бродило, разъедало основы общественного здания; лиха беда была привиться в одной точке, разложить одну каплю старой крови. С этим ядом в жилах нельзя спасти ветхое тело. Сознание близкой опасности сильно выразилось после безумной эпохи императорства, все глубокие умы того времени ждали катаклизм, боялись его. Легитимист Шатобриан и Ламенне, тогда еще аббат, указывали его. Кровавый террорист католицизма, Местр, боясь его, подавал одну руку папе, другую палачу. Гегель подвязывал паруса своей философии, так гордо и свободно плывшей по морю логики, боясь далеко уплыть от берегов и быть захваченному шквалом. Нибур, томимый тем же пророчеством, умер, увидя 1830 г. и Июльскую революцию. Целая школа образовалась в Германии, мечтавшая остановить будущее прошедшим, трупом отца припереть дверь новорожденному.— Vanitas vanitatum! [6]

Два исполина пришли наконец торжественно заключить историческую фазу.

Старческая фигура Гёте, не делящая интересов, кипящих вокруг, отчужденная от среды, стоит спокойно, замыкая два прошедших у входа в нашу эпоху. Он тяготит над современниками и примиряет с былым. Старец был еще жив, когда явился и исчез единственный поэт XIX столетия. Поэт сомнения и негодования, духовник, палач и жертва вместе; он наскоро прочел скептическую отходную дряхлому миру и умер 37 лет в возрождавшейся Греции, куда бежал, чтоб только не видеть «берегов своей родины» [7].

За ним замолкло все. И никто не обратил внимания на бесплодность века, на совершенное отсутствие творчества. Сначала он еще был освещен заревом XVIII столетия, он блистал его славой, гордился его людьми. По мере, как эти звезды другого неба заходили, сумерки и мгла падали на все; повсюду бессилие, посредственность, мелкость — и едва заметная полоска на востоке, намекающая на дальнее утро, перед наступлением которого разразится не одна туча.

Явились пророки наконец, возвещавшие близкое несчастие и дальнее искупление [8]. На них смотрели как на юродивых, их новый язык возмущал, их слова принимались за бред. Толпа не хочет, чтоб ее будили; она просит, чтоб ее оставили в покое с ее жалким бытом, с ее пошлыми привычками; она хочет, как Фридерик II, умереть, не меняя грязного белья. Ничто в мире не могло так удовлетворить этому скромному желанию, как мещанская монархия.

Но разложение шло своим чередом, «подземный крот» работал неутомимо [9]. Все власти, все учреждения были разъедаемы скрытым раком; 24 февраля 1848 г. болезнь сделалась острой из хронической. Французская республика была возвещена миру трубою последнего суда. Немощь, хилость старого общественного устройства становились очевидны, все стало распускаться, развязываться, все перемешалось и именно держится на этой путанице. Революционеры сделались консерваторами, консерваторы анархистами; республика убила последние свободные учреждения, уцелевшие при королях; родина Вольтера бросилась в ханжество. Все побеждены, все побеждено, а победителя нет...

Когда многие надеялись, мы говорили им: это не выздоровление, это румянец чахотки. Смелые мыслию, дерзкие на язык, мы не побоялись ни исследовать зло, ни высказать его, а теперь выступает холодный пот на лбу. Я первый бледнею, трушу перед темной ночью, которая наступает; дрожь пробегает по коже при мысли, что наши предсказания сбываются — так скоро, что их совершение — так неотразимо...

Прощай, отходящий мир, прощай, Европа!

— А мы что сделаем из себя?

...Последние звенья, связующие два мира, не принадлежащие ни к тому, ни к другому; люди, отвязавшиеся от рода, разлученные с средою, покинутые на себя; люди ненужные, потому что не можем делить ни дряхлости одних, ни младенчества других, нам нету места ни за одним столом. Люди отрицания для прошедшего, люди отвлеченных построений в будущем, мы не имеем достояния ни в том, ни в другом, и в этом равно свидетельство нашей силы и ее ненужности.

Идти бы прочь... Своею жизнию начать освобождение, протест, новый быт... Как будто мы в самом деле так свободны от старого? Разве наши добродетели и наши пороки, наши страсти и, главное, наши привычки не принадлежат этому миру, с которым мы развелись только в убеждениях?

Что же мы сделаем в девственных лесах,— мы, которые не можем провести утра, не прочитав пяти журналов, мы, у которых только и осталось поэзии в бое с старым миром? что?.. Сознаемся откровенно, мы плохие Робинзоны.

Разве ушедшие в Америку не снесли с собою туда старую Англию?

И разве вдали мы не будем слышать стоны, разве можно отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши — преднамеренно не знать, упорно молчать, т. е. признаться побежденным,

сдаться? Это невозможно! Наши враги должны знать, что есть независимые люди, которые ни за что не поступятся свободной речью, пока топор не прошел между их головой и туловищем, пока веревка им не стянула шею.

Итак, пусть раздается наше слово!

...А кому говорить?.. о чем? — я, право, не знаю, только это сильнее меня...

Цюрих, 21 декабря 1849 г.

VII

OMNIA MEA MECUM PORTO [1]

Ce n'est pas Catilina qui est à vos portes — c'est la mort!

Proudhon (Voix du Peuple) [2]

Komm her, wir setzen uns zu Tisch!
Wen sollte solche Narrheit rühren?
Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch,
Wir wollen sie nicht balsamieren [3].

Goethe

Видимая, старая, официальная Европа не спит — она умирает!

Последние слабые и болезненные остатки прежней жизни едва достаточны, чтоб удержать на несколько времени распадающиеся части тела, которые стремятся к новым сочетаниям, к развитию иных форм.

По-видимому, еще многое стоит прочно, дела идут своим чередом, судьи судят, церкви открыты, биржи кипят деятельностию, войска маневрируют, дворцы блестят огнями — но дух жизни отлетел, на сердце у всех неспокойно, смерть за плечами, и, в сущности, ничего не идет. В сущности, нет ни церкви, ни войска, ни правительства, ни суда — все превратилось в полицию. Полиция хранит, спасает Европу, под ее благословением и кровом стоят троны и алтари, это гальваническая струя, которою насильственно поддерживают жизнь, чтоб выиграть настоящую минуту. Но разъедающий огонь болезни не потушен, его вогнали только внутрь, он скрыт. Все эти почернелые стены и твердыни, которые, кажется, своей старостию приобрели всегдашность скал,— ненадежны; они похожи на пни, долго остающиеся после порубки леса, они хранят вид упорной несокрушимости до тех пор, пока их не толкнет кто-нибудь ногой.

Многие не видят смерти только потому, что они под смертью воображают какое-то уничтожение. Смерть не уничтожает составных частей, а развязывает их от *прежнего* единства, дает им волю существовать при иных условиях. Разумеется, целая часть света не может сгинуть с лица земли; она останется так, как Рим остался в средних веках; она разойдется, распустится в грядущей Европе и потеряет свой теперешний характер, подчиняясь новому и с тем

вместе влияя на него. Наследство, оставленное отцом сыну, в физиологическом и гражданском смысле, продолжает жизнь отца за гробом; тем не менее, между ними *смерть* — так, как между Римом Юлия Цезаря и Римом Григория VII *.

Смерть современных форм гражданственности скорее должна радовать, нежели тяготить душу. Но страшно то, что отходящий мир оставляет не наследника, а беременною вдову. Между смертию одного и рождением другого утечет много воды, пройдет длинная ночь хаоса и запустения.

Мы не доживем до того, до чего дожил Симеон Богоприимец [4]. Как ни тяжела эта истина, надобно с ней примириться, сладить, потому что изменить ее невозможно.

Мы довольно долго изучали хилый организм Европы, во всех слоях и везде находили вблизи перст смерти, и только изредка вдали слышалось пророчество. Мы сначала тоже надеялись, верили, старались верить. Предсмертная борьба так быстро искажала одну черту за другой, что нельзя было обманываться. Жизнь потухала, как последние свечи в окнах прежде рассвета. Мы были поражены, испуганы. Сложа руки мы смотрели на страшные успехи смерти. Что мы видели с февральской революции?.. Довольно сказать, мы были молоды два года тому назад и стары теперь.

Чем ближе мы подходили к партиям и людям, тем пустыня около нас делалась больше, тем больше становились мы одни. Как было делить безумие одних, бездушие других? Тут лень, апатия, там ложь и ограниченность — силы, мощи нигде; разве у нескольких мучеников, умерших за людей, не принеся им никакой пользы; у нескольких страдальцев, распинающихся за толпу, готовых отдать кровь, голову и принужденных беречь то и другое,— видя хор, которому не нужны эти жертвы.

Потерянные без дела в этом мире, который рушился со всех сторон, оглушенные безмысленными спорами, ежедневными оскорблениями,— мы предавались горю и отчаянию, нам хотелось одного — сложить где-нибудь усталую голову, не справляясь о том, есть ли сновидение или нет.

Но жизнь взяла свое, и, вместо отчаяния, вместо желания гибели, я теперь хочу жить; я не хочу больше признавать себя в такой зависимости от мира, не хочу оставаться на всю жизнь у изголовья умирающего вечным плакальщиком.

---

* С другой стороны, между Европой Григория VII, Мартина Лютера, Конвента, Наполеона — не смерть, а развитие, видоизменение, рост; вот отчего все попытки античных реакций (Бранкалеоне, Риензи) были невозможны, а монархические реставрации в новой Европе так легки.

Неужели в нас самих совершенно ничего нет и мы только и были чем-нибудь — этим миром, в нем,— так что теперь, когда он, попорченный совсем иными законами, гибнет, нам нет другого занятия, как печально сидеть на его развалинах, другого значения, как служить ему надгробным памятником?

Довольно грустить. Мы отдали миру, что ему принадлежало, мы не скупились, отдав ему лучшие годы наши, полное сердечное участие; мы страдали больше него его страданиями. Теперь оботрем слезы и будем мужественно смотреть на окружающее. Что бы нам, наконец, ни представило оно, перенести можно, *должно*. Худшее пережили, а пережитое несчастие — несчастие оконченное. Мы успели ознакомиться с нашим положением, мы ни на что не надеемся, ничего не ждем или, пожалуй, ждем всего; это сводится на одно. Нас может многое оскорбить, сломать, убить; удивить — *ничего*... или все наши думы и слова были только на губах.

Корабль идет ко дну. Страшна была минута сомнения, когда рядом с опасностию были надежды; теперь положение ясно, корабль не может быть спасен, остается гибнуть или спасать себя. Долой с корабля, на лодки, бревна — пусть каждый пытает свое счастие, пробует свои силы. Point d'honneur [5] моряков нам не идет.

Вон из душной комнаты, где оканчивается длинная, бурная жизнь! Выйдем на чистый воздух из тяжелой, заразительной атмосферы; на поле из больничной палаты. Много найдется мастеров бальзамировать покойника; еще больше червей, которые поживут на счет гнили. Оставим им труп, не потому, что они хуже или лучше нас, а потому, что они этого хотят, а мы не хотим; потому что они в этом живут, а мы страдаем. Отойдем свободно и бескорыстно, зная, что нам нет наследства, и не нуждаясь в нем.

В стары годы этот гордый разрыв с современностию назвали бы *бегством;* неизлечимые романтики и теперь после всего ряда событий, совершившихся перед их глазами, назовут это так.

Но свободный человек не может бежать, потому что он зависит только от своих убеждений и больше ни от чего; он имеет право оставаться или идти, вопрос может быть не о бегстве, а о том, свободен ли человек или нет?

Сверх того, слово «бегство» становится невыразимо смешно, обращенное к тем, которые имели несчастие заглянуть дальше, уйти вперед больше, нежели надобно другим, и не хотят воротиться. Они могли бы сказать людям à la Coriolan: «Не мы бежим, а вы отстаете», но то и другое

нелепо. Мы делаем свое, люди, окружающие нас,— свое. Развитие лица и масс делается так, что они не могут взять всей ответственности на себя за последствия. Но известная степень развития, как бы она ни случилась и чем бы ни была приведена,— обязывает. Отрекаться от своего развития значит отрекаться от самих себя.

Человек свободнее, нежели обыкновенно думают. Он много зависит от среды, но не настолько, как кабалит себя ей. Большая доля нашей судьбы лежит в наших руках, стоит понять ее и не выпускать из рук. Понявши, люди допускают окружающий мир насиловать их, увлекать против воли; они отрекаются от своей самобытности, опираясь во всех случаях не на себя, а на него, затягивая крепче и крепче узы, связующие с ним. Они ожидают от мира всего добра и зла в жизни, они надеются на себя на последних. При такой ребяческой покорности роковая сила внешнего становится непреодолимой, вступить с нею в борьбу кажется человеку безумием. А между тем грозная мощь эта бледнеет с того мгновения, как в душе человека вместо самоотвержения и отчаяния, вместо страха и покорности возникает простой вопрос: «В самом ли деле он так скован на жизнь и смерть со средою, что он и тогда не имеет возможности от нее освободиться, когда действительно с нею распался, когда ему ничего не нужно от нее, когда он равнодушен к ее дарам?»

Я не говорю, чтоб этот протест во имя независимости и самобытности лица был легок. Он недаром вырывается из груди человека, ему предшествуют или долгие личные испытания и несчастия, или те тяжелые эпохи, когда человек тем больше расходится с миром, чем глубже его понимает, когда все узы, связующие его с внешним, превращаются в цепи, когда он чувствует себя правым в противуположность событиям и массам, когда он сознает себя соперником, чужим, а не членом большой семьи, к которой принадлежит.

Вне нас все изменяется, все зыблется, мы стоим на краю пропасти и видим, как он осыпается; сумерки наступают, и ни одной путеводной звезды не является на небе. Мы не сыщем гавани иначе, как в нас самих, в сознании нашей беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости. Спасая себя таким образом, мы становимся на ту мужественную и широкую почву, на которой только и возможно развитие свободной жизни в обществе,— если оно вообще возможно для людей.

Когда бы люди захотели вместо того, чтоб спасать мир, спасать себя, вместо того, чтоб освобождать человечество,

себя освобождать,— как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человека.

Зависимость человека от среды, от эпохи не подлежит никакому сомнению. Она тем сильнее, что половина уз укрепляется за спиною сознания; тут есть связь физиологическая, против которой редко могут бороться воля и ум; тут есть элемент наследственный, который мы приносим с рождением так, как черты лица, и который составляет круговую поруку последнего поколения с рядом предшествующих; тут есть элемент морально-физиологический, воспитание, прививающее человеку историю и современность, наконец, элемент сознательный. Среда, в которой человек родился, эпоха, в которой он живет, его тянет участвовать в том, что делается вокруг него, продолжать начатое его отцами; ему естественно привязываться к тому, что его окружает, он не может не отражать в себе, собою своего времени, своей среды.

Но тут в самом образе отражения является его самобытность. Противудействие, возбуждаемое в человеке окружающим,— ответ его личности на влияние среды. Ответ этот может быть полон сочувствия, так, как полон противуречия. Нравственная независимость человека — такая же непреложная истина и действительность, как его зависимость от среды, с тою разницей, что она с ней в обратном отношении: чем больше сознания, тем больше самобытности; чем меньше сознания, тем связь с средою теснее, тем больше среда поглощает лицо. Так инстинкт, без сознания, не достигает истинной независимости, а самобытность является или как дикая свобода зверя, или в тех редких судорожных и непоследовательных отрицаниях той или другой стороны общественных условий, которые называют преступлениями.

Сознание независимости не значит еще распадение с средою, самобытность не есть еще вражда с обществом. Среда не всегда относится одинаким образом к миру и, следственно, не всегда вызывает со стороны лица отпор.

Есть эпохи, когда человек свободен в *общем деле*. Деятельность, к которой стремится всякая энергическая натура, совпадает тогда с стремлением общества, в котором она живет. В такие времена — тоже довольно редкие — все бросается в круговорот событий, живет в нем, страдает, наслаждается, гибнет. Одни натуры, своеобразно гениальные, как Гёте, стоят поодаль, и натуры, пошло бесцветные, остаются равнодушными. Даже те личности, которые враждуют против общего потока, также увлечены и удовлетворены в настоящей борьбе. Эмигранты были столько же

поглощены революцией, как якобинцы. В такое время нет нужды толковать о самопожертвовании и преданности,— все это делается само собою и чрезвычайно легко.— Никто не отступает, потому что все верят. Жертв, собственно, нет, жертвами кажутся зрителям такие действия, которые составляют простое исполнение воли, естественный образ поведения.

Есть другие времена — и они всего обыкновеннее — времена мирные, сонные даже, в которые отношения личности к среде *продолжаются*, как они были поставлены последним переворотом. Они не настолько натянуты, чтоб лопнуть, не настолько тяжелы, чтоб нельзя было вынести, и, наконец, не настолько исключительны и настойчивы, чтоб жизнь не могла восполнить главные недостатки и сгладить главные шероховатости. В такие эпохи вопрос о связи общества с человеком не так занимает. Являются частные столкновения, трагические катастрофы, вовлекающие в гибель несколько лиц; раздаются титанические стоны скованного человека; но все это теряется бесследно в учрежденном порядке, признанные отношения остаются незыбленными, покоятся на привычке, на человеческом беспечье, на лени, на недостатке демонического начала критики и иронии. Люди живут в частных интересах, в семейной жизни, в ученой, индустриальной деятельности, судят и рядят, воображая, что делают дело, усердно работают, чтоб устроить судьбу детей; дети, с своей стороны, устроивают судьбу своих детей, так что существующие личности и настоящее как будто стираются и признают себя чем-то переходным. Подобное время продолжается до сих пор в Англии.

Но есть еще и третьего рода эпохи, очень редкие и самые скорбные,— эпохи, в которые общественные формы, пережившн себя, медленно и тяжело гибнут; исключительная цивилизация достигает не только высшего предела, но даже выходит из круга возможностей, данных историческим бытом, так что, по-видимому, она принадлежит будущему, а в сущности равно отрешена от прошедшего, которое она презирает, и от будущего, развивающегося по иным законам. Вот тут-то и сталкивается лицо с обществом. Прошедшее является как безумный отпор. Насилие, ложь, свирепость, корыстное раболепство, ограниченность, потеря всякого чувства человеческого достоинства становятся общим правилом большинства. Все доблестное былого уже исчезло, дряхлый мир сам не верит в себя и отчаянно защищается, потому что боится, из самосохранения забывает своих богов, попирает ногами права, на которых держался,

отрекается от образования и чести, становится зверем, преследует, казнит, и между тем сила остается в его руках; ему повинуются не из одной трусости, но из того, что с другой стороны все шатко, ничего не решено, не готово — и главное, что люди не готовы.— С другой стороны, незнакомое будущее восходит на горизонте, покрытом тучами,— будущее, смущающее всякую человеческую логику. Вопрос римского мира разрешается христианством, религией, с которой свободный человек гибнущего Рима так же мало имел связи, как с политеизмом. Человечество, для того чтоб двинуться вперед из узких форм римского права, отступает в германское варварство.

Те из римлян, которые от тягости жизни, гонимые тоской, страхом, бросились в христианство, спаслись; но разве те, которые не меньше страдали, но были тверже характером и умом и не хотели спасаться от одной нелепости, принимая другую, достойны порицания? Могли ли они с Юлианом Отступником стать за старых богов или с Константином за новых? Могли ли они участвовать в современном деле, видя, куда идет дух времени? В такие эпохи свободному человеку легче одичать в отчуждении от людей, нежели идти с ними по одной дороге, ему легче лишить себя жизни, нежели пожертвовать ее.

Неужели человек менее прав оттого, что с ним никто не согласен? Да разве ум нуждается другой поверки, как умом? И с чего же всеобщее безумие может опровергнуть личное убеждение?

Мудрейшие из римлян сошли совсем со сцены, и превосходно сделали. Они рассеялись по берегам Средиземного моря, пропали для других в безмолвном величии скорби, но не пропали для себя — и через пятнадцать столетий мы должны сознаться, что, собственно, они были победители, они единственные, свободные и мощные представители независимой личности человека, его достоинства. Они были *люди*, их нельзя было считать поголовно, они не принадлежали к стаду — и не хотели лгать, а не имея с ним ничего общего — отошли.

А что у нас общего с миром, нас окружающим? Несколько лиц, связанных с нами одними убеждениями, три добродетельные человека Содома и Гоморры [6], они в том же положении, как мы, они составляют протестующее меньшинство, сильное мыслию, слабое действием. Кроме их, у нас с современным миром не больше деятельной связи, как с Китаем (я на сию минуту опускаю физиологическую связь и привычку). Это до того справедливо, что даже в тех редких случаях, когда люди произносят одни и те же слова

с нами, они их понимают розно. Хотите ли вы *свободы* монтаньяров, *порядка* законодательного собрания, египетского устройства работ коммунистов?

Теперь все играют с раскрытыми картами, и самая игра чрезвычайно упростилась, ошибаться нельзя — на каждом клочке Европы та же борьба, те же два стана. Вы ясно, вполне чувствуете, против которого вы; но чувствуете ли вы так же ясно связь вашу с другим станом — как отвращение и ненависть к первому?..

Время откровенности пришло, свободные люди не обманывают ни себя, ни других, всякая пощада ведет к чему-то ложному, косому.

Прошедший год, чтоб достойно окончиться и исполнить меру всех нравственных оскорблений и пыток, представил нам страшное зрелище: борьбу *свободного человека с освободителями человечества* [7]. Смелая речь, едкий скептицизм, беспощадное отрицание, неумолимая ирония Прудона возмутила записных революционеров не меньше консерваторов; они напали на него с ожесточением; они стали за свои предания с неподвижностию легитимистов; они испугались его атеизма и его анархии; они не могли понять, как можно быть свободным без государства, без демократического правления; они с удивлением слушали безнравственную речь, что республика для людей, а не лица для республики. И когда у них недостало ни логики, ни красноречия, они объявили Прудона подозрительным, они его предали революционной анафеме, отлучая от православного единства своего. Талант Прудона и зверство полиции спасли его от клеветы. Уже гнусное обвинение в предательстве ходило из уст в уста демократической черни, когда он бросил свои знаменитые статьи в президента, который не нашел лучшего ответа, оглушенный ударом, как теснить колодника, запертого за мысль и слово [8]. Видя это, толпа примирилась.

И вот вам крестовые рыцари свободы, привилегированные освободители человечества! Они боятся свободы; им надобен господин для того, чтоб не избаловаться; им нужна власть, потому что они не доверяют себе. Мудрено ли после того, что горсть людей, переселившаяся с Кабе в Америку [9], едва устроилась во временных шалашах, как все неудобства европейской государственной жизни обличились в их среде?

При всем этом *они* современнее нас, полезнее нас, потому что ближе к делу; они найдут больше сочувствия в массах, они нужнее. Массы хотят остановить руку, нагло вырывающую у них кусок хлеба, заработанный ими,— это

их главная потребность. К личной свободе, к независимости слова они равнодушны; массы любят авторитет, их еще ослепляет оскорбительный блеск власти, их еще оскорбляет человек, стоящий независимо; они под равенством понимают равномерный гнет; боясь монополей и привилегий, они косо смотрят на талант и не позволяют, чтоб человек не делал того же, что они делают. Массы желают социального правительства, которое бы управляло ими для них, а не против них, как теперешнее. Управляться самим — им и в голову не приходит. Вот отчего *освободители* гораздо ближе к современным переворотам, нежели всякий *свободный человек*. Свободный человек может быть вовсе ненужный человек; но из этого не следует, что он должен поступать против своих убеждений.

Но, скажете вы, надобно себя умерить. Сомневаюсь, чтоб из этого вышло что-нибудь; когда человек и весь отдается делу, он не много производит; что же он сделает, когда намеренно отнимет половину своих сил и органов? Посадите Прудона министром финансов, президентом, он будет Бонапартом в другую сторону. Этот находится в беспрестанном колебании, нерешительности, оттого что он помешан на императорстве. Прудон будет также в постоянном недоумении, потому что существующая республика ему столько же противна, как Бонапарту, а республика социальная теперь гораздо менее возможна, нежели империя.

Впрочем, тот, кто, чувствуя внутреннее несогласие, хочет или может откровенно участвовать в бою партий; у кого нет потребности идти своей дорогой, видя, что дорога других идет не туда; кто не думает, что лучше заблудиться, совсем пропасть, нежели уступить свою истину,— тот пусть действует с другими. Он даже сделает очень хорошо, потому что нет чего другого, а освободители рода человеческого стащат вместе с собою в пропасть старые формы монархической Европы; я признаю право столько же желающему действовать, сколько и желающему отстраниться; на то будет его воля, и об этом у нас не идет речи.

Я очень рад, что коснулся этого смутного вопроса, этой самой прочной цепи из всех, которыми человек скован,— самой прочной потому, что он или не чувствует ее насилия, или, еще хуже, признает ее безусловно справедливой. Посмотрим, не перержавела ли и она?

Подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее — продолжение человеческих жертвоприношений, заклание агнца для примирения бога, распятие невинного за виновных. Все религии основывали нравственность на

покорности, т. е. на добровольном рабстве, потому они и были всегда вреднее политического устройства. Там было насилие, здесь разврат воли. Покорность значит с тем вместе перенесение всей самобытности лица на всеобщие, безличные сферы, независимые от него. Христианство, религия противоречий, признавало, с одной стороны, бесконечное достоинство лица, как будто для того, чтоб еще торжественнее погубить его перед искуплением, церковью, отцом небесным. Его воззрение проникло в нравы, оно выработалось в целую систему нравственной неволи, в целую искаженную диалектику, чрезвычайно последовательную себе. Мир, становясь более светским или, лучше сказать, приметив, наконец, что он, в сущности, такой же светский, как и был, примешал свои элементы в христианское нравоучение, но основы остались те же. Лицо, истинная, действительная монада общества, было всегда пожертвовано какому-нибудь общему понятию, собирательному имени, какому-нибудь знамени. Для кого работали, кому жертвовали, кто пользовался, кого освобождали, уступая свободу лица, об этом никто не спрашивал. Все жертвовали (по крайней мере на словах) самих себя и друг друга.

Не место здесь разбирать, насколько неразвитость народов оправдывала такие меры воспитания. Вероятно, они были естественны и необходимы, мы их встречаем везде, но мы можем смело сказать, что если они и привели к великим результатам, то наверное настолько же замедлили ход развития, искажая ум ложным представлением. Я вообще мало верю в пользу лжи, особенно когда в нее не верят больше: весь этот махиавеллизм, вся риторика мне кажется больше аристократическою потехою для проповедников и нравоучителей.

Общая основа воззрения, на котором так прочно держится нравственная неволя человека и «принижение» его личности, почти вся в дуализме, которым проникнуты все наши суждения.

Дуализм — это христианство, возведенное в логику,— христианство, освобожденное от предания, от мистицизма. Главный прием его состоит в том, чтоб разделять на мнимые противуположности то, что действительно нераздельно, например, тело и дух; враждебно противупоставлять эти отвлечения и неестественно мирить то, что соединено неразрывным единством. Это евангельский миф бога и человека, примиряемых Христом, переведенный на философский язык.

Так, как Христос, искупая род человеческий, попирает плоть, так в дуализме идеализм берет сторону одной тени

против другой, отдавая монополь духу над веществом, роду над неделимым, жертвуя таким образом человека государству, государство человечеству.

Вообразите теперь весь хаос, вносимый в совесть и ум людей, которые с детских лет ничего другого не слыхали. Дуализм до того исказил все простейшие понятия, что им надобно делать большие усилия, чтоб усвоить истины, ясные как день. Наш язык — язык дуализма, наше воображение не имеет других образов, других метафор. Полторы тысячи лет все учившее, проповедовавшее, писавшее, действовавшее было пропитано дуализмом, и едва несколько человек в конце XVII века стали в нем сомневаться, но и сомневаясь, продолжали из приличия, а долею и от страха, говорить его языком.

Само собою разумеется, что вся наша нравственность вышла из того же начала. Нравственность эта требовала постоянной жертвы, беспрерывного подвига, беспрерывного самоотвержения. Оттого по большей части правила ее и не исполнялись никогда. Жизнь несравненно упорнее теорий, она идет независимо от них и молча побеждает их. Полнее возражения на принятую мораль не может быть, как такое практическое отрицание; но люди спокойно живут в этом противуречии; они привыкли к нему веками. Христианство, раздвояя человека на какой-то идеал и на какого-то скота, сбило его понятия; не находя выхода из борьбы совести с желаниями, он так привык к лицемерию, часто откровенному, что противуположность слова с делом его не возмущает. Он ссылался на свою слабую, злодейскую натуру, и церковь торопилась индульгенциями и отпущением грехов давать легкое средство сводить счеты с испуганной совестию, боясь, чтоб отчаяние не привело к другому порядку мыслей, которых не так легко уложить исповедью и прощением. Эти шалости так укоренились, что пережили самую власть церкви. Натянутые цивические добродетели заменили натянутое ханжество; отсюда — театральное одушевление на римский лад и на манер христианских мучеников и феодальных рыцарей.

Практическая жизнь и тут идет своим чередом, нисколько не занимаясь героической моралью.

Но напасть на нее никто не смеет, и она держится, с одной стороны, на каком-то тайном соглашении пощады и уважения, как республика Сан-Марино, с другой стороны — на нашей трусости, бесхарактерности, на ложном стыде и на нравственной неволе нашей. Мы боимся обвинения в безнравственности, и это нас держит в узде. Мы повторяем моральные бредни, слышанные нами, не прида-

вая им никакого смысла, но и не возражая против них — так, как натуралисты *из приличия* говорят в предисловии о творце и удивляются его премудрости. Уважение, втесняемое нам страхом диких криков толпы, превращается до того в привычку, что мы с удивлением, с негодованием смотрим на дерзость откровенного и свободного человека, который смеет сомневаться в истине этой риторики; это сомнение нас оскорбляет так, как бывало непочтительный отзыв о корабле оскорблял подданного,— это гордость ливреи, надменность рабов.

Таким образом составилась условная нравственность, условный язык; им мы передаем веру в ложных богов нашим детям, обманываем их так, как нас обманывали родители, и так, как наши дети будут обманывать своих до тех пор, пока переворот не покончит со всем этим миром лжи и притворства.

Я, наконец, не могу выносить равнодушно эту вечную риторику патриотических и филантропических разглагольствований, не имеющих никакого влияния на жизнь. Много ли найдется людей, готовых пожертвовать жизнию за что б то ни было? Конечно, не много, но все же больше, нежели тех, которые имеют мужество сказать, что «Mourir pour la patrie» [10] не есть в самом деле верх человеческого счастия и что гораздо лучше, если и отечество и сам человек останутся целы.

Какие мы дети, какие мы еще рабы, и как весь центр тяжести, точка опоры нашей воли, нашей нравственности — вне нас!

Ложь эта не только вредна, но унизительна, она оскорбляет чувство собственного достоинства, развращает поведение; надобно иметь силу характера говорить и делать одно и то же; и вот почему люди должны признаваться на словах в том, в чем признаются ежедневно жизнию. Может, эта чувствительная болтовня и была сколько-нибудь полезна во времена больше дикие, так, как внешняя учтивость, но теперь она обессиливает, усыпляет, сбивает с толку. Довольно времени позволяли мы безнаказанно декламировать все эти риторические упражнения, составленные из подогретого христианства, разбавленного мутной водой рационализма и паточным раствором филантропии. Пора, наконец, разобрать эти сивиллинские книги, пора потребовать отчета у наших учителей.

Какой смысл всех разглагольствований против эгоизма, индивидуализма? — Что такое эгоизм? — Что такое *братство?* — Что такое индивидуализм? — И что любовь к человечеству?

Разумеется, люди — эгоисты, потому что они *лица;* как же быть самим собою, не имея резкого сознания своей личности? Лишить человека этого сознания — значит распустить его, сделать существом пресным, стертым, бесхарактерным. Мы эгоисты и потому добиваемся независимости, благосостояния, признания наших прав, потому жаждем любви, ищем деятельности... и не можем отказывать без явного противуречия в тех же правах другим.

Проповедь индивидуализма разбудила, век тому назад, людей от тяжелого сна, в который они были погружены под влиянием католического мака. Она вела к свободе так, как смирение ведет к покорности. Писания эгоиста Вольтера больше сделали для освобождения, нежели писания любящего Руссо — для братства.

Моралисты говорят об эгоизме как о дурной привычке, не спрашивая, может ли человек быть человеком, утратив живое чувство личности, и не говоря, что за замена ему будет в «братстве» и в «любви к человечеству», не объясняя даже, почему следует брататься со всеми и что за долг любить всех на свете. Мы равно не видим причины ни любить, ни ненавидеть что-нибудь только потому, что оно существует. Оставьте человека свободным в своих сочувствиях, он найдет кого любить и с кем быть братом, на это ему не нужно ни заповеди, ни приказа; если же он не найдет, это его дело и его несчастие.

Христианство, по крайней мере, не останавливалось на таких безделицах, а смело приказывало любить не только всех, но преимущественно своих врагов. Восьмнадцать столетий люди умилялись перед этим; пора наконец сознаться, что правило это пустое... За что же любить врагов? или, если они так любезны, за что же быть с ними во вражде?

Дело просто в том, что эгоизм и общественность — не добродетели и не пороки; это основные стихии жизни человеческой, без которых не было бы ни истории, ни развития, а была бы или рассыпчатая жизнь диких зверей, или стада ручных троглодитов. Уничтожьте в человеке общественность и вы получите свирепого орангутанга; уничтожьте в нем эгоизм, и из него выйдет смирное жоко. Всего меньше эгоизма у рабов. Самое слово «эгоизм» не имеет в себе полного содержания. Есть эгоизм узкий, животный, грязный, так, как есть любовь грязная, животная, узкая. Действительный интерес совсем не в том, чтоб убивать на словах эгоизм и подхваливать братство,— оно его не пересилит,— а в том, чтоб сочетать гармонически свободно эти два неотъемлемые начала жизни человеческой.

Как существо общежительное, человек стремится любить, и на это ему вовсе не нужно приказа. Ненавидеть себя совсем не нужно. Моралисты считают всякое нравственное действие до того противным натуре человеческой, что ставят в великое достоинство всякий добрый поступок, и потому-то они братство вменяют в обязанность, как соблюдение постов, как умерщвление плоти. Последняя форма религии рабства основана на раздвоении общества и человека, на мнимой вражде их. До тех пор, пока с одной стороны будет Архангел-Братство, а с другой Люцифер-Эгоизм,— будет правительство, чтоб их мирить и держать в узде, будут судьи, чтоб карать, палачи, чтоб казнить, церковь, чтоб молить бога о прощении, бог, чтоб наводить страх,— и комиссар полиции, чтоб сажать в тюрьму

Гармония между лицом и обществом не делается раз навсегда, она *становится* каждым периодом, почти каждой страной и изменяется с обстоятельствами, как все живое. Общей нормы, общего решения тут не может быть. Мы видели, как в иные эпохи человеку легко отдаваться среде и как во другие только и можно *сохранить* связь разлукой, отходя, *унося все свое с собою.* Не в нашей воле изменять историческое отношение лица к обществу, да, по несчастию, и не в воле самого общества; но от нас зависит быть современными, сообразными нашему развитию, словом, *творить* наше поведение в ответ обстоятельствам.

Действительно, свободный человек *создает* свою нравственность. Это-то стоики и хотели сказать, говоря, что «для мудрого нет закона». Превосходное поведение вчера может быть прескверно сегодня. Незыблемой, вечной нравственности так же нет, как вечных наград и наказаний. То, что действительно незыблемо в нравственности, сводится на такие всеобщности, что в них теряется почти все частное, как, например, что всякое действие, противное нашим убеждениям, преступно, или, как сказал Кант, что то действие безнравственно, которое человек не может обобщить, возвести в правило.

Мы в начале статьи советовали не входить в противуречие с собою, как бы дорого это ни стоило, и перервать сношения неистинные, поддерживаемые (как в «Альфреде» Бенжамень Констана) ложным стыдом, ненужным самоотвержением [11].

Таковы ли современные обстоятельства, как я их представил, или нет, это подлежит спору, и, если вы мне докажете противное, я с благодарностию пожму вашу руку, вы будете мой благодетель. Быть может, я увлекся и, мучительно изучая ужасы, делающиеся вокруг, потерял спо-

собность видеть светлое. Я готов слушать, я хочу согласиться. Но если обстоятельства таковы, то нет места спору.

«Итак,— скажете вы,— отдаться негодующему бездействию, сделаться чуждым всему, бесплодно роптать и сердиться, как сердятся старики, удалиться со сцены, где кипит и несется жизнь, и доживать свой век бесполезным для других и в тягость себе».

— Я не советую браниться с миром, а начать независимую, самобытную жизнь, которая могла бы найти в себе самой спасение даже тогда, когда весь мир, нас окружающий, погиб бы. Я советую вглядеться, идет ли в самом деле масса туда, куда мы думаем, что она идет, и идти с нею или от нее, но зная ее путь; я советую бросить книжные мнения, которые нам привили с ребячества, представляя людей совсем иными, нежели они есть. Я хочу прекратить «бесплодный ропот и капризное неудовольствие», хочу примирить с людьми, убедивши, что они не могут быть лучше, что вовсе не их вина, что они такие.

Будет ли притом такая или другая внешняя деятельность или никакой не будет — я не знаю. Да, в сущности, это и не важно. Если вы сильны, если в вас есть не только что-нибудь годное, но что-нибудь глубоко шевелящее других, оно не пропадет — такова экономия природы. Сила ваша, как капля дрожжей, непременно взволнует, заставит бродить все подвергнувшееся ее влиянию; ваши слова, дела, мысли займут свое место без особенных хлопот. Если же у вас нет такой силы или есть силы, не действующие на современного человека, и в этом нет большой беды ни для вас, ни для других. Что мы за вечные комедианты, за публичные мужчины! Мы живем не для того, чтоб занимать других, мы живем для себя. Большинство людей, всегда практическое, вовсе не печется о недостатке *исторической* деятельности.

Вместо того, чтоб уверять народы, что они страстно хотят того, что мы хотим, лучше было бы подумать, хотят ли они на сию минуту чего-нибудь, и, если хотят совсем другое, сосредоточиться, сойти с рынка, отойти с миром, не насилуя других и не тратя себя.

Может, это отрицательное действие будет началом новой жизни. Во всяком случае это будет добросовестный поступок.

Париж, Hôtel Mirabeau, 3 апреля 1850 г.

VIII

ДОНОЗО КОРТЕС, МАРКИЗ ВАЛЬДЕГАМАС, И ЮЛИАН, ИМПЕРАТОР РИМСКИЙ

У консерваторов есть глаза, только они не видят. Больше скептики, нежели апостол Фома, они трогают пальцем рану и не верят ей [1].

«Вот,— говорят они сами,— страшные успехи общественной гангрены, вот дух отрицания, веющий разложением, вот демон революции, потрясающий последние основы векового здания государственного... вы видите, мир наш разрушается, гибнет, увлекая с собой образование, учреждения, все выработанное им... смотрите, одна нога его уже в могиле».

И заключают потом: «Удвоимте же силу правительства войском, возвратимте людей к верованиям, которых у них нет, дело идет о спасении целого мира».

Спасать мир — воспоминаниями, насилием! Мир спасается «благою вестью», а не подогретой религией; он спасается *словом*, носящим в себе зародыш нового мира, а не воскресением из мертвых старого.

Упрямство, что ли, это с их стороны, недостаток понимания, или страх перед мрачным будущим смущает их до того, что они видят только то, что гибнет, привязаны только к прошедшему, опираются только на развалины или на стены, готовые рухнуться? Какой хаос, какой недостаток последовательности в понятиях современного человека!

По крайней мере в прошедшем было какое-нибудь единство, безумие было эпидемическое, и его мало замечали, весь свет был в заблуждении, были общие данные, большей частию нелепые, но принятые всеми. В наше время совсем не так; предрассудки римского мира рядом с предрассудками средних веков, евангелие и политическая экономия, Лойола и Вольтер, идеализм на словах, материализм на деле; отвлеченная риторическая нравственность и поведение, прямо противуположное ей. Эта разнородная масса понятий обживается в нашем уме без порядка. Достигнув совершеннолетия, мы слишком заняты, слишком ленивы, а может, и слишком трусы, чтоб подвергнуть строгому суду наши нравственные заповеди,— так дело и остается в сумерках.

Это смешение понятий нигде не идет дальше, как во

Франции. Французы вообще лишены философского воспитания; они с большой проницательностью овладевают выводами, но овладевают ими односторонно, их выводы остаются разобщенными, без единства, их связывающего, даже без приведения их к одному уровню. Отсюда противуречия на каждом шагу. Отсюда необходимость, говоря с ними, возвращаться к давным-давно известным началам и повторять за новость истины, сказанные Спинозой или Бэконом.

Так как выводы берутся ими без корня, то и нет ничего положительно приобретенного у них, оконченного... ни в науке, ни в жизни... оконченного в том смысле, в котором окончены четыре правила арифметики, некоторые наукообразные начала в Германии, некоторые основания права в Англии. Тут отчасти причина той легости перемен и перехода из одной крайности в другую, которая так удивляет нас. Поколение революционеров — делается абсолютистами; после ряда революций снова спрашивается, следует ли признать права человека, можно ли судить вне законных форм, должно ли терпеть свободу книгопечатания?.. Из этих вопросов, возвращающихся после каждого потрясения, очевидно, что ничего не обсужено, не принято в самом деле.

Этой путанице в науке Кузень дал систематическую организацию под именем эклектизма (т. е. хорошего понемножку). В жизни она равно дома у радикалов и у легитимистов, особенно у *умеренных*, т. е. у людей, не знающих ни чего *они хотят, ни чего не хотят*.

Все роялистские и католические газеты в один голос не перестают восторгаться речью Донозо Кортеса, произнесенной в Мадриде в заседании кортесов [2]. Речь эта, действительно, замечательна в многих отношениях. Донозо Кортес необычайно верно оценил страшное положение настоящих европейских государств, он понял, что они находятся на краю пропасти, накануне неминуемого, рокового катаклизма. Картина, начерченная им, страшна своей правдой. Он представляет Европу, сбившуюся с толку, бессильную, быстро увлекаемую в гибель, умирающую от неустройства, и с другой стороны славянский мир, готовый хлынуть на мир германо-романский. Он говорит: «Не думайте, что катастрофа тем и кончится, славянские племена в отношении к Западу не то, что были германцы в отношении римлян... Славяне давно уже в соприкосновении с революцией... Россия, среди покоренной и валяющейся в прахе Европы, всосет всеми порами яд, которым она уже упивалась и который ее убьет; она разложится тем же гниением.

Я не знаю, какие врачевания приготовлены у бога против этого всеобщего разложения».

В ожидании этого божественного снадобья, знаете ли, что предлагает наш мрачный пророк, так страшно и метко начертавший образ грядущей смерти? Нам совестно повторять. Он думает, что если б Англия возвратилась к католицизму, то вся Европа могла бы быть спасена папой, монархической властью и войском. Он хочет отвести грозное будущее, отступая в невозможное прошедшее.

Нам что-то подозрительна патология маркиза Вальдегамас. Или опасность не так велика, или средство слабо. Монархическое начало везде восстановлено, войска везде имеют верх; церковь, по собственным словам Донозо Кортеса и его друга Монталамбера, торжествует, Тьер сделался католиком,— словом, трудно желать больше притеснений, гонений, реакций; а спасение не приходит. Неужели оттого, что Англия находится в греховном отщеплении?

Всякий день обвиняют социалистов, что они сильны только в критике, в обличении зла, в отрицании. Что скажете теперь об антисоциальных врагах наших?

...В довершение нелепости редакция одного журнала, чрезвычайно *белого*, поместила в том же нумере с преувеличенными похвалами речи Донозо Кортеса и отрывки из небольшой исторической компиляции, довольно посредственно сделанной, в которой говорится о первых веках христианства, об Юлиане Отступнике и которая торжественно разрушает рассуждение нашего маркиза.

Донозо Кортес становится совершенно на ту же почву, на которой стояли тогда римские консерваторы. Он видит, как те видели, разложение того общественного порядка, который его окружает; его обнимает ужас, и это очень естественно — есть чего испугаться; он хочет, как они хотели, во что бы ни стало спасти его и не находит другого средства, как останавливая грядущее, отводя его,— как будто оно не естественное последствие уже существующего.

Он отправляется, как римляне, от общей данной, совершенно ошибочной, от неоправданного предположения, от произвольного мнения. Он уверен, что настоящие формы общественной жизни, так, как они выработались под влиянием римского, германского, христианского начала,— единственно возможные. Как будто древний мир и современный Восток не представляют уже с своей стороны жизнь общественную, основанную совсем на других началах,— может, низших, но необычайно прочных.

Донозо Кортес предполагает далее, что *образование* не может развиваться иначе, как в современных европейских формах. Легко сказать с Донозо Кортесом, что древний мир имел *культуру*, а не *цивилизацию* («Le monde ancien a été cultivé et non civilisé»); подобные тонкости имеют только успех в богословских прениях. Рим и Греция были очень *образованны*, их образование было, так же как европейское, образование меньшинства, арифметическое различие тут ничего не значит, а между тем в их жизни недоставало главнейшего элемента — католицизма!

Донозо Кортес, вечно обращенный спиною к будущему, видит одно разложение, гниение и потом нашествие русских, и потом варварство. Пораженный этой страшной судьбой, он ищет средств спасения, точку опоры, что-нибудь твердое, здоровое в этом мире агонии, и ничего не находит. Он обращается за помощию к нравственной смерти и к физической — попу и к солдату.

Что же это за общественное устройство, которое надобно спасать такими средствами — и, какое бы оно ни было, стоит ли оно выкупа этой ценой?

Мы согласны с Донозо Кортесом, что Европа в той форме, в которой она находится теперь,— разрушается. Социалисты с самого первого появления своего постоянно говорили это; в этом согласны все они. Главное различие между ними и политическими революционерами состоит в том, что последние хотят переправлять и улучшать существующее, оставаясь на прежней почве, в то время как социализм отрицает полнейшим образом весь старый порядок вещей с его правом и представительством, с его церковью и судом, с его гражданским и уголовным кодексом,— вполне отрицает так, как христиане первых веков отрицали мир римский.

Такое отрицание — не каприз больного воображения, не личный вопль человека, оскорбленного обществом,— а смертный приговор ему, предчувствие конца, сознание болезни, влекущей дряхлый мир к гибели и к возрождению в иных формах. Современное государственное устройство падет под протестом социализма; силы его истощены; что оно могло дать, оно дало; теперь оно поддерживается на счет собственной крови и плоти, оно не в состоянии ни дальше развиваться, ни остановить развитие; ему нечего ни сказать, ни делать, и оно свело всю деятельность на консерватизм, на отстаивание своего места.

Остановить исполнение судеб до некоторой степени возможно; история не имеет того строгого, неизменного предназначения, о котором учат католики и проповедуют

философы, в формулу ее развития входит много изменяемых начал — во-первых, личная *воля* и *мощь*.

Можно сбить с пути целое поколение, ослепить его, свести с ума, направить к ложной цели,— Наполеон доказал это.

Реакция даже и этих средств не имеет; Донозо Кортес ничего не нашел, кроме католической церкви и монархической казармы. Так как *верить* или *не верить* не зависит от произвола... остается насилие, страх, гонение, казни.

...Многое прощается развитию, прогрессу; но тем не менее, когда террор делается во имя успеха и свободы,— он по справедливости возмутил все сердца. И этим-то средством хочет воспользоваться реакция для того, чтоб поддержать тот существующий порядок, которого дряхлость и разложение засвидетельствованы с такой энергией нашим оратором. Накликают террор не для того, чтоб идти вперед, а для того, чтоб идти назад; хотят убить ребенка, чтоб прокормить отходящего старика, чтоб возвратить ему на минуту утраченные силы.

Сколько надобно пролить крови, чтоб возвратиться к счастливым временам Нантского эдикта [3] и испанской инквизиции! Мы не думаем, чтоб задержать ход человечества на минуту было невозможно, но оно невозможно без варфоломеевских ночей. Надобно уничтожить, избить, сослать, бросить в тюрьму все энергическое нашего поколения, все мыслящее, деятельное; надобно народ еще глубже отодвинуть в невежество, взять все сильное в нем в рекруты; надобно пройти нравственным детоубийством целого поколения — и все это для того, чтоб спасти истощенную общественную форму, которая не удовлетворяет *ни вас, ни нас*.

Но в чем же состоит в таком случае разница между русским варварством и католической цивилизацией?

Пожертвовать тысячи людей, развитие целой эпохи какому-то Молоху государственного устройства, как будто оно и вся цель нашей жизни... Думали ли вы об этом, человеколюбивые христиане? Жертвовать другими, иметь за них самоотвержение слишком легко, чтоб быть добродетелью. Случается, что середи бурь народных разнуздываются долго сгнетенные страсти, кровавые и беспощадные, мстящие и неукротимые,— мы понимаем их, склоняя голову и ужасаясь... но не возводим их в общее правило, не указываем на них как на средство!

А разве не это значит панегирик Донозо Кортеса покорному и нерассуждающему солдату,— на ружье которого он опирает половину своих надежд?

Он говорит, что «священник и солдат гораздо ближе друг к другу, нежели думают». Он сравнивает с монахом, с живым мертвецом — этого невинного убийцу, обреченного на злодеяние обществом. Страшное признание! Две крайности погибающего мира подают друг другу руку, встретившись, как два врага в «Тьме» Байрона [4]. На развалинах гибнущего света для его спасения последний представитель умственной неволи соединяется с последним представителем неволи физической.

Церковь примирилась с солдатом, как только она сделалась церковью государственной; но она никогда не осмелилась признаваться в этой измене, она понимала, сколько ложного было в этом союзе, сколько лицемерного; это была одна из тысячи уступок, которые она делала презираемому ею *временному* миру. Мы не будем ее обвинять за это, она была в необходимости многое принимать вопреки своему учению. Христианская нравственность была всегда одной благородной мечтой, никогда не осуществлявшейся.

Но маркиз Вальдегамас отважно поставил солдата возле попа, кордегардию рядом с алтарем, евангелие, отпущающее грехи, рядом с военным артикулом, расстреливающим за проступки.

Пришло наше время петь «вечную память» или, если хотите, «молебен». Конец церкви и конец войску!

Наконец, маски упали. Наряженные узнали друг друга. Разумеется, что священник и солдат — братья, они оба несчастные дети нравственной тьмы, безумного дуализма, в котором бьется и выбивается из сил человечество,— и тот, который говорит: «Люби твоего ближнего и повинуйся власти», в сущности, говорит то же, что «повинуйся властям и стреляй в твоего ближнего».

Христианское плотоумерщвление столько же противно природе, как умерщвление других по приказу; надобно было глубоко развратить, сбить с толку все простейшие понятия, все то, что называется совестью, чтоб уверить людей, что убийство может быть священной обязанностию,— без вражды, без сознания причины, против своего убеждения. Все это держится на одной и той же основе, на той же краеугольной ошибке, которая стоила людям столько слез и столько крови; все это идет от презрения земли и временного, от поклонения небу и вечному, от неуважения лиц и поклонения государству, от всех этих сентенций вроде «Salus populi suprema lex, pereat mundus et fiat justitia» [5], от которых страшно пахнет жженым телом, кровью, инквизицией, пыткой и вообще *торжеством порядка.*

Но зачем же Донозо Кортес забыл третьего брата, третьего ангела-хранителя падающих государств — *палача?* Не оттого ли, что палач все больше и больше смешивается с солдатом благодаря роли, которую его заставляют играть?

Все добродетели, уважаемые Донозо Кортесом, скромно соединены в палаче и притом в высшей степени: покорность власти, слепое исполнение и самоотвержение без пределов. Ему не нужно ни веры священника, ни одушевления воина. Он убивает хладнокровно, рассчитанно, безопасно, как закон,— во имя общества, во имя порядка. Он вступает в соревнование с каждым злодеем и постоянно выходит победителем, потому что рука его опирается на все государство. Он не имеет гордости священника, честолюбия солдата, он не ждет награды ни от бога, ни от людей; ему нет ни славы, ни почета на земле, рай ему не обещан в небе; он жертвует всем: именем, честью, своим достоинством, он прячется от глаз людских, и все это для торжественного наказания врагов общества.

Отдадим справедливость человеку общественной мести и скажем, подражая нашему оратору: «Палач гораздо ближе к священнику, нежели думают».

Палач играет великую роль всякий раз, когда надобно распинать «нового человека» или обезглавить старый коронованный призрак... Мастр не забыл об нем, говоря о папе [6].

...И вот с Голгофой вспомнился мне отрывок о гонениях первых христиан. Прочтите его или, еще лучше, возьмите писания первых отцов, Тертуллиана и кого-нибудь из римских консерваторов. Какое сходство с современной борьбой — те же страсти, та же сила с одной стороны и тот же отпор с другой, даже выражения те же.

Читая обвинения христиан Цельса или Юлиана в безнравственности, в безумных утопиях, в том, что они убивают детей и развращают больших, что они разрушают государство, религию и семью, так и кажется, что это premier-Paris [7] «Конститюсионеля» или «Assemblée Nationale», только умнее написанный.

Если друзья порядка в Риме не проповедовали избиение и резню «назареев», то это только оттого, что языческий мир был более человечествен, не так духовен, менее нетерпим, нежели католическое мещанство. Древний Рим не знал сильных средств, изобретенных западной церковью, так успешно употребленных в избиении альбигойцев [8], в Варфоломеевскую ночь, во славу которой до сих пор оставлены фрески в Ватикане, представляющие богобо-

язненное очищение парижских улиц от гугенотов,— тех самых улиц, которые мещане год тому назад так усердно очищали от социалистов. Как бы то ни было, дух один, и разница часто зависит от обстоятельств и личностей. Впрочем, эта разница в нашу пользу; сравнивая донесения Бошара с донесением Плиния Младшего, великодушие цезаря Траяна, имевшего отвращение от доносов на христиан, и неумытность цезаря Каваньяка, который не разделял этого предрассудка относительно социалистов, мы видим, что умирающий порядок дел до того уже плох, что он не может найти себе таких защитников, как Траян, ни таких секретарей следственной комиссии, как Плиний.

Общие полицейские меры были тоже сходны. Христианские клубы закрывались солдатами, как только доходили до сведения властей; христиан осуждали, не слушая их оправданий, придирались к ним за мелочи, за наружные знаки, отказывая в праве изложить свое учение. Это возмущало Тертуллиана, как теперь всех нас, и вот причина его апологетических писем к римскому сенату. Христиан отдают на съедение диким зверям, заменявшим в Риме полицейских солдат. Пропаганда усиливается; унизительные наказания — не унижают, напротив, осужденные становятся героями — как буржские «каторжные» *.

Видя безуспешность всех мер, величайший защитник порядка, религии и государства, Диоклециан, решился нанести страшный удар мятежному учению; он мечом и огнем пошел на христиан.

Чем же все это кончилось? Что сделали консерваторы с своей цивилизацией (или культурой), с своими легионами, с своим законодательством, ликторами, палачами, дикими зверями, убийствами и прочими ужасами?

Они только дали доказательство, до какой степени может дойти свирепость и зверство консерватизма, что за страшное орудие солдат, слепо повинующийся судье, который из него делает палача, и с тем вместе доказали еще яснее всю несостоятельность этих средств против *слова*, когда пришло его время.

Заметим даже, что иной раз древний мир был прав против христианства, которое подрывало его во имя учения утопического и невозможного. Может, и наши консерваторы иногда правы в своих нападках на отдельные социальные учения... но к чему им послужила их правота? Время Рима проходило, время евангелия наступало!

---

* Бланки, Распаль, Барбес и пр. Процесс 15 мая 1848.

И все эти ужасы, кровопролития, мясничества, гонения привели к известному крику отчаяния умнейшего из реакционеров, Юлиана Отступника,— к крику: «*Ты победил, Галилеянин!*» [9]

«Voix du Peuple», 18 mars 1850 *

---

* Речь Донозо Кортеса, испанского посланника сначала в Берлине, потом в Париже, была напечатана в бесчисленном количестве экземпляров на счет знаменитого своей ничтожностию и истраченными на вздор суммами общества улицы Пуатье [10]. Я тогда был на время в Париже и в самых близких сношениях с журналом Прудона. Редакторы предложили мне написать ответ; Прудон был доволен им; зато «Patrie» разгневалась и вечером, повторив сказанное «о третьем защитнике общества», спрашивала прокурора *республики*, будет ли он преследовать статью, в которой ставят солдат на одну доску с палачом, а палача называют *палачом* (bourreau), а не исполнителем верховных судеб (exécuteur des hautes oeuvres) и пр. Донос полицейского журнала имел свое действие, через день не оставалось в редакции ни одного нумера от *сорока тысяч* — обыкновенного тиража «Voix du Peuple».

О РАЗВИТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В РОССИИ

V

ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ПОСЛЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

Двадцать пять лет, которые следуют за 14 (26) декабря, труднее характеризовать, нежели весь истекший период со времени Петра I. Два противоположных течения,— одно на поверхности, а другое в глубине, где его едва можно различить,— приводят в замешательство наблюдателя. С виду Россия продолжала стоять на месте, даже, казалось, шла назад, но, в сущности, все принимало новый облик, вопросы становились все сложнее, а решения менее простыми.

На поверхности официальной России, «фасадной империи», видны были только потери, жестокая реакция, бесчеловечные преследования, усиление деспотизма. В окружении посредственностей, солдат для парадов, балтийских немцев и диких консерваторов, виден был Николай, подозрительный, холодный, упрямый, безжалостный, лишенный величия души,— такая же посредственность, как и те, что его окружали. Сразу же под ним располагалось высшее общество, которое при первом ударе грома, разразившегося над его головой после 14 декабря, растеряло слабо усвоенные понятия о чести и достоинстве. Русская аристократия уже не оправилась в царствование Николая, пора ее цветения прошла; все, что было в ней благородного и великодушного, томилось в рудниках или в Сибири. А то, что оставалось или пользовалось расположением властелина, докатилось до той степени гнусности или раболепия, которая известна нам по картине этих нравов, нарисованной Кюстином [1].

Затем следовали гвардейские офицеры; прежде блестящие и образованные, они все больше превращались в отупелых унтеров. До 1825 года все, кто носил штатское платье, признавали превосходство эполет. Чтобы слыть *светским человеком*, надо было прослужить года два в гвардии или хотя бы в кавалерии. Офицеры являлись душою общества, героями праздников, балов, и, говоря правду, это пред-

почтение имело свои основания. Военные были более независимы и держались более достойно, чем пресмыкавшиеся, трусливые чиновники. Обстоятельства изменились, и гвардия разделила судьбу аристократии; лучшие из офицеров были сосланы, многие оставили службу, не в силах выносить грубый и наглый тон, введенный Николаем. Освободившиеся места поспешно заполнялись усердными служаками или столпами казармы и манежа. Офицеры упали в глазах общества, победил фрак,— мундир преобладал лишь в провинциальных городишках да при дворе — этой первой гауптвахте империи. Члены императорской фамилии, как и ее глава, выказывают военным подчеркнутое и недопустимое для царских особ предпочтение. Холодность публики к мундиру все же не заходила так далеко, чтобы допускать гражданских чиновников в общество. Даже в провинции к ним испытывали непреодолимое отвращение, что отнюдь не помешало росту влияния бюрократии. После 1825 года вся администрация, ранее аристократическая и невежественная, стала мелочной и искусной в крючкотворстве. Министерства превратились в конторы, их главы и высшие чиновники стали дельцами или писарями. По отношению к гражданской службе они являлись тем же, чем тупые служаки по отношению к гвардии. Большие знатоки всевозможных формальностей, холодные и нерассуждающие исполнители приказов свыше, они были преданны правительству из любви к лихоимству. Николаю нужны были такие офицеры и такие администраторы.

Казарма и канцелярия стали главной опорой николаевской политической науки. Слепая и лишенная здравого смысла дисциплина в сочетании с бездушным формализмом австрийских налоговых чиновников — таковы пружины знаменитого механизма сильной власти в России. Какая скудость правительственной мысли, какая проза самодержавия, какая жалкая пошлость! Это самая простая и самая грубая форма деспотизма.

Добавим к сему и графа Бенкендорфа, шефа корпуса жандармов — этой вооруженной инквизиции, полицейского масонства, имевшего во всех уголках империи, от Риги до Нерчинска, своих братьев *слушающих и подслушивающих*,— начальника III отделения канцелярии его величества (так именуется центральная контора шпионажа), который судит все, отменяет решения судов, вмешивается во все, а особенно в дела политических преступников. Время от времени перед лицо этого судилища-конторы приводили цивилизацию под видом какого-либо литератора

или студента, которого ссылали или запирали в крепость и на месте которого вскоре появлялся другой.

Словом, картина официальной России внушала только отчаянье: здесь — Польша, рассеянная во все стороны и терзаемая с чудовищным упорством; там — безумие войны, длящейся все время царствования, поглощающей целые армии, не подвигая ни на шаг завоевание Кавказа; а в центре — всеобщее опошление и бездарность правительства.

Зато внутри государства совершалась великая работа,— работа глухая и безмолвная, но деятельная и непрерывная; всюду росло недовольство, революционные идеи за эти двадцать пять лет распространились шире, чем за все предшествовавшее столетие, и тем не менее в народ они не проникли.

Русский народ продолжал держаться вдали от политической жизни, да и не было у него оснований принимать участие в работе, происходившей в других слоях нации. Долгие страдания обязывают к своеобразному чувству достоинства; русский народ слишком много выстрадал и поэтому не имел права волноваться из-за ничтожного улучшения своей участи,— лучше попросту остаться нищим в лохмотьях, чем переодеться в заштопанный фрак. Но если он и не принимал никакого участия в идейном движении, охватившем другие классы, это отнюдь не означает, что ничего не произошло в его душе. Русский народ дышит тяжелее, чем прежде, глядит печальней; несправедливость крепостничества и грабеж чиновников становятся для него все невыносимей. Правительство нарушило спокойствие общины принудительной организацией работ; с учреждением в деревнях сельской полиции (*становых приставов*), досуг крестьянина был урезан и взят под надзор в самой его избе. Значительно увеличилось число дел против поджигателей, участились убийства помещиков, крестьянские бунты. Огромное раскольничье население ропщет; эксплуатируемое и угнетаемое духовенством и полицией, оно весьма далеко от того, чтобы сплотиться, но порой в этих мертвых, недоступных для нас морях слышится смутный гул, предвещающий ужасные бури. Недовольство русского народа, о котором мы говорим, не способен уловить поверхностный взгляд. Россия кажется всегда такой спокойной, что трудно поверить, будто в ней может что-либо происходить. Мало кто знает, что делается под тем саваном, которым правительство прикрывает трупы, кровавые пятна, экзекуции, лицемерно и надменно заявляя, что под этим саваном нет ни трупов, ни крови. Что знаем мы о поджигателях из

Симбирска, о резне помещиков, устроенной крестьянами одновременно в ряде имений? Что знаем мы о местных бунтах, вспыхнувших в связи с новым управлением, которое ввел Киселев? Что знаем мы о казанских, вятских, тамбовских восстаниях, когда власти прибегли к пушкам?.. [2]

Умственная работа, упомянутая нами, совершалась не на вершине государства, не у его основания, но между ними, т. е., главным образом, среди мелкого и среднего дворянства. Факты, которые мы приведем, казалось бы, не имеют большого значения, но не надобно забывать, что пропаганда, как и всякое воспитание, лишена внешнего блеска, в особенности когда она даже не осмеливается показаться при свете дня.

Влияние литературы заметно усиливается и проникает гораздо далее, чем прежде; она не изменяет своему призванию и сохраняет либеральный и просветительский характер, насколько это удается ей при цензуре.

Жажда образования овладевает всем новым поколением; гражданские ли школы или военные, гимназии, лицеи, академии переполнены учащимися; дети самых бедных родителей стремятся в различные институты. Правительство, которое еще в 1804 году приманивало детей в школы разными привилегиями, теперь всеми способами сдерживает их прилив; создаются трудности при поступлении, при экзаменах; учеников облагают платой; министр народного просвещения издает приказ, ограничивающий право крепостных на образование. Тем не менее, Московский университет становится храмом русской цивилизации; император его ненавидит, сердится на него, ежегодно отправляет в ссылку целую партию его воспитанников и, приезжая в Москву, не удостаивает его своим посещением; но университет процветает, влияние его растет; будучи на плохом счету, он не ждет ничего, продолжает свою работу и становится подлинной силой. Цвет молодежи из соседних с Москвой губерний направляется в ее университет, и каждый год фаланга окончивших курс рассеивается по всему государству в качестве чиновников, врачей или учителей.

В недрах губерний, а главным образом в Москве, заметно увеличивается прослойка независимых людей, которые, отказавшись от государственной службы, сами управляют своими имениями, занимаются наукой, литературой; если они и просят о чем-либо правительство, то разве только оставить их в покое. То была полная противоположность петербургскому дворянству, связанному с государственной службой, с двором и снедаемому низким

честолюбием: уповая во всем на правительство, оно жило только его милостями. Не домогаться ничего, беречь свою независимость, не искать места — все это, при деспотическом режиме, называется быть в оппозиции. Правительство косилось на этих *праздных людей* и было ими недовольно. Действительно, они представляли собой ядро людей образованных, дурно относящихся к петербургскому режиму. Одни из них жили целые годы за границей, привозя оттуда либеральные идеи; другие приезжали на несколько месяцев в Москву, остальную же часть года сидели взаперти в своих поместьях, где читали все, что выходило нового, и были хорошо осведомлены об умственном движении в Европе. Среди провинциального дворянства чтение стало модою. Люди хвастались тем, что у них есть библиотека, и выписывали на худой конец новые французские романы, «Journal des Débats» и «Аугсбургскую газету»; иметь у себя запрещенные книги считалось образцом хорошего тона. Я не знаю ни одного приличного дома, где бы не нашлось сочинения Кюстина о России, которое было запрещено специальным приказом Николая. Молодежь, лишенная участия в какой бы то ни было деятельности, находившаяся под вечной угрозой тайной полиции, с тем большей горячностью увлекалась чтением. Сумма идей, бывших в обращении, все возрастала.

Каковы же были эти новые мысли и тенденции, появившиеся после 14 декабря? *

Первые годы, последовавшие за 1825-м, были ужасны. Понадобилось не менее десятка лет, чтобы человек мог опомниться в своем горестном положении порабощенного и гонимого существа. Людьми овладело глубокое отчаяние и всеобщее уныние. Высшее общество с подлым и низким рвением спешило отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей. Не было почти ни одной аристократической семьи, которая не имела бы близких родственников в числе сосланных, и почти ни одна не осмелилась надеть траур или выказать свою скорбь. Когда же отворачивались от этого печального зрелища холопства, когда погружались в размышления, чтобы найти какое-либо ука-

---

* Не без некоторого страха приступаю я к этой части моего обозрения.

Читатель поймет, что у меня нет возможности все сказать, а во многих случаях — и назвать имена людей; чтобы говорить о каком-нибудь русском, надо знать, что он в могиле или в Сибири. И лишь по зрелом размышлении решился я на эту публикацию; молчание служит поддержкой деспотизму, то, о чем не осмеливаешься сказать, *существует* лишь наполовину.

зание или надежду, то сталкивались с ужасной мыслью, леденившей сердце.

Невозможны уже были никакие иллюзии: народ остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана, ее надлежало восстановить, но каким образом? В этом-то и состоял великий вопрос. Одни полагали, что нельзя ничего достигнуть, оставив Россию на буксире у Европы; они возлагали свои надежды не на будущее, а на возврат к прошлому. Другие видели в будущем лишь несчастье и разорение; они проклинали ублюдочную цивилизацию и безразличный ко всему народ. Глубокая печаль овладела душою всех мыслящих людей.

Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее. Поэзия Пушкина была залогом и утешением. Поэты, живущие во времена безнадежности и упадка, не слагают таких песен — они нисколько не подходят к похоронам.

Вдохновение Пушкина его не обмануло. Кровь, прихлынувшая к сердцу, пораженному ужасом, не могла там остановиться; вскоре она дала о себе знать вовне.

Уже появился публицист, мужественно возвысивший свой голос, чтобы объединить боязливых. Этот человек, проживший всю свою молодость на родине, в Сибири, занимаясь торговлей, которая быстро ему наскучила, пристрастился к чтению. Лишенный всякого образования, он самостоятельно изучил французский и немецкий языки и приехал жить в Москву. Тут, без сотрудников, без знакомств, без имени в литературе, он задумал издавать ежемесячный журнал. Вскоре он изумил читателей энциклопедическим разнообразием своих статей. Он смело писал о юриспруденции и музыке, о медицине и санскритском языке. Одной из его специальностей была русская история, что не мешало ему писать рассказы, романы и, наконец, критические статьи, которыми он вскоре приобрел большую известность.

Тщетно искать в писаниях Полевого большой эрудиции, философской глубины, но он умел в каждом вопросе выделить его гуманистическую сторону; его симпатии были либеральными. Его журнал «Московский телеграф» пользовался большим влиянием, мы тем более должны признать его заслугу, что печатался он в самые мрачные

времена. Что можно было писать назавтра после восстания, накануне казней? Положение Полевого было очень трудным. Его спасла от преследований тогдашняя его безвестность. В эту эпоху писали мало: половина литераторов была в ссылке, другая — хранила молчание. Небольшая кучка ренегатов, вроде сиамских близнецов Греча и Булгарина, связалась с правительством, загладив свое участие в 14 декабря доносами на друзей и *устранением* фактора, который по их приказанию набирал в типографии Греча революционные прокламации [3]. Они одни господствовали тогда в петербургской журналистике — но в роли полицейских, а не литераторов. Полевой сумел удержаться, наперекор всякой реакции, до 1834 года, не изменив своему делу; нам не должно этого забывать.

Полевой начал демократизировать русскую литературу; он заставил ее спуститься с аристократических высот и сделал ее более народной или по крайней мере более буржуазной. Наибольшими его врагами были литературные авторитеты, на которые он нападал с безжалостной иронией. Он был совершенно прав, думая, что всякое уничтожение авторитета есть революционный акт и что человек, сумевший освободиться от гнета великих имен и схоластических авторитетов, уже не может быть полностью ни рабом в религии, ни рабом в обществе. До Полевого критики порой отваживались — хоть и не без множества недомолвок и извинений — делать незначительные замечания по адресу Державина, Карамзина или Дмитриева, признавая вместе с тем всю неоспоримость их величия. А Полевой, с первого же дня став с ними на совершенно равную ногу, начал предъявлять обвинения этим исполненным важности и догматизма особам, этим великим мастерам. Старик Дмитриев, поэт и бывший министр юстиции, с грустью и ужасом говорил о литературной анархии, которую вводил Полевой, лишенный чувства почтения к людям, заслуги коих признавались всей страной.

Полевой атаковал не только литературные авторитеты, но и ученых; он, этот мелкий сибирский торговец, нигде не учившийся, дерзнул усомниться в их науке. Ученые ex officio [4] объединились с заслуженными седовласыми литераторами и начали форменную войну против мятежного журналиста.

Зная вкусы публики, Полевой уничтожал своих врагов язвительными статьями. На ученые возражения он отвечал шуткой, а на скучные рассуждения — дерзостью, вызывавшей громкий хохот. Трудно себе представить, с каким любопытством следила публика за ходом этой полемики.

Казалось, она понимала, что, нападая на авторитеты литературные, Полевой имел в виду и другие. Действительно, он пользовался всяким случаем, чтобы затронуть самые щекотливые вопросы политики, и делал это с изумительной ловкостью. Он говорил почти все, но так, что никогда не давал повода к себе придраться. Надо сказать, что цензура чрезвычайно способствует развитию слога и искусства сдерживать свою речь. Человек, раздраженный оскорбляющим его препятствием, хочет победить его и почти всегда преуспевает в этом. Иносказательная речь хранит следы волнения, борьбы; в ней больше страсти, чем в простом изложении. Недомолвка сильнее под своим покровом, всегда прозрачным для того, кто хочет понимать. Сжатая речь богаче смыслом, она острее; говорить так, чтобы мысль была ясна, но чтобы слова для нее находил сам читатель,— лучший способ убеждать. Скрытая мысль увеличивает силу речи, обнаженная — сдерживает воображение. Читатель, знающий, насколько писатель должен быть осторожен, читает его внимательно; между ним и автором устанавливается тайная связь: один скрывает то, что́ он пишет, а другой — то, что́ понимает. Цензура — та же паутина: маленьких мух она ловит, а большие ее прорывают. Намеки на личности, нападки умирают под *красными чернилами*, но живые мысли, подлинная поэзия с презрением проходят через эту переднюю, позволив, самое большее, немного себя почистить *.

С «Телеграфом» в русской литературе начинают господствовать журналы. Они вбирают в себя все умственное движение страны. Книг покупали мало, лучшие стихи и рассказы появлялись в журналах, и нужно было что-нибудь из ряда вон выходящее — поэма Пушкина или роман Гоголя,— чтобы привлечь внимание публики столь разбросанной, как читатели в России. Ни в одной стране, исключая Англию, влияние журналов не было так велико. Это действительно лучший способ распространять просвещение в обширной стране. «Телеграф», «Московский вестник», «Телескоп», «Библиотека для чтения», «Отечественные записки» и побочный их сын «Современник», независимо от их весьма различных направлений, распро-

* После революции 1848 года цензура стала манией Николая. Не удовлетворенный обычной цензурой и двумя цензурами, которые он учредил за пределами своих владений, в Яссах и Бухаресте, где по-русски не пишут, он создал еще вторую цензуру в Петербурге; мы склонны надеяться, что эта двойная цензура будет полезней, чем простая. Дойдет до того, что будут печатать русские книги вне России; это уже делают, и, как знать, кто окажется более ловок, свободное слово или император Николай.

странили за последние двадцать пять лет огромное количество знаний, понятий, идей. Они давали возможность жителям Омской и Тобольской губерний читать романы Диккенса или Жорж Санд спустя два месяца после появления их в Лондоне или Париже. Даже самая их периодичность служила на пользу, пробуждая ленивого читателя.

Полевой ухитрился выпускать «Телеграф» до 1834 года. Однако после польской революции преследование передовой мысли усилилось. Победивший абсолютизм потерял всякий стыд, всякую скромность. Школьные шалости наказывались, как вооруженные восстания, детей 15—16 лет ссылали или отдавали пожизненно в солдаты. Студент Московского университета Полежаев, уже известный своими поэтическими произведениями, написал несколько либеральных стихотворений. Николай под суд его не отдал, а велел привести к себе, приказал ему прочесть вслух стихи, *поцеловал его* и послал в полк простым солдатом; мысль о таком нелепом наказании могла возникнуть лишь в уме потерявшего рассудок правительства, которое принимало русскую армию за исправительное заведение или за каторгу. *Восемь лет* спустя солдат Полежаев умер в военном госпитале. А через год братья *Крицкие*, тоже московские студенты, отправились в тюрьму за то, что — если я не ошибаюсь — разбили бюст императора. С тех пор никто о них не слышал. В 1832 году, под предлогом, что это тайное общество, арестовали дюжину студентов [5] и тут же отправили в оренбургский гарнизон, где присоединили к ним и сына лютеранского пастора, *Юлия Кольрейфа*, который никогда не был русским подданным, никогда ничем не занимался, кроме музыки, но осмелился сказать, что не считает своим долгом доносить на друзей. В 1834 году и нас, моих друзей и меня, бросили в тюрьму, а спустя восемь месяцев сослали писцами в канцелярии отдаленных губерний. Нас обвинили в *намерении* создать тайное общество и желании пропагандировать сен-симонистские идеи; нам прочитали в качестве скверной шутки смертный приговор, а затем объявили, что император, по своей поистине непростительной доброте, приказал подвергнуть нас лишь исправительному наказанию — ссылке. Это наказание длилось более пяти лет.

В том же 1834 году был запрещен «Телеграф». Потеряв журнал, Полевой оказался выбитым из колеи. Его литературные опыты успеха более не имели; раздраженный и разочарованный, он покинул Москву и переселился в Петербург. Первые номера его нового журнала («Сын

отечества») были встречены с горестным удивлением. Он стал покорен, льстив. Печально было видеть, как этот смелый боец, этот неутомимый работник, умевший в самые трудные времена оставаться на своем посту, лишь только прикрыли его журнал, пошел на мировую со своими врагами. Печально было слышать имя Полевого рядом с именами Греча и Булгарина; печально было присутствовать на представлениях его драматических пьес, вызывавших рукоплескания тайных агентов и чиновных лакеев.

Полевой чувствовал, что терпит крушение, это заставляло его страдать, он пал духом. Ему даже хотелось оправдаться, выйти из своего ложного положения, но у него не было на это сил, и он лишь вредил себе в глазах правительства, ничего не выигрывая в глазах общества. Более благородный по своей натуре, нежели по поступкам, он не мог долго выносить эту борьбу. Вскоре он умер, оставив свои дела в совершенном расстройстве. Все его уступки ни к чему не привели.

Было два продолжателя дела Полевого — Сенковский и Белинский.

Обрусевший поляк, ориенталист и академик, Сенковский был очень остроумным писателем, большим тружеником, но совершенно беспринципным человеком, если только не почесть принципами глубокое презрение к людям и событиям, к убеждениям и теориям. В Сенковском нашел своего подлинного представителя тот духовный *склад*, который приняло общество с 1825 года,— блестящий, но холодный лоск, презрительная улыбка, нередко скрывающая за собой угрызения совести, жажда наслаждений, усиливаемая неуверенностью каждого в собственной судьбе, насмешливый и все же невеселый материализм, принужденные шутки человека, сидящего за тюремной решеткой.

Белинский являлся полной противоположностью Сенковского — то был типичный представитель московской учащейся молодежи; мученик собственных сомнений и дум, энтузиаст, поэт в диалектике, оскорбляемый всем, что его окружало, он изнурял себя волнениями. Этот человек трепетал от негодования и дрожал от бешенства при вечном зрелище русского самодержавия.

Сенковский основал свой журнал [6], как основывают торговое предприятие. Мы не разделяем все же мнения тех, кто усматривал в журнале какую-либо правительственную тенденцию. Его с жадностью читали по всей России, чего никогда не случилось бы с газетой или книгой, написанной

в интересах власти. «Северная пчела», пользовавшаяся покровительством полиции, являлась лишь кажущимся исключением из этого правила: то был *единственный* политический, но не официальный листок, который терпели, этим и объясняется его успех; но как только официальные газеты приобрели сносную редакцию, «Северная пчела» была покинута своими читателями. Нет славы, нет репутации, которые устояли бы при мертвящем и принижающем соприкосновении с правительством. В России все те, кто читают, ненавидят власть; все те, кто любят ее, не читают вовсе или читают только французские пустячки. От Пушкина — величайшей славы России — одно время отвернулись за приветствие, обращенное им к Николаю после прекращения холеры, и за два политических стихотворения [7]. Гоголь, кумир русских читателей, мгновенно возбудил к себе глубочайшее презрение своей раболепной брошюрой [8]. Звезда Полевого померкла в тот день, когда он заключил союз с правительством. В России ренегату не прощают.

Сенковский с презрением отзывался о либерализме и о науке, зато он не питал уважения и ни к чему другому. Он воображал себя в высшей степени практичным, ибо проповедовал теоретический материализм [9], но, как всякий теоретик, он был превзойден другими теоретиками, мыслившими еще более отвлеченно, но имевшими пламенные убеждения,— а это несравненно практичнее и ближе к действию, нежели *практология.*

Поднимая на смех все самое святое для человека, Сенковский невольно разрушал в умах идею монархии. Проповедуя комфорт и чувственные удовольствия, он наводил людей на весьма простую мысль, что невозможно наслаждаться жизнью, непрестанно думая о жандармах, доносах и Сибири, что страх — не комфортабелен и что нет человека, который мог бы с аппетитом пообедать, если он не знает, где будет спать.

Сенковский целиком принадлежал своему времени; подметая у входа в новую эпоху, он выметал вместе с пылью и вещи ценные, но он расчищал почву для другого времени, которого не понимал. Он и сам это чувствовал; как только в литературе проглянуло что-то новое и живое, Сенковский убрал паруса и вскоре совсем стушевался.

Возле Сенковского был кружок молодых литераторов, которых он губил, развращая их вкус. Они ввели стиль, казавшийся с первого взгляда блестящим, а со второго — фальшивым. В поэзии петербургской, или, еще лучше,

в васильеостровской *, в этих истерических образах, порожденных Кукольниками, Бенедиктовыми, Тимофеевыми и др., не было ничего жизненного, реального. Подобные цветы могли расцвести лишь у подножья императорского трона да под сенью Петропавловской крепости.

В Москве вместо запрещенного «Телеграфа» стал выходить журнал «Телескоп»; он не был столь долговечен, как его предшественник, зато смерть его была поистине славной. Именно в нем было помещено знаменитое письмо *Чаадаева* [10]. Журнал немедленно запретили, цензора уволили в отставку, главного редактора сослали в Усть-Сысольск. Публикация этого письма была одним из значительнейших событий. То был вызов, признак пробуждения; письмо разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек, с душой, переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского. Письмо это было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния. Он желает знать, что мы покупаем такой ценой, чем мы заслужили свое положение; он анализирует это с неумолимой, приводящей в отчаяние проницательностью, а закончив эту вивисекцию, с ужасом отворачивается, проклиная свою страну в ее прошлом, в ее настоящем и в ее будущем. Да, этот мрачный голос зазвучал лишь затем, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собой «лишь пробел в человеческом сознании, лишь поучительный пример для Европы» [11]. Он сказал России, что прошлое ее было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет.

Не соглашаясь с Чаадаевым, мы все же отлично понимаем, каким путем он пришел к этой мрачной и безнадежной точке зрения, тем более что и до сих пор факты говорят за него, а не против него. Мы верим, а ему довольно указать пальцем; мы надеемся, а ему довольно лишь развернуть газету, чтобы доказать свою правоту. Заключение, к которому приходит Чаадаев, не выдерживает никакой критики, и не тем важно это письмо; свое значение оно сохраняет благодаря лиризму сурового негодования, которое потряса-

---

* Нечто вроде Латинского квартала, где живут главным образом литераторы и артисты, *не известные* в других частях города.

ет душу и надолго оставляет ее под тяжелым впечатлением. Автора упрекали в жестокости, но она-то и является его наибольшей заслугой. Не надобно нас щадить: мы слишком быстро забываем свое положение, мы слишком привыкли развлекаться в тюремных стенах.

Статья эта была встречена воплем скорби и изумления; она испугала, она глубоко задела даже тех, кто разделял симпатии Чаадаева, и все же она лишь выразила то, что смутно волновало душу каждого из нас. Кто из нас не испытывал минут, когда мы, полные гнева, ненавидели эту страну, которая на все благородные порывы человека отвечает лишь мучениями, которая спешит нас разбудить лишь затем, чтобы подвергнуть пытке? Кто из нас не хотел вырваться навсегда из этой тюрьмы, занимающей четвертую часть земного шара, из этой чудовищной империи, в которой всякий полицейский надзиратель — царь, а царь — коронованный полицейский надзиратель? Кто из нас не предавался всевозможным страстям, чтобы забыть этот морозный, ледяной ад, чтобы хоть на несколько минут опьяниться и рассеяться? Сейчас мы видим все по-другому, мы рассматриваем русскую историю с иной точки зрения, но у нас нет оснований ни отрекаться от этих минут отчаяния, ни раскаиваться в них; мы заплатили за них слишком дорогой ценой, чтобы забыть о них; они были нашим правом, нашим протестом, они нас спасли.

Чаадаев замолк, но его не оставили в покое. Петербургские аристократы — эти Бенкендорфы, эти Клейнмихели — обиделись за Россию. Важный немец Вигель,— по-видимому, протестант,— директор департамента иностранных вероисповеданий, ополчился на врагов русского православия. Император велел объявить Чаадаева впавшим в умственное расстройство. Этот пошлый фарс привлек на сторону Чаадаева даже его противников; влияние его в Москве возросло. Сама аристократия склонила голову пред этим мыслителем и окружила его уважением и вниманием, представив тем самым блистательное опровержение шутке императора.

Письмо Чаадаева прозвучало подобно призывной трубе; сигнал был дан, и со всех сторон послышались новые голоса; на арену вышли молодые бойцы, свидетельствуя о безмолвной работе, производившейся в течение этих десяти лет.

14 (26) декабря слишком резко отделило прошлое, чтобы литература, которая предшествовала этому событию, могла продолжаться. Назавтра после этого великого дня еще мог появиться Веневитинов, юноша, полный мечтаний

и идей 1825 года. Отчаяние, как и боль после ранения, наступает не сразу. Но, едва успев промолвить несколько благородных слов, он увял, словно южный цветок, убитый леденящим дыханием Балтики.

Веневитинов не был жизнеспособен в новой русской атмосфере. Нужно было иметь другую закалку, чтобы дышать воздухом этой зловещей эпохи, надобно было с детства приспособиться к этому резкому и непрерывному ветру, сжиться с неразрешимыми сомнениями, с горчайшими истинами, с собственной слабостью, с каждодневными оскорблениями; надобно было с самого нежного детства приобрести привычку скрывать все, что волнует душу, и не только ничего не терять из того, что в ней схоронил, а, напротив,— давать вызреть в безмолвном гневе всему, что ложилось на сердце. Надо было уметь ненавидеть из любви, презирать из гуманности, надо было обладать безграничной гордостью, чтобы, с кандалами на руках и ногах, высоко держать голову.

Каждая песнь «Онегина», появлявшаяся после 1825 года, отличалась все большей глубиной. Первоначальный план поэта был непринужденным и безмятежным; он его наметил в другие времена, поэта окружало тогда общество, которому нравился этот иронический, но доброжелательный и веселый смех. Первые песни «Онегина» весьма напоминают нам язвительный, но сердечный комизм Грибоедова. И слезы и смех — все переменилось.

Два поэта, которых мы имеем в виду и которые выражают новую эпоху русской поэзии,— это Лермонтов и Кольцов. То были два мощных голоса, доносившиеся с противоположных сторон.

Ничто не может с большей наглядностью свидетельствовать о перемене, произошедшей в умах с 1825 года, чем сравнение Пушкина с Лермонтовым. Пушкин, часто недовольный и печальный, оскорбленный и полный негодования, все же готов заключить мир. Он желает его, он не теряет на него надежды; в его сердце не переставала звучать струна воспоминаний о временах императора Александра. Лермонтов же так свыкся с отчаяньем и враждебностью, что не только не искал выхода, но и не видел возможности борьбы или соглашения. Лермонтов никогда не знал надежды, он не жертвовал собой, ибо ничто не требовало этого самопожертвования. Он не шел, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Рылеев, потому что не мог верить в действенность жертвы; он метнулся в сторону и погиб ни за что.

Пистолетный выстрел, убивший Пушкина, пробудил

душу Лермонтова. Он написал энергическую оду, в которой, заклеймив низкие интриги, предшествовавшие дуэли,— интриги, затеянные министрами-литераторами и журналистами-шпионами,— воскликнул с юношеским негодованием: «Отмщенье, государь, отмщенье!» [12] Эту единственную свою непоследовательность поэт искупил ссылкой на Кавказ. Произошло это в 1837 году; в 1841 тело Лермонтова было опущено в могилу у подножья Кавказских гор.

И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших тебя не понял ни единый...
...Твоих последних слов
Глубокое и горькое значенье
Потеряно .

К счастью, для нас не потеряно то, что написал Лермонтов за последние четыре года своей жизни. Он полностью принадлежит к нашему поколению. Все мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы увидели лишь казни и изгнания. Вынужденные молчать, сдерживая слезы, мы научились, замыкаясь в себе, вынашивать свои мысли — и какие мысли! Это уже не были идеи просвещенного либерализма, идеи прогресса,— то были сомнения, отрицания, мысли, полные ярости. Свыкшись с этими чувствами, Лермонтов не мог найти спасения в лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжелый груз скептицизма через все свои мечты и наслаждения. Мужественная, печальная мысль всегда лежит на его челе, она сквозит во всех его стихах. Это не отвлеченная мысль, стремящаяся украсить себя цветами поэзии; нет, раздумье Лермонтова — его поэзия, его мученье, его сила **. Симпатии его к Байрону были глубже, чем у Пушкина. К несчастью быть слишком проницательным у него присоединилось и другое — он смело высказывался о многом без всякой пощады и без прикрас. Существа слабые, задетые этим, никогда не прощают подобной искренности. О Лермонтове говорили как о балованном отпрыске аристократической семьи, как об одном из тех бездельников, которые погибают от скуки и пресыщения. Не хотели знать, сколько боролся этот человек, сколько выстрадал, прежде чем отважился выра-

---

* Стихи, посвященные Лермонтовым памяти князя Одоевского, одного из осужденных по делу 14 декабря, умершего на Кавказе солдатом.

** Стихотворения Лермонтова превосходно переведены на немецкий язык Боденштедтом. Существует французский перевод его романа «Герой нашего времени», сделанный Шопеном.

зить свои мысли. Люди гораздо снисходительней относятся к брани и ненависти, нежели к известной зрелости мысли, нежели к отчуждению, которое, не желая разделять ни их надежды, ни их тревоги, смеет открыто говорить об этом разрыве. Когда Лермонтов, вторично приговоренный к ссылке, уезжал из Петербурга на Кавказ, он чувствовал сильную усталость и говорил своим друзьям, что постарается как можно скорее найти смерть. Он сдержал слово.

Что же это, наконец, за чудовище, называемое Россией, которому нужно столько жертв и которое предоставляет детям своим лишь печальный выбор погибнуть нравственно в среде, враждебной всему человечеству, или умереть на заре своей жизни? Это бездонная пучина, где тонут лучшие пловцы, где величайшие усилия, величайшие таланты, величайшие способности исчезают прежде, чем успевают чего-либо достигнуть.

Но можно ли сомневаться в существовании находящихся в зародыше сил, когда из самых глубин нации зазвучал такой голос, как голос Кольцова?

В течение века или даже полутора веков народ пел одни лишь старинные песни или уродливые произведения, сфабрикованные в первой половине царствования Екатерины II. Правда, в начале нашего века появилось несколько довольно удачных подражаний народной песне, но этим искусственным творениям недоставало правды; то были попытки, причуды. Именно из самых недр деревенской России вышли новые песни. Их вдохновенно сочинял прасол, гнавший через степи свои стада. Кольцов был истинный сын народа. Он родился в Воронеже, до десяти лет посещал приходскую школу, где научился только читать да писать без всякой орфографии. Отец его, скотопромышленник, заставил сына заняться тем же делом. Кольцов водил стада за сотни верст и привык благодаря этому к кочевой жизни, нашедшей отражение в лучших его песнях. Молодой прасол любил книги и постоянно перечитывал кого-нибудь из русских поэтов, которых брал себе за образец; попытки подражания давали ложное направление его поэтическому инстинкту. Наконец проявил себя подлинный его дар; он создал народные песни, их немного, но каждая — шедевр. Это настоящие песни русского народа. В них чувствуется тоска, которая составляет характерную их черту, раздирающая душу печаль, бьющая через край жизнь (*удаль молодецкая*). Кольцов показал, что в душе русского народа кроется много поэзии, что после долгого и глубокого сна в его груди осталось что-то живое. У нас есть еще и другие поэты, государственные мужи и худож-

ники, вышедшие из народа, но они вышли из него в буквальном смысле слова, порвав с ним всякую связь. Ломоносов был сыном беломорского рыбака. Он бежал из отчего дома, чтобы учиться, поступил в духовное училище, затем уехал в Германию, где перестал быть простолюдином. Между ним и русской земледельческой Россией нет ничего общего, если не считать той связи, что существует между людьми одной расы. Кольцов же остался при стадах и при делах своего отца, который его ненавидел и с помощью других родственников сделал жизнь для него такой тяжелой, что в 1842 году он умер. Кольцов и Лермонтов вступили в литературу и скончались почти в одно и то же время. После них русская поэзия онемела.

Но в области прозы деятельность усилилась и приняла иное направление.

Гоголь, не будучи, в отличие от Кольцова, выходцем из народа по своему происхождению, был им по своим вкусам и по складу ума. Гоголь полностью свободен от иностранного влияния; он не знал никакой литературы, когда сделал уже себе имя. Он больше сочувствовал народной жизни, нежели придворной, что естественно для малоросса.

Малоросс, даже став дворянином, никогда так резко не порывает с народом, как русский. Он любит отчизну, свой язык, предания о казачестве и гетманах. Независимость свою, дикую и воинственную, но республиканскую и демократическую, Украина отстаивала на протяжении веков, вплоть до Петра I. Малороссы, терзаемые поляками, турками и москалями, втянутые в вечную войну с крымскими татарами, никогда не складывали оружия. Добровольно присоединившись к Великороссии, Малороссия выговорила себе значительные права. Царь Алексей поклялся их соблюдать. Петр I, под предлогом измены Мазепы, оставил одну лишь тень от этих привилегий. Елизавета и Екатерина ввели там крепостное право. Несчастная страна протестовала, но могла ли она устоять перед этой роковой лавиной, катившейся с севера до Черного моря и покрывавшей все, что носило русское имя, одинаковым ледяным саваном рабства? Украина претерпевает судьбу Новгорода и Пскова, хотя и намного позже; но одно столетие крепостного состояния не могло уничтожить все, что было независимого и поэтического в этом славном народе. Там наблюдается более самобытное развитие, там ярче местный колорит, чем у нас, где всякая народная жизнь, без различия втиснута в жалкую форменную одежду. Люди у нас родятся, чтобы склонить голову перед несправедливым роком, и умирают бесследно, предоставляя своим детям начать сначала ту же

безнадежную жизнь. Наш народ не знает своей истории, тогда как в Малороссии каждая деревушка имеет свое предание. Русский народ помнит лишь о Пугачеве и 1812 годе.

Рассказы, с которыми впервые выступил Гоголь, представляют собою серию подлинно прекрасных картин, изображающих нравы и природу Малороссии,— картин, полных веселости, изящества, живости и любви. Подобные рассказы невозможны в Великороссии за отсутствием сюжета и героев. У нас народные сцены сразу приобретают мрачный и трагический характер, угнетающий читателя; я говорю «трагический» только в смысле Лаокоона [14]. Это трагическое судьбы, которой человек уступает без сопротивления. Скорбь превращается здесь в ярость и отчаяние, смех — в горькую и полную ненависти иронию. Кто может читать, не содрогаясь от возмущения и стыда, замечательную повесть «Антон Горемыка» или шедевр И. Тургенева «Записки охотника»?

С переездом Гоголя из Малороссии в среднюю Россию исчезают в его произведениях простодушные, грациозные образы. Нет в них более полудикого героя, наподобие *Тараса Бульбы* *; нет добродушного патриархального старика, так хорошо описанного в «Старосветских помещиках». Под московским небом все в душе его становится мрачным, пасмурным, враждебным. Он продолжает смеяться, даже больше, чем прежде, но это другой смех, он может обмануть лишь людей с очень черствым сердцем или слишком уж простодушных. Перейдя от своих малороссов и казаков к русским, Гоголь оставляет в стороне народ и принимается за двух его самых заклятых врагов: за чиновника и за помещика. Никто и никогда до него не написал такого полного курса патологической анатомии русского *чиновника*. Смеясь, он безжалостно проникает в самые сокровенные уголки этой нечистой, зловредной души. Комедия Гоголя «Ревизор», его роман «Мертвые души» — это страшная исповедь современной России, под стать разоблачениям Кошихина в XVII веке **.

Присутствуя на представлениях «Ревизора», император Николай умирал со смеху!!!

Поэт, в отчаянии, что вызвал всего лишь это августей-

---

* «Тарас Бульба», «Старосветские помещики» и некоторые рассказы Гоголя переведены на французский язык Виардо. Есть немецкий перевод «Мертвых душ».

** Русский дипломат времен Алексея, отца Петра I; опасаясь преследований царя, он бежал в Швецию и был обезглавлен в Стокгольме за убийство.

шее веселье да самодовольный смех чиновников, совершенно подобных тем, которых он изобразил, но пользовавшихся бóльшим покровительством цензуры, счел своим долгом разъяснить в предуведомлении, что его комедия не только очень смешна, но и очень печальна, что «за его улыбкой кроются горячие слезы» [15].

После «Ревизора» Гоголь обратился к поместному дворянству и вытащил на белый свет это неведомое племя, державшееся за кулисами, вдалеке от дорог и больших городов, схоронившееся в деревенской глуши,— эту Россию дворянчиков, которые втихомолку, уйдя с головой в свое хозяйство, таят развращенность более глубокую, чем западная. Благодаря Гоголю мы видим их наконец за порогом их барских палат, их господских домов; они проходят перед нами без масок, без прикрас, пьяницы и обжоры, угодливые невольники власти и безжалостные тираны своих рабов, пьющие жизнь и кровь народа с той же естественностью и простодушием, с каким ребенок сосет грудь своей матери.

«Мертвые души» потрясли всю Россию.

Предъявить современной России подобное обвинение было необходимо. Это история болезни, написанная рукою мастера. Поэзия Гоголя — это крик ужаса и стыда, который издает человек, опустившийся под влиянием пошлой жизни, когда он вдруг увидит в зеркале свое оскотинившееся лицо. Но чтобы подобный крик мог вырваться из груди, надобно, чтобы в ней оставалось что-то здоровое, чтобы жила в ней великая сила возрождения. Тот, кто откровенно сознается в своих слабостях и недостатках, чувствует, что они не являются сущностью его натуры, что он не поглощен ими целиком, что есть еще в нем нечто не поддающееся, сопротивляющееся падению, что он может еще искупить прошлое и не только поднять голову, но, как в трагедии Байрона, стать из Сарданапала-неженки — Сарданапалом-героем [16].

Тут мы вновь сталкиваемся лицом к лицу с важным вопросом: где доказательства того, что русский народ может воспрянуть, и каковы доказательства противного? Вопрос этот, как мы видели, занимал всех мыслящих людей, но никто из них не нашел его решения.

Полевой, ободрявший других, ни во что не верил; разве иначе он так скоро впал бы в уныние, перешел бы на сторону врага при первом ударе судьбы? «Библиотека для чтения» одним прыжком перемахнула через эту проблему, она обошла вопрос, даже не попытавшись разрешить его. Решение Чаадаева — не решение.

Поэзия, проза, искусство и история показали нам образование и развитие этой нелепой среды, этих оскорбительных нравов, этой уродливой власти, но никто не указал выхода. Нужно ли было приспособляться, как это сделал впоследствии Гоголь, или бежать навстречу своей гибели, как Лермонтов? Приспособиться нам было невозможно, погибнуть — противно; что-то в глубине нашего сердца говорило, что еще слишком рано уходить; казалось, за *мертвыми душами* есть еще души живые.

И вновь вставали эти вопросы, с еще большей настойчивостью; все, что надеялось, требовало решения любой ценой.

После 1840 года внимание общества было приковано к двум течениям. Из схоластических споров они вскоре перешли в литературу, а оттуда в общество.

Мы говорим о московском панславизме и о русском европеизме.

Борьбу между этими двумя течениями закончила революция 1848 года. То была последняя оживленная полемика, которая занимала публику; тем самым она приобретает известное значение. Мы посвящаем ей поэтому следующую главу.

VI

МОСКОВСКИЙ ПАНСЛАВИЗМ И РУССКИЙ ЕВРОПЕИЗМ

Пора реакции против реформы Петра I настала не только для правительства, отступавшего от своего же принципа и отрекавшегося от западной цивилизации, во имя коей Петр I попирал национальность, но и для тех людей, которых правительство оторвало от народа под предлогом цивилизации и принялось вешать, когда они стали цивилизованными.

Возврат к национальным идеям естественно приводил к вопросу, самая постановка которого уже являлась реакцией против петербургского периода. Не нужно ли искать выхода из создавшегося для нас печального положения в том, чтобы приблизиться к народу, который мы, не зная его, презираем? Не нужно ли возвратиться к общественному строю, который более соответствует славянскому характеру, и покинуть путь чужеземной насильственной цивилизации? Это вопрос важный и злободневный. Но едва только он был поставлен, как нашлась группа людей, которая, тотчас же решив его в положительном смысле, создала исключительную систему, превратив ее не только в доктрину, но и в религию. Логика реакции так же стремительна, как логика революций.

Наибольшее заблуждение славянофилов заключается в том, что они в самом вопросе увидели ответ и спутали возможность с действительностью. Они предчувствовали, что их путь ведет к великим истинам и должен изменить нашу точку зрения на современные события. Но вместо того, чтобы идти вперед и работать, они ограничились этим предчувствием. Таким образом, извращая факты, они извратили свое собственное понимание. Суждение их не было уже свободным, они уже не видели трудностей, им казалось, что все решено, со всем покончено. Их занимала не истина, а поиски возражений своим противникам.

К полемике примешались страсти. Экзальтированные *славянофилы* накинулись с остервенением на весь петербургский период, на все, что сделал Петр Великий, и, наконец, на все, что было европеизировано, цивилизовано. Можно понять и оправдать такое увлечение как оппозицию, но, к несчастью, оппозиция эта зашла слишком далеко

и увидела, что непонятным для себя образом она очутилась на стороне правительства, наперекор собственным стремлениям к свободе.

Решив a priori, что все, пришедшее от *немцев*, ничего не стоит, что все, введенное Петром I, отвратительно, *славянофилы* дошли до того, что стали восхищаться узкими формами Московского государства и, отрекшись от собственного разума и собственных знаний, устремились под сень креста греческой церкви. Мы же не могли допустить подобных тенденций, тем более что славянофилы странным образом заблуждались относительно устройства Московского государства и придавали греческому православию значение, которого оно никогда не имело. Полные возмущения против деспотизма, они приходили к политическому и духовному рабству; при всем своем сочувствии к славянской национальности, они удалялись от этой самой национальности через противоположные двери. Греческое православие увлекало их к византинизму, и они в самом деле стремительно приближались к этому бездонному стоячему болоту, в котором исчезли следы древнего мира. Если формы и дух Запада не подходили России, то что же было общего между нею и устройством Восточной Римской империи? В чем сказалась органическая связь между славянами — варварами по своей молодости — и греками — варварами по своей дряхлости? И, наконец, что иное представляет собой эта Византия, как не Рим,— Рим, времен упадка, Рим без славных воспоминаний, без угрызений совести? Какие новые принципы внесла Византия в историю? Быть может, греческое православие? Но ведь оно — всего только апатичный католицизм; принципы их настолько одинаковы, что потребовалось семь веков споров и разногласий, чтобы заставить поверить в их различие. Быть может, общественный строй? Но в Восточной империи он основывался на неограниченной власти, на безропотном послушании, на полном поглощении личности государством, а государства — императором.

Могло ли подобное государство сообщить новую жизнь молодому народу? Юго-западные славяне долгое время жили в тесном общении с греками Восточной империи, что же они от того выиграли?

Уже забыто, чем были эти стада людей, которых греческие императоры согнали под благословение константинопольских патриархов. Достаточно бросить взгляд на законы об оскорблении величества, столь успешно перенятые недавно императором Николаем и его юрисконсультом Губе, чтобы оценить эту казуистику крепостничества, эту

философию рабства. Но законы эти касались лишь светской власти; затем следовали канонические законы, которые регулировали передвижения, одежду, стол, смех. Можно представить себе, во что обращался человек, пойманный этой двойной сетью государства и церкви, вечно дрожащий, вечно под угрозой — то судьи, решение которого нельзя обжаловать, и послушного ему палача, то священника, действующего во имя божье, то *епитимий,* которые связывали человека и на этом и на том свете.

В чем видно благотворное влияние восточной церкви? Какой же народ из принявших православие, начиная с IV века и до наших дней, цивилизовала она или эмансипировала? Быть может, это Армения, Грузия или племена Малой Азии, жалкие жители Трапезунда? Быть может, наконец, Морея? Нам скажут, возможно, что церковь ничего не могла сделать с этими изжившими себя, развращенными, лишенными будущего народами. Но славяне,— здоровая телом и душой раса,— разве получили они от нее хоть что-нибудь? Восточная церковь проникла в Россию в цветущую, светлую киевскую эпоху, при великом князе Владимире. Она привела Россию к печальным и гнусным временам, описанным Кошихиным, она благословила и утвердила все меры, принятые против свободы народа. Она обучила царей византийскому деспотизму, она предписала народу слепое повиновение, даже когда его прикрепляли к земле и сгибали под ярмо рабства. Петр I парализовал влияние духовенства, это было одним из самых важных его деяний; и что же, это влияние хотели бы теперь воскресить?

Славянофильство, видевшее спасение России лишь в восстановлении византийско-московского режима, не освобождало, а связывало, не двигало вперед, а толкало назад. *Европейцы,* как называли их славянофилы, не хотели менять ошейник немецкого рабства на православно-славянский, они хотели освободиться от всех возможных ошейников. Они не старались зачеркнуть период, истекший со времени Петра I, усилия века, столь сурового, преисполненного столь тяжких трудов. Они не хотели отказаться от того, что было добыто ценой стольких страданий и потоков крови, ради возвращения к узкому общественному строю, к исключительной национальности, к косной церкви. Напрасно славянофилы, подобно легитимистам, твердили, что можно из всего этого взять хорошее и пренебречь дурным. Это весьма серьезная ошибка, но они совершали еще и другую, свойственную всем реакционерам. Поклонники исторического принципа, они постоянно забывали, что все, происшедшее после Петра I,— тоже история и что никакая

живая сила, не говоря уже о выходцах с того света, не могла ни вычеркнуть совершившиеся факты, ни устранить их последствия.

Такова точка зрения, послужившая началом оживленной полемики со славянофилами. Рядом с нею другие вопросы, обсуждавшиеся в газетах, отошли на второй план. Вопрос был действительно полон животрепещущего интереса.

Сенковский с замечательной ловкостью выпустил тучу своих самых ядовитых стрел в лагерь славянофилов. Удовлетворенный тем, что заставил громко посмеяться над своими жертвами, он гордо удалился. Он не был создан для серьезной полемики. Но другой журналист поднял *рукавицу* * славян, брошенную в Москве, и храбро развернул знамя европейской цивилизации против той тяжелой хоругви с изображением византийской богородицы, которую несли славянофилы.

Появление этого борца во главе «Отечественных записок» не предвещало больших успехов славянофилам. Это был даровитый и энергичный человек, преданный своим убеждениям так же фанатически,— человек смелый, нетерпимый, горячий и раздражительный: Белинский.

Собственное его развитие весьма характерно для той среды, в которой он жил. Родившись в семье бедного провинциального чиновника [1], он не вынес о ней ни одного светлого воспоминания. Его родители были черствыми, некультурными людьми, как и все представители этого растленного класса. Однажды, когда Белинскому было десять или одиннадцать лет, его отец, вернувшись домой, стал его бранить. Мальчик хотел оправдаться. Взбешенный отец ударил его и сбил с ног. Мальчик поднялся совершенно преображенный: обида, несправедливость сразу порвали в нем все родственные связи. Его долго занимала мысль о мести, но чувство собственной слабости превратило ее в ненависть против всякой власти семьи; он сохранил эту ненависть до самой смерти.

Так началось воспитание Белинского. Семья привела его к независимости дурным обращением, а общество — нищетой. Нервный и болезненный молодой человек, мало подготовленный для академических занятий, ничего не сделал в Московском университете и, поскольку обучался там на казенный счет, был исключен под предлогом «слабых способностей и отсутствия прилежания» [2]. С этой унизительной справкой бедный юноша вступил в жизнь,

---

* Перчатка с одним пальцем, которую носят крестьяне.

т. е., будучи выставлен за двери университета, очутился среди большого города, без куска хлеба и без возможности его заработать. Тогда-то он и встретился со Станкевичем и его друзьями, которые его спасли.

Станкевич, умерший молодым лет десять тому назад в Италии, не сделал ничего, что вписывается в историю, и все же было бы неблагодарностью обойти его молчанием, когда заходит речь об умственном развитии России.

Станкевич принадлежал к тем широким и привлекательным натурам, самое существование которых оказывает большое влияние на все, что их окружает. Он способствовал распространению среди московской молодежи любви к немецкой философии, привитой Московскому университету выдающимся профессором Павловым. Именно Станкевич руководил занятиями в кружке друзей, он первый распознал философские способности нашего друга Бакунина и натолкнул его на изучение Гегеля; он же, встретив в Воронежской губернии Кольцова, привез его в Москву и ободрил.

Станкевич по достоинству оценил пылкий и оригинальный ум Белинского. Вскоре вся Россия воздала должное смелому таланту публициста, получившего аттестацию неспособного от куратора Московского университета.

Белинский с жаром принялся изучать Гегеля. Незнание немецкого языка не только не послужило для него препятствием, но даже облегчило занятия: Бакунин и Станкевич взялись поделиться с ним своими знаниями, что и сделали со всем увлечением молодости, со всей ясностью русского ума. Впрочем, ему достаточно было лишь отдельных указаний, чтобы догнать своих друзей. Раз овладев системой Гегеля, он первый среди московских его приверженцев восстал если не против самого Гегеля, то хотя бы против способа толковать его.

Белинский был совершенно свободен от влияний, которым мы поддаемся, когда не умеем от них защищаться. Соблазненные новизною, мы в ранней юности запоминаем множество вещей, не проверив их разумом. Эти воспоминания, которые мы принимаем за приобретенные истины, связывают нашу независимость. Белинский начал свои занятия с философии — и это в возрасте двадцати пяти лет. Он обратился к науке с серьезными вопросами, вооруженный страстной диалектикой. Для него истины, выводы были не абстракциями, не игрой ума, а вопросами жизни и смерти; свободный от всякого постороннего влияния, он вступил в науку с тем большей искренностью; он ничего не старался спасти от огня анализа и отрицания и совершенно

естественно восстал против половинчатых решений, робких выводов и трусливых уступок.

После книги Фейербаха и пропаганды, которую вела газета Арнольда Руге [3], все это уже не ново, но надобно перенестись во времена, предшествовавшие 1840 году. Гегелевская философия находилась тогда под обаянием тех диалектических фокусов, которые в «Философии религии» вновь вытаскивали на свет религию, разрушенную и разгромленную «Феноменологией» и «Логикой». То были времена, когда еще восхищались философским языком, достигшим такого совершенства, что посвященные видели атеизм там, где профаны находили веру.

Эта преднамеренная неясность, эта обдуманная сдержанность не могла не вызвать ожесточенного сопротивления со стороны человека искреннего; Белинский, чуждый схоластики, свободный от протестантской показной добродетели и прусских приличий, был возмущен этой стыдливой наукой, прикрывавшей фиговым листком свои истины.

Однажды, сражаясь в течение целых часов с богобоязненным пантеизмом берлинцев, Белинский встал и дрожащим, прерывающимся голосом сказал: «Вы хотите меня уверить, что цель человека — привести абсолютный дух к самосознанию, и довольствуетесь этой ролью; ну, а я не настолько глуп, чтобы служить невольным орудием кому бы то ни было. Если я мыслю, если я страдаю, то для самого себя. Ваш абсолютный дух, если он и существует, то чужд для меня. Мне незачем его знать, ибо ничего общего у меня с ним нет».

Мы приводим эти слова лишь затем, чтобы лишний раз показать склад русского ума. Как только стали проповедовать дуалистический вздор, первый же талантливый человек в России, занимавшийся немецкой философией, заметил, что она реалистична только на словах, что в основе своей она оставалась земной религией, религией без неба, логическим монастырем, куда бежали от мира, чтобы погрузиться в абстракции.

Общественная деятельность Белинского начинается лишь в 1841 году. Он захватил руководство «Отечественными записками» в Петербурге и в течение шести лет господствовал в журналистике. Он умер в 1848 году, изнемогший от усталости, полный отвращения, в самой крайней нищете.

Белинский много сделал для пропаганды. На его статьях воспитывалась вся учащаяся молодежь. Он образовал эстетический вкус публики, он придал силу мысли. Его критика проникла глубже, чем критика Полевого, возбуждая иные вопросы и иные сомнения. Его недостаточно

оценили; при его жизни было слишком много людей с раненым самолюбием, с задетым тщеславием; после его смерти правительство запретило писать о нем,— именно это и побудило меня рассказать о Белинском более пространно, чем о ком-либо другом.

Его слог часто бывал угловат, но всегда полон энергии. Он сообщал свою мысль с тою же страстью, с какою зачинал ее. В каждом его слове чувствуешь, что человек этот пишет своею кровью, чувствуешь, как он расточает свои силы и как он сжигает себя; болезненный, раздражительный, он не знал границ ни в любви, ни в ненависти. Часто он увлекался, порой бывал и весьма несправедлив, но всегда оставался до конца искренним.

Столкновение между Белинским и славянофилами было неизбежно.

Как мы уже говорили, этот человек являлся одним из самых свободных людей, ибо не был связан ни с верованиями, ни с традициями, не считался с общественным мнением и не признавал никаких авторитетов, не боялся ни гнева друзей, ни ужаса *прекраснодушных* [4]. Он всегда стоял на страже критики, готовый обличить, заклеймить все, что считал реакционным. Как же мог он оставить в покое православных и ультрапатриотических славянофилов, если видел тяжелые оковы во всем том, что славянофилы принимали за самые священные узы?

Среди славянофилов были люди талантливые, эрудированные, но ни одного публициста; их журнал («Москвитянин») не имел никакого успеха. Талантливые люди, принадлежавшие к этой партии, почти не писали, зато люди бездарные писали постоянно.

Славянофилы пользовались большим преимуществом перед *европейцами,* но преимущества такого рода пагубны: славянофилы защищали православие и национальность, тогда как *европейцы* нападали и на то и на другое; поэтому славянофилы могли говорить почти все, не рискуя потерять орден, пенсию, место придворного наставника или звание камер-юнкера. Белинский же, напротив, ничего не мог говорить; слишком прозрачная мысль или неосторожное слово могли довести его до тюрьмы, скомпрометировать журнал, редактора и цензора. Но именно по этой причине все симпатии снискал смелый писатель, который, в виду Петропавловской крепости, защищал независимость, а все неприязненные чувства обратились на его противников, показывавших кулак из-за стен Кремля и Успенского собора и пользовавшихся столь широким покровительством петербургских «немцев». Все то, о чем Белинский и его

друзья не могли сказать, угадывалось и додумывалось. Все то, о чем славянофилы говорили, казалось не деликатным и не великодушным.

Поспешим добавить, что славянофилы, однако, никогда не были сторонниками правительства. Есть, конечно, в Петербурге императорские панслависты, а в Москве *присоединившиеся* славянофилы, как есть русские патриоты среди прибалтийских немцев и замиренных черкесов на Кавказе, но не об этих людях идет речь. Это любители рабства, которые принимают абсолютизм за единственную цивилизованную форму правления, проповедуют превосходство донских вин над винами Кот-д'Ор и *руссицизм* западным славянам, переполняя их душу той благородной ненавистью к немцам и мадьярам, которая сослужила хорошую службу Виндишгрецам и Гайнау. Правительство, не признавая их учения официально, оплачивает им путевые издержки и посылает друзьям их чехам и хорватам голштинские кресты св. Анны, уготавливая им те же братские объятия, в каких оно задушило Польшу.

Что до подлинных *славянофилов*, то добрые отношения с правительством были для них скорее несчастьем, чем фактом желательным. Но к этому приводит всякая доктрина, опирающаяся на власть. Такая доктрина может быть революционной в одном отношении, но непременно будет консервативной — в другом, вследствие чего оказывается перед печальным выбором: либо вступить в союз с врагом, либо изменить своим принципам. Довольно одной потачки врагу, чтобы пробудить совесть.

Белинский и его друзья не противопоставили славянофилам ни доктрины, ни исключительной системы, а лишь живую симпатию ко всему, что волновало современного человека, безграничную любовь к свободе мысли и такую же сильную ненависть ко всему, что ей препятствует: к власти, насилию или вере. Они рассматривали русский вопрос и вопрос европейский с точки зрения, которая совершенно противоположна славянофильской.

Им казалось, что одной из наиболее важных причин рабства, в котором обреталась Россия, был недостаток личной независимости; отсюда — полное отсутствие уважения к человеку со стороны правительства и отсутствие оппозиции со стороны отдельных лиц; отсюда — цинизм власти и долготерпение народа. Будущее России чревато великой опасностью для Европы и несчастиями для нее самой, если в личное право не проникнут освободительные начала. Еще один век такого деспотизма, как теперь, и все хорошие качества русского народа исчезнут.

К счастью, в этом важном вопросе о личности Россия занимала совершенно особое положение.

Для человека Запада одним из величайших несчастий, способствующих рабству, обнищанию масс и бессилию революций, является нравственное порабощение; это не недостаток чувства личности, а недостаток ясности в этом чувстве, искаженном — а оно искажено — предшествующими историческими событиями, которыми ограничивают личную независимость. Народы Европы вложили столько души в прошлые революции, пролили столько своей крови, что революции эти всегда у них в памяти и человек не может сделать шагу, не задев своих воспоминаний, своих *фуэросов* [5], в большей или меньшей степени обязательных и признанных им самим; все вопросы были уже наполовину разрешены: побуждения, отношения людей между собой, долг, нравственность, преступление — все определено, притом не какой-нибудь высшей силой, а отчасти с общего согласия людей. Отсюда следует, что человек, вместо того чтобы сохранить за собою свободу действий, может лишь подчиниться или восстать. Эти непререкаемые нормы, эти готовые понятия пересекают океан и вводятся в основной закон какой-либо вновь образуемой республики; они переживают гильотинированного короля и спокойнейшим образом занимают места на скамьях якобинцев и в Конвенте. Долгое время это множество полуистин и полупредрассудков принимали за прочные и абсолютные основы общественной жизни, за бесспорные и не подлежащие сомнению выводы. Действительно, каждый из них был подлинным прогрессом, победой для своего времени, но из всей их совокупности мало-помалу воздвигались стены новой тюрьмы. В начале нашего века мыслящие люди это заметили, но тут же они увидели всю толщину этих стен и поняли, сколько надо усилий, чтобы пробить их.

Совсем в ином положении находится Россия. Стены ее тюрьмы — из дерева; возведенные грубой силой, они дрогнут при первом же ударе. Часть народа, отрекшаяся вместе с Петром I от всего своего прошлого, показала, какой силой отрицания она обладает; другая часть, оставшись чуждою современному положению, покорилась, но не приняла новый режим, который ей кажется временным лагерем,— она подчиняется, потому что боится, но она не верит.

Было очевидно, что ни Западная Европа, ни современная Россия не могли идти далее своим путем, не отбросив полностью политические и моральные формы своей жизни. Но Европа, подобно Никодиму, была слишком богата, чтобы пожертвовать большим имуществом ради

какой-то надежды; евангельским рыбакам не о чем было жалеть, легко сменить сети на нищенскую суму. Достоянием их была живая душа, способная постигать Слово [6].

Положение, в котором находилась Россия, в сравнении со своим прошлым и с прошлым Европы, было совершенно ново и казалось весьма благоприятным для развития личной независимости. Вместо того чтобы воспользоваться этим, позволили появиться на свет учению, лишавшему Россию того единственного преимущества, которое оставила ей в наследство история. Ненавидя, как и мы, настоящее России, славянофилы хотели позаимствовать у прошлого путы, подобные тем, которые сдерживают движение европейца. Они смешивали идею свободной личности с идеей узкого эгоизма; они принимали ее за *европейскую*, западную идею и, чтобы смешать нас со слепыми поклонниками западного просвещения, постоянно рисовали нам страшную картину европейского разложения, маразма народов, бессилия революций и близящегося мрачного рокового кризиса. Все это было верно, но они забыли назвать тех, от кого узнали эти истины.

Европа не дожидалась ни поэзии Хомякова, ни прозы редакторов «Москвитянина», чтобы понять, что она накануне катаклизма — возрождения или окончательного разложения. Сознание упадка современного общества — это социализм, и, конечно, ни Сен-Симон, ни Фурье, ни этот новый Самсон, потрясающий из недр своей тюрьмы * европейское здание [7], не почерпнули своих грозных приговоров Европе из писаний Шафарика, Колара или Мицкевича. Сенсимонизм был известен в России лет за десять до того, как заговорили о славянофилах.

Нелегко Европе, говорили мы славянофилам, разделаться со своим прошлым, она держится за него наперекор собственным интересам, ибо знает, в какую цену обходятся революции; ибо в настоящем ее положении есть многое, что ей дорого и что трудно возместить. Легко критиковать реформацию и революцию, читая их историю, но Европа продиктовала и написала их собственною кровью. В великих этих битвах, протестуя во имя свободы мысли и прав человека, она поднялась до такой высоты убеждений, что, быть может, не в силах их осуществить. Мы же более свободны от прошлого; это великое преимущество, но оно обязывает нас к большей скромности. Это — добродетель слишком отрицательная, чтобы заслуживать похвалы, один только ультраромантизм возводит отсутствие пороков в сте-

* Прудон находился тогда в тюрьме Сент-Пелажи.

пень добрых дел. Мы свободны от прошлого, ибо прошлое наше пусто, бедно и ограничено. Такие вещи, как московский царизм или петербургское императорство, любить невозможно. Их можно объяснить, можно найти в них зачатки иного будущего, но нужно стремиться избавиться от них, как от пеленок. Ставя в упрек Европе, что она не умела перерасти свои собственные установления, славянофилы не только не говорили, как думают они разрешить великое противоречие между свободой личности и государством, но даже избегали входить в подробности того славянского политического устройства, о котором без конца твердили. Тут они ограничивались киевским периодом и держались за сельскую общину. Но киевский период не помешал наступлению московского периода и утрате вольностей. Община не спасла крестьянина от закрепощения; далекие от мысли отрицать значение общины, мы дрожим за нее, ибо, по сути дела, нет ничего устойчивого без свободы личности. Европа, не ведавшая этой общины или потерявшая ее в превратностях прошедших веков, поняла ее, а Россия, обладавшая ею в течение тысячи лет, не понимала ее, пока Европа не пришла сказать ей, какое сокровище скрывала та в своем лоне. Славянскую общину начали ценить, когда стал распространяться социализм. Мы бросаем вызов славянофилам, пусть они докажут обратное.

Европа не разрешила противоречия между личностью и государством, но она все же поставила этот вопрос. Россия подходит к проблеме с противоположной стороны, но и она ее не решила. С появления перед нами этого вопроса и начинается наше равенство. У нас больше надежд, ибо мы только еще начинаем, но надежда — лишь потому надежда, что она может не осуществиться.

Не надобно слишком доверяться будущему — ни в истории, ни в природе. Не каждый зародыш достигает зрелости, не все, что живет в душе, осуществляется, хотя при других обстоятельствах все могло бы развиться.

Возможно ли вообразить, чтобы способности, которые находят у русского народа, могли развиться в обстановке рабства, безропотной покорности и петербургского деспотизма? Долгое рабство — факт не случайный, оно, конечно, отвечает какой-то особенности национального характера. Эта особенность может быть поглощена, побеждена другими, но может победить и она. Если Россия способна примириться с существующим порядком вещей, то нет у нее впереди будущего, на которое мы возлагаем надежды. Если она и дальше будет следовать петербургскому курсу или вернется к московской традиции, то у нее не окажется

иного пути, как ринуться на Европу, подобно орде, полуварварской, полуразвращенной, опустошить цивилизованные страны и погибнуть среди всеобщего разрушения.

Не нужно ли было бы постараться всеми средствами призвать русский народ к сознанию его гибельного положения,— пусть даже в виде опыта,— чтобы убедиться в невозможности этого? И кто же иной должен был это сделать, как не те, кто представляли собою разум страны, мозг народа,— те, с чьей помощью он старался понять собственное положение? Велико их число или мало — это ничего не меняет. Петр I был один, декабристы — горстка людей. Влияние отдельных личностей не так ничтожно, как склонны думать; личность — живая сила, могучий бродильный фермент, даже смерть не всегда прекращает его действие. Разве не видели мы неоднократно, как слово, сказанное кстати, заставляло опускаться чашу народных весов, как оно вызывало или прекращало революции?

Что вместо этого делали славянофилы? Они проповедовали покорность — эту первую из добродетелей в глазах греческой церкви, эту основу московского царизма. Они проповедовали презрение к Западу, который один еще мог осветить омут русской жизни; наконец, они превозносили прошлое, а от него, напротив, нужно было избавиться ради будущего, отныне ставшего общим для Востока и Запада.

Совершенно ясно, что надо было противодействовать подобному направлению умов, и полемика действительно развертывалась все шире. Она продолжалась до 1848 года, достигнув высшего своего напряжения к концу 1847 года, как будто ее участники предчувствовали, что через несколько месяцев ни о чем нельзя будет спорить в России и что борьба эта побледнеет перед значительностью событий.

Противоположные мнения особенно ярко выразились в двух статьях. Одну, под названием «Юридическое развитие России», опубликовал «Современник», в Петербурге. Другую — пространный ответ славянофила — напечатал «Москвитянин» [8]. Первая статья представляла собою ясное и сильное изложение темы, основанное на углубленном изучении русского права; она развивала мысль о том, что личное право никогда не удостаивалось юридического определения, что личность всегда поглощалась семьей, общиной, а позже государством и церковью. Неопределенное положение личности вело, согласно автору, к такой же неясности в других областях политической жизни. Государство пользовалось этим отсутствием определения личного права, чтобы нарушать вольности; таким образом,

русская история была историей развития самодержавия и власти, как история Запада является историей развития свободы и прав.

В возражении «Москвитянина», почерпнувшем свои доводы в славянских летописях, греческом катехизисе и гегельянском формализме, опасность, которую представляет собой славянофильство, становится очевидной. Автор-славянофил полагал, что личный принцип был хорошо развит в древней Руси, но личность, просвещенная греческой церковью, обладала высоким даром смирения и добровольно передавала свою свободу особе князя. Князь воплощает сострадание, благожелательство и свободную личность. Каждый, отрекаясь от личной независимости, одновременно спасал ее в представителе личного принципа — в государе.

Этот дар самоотречения и еще более великий дар — не злоупотреблять им — создавали, по мнению автора, гармоническое согласие между князем, общиной и отдельной личностью,— дивное согласие, которому автор не находит иного объяснения, кроме чудесного присутствия святого духа в византийской церкви.

Если славянофилы хотят представлять серьезное воззрение, реальную сторону общественного сознания, наконец, силу, стремящуюся найти себе реальное воплощение в русской жизни, если они хотят чего-то большего, нежели археологические диспуты и богословские споры, то мы имеем право потребовать от них отказа от этого безнравственного словесного блуда, от этой извращенной диалектики. Мы говорим «словесный блуд», ибо они грешат им вполне сознательно.

Что означают сии метафорические решения, выворачивающие вопрос наизнанку? К чему эти образы, эти символы вместо дел? Разве славянофилы затем изучали хроники Восточной империи, чтобы привить себе эту византийскую проказу? Мы не греки времен Палеологов и не станем спорить об opus operans и opus operatum [9], когда в наши двери стучится неведомое, необъятное будущее.

Их философский метод не нов, лет пятнадцать тому назад подобным же образом изъяснялось правое крыло гегельянцев; нет такой нелепости, которую не удалось бы втиснуть в форму пустой диалектики, придав ей глубоко метафизический вид. Нужно только не знать или забыть, что соотношение между содержанием и методом — иное, нежели между свинцом и формой для отливки пуль, и что лишь один дуализм не понимает их взаимозависимости. Говоря о князе, автор лишь пространно пересказал обще-

известное определение, которое Гегель дал рабству в «Феноменологии» («Herr und Knecht») [10]. Но он умышленно позабыл, как Гегель расстается с этой низшей ступенью человеческого сознания. Стоит отметить, что сей философский жаргон, относящийся по форме к науке, а по содержанию — к схоластике, встречается и у иезуитов. Монталамбер, отвечая на запрос по поводу жестокостей, учиненных папской властью в тюрьмах Рима, сказал: «Вы говорите о жестокостях папы, но он не может быть жестоким, его положение воспрещает ему это; наместник Иисуса Христа, он может только прощать, только быть милосердным, и, в самом деле, папы всегда прощают. Святой отец может быть опечален, может молиться за грешника, но не может быть неумолимым» и т. д. На вопрос, применяют ли пытки в Риме, отвечают, что папа милосерд; на замечание, что все мы рабы, что личное право не развито в России, отвечают: «Мы спасли это право, увенчав им князя». Это издевка, возбуждающая презрение к человеческому слову. Едва ли приличествует ссылаться на религию, но еще менее того — на религию обязательную. Каждый автор имеет неоспоримое право верить, во что ему вздумается; но прибегать к богословским доказательствам в ученом споре с человеком, который не говорит о своей религии,— значит нарушать приличия. К чему прятаться за неприступной крепостью, малейшее нападение на которую кончается тюрьмой?

Притом непостижимо, как славянофилы, если им действительно дорога их религия, не чувствуют отвращения к ханжескому методу «Философии религии» — этой бессильной, лишенной веры попытки реабилитации, этой холодной и бледной защитительной речи, в которой надменная наука, уложив в могилу сестру свою, роняет ей вслед улыбку сострадания? Как хватает у них мужества трепать самое для них святое на диспутах, где его не чтят и терпят лишь из страха перед полицией?

Это не все: автор, как ни странно, обвиняет своих противников в недостатке патриотизма и в том, что они мало любят народ; так как это общая черта всех славянофилов, то надобно сказать о ней несколько слов. Они присваивают себе монополию на патриотизм, они считают себя более русскими, чем кто бы то ни было; они постоянно упрекают нас за наше возмущение против современного положения России, за нашу слабую привязанность к народу, за наши горькие и полные гнева речи, за откровенность, заключающуюся в том, что мы выставляем на свет темную сторону русской жизни.

Казалось бы, однако, что партия, которая ставит себя под угрозу виселицы, каторги, конфискации имущества, эмиграции, не была лишена ни патриотизма, ни убеждений. 14-е декабря, насколько нам известно, не было делом славянофилов, все гонения достались на нашу долю, славянофилов же до сей поры судьба щадила.

Да, это так, есть ненависть в нашей любви, мы возмущены, мы так же упрекаем народ, как и правительство, за то положение, в котором находимся; мы не боимся высказывать самые жестокие истины, но мы их говорим потому, что любим. Мы не бежим от настоящего в прошлое, ибо знаем, что последняя страница истории — это современность. Мы не затыкаем ушей при горестных криках народа, и у нас хватает мужества признать с глубокой душевной болью, насколько развратило его рабство; скрывать эти печальные последствия — не любовь, а тщеславие. У нас перед глазами крепостничество, а нас обвиняют в клевете и хотят, чтобы печальное зрелище крестьянина, ограбленного дворянством и правительством, продаваемого чуть ли не на вес, опозоренного розгами, поставленного вне закона, не преследовало нас и днем и ночью, как угрызение совести, как обвинение? Славянофилы охотней читают предания времен Владимира, они желают, чтобы им представляли Лазаря не в язвах, а в шелках. Для них, как для Екатерины, нужно возвести вдоль дорог от Петербурга до Крыма картонные деревни и декорации, изображающие сады [11].

Великий обвинительный акт, составляемый русской литературой против русской жизни, это полное и пылкое отречение от наших ошибок, эта исповедь, полная ужаса перед нашим прошлым, эта горькая ирония, заставляющая краснеть за настоящее, и есть наша надежда, наше спасение, прогрессивный элемент русской натуры.

Каково же значение того, что написал Гоголь, которым славяне так неумеренно восхищаются? Кто другой поставил выше, чем он, позорный столб, к которому он пригвоздил русскую жизнь?

Автор статьи «Москвитянина» говорит, что Гоголь «спустился, подобно рудокопу, в этот глухой мир, однообразный и неподвижный, где нет ни ударов грома, ни сотрясений, в это бездонное болото, засасывающее медленно, но безвозвратно *все, что есть свежего* (это говорит славянофил); он спустился туда, подобно рудокопу, нашедшему под землей еще не початую жилу» [12]. Да, Гоголь почуял эту силу, эту нетронутую руду под невозделанной землей. Может быть, он почал бы эту жилу, но, к несчастью, слишком рано решил, что достиг дна, и вместо того чтобы

продолжать расчистку, стал искать золото. Каково же было следствие этого? Он начал защищать то, что прежде разрушал, оправдывать крепостное право и в конце концов бросился к ногам представителя «благоволения и любви».

Пусть поразмыслят славянофилы о падении Гоголя. Они найдут в этом падении, быть может, больше логики, нежели слабости. От православного смиренномудрия, от самоотречения, растворившего личность человека в личности князя, до обожания самодержца — только шаг.

Но что можно сделать для России, будучи на стороне императора? Времена Петра, великого царя, прошли; Петра, великого человека, уже нет в Зимнем дворце, *он в нас.*

Пора это понять и, бросив, наконец, эту ставшую отныне ребяческой борьбу, соединиться во имя России, а также во имя независимости.

Любой день может опрокинуть ветхое социальное здание Европы и увлечь Россию в бурный поток огромной революции. Время ли длить семейную ссору и дожидаться, чтобы события опередили нас, потому что мы не приготовили ни советов, ни слов, которых, быть может, от нас ожидают?

Да разве нет у нас открытого поля для примирения?

А социализм, который так решительно, так глубоко разделяет Европу на два враждебных лагеря,— разве не признан он славянофилами так же, как нами? Это мост, на котором мы можем подать друг другу руку [13].

РУССКИЙ НАРОД И СОЦИАЛИЗМ

ПИСЬМО К И. МИШЛЕ [1]

Милостивый государь,

Вы стоите слишком высоко в мнении всех мыслящих людей, каждое слово, вытекающее из вашего благородного пера, принимается европейскою демократиею с слишком полным и заслуженным доверием, чтобы в деле, касающемся самых глубоких моих убеждений, мне было возможно молчать и оставить без ответа характеристику русского народа, помещенную вами в вашей легенде о Костюшке *.

Этот ответ необходим и по другой причине; пора показать Европе, что, говоря о России, говорят не об отсутствующем, не о безответном, не о глухонемом.

Мы, оставившие Россию только для того, чтобы свободное русское слово раздалось, наконец, в Европе,— мы тут налицо и считаем долгом подать свой голос, когда человек, вооруженный огромным и заслуженным авторитетом, утверждает, что «Россия не существует, что русские не люди, что они лишены нравственного смысла».

Если вы разумеете Россию официальную, царство-фасад, византийско-немецкое правительство, то вам и книги в руки. Мы соглашаемся вперед со всем, что вы нам скажете. Не нам тут играть роль заступника. У русского правительства так много агентов в прессе, что в красноречивых апологиях его действий никогда не будет недостатка.

Но не об одном официальном обществе идет речь в вашем труде; вы затрогиваете вопрос более глубокий; вы говорите о самом народе.

Бедный русский народ! Некому возвысить голос в его защиту! Посудите сами, могу ли я, по совести, молчать.

---

* В фельетоне журнала «L'Evénement», от 28 августа до 15 сентября 1851. После этого легенда о Костюшке взошла в особо изданный том сочинений Мишле под заглавием «Демократических легенд».

Русский народ, милостивый государь, жив, здоров и даже не стар,— напротив того, очень молод. Умирают люди и в молодости, это бывает, но это не нормально.

Прошлое русского народа темно; его настоящее ужасно, но у него есть права на будущее. Он *не верит* в свое настоящее положение, он имеет дерзость тем более ожидать от времени, чем менее оно дало ему до сих пор.

Самый трудный для русского народа период приближается к концу. Его ожидает страшная борьба; к ней готовятся его враги.

Великий вопрос: to be or not to be [2] — скоро будет решен для России. Но грешно перед борьбою отчаиваться в успехе.

Русский вопрос принимает огромные, страшные размеры; он сильно озабочивает все партии; но мне кажется, что слишком много занимаются Россиею императорскою, Россиею официальной и слишком мало Россиею народной, Россиею безгласной.

Даже смотря на Россию только с правительственной точки зрения, не думаете ли вы, что не мешало бы познакомиться поближе с этим неудобным соседом, который дает чувствовать себя во всей Европе,— тут штыками, там шпионами? Русское правительство простирается до Средиземного моря своим покровительством Оттоманской Порте, до Рейна своим покровительством немецким своякам и дядям, до Атлантического океана своим покровительством *порядку* во Франции.

Не мешало бы, говорю я, оценить по достоинству этого всемирного покровителя, исследовать, не имеет ли это странное государство другого призвания, кроме отвратительной роли, принятой петербургским правительством,— роли преграды, беспрестанно вырастающей на пути человечества.

Европа приближается к страшному катаклизму. Средневековый мир рушится. Мир феодальный кончается. Политические и религиозные революции изнемогают под бременем своего бессилия; они совершили великие дела, но не исполнили своей задачи. Они разрушили веру в престол и в алтарь, но не осуществили свободу; они зажгли в сердцах желания, которых они не в силах исполнить. Парламентаризм, протестантизм — все это были лишь отсрочки, временное спасение, бессильные оплоты против смерти и возрождения. Их время минуло. С 1848 года стали понимать, что ни окостенелое римское право, ни хитрая казуистика, ни тощая деистическая философия, ни бесплодный религиозный рационализм не в силах отодвинуть совершение судеб общества.

Гроза приближается, этого отвергать невозможно. В этом соглашаются люди революции и люди реакции. У всех закружилась голова; тяжелый, жизненный вопрос лежит у всех на сердце и сдавливает дыхание. С возрастающим беспокойствием все задают себе вопрос, достанет ли силы на возрождение старой Европе, этому дряхлому Протею, этому разрушающемуся организму? Со страхом ждут ответа, и это ожидание ужасно.

Действительно, вопрос страшный!

Сможет ли старая Европа обновить свою остывающую кровь и броситься стремглав в это необозримое будущее, куда увлекает ее необоримая сила, к которому она несется без оглядки, к которому путь идет, может быть, через развалины отцовского дома, через обломки минувших цивилизаций, через попранные богатства новейшего образования?

С обеих сторон верно поняли всю важность настоящей минуты. Европа погружена в глухой, душный мрак накануне решительной битвы. Это не жизнь, а тяжкое, тревожное томление. Ни законности, ни правды, ни даже личины свободы; везде неограниченное господство светской инквизиции; вместо законного порядка — осадное положение. Один нравственный двигатель управляет всем — страх, и его достаточно. Все вопросы отступают на второй план перед всепоглощающим интересом реакции. Правительства, по-видимому самые враждебные, сливаются в единую, вселенскую полицию. Русский император, не скрывая своей ненависти к французам, награждает парижского префекта полиции; король неаполитанский жалует орден президенту республики. Берлинский король, надев русский мундир, спешит в Варшаву обнимать своего врага, императора австрийского, в благодатном присутствии Николая, в то время как он, отщепленец от единой спасающей церкви, предлагает свою помощь римскому владыке. Среди этих сатурналий, среди этого шабаша реакции, ничто не охраняет более личности от произвола. Даже те гарантии, которые существуют в неразвитых обществах, в Китае, в Персии, не уважаются более в столицах так называемого образованного мира.

Едва веришь глазам. Неужели это та самая Европа, которую мы когда-то знали и любили?

Право, если бы не было свободной и гордой Англии, «этого алмаза, оправленного в серебро морей» [3], как называет ее Шекспир, если б Швейцария, как Петр, убоявшись кесаря, отреклась от своего начала [4], если б Пиэмонт, эта уцелевшая ветка Италии, это последнее убежище свободы, загнанной за Альпы и не перешедшей Апеннины, если б

и они увлеклись примером соседей, если б и эти три страны заразились мертвящим духом, веющим из Парижа и Вены,— можно было бы подумать, что консерваторам уже удалось довести старый мир до конечного разложения, что во Франции и Германии уже наступили времена варварства.

Среди этого хаоса, среди этого предсмертного томления и мучительного возрождения, среди этого мира, распадающегося в прах вокруг колыбели, взоры невольно обращаются к востоку.

Там, как темная гора, вырезывающаяся из-за тумана, виднеется враждебное, грозное царство; порою кажется, оно идет, как лавина, на Европу, что оно, как нетерпеливый наследник, готово ускорить ее медленную смерть.

Это царство, совершенно неизвестное двести лет тому назад, явилось вдруг, без всяких прав, без всякого приглашения, грубо и громко заговорило в совете европейских держав и потребовало себе доли в добыче, собранной без его содействия.

Никто не посмел восстать против его притязаний на вмешательство во все дела Европы.

Карл XII попытался, но его до тех пор непобедимый меч сломился; Фридрих II захотел воспротивиться посягательствам петербургского двора; Кёнигсберг и Берлин сделались добычею северного врага. Наполеон проник с полумиллионом войска в самое сердце исполина и уехал один украдкою, в первых попавшихся пошевнях. Европа с удивлением смотрела на бегство Наполеона, на несущиеся за ним в погоню тучи казаков, на русские войска, идущие в Париж и подающие по дороге немцам милостыню — их национальной независимости. С тех пор Россия налегла, как вампир, на судьбу Европы и стережет ошибки царей и народов. Вчера она чуть не раздавила Австрию, помогая ей против Венгрии, завтра она провозгласит Бранденбург русскою губерниею, чтобы успокоить берлинского короля.

Вероятно ли, что накануне борьбы об этом бойце ничего не знают? А между тем он уже стоит, грозный, в полном вооружении, готовый переступить границу по первому зову реакции. И при всем том едва знают его оружие, цвет его знамени и довольствуются его официальными речами и неопределенными разногласными рассказами о нем.

Иные говорят только о всемогуществе царя, о правительственном произволе, о рабском духе подданных; другие утверждают, напротив, что петербургский империализм не народен, что народ, раздавленный двойным деспотизмом правительства и помещиков, несет ярмо, но не мирится

с ним, что он не уничтожен, а только несчастен, и в то же время говорят, что этот самый народ придает единство и силу колоссальному царству, которое давит его. Иные прибавляют, что русский народ — *презренный сброд* пьяниц и плутов; другие же уверяют, что Россия населена способною и богато одаренною породою людей.

Мне кажется, есть что-то трагическое в старческой рассеянности, с которою старый мир спутывает все сведения об своем противнике.

В этом сброде противуречащих мнений проглядывает столько бессмысленных повторений, такая печальная поверхностность, такая закоснелость в предрассудках, что мы поневоле обращаемся за сравнением к временам падения Рима.

Тогда, также накануне переворота, накануне победы варваров, провозглашали вечность Рима, бессильное безумие назареев и ничтожность движения, начинавшегося в варварском мире.

Вам принадлежит великая заслуга: вы первый во Франции заговорили о русском народе, вы невзначай коснулись самого сердца, самого источника жизни. Истина сейчас бы обнаружилась вашему взору, если б в минуту гнева вы не отдернули протянутой руки, если б вы не отвернулись от источника, потому что он показался мутным.

Я с глубоким прискорбием прочел ваши озлобленные слова. Печальный, с тоскою в сердце, я, признаюсь, напрасно искал в них историка, философа и прежде всего любящего человека, которого мы все знаем и любим. Спешу оговориться; я вполне понял причину вашего негодования: в вас заговорила симпатия к несчастной Польше. Мы также глубоко испытываем это чувство к нашим братьям-полякам, и у нас это чувство — не только жалость, а также стыд и угрызение совести. Любовь к Польше! Мы все ее любим, но разве с этим чувством необходимо сопрягать ненависть к другому народу, столь же несчастному,— народу, который принужден был своими связанными руками помогать злодействам свирепого правительства? Будем великодушны, не забудем, что на наших глазах народ, вооруженный всеми трофеями недавней революции, согласился на восстановление варшавского порядка в Риме [5]; а сегодня... взгляните сами, что происходит вокруг вас... а ведь мы не говорим еще, чтобы французы *перестали быть людьми.*

Пора забыть эту несчастную борьбу между братьями. Между нами нет победителя. Польша и Россия подавлены общим врагом. Жертвы, мученики — и те отворачиваются от прошлого, равно печального для них и для нас. Ссыла-

юсь, как вы, на вашего друга, на великого поэта Мицкевича.

Не говорите о мнениях польского певца, что «это милосердие, святое заблуждение». Нет, это плоды долгой и добросовестной думы, глубокого понимания судеб славянского мира. Прощение врагов — прекрасный подвиг; но есть подвиг еще более прекрасный, еще больше человеческий: это понимание врагов, потому что понимание — разом прощение, оправдание, примирение!

Славянский мир стремится к единству; это стремление обнаружилось тотчас после наполеоновского периода. Мысль о славянской федерации уже зарождалась в революционных планах Пестеля и Муравьева. Многие поляки участвовали в тогдашнем русском заговоре.

Когда вспыхнула в Варшаве революция 1830 года, русский народ не обнаружил ни малейшей вражды против ослушников воли царской. Молодежь всем сердцем сочувствовала полякам. Я помню, с каким нетерпением ждали мы известия из Варшавы; мы плакали, как дети, при вести о поминках, справленных в столице Польши по нашим петербургским мученикам [6]. Сочувствие к полякам подвергало нас жестоким наказаниям; поневоле надобно было скрывать его в сердце и молчать.

Очень может быть, что во время войны 1830 года в Польше преобладало чувство исключительной национальности и весьма понятной вражды. Но с тех пор деятельность Мицкевича, исторические и филологические труды многих славян, более глубокое знание европейских народов, купленное тяжелою ценою изгнания, дали мыслям совсем другое направление. Поляки почувствовали, что борьба идет не между русским народом и ими; они поняли, что им впредь можно сражаться не иначе, как ЗА ИХ И НАШУ СВОБОДУ, как было написано на их революционном знамени.

Конарский, измученный и застреленный Николаем в Вильне, призывал к восстанию русских и поляков, без различия племени. Россия отблагодарила его одною из тех едва известных трагедий, которыми оканчивается у нас всякое героическое проявление воли под давлением немецких ботфортов.

Армейский офицер Короваев решился спасти Конарского. День его дежурства приближался; все было приготовлено для бегства, когда предательство одного из товарищей польского мученика разрушило его планы. Молодого человека арестовали, отправили в Сибирь, и с тех пор об нем не было никогда слухов.

Я провел пять лет в ссылке в отдаленных губерниях империи; много встречал я там ссыльных поляков. Почти в каждом уездном городе живет либо целое семейство, либо один из несчастных воинов независимости. Я охотно согласился бы на их свидетельство; конечно, они не могут пожаловаться на недостаток симпатии со стороны местных жителей. Разумеется, тут речь идет не о полиции и не о высшей военной иерархии. Они нигде не отличаются любовью к свободе, тем паче в России. Я мог бы сослаться также на польских студентов, посылаемых ежегодно в русские университеты для удаления от родных влияний; пусть они расскажут, как принимали их русские товарищи. Они расставались с нами со слезами на глазах.

Вы помните, что в 1847 году в Париже, когда польские эмигранты праздновали годовщину своей революции, на трибуне явился русский, чтобы просить о дружбе и о забвении прошлого. Это был наш несчастный друг Бакунин... [7] Впрочем, чтоб не ссылаться на соотечественников, выбираю между теми, которых считают нашими врагами, человека, которого вы сами назвали в вашей легенде о Костюшке. Обратитесь за сведениями об этом предмете к одному из старейшин польской демократии, к Бернацкому, одному из министров революционной Польши; я смело ссылаюсь на него — долгое горе, конечно, могло бы ожесточить его против всего русского. Я убежден, что он подтвердит все сказанное мною.

Солидарность, связывающая Россию и Польшу между собою и со всем славянским миром, не может быть отвергнута; она очевидна. Еще более: вне России нет будущности для славянского мира; без России он не разовьется, он расплывается и будет поглощен германским элементом; он сделается австрийским и потеряет свою самостоятельность. Но не такова, по нашему мнению, его судьба, его назначение.

Следуя за постепенным развитием вашей мысли, я должен вам признаться, что мне невозможно согласиться с вашим взглядом, по которому вся Европа представляет одну личность, в которой каждая народность играет роль необходимого органа.

Мне кажется, что все германо-романские народности необходимы в европейском мире, потому что они существуют, но что трудно было бы доказать, что они существуют в нем вследствие какой-нибудь необходимости. Уже Аристотель отличал предсуществующую необходимость от необходимости, вносимой в последствии фактов [8]. Природа покоряется необходимости совершившихся событий, но

колебание между разнообразными возможностями очень велико. На том же основании славянский мир может предъявлять свои права на единство, тем более, что он состоит из единого племени.

Централизация противна славянскому духу; федерализация гораздо свойственнее его характеру. Только сгруппировавшись в союз свободных и самобытных народов, славянский мир вступит, наконец, в истинно историческое существование. На его прошлое можно смотреть только как на рост, на приготовление, на очищение. Исторические государственные формы, в которых жили славяне, не соответствовали внутренней национальной потребности их,— потребности неопределенной, инстинктивной, если хотите, но тем самым заявляющей необыкновенную жизненность и много обещающей в будущем. Славяне до сих пор во всех фазах своей истории обнаруживали странное полувнимание — даже удивительную симпатию [9]. Так Россия перешла из язычества в христианство без потрясений, без возмущений, единственно из покорности великому князю Владимиру, из подражания Киеву. Старых идолов без сожаления бросили в Волхов и покорились новому богу, как новому идолу.

Восемьсот лет спустя часть России точно так же покорилась выписной из-за границы цивилизации.

Славянский мир похож на женщину, никогда не любившую и по этому самому, по-видимому, не принимающую никакого участия во всем происходящем вокруг нее. Она везде ненужна, всем чужая. Но за будущее отвечать нельзя; она еще молода, и уже странное томление овладело ее сердцем и заставляет его биться скорее.

Что касается до богатства народного духа, то нам достаточно указать на поляков, единственный славянский народ, который бывал разом и силен и свободен.

Славянский мир, в сущности, не так разнороден, как кажется. Под внешним слоем рыцарской, либеральной и католической Польши, императорской, порабощенной, византийской России, под демократическим правлением сербского воеводы, под бюрократическим ярмом, которым Австрия подавляет Иллирию, Далмацию и Банат, под патриархальною властию Османлисов и под благословением черногорского владыки живет народ, физиологически и этнографически тождественный.

Большая часть этих славянских племен почти никогда не подвергалась порабощению вследствие завоевания. Зависимость, в которой так часто находились они, большею частию выражалась только в признании чужого владыче-

ства и во взносе дани. Таков, например, был характер монгольского владычества в России. Таким образом, славяне сквозь длинный ряд столетий сохранили свою национальность, свои нравы, свой язык.

По всему вышесказанному не имеем ли мы право считать Россию зерном кристаллизации, тем центром, к которому тяготеет стремящийся к единству славянский мир, и это тем более, что Россия покуда единственная часть великого племени, сложившаяся в сильное и независимое государство?

Ответ на этот вопрос был бы совершенно ясен, если бы петербургское правительство сколько-нибудь догадывалось бы о своем национальном призвании, если б этот тупой и мертвящий деспотизм мог ужиться с какою-нибудь человеческою мыслию. Но при настоящем положении дел какой добросовестный человек решится предложить западным славянам соединение с империею, находящеюся постоянно в осадном положении,— империею, где скипетр превратился в заколачивающую насмерть палку?

Императорский панславизм, восхваляемый от времени до времени людьми купленными или заблуждающимися, разумеется, не имеет ничего общего с союзом, основанным на началах свободы.

Здесь логика необходимо приводит нас к вопросу первостепенной важности.

Предположив, что славянский мир может надеяться в будущем на более полное развитие, нельзя не спросить, который из элементов, выразившихся в его зародышном состоянии, дает ему право на такую надежду? Если славяне считают, что их время пришло, то этот элемент должен соответствовать революционной идее в Европе.

Вы указали на этот элемент, вы коснулись его, но он ускользнул от вас, потому что благородное сострадание к Польше отвлекло ваше внимание.

Вы говорите, что «основание жизни русского народа есть *коммунизм*», вы утверждаете, что «его сила лежит в аграрном законе, в постоянном дележе земли».

Какое страшное *Мане-фекел* [10] вылетело из ваших уст!.. Коммунизм в основании! Сила, основанная на разделе земель! И вы не испугались ваших собственных слов?

Не следовало ли тут остановиться, подумать, углубиться в вопрос, оставить его не прежде, чем убедившись, мечта это или истина?

Разве в XIX столетии есть какой-нибудь серьезный интерес, лежащий вне вопроса о коммунизме, вне вопроса о разделе земель?

Увлеченный вашим негодованием, вы продолжаете: «У них (у русских) недостает существенного признака человечности — нравственного чутья, чувства добра и зла. Истина и правда не имеют для них смысла; заговорите о них — они молчат, улыбаются и не знают, что значат эти слова». Кто же те русские, с которыми вы говорили? Какие понятия о правде и истине оказались для них недоступными? Этот вопрос не лишний. В наше глубоко революционное время слова *правда* и *истина* утратили свое абсолютное, тождественное для всех значение.

Истина и *правда* старой Европы в глазах Европы рождающейся — *неправда* и *ложь*.

Народы — произведения природы; история — прогрессивное продолжение животного развития. Прилагая наш нравственный масштаб к природе, мы далеко не уйдем. Ей дела нет ни до нашей хулы, ни до нашего одобрения. Для нее не существуют приговоры и Монтионовские премии [11]. Она не подпадает под этические категории, созданные нашим личным произволом. Мне кажется, что народ нельзя назвать ни дурным, ни хорошим. В народе всегда выражается истина. Жизнь народа не может быть ложью. Природа производит лишь то, что осуществимо при данных условиях: она увлекает вперед все существующее своим творческим брожением, своею неутомимой жаждой осуществления, этою жаждой, общей всему живущему.

Есть народы, жившие жизнью доисторической; другие — живущие жизнью внеисторическою; но, раз вступивши в широкий поток единой и нераздельной истории, они принадлежат *человечеству*, и, с другой стороны, им принадлежит все прошлое человечества. В истории, т. е. в деятельной и прогрессивной части человечества, малопомалу сглаживается аристократия лицевого угла, цвета кожи и других различий. То, что не очеловечилось, не может вступить в историю; поэтому нет народа, взошедшего в историю, которого можно было бы считать стадом животных, как нет народа, заслуживающего именоваться сонмом избранных.

Нет человека довольно смелого или довольно неблагодарного, чтобы отвергать огромное значение Франции в судьбах европейского мира; но позвольте мне откровенно признаться, что я не могу согласиться с вашим мнением, по которому участие Франции — условие sine qua non [12] дальнейшего хода истории.

Природа никогда не кладет весь свой капитал на одну карту. Рим, вечный город, имевший не меньше прав на всемирную гегемонию, пошатнулся, разрушился, исчез,

и безжалостное человечество шагнуло вперед через его могилу.

С другой стороны, трудно было бы, не считая природу за осуществленное безумие, видеть лишь отверженное племя, лишь громадную ложь, лишь случайный сбор существ человеческих только по порокам — в народе, разраставшемся в течение десяти столетий, упорно хранившем свою национальность, сплотившемся в огромное государство, вмешивающемся в историю гораздо более, может быть, чем бы следовало.

И все это тем труднее принять, что занимающий нас народ, даже по словам его врагов, нисколько не находится в застое. Это вовсе не племя, дошедшее до общественных форм, приблизительно соответствующих его желаниям, и уснувшее в них, как китайцы, еще менее народ, переживший себя и угасающий в старческой немощи, как индусы. Напротив того, Россия — государство совершенно новое — неконченное здание, где все еще пахнет свежей известью, где все работает и вырабатывается, где ничто еще не достигло цели, где все изменяется,— часто к худшему, но все-таки изменяется. Одним словом, это народ, по вашему мнению, имеющий основным началом коммунизм, сильный разделом земель...

В чем, наконец, упрекаете вы русский народ? В чем состоит сущность вашего обвинения?

«Русский,— говорите вы,— лжет и крадет; постоянно крадет, постоянно лжет, и это совершенно невинно; это в его природе».

Я не останавливаюсь на чрезмерном обобщении вашего приговора, но обращаюсь к вам с простым вопросом: кого обманывает, кого обкрадывает русский человек? Кого, как не помещика, не чиновника, не управляющего, не полицейского, одним словом, заклятых врагов крестьянина, которых он считает за басурманов, за отступников, за полунемцев? Лишенный всякой возможности защиты, он хитрит с своими мучителями, он их обманывает и в этом совершенно прав. Хитрость, милостивый государь, по словам великого мыслителя *,— ирония грубой власти.

Русский крестьянин, при своем отвращении от личной поземельной собственности, так верно подмеченном вами, при своей беззаботной и ленивой природе, мало-помалу и незаметно запутался в сети немецкой бюрократии и помещичьей власти. Он подвергся этому унижающему злу с страдательною покорностию, но он не поверил ни правам

* Гегель, в посмертных сочинениях [13].

помещика, ни правде судов, ни законности исполнительной власти. Вот уже почти двести лет, как все его существование стало глухою, отрицательною оппозициею против существующего порядка вещей. Он покоряется притеснению, он терпит, но не причастен ничему, что происходит вне сельской общины.

Имя царя еще возбуждает в народе суеверное сочувствие; не перед царем Николаем благоговеет народ, но перед отвлеченной идеею, перед мифом; в народном воображении царь представляется грозным мстителем, осуществлением правды, земным провидением.

После царя одно духовенство могло бы иметь влияние на православную Россию. Оно одно представляет в правительственных сферах старую Русь; духовенство не бреет бороды и тем самым осталось на стороне народа. Народ с доверием слушает монахов. Но монахи и высшее духовенство, исключительно занятые жизнию загробной, нимало не заботятся об народе. Попы же утратили всякое влияние вследствие жадности, пьянства и близких сношений с полицией. И здесь народ уважает идею, но не личности.

Что до раскольников, то они ненавидят и лицо и идею, и попа и царя.

Кроме царя и духовенства, все элементы правительства и общества совершенно чужды, существенно враждебны народу. Крестьянин находится, в буквальном смысле слова, вне закона. Суд ему не заступник, и все его участие в существующем порядке дел ограничивается двойным налогом, тяготеющим на нем и который он взносит трудом и кровью. Отверженный всеми, он понял инстинктивно, что все управление устроено не в его пользу, а ему в ущерб, и что задача правительства и помещиков состоит в том, как бы вымучить из него побольше труда, побольше рекрут, побольше денег. Понявши это и одаренный сметливым и гибким умом, он обманывает их везде и во всем. Иначе и быть не может: если б он говорил правду, он тем самым признавал бы над собою их власть; если б он их не обкрадывал (заметьте, что со стороны крестьянина считают покражею утайку части произведений собственного труда), он тем самым признавал бы законность их требований, права помещиков и справедливость судей.

Надобно видеть русского крестьянина перед судом, чтобы вполне понять его положение; надобно видеть его убитое лицо, его пугливый, испытующий взор, чтобы понять, что это военнопленный перед военным советом, путник перед шайкою разбойников. С первого взгляда заметно, что жертва не имеет ни малейшего доверия к этим

враждебным, безжалостным, ненасытным грабителям, которые допрашивают, терзают и обирают его. Он знает, что если у него есть деньги, то он будет прав, если нет — виноват.

Русский народ говорит своим старым языком; судьи и подьячие пишут новым бюрократическим языком, уродливым и едва понятным,— они наполняют целые in-folio грамматическими не[со]образностями и скороговоркой отчитывают крестьянину эту чепуху. Понимай как знаешь и выпутывайся как умеешь. Крестьянин видит, к чему это клонится, и держит себя осторожно. Он не скажет лишнего слова, он скрывает свою тревогу и стоит молча, прикидываясь дураком.

Крестьянин, оправданный судом, плетется домой такой же печальный, как после приговора. В обоих случаях решение кажется ему делом произвола или случайности.

Таким образом, когда его призывают в свидетели, он упорно отзывается неведением, даже против самой неопровержимой очевидности. Приговор суда не марает человека в глазах русского народа. Ссыльные, каторжные слывут у него *несчастными.*

Жизнь русского народа до сих пор ограничивалась общиною; только в отношении к общине и ее членам признает он за собою права и обязанности. Вне общины все ему кажется основанным на насилии. Роковая сторона его характера состоит в том, что он покоряется этому насилию, а не в том, что он отрицает его по-своему и старается оградить себя хитростию. Ложь перед судьею, поставленным незаконною властию, гораздо откровеннее, чем лицемерное уважение к присяжным, подтасованным купленным префектом. Народ уважает только те установления, в которых отразились присущие ему понятия о законе и праве.

Есть факт, несомненный для всякого, кто близко познакомится с русским народом. Крестьяне редко обманывают друг друга; между ними господствует почти неограниченное доверие, они не знают контрактов и письменных условий.

Вопросы о размежевании полос по необходимости бывают очень сложны при беспрестанных разделах земель по числу тягол; между тем дело обходится без жалоб и процессов. Помещики и правительство жадно ищут случая для вмешательства; но этот случай не представляется. Мелкие несогласия повергаются на суд старикам или миру, и их решение беспрекословно принимается всеми. Точно так же в артелях. Артели составляются часто из нескольких сотен работников, соединяющихся на определенное время, на-

пример — на год. По прошествии года работники делят между собою заработки по трудам каждого и по общему соглашению. Полиция никогда не имеет удовольствия вмешиваться в их счеты. Почти всегда артель отвечает за каждого из артельщиков.

Еще теснее становится связь между крестьянами одной общины, когда они не православные, а раскольники. От времени до времени правительство устроивает дикий набег на какую-нибудь раскольничью деревню. Крестьян сажают в тюрьму, ссылают, все это без всякого плана, без последовательности, без всякого повода и нужды, единственно для того, чтобы удовлетворить требованиям духовенства и дать занятие полиции. При этих-то охотах по раскольникам обнаруживается вновь характер русских крестьян — солидарность, связывающая их между собою. Тогда-то надобно видеть, как они успевают обманывать полицию, спасать своих братьев, скрывать священные книги и сосуды, как они претерпевают, не проговариваясь, самые ужасные муки. Пусть укажут мне хоть один случай, в котором бы раскольничья община была выдана крестьянином, хотя бы и православным?

Это свойство русского характера делает полицейские следствия чрезвычайно затруднительными. Нельзя этому не порадоваться от души. У русского крестьянина нет нравственности, кроме вытекающей инстинктивно, естественно из его коммунизма; эта нравственность глубоко народная; немногое, что известно ему из евангелия, поддерживает ее; явная несправедливость помещиков привязывает его еще более к его правам и к общинному устройству *.

---

* Крестьянская община, принадлежавшая кн. Козловскому, откупилась на волю. Землю разделили между крестьянами сообразно суммам, внесенным каждым из них в складчину для выкупа. Это распоряжение, по-видимому, было самое естественное и справедливое. Однакож крестьяне нашли его столь неудобным и не согласным с их обычаями, что они решились распределить между собою всю сумму выкупа, как бы долг, лежащий на общине, и разделить земли по принятому обыкновению. Этот факт приводится г. Гакстгаузеном. Автор сам посещал упомянутую деревню.

Г-н Тенгоборский говорит в книге, недавно вышедшей в Париже и посвященной императору Николаю, что эта система раздела земель кажется ему неблагоприятною для земледелия (как будто ее цель — успехи земледелия!), но, впрочем, прибавляет: «Трудно устранить эти неудобства, потому что эта система делений связана с устройством наших общин, *до которого коснуться было бы опасно:* оно построено на ее основной мысли об единстве общины и о праве каждого члена на часть общинного владения, соразмерную его силам, поэтому оно поддерживает общинный дух, этот надежный оплот общественного порядка. Оно в то же время самая лучшая защита против распространения пролетариата и коммуни-

Община спасла русский народ от монгольского варварства и от императорской цивилизации, от выкрашенных поевропейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против вмешательств власти; она благополучно дожила *до развития социализма в Европе*.

Это обстоятельство бесконечно важно для России.

Русское самодержавие вступает в новый фазис. Выросшее из антинациональной революции [14], оно исполнило свое назначение; оно осуществило громадную империю, грозное войско, правительственную централизацию. Лишенное действительных корней, лишенное преданий, оно обречено на бездействие; правда, оно возложило было на себя новую задачу — внести в Россию западную цивилизацию, и оно до некоторой степени успевало в этом, пока еще играло роль просвещенного правительства.

Эта роль теперь оставлена им.

Правительство, распавшееся с народом во имя цивилизации, не замедлило отречься от образования во имя самодержавия.

Оно отреклось от цивилизации, как скоро сквозь ее стремления стал проглядывать трехцветный призрак либерализма; оно попыталось вернуться к национальности, к народу. Это было невозможно. Народ и правительство не имели ничего общего между собою; первый отвык от последнего, а правительству чудился в глубине масс новый призрак, еще более страшный призрак — *красного* петуха. Конечно, либерализм был менее опасен, чем новая пугачевщина, но страх и отвращение от либеральных идей стали так сильны, что правительство не могло более примириться с цивилизациею.

стических идей». (Понятно, что для народа, обладающего на деле владением сообща, коммунистические идеи не представляют никакой опасности.) «В высшей степени замечателен здравый смысл, с которым крестьяне устранивают, где это нужно, неудобства своей системы; легкость, с которою они соглашаются между собою в вознаграждении неровностей, лежащих в достоинствах почвы, и доверие, с которым каждый покоряется определениям старшин общины.— Можно было бы подумать, что беспрестанные дележи подают повод к беспрестанным спорам, а между тем вмешательство властей становится нужным лишь в очень редких случаях. Этот факт, *весьма странный сам по себе*, объясняется только тем, что эта система при всех своих неудобствах так срослась с нравами и понятиями народа, что эти неудобства переносятся безропотно».

«Насколько,— говорит тот же автор,— идея общины природна русскому народу и осуществляется во всех проявлениях его жизни, настолько противен его нравам корпорационный муниципальный дух, воплотившийся в западном мещанстве» (Тенгоборский. «О производительных силах России», т. I) [15].

С тех пор единственной целью царизма остался царизм. Он властвует, чтоб властвовать. Громадные силы употребляются на взаимное уничтожение, на сохранение искусственного покоя.

Но самодержавие для самодержавия напоследок становится невозможным; это слишком нелепо, слишком бесплодно.

Оно почувствовало это и стало искать занятия в Европе. Деятельность русской дипломатии неутомима; повсюду сыплются ноты, советы, угрозы, обещания, снуют агенты и шпионы. Император считает себя естественным покровителем немецких принцев; он вмешивается во все мелкие интриги мелких германских дворов; он решает все споры; то побранит одного, то наградит другого великой княжной. Но этого недостаточно для его деятельности. Он принимает на себя обязанность первого жандарма вселенной, он опора всех реакций, всех гонений. Он играет роль представителя монархического начала в Европе, позволяет себе аристократические замашки, словно он Бурбон или Плантагенет, словно его царедворцы — Глостеры или Монморанси.

К сожалению, нет ничего общего между феодальным монархизмом с его определенным началом, с его прошлым, с его социальной и религиозной идеею и наполеоновским деспотизмом петербургского царя, имеющим за себя лишь печальную историческую необходимость, преходящую пользу, не опирающимся ни на каком нравственном начале.

И Зимний дворец, как вершина горы под конец осени, покрывается все более и более снегом и льдом. Жизненные соки, искусственно поднятые до этих правительственных вершин, мало-помалу застывают; остается одна материальная сила и твердость скалы, еще выдерживающей напор революционных волн.

Николай, окруженный генералами, министрами, бюрократами, старается забыть свое одиночество, но становится час от часу мрачнее, печальнее, тревожнее. Он видит, что его не любят; он замечает мертвое молчание, царствующее вокруг него, по явственно доходящему гулу далекой бури, которая как будто к нему приближается. Царь хочет забыться. Он громко провозгласил, что его цель — увеличение императорской власти.

Это признание — не новость: вот уже двадцать лет, как он без устали, без отдыха трудится для этой единственной цели; для нее он не пожалел ни слез, ни крови своих подданных.

Все ему удалось; он раздавил польскую народность. В России он подавил либерализм.

Чего, в самом деле, еще хочется ему? отчего он так мрачен?

Император чувствует, что Польша еще не умерла. На место либерализма, который он гнал с ожесточением совершенно напрасным, потому что этот экзотический цветок не может укорениться на русской почве, встает другой вопрос, грозный, как громовая туча.

Народ начинает роптать под игом помещиков; беспрестанно вспыхивают местные восстания; вы сами приводите тому страшный пример [16].

Партия движения, прогресса требует освобождения крестьян; она готова принести в жертву свои права. Царь колеблется и мешает; он хочет освобождения и препятствует ему.

Он понял, что освобождение крестьян сопряжено с освобождением земли; что освобождение земли, в свою очередь,— начало социальной революции, провозглашение сельского коммунизма. Обойти вопрос об освобождении невозможно — отодвинуть его решение до следующего царствования, конечно, легче, но это малодушно, и, в сущности, это только несколько часов, потерянных на скверной почтовой станции без лошадей...

Из всего этого вы видите, какое счастие для России, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастие для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания.

Европа,— я это сказал в другом месте [17],— не разрешила антиномии между личностию и государством, но она поставила себе задачею это разрешение. Россия также не нашла этого решения. Перед этим вопросом начинается наше равенство.

Европа, на первом шагу к социальной революции, встречается с этим народом, который представляет ей осуществление, полудикое, неустроенное,— но все-таки осуществление постоянного дележа земель между земледельцами. И заметьте, что этот великий пример дает нам не образованная Россия, но сам народ, его жизненный процесс. Мы, русские, прошедшие через западную цивилизацию, мы не больше, как средство, как закваска, как посредники между русским народом и революционной Европою. Человек будущего в России — *мужик,* точно так же как во Франции работник.

Но если так, не имеет ли русский народ некоторое право

на снисхождение с вашей стороны, милостивый государь?

Бедный крестьянин! На него обрушиваются все возможные несправедливости. Император преследует его рекрутскими наборами, помещик крадет у него труд, чиновник — последний рубль. Крестьянин молчит, терпит, но не отчаивается, у него остается община. Вырвут ли из нее член, община сдвигается еще теснее; кажется, эта участь достойна сожаления; а между тем она никого не трогает. Вместо того, чтобы заступаться за крестьянина, его обвиняют.

Вы не оставляете ему даже последнего убежища, где он еще чувствует себя человеком, где он любит и не боится; вы говорите: «Его община — не община, его семейство — не семейство, его жена — не жена: прежде чем ему, она принадлежит помещику; его дети — не его дети; кто знает, кто их отец?»

Так вы подвергаете этот несчастный народ не научному разбору, но презрению других народов, которые с доверием внимают вашим легендам.

Я считаю долгом сказать несколько слов по этому поводу.

Семейный быт у всех славян чрезвычайно сильно развит: это, может быть, единственный консервативный элемент их характера, предел их отрицанья.

Сельская семья неохотно дробится; нередко три, четыре поколения проживают под одним кровом, вокруг патриархально властвующего деда. Женщина, обыкновенно угнетенная, как это бывает везде в земледельческом сословии, пользуется уважением и почетом, когда она вдова старшего в роде.

Нередко вся семья управляется седою бабушкой... Можно ли же сказать, что семья в России не существует?

Перейдем к отношениям помещика к крепостному семейству.

Но для большей ясности отличим норму от злоупотреблений, права от преступлений.

Jus primae noctis [18] никогда не существовало в России.

Помещик не может законно требовать нарушения супружеской верности. Если б закон исполнялся в России, изнасилование крепостной женщины наказывалось бы точно так же, как если б она была вольная, т. е. каторжною работою или ссылкою в Сибирь с лишением всех прав. Таков закон, обратимся к фактам.

Я не думаю отвергать, что при власти, данной правительством помещикам, им очень легко насиловать дочерей

и жен своих крепостных. Притеснениями и наказаниями помещик всегда добьется того, что найдутся отцы и мужья, которые будут предоставлять ему дочерей и жен, точно так же, как тот достойный французский дворянин в «Записках Пёшо», который в XVIII столетии просил, как об особенной милости, о помещении своей дочери в Parc aux cerfs [19].

Не удивительно также, что честные отцы и мужья не находят суда на помещика благодаря прекрасному судебному устройству в России; они большею частию находятся в положении того господина Тьерселен, у которого Берье украл, по поручению Людовика XV, одиннадцатилетнюю дочь. Все эти грязные гадости возможны, стоит только вспомнить грубые и развращенные нравы части русского дворянства, чтобы в этом убедиться. Но что касается до крестьян, то они далеко не равнодушно переносят разврат своих господ.

Позвольте мне привести этому доказательство.

Половина из помещиков, убиваемых своими крепостными (по статистическим данным, их число простирается от шестидесяти до семидесяти в год), погибает вследствие своих эротических подвигов. Процессы по таким поводам редки; крестьянин знает, что суды не уважат его жалоб; но у него есть топор; он им владеет мастерски и знает это тоже.

Ограничиваюсь этими намеками о крестьянах и прошу вас выслушать еще несколько слов о России образованной.

Вы смотрите так же не снисходительно на умственное движение России, как и на народный характер; одним почерком пера вы вычеркиваете все труды, совершенные до сих пор нашими скованными руками.

Одно из лиц Шекспира, не зная, чем унизить презренного противника, говорит ему: «Я сомневаюсь даже в твоем существовании!» Вы пошли далее: для вас несомненно, что русская литература не существует.

Привожу ваши собственные слова:

«Мы не станем придавать важности опытам тех немногих умных людей, которые вздумали упражняться в русском языке и обманывать Европу бледным призраком будто бы русской литературы. Если б не мое глубокое уважение к Мицкевичу и к его заблуждениям святого, я бы, право, обвинил его за снисхождение (можно даже сказать за милость), с которою он говорит об этой шутке».

Я напрасно доискиваюсь, милостивый государь, причин этого презрения, с которым вы встречаете первый болезненный крик народа, проснувшегося в тюрьме, этот стон, сдавленный рукою тюремщика.

Отчего не захотели вы прислушаться к потрясающим звукам нашей грустной поэзии, к нашим напевам, в которых слышатся рыдания? Что скрыло от вашего взора наш судорожный смех, эту беспрестанную иронию, под которой скрывается глубоко измученное сердце, которая, в сущности,— лишь роковое признание нашего бессилия?

О как я хотел бы достойным образом перевести вам несколько стихотворений Пушкина и Лермонтова, несколько песен Кольцова! Вы бы тогда нам тотчас протянули дружескую руку, вы бы первый попросили нас забыть сказанное вами!

После крестьянского коммунизма ничего так глубоко не характеризует Россию, ничто не предвещает ей столь великой будущности, как ее литературное движение.

Между крестьянином и литературою подымается чудовище официальной России — «Россия-ложь, Россия-холера», как вы ее назвали.

Эта Россия начинается с императора и идет от жандарма до жандарма, от чиновника до чиновника, до последнего полицейского в самом отдаленном закоулке империи. Каждая ступень этой лестницы приобретает, как в дантовских bolgi [20], новую силу зла, новую степень разврата и жестокости. Это живая пирамида из преступлений, злоупотреблений, подкупов, полицейских, негодяев, немецких бездушных администраторов, вечно голодных; невеж-судей, вечно пьяных; аристократов, вечно подлых: все это связано сообществом грабительства и добычи и опирается на шестьсот тысяч органических машин с штыками.

Крестьянин никогда не марается об этот мир правительственного цинизма; он терпит его существование — в этом его единственная вина.

Стан, враждебный России официальной, состоит из горсти людей, на все готовых, протестующих против нее, борющихся с нею, обличающих, подкапывающих ее. Этих одиноких бойцов от времени до времени запирают в казематы, терзают, ссылают в Сибирь, но их место не долго остается пустым; новые борцы выступают вперед; это наше предание, наш майорат.

Страшные последствия человеческой речи в России по необходимости придают ей особенную силу. С любовью и благоговением прислушиваются к вольному слову, потому что у нас его произносят только те, у которых есть что сказать. Не вдруг решаешься передавать свои мысли печати, когда в конце каждой страницы мерещится жандарм, тройка, кибитка и в перспективе Тобольск или Иркутск.

В последней моей брошюре * я достаточно говорил об русской литературе; ограничусь здесь некоторыми общими замечаниями.

Грусть, скептицизм, ирония — вот три главные струны русской лиры.

Когда Пушкин начинает одно из своих лучших творений этими страшными словами:

> Все говорят — нет правды на земле...
> Но правды нет — и выше!
> Мне это ясно, как простая гамма [21]...—

не сжимается ли у вас сердце, не угадываете ли вы, сквозь это видимое спокойствие, разбитое существование человека, уже привыкшего к страданию?

Лермонтов, в своем глубоком отвращении к окружавшему его обществу, обращается на тридцатом году к своим современникам со своим страшным

> Печально я гляжу на наше поколенье:
> Его грядущее иль пусто, иль темно [22].

Я знаю только одного современного поэта, с такою же мощью затрогивающего мрачные струны души человеческой. Это также поэт, родившийся в рабстве и умерший прежде возрождения отечества. Это певец смерти, Леопарди, которому мир казался громадным союзом преступников, безжалостно преследующих горсть праведных безумцев.

Россия имеет только одного живописца, приобретшего общую известность,— Брюллова. Что же изображает его лучшее произведение, доставившее ему славу в Италии? [23]

Взгляните на это странное произведение.

На огромном полотне теснятся в беспорядке испуганные группы; они напрасно ищут спасения. Они погибнут от землетрясения, вулканического извержения, среди целой бури катаклизмов. Их уничтожает дикая, бессмысленная, беспощадная сила, против которой всякое сопротивление невозможно. Это вдохновения, навеянные петербургскою атмосферою.

Русский роман обращается исключительно в области патологической анатомии; в нем постоянное указание на грызущее нас зло, постоянное, безжалостное, самобытное. Здесь не услышите голоса с неба, возвещающего Фаусту прощение юной грешнице,— здесь возвышают голос только сомнение и проклятие. А между тем, если для России есть

---

* «Du développement des idées révolutionnaires en Russie».

спасение, она будет спасена именно этим глубоким сознанием нашего положения, правдивостию, с которою она обнаруживает это положение перед всеми.

Тот, кто смело признается в своих недостатках, чувствует, что в нем есть нечто сохранившееся среди отступлений и падений; он знает, что может искупить свое прошлое и не только поднять голову, но сделаться из «Сарданапала-гуляки — Сарданапалом-героем» [24].

Русский народ не читает. Вы знаете, что также Вольтера и Данте читали не поселяне, а дворяне и часть среднего сословия. В России образованная часть среднего сословия примыкает к дворянству, которое состоит из всего того, что перестало быть народом. Существует даже дворянский пролетариат, сливающийся с народом, и пролетариат вольноотпущенный, подымающийся к дворянству. Эта флуктуация, это беспрестанное обновление придает русскому дворянству характер, которого вы не найдете в привилегированных классах отсталой [25] Европы. Одним словом, вся история России со времен Петра I есть только история дворянства и влияний просвещения на него. Прибавлю, что русское дворянство числом равняется избирателям во Франции по закону 31 мая.

В продолжение XVIII века новорусская литература вырабатывала тот звучный, богатый язык, которым мы обладаем теперь,— язык гибкий и могучий, способный выражать и самые отвлеченные идеи германской метафизики, и легкую, сверкающую игру французского остроумия. Эта литература, возникшая по гениальному мановению Петра I, имела, это правда, характер правительственный, но тогда знамя правительства был прогресс, почти революция.

До 1789 года императорский трон самодовольно драпировался в величественные складки просвещения и философии. Екатерина II заслуживала, чтобы ее обманывали картонными деревнями и дворцами из раскрашенных досок... Никто, как она, не умел ослеплять зрителей величественной обстановкой. В Эрмитаже только и слышно было, что о Вольтере, о Монтескье, о Беккарии. Вам известен, милостивый государь, оборот медали.

Однакож среди триумфального хора придворных песнопений уже звучала одна странная, неожидаемая нота. Это был звук той скептической, грозно насмешливой струны, перед которым должны были скоро умолкнуть все прочие, искусственные напевы.

Настоящий характер русской мысли, поэтической и спекулативной, развивается в полной силе по восшествии

на престол Николая. Отличительная черта этого направления — трагическое освобождение совести, безжалостное отрицание, горькая ирония, мучительное углубление в самого себя. Иногда все это разражается безумным смехом, но в этом смехе нет ничего веселого.

Брошенный в гнетущую среду, вооруженный ясным взглядом и неподкупной логикой, русский быстро освобождается от веры и от нравов своих отцов.

Мыслящий русский — самый независимый человек в свете. Что может его остановить? Уважение к прошлому?.. Но что служит исходной точкой новой истории России, если не отрицание народности и предания?

Или, может быть, предание петербургского периода? Это предание не обязывает нас ни к чему; этот «пятый акт кровавой драмы, происходящий в публичном доме» *, напротив, развязывает нас окончательно.

С другой стороны, прошлое западных народов служит нам научением, и только; мы нисколько не считаем себя душеприказчиками их исторических завещаний.

Мы разделяем ваши сомнения,— но ваша вера не согревает нас. Мы разделяем вашу ненависть, но не понимаем вашей привязанности к завещанному предками; мы слишком угнетены, слишком несчастны, чтобы довольствоваться полусвободой. Вас связывают скрупулы [26], вас удерживают задние мысли. У нас нет ни задних мыслей, ни скрупулов; у нас только недостает силы...

Вот откуда в нас эта ирония, эта тоска, которая нас точит, доводит нас до бешенства, толкает нас вперед, пока добьемся мы Сибири, истязания, ссылки, преждевременной смерти. Мы жертвуем собою без всякой надежды; от желчи; от скуки... В нашей жизни в самом деле есть что-то безумное — но нет ничего пошлого, ничего косного, ничего мещанского.

Не обвиняйте нас в безнравственности, потому что мы не уважаем того, что вы уважаете. Можно ли упрекать найденыша за то, что он не уважает своих родителей? Мы независимы, потому что начинаем жизнь сызнова. У нас нет ничего законного, кроме нашего организма, нашей народности; это наша сущность, наша плоть и кровь, но отнюдь не связывающий авторитет. Мы независимы, потому что ничего не имеем. Нам почти нечего любить. Все наши воспоминания исполнены горечи и злобы. Образование, науку подали нам на конце кнута.

---

* По прекрасному выражению одного из сотрудников журнала «L'Progresso» в номере от 1 августа 1851 года, в статье о России.

Какое же нам дело до ваших заветных обязанностей, нам, младшим братьям, лишенным наследства? И можем ли мы по совести довольствоваться вашею изношенной нравственностию, не христианскою и не человеческою, существующею только в риторических упражнениях и в прокурорских докладах! Какое уважение может внушать нам ваша римско-варварская законность, это глухое, неуклюжее здание без света и воздуха, подновленное в средние века, подбеленное вольноотпущенным мещанством? Согласен, что дневной разбой в русских судах еще хуже, но из этого не следует, что у вас есть справедливость в законах и судах.

Различие между вашими законами и нашими указами заключается только в заглавной формуле. Указы начинаются подавляющей истиною: «Царь соизволил повелеть»; ваши законы начинаются возмутительною ложью — ироническим злоупотреблением имени французского народа и словами «свобода, братство и равенство». Николаевский свод рассчитан против подданных и в пользу самодержавия. Наполеоновский свод имеет решительно тот же характер. На нас лежит слишком много цепей, чтобы мы добровольно надели на себя еще новых. В этом отношении мы стоим совершенно наряду с нашими крестьянами. Мы покоряемся грубой силе. Мы рабы, потому что не имеем возможности освободиться; но мы не принимаем ничего от наших врагов.

Россия никогда не будет протестантскою.

Россия никогда не будет juste-milieu [27]

Россия никогда не сделает революции с целью отделаться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими.

Мы, может быть, требуем слишком много и ничего не достигнем. Может быть, так, но мы все-таки не отчаиваемся; прежде 1848 года России не должно, невозможно было вступать в революционное поприще, ей следовало доучиться, и теперь она доучилась. Сам царь это замечает и свирепствует против университетов, против идей, против науки; он старается отрезать Россию от Европы, убить просвещение. Он делает свое дело.

Успеет ли он в нем?

Я уже сказал это прежде. Не следует слепо верить в будущее; каждый зародыш имеет право на развитие, но не каждый развивается. Будущее России зависит не от нее одной. Оно связано с будущим Европы. Кто может предсказать судьбу славянского мира в случае, если реакция и абсолютизм окончательно победят революцию в Европе?

Быть может, он погибнет?
Но в таком случае погибнет и Европа...
И история перенесется в Америку...

Написавши предыдущее, я получил последние два фёльетона вашей легенды. Прочитавши их, первым моим движением было бросить в огонь написанное мною. Ваше теплое благородное сердце не дождалось, чтобы кто-нибудь другой поднял голос в пользу непризнанного русского народа. Ваша любящая душа взяла верх над принятою вами ролей *неумолимого* судьи, мстителя за измученный польский народ. Вы впали в противоречие, но такие противоречия благородны.

Перечитывая мое письмо, я однако подумал, что вы можете найти в нем новые взгляды на Россию и на славянский мир; и я решился послать его вам. Я вполне надеюсь, что вы простите те места, где я увлекся своею скифскою горячностию. Кровь варваров недаром течет в моих жилах. Мне так хотелось изменить ваше мнение о русском народе; мне было так грустно, так тяжело видеть, что вы против нас, что не мог скрыть своей горести, своего волнения — и дал волю перу. Но теперь я вижу, что вы в нас не отчаиваетесь, что под грубым армяком русского крестьянина вы узнали человека, я это вижу и, в свою очередь, признаюсь вам, что вполне понимаю то впечатление, которое должно производить одно имя России на всякого свободного человека. Мы часто сами проклинаем наше несчастное отечество. Вы это знаете, вы сами говорите, что все, что вы сказали о нравственном ничтожестве России,— слабо в сравнении с тем, что говорят сами русские.

Но и для нас проходит время надгробных речей по России, и мы говорим с вами: «В этой мысли таится искра жизни». Вы угадали ее, эту искру, силою вашей любви; но мы, мы ее видим, мы ее чувствуем. Эту искру не потушат ни потоки крови, ни сибирские льды, ни духота рудников и тюрем. Пусть разгорается она под золою! Холодное, мертвящее дуновение, которым веет от Европы, может ее погасить.

Для нас час действия еще не настал; Франция еще по справедливости гордится своим передовым положением. Ей до 1852 года принадлежит трудное право. Европа, без сомнения, прежде нас достигнет гроба или новой жизни. День действия, может быть, еще далеко для нас; день сознания, мысли, слова уже пришел. Довольно жили мы во сне и молчании; пора нам рассказывать, что нам снилось, до чего мы додумались.

И в самом деле, кто виноват в том, что надобно было дожить до 1847 года, чтобы «немец (Гакстгаузен) *открыл*, как вы выражаетесь, народную Россию, столь же неизвестную до него, как Америка до Колумба» [28]?

Виноваты, конечно, мы — мы, бедные, немые, с нашим малодушием, с нашею боязливою речью, с нашим запуганным воображением. Мы даже за границею боимся признаваться в ненависти, с которою мы смотрим на наши оковы. Каторжники от рождения, обреченные влачить до смерти ядро, прикованное к нашим ногам, мы обижаемся, когда об нас говорят как о добровольных рабах, как о мерзлых неграх, а между тем мы не протестуем открыто.

Следует ли смиренно покориться этим нареканиям, или решиться остановить их, возвысив голос для свободной русской речи? Лучше погибнуть подозреваемыми в человеческом достоинстве, чем жить с позорным знаком рабства на лбу, чем слушать, как нас обвиняют в добровольном порабощении.

К несчастию, в России свободная речь удивляет, пугает. Я попытался приподнять только край тяжелой завесы, скрывающей нас от Европы; я указал только на теоретические стремления, на отдаленные надежды, на органические элементы будущего развития; а между тем моя книга, о которой вы выразились так лестно, произвела в России неблагоприятное впечатление. Дружеские голоса, уважаемые мною, порицают ее [29]. В ней видят обвинение на Россию! Обвинение!.. в чем же? В наших страданиях, в наших бедствиях, в нашем желании вырваться из этого ненавистного состояния... Бедные, дорогие друзья, простите мне это преступление; я снова впадаю в него.

Тяжко, ужасно ярмо долгого рабства, без борьбы, без близкой надежды! Оно напоследок подавляет самое благородное, самое сильное сердце. Где герой, которого наконец не сломила бы усталь, который не предпочел бы на старости лет покой вечной тревоге бесплодных усилий?

Нет, я не умолкну! Мое слово отомстит за эти несчастные существования, разбитые русским самовластьем, доводящим людей до нравственного уничтожения, до духовной смерти.

Мы обязаны говорить; без этого никто не узнает, сколько прекрасного и высокого эти страдальцы навсегда замыкают в груди своей, и оно гибнет с ними в снегах Сибири, где даже на их могиле не начертится их *преступное* имя, которое их друзья будут хранить в сердце своем, не смея произносить его.

Едва мы открыли рот, едва пролепетали два-три слова

о наших желаниях, о наших надеждах, и уже хотят его зажать, хотят заглушить в колыбели наше свободное слово! Это невозможно.

Для мысли настает время зрелости, в которое ее не могут более сковать ни цензурные меры, ни осторожность. Тут пропаганда делается страстью; можно ли довольствоваться шептанием на ухо, когда сон так глубок, что его едва ли рассеешь набатом?

От восстания стрельцов до заговора 14 декабря в России не было серьезного политического движения. Причина тому понятна: в народе не было ясно определившихся стремлений к независимости. Во многом он соглашался с правительством, во многом правительство опережало народ. Одни крестьяне, не причастные к выгодам императорским, более чем когда-нибудь угнетенные, попытались восстать. Россия, от Урала до Пензы и Казани, на три месяца подпала власти Пугачева. Императорское войско было отражено, разбито казаками, и генерал Бибиков, посланный из Петербурга, чтобы принять команду войска, писал, если я не ошибаюсь, из Нижнего: «Дела идут очень плохо; более всего надобно бояться не вооруженных полчищ бунтовщиков, а духа народного, который опасен, очень опасен».

После неслыханных усилий восстание наконец было подавлено. Народ впал в оцепенение, умолк и покорился...

Между тем дворянство развивалось, образование начинало оплодотворять умы, и, как живое доказательство этой политической зрелости нравственного развития, необходимо выражающейся в деятельности, явились эти дивные личности, эти герои, как вы справедливо называете их, которые «одни, в самой пасти дракона отважились на смелый удар 14 декабря».

Их поражение, террор нынешнего царствования подавили всякую мысль об успехе, всякую преждевременную попытку. Возникли другие вопросы; никто не хотел более рисковать жизнию в надежде на конституцию; было слишком ясно, что хартия, завоеванная в Петербурге, разбилась бы о вероломство царя: участь польской конституции была перед глазами.

В продолжение десяти лет умственная деятельность не могла обнаружиться ни одним словом, и томительная тоска дошла до того, что «отдавали жизнь за счастие быть свободным одно мгновенье» и высказать вслух хоть часть своей мысли.

Иные отказались от своих богатств с тою ветреною беззаботностию, которая встречается лишь у нас да у поля-

ков, и отправились на чужбину искать себе рассеяния; другие, не способные переносить духоту петербургского воздуха, закопали себя в деревнях. Молодежь вдалась кто в панславизм, кто в немецкую философию, кто в историю или в политическую экономию; одним словом, никто из тех русских, которые были призваны к умственной деятельности, не мог, не захотел покориться застою.

История Петрашевского, приговоренного к вечной каторге, и его друзей, сосланных в 1849 году за то, что они в двух шагах от Зимнего дворца образовали несколько политических обществ, не доказывает ли достаточно, по безумной неосторожности, по очевидной невозможности успеха, что время размышлений прошло, что волнения в душе не сдержишь, что верная гибель стала казаться легче, чем немая страдательная покорность петербургскому порядку?

Очень распространенная в России сказка гласит, что царь, подозревая жену в неверности, запер ее с сыном в бочку, потом велел засмолить бочку и бросить в море.

Много лет плавала бочка по морю.

Между тем царевич рос не по дням, а по часам и уже стал упираться ногами и головой в донья бочки. С каждым днем становилось ему теснее да теснее. Однажды сказал он матери:

— Государыня-матушка, позволь протянуться вволюшку.

— Светик мой царевич,— отвечала мать,— не протягивайся. Бочка лопнет, и ты утонешь в соленой воде.

Царевич смолк и, подумавши, сказал:

— Протянусь, матушка; лучше раз протянуться вволюшку да умереть.

В этой сказке, милостивый государь, вся наша история.

Горе России, если в ней переведутся смелые люди, рискующие всем, чтобы хоть раз протянуться вволюшку.

Но этого бояться нечего...

Невольно приходит мне при этих словах на мысль М. Бакунин. Бакунин дал Европе образчик вольного русского человека.

Я был глубоко тронут прекрасными словами, с которыми вы обращаетесь к нему. К несчастию, эти слова до него не дойдут.

Международное преступление совершилось: Саксония выдала свою жертву Австрии, Австрия — Николаю. Он в Шлиссельбурге [29], в этой крепости зловещей памяти, где некогда держался взаперти, как дикий зверь, Иван Антонович, внук царя Алексея, убитый Екатериною II, этою

женщиною, которая, еще покрытая кровью мужа, приказала сперва заколоть узника, а потом казнить несчастного офицера, исполнившего это приказание.

В сыром каземате, у ледяных вод Ладожского озера, нет места ни для мечтаний, ни для надежды!

Пусть же он спокойно заснет последним сном, мученик, преданный двумя правительствами, у которых на пальцах осталась его кровь...

Слава имени его и мщение!.. Но где же мститель?.. И мы так же погибнем на полпути, как он; но тогда вашим строгим и величавым голосом скажите еще раз нашим детям, что за ними остается долг...

Останавливаюсь на воспоминании об Бакунине и жму вам крепко руку, и за него и за себя.

Ницца, 22 сентября 1851.

ГЛАВА XXV

Диссонанс.— Новый круг.— Отчаянный гегелизм.— В. Белинский, М. Бакунин и пр.— Ссора с Белинским и мир.— Новгородские споры с дамой.— Круг Станкевича.

В начале 1840 года расстались мы с Владимиром, с бедной, узенькой Клязьмой. Я покидал наш венчальный городок с щемящим сердцем и страхом; я предвидел, что той простой, глубокой внутренней жизни не будет больше и что придется подвязать много парусов.

Не повторятся больше наши долгие одинокие прогулки за городом, где, потерянные между лугов, мы так ясно чувствовали и весну природы, и нашу весну...

Не повторятся зимние вечера, в которые, сидя близко друг к другу, мы закрывали книгу и слушали скрып пошевней и звон бубенчиков, напоминавший нам то 3 марта 1838, то нашу поездку 9 мая... [1]

Не повторятся!

...На сколько ладов и как давно люди знают и твердят, что «жизни май цветет один раз и не больше» [2], а все же июнь совершеннолетия, с своей страдной работой, с своим щебнем на дороге, берет человека врасплох. Юность невнимательно несется в какой-то алгебре идей, чувств и стремлений, частное мало занимает, мало бьет — а тут любовь, найдено *неизвестное*, все свелось на одно лицо, прошло через него, им становится всеобщее дорого, им изящное красиво; посторонее и тут не бьет: они *даны* друг другу — кругом хоть трава не расти!

А она растет себе с крапивой и репейником и рано или поздно начинает жечь и цепляться.

Мы знали, что Владимира с собой не увезем, а все же думали, что май еще не прошел. Мне казалось даже, что, возвращаясь в Москву, я снова возвращаюсь в университетский период. Вся обстановка поддерживала меня в этом. Тот же дом, та же мебель — вот комната, где, запершись с Огаревым, мы конспирировали в двух шагах от Сенатора и моего отца, да вот и он сам, мой отец, состаревшийся и сгорбившийся, но так же готовый меня журить за то, что

поздно воротился домой. «Кто-то завтра читает лекции. Когда репетиция? Из университета зайду к Огареву»... Это *1833 год!*

Огарев в самом деле был налицо.

Ему был разрешен въезд в Москву за несколько месяцев прежде меня. Дом его снова сделался средоточием, в котором встречались старые и новые друзья. И несмотря на то, что прежнего единства не было, все симпатично окружало его.

Огарев, как мы уже имели случай заметить, был одарен особой магнитностью, женственной способностью притяжения. Без всякой видимой причины к таким людям льнут, пристают другие; они согревают, связуют, успокаивают их, они — *открытый стол*, за который садится каждый, возобновляет силы, отдыхает, становится бодрее, покойнее и идет прочь — другом.

Знакомые поглощали у него много времени, он страдал от этого иногда, но дверей своих не запирал, а встречал каждого кроткой улыбкой. Многие находили в этом большую слабость. Да, время уходило, терялось, но приобреталась любовь не только близких людей, но посторонних, слабых; ведь и это стоит чтения и других занятий!

Я никогда толком не мог понять, как это обвиняют людей вроде Огарева в праздности. Точка зрения фабрик и рабочих домов вряд ли идет сюда. Помню я, что еще во времена студентские мы раз сидели с Вадимом за рейнвейном, он становился мрачнее и мрачнее и вдруг, со слезами на глазах, повторил слова Дон-Карлоса, повторившего, в свою очередь, слова Юлия Цезаря: «Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия!» [3] Его это так огорчило, что он изо всей силы ударил ладонью по зеленой рюмке и глубоко разрезал себе руку. Все это так, но ни Цезарь, ни Дон-Карлос с Позой, ни мы с Вадимом не объяснили, для чего же нужно что-нибудь делать для *бессмертия*. Есть дело, надобно его и сделать, а как же это делать для дела или *в знак памяти* роду человеческому?

Все это что-то смутно; да и что такое дело?

Дело, Business [4]... Чиновники знают только гражданские и уголовные дела, купец считает делом одну торговлю, военные называют делом шагать по-журавлиному и вооружаться с ног до головы в мирное время. По-моему, служить связью, центром целого круга людей — огромное дело, особенно в обществе разобщенном и скованном. Меня никто не упрекал в праздности, кое-что из сделанного мною нравилось многим; а знают ли, сколько во всем, сделанном мною, отразились наши беседы, наши споры, ночи, которые

мы праздно бродили по улицам и полям или еще более *праздно* проводили за бокалом вина?

...Но вскоре потянул и в этой среде воздух, напомнивший, что весна прошла. Когда улеглась радость свиданий и миновались пиры, когда главное было пересказано и приходилось продолжать путь, мы увидели, что той беззаботной, светлой жизни, которую мы искали по воспоминаниям, нет больше в нашем круге, и особенно в доме Огарева. Шумели друзья, кипели споры, лилось иногда вино — но не весело, не так весело, как прежде. У всех была задняя мысль, недомолвка; чувствовалась какая-то натяжка; печально смотрел Огарев, и К[етчер] зловеще поднимал брови. Посторонняя нота звучала в нашем аккорде вопиющим диссонансом; всей теплоты, всей дружбы Огарева недоставало, чтоб заглушить ее.

То, чего я опасался за год перед тем, то случилось, и хуже, чем я думал.

Отец Огарева умер в 1838; незадолго до его смерти он женился [5]. Весть о его женитьбе испугала меня — все это случилось как-то скоро и неожиданно. Слухи об его жене, доходившие до меня, не совсем были в ее пользу; он писал с восторгом и был счастлив,— ему я больше верил, но все же боялся.

В начале 1839 года они приехали на несколько дней во Владимир. Мы тут увиделись в первый раз после того, как аудитор Оранский нам читал приговор. Тут было не до разбора, помню только, что в первые минуты ее голос провел нехорошо по моему сердцу; но и это минутное впечатление исчезло в ярком свете радости. Да, это были те дни полноты и личного счастья, в которые человек, не подозревая, касается высшего предела, последнего края личного счастья. Ни тени черного воспоминания, ни малейшего темного предчувствия — молодость, дружба, любовь, избыток сил, энергии, здоровья и бесконечная дорога впереди. Самое мистическое настроение, которое еще не проходило тогда, придавало праздничную торжественность нашему свиданью, как колокольный звон, певчие и зажженные паникадила.

У меня в комнате, на одном столе, стояло небольшое чугунное распятие.

— На колени! — сказал Огарев — и поблагодарим за то, что мы все четверо вместе!

Мы стали на колени возле него и, обтирая слезы, обнялись.

Но одному из четырех вряд нужно ли было их обтирать. Жена Огарева с некоторым удивлением смотрела на про-

исходившее; я думал тогда, что это — retenue [6], но она сама сказала мне впоследствии, что сцена эта показалась ей натянутой, детской. Оно, пожалуй, и могло так показаться со стороны; но зачем же она смотрела со стороны, зачем она была так трезва в этом упоении, так совершеннолетня в этой молодости?

Огарев возвратился в свое именье, она поехала в Петербург хлопотать о его возвращении в Москву.

Через месяц она опять проезжала Владимиром — одна. Петербург и две-три аристократические гостиные вскружили ей голову. Ей хотелось внешнего блеска, ее тешило богатство. «Как-то сладит она с этим?» — думал я. Много бед могло развиться из такой противуположности вкусов. Но ей было ново и богатство, и Петербург, и салоны; может, это было минутное увлеченье — она была умна, она любила Огарева — и я надеялся.

В Москве опасались, что это не так легко переработается в ней. Артистический и литературный круг довольно льстил ее самолюбию, но главное было направлено не туда. Она согласилась бы иметь при аристократическом салоне придел для художников и ученых и насильно увлекала Огарева в пустой мир, в котором он задыхался от скуки. Ближайшие друзья стали замечать это, и К[етчер], давно уже хмурившийся, грозно заявил свое veto. Вспыльчивая, самолюбивая и не привыкнувшая себя обуздывать, она оскорбляла самолюбия, столько же раздражительные, как ее. Угловатые, несколько сухие манеры ее и насмешки, высказываемые тем голосом, который при первой встрече так странно провел мне по сердцу, вызвали резкий отпор. Побранившись месяца два с К[етчером], который, будучи прав в фонде [7], был постоянно не прав в форме, и восстановив против себя несколько человек, может слишком обидчивых по материальному положению, она наконец очутилась лицом к лицу со мной.

Меня она боялась. Во мне она хотела помериться и окончательно узнать, что возьмет верх — *дружба или любовь*, как будто им нужно было брать этот верх. Тут больше замешалось, чем желание поставить на своем в капризном споре; тут было сознание, что я всего сильнее противудействую ее видам, тут была завистливая ревность и женское властолюбие. С К[етчером] она спорила до слез и перебранивалась, как злые дети бранятся, всякий день, но без ожесточения; на меня она смотрела бледнея и дрожа от ненависти. Она упрекала меня в разрушении ее счастья из самолюбивого притязания на исключительную дружбу Огарева, в отталкивающей гордости. Я чувствовал, что это

несправедливо, и, в свою очередь, сделался жёсток и беспощаден. Она сама признавалась мне, пять лет спустя, что ей приходила в голову мысль меня отравить,— вот до чего доходила ее ненависть. Она с Natalie раззнакомилась за ее любовь ко мне, за дружбу к ней всех наших.

Огарев страдал. Его никто не пощадил: ни она, ни я, ни другие. Мы выбрали грудь его (как он сам выразился в одном письме) «полем сражения» и не думали, что тот ли, другой ли одолевает, ему равно было больно. Он заклинал нас мириться, он старался смягчить угловатости — и мы мирились; но дико кричало оскорбленное самолюбие, и наболевшая обидчивость вспыхивала войной от одного слова. С ужасом видел Огарев, что все дорогое ему рушится, что женщине, которую он любил, не свята его святыня, что она чужая,— но не мог ее разлюбить. Мы были свои — но он с печалью видел, что и мы ни одной капли горечи не убавили в чаше, которую судьба поднесла ему. Он не мог грубо порвать узы Naturgewalt'a [8], связывавшего его с нею, ни крепкие узы симпатии, связывавшие с нами; но во всяком случае должен был изойти кровью, и, чувствуя это, он старался сохранить ее и нас — судорожно не выпуская ни ее, ни наших рук,— а мы свирепо расходились, четвертуя его, как палачи!

Жесток человек, и одни долгие испытания укрощают его; жесток, в своем неведении, ребенок; жесток юноша, гордый своей чистотой; жесток поп, гордый своей святостью, и доктринер, гордый своей наукой,— все мы беспощадны и всего беспощаднее, когда мы правы. Сердце обыкновенно растворяется и становится мягким вслед за глубокими рубцами, за обожженными крыльями, за сознанными падениями, вслед за испугом, который обдает человека холодом, когда он один, без свидетелей начинает догадываться, какой он слабый и дрянной человек. Сердце становится кротче; обтирая пот ужаса, стыда, боясь свидетеля, оно ищет *себе* оправданий — и находит их *другому*. Роль судьи, палача с той минуты поселяет в нем отвращение.

Тогда я был далек от этого!

Перемежаясь, продолжалась вражда. Озлобленная женщина, преследуемая нашей нетерпимостью, заступала дальше и дальше в какие-то путы, не могла в них идти, рвалась, падала — и не менялась. Чувствуя свое бессилие победить, она сгорала от досады и dépit [9], от ревности без любви. Ее растрепанные мысли, бессвязно взятые из романов Ж. Санда, из наших разговоров, никогда ни в чем не дошедшие до ясности, вели ее от одной нелепости к другой,

к эксцентричностям, которые она принимала за оригинальную самобытность, к тому женскому освобождению, в силу которого они отрицают из существующего и принятого *на выбор*, что им не нравится, сохраняя упорно все остальное.

Разрыв становился неминуемым, но Огарев еще долго жалел ее, еще долго хотел спасти ее, надеялся. И когда на минуту в ней пробуждалось нежное чувство или поэтическая струйка, он был готов забыть на веки веков прошедшее и начать новую жизнь гармонии, покоя, любви; но она не могла удержаться, теряла равновесие и всякий раз падала глубже. Нить за нитью болезненно рвался их союз до тех пор, пока беззвучно перетерлась последняя нитка,— и они расстались навсегда.

Во всем этом является один вопрос не совсем понятный. Каким образом то сильное симпатическое влияние, которое Огарев имел на все окружающее, которое увлекало посторонних в высшие сферы, в общие интересы, скользнуло по сердцу этой женщины, не оставив на нем никакого благотворного следа? А между тем он любил ее страстно и положил больше силы и души, чтоб ее спасти, чем на все остальное; и она сама сначала любила его — в этом нет сомнения.

Много я думал об этом. Сперва, разумеется, винил одну сторону, потом стал понимать, что и этот странный, уродливый факт имеет объяснение и что в нем, собственно, нет противуречия. Иметь влияние на симпатический круг гораздо легче, чем иметь влияние на *одну* женщину. Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать *одного* ребенка. В аудитории, в церкви, в клубе одинаковость стремлений, интересов идет вперед, во имя их люди встречаются там,— стоит продолжать развитие. Огарева кружок состоял из прежних университетских товарищей, молодых ученых, художников и литераторов; их связывала общая религия, общий язык и еще больше — общая ненависть. Те, для которых эта религия не составляла в самом деле жизненного вопроса, мало-помалу отдалялись, на их место являлись *другие*, а мысль и круг крепли при этой свободной игре избирательного сродства и общего, связующего убеждения.

Сближение с женщиной — дело чисто личное, основанное на ином, тайно-физиологическом сродстве, безотчетном, страстном. Мы прежде близки, потом знакомимся. У людей, у которых жизнь не подтасована, не приведена к одной мысли, уровень устанавливается легко, у них все случайно, в половину уступает он, в половину она; да если и не уступают — беды нет. С ужасом открывает, напротив,

человек, преданный своей идее, что она чужда существу, так близко поставленному. Он принимается наскоро будить женщину, но большей частью только пугает или путает ее. Оторванная от преданий, от которых она не освободилась, и переброшенная через какой-то овраг, ничем не наполненный, она верит в свое освобождение — заносчиво, самолюбиво, через пень-колоду отвергает старое, без разбора принимает новое. В голове, в сердце — беспорядок, хаос... вожжи брошены, эгоизм разнуздан... А мы думаем, что сделали дело, и проповедуем ей, как в аудитории!

Талант воспитания, талант терпеливой любви, полной преданности, преданности хронической, реже встречается, чем все другие. Его не может заменить ни одна страстная любовь матери, ни одна сильная доводами диалектика.

Уж не оттого ли люди истязают детей, а иногда и больших, что их так трудно воспитывать, а сечь так легко? Не мстим ли мы наказанием за нашу неспособность?

Огарев это понял еще тогда; потому-то его все (и я в том числе) упрекали в излишней кротости.

...Круг молодых людей, составившийся около Огарева, не был наш прежний круг. Только двое из старых друзей [10], кроме нас, были налицо. Тон, интересы, занятия — все изменилось. Друзья Станкевича были на первом плане; Бакунин и Белинский стояли в их главе, каждый с томом Гегелевой философии в руках и с юношеской нетерпимостью, без которой нет кровных, страстных убеждений.

Германская философия была привита Московскому университету М. Г. Павловым. Кафедра философии была закрыта с 1826 года. Павлов преподавал введение к философии вместо физики и сельского хозяйства. Физике было мудрено научиться на его лекциях, сельскому хозяйству — невозможно, но его курсы были чрезвычайно полезны. Павлов стоял в дверях физико-математического отделения и останавливал студента вопросом: «Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?»

Это чрезвычайно важно; наша молодежь, вступающая в университет, совершенно лишена философского приготовления, одни семинаристы имеют понятие об философии, зато совершенно превратное.

Ответом на эти вопросы Павлов излагал учение Шеллинга и Окена с такой пластической ясностью, которую никогда не имел ни один натурфилософ. Если он не во всем достигнул прозрачности, то это не его вина, а вина мутности Шеллингова учения. Скорее Павлова можно обвинить за то, что он остановился на этой Магабарате философии и не прошел суровым искусом Гегелевой логики. Но он

даже и в своей науке дальше введения и общего понятия не шел или, по крайней мере, не вел других. Эта остановка при начале, это незавершение своего дела, эти дома без крыши, фундаменты без домов и пышные сени, ведущие в скромное жилье,— совершенно в русском народном духе. Не оттого ли мы довольствуемся сенями, что история наша еще стучится в ворота?

Чего не сделал Павлов, сделал один из его учеников — Станкевич.

Станкевич, тоже один из *праздных* людей, *ничего* не совершивших, был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский.

До ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их — сентименталистами и немцами. Первый человек, признанный нами и ими, который дружески подал обоим руки и снял своей теплой любовью к обоим, своей примиряющей натурой последние следы взаимного непониманья, был Грановский; но когда я приехал в Москву, он еще был в Берлине [11], а бедный Станкевич потухал на берегах Lago di Como [12] лет двадцати семи.

Болезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич, естественно, должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистический идеализм ему шел, это был «победный венок», выступавший на его бледном, предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтоб надолго остаться в спекулативном мышлении без перехода в жизнь. Исключительно умозрительное направление совершенно противуположно русскому характеру, и мы скоро увидим, как *русский дух* переработал Гегелево учение и как *наша* живая натура, несмотря на все пострижения в философские монахи, берет свое. Но в начале 1840 года не было еще и мысли у молодежи, окружавшей Огарева, бунтовать против текста — за дух, против отвлечений — за жизнь.

Новые знакомые приняли меня так, как принимают эмигрантов и старых бойцов, людей, выходящих из тюрем,

возвращающихся из плена или ссылки: с почетным снисхождением, с готовностью принять в свой союз, но с тем вместе не уступая ничего, а намекая на то, что они — *сегодня, а мы — уже вчера*, и требуя безусловного принятия «Феноменологии» и «Логики» Гегеля, и притом по их толкованию.

Толковали же они об них беспрестанно; нет параграфа во всех трех частях «Логики», в двух «Эстетики», «Энциклопедии» и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды мнения об «абсолютной личности и о ее *по себе бытии*». Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней. Так, как Франкер в Париже плакал от умиления, услышав, что в России его принимают за великого математика и что все юное поколение разрешает у нас уравнения разных степеней, употребляя те же буквы, как он,— так заплакали бы все эти забытые Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Ватке, Шаллеры, Розенкранцы и сам Арнольд Руге, которого Гейне так удивительно хорошо назвал «привратником Гегелевой философии» [13], если б они знали, какие побоища и ратования возбудили они в Москве между Маросейкой и Моховой [14], как их читали и как их *покупали*.

Главное достоинство Павлова состояло в необычайной ясности изложения,— ясности, нисколько не терявшей всей глубины немецкого мышления; молодые философы приняли, напротив, какой-то условный язык; они не переводили на русское, а перекладывали целиком, да еще, для большей легости, оставляя все латинские слова in crudo [15], давая им православные окончания и семь русских падежей.

Я имею право это сказать, потому что, увлеченный тогдашним потоком, я сам писал точно так же да еще удивлялся, что известный астроном Перевощиков называл это «птичьим языком». Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: «Конкресцирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте». Замечательно, что тут русские слова, как на известном обеде генералов, о котором говорил Ермолов, звучат иностраннее латинских.

Немецкая наука, и это ее главный недостаток, приучи-

лась к искусственному, тяжелому, схоластическому языку своему именно потому, что она жила в академиях, т. е. в монастырях идеализма. Это язык попов науки, язык для *верных*, и никто из оглашенных его не понимал; к нему надобно было иметь ключ, как к шифрованным письмам. Ключ этот теперь не тайна; понявши его, люди были удивлены, что наука говорила очень дельные вещи и очень простые на своем мудреном наречии. Фейербах стал первый говорить человечественнее.

Механическая слепка немецкого *церковно*-ученого диалекта была тем непростительнее, что главный характер нашего языка состоит в чрезвычайной легости, с которой все выражается на нем — отвлеченные мысли, внутренние лирические чувствования, «жизни мышья беготня» [16], крик негодования, искрящаяся шалость и потрясающая страсть.

Рядом с испорченным языком шла другая ошибка, более глубокая. Молодые философы наши испортили себе не одни фразы, но и пониманье; отношение к жизни, к действительности сделалось школьное, книжное; это было то ученое пониманье простых вещей, над которым так гениально смеялся Гёте в своем разговоре Мефистофеля с студентом [17] Все в *самом деле* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории и возвращалось оттуда без капли живой крови, бледной, алгебраической тенью. Во всем этом была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно. Человек, который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтоб отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном явлении. Самая слеза, навертывавшаяся на веках, была строго отнесена к своему порядку: к «гемюту» [18] или к «трагическому в сердце»...

То же в искусстве. Знание Гёте, особенно второй части «Фауста» (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднее ее), было столько же обязательно, как иметь платье. Философия музыки была на первом плане. Разумеется, об Россини и не говорили, к Моцарту были снисходительны, хотя и находили его детским и бледным, зато производили философские следствия над каждым аккордом Бетховена и очень уважали Шуберта, не столько, думаю, за его превосходные напевы, сколько за то, что он брал философские темы для них, как «Всемогущество божие», «Атлас». Наравне с итальянской музыкой делила

опалу французская литература и вообще все французское, а по дороге и все политическое.

Отсюда легко понять поле, на котором мы должны были непременно встретиться и сразиться. Пока прения шли о том, что Гёте объективен, но что его объективность субъективна, тогда как Шиллер — поэт субъективный, но его субъективность объективна, и vice versa [19], все шло мирно. Вопросы более страстные не замедлили явиться.

Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Насколько этот насильственный и неоткровенный дуализм был вопиющ в науке, которая отправляется от снятия дуализма, легко понятно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Иене, друг Гельдерлина, который спас под полой свою «Феноменологию», когда Наполеон входил в город; тогда его философия не вела ни к индийскому квиетизму, ни к оправданию существующих гражданских форм, ни к прусскому христианству; тогда он не читал своих лекций о философии религии, а писал гениальные вещи, вроде статьи «о палаче и о смертной казни», напечатанной в Розенкранцевой биографии [20].

Гегель держался в кругу отвлечений для того, чтоб не быть в необходимости касаться эмпирических выводов и практических приложений, для них он избрал очень ловко тихое и безбурное море эстетики; редко выходил он на воздух, и то на минуту, закутавшись, как больной, но и тогда оставлял в диалектической запутанности именно те вопросы, которые всего более занимали современного человека. Чрезвычайно слабые умы (один Ганс делает исключение), окружавшие его, принимали букву за самое дело, им нравилась пустая игра диалектики. Вероятно, старику иной раз бывало тяжело и совестно смотреть на недальновидность через край удовлетворенных учеников своих. Диалектическая метода, если она не есть развитие самой сущности, воспитание ее, так сказать, в мысль — становится чисто внешним средством гонять сквозь строй категорий всякую всячину, упражнением в логической гимнастике — тем, чем она была у греческих софистов и у средневековых схоластиков после Абеларда.

Философская фраза, наделавшая всего больше вреда

и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии,— «Все действительное разумно» была иначе высказанное начало *достаточной причины* и соответственности логики и фактов [21]. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, что некогда были слова христианского жирондиста Павла: «Нет власти, как от бога» [22]. Но если все власти от бога и если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправданна. Формально принятые эти две сентенции — чистая таутология, но, таутология или нет, она прямо вела к признанию предержащих властей, к тому, чтоб человек сложил руки,— этого-то и хотели берлинские буддаисты. Как такое воззрение ни было противуположно русскому духу, его, откровенно заблуждаясь, приняли наши московские гегельянцы.

Белинский — самая деятельная, порывистая, диалектически страстная натура бойца — проповедовал тогда индийский покой созерцания и теоретическое изучение вместо борьбы. Он веровал в это воззрение и не бледнел ни перед каким последствием, не останавливался ни пред моральным приличием, ни перед мнением других, которого так страшатся люди слабые и не самобытные: в нем не было робости, потому что он был силен и искренен; его совесть была чиста.

— Знаете ли, что с вашей точки зрения,— сказал я ему, думая поразить его моим революционным ультиматумом,— вы можете доказать, что чудовищное самодержавие, под которым мы живем, разумно и должно существовать?

— Без всякого сомнения,— отвечал Белинский и прочел мне «Бородинскую годовщину» Пушкина.

Этого я не мог вынести, и отчаянный бой закипел между нами. Размолвка наша действовала на других, круг распадался на два стана. Бакунин хотел примирить, объяснить, *заговорить*, но настоящего мира не было. Белинский, раздраженный и недовольный, уехал в Петербург и оттуда дал по нас последний яростный залп в статье, которую так и назвал «Бородинской годовщиной».

Я прервал с ним тогда все сношения. Бакунин хотя и спорил горячо, но стал призадумываться; его революционный такт толкал его в другую сторону. Белинский упрекал его в слабости, в уступках и доходил до таких преувеличенных крайностей, что пугал своих собственных приятелей и почитателей. Хор был за Белинского и смотрел на нас свысока, гордо пожимая плечами и находя нас людьми отсталыми.

Середь этой междоусобицы я увидел необходимость ex ipso fonte bibere [23] и серьезно занялся Гегелем. Я думаю даже, что человек, не *переживший* «Феноменологии» Гегеля и «Противурсчий общественной экономии» Прудона, не перешедший через этот горн и этот закал, не полон, не современен.

Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой, я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей; таков он в первых сочинениях, таков везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая «бранденбургские ворота». Философия Гегеля — алгебра революции, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя. Но она, может с намерением, дурно формулирована.

Так, как в математике — только там с бóльшим правом — не возвращаются к определению пространства, движения, сил, а продолжают диалектическое развитие их свойств и законов, так и в формальном понимании философии, привыкнув однажды к началам, продолжают одни выводы. Новый человек, не забивший себя методой, обращающейся в привычку, именно за эти-то предания, за эти догматы, принимаемые за мысли, и цепляется. Людям, давно занимающимся и, следственно, не беспристрастным, кажется удивительным, как другие не понимают вещей «совершенно ясных».

Как не понять *такую* простую мысль, как, например, что «душа бессмертна, а что умирает одна личность»,— мысль, так успешно развитая берлинским Михелетом в его книге [24]. Или еще более простую истину, что безусловный дух есть личность, сознающая себя через мир, а между тем имеющая и свое собственное самопознание.

Все эти вещи казались до того легки нашим друзьям, они так улыбались «французским» возражениям, что я был на некоторое время подавлен ими и работал, и работал, чтоб дойти до отчетливого понимания их философского jargon.

По счастию, схоластика так же мало свойственна мне, как мистицизм, я до того натянул ее лук, что тетива порвалась и повязка упала. Странное дело, спор с дамой привел меня к этому.

В Новгороде, год спустя, познакомился я с одним генералом [25]. Познакомился я с ним потому, что он всего меньше был похож на генерала.

В его доме было тяжело, в воздухе были слезы — тут, очевидно, прошла смерть. Седые волосы рано покрыли его голову, и добродушно-грустная улыбка больше выражала

страданий, нежели морщины. Ему было лет пятьдесят. След судьбы, обрубившей живые ветви, еще яснее виднелся на бледном, худом лице его жены. У них было слишком тихо. Генерал занимался механикой, его жена по утрам давала французские уроки каким-то бедным девочкам; когда они уходили, она принималась читать, и одни цветы, которых было много, напоминали иную, благоуханную, светлую жизнь, да еще игрушки в шкапе — только ими никто не играл.

У них было трое детей; два года перед тем умер девятилетний мальчик, необыкновенно даровитый; через несколько месяцев умер другой ребенок от скарлатины; мать бросилась в деревню спасать последнее дитя переменой воздуха и через несколько дней воротилась; с ней в карете был гробик.

Жизнь их потеряла смысл, кончилась и продолжалась без нужды, без цели. Их существование удержалось сожалением друг о друге; одно утешение, доступное им, состояло в глубоком убеждении необходимости одного для другого, для того, чтоб как-нибудь нести крест. Я мало видел больше гармонических браков, но уже это и не был брак — их связывала не любовь, а какое-то глубокое братство в несчастии, их судьба тесно затягивалась и держалась вместе тремя маленькими холодными ручонками и безнадежной пустотою около и впереди.

Осиротевшая мать совершенно предалась мистицизму; она нашла спасение от тоски в мире таинственных примирений, она была обманута лестью религии человеческому сердцу. Для нее мистицизм был не шутка, не мечтательность, а опять-таки дети, и она защищала их, защищая свою религию. Но, как ум чрезвычайно деятельный, она вызывала на спор и знала свою силу. Я после и прежде встречал в жизни много мистиков в разных родах, от Витберга и последователей Товянского, принимавших Наполеона за военное воплощение бога и снимавших шапку, проходя мимо Вандомской колонны, до забытого теперь «Мапа», который сам мне рассказывал свое свидание с богом, случившееся на шоссе между Монморанси и Парижем. Все они, большею частью люди нервные, действовали на нервы, поражали фантазию или сердце, мешали философские понятия с произвольной символикой и не любили выходить на чистое поле логики.

На нем-то и стояла твердо и безбоязненно Л. Д. Где и как она успела приобрести такую артистическую ловкость диалектики — я не знаю. Вообще женское развитие — тайна: все ничего, наряды да танцы, шаловливое

злословие и чтение романов, глазки и слезы — и вдруг является гигантская воля, зрелая мысль, колоссальный ум. Девочка, увлеченная страстями, исчезла — и перед вами Теруань де-Мерикур, красавица-трибун, потрясающая народные массы, княгиня Дашкова восемнадцати лет, верхом, с саблей в руках, среди крамольной толпы солдат.

У Л. Д. все было кончено, тут не было сомнений, шаткости, теоретической слабости; вряд были ли иезуиты или кальвинисты так стройно последовательны своему ученью, как она.

Вместо того чтоб ненавидеть смерть, она, лишившись своих малюток, возненавидела жизнь. Это-то и надобно для христианства, для этой полной апотеозы смерти — пренебрежение земли, пренебрежение тела не имеет другого смысла. Итак, гонение на все жизненное, реалистическое: на наслаждение, на здоровье, на веселость, на привольное чувство существования. И Л. Д. дошла до того, что не любила ни Гёте, ни Пушкина.

Нападки ее на мою философию были оригинальны. Она иронически уверяла, что все диалектические подмостки и тонкости — барабанный бой, шум, которым трусы заглушают страх своей совести.

— Вы никогда не дойдете,— говорила она,— ни до личного бога, ни до бессмертия души никакой философией, а храбрости быть атеистом и отвергнуть жизнь за гробом у вас у всех нет. Вы слишком люди, чтобы не ужаснуться этих последствий, внутреннее отвращение отталкивает их,— вот вы и выдумываете ваши логические чудеса, чтоб отвести глаза, чтоб дойти до того, что просто и детски дано религией.

Я возражал, я спорил, но внутри чувствовал, что полных доказательств у меня нет и что она тверже стоит на своей почве, чем я на своей.

Надобно было, чтоб для довершения беды подвернулся тут инспектор врачебной управы [26], добрый человек, но один из самых смешных немцев, которых я когда-либо встречал; отчаянный поклонник Окена и Каруса, он рассуждал цитатами, имел на все готовый ответ, никогда ни в чем не сомневался и воображал, что совершенно согласен со мной.

Доктор выходил из себя, бесился, тем больше что другими средствами не мог взять, находил воззрения Л. Д. женскими капризами, ссылался на Шеллинговы чтения об академическом учении [27] и читал отрывки из Бурдаховой физиологии [28] для доказательства, что в чело-

веке есть начало вечное и духовное, а внутри природы спрятан какой-то личный Geist [29].

Л. Д., давно прошедшая этими «задами» пантеизма, сбивала его и, улыбаясь, показывала мне на него глазами. Она, разумеется, была правее его, и я добросовестно ломал себе голову и досадовал, когда мой доктор торжественно смеялся. Споры эти занимали меня до того, что я с новым ожесточением принялся за Гегеля. Мученье моей неуверенности недолго продолжалось, истина мелькнула перед глазами и стала становиться яснее и яснее; я склонился на сторону моей противницы, но не так, как она хотела.

— Вы совершенно правы,— сказал я ей,— и мне совестно, что я с вами спорил; разумеется, что нет ни личного духа, ни бессмертия души, оттого-то и было так трудно доказать, что она есть. Посмотрите, как все становится просто, естественно без этих вперед идущих предположений.

Ее смутили мои слова, но она скоро оправилась и сказала:

— Жаль мне вас, а может, оно и к лучшему: вы в этом направлении долго не останетесь, в нем слишком пусто и тяжело. А вот,— прибавила она, улыбаясь,— наш доктор, тот неизлечим, ему не страшно, он в таком тумане, что не видит ни на шаг вперед.

Однако лицо ее было бледнее обыкновенного.

Месяца два-три спустя проезжал по Новгороду Огарев, он привез мне «Wesen des Christentums» [30] Фейербаха. Прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в мифы!

В разгаре моей философской страсти я начал тогда ряд моих статей о «дилетантизме в науке», в которых, между прочим, отомстил и доктору.

Теперь возвратимся к Белинскому.

Через несколько месяцев после его отъезда в Петербург в 1840 году приехали и мы туда. Я не шел к нему. Огареву моя ссора с Белинским была очень прискорбна; он понимал, что нелепое воззрение у Белинского была переходная болезнь, да и я понимал, но Огарев был добрее. Наконец он натянул своими письмами свидание [31]. Наша встреча сначала была холодна, неприятна, натянута, но ни Белинский, ни я — мы не были большие дипломаты, в продолжение ничтожного разговора я помянул статью о «бородинской годовщине». Белинский вскочил с своего места и, вспыхнув в лице, пренаивно сказал мне:

— Ну, слава богу, договорились же, а то я с моим глупым нравом не знал, как начать... Ваша взяла; три-четыре месяца в Петербурге меня лучше убедили, чем все доводы. Забудемте этот вздор. Довольно вам сказать, что на днях я обедал у одного знакомого, там был инженерный офицер; хозяин спросил его, хочет ли он со мной познакомиться? «Это автор статьи о бородинской годовщине?» — спросил его на ухо офицер.— «Да».— «Нет, покорно благодарю»,— сухо ответил он. Я слышал все и не мог вытерпеть,— я горячо пожал руку офицеру и сказал ему: «Вы благородный человек, я вас уважаю...» Чего же вам больше?

С этой минуты и до кончины Белинского мы шли с ним рука в руку.

Белинский, как следовало ожидать, опрокинулся со всей язвительностью своей речи, со всей неистощимой энергией на свое прежнее воззрение. Положение многих из его приятелей было не очень завидное; plus royalistes que le roi [32]— они с мужеством несчастия старались отстаивать свои теории, не отказываясь, впрочем, от почетного перемирия.

Все люди дельные и живые перешли на сторону Белинского, только упорные формалисты и педанты отдалились; одни из них дошли до того немецкого самоубийства наукой, схоластической и мертвой, что потеряли всякий жизненный интерес и сами потерялись без вести; другие сделались православными славянофилами. Как сочетание Гегеля с Стефаном Яворским ни кажется странно, но оно возможнее, чем думают; византийское богословие — точно так же внешняя казуистика, игра логическими формулами, как формально принимаемая диалектика Гегеля. «Москвитянин» в некоторых статьях дал торжественное доказательство, до чего может дойти при таланте содомизм философии и религии.

Белинский вовсе не оставил вместе с односторонним пониманием Гегеля его философию. Совсем напротив, отсюда-то и начинается его живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными. Я считаю Белинского одним из самых замечательных лиц николаевского периода. После либерализма, кой-как пережившего 1825 год в Полевом, после мрачной статьи Чаадаева [33] является выстраданное, желчное отрицание и страстное вмешательство во все вопросы Белинского. В ряде критических статей он кстати и некстати касается всего, везде верный своей ненависти к авторитетам, часто подымаясь до поэтического одушевления. Разбираемая книга служила

ему по большей части материальной точкой отправления, на полдороге он бросал ее и впивался в какой-нибудь вопрос. Ему достаточен стих «Родные люди вот какие» в «Онегине», чтоб вызвать к суду семейную жизнь и разобрать до нитки отношения родства [34]. Кто не помнит его статьи о «Тарантасе», о «Параше» Тургенева, о Державине, о Мочалове и Гамлете? Какая верность своим началам, какая неустрашимая последовательность, ловкость в плавании между цензурными отмелями и какая смелость в нападках на литературную аристократию, на писателей первых трех классов, на статс-секретарей литературы, готовых всегда взять противника не мытьем — так катаньем, не антикритикой — так доносом! Белинский стегал их беспощадно, терзая мелкое самолюбие чопорных, ограниченных творцов эклог, любителей образования, благотворительности и нежности; он отдавал на посмеяния их дорогие, *задушевные* мысли, их поэтические мечтания, цветущие под сединами, их наивность, прикрытую аннинской лентой. Как же они за то его и ненавидели!

Славянофилы, с своей стороны, начали официально существовать с войны против Белинского; он их додразнил до мурмолок и зипунов. Стоит вспомнить, что Белинский прежде писал в «*Отечественных* записках», а Киреевский начал издавать свой превосходный журнал под заглавием «*Европеец*»; эти названия всего лучше доказывают, что в начале были только оттенки, а не мнения, не партии.

Статьи Белинского судорожно ожидались молодежью в Москве и Петербурге с 25-го числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли «Отечественные записки»; тяжелый номер рвали из рук в руки.— «Есть Белинского статья?» — «Есть»,— и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами... и трех-четырех верований, *уважений* как не бывало.

Недаром Скобелев, комендант Петропавловской крепости, говорил шутя Белинскому, встречаясь на Невском проспекте:

— Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу.

Я в другой книге [35] говорил о развитии Белинского и об его литературной деятельности, здесь скажу несколько слов об нем самом.

Белинский был очень застенчив и вообще терялся в незнакомом обществе или в очень многочисленном; он знал это и, желая скрыть, делал пресмешные вещи. К. уговорил его ехать к одной даме; по мере приближения к ее

дому Белинский все становился мрачнее, спрашивал, нельзя ли ехать в другой день, говорил о головной боли. К., зная его, не принимал никаких отговорок. Когда они приехали, Белинский, сходя с саней, пустился было бежать, но К. поймал его за шинель и повел представлять даме.

Он являлся иногда на литературно-дипломатические вечера князя Одоевского. Там толпились люди, ничего не имевшие общего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга; там бывали посольские чиновники и археолог Сахаров, живописцы и А. Мейендорф, статские советники из образованных, Иакинф Бичурин из Пекина, полужандармы и полулитераторы, совсем жандармы и вовсе не литераторы. А. К. [36] домолчался там до того, что генералы принимали его за авторитет. Хозяйка дома с внутренней горестью смотрела на подлые вкусы своего мужа и уступала им так, как Людовик-Филипп в начале своего царствования, снисходя к своим избирателям, приглашал на балы в Тюльери целые rez-de-chaussée [37] подтяжечных мастеров, москательных лавочников, башмачников и других почтенных граждан.

Белинский был совершенно потерян на этих вечерах между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались. Он обыкновенно занемогал потом на два, на три дня и проклинал того, кто уговорил его ехать.

Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жженку en petit comité [38], когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему; он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский, в белых форменных штанах с золотым «позументом», сел наискось против него. Долго терпел Белинский, но, не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол; стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил, красное вино струилось по его панталонам; сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином остальные части панталон, другой подбирал разбитые рюмки... Во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой.

Милый Белинский! Как его долго сердили и расстроивали подобные происшествия, как он об них вспоминал с ужасом — не улыбаясь, а похаживая по комнате и покачивая головой.

Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец! Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть: он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхающийся, с глазами, остановленными на том, с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты!

Притесняемый денежно литературными подрядчиками, притесняемый нравственно цензурой, окруженный в Петербурге людьми малосимпатичными, снедаемый болезнию, для которой балтийский климат был убийственен, Белинский становился раздражительнее и раздражительнее. Он чуждался посторонних, был до дикости застенчив и иногда недели целые проводил в мрачном бездействии. Тут редакция посылала записку за запиской, требуя оригинала, и закабаленный литератор со скрежетом зубов брался за перо и писал те ядовитые статьи, трепещущие от негодования, те обвинительные акты, которые так поражали читателей.

Часто, выбившись из сил, приходил он отдыхать к нам; лежа на полу с двухлетним ребенком, он играл с ним целые часы. Пока мы были втроем, дело шло как нельзя лучше, но при звуке колокольчика судорожная гримаса пробегала по лицу его и он беспокойно оглядывался и искал шляпу; потом оставался, по славянской слабости. Тут одно слово, замечание, сказанное не по нем, приводило к самым оригинальным сценам и спорам...

Раз приходит он обедать к одному литератору [39] на страстной неделе; подают постные блюда.

— Давно ли,— спрашивает он,— вы сделались так богомольны?

— Мы едим,— отвечает литератор,— постное простонапросто для людей.

— *Для людей?* — спросил Белинский и побледнел.— Для людей? — повторил он и бросил свое место.— Где ваши люди? Я им скажу, что они обмануты; всякий открытый порок лучше и человечественнее этого презрения

к слабому и необразованному, этого лицемерия, поддерживающего невежество. И вы думаете, что вы свободные люди? На одну вас доску со всеми царями, попами и плантаторами! Прощайте, я не ем постного для поучения, у меня нет *людей*!

В числе закоснелейших немцев из русских был один магистр нашего университета, недавно приехавший из Берлина [40]; добрый человек в синих очках, чопорный и приличный, он остановился навсегда, расстроив, ослабив свои способности философией и филологией. Доктринер и несколько педант, он любил поучительно наставлять. Раз на литературной вечеринке у романиста, наблюдавшего для своих людей посты, магистр проповедовал какую-то чушь honnête et modérée [41]. Белинский лежал в углу на кушетке, и когда я проходил мимо, он меня взял за полу и сказал:

— Слышал ли ты, что этот изверг врет? У меня давно язык чешется, да что-то грудь болит и народу много; будь отцом родным, одурачь как-нибудь, прихлопни его, убей какой-нибудь насмешкой, ты это лучше умеешь — ну утешь.

Я расхохотался и ответил Белинскому, что он меня натравливает, как бульдога на крыс. Я же этого господина почти не знаю, да и едва слышал, что он говорит.

К концу вечера магистр в синих очках, побранивши Кольцова за то, что он оставил народный костюм, вдруг стал говорить о знаменитом «Письме» Чаадаева и заключил пошлую речь, сказанную тем докторальным тоном, который сам по себе вызывает на насмешку, следующими словами:

— Как бы то ни было, я считаю его поступок презрительным, гнусным, я не уважаю такого человека.

В комнате был один человек, близкий с Чаадаевым,— это я. О Чаадаеве я буду еще много говорить, я его всегда любил и уважал и был любим им; мне казалось неприличным пропустить дикое замечание. Я сухо спросил его, полагает ли он, что Чаадаев писал свою статью из видов или неоткровенно.

— Совсем нет,— отвечал магистр.

На этом завязался неприятный разговор; я ему доказывал, что эпитеты «гнусный», «презрительный» — *гнусны и презрительны*, относясь к человеку, смело высказавшему свое мнение и пострадавшему за него. Он мне толковал о целости народа, о единстве отечества, о преступлении разрушать это единство, о святынях, до которых нельзя касаться.

Вдруг мою речь подкосил Белинский. Он вскочил

с своего дивана, подошел ко мне уже бледный, как полотно, и, ударив меня по плечу, сказал:

— Вот они, высказались — инквизиторы, цензоры — на веревочке мысль водить... и пошел, и пошел.

С грозным вдохновением говорил он, приправляя серьезные слова убийственными колкостями.

— Что за обидчивость такая! Палками бьют — не обижаемся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь — не смей говорить; речь — дерзость, лакей никогда не должен говорить! Отчего же в странах больше образованных, где, кажется, чувствительность тоже должна быть развитее, чем в Костроме да Калуге, не обижаются словами?

— В образованных странах,— сказал с неподражаемым самодовольством магистр,— есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают.

Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту. Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

— А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.

Сказавши это, он бросился на кресло, изнеможенный, и замолчал. При слове «гильотина» хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен, но именно в эти минуты самолюбие людское и закусывает удила. И. Тургенев советует человеку, когда он так затешется в споре, что самому сделается страшно, провесть раз десять языком внутри рта, прежде чем вымолвить слово.

Магистр, не зная этого домашнего средства, продолжал пороть вялые пустяки, обращаясь больше к другим, чем к Белинскому.

— Несмотря на вашу нетерпимость,— сказал он наконец,— я уверен, что вы согласитесь с одним...

— Нет,— отвечал Белинский.— Что бы вы ни сказали, я не соглашусь ни с чем!

Все рассмеялись и пошли ужинать. Магистр схватил шляпу и уехал.

...Лишения и страдания скоро совсем подточили болезненный организм Белинского. Лицо его, особенно мышцы около губ его, печально остановившийся взор равно говорили о сильной работе духа и о быстром разложении тела.

В последний раз я видел его в Париже осенью 1847 года, он был очень плох, боялся громко говорить, и лишь минута-

ми воскресала прежняя энергия и ярко светилась своим догорающим огнем. В такую минуту написал он свое письмо к Гоголю.

Весть о февральской революции еще застала его в живых, он умер, принимая зарево ее за занимающееся утро!

Так оканчивалась эта глава в 1854 году; с тех пор многое переменилось. Я стал гораздо *ближе* к тому времени, ближе увеличивающейся далью от здешних людей, приездом Огарева [42] и двумя книгами: анненковской биографией Станкевича [43] и первыми частями сочинений Белинского [44]. Из вдруг раскрывшегося окна в больничной палате дунуло свежим воздухом полей, молодым воздухом весны...

Переписка Станкевича прошла незаметно [45]. Она появилась некстати. В конце 1857 Россия еще не приходила в себя после похорон Николая, ждала и надеялась; это худшее настроение для воспоминаний... Но книга эта не пропадет. Она останется, на убогом кладбище, одним из редких памятников своего времени, по которым *грамотный* может прочесть, что *тогда* хоронилось безгласно. Моровая полоса, идущая от 1825 до 1855 года, скоро совсем задвинется; человеческие следы, заметенные полицией, пропадут, и будущие поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко убитым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли, которая *в сущности* не перерывалась. По видимому поток был остановлен, Николай перевязал артерию — но кровь переливалась проселочными тропинками. Вот эти-то волосяные сосуды и оставили свой след в сочинениях Белинского, в переписке Станкевича.

Тридцать лет тому назад Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей — а в них было наследие 14 декабря,— наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростывшего кратера.

В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей; они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, *но остаются*, и если умирают на полдороге, то не все умирает с ними. Это начальные ячейки, зародыши истории, едва заметные, едва существующие, как все зародыши вообще.

Мало-помалу из них составляются группы. Более род-

ное собирается около своих средоточий; группы потом отталкивают друг друга. Это расчленение дает им ширь и многосторонность для развития; развиваясь до конца, т. е. до крайности, ветви опять соединяются, как бы они ни назывались — кругом Станкевича, славянофилами или нашим кружком.

Главная черта всех их — глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее, а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое.

Возражение, что эти кружки, не заметные ни сверху, ни снизу, представляют явление исключительное, постороннее, бессвязное, что воспитание большей части этой молодежи было экзотическое, чужое и что они скорее выражают перевод на русское французских и немецких идей, чем что-нибудь свое,— нам кажется очень неосновательным.

Может, в конце прошлого и начале нашего века была в аристократии закраинка русских иностранцев, оборвавших все связи с народной жизнью; но у них не было ни живых интересов, ни кругов, основанных на убеждениях, ни своей литературы. Они вымерли бесплодно. Жертвы петровского разрыва с народом, они остались чудаками и капризниками; это были люди не только не нужные, но и не жалкие. Война 1812 года положила им предел — старые доживали свой век, новых не развивалось в том направлении. Ставить в их число людей вроде П. Я. Чаадаева было бы страшнейшей ошибкой.

Протестация, отрицание, ненависть к родине, если хотите, имеют совсем иной смысл, чем равнодушная чуждость. Байрон, бичуя английскую жизнь, бегая от Англии, как от чумы, оставался типическим англичанином. Гейне, старавшийся из озлобления за гнусное политическое состояние Германии офранцузиться, оставался истым немцем. Высший протест против юдаизма — христианство — исполнено юдаического характера. Разрыв Северо-Американских Штатов с Англией мог развить войну и ненависть, но не мог сделать из североамериканцев не-англичан.

Люди, вообще, отрешаются от своих физиологических воспоминаний и от своего наследственного склада очень трудно; для этого надобно или особенную бесстрастную стертость, или отвлеченные занятия. Безличность математики, внечеловеческая объективность природы не вызывают этих сторон духа, не будят их; но как только мы касаемся вопросов жизненных, художественных, нравственных, где человек не только наблюдатель и следователь, а вместе с тем и участник, там мы находим физиологиче-

ский предел, который очень трудно перейти с прежней кровью и прежним мозгом, не исключив из них следы колыбельных песен, родных полей и гор, обычаев и всего окружавшего строя.

Поэт и художник в истинных своих произведениях всегда народен. Что бы он ни делал, какую бы он ни имел цель и мысль в своем творчестве, он выражает, волею или неволею, какие-нибудь стихии народного характера и выражает их глубже и яснее, чем сама история народа. Даже отрешаясь от всего народного, художник не утрачивает главных черт, по которым можно узнать, *чьих он*. Гёте — немец и в греческой «Ифигении», и в восточном «Диване». Поэты в самом деле, по римскому выражению,— «пророки»; только они высказывают не то, чего нет и что будет случайно, а то, *что неизвестно, что есть* в тусклом сознании масс, что еще дремлет в нем.

Все, что искони существовало в душе народов англосаксонских, перехвачено, как кольцом, одной личностью,— и каждое волокно, каждый намек, каждое посягательство, бродившее из поколенья в поколенье, не отдавая себе *отчета*, получило форму и язык.

Вероятно, никто не думает, чтобы Англия времен Елизаветы, особенно большинство народа, понимало отчетливо Шекспира; оно и теперь не понимает отчетливо — да ведь они и себя не понимают отчетливо. Но что англичанин, ходящий в театр, инстинктивно, по сочувствию понимает Шекспира, в этом я не сомневаюсь. Ему на ту минуту, когда он слушает, становится что-то знакомее, яснее. Казалось бы, народ, такой способный на быстрое соображение, как французы, мог бы тоже понять Шекспира. Характер Гамлета, например, до такой степени общечеловеческий, особенно в эпоху сомнений и раздумья, в эпоху сознания каких-то черных дел, совершившихся возле них, каких-то измен великому в пользу ничтожного и пошлого, что трудно себе представить, чтоб его не поняли. Но, несмотря на все усилия и опыты, Гамлет чужой для француза.

Если аристократы прошлого века, систематически пренебрегавшие всем русским, оставались в самом деле невероятно больше русскими, чем дворовые оставались мужиками, то тем больше русского характера не могло утратиться у молодых людей оттого, что они занимались науками по французским и немецким книгам. Часть московских славян с Гегелем в руках взошли в ультраславянизм [46].

Самое появление кружков, о которых идет речь, было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни.

Об застое после перелома в 1825 году мы говорили много раз. Нравственный уровень общества пал, развитие было перервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные — испуганные, слабые, потерянные — были мелки, пусты; дрянь александровского поколения заняла первое место; они мало-помалу превратились в подобострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и барства и всякую тень самобытного достоинства; они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановитыми. Время их прошло.

Под этим большим *светом* безучастно молчал большой *мир* народа; для него ничего не переменилось — ему было скверно, но не сквернее прежнего, новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время *не пришло*. Между этой крышей и этой основой дети первые приподняли голову, может, оттого, что они не подозревали, как это опасно; но, как бы то ни было, этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя.

Их остановило совершеннейшее противуречие *слов* учения с *былями* жизни вокруг. Учители, книги, университет говорили одно — и это одно было понятно уму и сердцу. Отец с матерью, родные и вся среда говорили другое, с чем ни ум, ни сердце не согласны, но с чем согласны предержащие власти и денежные выгоды. Противуречие это между воспитанием и нравами нигде не доходило до таких размеров, как в дворянской Руси. Шершавый немецкий студент, в круглой фуражке на седьмой части головы, с миросокрушительными выходками, гораздо ближе, чем думают, к немецкому шписбюргеру [47], а исхудалый от соревнования и честолюбия collégien французский уже en herbe L'homme raisonnable, qui exploite sa position [48].

Число воспитывающихся у нас всегда было чрезвычайно мало; но те, которые воспитывались, получали не то чтоб объемистое воспитание, но довольно общее и гуманное; оно *очеловечивало* учеников всякий раз, когда принималось. Но *человека*-то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспеяния помещичьего быта. Приходилось или снова расчеловечиться — так толпа и делала,— или приостановиться и спросить себя: «Да нужно ли непременно служить? Хорошо ли действительно быть помещиком?» Засим для одних, более слабых и нетерпеливых, начиналось праздное существование корнета в отставке, деревенской лени, халата, странностей, карт, вина; для других — время искуса и внутренней работы. Жить в полном нравственном разладе они не могли, не могли также удовлетвориться отрицательным устранением себя; воз-

бужденная мысль требовала выхода. Разное разрешение вопросов, одинаково мучивших молодое поколение, обусловило распаденье на разные круги.

Так сложился, например, наш кружок и встретил в университете, уже готовым, кружок сунгуровский. Направление его было, как и наше, больше политическое, чем научное. Круг Станкевича, образовавшийся в то же время, был равно близок и равно далек с обоими. Он шел другим путем, его интересы были чисто теоретические.

В тридцатых годах убеждения наши были слишком юны, слишком страстны и горячи, чтоб не быть исключительными. Мы могли холодно уважать круг Станкевича, но сблизиться не могли. Они чертили философские системы, занимались анализом себя и успокоивались в роскошном пантеизме, из которого не исключалось христианство. Мы мечтали о том, как начать в России новый союз по образцу декабристов, и самую науку считали средством. Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях наших.

В 1834 году был сослан весь кружок Сунгурова [49].— и исчез.

В 1835 году сослали нас; через пять лет мы возвратились, закаленные испытанным. Юношеские мечты сделались невозвратным решением совершеннолетних. Это было самое блестящее время Станкевичева круга. Его самого я уж не застал — он был в Германии; но именно тогда статьи Белинского начинали обращать на себя внимание всех.

Возвратившись, мы померились. Бой был неровен с обеих сторон; почва, оружие и язык — все было розное. После бесплодных прений мы увидели, что пришел наш черед серьезно заняться наукой, и сами принялись за Гегеля и немецкую философию. Когда мы довольно усвоили ее себе, оказалось, что между нами и кругом Станкевича спору нет.

Круг Станкевича должен был неминуемо распуститься. Он свое сделал — и сделал самым блестящим образом; влияние его на всю литературу и на академическое преподавание было огромно — стоит назвать Белинского и Грановского; в нем сложился Кольцов, к нему принадлежали Боткин, Катков и пр. Но замкнутым кругом он оставаться не мог, не перейдя в немецкий доктринаризм,— живые люди из русских к нему не способны.

Возле Станкевичева круга, сверх нас, был еще другой круг, сложившийся во время нашей ссылки, и был с ними в такой же чересполосице, как и мы; его-то впоследствии

назвали славянофилами. *Славяне* приближались с противуположной стороны к тем же жизненным вопросам, которые занимали нас, были гораздо больше их ринуты в живое дело и в настоящую борьбу.

Между ними и нами, естественно, должно было разделиться общество Станкевича. Аксаковы, Самарин примкнули к славянам, т. е. к Хомякову и Киреевским; Белинский, Бакунин — к нам. Ближайший друг Станкевича, наиболее родной ему всем существом своим, Грановский был нашим с самого приезда из Германии.

Если б Станкевич остался жив, кружок его все же бы не устоял. Он сам перешел бы к Хомякову или к нам.

В 1842 сортировка по сродству давно была сделана, и наш стан стал в боевой порядок лицом к лицу с славянами. Об этой борьбе мы будем говорить в другом месте.

В заключение прибавлю несколько слов об элементах, из которых составился круг Станкевича; это бросает своего рода луч на странные подземные потоки, в тиши подмывающие плотную кору русско-немецкого устройства.

Станкевич был сын богатого воронежского помещика, сначала воспитывался на всей барской воле, в деревне, потом его посылали в острогожское училище (и это чрезвычайно оригинально). Для хороших натур богатое и даже аристократическое воспитание очень хорошо. Довольство дает развязную волю и ширь всякому развитию и всякому росту, не стягивает молодой ум преждевременной заботой, боязнью перед будущим, наконец, оставляет полную волю заниматься теми предметами, к которым влечет.

Станкевич развивался стройно и широко; его художественная, музыкальная и вместе с тем сильно рефлектирующая и созерцающая натура заявила себя с самого начала университетского курса. Способность Станкевича не только глубоко и сердечно понимать, но и примирять или, как немцы говорят, *снимать* противуречия, была основана на его художественной натуре. Потребность гармонии, стройности, наслаждения делает их снисходительными к средствам; чтоб не видать колодца, они покрывают его холстом. Холст не выдержит напора, но зияющая пропасть не мешает глазу. Этим путем немцы доходили до пантеистического квиетизма и опочили на нем; но такой даровитый русский, как Станкевич, не остался бы надолго «мирным».

Это видно из первого вопроса, который невольно тревожит Станкевича тотчас после курса.

Срочные занятия окончены, он предоставлен себе, его не ведут, но *он не знает, что ему делать*. Продолжать нечего было, кругом никто и ничто не звало живого человека.

Юноша, пришедший в себя и успевший оглядеться после школы, находился в тогдашней России в положении путника, просыпающегося в степи: ступай куда хочешь — есть следы, есть кости погибнувших, есть дикие звери и пустота во все стороны, грозящая тупой опасностью, в которой погибнуть легко, а бороться невозможно. Единственная вещь, которую можно было продолжать честно и с любовью,— это *ученье*.

И вот Станкевич натягивает ученые занятия; он думает, что его призвание — быть историком, и он начинает заниматься Геродотом; из этого занятия, можно было предвидеть, ничего не выйдет [50].

Хотелось бы ему и в Петербург, где так кипит *какая-то* деятельность и куда его манит театр и близость к Европе; хотелось бы ему побывать почетным смотрителем училища в Острогожске, он решается быть полезным «на этом скромном поприще» — это еще меньше Геродота удастся. Его, в сущности, тянет в Москву, в Германию, в родной университетский круг, к родным интересам. Без близких людей он жить не мог (новое доказательство, что около не было близких интересов). Потребность сочувствия так сильна у Станкевича, что он иногда выдумывал сочувствие и таланты, видел в людях такие качества, которых не было в них вовсе, и удивлялся им *.

Но — и в этом его личная мощь — ему вообще не часто нужно было прибегать к таким фикциям; он на каждом шагу встречал удивительных людей, *умел их* встречать, и каждый, поделившийся его душою, оставался на всю жизнь страстным другом его, и каждому своим влиянием он сделал или огромную пользу или облегчил ношу.

В Воронеже Станкевич захаживал иногда в единственную тамошнюю библиотеку за книгами. Там он встречал бедного молодого человека простого звания, скромного, печального. Оказалось, что это сын прасола, имевшего дела с отцом Станкевича по поставкам. Он приголубил молодого человека; сын прасола был большой начетчик и любил поговорить о книгах. Станкевич сблизился с ним. Застенчиво и боязливо признался юноша, что он и сам пробовал писать стишки, и, краснея, решился их показать. Станкевич обомлел перед громадным талантом, не сознающим себя, не уверенным в себе. С этой минуты он его не выпускал из рук до тех пор, пока вся Россия с вос-

---

* Клюшников пластически выразил это следующим замечанием: «Станкевич — серебряный рубль, завидующий величине медного пятака» (Анненков. Биография Станкевича. стр. 133).

торгом перечитывала песни Кольцова. Весьма может быть, что бедный прасол, теснимый родными, не отогретый никаким участием, ничьим признанием, изошел бы своими песнями в пустых степях заволжских, через которые он гонял свои гурты, и Россия не услышала бы этих чудных, кровнородных песен, если б на его пути не стоял Станкевич.

Бакунин, кончив курс в артиллерийском корпусе, был выпущен в гвардию офицером. Его отец, говорят, сердясь на него, сам просил, чтобы его перевели в армию; брошенный в какой-то потерянной белорусской деревне, с своим парком, Бакунин одичал, сделался нелюдимом, не исполнял службы и дни целые лежал в тулупе на своей постели. Начальник парка жалел его, но делать было нечего; он ему напомнил, что надобно или служить, или идти в отставку. Бакунин не подозревал, что он имеет на это право, и тотчас попросил его уволить. Получив отставку, Бакунин приехал в Москву; с этого времени (около 1836) началась для Бакунина серьезная жизнь. Он прежде ничем не занимался, ничего не читал и едва знал по-немецки [51] С большими диалектическими способностями, с упорным, настойчивым даром мышления, он блуждал, без плана и компаса, в фантастических построениях и аутодидактических попытках. Станкевич понял его таланты и засадил его за философию. Бакунин по Канту и Фихте выучился по-немецки и потом принялся за Гегеля, которого методу и логику он усвоил в совершенстве — и кому не проповедовал ее потом? Нам и Белинскому, дамам и Прудону.

Но Белинский черпал столько же из самого источника; взгляд Станкевича на художество, на поэзию и ее отношение к жизни вырос в статьях Белинского в ту новую мощную критику, в то новое воззрение на мир, на жизнь, которое поразило все мыслящее в России и заставило с ужасом отпрянуть от Белинского всех педантов и доктринеров. Белинского Станкевичу приходилось заарканивать; увлекающийся за все пределы талант его, страстный, беспощадный, злой от нетерпимости, оскорблял эстетически уравновешенную натуру Станкевича.

И в то же время ему приходилось служить опорой, быть старшим братом, ободрять Грановского, тихого, любящего, задумчивого и расхандрившегося тогда. Письма Станкевича к Грановскому изящны, прелестны — и как же его любил Грановский!

«Я еще не опомнился от первого удара,— писал Грановский вскоре после кончины Станкевича,— настоящее горе еще не трогало меня: боюсь его впереди. Теперь все еще не

верю в возможность потери — только иногда сжимается сердце. Он унес с собой что-то необходимое для моей жизни. Никому на свете не был я так много обязан. Его влияние на нас было бесконечно и благотворно» [52].

...И сколько человек могли сказать это! Может, сказали!..

В станкевичевском кругу только он и Боткин были достаточные и совершенно обеспеченные люди. Другие представляли самый разнообразный пролетариат. Бакунину родные не давали ничего; Белинский — сын мелкого чиновника в Чембарах, исключенный из Московского университета «за слабые способности»,— жил скудной платой за статьи. Красов, окончив курс, как-то поехал в какую-то губернию к помещику *на кондицию,* но жизнь с патриархальным плантатором так его испугала, что он пришел пешком назад в Москву, *с котомкой за спиной,* зимою, в обозе чьих-то крестьян. Вероятно, каждому из них отец с матерью, благословляя на жизнь, говорили — и кто осмелится упрекнуть их за это? —:«Ну, смотри же, учись хорошенько; а выучишься, прокладывай себе дорогу, тебе неоткуда ждать наследства, нам тебе тоже нечего дать, устроивай сам свою судьбу, да и об нас подумай». С другой стороны, вероятно, Станкевичу говорили о том, что он по всему может занять в обществе почетное место, что он призван, по богатству и рождению, играть роль, так, как Боткину всё в доме, начиная от старика отца до приказчиков, толковало словом и примером о том, что надобно ковать деньги, наживаться и наживаться.

Что же коснулось этих людей, чье дыхание пересоздало их? Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких личных выгод; одни забывают свое богатство, другие свою бедность — и идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес науки, интерес искусства, humanitas [53] — поглощает все.

И заметьте, что это отрешение от мира сего вовсе не ограничивалось университетским курсом и двумя-тремя годами юности. Лучшие люди круга Станкевича умерли; другие остались, какими были до нынешнего дня. Бойцом и нищим пал, изнуренный трудом и страданиями, Белинский. Проповедуя науку и гуманность, умер, идучи на свою кафедру, Грановский. Боткин не сделался в самом деле купцом... Никто из них *не отличился* по службе.

То же самое в двух смежных кругах — в славянском и в нашем. Где, в каком углу современного Запада, найдете

вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремленья вечно юны?

Где? Укажите! Я бросаю смело перчатку, исключаю только *на время* одну страну, Италию, и отмерю шаги поля битвы, т. е. не выпущу противника из статистики в историю.

Что такое был теоретический интерес и страсть истины и религии во времена таких мучеников разума и науки, как Бруно, Галилей и пр., мы знаем. Знаем и то, что́ была Франция энциклопедистов во второй половине XVIII века,— а далее? А далее — sta, viator! [54]

В современной Европе нет юности и нет юношей. Мне на это уже возражал самый блестящий представитель Франции последних годов Реставрации и июльской династии, Виктор Гюго. Он, собственно, говорил о молодой Франции двадцатых годов, и я готов согласиться, что я слишком обще выразился *; но далее я и ему ни шагу не уступлю. Есть собственные признания. Возьмите «Les mémoires d'un enfant du siècle» [56] и стихотворения Альфреда де Мюссе, восстановите ту Францию, которая просвечивает в записках Ж. Санда, в современной драме и повести, в процессах.

Но что же доказывает все это? — Многое, но на первый случай то, что немецкой работы китайские башмаки, в которых Россию водят полтораста лет, натерли много мозолей, но, видно, костей не повредили, если всякий раз, когда удается расправить члены, являются такие свежие и молодые силы. Это нисколько не обеспечивает будущего, но делает его крайне *возможным*.

---

* В. Гюго, прочитав «Былое и думы» в переводе Делаво, писал мне письмо в защиту французских юношей времен Реставрации [55].

ГЛАВА XXX
НЕ НАШИ

Славянофилы и панславизм.— Хомяков, Киреевские, К. Аксаков.— П. Я. Чаадаев

> Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но *неодинакая*... И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как *сердце билось одно.*
>
> «Колокол», лист 90 (На смерть К. С. Аксакова) [1]

I

Рядом с нашим кругом были наши противники, nos amis les ennemis, или, вернее, nos ennemis les amis [2] — московские славянофилы.

Борьба между нами давно кончилась, и мы протянули друг другу руки; но в начале сороковых годов мы должны были встретиться враждебно — этого требовала последовательность нашим началам. Мы могли бы не ссориться из-за их детского поклонения детскому периоду нашей истории; но, принимая за серьезное их православие, но, видя их церковную нетерпимость в обе стороны,— в сторону науки и в сторону раскола,— мы должны были враждебно стать против них. Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной византийской церкви.

На славянофилах лежит грех, что мы долго не понимали ни народа русского, ни его истории; их иконописные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народный быт и основы сельской жизни.

Православие славянофилов, их исторический патриотизм и преувеличенное, раздражительное чувство народности были вызваны крайностями в другую сторону. Важность их воззрения, его истина и существенная часть вовсе не в православии и не в исключительной народности, а в тех *стихиях* русской жизни, которые они открыли под удобрением искусственной цивилизации.

Идея народности, сама по себе,— идея консервативная, выгораживание своих прав, противуположение себя другому; в ней есть и юдаическое понятие о превосходстве

племени, и аристократические притязания на чистоту крови и на майорат. Народность как знамя, как боевой крик только тогда окружается революционной ореолой, когда народ борется за независимость, когда свергает иноземное иго. Оттого-то национальные чувства, со всеми их преувеличениями, исполнены поэзии в Италии, в Польше и в то же время пошлы в Германии.

Нам доказывать нашу народность было бы еще смешнее, чем немцам: в ней не сомневаются даже те, которые нас бранят, они нас ненавидят от страха, но не отрицают, как Меттерних отрицал Италию [3] Нам надо было противупоставить нашу народность против онемеченного правительства и своих ренегатов. Эту домашнюю борьбу нельзя было поднять до эпоса. Появление славянофилов как школы и как особого ученья было совершенно на месте; но если б у них не нашлось другого знамени, как православная хоругвь, другого идеала, как «Домострой» и очень русская, но чрезвычайно тяжелая жизнь допетровская, они прошли бы курьезной партией оборотней и чудаков, принадлежащих другому времени. Сила и будущность славянофилов лежала не там. Клад их, может, и был спрятан в церковной утвари старинной работы, но ценность-то его была не в сосуде и не в форме. Они не делили их сначала.

К собственным историческим воспоминаниям прибавились воспоминания всех единоплеменных народов. Сочувствие к западному панславизму приняли наши славянофилы за тождество дела и направления, забывая, что там исключительный национализм был с тем вместе воплем притесненного чужестранным игом народа. Западный панславизм, при появлении своем, был принят самим австрийским правительством за шаг консервативный. Он развился в печальную эпоху Венского конгресса. Это было, вообще, время всяческих воскрешений и восстановлений, время всевозможных Лазарей, свежих и смердящих. Рядом с Тейчтумом [4], шедшим на воскресение *счастливых* времен Барбароссы и Гогенштауфенов, явился чешский панславизм. Правительства были рады этому направлению и сначала поощряли развитие международных ненавистей; массы снова лепились около племенного родства, узел которого затягивался туже, и снова отдалялись от общих требований улучшения своего быта; границы становились непроходимее, связь и сочувствие между народами обрывались. Само собой разумеется, что одним апатическим или слабым народностям позволяли просыпаться и именно до тех пор, пока деятельность их ограничивалась учено-археографическими занятиями и этимологическими спорами. В Милане,

в Польше, где национальность никак не ограничилась бы грамматикой, ее держали в ежовых рукавицах.

Чешский панславизм подзадорил славянские сочувствия в России.

Славянизм, или русицизм, не как теория, не как учение, а как оскорбленное народное чувство, как темное воспоминание и верный инстинкт, как противудействие исключительно иностранному влиянию, существовал со времени обрития первой бороды Петром I.

Противудействие петербургскому терроризму образования никогда не перемежалось: казненное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там пристреленное Меншиковым и другими царскими *потешниками*, в виде буйных стрельцов, отравленное в равелине Петербургской крепости, в виде царевича Алексея, оно является как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам при Бироне, как Пугачев при Екатерине II, как сама Екатерина II, православная немка при прусском голштинце Петре III, как Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтоб сесть на престол (народ в Москве ждал, что при ее коронации изобьют всех немцев).

Все раскольники — славянофилы.

Все белое и черное духовенство — славянофилы другого рода.

Солдаты, требовавшие смены Барклая-де-Толля за его немецкую фамилию, были предшественники Хомякова и его друзей.

Война 1812 года сильно развила чувство народного сознания и любви к родине, но патриотизм 1812 года не имел старообрядчески-славянского характера. Мы его видим в Карамзине и Пушкине, в самом императоре Александре. Практически он был выражением того инстинкта силы, который чувствуют все могучие народы, когда чужие их задевают; потом это было торжественное чувство победы, гордое сознание данного отпора. Но теория его была слаба; для того чтоб любить русскую историю, патриоты ее перекладывали на европейские нравы; они, вообще, переводили с французского на русский язык римско-греческий патриотизм и не шли далее стиха:

Pour un coeur bien né, que la patrie est chère! [5]

Правда, Шишков бредил уже и тогда о восстановлении старого слога, но влияние его было ограниченно. Что же касается до настоящего народного слога, его знал один офранцуженный граф Ростопчин в своих прокламациях и воззваниях [6].

По мере того как война забывалась, патриотизм этот утихал и выродился наконец, с одной стороны, в подлую, циническую лесть «Северной пчелы», с другой — в пошлый загоскинский патриотизм, называющий Шую — Манчестером, Шебуева — Рафаэлем, хвастающий штыками и пространством от льдов Торнео до гор Тавриды... [7]

При Николае патриотизм превратился в что-то кнутовое, полицейское, особенно в Петербурге, где это дикое направление окончилось, сообразно космополитическому характеру города, *изобретением* народного гимна по Себастиану Баху * и Прокопием Ляпуновым — по Шиллеру **.

Для того чтоб отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря, Николай, с своей стороны, поднял хоругвь *православия, самодержавия и народности,* отделанную на манер прусского штандарта и поддерживаемую чем ни попало — дикими романами Загоскина, дикой иконописью, дикой архитектурой, Уваровым, преследованием униат и «Рукой всевышнего отечество спасла» [11].

Встреча московских славянофилов с петербургским славянофильством Николая была для них большим не-

---

* Сперва народный гимн пели пренаивно на голос «God save the King» [8], да, сверх того, его и не пели почти никогда. Все это — нововведения николаевские. С польской войны велели в царские дни и на больших концертах петь народный гимн, составленный *корпуса жандармов* полковником Львовым.

Император Александр I был слишком хорошо воспитан, чтоб любить грубую лесть; он с отвращением слушал в Париже презрительные и ползающие у ног победителя речи академиков. Раз, встретив в своей передней Шатобриана, он ему показал последний номер «Journal des Débats» и прибавил: «Я вас уверяю, что таких плоских низостей я ни разу не видал ни в одной русской газете». Но при Николае нашлись литераторы, которые оправдали его монаршее доверие и заткнули за пояс всех журналистов 1814 года, даже некоторых префектов 1852. Булгарин писал в «Северной пчеле», что, между прочими выгодами железной дороги между Москвой и Петербургом, он не может без умиления вадумать, что один и тот же человек будет в возможности утром отслужить молебен о здравии государя императора в Казанском соборе, а вечером другой — в Кремле! Казалось бы, трудно превзойти эту страшную нелепость, но нашелся в Москве литератор, перещеголявший Фаддея Бенедиктовича. В один из приездов Николая в Москву один ученый профессор написал статью [9], в которой он, говоря о массе народа, толпившейся перед дворцом, прибавляет, что стоило бы царю изъявить малейшее желание — и эти тысячи, пришедшие лицезреть его, радостно бросились бы в Москву-реку. Фразу эту вымарал граф С. Г. Строгонов, *рассказывавший мне* этот милый анекдот.

** Я был на первом представлении «Ляпунова» в Москве [10] и видел, как Ляпунов засучивает рукава и говорит что-то вроде «потешусь я в польской крови». Глухой стон отвращения вырвался из груди всего партера; даже жандармы, квартальные и люди кресел, на которых нумера как-то *стерты,* не нашли сил аплодировать.

счастием. Николай бежал в народность и православие от революционных идей. Общего между ними ничего не было, кроме слов. Их крайности и нелепости все же были бескорыстно нелепы и без всякого отношения к III отделению или к управе благочиния. Что, разумеется, нисколько не мешало их нелепостям быть чрезвычайно нелепыми.

Так, например, в конце тридцатых годов был в Москве, проездом, панславист Гай [12], игравший потом какую-то неясную роль как кроатский агитатор и в то же время близкий человек бана Иеллачича. Москвитяне верят вообще всем иностранцам. Гай был больше, чем иностранец, больше, чем свой,— он был то и другое. Ему, стало быть, не трудно было разжалобить наших славян судьбою страждущей и православной братии в Далмации и Кроации; огромная подписка была сделана в несколько дней, и, сверх того, Гаю был дан обед во имя всех сербских и русняцких симпатий. За обедом один из нежнейших по голосу и по занятиям славянофилов [13], человек *красного* православия, разгоряченный, вероятно, тостами за черногорского владыку, за разных великих босняков, чехов и словаков, импровизировал стихи, в которых было следующее, не вовсе христианское выражение:

Упьюся я кровью мадьяров и немцев.

Все неповрежденные с отвращением услышали эту фразу. По счастию, остроумный статистик Андросов выручил кровожадного певца; он вскочил с своего стула, схватил десертный ножик и сказал: «Господа, извините меня, я вас оставлю на минуту; мне пришло в голову, что хозяин моего дома, старик настройщик Диц,— немец; я сбегаю его прирезать и сейчас возвращусь».

Гром смеха заглушил негодование.

В такую-то кровожадную в *тостах* партию сложились московские славяне во время нашей ссылки и моей жизни в Петербурге и Новгороде.

Страстный и вообще полемический характер славянской партии особенно развился вследствие критических статей Белинского; и еще прежде них они должны были сомкнуть свои ряды и высказаться при появлении «Письма» Чаадаева и шуме, который оно вызвало.

«Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет,— все равно надобно было проснуться.

Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в еже-

месячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнувшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горе от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга, Николай. Петровский период переломился с двух концов. Пустое место, оставленное сильными людьми, сосланными в Сибирь, не замещалось. Мысль томилась, работала,— но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно — да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтоб спокойно сказать свое lasciate ogni speranza [14].

Летом 1836 года я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последнюю книжку «Телескопа» [15]. Надобно жить в ссылке и глуши, чтоб оценить, что значит новая книга. Я, разумеется, бросил все и принялся разрезывать «Телескоп» — «Философские письма», писанные к даме, без подписи. В подстрочном замечании было сказано, что письма эти писаны русским по-французски, т. е. что это перевод. Все это скорее предупредило меня против статьи, чем в ее пользу, и я принялся читать «критику» и «смесь».

Наконец дошел черед и до «Письма». Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда... Читаю далее — «Письмо» растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце.

Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал. И это напечатано по-русски, неизвестным автором... Я боялся, не сошел ли я с ума. Потом я перечитывал «Письмо» Витбергу, потом С[кворцову], молодому учителю вятской гимназии, потом опять себе.

Весьма вероятно, что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах. Имя автора я узнал через несколько месяцев.

Долго оторванная от народа часть России пострадала молча, под самым прозаическим, бездарным, ничего не

дающим в замену игом. Каждый чувствовал гнет, у каждого было *что-то* на сердце, и все-таки все молчали; наконец пришел человек, который по-своему сказал *что*. Он сказал только про боль, светлого ничего нет в его словах, да нет ничего и во взгляде. «Письмо» Чаадаева — безжалостный крик боли и упрека петровской России; она имела право на него: разве эта среда жалела, щадила автора или кого-нибудь?

Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию или он был бы совершенно прав, говоря, что прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет, что это «пробел разумения, грозный урок, данный народам,— до чего отчуждение и рабство могут довести» [16]. Это было покаяние и обвинение; знать вперед, *чем* примириться,— не дело раскаяния, не дело протеста, или сознание в вине — шутка, и искупление — неискренно.

Но оно и не прошло так: на минуту все, даже сонные и забитые, отпрянули, испугавшись зловещего голоса. Все были изумлены, большинство оскорблено, человек десять громко и горячо рукоплескали автору. Толки в гостиных предупредили меры правительства, накликали их. Немецкого происхождения русский патриот Вигель (известный не с лицевой стороны по эпиграмме Пушкина) пустил дело в ход [17].

Обозрение было тотчас запрещено; Болдырев, старик ректор Московского университета и цензор, был отставлен; Надеждин, издатель, сослан в Усть-Сысольск; Чаадаева Николай приказал объявить *сумасшедшим* и обязать подпиской *ничего* не писать. Всякую субботу приезжал к нему доктор и полицмейстер, они свидетельствовали его и делали донесение, т. е. выдавали за своей подписью *пятьдесят два фальшивых свидетельства по высочайшему повелению*,—умно и нравственно. Наказанные, разумеется, были они; Чаадаев с глубоким презрением смотрел на эти шалости в самом деле поврежденного своеволья власти. Ни доктор, ни полицмейстер никогда не заикались, зачем они приезжали.

Я видел Чаадаева прежде моей ссылки один раз. Это было в самый день взятия Огарева. Я упомянул, что в тот день у М. Ф. Орлова был обед. Все гости были в сборе, когда взошел, холодно кланяясь, человек, которого оригинальная наружность, красивая и самобытно резкая, должна была каждого остановить на себе. Орлов взял меня за руку и представил; это был Чаадаев. Я мало помню об этой первой встрече, мне было не до него; он был, как всегда, холоден,

серьезен, умен и зол. После обеда Раевская, мать Орловой, сказала мне:

— Что вы так печальны? Ах, молодые люди, молодые люди, какие вы нынче стали!

— А вы думаете,— сказал Чаадаев,— что нынче еще есть молодые люди?

Вот все, что осталось у меня в памяти.

Возвратившись в Москву, я сблизился с ним, и с тех пор до отъезда мы были с ним в самых лучших отношениях.

Печальная и самобытная фигура Чаадаева резко отделяется каким-то грустным упреком на линючем и тяжелом фонде московской high life [18]. Я любил смотреть на него середь этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не исказили стройного стана его, он одевался очень тщательно, бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамора, «чело, как череп голый» [19], серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и — воплощенным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть, потом сказал свое слово, спокойно спрятав, как прятал в своих чертах, страсть под ледяной корой. Потом опять умолк, опять являлся капризным, недовольным, раздраженным, опять тяготел над московским обществом и опять не покидал его. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения. Что же заставляло их принимать, его звать... и, еще больше, ездить к нему? Вопрос очень серьезный.

Чаадаев не был богат, особенно в последние годы; он не был и знатен: ротмистр в отставке с железным кульмским крестом на груди [20]. Он, правда, по словам Пушкина,

> в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес,
> Но здесь, под гнетом власти царской,
> Он только офицер гусарской... [21]

Знакомство с ним могло только компрометировать человека в глазах правительствующей полиции. Откуда же шло влияние, зачем в его небольшом, скромном кабинете, в Старой Басманной [22], толпились по понедельникам «ту-

зы» Английского клуба, патриции Тверского бульвара? Зачем модные дамы заглядывали в келью угрюмого мыслителя, зачем генералы, не понимающие ничего штатского, считали себя обязанными явиться к старику, неловко прикинуться образованными людьми и хвастаться потом, перевирая какое-нибудь слово Чаадаева, сказанное на их же счет? Зачем я встречал у него дикого *Американца* Толстого и дикого генерал-адъютанта Шипова, уничтожавшего просвещение в Польше?

Чаадаев не только не делал им уступок, но теснил их и очень хорошо давал им чувствовать расстояние между им с ними *. Разумеется, что люди эти ездили к нему и звали на свои рауты из тщеславия, но до этого дела нет; тут важно невольное сознание, что мысль стала мощью, имела свое почетное место вопреки высочайшему повелению. Насколько власть «безумного» ротмистра Чаадаева была признана, настолько «безумная» власть Николая Павловича была уменьшена.

Чаадаев имел свои странности, свои слабости, он был озлоблен и избалован. Я не знаю общества менее снисходительного, как московское, более исключительного; именно поэтому оно смахивает на провинциальное и напоминает недавность своего образования. Отчего же человеку в пятьдесят лет, одинокому, лишившемуся почти всех друзей, потерявшему состояние, много жившему мыслию, часто огорченному, не иметь своего обычая, свои причуды?

Чаадаев был адъютантом Васильчикова во время известного семеновского дела [23]. Государь находился тогда, помнится, в Вероне или в Аахене на конгрессе [24]. Васильчиков послал Чаадаева с рапортом к нему, и он как-то

---

* Чаадаев часто бывал в Английском клубе. Раз как-то морской министр Меншиков подошел к нему со словами:

— Что это, Петр Яковлевич, старых знакомых не узнаете?

— Ах, это вы! — отвечал Чаадаев.— Действительно, не узнал. Да и что это у вас черный воротник, прежде, кажется, был красный?

— Да разве вы не знаете, что я морской министр?

— Вы? Да я думаю, вы никогда шлюпкой не управляли.

— Не черти горшки обжигают,— отвечал несколько недовольный Меншиков.

— Да разве на этом основании,— заключил Чаадаев.

Какой-то сенатор сильно жаловался на то, что очень занят.

— Чем же? — спросил Чаадаев.

— Помилуйте, одно чтение записок, дел,— и сенатор показал аршин от полу.

— Да ведь вы их не читаете.

— Нет, иной раз и очень, да потом все же иногда надобно подать свое мнение.

— Вот в этом я уж никакой надобности не вижу,— заметил Чаадаев.

опоздал часом или двумя и приехал позже курьера, посланного австрийским посланником Лебцельтерном. Государь, раздраженный делом, увлекаемый тогда окончательно в реакцию Меттернихом, который с радостью услышал о семеновской истории, очень дурно принял Чаадаева, бранился, сердился и потом, опомнившись, велел ему предложить звание флигель-адъютанта; Чаадаев отклонил эту честь и просил одной милости — отставки. Разумеется, это очень не понравилось, но отставка была дана [25].

Чаадаев не торопился в Россию; расставшись с золоченым мундиром, он принялся за науку. Умер Александр, случилось 14 декабря (отсутствие Чаадаева спасло его от вероятного преследования *); около 1830 года он возвратился [27].

В Германии Чаадаев сблизился с Шеллингом; это знакомство, вероятно, много способствовало, чтоб навести его на мистическую философию [28]. Она у него развилась в революционный католицизм, которому он остался верен на всю жизнь. В своем «Письме» он половину бедствий России относит на счет греческой церкви, на счет ее отторжения от всеобъемлющего западного единства.

Как ни странно для нас такое мнение, но не надобно забывать, что католицизм имеет в себе большую тягучесть. Лакордер проповедовал католический социализм, оставаясь доминиканским монахом; ему помогал Шеве, оставаясь сотрудником «Voix du Peuple». В сущности, неокатолицизм не хуже риторического деизма, этой не-религии и неведения, этой умеренной теологии образованных мещан, «атеизма, окруженного религиозными учреждениями».

Если Ронге и последователи Бюше еще возможны после 1848 года, после Фейербаха и Прудона, после Пия IX и Ламенне, если одна из самых энергических партий движения ставит мистическую формулу на своем знамени, если до сих пор есть люди, как Мицкевич, как Красинский, продолжающие быть мессианистами,— то дивиться нечему, что подобное учение привез с собою Чаадаев из Европы двадцатых годов. Мы ее несколько забыли; стоит вспомнить «Историю» Волабеля, «Письма» леди Морган, «Записки» Адриани, Байрона, Леопарди, чтобы убедиться, что это была одна из самых тяжелых эпох истории. Революция оказалась несостоятельной, грубый монархизм, с одной стороны, цинически хвастался своей властию; лукавый монархизм, с другой, целомудренно прикрывался листом

* Теперь мы знаем достоверно, что Чаадаев был членом общества, из «Записок» Якушкина [26].

хартии; едва только, и то изредка, слышались песни освобождающихся эллинов, какая-нибудь энергическая речь Каннинга или Ройе-Коллара.

В протестантской Германии образовалась тогда католическая партия, Шлегель и Лео меняли веру, старый Ян и другие бредили о каком-то народном и демократическом католицизме. Люди спасались от настоящего в средние века, в мистицизм — читали Эккартсгаузена, занимались магнетизмом и чудесами князя Гогенлоэ; Гюго, враг католицизма, столько же помогал его восстановлению, как тогдашний Ламенне, ужасавшийся бездушному индифферентизму своего века.

На русского такой католицизм должен был еще сильнее подействовать. В нем было формально все то, чего недоставало в русской жизни, оставленной на себя, сгнетенной одной материальной властью и ищущей путь собственным чутьем. Строгий чин и гордая независимость западной церкви, ее оконченная ограниченность, ее практические приложения, ее безвозвратная уверенность и мнимое снятие всех противуречий своим высшим единством, своей вечной фата-морганой, своим urbi et orbi [29], своим презрением светской власти должно было легко овладеть умом пылким и начавшим свое серьезное образование в совершенных летах.

Когда Чаадаев возвратился, он застал в России другое общество и другой тон. Как молод я ни был, но я помню, как наглядно высшее общество пало и стало грязнее, раболепнее с воцарением Николая. Аристократическая независимость, гвардейская удаль александровских времен — все это исчезло с 1826 годом.

Были иные всходы, подседы, еще не совсем известные самим себе, еще ходившие с раскрытой шеей à l'enfant [30] или учившиеся по пансионам и лицеям; были молодые литераторы, начинавшие пробовать свои силы и свое перо, но все это еще было скрыто и не в том мире, в котором жил Чаадаев.

Друзья его были на каторжной работе; он сначала оставался совсем один в Москве, потом вдвоем с Пушкиным, наконец, втроем с Пушкиным и Орловым. Чаадаев показывал часто, после смерти обоих, два небольшие пятна на стене над спинкой дивана: тут они прислоняли голову!

Безмерно печально сличение двух посланий Пушкина к Чаадаеву; между ними прошла не только их жизнь, но целая эпоха, жизнь целого поколения, с надеждою ринувшегося вперед и грубо отброшенного назад. Пушкин-юноша говорит своему другу:

Товарищ, верь: взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена [31].

Но заря не взошла, а взошел Николай на трон, и Пушкин пишет:

Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
...Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена! [32]

В мире не было ничего противуположнее славянам, как безнадежный взгляд Чаадаева, которым он мстил русской жизни, как его обдуманное, выстраданное, проклятие ей, которым он замыкал свое печальное существование и существование целого периода русской истории. Он должен был возбудить в них сильную оппозицию, он горько и уныло-зло оскорблял все дорогое им, начиная с Москвы.

«В Москве,— говаривал Чаадаев,— каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором достопримечательности отличаются нелепостью; или, может, этот большой колокол без языка — гиероглиф, выражающий эту огромную немую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя *славянами,* как будто удивляясь, что имеет слово человеческое» *.

Чаадаев и славяне равно стояли перед неразгаданным сфинксом русской жизни,— сфинксом, спящим под солдатской шинелью и под царским надзором; они равно спрашивали: «Что же из этого будет? Так жить невозможно: тягость и нелепость настоящего очевидны, невыносимы — где же выход?»

«Его нет»,— отвечал человек петровского периода, исключительно западной цивилизации, веривший при Александре в европейскую будущность России. Он печаль-

---

* «В дополнение к тому,— говорил он мне в присутствии Хомякова,— они хвастаются даром слова, а во всем племени говорит один Хомяков».

но указывал, к чему привели усилия целого века: образование дало только новые средства угнетения, церковь сделалась одною тенью, под которой покоится полиция; народ все выносит, все терпит, правительство все давит и гнетет. «История других народов — повесть их освобождения. Русская история — развитие крепостного состояния и самодержавия». Переворот Петра сделал из нас худшее, что можно сделать из людей,— *просвещенных* рабов. Довольно мучились мы в этом тяжелом, смутном нравственном состоянии, не понятые народом, побитые правительством,— пора отдохнуть, пора свести мир в свою душу, прислониться к чему-нибудь... Это почти значило «пора умереть», и Чаадаев думал найти обещанный всем страждущим и обремененным покой в католической церкви.

С точки зрения западной цивилизации, так, как она выразилась во время реставраций, с точки зрения петровской Руси, взгляд этот совершенно оправдан. Славяне решили вопрос иначе.

В их решении лежало верное сознание *живой души* в народе, чутье их было проницательнее их разумения. Они поняли, что современное состояние России, как бы тягостно ни было,— *не смертельная болезнь*. И в то время как у Чаадаева слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа, у славян явно проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение народа.

«Выход за нами,— говорили славяне,— выход в отречении от петербургского периода, в возвращении к народу, с которым нас разобщило иностранное образование, иностранное правительство; *воротимся* к прежним нравам!»

Но история не возвращается; жизнь богата тканями, ей никогда не бывают нужны старые платья. Все восстановления, все реставрации были всегда маскарадами. Мы видели две: ни легитимисты не возвратились к временам Людовика XIV, ни республиканцы — к 8 термидору. Случившееся стоит писаного — его не вырубишь топором.

Нам, сверх того, не к чему возвращаться. Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика — а к ней-то и хотели славяне возвратиться, хотя они и не признаются в этом; как же иначе объяснить все археологические воскрешения, поклонение нравам и обычаям прежнего времени и самые попытки возвратиться не к современной (и превосходной) одежде крестьян, а к старинным неуклюжим костюмам?

Во всей России, кроме славянофилов, никто не носит

мурмолок. А К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина, как рассказывал, шутя, Чаадаев.

Возвращение к народу они тоже поняли грубо, в том роде, как большая часть западных демократов: принимая *его совсем готовым.* Они полагали, что делить предрассудки народа — значит быть с ним в единстве, что жертвовать своим разумом, вместо того чтоб развивать разум в народе,— великий акт смирения. Отсюда натянутая набожность, исполнение обрядов, которые при наивной вере трогательны и оскорбительны, когда в них видна преднамеренность. Лучшее доказательство, что возвращение славян к народу не было действительным, состоит в том, что они не возбудили в нем никакого сочувствия. Ни византийская церковь, ни Грановитая палата ничего больше не дадут для будущего развития славянского мира. Возвратиться к селу, к артели работников, к мирской сходке, к казачеству — другое дело; но возвратиться не для того, чтоб их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтоб развить, освободить начала, на которых они основаны, очистить от всего наносного, искажающего, от дикого мяса, которым они обросли,— в этом, конечно, наше призвание. Но не надобно ошибаться, все это далеко за *пределом* государства; московский период так же мало поможет тут, как петербургский; он же никогда и не был лучше его. Новгородский вечевой колокол был только перелит в пушку Петром, а снят с колокольни Иоанном Васильевичем; крепостное состояние только закреплено ревизией при Петре, а введено Годуновым; в «Уложении» [33] уже нет и помину целовальников, и кнут, батоги, плети являются гораздо прежде шпицрутенов и фухтелей.

Ошибка славян состояла в том, что им кажется, что Россия имела когда-то свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и наконец петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития и *не могла иметь.* То, что приходит теперь к сознанию у нас, то, что начинает мерцать в мысли, в предчувствии, то, что существовало бессознательно в крестьянской избе и на поле, то теперь *только* всходит на пажитях истории, утученных кровью, слезами и потом двадцати поколений.

Это основы нашего быта — не воспоминания, это живые стихии, существующие не в летописях, а в настоящем; но они только *уцелели* под трудным историческим выработыванием государственного единства и под государственным гнетом только сохранились, но не развились. Я даже сомневаюсь, нашлись ли бы внутренние силы для их развития без

петровского периода, без периода европейского образования.

Непосредственных основ быта недостаточно. В Индии до сих пор и спокон века существует сельская община, очень сходная с нашей и основанная на разделе полей; однако индийцы с ней недалеко ушли.

Одна мощная мысль Запада, к которой примыкает вся длинная история его, в состоянии оплодотворить зародыши, дремлющие в патриархальном быту славянском. Артель и сельская община, раздел прибытка и раздел полей, мирская сходка и соединение сел в волости, управляющиеся сами собой,— все это краеугольные камни, на которых созиждется храмина нашего будущего свободно-общинного быта. Но эти краеугольные камни — все же камни... и без западной мысли наш будущий собор остался бы при одном фундаменте.

Такова судьба всего истинно *социального,* оно невольно влечет к круговой поруке народов... Отчуждаясь, обособляясь, одни остаются при диком общинном быте, другие — при отвлеченной мысли коммунизма, которая, как христианская душа, носится над разлагающимся телом.

Восприимчивый характер славян, их *женственность,* недостаток самодеятельности и большая способность усвоения и пластицизма делают их по преимуществу народом, нуждающимся в других народах, они не вполне довлеют себе. Оставленные на себя, славяне легко «убаюкиваются своими песнями», как заметил один византийский летописец, «и дремлют». Возбужденные другими, они идут до крайних следствий; нет народа, который глубже и полнее усвоивал бы себе мысль других народов, оставаясь самим собою. Того упорного непониманья друг друга, которое существует теперь, как за тысячу лет, между народами германскими и романскими, между ими и славянами нет. В этой симпатичной, легко усвояющей, воспринимающей натуре лежит необходимость отдаваться и быть увлекаемым.

Чтобы сложиться в княжество, России были нужны варяги.

Чтобы сделаться государством — монголы.

Европеизм развил из царства московского колоссальную империю петербургскую.

«Но при всей своей восприимчивости не оказали ли славяне везде полнейшую неспособность к развитию *современного* европейского, государственного чина, постоянно впадая или в отчаяннейший деспотизм или в безвыходное неустройство?»

Эта неспособность и эта неполнота — великие *таланты* в наших глазах.

Вся Европа пришла теперь к необходимости деспотизма, чтоб как-нибудь удержать современный государственный быт против напора социальных идей, стремящихся водворить новый чин, к которому Запад, боясь и упираясь, все-таки несется с неведомой силой.

Было время, когда полусвободный Запад гордо смотрел на Россию, раздавленную императорским троном, и образованная Россия, вздыхая, смотрела на счастие старших братий. Это время прошло. Равенство рабства водворилось.

Мы присутствуем теперь при удивительном зрелище: страны, где остались еще свободные учреждения, и те напрашиваются на деспотизм. Человечество не видало ничего подобного со времен Константина, когда свободные римляне, чтоб спастись от общественной тяги, просились в рабы.

Деспотизм или социализм — выбора нет.

А между тем Европа показала удивительную *неспособность* к социальному перевороту.

Мы думаем, что Россия не так неспособна к нему, и на этом сходимся с славянами. На этом основана наша вера в ее будущность. Вера, которую я проповедовал с конца 1848 года.

Европа выбрала деспотизм, предпочла империю. Деспотизм — военный стан, империя — война, император — военачальник. Все вооружено, война и будет, но где настоящий враг? Дома — внизу, на дне — и *там,* за Неманом.

Начавшаяся теперь война * может иметь перемирия, но не кончится прежде начала всеобщего переворота, который смешает все карты и начнет новую игру. Нельзя же двум великим историческим личностям, двум поседелым деятелям всей западной истории, представителям двух миров, двух традиций, двух начал — государства и личной свободы, нельзя же им не остановить, не сокрушить *третью* личность [34], немую, без знамени, без имени, являющуюся так не вовремя с веревкой рабства на шее и грубо толкающуюся в двери Европы и в двери истории с наглым притязанием на Византию, с одной ногой на Германии, с другой — на Тихом океане.

Помирятся ли эти *трое,* померившись, сокрушат ли друг друга; разложится ли Россия на части, или обессиленная Европа впадет в византийский маразм; подадут ли они друг другу руку, обновленные на новую жизнь и дружный шаг

* Писано во время Крымской войны.

вперед, или будут резаться без конца — одна вещь узнана нами и не искоренится из сознания грядущих поколений — это то, что *разумное и свободное развитие русского народного быта совпадает с стремлениями западного социализма.*

II

Возвратившись из Новгорода в Москву, я застал оба стана на барьере. Славяне были в полном боевом порядке, с своей легкой кавалерией под начальством Хомякова и чрезвычайно тяжелой пехотой Шевырева и Погодина, с своими застрельщиками, охотниками, ультраякобинцами, отвергавшими все бывшее после киевского периода, и умеренными жирондистами, отвергавшими только петербургский период; у них были свои кафедры в университете, свое ежемесячное обозрение, выходившее всегда два месяца позже, но все же выходившее. При главном корпусе состояли православные гегельянцы, византийские богословы, мистические поэты, множество женщин и пр., и пр.

Война наша сильно занимала литературные салоны в Москве. Вообще, Москва входила тогда в ту эпоху возбужденности умственных интересов, когда литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги составляло событие, критики и антикритики читались и комментировались с тем вниманием, с которым, *бывало,* в Англии или во Франции следили за парламентскими прениями. Подавленность всех других сфер человеческой деятельности бросала образованную часть общества в книжный мир, и в нем одном действительно совершался, глухо и полусловами, протест против николаевского гнета, тот протест, который мы услышали открытее и громче на другой день после его смерти.

В лице Грановского московское общество приветствовало рвущуюся к свободе мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее. В лице славянофилов оно протестовало против оскорбленного чувства народности бироновским высокомерием петербургского правительства.

Здесь я должен оговориться. Я в Москве знал два круга, два полюса ее общественной жизни и могу только об них говорить. Сначала я был потерян в обществе стариков, гвардейских офицеров времен Екатерины, товарищей моего отца, и других стариков, нашедших тихое убежище в странноприимном сенате, товарищей его брата. Потом

я знал одну *молодую* Москву, литературно-светскую, и говорю только об ней. Что прозябало и жило между старцами пера и меча, дожидавшимися своих похорон по рангу, и их сыновьями или внучатами, не искавшими никакого ранга и занимавшимися «книжками и мыслями», я не знал и не хотел знать. Промежуточная среда эта, настоящая николаевская Русь, была бесцветна и пошла — без екатерининской оригинальности, без отваги и удали людей 1812 года, без наших стремлений и интересов. Это было поколение жалкое, подавленное, в котором бились, задыхались и погибли несколько мучеников. Говоря о московских гостиных и столовых, я говорю о тех, в которых некогда царил А. С. Пушкин; где до нас декабристы давали тон; где смеялся Грибоедов; где М. Ф. Орлов и А. П. Ермолов встречали дружеский привет, потому что они были в опале; где, наконец, А. С. Хомяков спорил до четырех часов утра, начавши в девять; где К. Аксаков с мурмолкой в руке свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал, и никогда не брал в руки бокала шампанского, чтоб не сотворить тайно моление и тост, который все знали; где Р[едкин] выводил логически личного бога, ad majorem gloriam Hegeli [35]; где Грановский являлся с своей тихой, но твердой речью; где все помнили Бакунина и Станкевича; где Чаадаев, тщательно одетый, с нежным, как из воску, лицом, сердил оторопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными; где молодой старик А. И. Тургенев мило сплетничал обо всех знаменитостях Европы, от Шатобриана и Рекамье до Шеллинга и Рахели Варнгаген; где Боткин и Крюков *пантеистически* наслаждались рассказами М. С. Щепкина и куда, наконец, иногда падал, как Конгривова ракета, Белинский, выжигая кругом все, что попадало.

Вообще, в Москве жизнь больше деревенская, чем городская, только господские дома близко друг от друга. В ней не приходит все к одному знаменателю, а живут себе образцы разных времен, образований, слоев, широт и долгот русских. В ней Ларины и Фамусовы спокойно оканчивают свой век; но не только они, а и Владимир Ленский и наш чудак Чацкий — Онегиных было даже слишком много. Мало занятые, все они жили не торопясь, без особых забот, спустя рукава. Помещичья распущенность, признаться сказать, нам по душе; в ней есть своя ширь, которую мы не находим в мещанской жизни Запада. Подобострастный клиентизм, о котором говорит девица Уильмот в «Записках» Дашковой и который я сам еще застал, в тех

кругах, о которых идет речь, не существовал. Хор этого общества был составлен из неслужащих помещиков или служащих не для себя, а для успокоения родственников, людей достаточных, из молодых литераторов и профессоров. В этом обществе была та свобода неустоявшихся отношений и не приведенных в косный порядок обычаев, которой нет в старой европейской жизни, и в то же время в нем сохранилась привитая нам воспитанием традиция западной вежливости, которая на Западе исчезает; она, с примесью славянского laisser-aller [36], а подчас и разгула, составляла особый русский характер *московского* общества, к его великому горю, потому что оно смертельно хотело быть *парижским,* и это хотение, наверное, осталось.

Мы Европу все еще знаем задним числом; нам все мерещатся те времена, когда Вольтер царил над парижскими салонами и на споры Дидро звали, как на стерлядь; когда приезд Давида Юма в Париж сделал эпоху и все контессы, виконтессы ухаживали за ним, кокетничали с ним до того, что другой баловень, Гримм, надулся и нашел это вовсе неуместным. У нас все в голове времена вечеров барона Гольбаха и первого представления «Фигаро», когда вся аристократия Парижа стояла дни целые, делая хвост, и модные дамы без обеда ели сухие бриошки, чтоб добиться места и увидать революционную пьесу, которую через месяц будут давать в Версале (граф Прованский, т. е. будущий Людовик XVIII, в роли Фигаро, Мария-Антуанетта — в роли Сусанны!).

Tempi passati... [37] Не только гостиные XVIII столетия не существуют,— эти удивительные гостиные, где под пудрой и кружевами аристократическими ручками взлелеяли и откормили аристократическим молоком львенка, из которого выросла исполинская революция,— но и таких гостиных больше нет, как бывали, например, у Стааль, у Рекамье, где съезжались все знаменитости аристократии, литературы, политики. Литературы боятся, да ее и нет совсем; партии разошлись до того, что люди разных оттенков не могут учтиво встретиться под одной крышей.

Один из последних опытов «гостиной» в прежнем смысле слова не удался и потух вместе с хозяйкой. Дельфина Гэ истощала все свои таланты, блестящий ум на то, чтоб как-нибудь сохранить *приличный* мир между гостями, подозревавшими, ненавидевшими друг друга. Может ли быть какое-нибудь удовольствие в этом натянутом, тревожном состоянии перемирия, в котором хозяин, оставшись один, усталый, бросается на софу и благодарит небо за то, что вечер сошел с рук без неприятностей?

Действительно, Западу, и в особенности Франции, теперь не до литературной болтовни, не до хорошего тона, не до изящных манер. Закрыв страшную пропасть императорской мантией с пчелами, мещане-генералы, мещане-министры, мещане-банкиры кутят, наживают миллионы, теряют миллионы, ожидая Каменного гостя ликвидации... Не легкая «козри» [38] нужна им, а тяжелые оргии, бесцветное богатство, в котором золото, как в Первой империи, вытесняет искусство, лоретка — даму, биржевой игрок — литератора.

Это распадение общества не в одном Париже. Ж. Санд была живым средоточием всего своего соседства в Ноане. К ней съезжались простые и непростые знакомые, без больших церемоний, всегда, когда хотели, и проводили вечер чрезвычайно изящно. Тут была музыка, чтение, драматические импровизации, и, что всего важнее, тут была сама Ж. Санд. С 1852 года тон начал меняться, добродушные беришоны [39] уже не приезжали затем, чтоб отдохнуть и посмеяться, но со злобой в глазах, исполненные желчи, терзали друг друга заочно и в лицо, выказывали новую ливрею, другие боялись доносов; непринужденность, которая делала легкой и милой шутку и веселость, исчезла. Постоянная забота ладить, разводить, смягчать до того надоела, намучила Ж. Санд, что она решилась прекратить свои ноанские вечера и свела свой круг на два, на три старых приятеля...

...Говорят, Москва, молодая Москва состарелась, не пережила Николая; что и университет ее измельчал, и помещичья натура слишком рельефно выступила перед вопросом освобождения; что ее Английский клуб сделался всего менее английский; что в нем Собакевичи кричат против освобождения и Ноздревы шумят за *естественные и неотъемлемые* права дворян. Может быть!.. Но не такова была Москва сороковых годов, и вот эта-то Москва и принимала деятельное участие за мурмолки и против них; барыни и барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К. Аксакова или за Грановского, жалея *только,* что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот.

Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались,— а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у А. П. Елагиной.

Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотни-

цы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого; приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр, что за Рогожской заставой.

Ильей Муромцем, разившим всех, со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомяков, «Горгиас, совопросник мира сего», по выражению полуповрежденного Морошкина. Ум сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. Боец без устали и отдыха, он бил и колол, нападал и преследовал, осыпал остротами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти нельзя,— словом, кого за убеждение — убеждение прочь, кого за логику — логика прочь.

Хомяков был действительно опасный противник; закалившийся старый бретёр диалектики, он пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете — от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку.

Хомяков знал очень хорошо свою силу и играл ею; забрасывал словами, запугивал ученостью, надо всем издевался, заставлял человека смеяться над собственными верованиями и убеждениями, оставляя его в сомнении, есть ли *у него у самого* что-нибудь заветное. Он мастерски ловил и мучил на диалектической жаровне остановившихся на полдороге, пугал робких, приводил в отчаяние дилетантов и при всем этом смеялся, *как казалось,* от души. Я говорю «как казалось», потому что в несколько восточных чертах его выражалось что-то затаенное и какое-то азиатское простодушное лукавство вместе с русским себе на уме. Он, вообще, больше сбивал, чем убеждал.

Философские споры его состояли в том, что он отвергал возможность разумом дойти до истины; он разуму давал одну формальную способность — способность развивать зародыши или зерна, иначе получаемые, относительно готовые (т. е. даваемые откровением, получаемые верой). Если же разум оставить на самого себя, то, бродя в пустоте и строя категорию за категорией, он может обличить свои законы, но никогда не дойдет ни до понятия о духе, ни до

понятия о бессмертии и пр. На этом Хомяков бил на голову людей, остановившихся между религией и наукой. Как они ни бились в формах гегелевской методы, какие ни делали построения, Хомяков шел с ними шаг в шаг и под конец дул на карточный дом логических формул или подставлял ногу и заставлял их падать в «материализм», от которого они стыдливо отрекались, или в «атеизм», которого они просто боялись. Хомяков торжествовал!

Присутствуя несколько раз при его спорах, я заметил эту уловку, и в первый раз, когда мне самому пришлось помериться с ним, я его сам завлек к этим выводам. Хомяков щурил свой косой глаз, потряхивал черными, как смоль, кудрями и вперед улыбался.

— Знаете ли что,— сказал он вдруг, как бы удивляясь сам новой мысли,— не только одним разумом нельзя дойти до разумного духа, развивающегося в природе, но не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, как простое, беспрерывное брожение, не имеющее цели и которое может и продолжаться, и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, что история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой.

— Я вам и не говорил,— ответил я ему,— что я берусь это доказывать,— я очень хорошо знал, что это невозможно.

— Как? — сказал Хомяков, несколько удивленный — вы можете принимать эти страшные результаты *свирепейшей имманенции,* и в вашей душе ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их или нет.

— Ну, вы, по крайней мере, последовательны; однако как человеку надобно свихнуть себе душу, чтоб примириться с этими печальными выводами вашей науки и привыкнуть к ним!

— Докажите мне, что *не-наука* ваша истиннее, и я приму ее так же откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня ни привела, хоть к Иверской.

— Для этого надобно веру.

— Но, Алексей Степанович, вы знаете: «На нет и суда нет».

Многие — и некогда я сам — думали, что Хомяков спорил из артистической потребности спорить, что глубоких убеждений у него не было, и в этом была виновата его манера, его вечный смех и поверхностность тех, которые его судили. Я не думаю, чтоб кто-нибудь из славян сделал больше для распространения их воззрения, чем Хомяков. Вся его жизнь, человека очень богатого и неслужившего, была отдана пропаганде. Смеялся ли он или плакал — это

зависело от нерв, от склада ума, от того, как его сложила среда и как он отражал ее; до глубины убеждения это не касается.

Хомяков, может быть, беспрерывной суетой споров и хлопотливо-праздной полемикой заглушал то же чувство пустоты, которое, с своей стороны, заглушало все светлое в его товарищах и ближайших друзьях, в Киреевских.

Сломанность этих людей, заеденных николаевским временем, была очевидна. В жару полемики можно было иногда забывать это — теперь это было бы слабо и жалко.

Оба брата Киреевских стоят печальными тенями на рубеже народного воскресения; не признанные живыми, не делившие их интересов, они не скидывали савана.

Преждевременно состаревшееся лицо Ивана Васильевича носило резкие следы страданий и борьбы, после которых уже выступил печальный покой морской зыби над потонувшим кораблем. Жизнь его не удалась. С жаром принялся он, помнится, в 1833 году, за ежемесячное обозрение «Европеец» [40]. Две вышедшие книжки были превосходны; при выходе второй «Европеец» был запрещен. Он поместил в «Деннице» статью о Новикове,— «Денница» была схвачена, и цензор Глинка посажен под арест [41]. Киреевский, расстроивший свое состояние «Европейцем», уныло почил в пустыне московской жизни; ничего не представлялось вокруг — он не вытерпел и уехал в деревню, затая в груди глубокую скорбь и тоску по деятельности. И этого человека, твердого и чистого, как сталь, разъела ржа страшного времени. Через десять лет он возвратился в Москву из своего отшельничества — мистиком и православным.

Положение его в Москве было тяжелое. Совершенной близости, сочувствия у него не было ни с его друзьями, ни с нами. Между им и нами была церковная стена. Поклонник свободы и великого времени французской революции, он не мог разделять пренебрежения ко всему европейскому новых старообрядцев. Он однажды с глубокой печалью сказал Грановскому:

— Сердцем я больше связан с вами, но не делю многого из ваших убеждений; с нашими я ближе верой, но столько же расхожусь в другом.

И он в самом деле потухал как-то одиноко в своей семье. Возле него стоял его брат, его друг — Петр Васильевич. Грустно, как будто слеза еще не обсохла, будто вчера посетило несчастие, появлялись оба брата на беседы и сходки. Я смотрел на Ивана Васильевича, как на вдову или на мать,

лишившуюся сына; жизнь обманула его, впереди все было пусто и одно утешение:

Погоди немного,
Отдохнешь и ты! [42]

Жаль было разрушать его мистицизм; эту жалость я прежде испытывал с Витбергом. Мистицизм обоих был художественный; за ним будто не исчезала истина, а пряталась в фантастических очертаниях и монашеских рясах. Беспощадная потребность разбудить человека является только тогда, когда он облекает свое безумие в полемическую форму или когда близость с ним так велика, что всякий диссонанс раздирает сердце и не дает покоя.

И что же было возражать человеку, который говорил такие вещи: «Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей; несколько женщин, больные, старики стояли на коленах и, крестясь, клали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты, и малопомалу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением... Века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на верующих. Она сделалась живым органом, местом встречи между творцом и людьми. Думая об этом, я еще раз посмотрел на старцев, на женщин с детьми, поверженных в прахе, и на святую икону — тогда я сам увидел черты богородицы одушевленными, она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей... И я пал на колени и смиренно молился ей».

Петр Васильевич был еще неисправимее и шел дальше в православном славянизме,— натура, может быть, меньше даровитая, но цельная и строго последовательная. Он не старался, как Иван Васильевич или как славянские гегелисты, мирить религию — с наукой, западную цивилизацию — с московской народностью; совсем напротив, он отвергал все перемирия. Самобытно и твердо держался он на своей почве, не накупаясь на споры, но и не минуя их. Бояться ему было нечего: он так безвозвратно отдался своему мнению и так спаялся с ним горестным состраданием к современной Руси, что ему было легко. Соглашаться с ним нельзя было, как и с братом его, но понимать его можно было лучше, как всякую беспощадную крайность. В его взгляде (и это я оценил гораздо после) была доля тех горьких, подавляющих истин об общественном состоянии

Запада, до которых мы дошли после бурь 1848 года. Он понял их печальным ясновидением, догадался ненавистью, местью за зло, принесенное Петром во имя Запада. Оттого у Петра Васильевича и не было, как у его брата, рядом с православием и славянизмом стремления к какой-то гуманно-религиозной философии, в которую разрешалось его неверие к настоящему. Нет, в его угрюмом национализме было полное, оконченное отчуждение всего западного.

Их общее несчастие состояло в том, что они родились или слишком рано, или слишком поздно; 14 декабря застало нас детьми, их — юношами. Это очень важно. Мы в это время учились, вовсе не зная, что в самом деле творится в практическом мире. Мы были полны теоретических мечтаний, мы были Гракхи и Риензи в детской; потом, замкнутые в небольшой круг, мы дружно прошли академические годы; выходя из университетских ворот, нас встретили ворота тюрьмы. Тюрьма и ссылка в молодых летах, во времена душного и серого гонения, чрезвычайно благотворны; это закал, одни слабые организации смиряются тюрьмой, те, у которых борьба была мимолетным юношеским порывом, а не талантом, не внутренней необходимостью. Сознание открытого преследования поддерживает желание противудействовать, удвоенная опасность приучает к выдержке, образует поведение. Все это занимает, рассеивает, раздражает, сердит, и на колодника или сосланного чаще находят минуты бешенства, чем утомительные часы равномерного, обессиливающего отчаяния людей, потерянных на воле в пошлой и тяжелой среде.

Когда мы возвратились из ссылки, уже другая деятельность закипала в литературе, в университете, в самом обществе. Это было время Гоголя и Лермонтова, статей Белинского, чтений Грановского и молодых профессоров.

Не то было с нашими предшественниками. Им раннее совершеннолетие пробил колокол, возвестивший России казнь Пестеля и коронацию Николая; они были слишком молоды, чтоб участвовать в заговоре, и не настолько дети, чтоб быть в школе после него. Их встретили те десять лет, которые оканчиваются мрачным «Письмом» Чаадаева. Разумеется, в десять лет они не могли состариться, но они сломились, затянулись, окруженные обществом без живых интересов, жалким, струсившим, подобострастным. И это были десять первых лет юности! Поневоле приходилось, как Онегину, завидовать параличу тульского заседателя, уехать в Персию, как Печорин Лермонтова, идти в католики, как настоящий Печёрин, или броситься в отчаянное

православие, в неистовый славянизм, если нет желания пить запоем, сечь мужиков или играть в карты.

В первую минуту, когда Хомяков почувствовал эту пустоту, он поехал гулять по Европе во время сонного и скучного царствования Карла X; *докончив* в Париже свою забытую трагедию «Ермак» и потолковавши со всякими чехами и далматами на обратном пути, он воротился. Все скучно! По счастию, открылась турецкая война, он пошел в полк, без нужды, без цели и отправился в Турцию. Война кончилась, и кончилась другая забытая трагедия — «Дмитрий Самозванец». Опять скука!

В этой скуке, в этой тоске, при этой страшной обстановке и страшной пустоте мелькнула какая-то новая мысль; едва высказанная, она была осмеяна; тем яростнее бросился на отстаивание ее Хомяков, тем глубже взошла она в плоть и кровь Киреевских.

Семя было брошено; на посев и защиту всходов пошла их сила. Надобно было людей нового поколения, несвихнутых, ненадломленных, которыми мысль их была бы принята не страданием, не болезнью, как до нее дошли учители, а передачей, наследием. Молодые люди откликнулись на их призыв, люди Станкевичева круга примыкали к ним, и в их числе такие сильные личности, как К. Аксаков и Юрий Самарин.

Константин Аксаков не смеялся, как Хомяков, и не сосредоточивался в безвыходном сетовании, как Киреевские. Мужающий юноша, он рвался к делу. В его убеждениях не неуверенное пытанье почвы, не печальное сознание проповедника в пустыне, не темное придыхание, не дальние надежды — а фанатическая вера, нетерпимая, втесняющая, односторонняя, та, которая предваряет торжество. Аксаков был односторонен, как всякий воин; с покойно взвешивающим эклектизмом нельзя сражаться. Он был окружен враждебной средой — средой сильной и имевшей над ним большие выгоды, ему надобно было пробиваться рядом всевозможных неприятелей и водрузить свое знамя. Какая тут терпимость!

Вся жизнь его была безусловным протестом против петровской Руси, против петербургского периода во имя непризнанной, подавленной жизни русского народа. Его диалектика уступала диалектике Хомякова, он не был поэт-мыслитель, как И. Киреевский, но он за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительны. Он в начале сороковых годов проповедовал сельскую общину, мир и артель. Он научил Гакстгаузена понимать их и,

последовательный до детства, первый опустил панталоны в сапоги и надел рубашку с кривым воротом.

— Москва — столица русского народа,— говорил он,— а Петербург только резиденция императора.

— И заметьте,— отвечал я ему,— как далеко идет это различие: в Москве вас непременно посадят на *съезжу*, а в Петербурге сведут на *гауптвахту*.

«Аксаков остался до конца жизни вечным восторженным и беспредельно благородным юношей, он увлекался, был увлекаем, но всегда был чист сердцем. В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни славяне, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шел по улице; К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из саней и подошел ко мне.

— Мне было слишком больно,— сказал он,— проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить; жаль, жаль, но делать нечего. Я хотел пожать вам руку и проститься.— Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился; я стоял на том же месте, мне было грустно; он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. У меня были слезы на глазах. Как я любил его в эту минуту ссоры!» *

Ссора, о которой идет речь, была следствием той полемики, о которой я говорил.

Грановский и мы еще кой-как с ними ладили, не уступая начал; мы не делали из нашего разномыслия личного вопроса. Белинский, страстный в своей нетерпимости, шел дальше и горько упрекал нас. «Я жид по натуре,— писал он мне из Петербурга,— и с филистимлянами за одним столом есть не могу... Грановский хочет знать, читал ли я его статью в «Москвитянине»? Нет, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видеться с друзьями в неприличных местах, ни назначать им там свидания» [43].

Зато честили его и славяне. «Москвитянин», раздраженный Белинским, раздраженный успехом «Отечественных записок» и успехом лекций Грановского, защищался чем попало и всего менее жалел Белинского; он прямо говорил о нем как о человеке опасном, жаждущем разрушения, «радующемся при зрелище пожара».

Впрочем, «Москвитянин» выражал преимущественно университетскую, доктринерскую партию славянофилов. Партию эту можно назвать не только университетской, но

* «Колокол», лист 90.

и отчасти *правительственной*. Это большая новость в русской литературе. У нас рабство или молчит, берет взятки и плохо знает грамоту, или, пренебрегая прозой, берет аккорды на верноподданнической лире.

Булгарин с Гречем не идут в пример: они никого не надули, их ливрейную кокарду никто не принял за отличительный знак мнения. Погодин и Шевырев, издатели «Москвитянина», совсем напротив, были добросовестно раболепны. Шевырев — не знаю отчего, может, увлеченный своим предком, который середь пыток и мучений, во времена Грозного, пел псалмы и чуть не молился о продолжении дней свирепого старика; Погодин — из ненависти к аристократии.

Бывают времена, в которые люди мысли соединяются с властью, но это только тогда, когда власть ведет вперед, как при Петре I, защищает свою страну, как в 1812 году, врачует ее раны и дает ей вздохнуть, как при Генрихе IV и, *может быть*, при Александре II *. Но выбрать самую сухую и ограниченную эпоху русского самовластья и, опираясь на батюшку-царя, вооружаться против частных злоупотреблений аристократии, развитой и поддержанной той же царской властью,— нелепо и вредно.

Говорят, что, защищаясь преданностью к царской власти, можно смелее говорить правду. Зачем же они ее не говорили?

Погодин был полезный профессор, явившись с новыми силами и с не новым Гереном [44] на пепелище русской истории, вытравленной и превращенной в дым и прах Каченовским. Но как писатель он имел мало значения, несмотря на то, что он писал все, даже Гец фон Берлихингена по-русски [45]. Его шероховатый, неметеный слог, грубая манера бросать корноухие, обгрызенные отметки и нежеваные мысли, вдохновил меня как-то в старые годы, и я написал в подражание ему небольшой отрывок из «Путевых записок Ведрина» [46]. Строгонов (попечитель), читая их, сказал:

— А ведь Погодин, верно, думает, что он это в самом деле написал.

Шевырев вряд даже сделал ли что-нибудь как профессор. Что касается до его литературных статей, я не помню во всем писанном им ни одной оригинальной мысли, ни одного самобытного мнения. Слог его зато совершенно противуположен погодинскому: дутый, губчатый, вроде неокрепнувшего бланманже и в которое забыли положить горького миндалю, хотя под его патокой и заморена бездна

* Писано в 1855 году.

желчной, самолюбивой раздражительности. Читая Погодина, все думаешь, что он бранится, и осматриваешься, нет ли дам в комнате. Читая Шевырева, все видишь что-нибудь другое во сне.

Говоря о слоге этих сиамских братьев московского журнализма, нельзя не вспомнить Георга Форстера, знаменитого товарища Кука по Сандвичевским островам, и Робеспьера — по Конвенту единой и нераздельной республики. Будучи в Вильне профессором ботаники и прислушиваясь к польскому языку, так богатому согласными, он вспомнил своих знакомых в Отаити, говорящих почти одними гласными, и заметил: «Если б эти два языка смешать, какое бы вышло звучное и плавное наречие!»

Тем не меньше, хотя и дурным слогом, но близнецы «Москвитянина» стали зацеплять уж не только Белинского, но и Грановского за его лекции. И все с тем же несчастным отсутствием такта, который восстановлял против них всех порядочных людей. Они обвиняли Грановского в пристрастии к западному развитию, к известному *порядку идей,* за которые Николай из *идеи порядка* ковал в цепи да посылал в Нерчинск.

Грановский поднял их перчатку и смелым, благородным возражением заставил их покраснеть. Он публично, с кафедры спросил своих обвинителей, почему он должен ненавидеть Запад и зачем, ненавидя его развитие, стал бы он читать его историю? «Меня обвиняют,— сказал Грановский,— в том, что история служит мне только для высказывания моего воззрения. Это отчасти справедливо, я имею убеждения и провожу их в моих чтениях; если б я не имел их, я не вышел бы публично перед вами для того, чтоб рассказывать, больше или меньше занимательно, ряд событий».

Ответы Грановского были так просты и мужественны, его лекции — так увлекательны, что славянские доктринеры притихли, а молодежь их рукоплескала не меньше нас. После курса был даже сделан опыт примирения. Мы давали Грановскому обед после его заключительной лекции. Славяне хотели участвовать с нами, и Ю. Самарин был выбран ими (так, как я нашими) в распорядители. Пир был удачен; в конце его, после многих тостов, не только единодушных, но выпитых, мы обнялись и облобызались по-русски с славянами. И. В. Киреевский просил меня одного: чтоб я вставил в моей фамильe *ы* вместо *е* и через это сделал бы ее больше русской для уха. Но Шевырев и этого не требовал, напротив, обнимая меня, повторял своим soprano: «Он и с *е* хорош, он и с *е* русский». С обеих сторон примире-

ние было откровенно и без задних мыслей, что, разумеется, не помешало нам через неделю разойтись еще далее.

Примирения, вообще, только тогда возможны, когда они не нужны, т. е. когда личное озлобление прошло или мнения сблизились и люди сами видят, что не из чего ссориться. Иначе всякое примирение будет взаимное ослабление, обе стороны полиняют, т. е. сдадут свою резкую краску. Попытка нашего Кучук-Кайнарджи [47] очень скоро оказалась невозможной, и бой закипел с новым ожесточением.

С нашей стороны было невозможно заарканить Белинского; он слал нам грозные грамоты из Петербурга, отлучал нас, предавал анафеме и писал еще злее в «Отечественных записках». Наконец он торжественно указал пальцем против «проказы» славянофильства и с упреком повторил: «Вот вам они!» Мы все понурили голову. Белинский был прав!

Умирающей рукой некогда любимый поэт, сделавшийся святошей от болезни и славянофилом по родству, хотел стегнуть нас; по несчастию, он для этого избрал опять-таки полицейскую нагайку. В пьесе под заглавием «Не наши» он называл Чаадаева отступником от православия, Грановского — лжеучителем, растлевающим юношей, меня — слугой, носящим блестящую ливрею западной науки, и всех трех — изменниками отечеству [48]. Конечно, он не называл нас по имени,— их добавляли чтецы, носившие с восхищением из залы в залу донос в стихах. К. Аксаков с негодованием отвечал ему тоже стихами [49], резко клеймя злые нападки и называя *«не нашими»* разных славян, во Христе бозе нашем жандармствующих.

Обстоятельство это прибавило много горечи в наши отношения. Имя поэта, имя чтеца [50], круг, в котором он жил, круг, который этим восхищался,— все это сильно раздражало умы.

Споры наши чуть-чуть было не привели к огромному несчастию, к гибели двух чистейших и лучших представителей обеих партий. Едва усилиями друзей удалось затушить ссору Грановского с П. В. Киреевским, которая быстро шла к дуэли.

Середь этих обстоятельств Шевырев, который никак не мог примириться с колоссальным успехом лекций Грановского, вздумал побить его на его собственном поприще и объявил свой публичный курс. Читал он о Данте, о народности в искусстве, о православии в науке и пр.; публики было много, но она осталась холодна. Он бывал иногда смел, и это было очень оценено, но общий эффект ничего не произвел. Одна лекция осталась у меня в памяти — это та,

в которой он говорил о книге Мишле «Le Peuple» и о романе Ж. Санда «La Mare au Diable», потому что он в ней живо коснулся живого и современного интереса. Трудно было возбудить сочувствие, говоря о прелестях духовных писателей восточной церкви и подхваливая греко-российскую церковь. Только Федор Глинка и супруга его Евдокия, писавшая «о млеке пречистой девы» [51], сидели обыкновенно рядышком на первом плане и скромно опускали глаза, когда Шевырев особенно неумеренно хвалил православную церковь.

Шевырев портил свои чтения тем самым, чем портил свои статьи,— выходками против таких идей, книг и лиц, за которые у нас трудно было заступаться, не попавши в острог.

Между тем, «каких ни вымышляли пружин, чтоб умудриться» хорошо издавать «Москвитянина», он решительно не шел. Для живого полемического журнала надобно непременно иметь чутье современности, надобно иметь ту нежную щекотливость нерв, которая тотчас раздражается всем, что раздражает общество. Издатели «Москвитянина» вовсе были лишены этого ясновидения, и, как ни вертели они бедного Нестора и бедного Данта, они убедились наконец сами, что ни рубленой сечкой погодинских фраз, ни поющей плавностью шевыревского красноречия ничего не возьмешь в нашем испорченном веке. Они подумали, подумали и решились предложить главную редакцию И. В. Киреевскому. Выбор Киреевского был необыкновенно удачен не только со стороны ума и талантов, но и с финансовой стороны. Я сам ни с кем в мире не желал бы так вести торговых дел, как с Киреевским.

Чтоб дать понятие о хозяйственной философии его, я расскажу следующий анекдот. У него был конский завод, лошадей приводили в Москву, делали им оценку и продавали. Однажды является к нему молодой офицер покупать лошадь, конь сильно ему приглянулся; кучер, видя это, набавил цену, они поторговались, офицер согласился и взошел к Киреевскому. Киреевский, получая деньги, справился в списке и заметил офицеру, что лошадь оценена в восемьсот рублей, а не в тысячу, что кучер, вероятно, ошибся. Это так озадачило кавалериста, что он попросил позволения снова осмотреть лошадь и, осмотревши, отказался, говоря: «Хороша должна быть лошадь, за которую хозяину было совестно деньги взять»... Где же лучше можно было взять редактора?

Он горячо принялся за дело, потратил много времени, переехал для этого в Москву, но при всем своем таланте не

мог ничего сделать. «Москвитянин» не отвечал ни на одну живую, распространенную в обществе потребность и, стало быть, не мог иметь другого хода, как в своем кружке. Неуспех должен был сильно огорчить Киреевского.

После второго крушения «Москвитянина» он не оправлялся, и сами славяне догадались, что на этой ладье далеко не уплывешь. У них стала носиться мысль другого журнала.

На этот раз победителями вышли не они. Общественное мнение громко решило в нашу пользу. В глухую ночь, когда «Москвитянин» тонул и «Маяк» не светил ему больше из Петербурга, Белинский, вскормивши своею кровью «Отечественные записки», поставил на ноги их побочного сына [52] и дал им обоим такой толчок, что они могли несколько лет продолжать свой путь с одними корректорами и батырщиками, литературными мытарями и книжными грешниками. Белинского имя было достаточно, чтоб обогатить два прилавка и сосредоточить все лучшее в русской литературе в тех редакциях, в которых он принимал участие,— в то время как талант Киреевского и участие Хомякова не могли дать ни ходу, ни читателей «Москвитянину».

Так я оставил поле битвы и уехал из России. Обе стороны высказались еще раз *, и все вопросы переставились громадными событиями 1848 года.

Умер Николай, новая жизнь увлекла славян и нас за пределы нашей усобицы, мы протянули им руки, но где они? — Ушли! И К. Аксаков ушел, и нет этих «противников, которые были ближе нам многих своих» [54].

Не легка была жизнь, сожигавшая людей, как свечу, оставленную на осеннем ветру.

Все они были живы, когда я в первый раз писал эту главу. Пусть она на этот раз окончится следующими строками из надгробных слов Аксакову:

«Киреевские, Хомяков и Аксаков *сделали свое дело;* долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петром и в которой сидит Бирон и колотит ямщика, чтоб тот скакал по нивам и давил людей, то они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей.

С них начинается *перелом русской мысли.* И когда *мы*

---

* Статья К. Кавелина и ответ Ю. Самарина. Об них в «Dévelop, des idées révolut.» [53].

это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии.

Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но *неодинакая*.

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество: чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно*.

Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. У нас, воспитанных вне дома, эта связь ослабла. Мы были на руках французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству в чертах да по тому, что ее песни были нам роднее водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ее была слишком тесна. В ее комнатке было нам душно: всё почернелые лица из-за серебряных окладов, всё попы с причетом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и писарями женщину; даже ее вечный плач об утраченном счастье раздирал наше сердце; мы знали, что у ней нет светлых воспоминаний, мы знали и другое — что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш,— это наш меньший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство. А пока —

Mutter, Mutter, laß mich gehen,
Schweifen auf den wilden Höhen! [55]

Такова была наша семейная разладица лет пятнадцать тому назад. Много воды утекло с тех пор, и мы встретили *горный дух*, остановивший наш бег, и они, вместо мира мощей, натолкнулись на живые русские вопросы. Считаться нам странно, патентов на пониманье нет; время, история, опыт сблизили нас, не потому, чтоб они нас перетянули к себе или мы их, а потому, что и они и мы ближе к истинному воззрению теперь, чем были тогда, когда беспощадно терзали друг друга в журнальных статьях, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомневались в их горячей любви к России или они — в нашей.

На этой вере друг в друга, на этой общей любви имеем право и мы поклониться их гробам и бросить нашу горсть земли на их покойников с святым желанием, чтоб на могилах их, на могилах наших расцвела сильно и широко молодая Русь!» *

* «Колокол», 15 января 1861.

ГЛАВА XXXII

Последняя поездка в Соколово.— Теоретический разрыв! — Натянутое положение.— Dahin! Dahin! [1]

После примирения с Белинским в 1840 году наша небольшая кучка друзей шла вперед без значительного разномыслия; были оттенки, личные взгляды, но главное и общее шло из тех же начал. Могло ли оно так продолжаться навсегда — я не думаю. Мы должны были дойти до тех пределов, до тех оград, за которые одни пройдут, а другие зацепятся.

Года через три-четыре я с глубокой горестью стал замечать, что, идучи из одних и тех же начал, мы приходили к разным выводам — и это не потому, чтоб мы их розно понимали, а потому, что они не всем *нравились*.

Сначала эти споры шли полушутя. Мы смеялись, например, над малороссийским упрямством Р[едкина], старавшегося вывести логическое построение личного духа. При этом я вспоминаю одну из последних шуток милого, доброго Крюкова. Он уже был очень болен, мы сидели с Р[едкиным] у его кровати. День был ненастный, вдруг блеснула молния и вслед за ней рассыпался сильный удар грома. Р[едкин] подошел к окну и опустил стору.

— Что же, от этого будет лучше? — спросил я его.

— Как же,— ответил за него Крюков,— Р[едкин] верит in die Persönlichkeit des absoluten Geistes [2] и потому завешивает окно, чтоб ему не было видно, куда целить, если вздумает в него пустить стрелу.

Но можно было догадаться, что на шутках такое существенное различие в воззрениях долго не остановится.

На одном листе записной книжки того времени, с видимой arrière-pensée [3], помечена следующая сентенция: «Личные отношения много вредят прямоте мнений. Уважая прекрасные качества лиц, мы жертвуем для них резкостью мнений. Много надобно сил, чтобы плакать и все-таки уметь подписать приговор Камилла Демулена» [4].

В этой зависти к силе Робеспьера уже дремали зачатки злых споров 1846 года.

Вопросы, до которых мы коснулись, не были случайны; их, как суженого, нельзя было на коне объехать. Это те

гранитные камни преткновения на дороге знания, которые во все времена были одни и те же, пугали людей и манили к себе. И так, как либерализм, последовательно проведенный, непременно поставит человека лицом к лицу с социальным вопросом, так наука,— если только человек вверится ей без якоря,— непременно прибьет его своими волнами к седым утесам, о которые бились — от семи греческих мудрецов до Канта и Гегеля — все дерзавшие думать. Вместо простых объяснений почти все пытались их обогнуть и только покрывали их новыми слоями символов и аллегорий; оттого-то и теперь они стоят так же грозно, а пловцы боятся ехать прямо и убедиться, что это вовсе не скалы, а один туман, фантастически освещенный.

Шаг этот не легок, но я верил и в силы и в волю наших друзей, им же не вновь приходилось искать фарватера, как Белинскому и мне. Долго бились мы с ним в беличьем колесе диалектических повторений и выпрыгнули наконец из него на свой страх. У них был наш пример перед глазами и Фейербах в руках. Долго не верил я, но наконец убедился, что если друзья наши не делят образа доказательств Р[едкина], то в сущности все же они с ним согласнее, чем со мной, и что, при всей независимости их мысли, еще есть истины, которые их пугают. Кроме Белинского, я расходился со всеми: с Грановским и Е. К[оршем].

Открытие это исполнило меня глубокой печалью; порог, за который они запнулись, однажды приведенный к слову, не мог больше подразумеваться. Споры вышли из внутренней необходимости снова прийти к одному уровню; для этого надобно было, так сказать, окликнуться, чтоб узнать, кто где.

Прежде чем мы сами привели в ясность наш теоретический раздор, его заметило новое поколение, которое стояло несравненно ближе к моему воззрению. Молодежь не только в университете и лицее сильно читала мои статьи о «Дилетантизме в науке» и «Письма об изучении природы», но и в духовных учебных заведениях. О последнем я узнал от графа С. Строгонова, которому жаловался на это Филарет, грозивший принять душеоборонительные меры против такой вредоносной яствы [5].

Около того же времени я иначе узнал об их успехе между семинаристами. Случай этот мне так дорог, что я не могу не рассказать его.

Сын одного знакомого подмосковенного священника, молодой человек лет семнадцати, приходил несколько раз ко мне за «Отечественными записками». Застенчивый, он почти ничего не говорил, краснел, мешался и торопился

скорее уйти. Умное и открытое лицо его сильно говорило в его пользу; я переломил, наконец, его отроческую неуверенность в себя и стал с ним говорить об «Отечественных записках». Он очень внимательно и дельно читал в них именно философские статьи. Он сообщил мне, как жадно в высшем курсе семинарии учащиеся читали мое историческое изложение систем [6] и как оно их удивило после философии по Бурмейстеру и Вольфию.

Молодой человек стал иногда приходить ко мне, я имел полное время убедиться в силе его способностей и в способности труда.

— Что вы намерены делать после курса? — спросил я его раз.

— Постричься в священники,— отвечал он, краснея.

— Думали ли вы серьезно об участи, которая вас ожидает, если вы пойдете в духовное звание?

— Мне нет выбора: мой отец решительно не хочет, чтоб я шел в светское звание. Для занятий у меня досуга будет довольно.

— Вы не сердитесь на меня,— возразил я,— но мне разговор, ваш образ мыслей, который вы нисколько не скрывали, и то сочувствие, которое вы имеете к моим трудам,— все это и, сверх того, искренное участие в вашей судьбе дают мне, вместе с моими летами, некоторые права. Подумайте сто раз прежде, чем вы наденете рясу. Снять ее будет гораздо труднее, а может, вам в ней будет тяжело дышать. Я вам сделаю один очень простой вопрос: скажите мне, есть ли у вас в душе вера хоть в один догмат богословия, которому вас учат?

Молодой человек, потупя глаза и помолчав, сказал:

— Перед вами лгать не стану — нет!

— Я это знал. Подумайте же теперь о вашей будущей судьбе. Вы должны будете всякий день, во всю вашу жизнь, всенародно, громко лгать, изменять истине; ведь это-то и есть грех против святого духа, грех сознательный, обдуманный. Станет ли вас на то, чтоб сладить с таким раздвоением? Все ваше общественное положение будет неправдой. Какими глазами вы встретите взгляд усердно молящегося, как будете утешать умирающего раем и бессмертием, как отпускать грехи? А еще тут вас заставят убеждать раскольников, судить их!

— Это ужасно! ужасно! — сказал молодой человек и ушел взволнованный и расстроенный.

На другой день вечером он возвратился.

— Я к вам пришел затем,— сказал он,— чтоб сказать, что я очень много думал о ваших словах. Вы совершенно

правы: духовное звание мне невозможно, и, будьте уверены, я скорее пойду в солдаты, чем позволю себя постричь в священники.

Я горячо пожал ему руку и обещал с своей стороны, когда время придет, уговорить, насколько могу, его отца.

Вот и я на свой пай спас душу живу, по крайней мере способствовал к ее спасению.

Философское направление студентов я мог видеть ближе. Весь курс 1845 года ходил я на лекции сравнительной анатомии. В аудитории и в анатомическом театре я познакомился с новым поколением юношей.

Направление занимавшихся было совершенно реалистическое, т. е. положительно научное. Замечательно, что таково было направление почти всех царскосельских лицеистов. Лицей, выведенный подозрительным и мертвящим самовластием Николая из прекрасных садов своих, оставался еще тем же великим рассадником талантов; завещание Пушкина, благословение поэта, пережило грубые удары невежественной власти *.

* История, как один из них попал в университет, так полна родственного благоухания николаевских времен, что нельзя удержаться, чтоб ее не рассказать. В лицее каждый год празднуется та годовщина, которая нам всем известна по превосходным стихам Пушкина. Обыкновенно в этот день разлуки с товарищами и свидания с прежними учениками позволялось молодым людям покутить. На одном из этих праздников один студент, еще не кончивший курса, расшалившись, пустил бутылку в стену; на беду бутылка ударилась в мраморную доску, на которой было *начертано* золотыми буквами: «Государь император изволил осчастливить посещением такого-то числа...», и отбила от нее кусок. Прибежал какой-то смотритель, бросился на студента с страшным ругательством и хотел его вывести. Молодой человек, обиженный при товарищах, разгоряченный вином, вырвал у него из рук трость и вытянул его ею. Смотритель немедленно донес; студент был арестован и послан в карцер под страшным обвинением не только в нанесении удара смотрителю, но и в святотатственном неуважении к доске, на которой было изображено священное имя государя императора.

Весьма легко может быть, что его бы отдали в солдаты, если б другое несчастие не выручило его. У него в самое это время умер старший брат. Мать, оглушенная горем, писала к нему, что он теперь ее единственная опора и надежда, советовала скорее кончать курс и приехать к ней. Начальник лицея, кажется, генерал Броневский, читая это письмо, был тронут и решился спасти студента, не доводя дела до Николая. Он рассказал о случившемся Михаилу Павловичу, и великий князь велел его келейно исключить из лицея и тем покончить дело. Молодой человек вышел с видом, по которому ему нельзя было вступить ни в одно учебное заведение, т. е. ему преграждалась почти всякая будущность, потому что он был очень небогат,— и все это за увечье доски, украшенной высочайшим именем! Да и то еще случилось по особенной милости божией, убившей вовремя его брата, по неслыханной в генеральском чине нежности, по невиданной великокняжеской снисходительности! Одаренный необыкновенным талантом, он гораздо после добился права слушать лекции в Московском университете.

С радостью приветствовал я в лицеистах, бывших в Московском университете, новое, сильное поколение.

Вот эта-то университетская молодежь, со всем нетерпением и пылом юности преданная вновь открывшемуся перед ними свету реализма, с его здоровым румянцем, разглядела, как я сказал, в чем мы расходились с Грановским. Страстно любя его, они начинали восставать против его «романтизма». Они хотели непременно, чтоб я склонил его на нашу сторону, считая Белинского и меня представителями их философских мнений.

Так настал 1846 год. Грановский начал новый публичный курс. Вся Москва опять собралась около его кафедры, опять его пластическая, задумчивая речь стала потрясать сердца; но той полноты, того увлечения, которое было в первом курсе, недоставало, будто он устал или какая-то мысль, с которой он еще не сладил, занимала его, мешала ему. Это так и было, как мы увидим гораздо позже.

На одной из этих-то лекций, в марте месяце, кто-то из наших общих знакомых прибежал сломя голову сказать о приезде из чужих краев Огарева и С[атина].

Мы не видались несколько лет и очень редко переписывались... Что-то они... как?.. С сильно бьющимся сердцем бросились мы с Грановским к «Яру», где они остановились. Ну, вот они, наконец. И как переменились, и какая борода — и не видались несколько лет! — Мы принялись смотреть вздор, говорить вздор, хоть и чувствовалось, что хотелось говорить другое.

Наконец, наш маленький круг был почти весь в сборе — теперь-то заживем.

Лето 1845 года мы жили на даче в Соколове. Соколово — это красивый уголок Московского уезда, верст двадцать от города по тверской дороге. Мы нанимали там небольшой господский дом, стоявший почти совсем в парке, который спускался под гору к небольшой речке. С одной стороны его стлалось наше великороссийское море нив, с другой — открывался пространный вид в даль, почему хозяин и не преминул назвать беседку, поставленную там, «Бель-вю» [7]

Соколово некогда принадлежало графам Румянцовым. Богатые помещики, аристократы XVIII столетия, при всех своих недостатках были одарены какой-то шириной вкуса, которую они не передали своим наследникам. Старинные барские села и усадьбы по Москве-реке необыкновенно хороши, особенно те, в которых два последних поколения ничего не поправляли и не переиначивали.

Прекрасно провели мы там время. Никакое серьезное

облако не застилало летнего неба; много работая и много гуляя, жили мы в нашем парке. К[етчер] меньше ворчал, хотя иной раз и случалось ему забирать брови очень высоко и говорить крупные речи с сильной мимикой. Грановский и Е. [8] приезжали почти всякую неделю в субботу и оставались ночевать, а иногда уезжали уж в понедельник. М. С. [9] нанимал неподалеку другую дачу. Часто приходил и он пешком, в шляпе с широкими полями и в белом сюртуке, как Наполеон в Лонгвуде, с кузовком набранных грибов, шутил, пел малороссийские песни и морил со смеху своими рассказами, от которых, я думаю, сам Иоанн Кручинник, точивший всю жизнь слезы о грехах мира сего, стал бы их точить от хохота...

Сидя дружной кучкой в углу парка под большой липой, мы, бывало, жалели только об одном: об отсутствии Огарева. Ну, вот и он — и в 1846 году мы едем снова в Соколово, и он с нами; Грановский нанял на все лето небольшой флигель, Огарев поместился в антресолях над управляющим, флотским майором без уха.

И со всем этим, через две-три недели неопределенное чувство мне подсказало, что наша villeggiatura [10] не удалась и что этого не поправишь. Кому не случалось приготовлять пир, заранее радуясь будущему веселью друзей, и вот они являются; все идет хорошо, ничего не случилось, а предполагаемое веселье не налаживается. Жизнь только тогда бойко и хорошо идет, когда не чувствуешь, как кровь по жилам течет, и не думаешь, как легкие поднимаются. Если каждый толчок отдается, того и смотри — явится боль, диссонанс, с которым не всегда сладишь.

Первое время после приезда друзей прошло в чаду и одушевлении праздников; не успели они миновать, как занемог мой отец. Его кончина, хлопоты, дела — все это отвлекало от теоретических вопросов. В тиши соколовской жизни наши разногласия должны были прийти к слову.

Огарев, не видевший меня года четыре, был совершенно в том направлении, как я. Мы разными путями прошли те же пространства и очутились вместе. К нам присоединилась Natalie. Серьезные и на первый взгляд подавляющие выводы наши не пугали ее, она им придавала особый поэтический оттенок.

Споры становились чаще, возвращались на тысячу ладов. Раз мы обедали в саду. Грановский читал в «Отечественных записках» одно из моих писем об изучении природы (помнится, об *Энциклопедистах*) и был им чрезвычайно доволен.

— Да что же тебе нравится? — спросил я его.— Неужели одна наружная отделка? С внутренним смыслом его ты не можешь быть согласен.

— Твои мнения,— ответил Грановский,— точно так же исторический момент в науке мышления, как и самые писания энциклопедистов. Мне в твоих статьях нравится то, что мне нравится в Вольтере или Дидро: они живо, резко затрогивают такие вопросы, которые будят человека и толкают вперед; ну а во все односторонности твоего воззрения я не хочу вдаваться. Разве кто-нибудь говорит теперь о теориях Вольтера?

— Неужели же нет никакого мерила истины и мы будим людей только для того, чтобы им сказать пустяки?

Так продолжался довольно долго разговор. Наконец я заметил, что развитие науки, что современное состояние ее *обязывает нас* к принятию кой-каких истин независимо от того, хотим мы или нет; что, однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия, духа и материи.

— Все это так мало обязательно,— возразил Грановский, слегка изменившись в лице,— что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.

— Славно было бы жить на свете,— сказал я,— если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было бы тут как тут, на манер сказок.

— Подумай, Грановский,— прибавил Огарев,— ведь это своего рода бегство от несчастия.

— Послушайте,— возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего, — вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах. Мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее.

— Извольте, с величайшим удовольствием! — сказал я, чувствуя холод на лице. Огарев промолчал. Мы все взглянули друг на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно: мы все слишком любили друг друга, чтоб по выражению лиц не вымерить вполне, что произошло. Ни слова больше, спор не продолжался. Natalie старалась замаскировать, исправить случившееся. Мы помогли ей. Дети, всегда выручающие в этих случаях, послужили предметом разговора, и обед кончился так мирно, что посто-

ронний, который бы пришел после разговора, не заметил бы ничего...

После обеда Огарев бросился на своего Кортика, я сел на выслужившую свои лета жандармскую клячу, и мы выехали в поле. Точно кто-нибудь близкий умер, так было тяжело; до сих пор Огарев и я, мы думали, что сладим, что дружба наша сдует разногласие, как пыль; но тон и смысл последних слов открывал между нами даль, которой мы не предполагали. Так вот она, межа — предел и с тем вместе цензура! Всю дорогу ни Огарев, ни я не говорили. Возвращаясь домой, мы грустно покачали головой и оба в один голос сказали: «Итак, видно, мы опять одни?»

Огарев взял тройку и поехал в Москву. На дороге сочинил он небольшое стихотворение, из которого я взял эпиграф [11].

...Ни скорбь, ни скука
Не утомят меня. Всему свой срок,
Я правды речь вел строго в дружнем круге,
Ушли друзья в младенческом испуге.
И он ушел, которого, как брата
Иль как сестру, так нежно я любил!

Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо,
И пусть мечты и люди идут мимо...

С Грановским я встретился на другой день как ни в чем не бывало — дурной признак с обеих сторон. Боль еще была так жива, что не имела слов; а немая боль, не имеющая исхода, как мышь середь тишины, перегрызает нить за нитью...

Дни через два я был в Москве. Мы поехали с Огаревым к Е. К[оршу]. Он был как-то предупредительно любезен, грустно мил с нами, будто ему нас жаль. Да что же это такое, точно мы сделали какое-нибудь преступление? Я прямо спросил Е. К[орша], слышал ли он о нашем споре? Он слышал; говорил, что мы все слишком погорячились из-за отвлеченных предметов; доказывал, что того идеального тождества между людьми и мнениями, о котором мы мечтаем, вовсе нет, что симпатии людей, как химическое сродство, имеют свой предел насыщения, через который переходить нельзя, не наткнувшись на те стороны, в которых люди становятся вновь посторонними. Он шутил над нашей молодостью, пережившей тридцать лет, и все это он говорил с дружбой, с деликатностью — видно было, что и ему не легко.

Мы расстались мирно. Я, немного краснея, думал о моей «наивности», а потом, когда остался один и лег в постель, мне показалось, что еще кусок сердца отхватили — ловко, без боли, но его нет!

Далее не было ничего... а только все подернулось чем-то темным и матовым; непринужденность, полный abandon [13] исчезли в нашем круге. Мы сделались внимательнее, обходили некоторые вопросы, т. е. действительно отступили на «границу химического сродства»,— и все это приносило тем больше горечи и боли, что мы искренно и много любили друг друга.

Может, я был слишком нетерпим, заносчиво спорил, колко отвечал... может быть... но, в сущности, я и теперь убежден, что в действительно близких отношениях тождество *религии* необходимо,— тождество в главных теоретических убеждениях. Разумеется, одного теоретического согласия недостаточно для близкой связи между людьми; я был ближе по симпатии, например, с И. В. Киреевским, чем с многими из наших. Еще больше — можно быть хорошим и верным *союзником*, сходясь в каком-нибудь определенном деле и расходясь в мнениях; в таком отношении я был с людьми, которых бесконечно уважал, не соглашаясь в многом с ними, например с Маццини, с Ворцелем. Я не искал их убедить, ни они — меня; у нас довольно было общего, чтоб идти не ссорясь по одной дороге. Но между нами, братьями одной семьи, близнецами, жившими одной жизнию, нельзя было так глубоко расходиться.

Еще бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь, собственно, вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений... Какие же могли быть уступки на этом поле?..

Трещина, которую дала одна из стен нашей дружеской храмины, увеличилась, как всегда бывает, мелочами, недоразумениями, ненужной откровенностью там, где лучше было бы молчать, и вредным молчанием там, где необходимо было говорить; эти вещи решает один такт сердца, тут нет правил.

Вскоре и в дамском обществе все разладилось.

На ту минуту нечего было делать.

Ехать, ехать вдаль, надолго, непременно ехать! Но ехать было не легко. На ногах была веревка полицейского надзора, и *без* разрешения Николая заграничного паспорта мне выдать было невозможно.

ЗАПАДНЫЕ АРАБЕСКИ

ТЕТРАДЬ ВТОРАЯ

I. Il pianto [1]

После Июньских дней я видел, что революция побеждена, но верил еще в *побежденных,* в падших, верил в чудотворную силу мощей, в их нравственную могучесть. В Женеве я стал понимать яснее и яснее, что революция не только побеждена, но что она *должна была быть* побежденной.

У меня кружилась голова от моих открытий, пропасть открывалась перед глазами, и я чувствовал, как почва исчезала под ногами.

Не реакция победила революцию. Реакция везде оказалась тупой, трусливой, выжившей из ума, она везде позорно отступила за угол перед напором народной волны и воровски выжидала времени в Париже и в Неаполе, в Вене и Берлине. Революция пала, как Агриппина, под ударами своих детей и, что всего хуже, без их сознания [2]; героизма, юношеского самоотвержения было больше, чем разумения, и чистые, благородные жертвы пали, не зная за что. Судьба остальных вряд не была ли еще печальнее. Они, в раздоре между собой, в личных спорах, в печальном самообольщении, разъедаемые необузданным самолюбием, останавливались на своих неожиданных днях торжества и не хотели ни снять увядших венков, ни венчального наряда, несмотря на то что *невеста* обманула.

Несчастия, праздность и нужда внесли нетерпимость, упрямство, раздражение... Эмиграции разбивались на маленькие кучки, средоточием которых делались имена, ненависти, а не начала. Взгляд, постоянно обращенный назад, и исключительное, замкнутое общество начало выражаться в речах и мыслях, в приемах и одежде; новый цех — *цех выходцев* — складывался и костенел рядом с другими. И как некогда Василий Великий писал Григорию Назианзину, что он «утопает в посте и наслаждается лишениями» [3], так теперь явились добровольные мученики, страдавшие по званию, несчастные по ремеслу, и в их числе добросовестнейшие люди; да и Василий Великий откровенно писал своему другу об оргиях плотоумерщвления и о неге гонения. При всем этом сознание не двигалось ни

на шаг мысль дремала... Если б эти люди были призваны звуком новой трубы и нового набата, они, как девять спящих дев, продолжали бы тот день, в который заснули.

Сердце изнывало от этих тяжелых истин; трудную страницу воспитания приходилось переживать.

...Печально сидел я раз в мрачном, неприятном Цюрихе, в столовой у моей матери; это было в конце декабря 1849. Я ехал на другой день в Париж; день был холодный, снежный, два-три полена нехотя, дымясь и треща, горели в камине; все были заняты укладкой; я сидел один-одинехонек, женевская жизнь носилась перед глазами, впереди все казалось темно, я чего-то боялся, и мне было так невыносимо, что, если б я мог, я бросился бы на колени и плакал бы, и молился бы, но я не мог и, вместо молитвы, написал *проклятие — мой «Эпилог к 1849»*.

«Разочарование, усталь, Blasiertheit[4]!»,— сказали об этих выболевших строках демократические рецензенты. Да, разочарование! Да, усталь!.. Разочарование — слово битое, пошлое, дымка, под которой скрывается лень сердца, эгоизм, придающий себе вид любви, звучная пустота самолюбия, имеющего притязание на все, силы — ни на что. Давно надоели нам все эти высшие, неузнанные натуры, исхудалые от зависти и несчастные от высокомерия,— в жизни и в романах. Все это совершенно так, а вряд ли нет чего-либо истинного, особенно принадлежащего нашему времени, на дне этих страшных психических болей, вырождающихся в смешные пародии и в пошлый маскарад.

Поэт, нашедший слово и голос для этой боли, был слишком горд, чтоб притворяться, чтоб страдать для рукоплесканий; напротив, он часто горькую мысль свою высказывал с таким юмором, что добрые люди помирали со смеха. Разочарование Байрона больше, нежели каприз, больше нежели личное настроение. Байрон сломился оттого, что его жизнь обманула. А жизнь обманула не потому, что требования его были ложны, а потому, что Англия и Байрон были двух розных возрастов, двух розных воспитаний и встретились именно в ту эпоху, в которую туман рассеялся.

Разрыв этот существовал и прежде, но в наш век он пришел к сознанию, в наш век больше и больше обличается невозможность посредства каких-нибудь верований. За римским разрывом шло христианство, за христианством — вера в цивилизацию, в человечество. *Либерализм составляет последнюю религию,* но его церковь не другого мира, а этого, его теодицея — политическое учение; он стоит на земле и не имеет мистических примирений, ему надобно

мириться в самом деле. Торжествующий и потом побитый либерализм раскрыл разрыв во всей наготе; болезненное сознание этого выражается иронией современного человека, его скептицизмом, которым он метет осколки разбитых кумиров.

Иронией высказывается досада, что истина логическая — не одно и то же с истиной исторической, что, сверх диалектического развития, она имеет свое страстное и случайное развитие, что, сверх своего разума, она имеет свой роман.

Разочарованья *, в нашем смысле слова, до революции не знали; XVIII столетие было одно из самых религиозных времен истории. Я уже не говорю о великом ученике С.-Жюсте или об апостоле Жан-Жаке; но разве папа-Вольтер, благословлявший Франклинова внука во имя бога и свсбоды [5], не был пиетист своей человеческой религией?

Скептицизм провозглашен вместе с республикой 22 сентября 1792 года.

Якобинцы и вообще революционеры принадлежали к меньшинству, отделившемуся от народной жизни развитием: они составляли нечто вроде светского духовенства, готового пасти стада людские. Они представляли *высшую* мысль своего времени, его *высшее*, но не *общее* сознание, не *мысль всех*.

У нового духовенства не было понудительных средств, ни фантастических, ни насильственных; с той минуты, как власть выпала из их рук, у них было одно орудие — убеждение, но для убеждения недостаточно *правоты*, в этом вся ошибка, а необходимо еще одно — *мозговое равенство!*

Пока длилась отчаянная борьба при звуках святой песни гугенотов и святой «Марсельезы», пока костры горели и кровь лилась, этого неравенства не замечали; но наконец тяжелое здание феодальной монархии рухнулось; долго ломали стены, отбивали замки... еще удар — еще пролом сделан, храбрые вперед, вороты отперты — и толпа хлынула, только не та, которую ждали. Кто это такие? Из какого века? Это не спартанцы, не великий populus romanus. Davus sum, non Aedipus! [6] Неотразимая волна грязи залила все. В терроре 93, 94 года выразился внутренний ужас якобинцев: они увидели страшную ошибку, хотели ее поправить гильотиной, но, сколько ни рубили голов, все-таки склонили свою собственную перед силою восходящего

---

* Вообще «наш» скептицизм не был известен в прошлом веке, один Дидро и Англия делают исключение. В Англии скептицизм был с давних времен дома, и Байрон естественно идет за Шекспиром, Гоббсом и Юмом.

общественного слоя. Все ему покорилось, он пересилил революцию и реакцию, он затопил старые формы и наполнил их собой, потому что он составлял единственное деятельное и современное большинство; Сийэс был больше прав, чем думал, говоря, что *мещане* — «всё» [7]

Мещане не были произведены революцией, они были готовы с своими преданиями и нравами, чуждыми *на другой лад* революционной идеи. Их держала аристократия в черном теле и на третьем плане; освобожденные, они прошли по трупам освободителей и ввели свой порядок. Меньшинство было или раздавлено, или распустилось в мещанство.

Несколько человек каждого поколения оставались вопреки событиям упорными хранителями идеи; эти-то левиты, а может астеки, несут несправедливую казнь за монополь исключительного развития, за мозговое превосходство сытых каст,— каст досужих, имевших время работать не одними мышцами.

Нас сердит, выводит из себя нелепость, несправедливость этого факта. Как будто кто-нибудь (кроме нас самих) обещал, что все в мире будет изящно, справедливо и идти как по маслу. Довольно удивлялись мы отвлеченной премудрости природы и исторического развития; пора догадаться, что в природе и истории много случайного, глупого, неудавшегося, спутанного. Разум, мысль на конце — это заключение; все начинается тупостью новорожденного; возможность и стремление лежат в нем, но прежде чем он дойдет до развития и сознания, он подвергается ряду внешних и внутренних влияний, отклонений, остановок. У одного вода размягчит мозг, другой, падая, сплюснет его, оба останутся идиотами, третий не упадет, не умрет скарлатиной и сделается поэтом, военачальником, бандитом, судьей. Мы вообще в природе, в истории и в жизни всего больше знаем удачи и успехи; мы теперь только начинаем чувствовать, что не все так хорошо подтасовано, как казалось, потому что мы сами — неудача, *проигранная карта.*

Сознание бессилия идеи, отсутствия обязательной силы истины над действительным миром огорчает нас. Нового рода манихеизм овладевает нами, мы готовы, par dépit [8], верить в разумное (т. е. намеренное) зло, как верили в разумное добро,— это последняя дань, которую мы платим идеализму.

Боль эта пройдет со временем, трагический и страстный характер уляжется; ее почти нет в *Новом* свете Соединенных Штатов. Этот народ, молодой, предприимчивый, более деловой, чем умный, до того занят устройством своего

жилья, что вовсе не знает наших мучительных болей. Там, сверх того, нет и двух образований. Лица, составляющие слои в тамошнем обществе, беспрестанно меняются, они подымаются, опускаются с итогом credit и debet каждого. Дюжая порода английских колонистов разрастается страшно; если она возьмет верх, люди с ней не сделаются счастливее, но будут довольнее. Довольство это будет плоше, беднее, суше того, которое носилось в идеалах романтической Европы, но с ним не будет ни царей, ни централизации, а может, не будет и голода. *Кто может* совлечь с себя старого европейского Адама и переродиться в нового Ионатана [9], тот пусть едет с первым пароходом куда-нибудь в Висконсин или Канзас — там наверно ему будет лучше, чем в европейском разложении.

Те, которые *не могут*, те останутся доживать свой век, как образчики прекрасного сна, которым дремало человечество. Они слишком жили фантазией и идеалами, чтоб войти в разумный американский возраст.

Большой беды в этом нет: нас немного, и мы скоро вымрем!

Но как люди так развиваются вон из своей среды?..

Представьте себе оранжерейного юношу, хоть того, который описал себя в «The Dream» [10]; представьте его себе лицом к лицу с самым скучным, с самым тяжелым обществом, лицом к лицу с уродливым минотавром английской жизни, неловко спаянным из двух животных: одного дряхлого, другого по колена в топком болоте, раздавленного, как Кариатида, постоянно натянутые мышцы которой не дают ни капли крови мозгу. Если б он умел приладиться к той жизни, он, вместо того чтоб умереть за тридцать лет в Греции, был бы теперь лордом Пальмерстоном или сиром Джоном Росселем. Но так как он не мог, то нет ничего удивительного, что он с своим Гарольдом говорит кораблю: «Неси меня куда хочешь — только вдаль от родины» [11].

Но что же ждало его в этои дали? Испания, вырезываемая Наполеоном, одичалая Греция, всеобщее воскрешение всех смердящих Лазарей после 1814 года; от них нельзя было спастись ни в Равенне, ни в Диодати [12]. Байрон не мог удовлетвориться по-немецки теориями sub specie aeternitatis [13], ни по-французски политической болтовней, и он сломился, но сломился, как грозный Титан, бросая людям в глаза свое презрение, не золотя пилюли.

Разрыв, который Байрон чувствовал как поэт и гений сорок лет тому назад, после ряда новых испытаний, после грязного перехода с 1830 к 1848 году и гнусного с 48 до

сегодняшнего дня, поразил теперь многих. И мы, как Байрон, не знаем, куда деться, куда приклонить голову.

Реалист Гёте, так же как и романтик Шиллер, этой разорванности не знали. Один был слишком религиозен, другой слишком философ. Оба могли примиряться в отвлеченных сферах. Когда «дух отрицанья» является таким шутником, как Мефистофель, тогда разрыв еще не страшен; насмешливая и вечно противоречащая натура его еще расплывается в высшей гармонии и в свое время прозвучит всему sie ist gerettet [14]. Не таков Люцифер в «Каине»; это печальный ангел тьмы, на его лбу тускло мерцает звезда горькой думы, полного внутреннего распадения, концы которого не сведешь. Он не острит отрицанием, не смешит дерзостью неверия, не манит чувственностью, не достает ни наивных девочек, ни вина, ни брильянтов, а спокойно влечет к убийству, тянет к себе, к преступленью той непонятной силой, которой зовет человека в иные минуты стоячая вода, освещенная месяцем, ничего не обещая в безотрадных, холодных, мерцающих объятиях своих, кроме смерти.

Ни Каин, ни Манфред, ни Дон-Жуан, ни Байрон не имеют никакого вывода, никакой развязки, никакого «нравоучения». Может, с точки зрения драматического искусства это и не идет, но в этом-то и печать искренности и глубины разрыва. Эпилог Байрона, его последнее слово, если вы хотите, это — «The Darkness» [15]; вот результат жизни, начавшейся со «Сна». Дорисуйте картину сами. Два врага, обезображенные голодом, умерли, их съели какие-нибудь ракообразные животные... корабль догнивает — смоленый канат качается себе по мутным волнам в темноте, холод страшный, звери вымирают, история уже умерла, и место расчищено для новой жизни: наша эпоха зачислится в четвертую формацию, т. е. если новый мир дойдет до того, что сумеет считать до четырех.

Наше историческое призвание, наше деяние в том и состоит, что мы нашим разочарованием, нашим страданием доходим до смирения и покорности перед истиной и избавляем от этих скорбей следующие поколения. Нами человечество протрезвляется, мы его спохмелье, мы его боли родов. Если роды кончатся хорошо, все пойдет на пользу; но мы не должны забывать, что по дороге может умереть ребенок или мать, а может и оба, и тогда — ну, тогда история с своим мормонизмом начнет новую беременность... E sempre bene [16], господа!

Мы знаем, как природа распоряжается с личностями: после, прежде, без жертв, на грудах трупов — ей все равно,

она продолжает свое или так продолжает, что попало: десятки тысяч лет наносит какой-нибудь коралловый риф, всякую весну покидая смерти забежавшие ряды. Полипы умирают, не подозревая, что они служили *прогрессу* рифа.

Чему-нибудь послужим и мы. Войти в будущее как элемент не значит еще, что будущее исполнит наши идеалы. Рим не исполнил ни Платонову республику, ни вообще греческий идеал. Средние века не были развитием Рима. Современная мысль западная войдет, воплотится в историю, будет иметь свое влияние и место так, как тело наше войдет в состав травы, баранов, котлет, людей. Нам не нравится это бессмертие — что же с этим делать?

Теперь я привык к этим мыслям, они уже не пугают меня. Но в конце 1849 года я был ошеломлен ими, и, несмотря на то, что каждое событие, каждая встреча, каждое столкновение, лицо — наперерыв обрывали последние зеленые листья, я еще упрямо и судорожно искал *выхода.*

Оттого-то я теперь и ценю так высоко мужественную мысль Байрона. Он видел, что *выхода нет,* и гордо высказал это.

Я был несчастен и смущен, когда эти мысли начали посещать меня; я всячески хотел бежать от них... я стучался, как путник, потерявший дорогу, как нищий, во все двери, останавливал встречных и расспрашивал о дороге, но каждая встреча и каждое событие вели к одному результату — к *смирению перед истиной,* к самоотверженному принятию ее.

...Три года тому назад я сидел у изголовья больной и видел, как смерть стягивала ее безжалостно шаг за шагом в могилу. Эта жизнь была все мое достояние [17]. Мгла стлалась около меня, я дичал в тупом отчаянии, но не тешил себя надеждами, не предал своей горести ни на минуту одуряющей мысли о свидании за гробом.

Так уже с общими-то вопросами и подавно не стану кривить душой!

II. Post scriptum

Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, хотим другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай. Разрушать мечты вообще дело неприятное, но меня заставляет какая-то внутренняя сила, которой я не могу победить, высказывать истину — даже в тех случаях, когда она мне вредна.

Мы вообще знаем Европу школьно, литературно, т. е. мы не знаем ее, а судим à livre ouvert [18], по книжкам и картинкам, так, как дети судят по «Orbis pictus» о настоя-

щем мире [19], воображая, что все женщины на Сандвичевых островах держат руки над головой с какими-то бубнами и что, где есть голый негр, там непременно, в пяти шагах от него, стоит лев с растрепанной гривой или тигр с злыми глазами.

Наше *классическое* незнание западного человека наделает много бед, из него еще разовьются племенные ненависти и кровавые столкновения.

Во-первых, нам известен только один верхний, *образованный* слой Европы, который накрывает собой тяжелый фундамент народной жизни, сложившийся веками, выведенный инстинктом, по законам, мало известным в самой Европе. Западное образование не проникает в эти циклопические работы, которыми история приросла к земле и граничит с геологией. Европейские государства спаяны из двух народов, особенности которых поддерживаются совершенно розными воспитаниями. Восточного единства, вследствие которого турок, подающий чубук, и турок — великий визирь похожи друг на друга, здесь нет. Массы сельского населения, после религиозных войн и крестьянских восстаний, не принимали никакого действительного участия в событиях; они ими увлекались направо или налево, как нивы, не оставляя ни на минуту своей почвы.

Во-вторых, и тот слой, который нам знаком, с которым мы входим в соприкосновение, мы знаем исторически, несовременно. Поживши год, другой в Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они *гораздо ниже* его.

В идеал, составленный нами, входят элементы верные, но или не существующие более, или совершенно изменившиеся. Рыцарская доблесть, изящество аристократических нравов, строгая чинность протестантов, гордая независимость англичан, роскошная жизнь итальянских художников, искрящийся ум энциклопедистов и мрачная энергия террористов — все это переплавилось и переродилось в целую совокупность других господствующих нравов, *мещанских.* Они составляют целое, т. е. замкнутое, оконченное в себе, воззрение на жизнь, с своими преданиями и правилами, с своим добром и злом, с своими приемами и с своей нравственностью *низшего порядка.*

Как рыцарь был первообраз мира феодального, так купец стал первообразом нового мира: господа заменились *хозяевами.* Купец сам по себе — лицо стертое, промежуточное; посредник между одним, который производит, и другим, который потребляет, он представляет нечто вроде дороги, повозки, средства.

Рыцарь был больше *он сам,* больше *лицо* и берег, как понимал, свое достоинство, оттого-то он, в сущности, и не зависел ни от богатства, ни от места; его личность была главное; в мещанине личность прячется или не выступает, потому что не она главное: главное — товар, дело, вещь, главное — *собственность.*

Рыцарь был страшная невежда, драчун, бретер, разбойник и монах, пьяница и пиетист, но он был во всем открыт и откровенен; к тому же он всегда готов был лечь костьми за то, что считал правым; у него было свое нравственное уложение, свой кодекс чести, очень произвольный, но от которого он не отступал без утраты собственного уважения или уважения равных.

Купец — человек мира, а не войны, упорно и настойчиво отстаивающий свои права, но слабый в нападении; расчетливый, скупой, он во всем видит торг и, как рыцарь, вступает с каждым встречным в поединок, только мерится с ним — *хитростью.* Его предки, средневековые горожане, спасаясь от насилий и грабежа, принуждены были лукавить: они покупали покой и достоинство уклончивостью, скрытностью, сжимаясь, притворяясь, обуздывая себя. Его предки, держа шляпу и кланяясь в пояс, обсчитывали рыцаря; качая головой и вздыхая, говорили они соседям о своей бедности, а между тем потихоньку зарывали деньги в землю. Все это, естественно, перешло в кровь и мозг потомства и сделалось физиологическим признаком особого вида людского, называемого *средним состоянием.*

Пока оно было в несчастном положении и соединялось с светлой закраиной аристократии для защиты своей веры, для завоевания своих прав, оно было исполнено величия и поэзии. Но этого стало ненадолго, и Санчо-Панса, завладев местом и запросто развалясь на просторе, дал себе полную волю и потерял свой народный юмор, свой здравый смысл; вульгарная сторона его натуры взяла верх.

Под влиянием мещанства все переменилось в Европе. Рыцарская честь заменилась бухгалтерской честностью, изящные нравы — нравами чинными, вежливость — чопорностью, гордость — обидчивостью, парки — огородами, дворцы — гостиницами, открытыми для *всех* (т. е. для всех, имеющих деньги).

Прежние, устарелые, но последовательные понятия об отношениях между людьми были потрясены, но нового сознания *настоящих* отношений между людьми не было раскрыто. Хаотический простор этот особенно способствовал развитию всех мелких и дурных сторон мещанства под всемогущим влиянием ничем не обуздываемого стяжания.

Разберите моральные правила, которые в ходу с полвека,— чего тут нет? Римские понятия о государстве с готическим разделением властей, протестантизм и политическая экономия, salus populi [20], и chacun pour soi [21], Брут и Фома Кемпийский, евангелие и Бентам, приходо-расходное счетоводство и Ж.-Ж. Руссо. С таким сумбуром в голове и с магнитом, вечно притягиваемым к золоту, в груди не трудно было дойти до тех нелепостей, до которых дошли передовые страны Европы.

Вся нравственность свелась на то, что неимущий должен всеми средствами приобретать, а имущий — хранить и увеличивать свою собственность; флаг, который поднимают на рынке для открытия торга, стал хоругвию нового общества. Человек de facto сделался принадлежностью собственности; жизнь свелась на постоянную борьбу из-за денег.

Политический вопрос с 1830 года делается исключительно вопросом мещанским, и вековая борьба высказывается страстями и влечением господствующего состояния. Жизнь свелась на биржевую игру, все превратилось в меняльные лавочки и рынки: редакции журналов, избирательные собрания, камеры. Англичане до того привыкли все приводить к лавочной номенклатуре, что называют свою старую англиканскую церковь — Old Shop [22].

Все партии и оттенки мало-помалу разделились в мире мещанском на два главные стана: с одной стороны, мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой — неимущие *мещане,* которые хотят вырвать из их рук их достояние, но не имеют силы, т. е. с одной стороны *скупость,* с другой — *зависть.* Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения. Одна волна оппозиции за другой достигает победы, т. е. собственности или места, и естественно переходит со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не может быть лучше, как бесплодная качка парламентских прений,— она дает движение и пределы, дает *вид дела* и форму общих интересов для достижения своих личных целей.

Парламентское правление, не так, как оно истекает из народных основ англосаксонского Common law [23], а так, как оно сложилось в государственный закон,— самое колоссальное беличье колесо в мире. Можно ли величественнее стоять на одном и том же месте, придавая себе вид торжественного марша, как оба английские парламента?

Но в этом-то сохранении вида и главное дело.

Во всем современноевропейском глубоко лежат две черты, явно идущие из-за прилавка: с одной стороны, лицемерие и скрытность, с другой — выставка и étalage. Продать товар лицом, купить за полцены, выдать дрянь за дело, форму за сущность, умолчать какое-нибудь условие, воспользоваться буквальным смыслом, *казаться,* вместо того чтоб *быть,* вести себя *прилично,* вместо того чтоб вести себя *хорошо,* хранить внешний Respectabilität [24] вместо внутреннего достоинства.

В этом мире все до такой степени декорация, что самое грубое невежество получило вид образования. Кто из нас не останавливался, краснея за неведение западного общества (я здесь не говорю об ученых, а о людях, составляющих то, что называется обществом)? Образования теоретического, серьезного быть не может: оно требует слишком много времени, слишком отвлекает от *дела.* Так как все, лежащее вне торговых оборотов и «эксплуатации» своего общественного положения, не *существенно* в мещанском обществе, то их образование и должно быть ограниченно. Оттого происходит та нелепость и тяжесть ума, которую мы видим в мещанах всякий раз, как им приходится съезжать с битой и торной дороги. Вообще, хитрость и лицемерие далеко не так умны и дальновидны, как воображают; их диаметр беден и плаванье мелко.

Англичане это знают и потому не оставляют битые колеи и выносят не только тяжелые, но, хуже того, смешные неудобства своего готизма [25], боясь всякой перемены.

Французские мещане не были так осторожны и со всем своим лукавством и двоедушием оборвались в империю.

Уверенные в победе, они провозгласили основой нового государственного порядка *всеобщую подачу голосов.* Это арифметическое знамя было им симпатично, истина определялась сложением и вычитанием, ее можно было прокидывать на счетах и метить булавками.

И что же они подвергнули суду *всех голосов* при современном состоянии общества? Вопрос о существовании республики. Они хотели ее убить народом, сделать из нее пустое слово, потому что они не любили ее. Кто уважает истину, пойдет ли тот спрашивать мнение встречного-поперечного? Что, если б Колумб или Коперник пустили Америку и движение земли на голоса?

Хитро было придумано, а в последствиях добряки обочлись.

Щель, сделавшаяся между партером и актерами, прикрытая сначала линючим ковром ламартиновского красно-

речия, делалась больше и больше; июньская кровь ее размыла, и тут-то раздраженному народу поставили вопрос о президенте. Ответом на него вышел из щели, протирая заспанные глаза, Людовик-Наполеон, забравший все в руки, т. е. и мещан, которые воображали по старой памяти, что он будет *царствовать,* а они — *править.*

То, что вы видите на большой сцене государственных событий, то микроскопически повторяется у каждого очага. Мещанское растление пробралось во все тайники семейной и частной жизни. Никогда католицизм, никогда рыцарство не отпечатлевались так глубоко, так многосторонне на людях, как буржуазия.

Дворянство обязывало. Разумеется, так как его права были долею фантастические, то и обязанности были фантастические, но они делали известную круговую поруку между равными. Католицизм обязывал с своей стороны еще больше. Рыцари и верующие часто не исполняли своих обязанностей, но сознание, что они тем нарушали ими самими признанный общественный союз, не позволяло им ни быть свободными в отступлениях, ни возводить в норму своего поведения. У них была своя праздничная одежда, своя официальная постановка, которые не были ложью, а скорей их идеалом.

Нам теперь дела нет до содержания этого идеала. Их процесс решен и давно проигран. Мы хотим только указать, что мещанство, напротив, ни к чему не обязывает, ни даже к военной службе, если только есть охотники, т. е. обязывает per fas et nefas [26] иметь собственность. Его евангелие коротко: «Наживайся, умножай свой доход, как песок морской, пользуйся и злоупотребляй своим денежным и нравственным капиталом, не разоряясь, и ты сыто и почетно достигнешь долголетия, женишь своих детей и оставишь по себе хорошую память».

Отрицание мира рыцарского и католического было необходимо и сделалось не мещанами, а просто свободными людьми, т. е. людьми, отрешившимися от всяких гуртовых определений. Тут были рыцари, как Ульрих фон-Гуттен, и дворяне, как Арует Вольтер, ученики часовщиков, как Руссо, полковые лекаря, как Шиллер, и купеческие дети, как Гёте. Мещанство воспользовалось их работой и явилось освобожденным не только от царей, рабства, но и от всех общественных тяг, кроме складчины для найма охраняющего их правительства.

Из протестантизма они сделали *свою* религию — религию, примирявшую совесть христианина с занятием ростовщика,— религию до того мещанскую, что народ,

ливший кровь за нее, ее оставил. В Англии *чернь* всего менее ходит в церковь.

Из революции они хотели сделать *свою* республику, но она ускользнула из-под их пальца, так, как античная цивилизация ускользнула от варваров, т. е. без места в настоящем, но с надеждой на instaurationem magnam [27]

Реформация и революция были сами до того испуганы пустотою мира, в который они входили, что они искали спасения в двух монашествах: в холодном, скучном ханжестве пуританизма и в сухом, натянутом цивизме республиканского формализма. Квакерская и якобинская нетерпимость были основаны на страхе, что их почва не тверда; они видели, что им надобны были сильные средства, чтобы уверить одних, что это церковь, других — что это свобода.

Такова общая атмосфера европейской жизни. Она тяжелее и невыносимее там, где современное западное состояние наибольше развито, там, где оно вернее своим началам, где оно богаче, *образованнее,* т. е. промышленнее. И вот отчего где-нибудь в Италии или Испании не так невыносимо удушливо жить, как в Англии и во Франции... И вот отчего горная, бедная, сельская Швейцария — единственный клочок Европы, в который можно удалиться с миром.

Эти отрывки, напечатанные в IV кн. «Полярной звезды», оканчивались следующим посвящением, писанным до *приезда Огарева в Лондон и до смерти Грановского:*

...Прими сей череп — он
Принадлежит тебе по праву.

А. Пушкин [28]

На этом пока и остановимся. Когда-нибудь я напечатаю выпущенные главы и напишу другие, без которых рассказ мой останется непонятным, усеченным, может ненужным, во всяком случае будет не тем, чем я хотел, но все это после, гораздо после...

Теперь расстанемтесь, и на прощанье одно слово к вам, друзья юности.

Когда все было схоронено, когда даже шум, долею вызванный мною, долею сам накликавшийся, улегся около меня и люди разошлись по домам, я приподнял голову и посмотрел вокруг: живого, родного не было ничего, кроме детей. Побродивши между посторонних, еще присмотрев-

шись к ним, я перестал в них искать *своих* и отучился — не от людей, а от близости с ними.

Правда, подчас кажется, что еще есть в груди чувства, слова, которых жаль не высказать, которые сделали бы много добра, по крайней мере отрады слушающему, и становится жаль, зачем все это должно заглохнуть и пропасть в душе, как взгляд рассеивается и пропадает в пустой дали... но и это — скорее догорающее зарево, отражение уходящего прошедшего.

К нему-то я и обернулся. Я оставил чужой мне мир и воротился к вам; и вот мы с вами живем второй год, как бывало, видаемся каждый день, и ничего не переменилось, никто не отошел, не состарелся, никто не умер, и мне так дома с вами и так ясно, что у меня нет другой почвы, кроме нашей, другого призвания, кроме того, на которое я себя обрекал с детских лет.

Рассказ мой о былом, может, скучен, слаб — но вы, друзья, примите его радушно; этот труд помог мне пережить страшную эпоху, он меня вывел из праздного отчаяния, в котором я погибал, он меня воротил к вам. С ним я вхожу *не весело, но спокойно* (как сказал поэт, которого я безмерно люблю) в мою зиму.

«Lieta no... ma sicura!» — говорит Леопарди о смерти в своем «Ruysch e le mummie» [29].

Так, без вашей воли, без вашего ведома вы выручили меня — *примите же сей череп — он вам принадлежит по праву.*

Isle of Wight, Ventnor, 1 октября 1855

ПРИБАВЛЕНИЕ

ДЖОН СТЮАРТ МИЛЛЬ И ЕГО КНИГА «ON LIBERTY»

Много я принял горя за то, что печально смотрю на Европу и просто, без страха и сожаления, высказываю это. С того времени, как я печатал в «Современнике» мои «Письма из Avenue Marigny», часть друзей и недругов показывали знаки нетерпения, негодования, возражали... а тут, как назло, с каждым событием становилось на Западе темнее, угарнее, и ни умные статьи Парадоля, ни клерикально-либеральные книжонки Монталамбера, ни замена прусского короля прусским принцем не могли отвести глаз, искавших истины [1]. У нас не хотят этого знать и, натурально, сердятся на нескромного обличителя.

Европа нам нужна как идеал, как упрек, как благой пример; если она не такая, ее надобно выдумать. Разве наивные вольнодумы XVIII века, и в их числе Вольтер и Робеспьер, не говорили, что если и нет бессмертия души, то его надобно проповедовать для того, чтоб держать людей в страхе и добродетели? Или разве мы не видим в истории, как иногда вельможи скрывали тяжкую болезнь или скоропостижную смерть царя и управляли именем трупа или сумасшедшего, как это недавно было в Пруссии?

Ложь ко спасению — дело, может, хорошее, но не все способны к ней.

Я не унывал, впрочем, от порицаний и утешал себя тем, что и здесь мною высказанные мысли принимались не лучше, да еще тем, что они объективно истинны, т. е. независимы от личных мнений и даже добрых целей воспитания, исправления нравов и т. д. Все само по себе истинное рано или поздно взойдет и обличится, «kommt an die Sonnen» [2], как говорит Гёте.

Одна из причин неудовольствия, собственно, против *моих* мнений антропологически понятна: сверх докучного беспокойства, приносимого разрушением оконченных мнений и окаменелых идеалов, на меня досадовали за то, что я, *свой человек,* с чего же, в самом деле, вдруг вздумал судить и рядить, да еще старших, и каких?

В нашем новом поколении есть странный кряж; в нем спаяны, как в маятниках, самые противуположные элементы: с одной стороны, оно толкается каким-то жестяным, костлявым, неукладчивым самолюбием, заносчивой само-

надеянностью, щепетильной обидчивостью; с другой — в нем поражает обескураженная подавленность, недоверие к России, преждевременное старчество. Это естественный результат тридцатилетнего рабства; в нем в иной форме сохранилась наглость начальника, дерзость барина с подавленностью подчиненного, с отчаянием ревизской души, отпускаемой в услужение.

Пока меня побранивали наши начальники литературных отделений, время шло себе да шло, и наконец прошло целых десять лет. Многое из того, что было ново в 1849, стало в 1859 битой фразой, что казалось тогда сумасбродным парадоксом — перешло в общественное мнение, и много *вечных и незыблемых* истин прошли с тогдашним покроем платья.

Серьезные умы в Европе стали смотреть серьезно. Их очень немного — это только подтверждает мое мнение о Западе, но они далеко идут, и я очень помню, как Т. Карлейль и добродушный Олсоп (тот, который был замешан в дело Орсини [3]) улыбались над остатками моей веры в английские формы. Но вот является книга, идущая далеко дальше всего, что было сказано мною. Pereant, qui ante nos nostra dixerunt [4], и спасибо тем, которые после нас своим авторитетом утверждают сказанное нами и своим талантом ясно и мощно передают слабо выраженное нами.

Книга, о которой я говорю, писана не Прудоном, ни даже Пьером Леру или другим социалистом-изгнанником, раздраженным,— совсем нет: она писана одним из известнейших политических экономов, одним из недавних членов индийского борда, которому три месяца тому назад лорд Стенли предлагал место в правительстве [5]. Человек этот пользуется огромным, заслуженным авторитетом: в Англии его нехотя читают тори и со злобой — виги, его читают на материке те несколько человек (исключая специалистов), которые вообще читают что-нибудь, кроме газет и памфлетов.

Человек этот — Джон Стюарт Милль.

Месяц тому назад он издал странную книгу в защиту *свободы мысли, речи и лица;* я говорю «странную», потому что неужели не странно, что там, где за два века Мильтон писал о том же, явилась необходимость снова поднять речь on Liberty [6]. А ведь такие люди, как С. Милль, не могут писать из удовольствия; вся книга его проникнута глубокой печалью, не тоскующей, но мужественной, укоряющей, тацитовской. Он потому заговорил, что зло стало хуже. Мильтон защищал свободу речи против нападений власти против насилия, и все энергическое и благородное было

с ним. У Стюарта Милля враг совсем иной: он отстаивает свободу не против образованного правительства, а против *общества,* против *нравов,* против мертвящей силы равнодушия, против мелкой нетерпимости, против «посредственности».

Это не негодующий старик-царедворец Екатерины, который брюзжит, обойденный кавалерией, над юным поколением и колет глаза Зимнему дворцу Грановитой палатой. Нет, это человек, полный сил, давно живущий в государственных делах и глубоко продуманных теориях, привыкнувший спокойно смотреть на мир и как англичанин, и как мыслитель, и он-то, наконец, не вытерпел и, подвергаясь гневу невских регистраторов цивилизации и москворецких книжников западного образования, закричал: «Мы тонем!»

Постоянное понижение личностей, вкуса, тона, пустота интересов, отсутствие энергии ужаснули его; он присматривается и видит ясно, как все мельчает, становится дюжинное, рядское, стертое, пожалуй «добропорядочнее», но пошлее. Он видит в Англии (то, что Токвиль заметил во Франции [7]), что вырабатываются общие, стадные типы, и, серьезно качая головой, говорит своим современникам: «Остановитесь, одумайтесь! Знаете ли, куда вы идете? Посмотрите — *душа убывает».*

Но зачем же будит он спящих, какой путь, какой выход он придумал для них? Он, как некогда Иоанн Предтеча, грозит будущим и зовет на покаяние. В ряд второй раз подвинешь ли этим отрицательным рычагом людей. Стюарт Милль стыдит своих современников, как стыдил своих Тацит; он их этим не остановит, как не остановил Тацит. Не только несколькими печальными упреками не уймешь *убывающую душу,* но, может, никакой плотиной в мире.

«Люди иного закала,— говорит он,— сделали из Англии то, что *она была,* и только люди другого закала могут ее предупредить от *падения»* [8].

Но это понижение личностей, этот недостаток закала — только патологический факт, и признать его — очень важный шаг для выхода, но не выход. Стюарт Милль корит больного, указывая ему на здоровых праотцев,— странное лечение и едва ли великодушное.

Ну что же, начать теперь корить ящерицу допотопным ихтиосавром — виновата ли она, что она маленькая, а тот большой? С. Милль, испугавшись нравственной ничтожности, духовной посредственности окружающей его среды, закричал со страстей и с горя, как богатыри в наших сказках: «Есть ли в поле жив человек?»

Зачем же он его звал? Затем, чтоб сказать ему, что он выродившийся потомок сильных праотцев и, следственно, должен сделаться таким же, как они.

Для чего? — Молчание.

И Роберт Оуэн звал людей лет семьдесят сряду и тоже без всякой пользы; но он звал их *на что-нибудь*. Это *что-нибудь* была ли утопия, фантазия или истина — нам теперь до этого дела нет; нам важно то, что он звал с целью; а С. Милль, подавляя современников суровыми рембрандтовскими тенями времен Кромвеля и пуритан, хочет, чтоб вечно обвешивающие, вечно обмеривающие лавочники сделались из какой-то поэтической потребности, из какой-то душевной гимнастики — героями!

Мы можем также вызвать монументальные, грозные личности французского Конвента и поставить их рядом с бывшими, будущими и настоящими французскими шпионами и épiciers [9] и начать речь вроде Гамлета:

> Look here, upon this picture and on this...
> Hyperion's curls, the front of Jove himself;
> an eye like Mars...
> Look you now, what follows,
> Here is your husband... [10]

Это будет очень справедливо и еще больше обидно, но неужели от этого кто-нибудь оставит свой пошлый, но удобный быт, и все это для того, чтоб величаво скучать, как Кромвель, или стоически нести голову на плаху, как Дантон?

Тем было легко так поступать, потому что они были под господством страстного убеждения, d'une idée fixe [11].

Такая idée fixe был католицизм в свое время, потом протестантизм, наука в эпоху Возрождения, революция в XVIII столетии.

Где же эта святая мономания, этот magnum ignotum [12], этот сфинксовский вопрос нашей цивилизации? Где та могущая мысль, та страстная вера, то горячее упование, которое может закалить тело, как сталь, довести душу до того судорожного ожесточения, которое не чувствует ни боли, ни лишений и твердым шагом идет на плаху, на костер?

Посмотрите кругом — что в состоянии одушевить лица, поднять народы, поколебать массы: религия ли папы с его незапятнанным рождением богородицы или религия без папы с ее догматом воздержания от пива в субботний день? Арифметический ли пантеизм всеобщей подачи голосов или идолопоклонство монархии? Суеверие ли в республику или суеверие в парламентские реформы?.. Нет и нет; все

это бледнеет, стареет и укладывается, как некогда боги Олимпа укладывались, когда они съезжали с неба, вытесняемые новыми соперниками, подымавшимися с Голгофы.

Только на беду их нет у наших почерневших кумиров, по крайней мере С. Милль не указывает их.

Знает он их или нет — это сказать трудно.

С одной стороны, английскому гению противно отвлеченное обобщение и смелая логическая последовательность; он своим скептицизмом чует, что логическая крайность, как законы чистой математики, неприлагаемы без ввода жизненных условий. С другой стороны, он привык, физически и нравственно, застегивать пальто на все пуговицы и поднимать воротник, это его предостерегает от сырого ветра и от суровой нетерпимости. В той же книге С. Милля мы видим пример этому. Двумя-тремя ударами необычайной ловкости он опрокинул немного падшую на ноги христианскую мораль и во всей книге ничего не сказал о христианстве *.

С. Милль вместо всякого выхода вдруг замечает: «В развитии народов, кажется, есть предел, после которого он останавливается и *делается Китаем*».

Когда же это бывает?

Тогда, отвечает он, когда личности начинают стираться, пропадать в массах, когда все подчиняется принятым обычаям, когда понятие добра и зла смешивается с понятием сообразности или несообразности с принятым. Гнет обычая останавливает развитие: развитие, собственно, и состоит из стремления к *лучшему* от обычного. Вся история состоит из этой борьбы, и если большая часть человечества не имеет истории, то это потому, что жизнь ее совершенно подчинена обычаю.

Теперь следует взглянуть, как наш автор рассматривает современное состояние образованного мира. Он говорит, что, несмотря на умственное превосходство нашего време-

---

* «Христианская нравственность имеет весь характер реакции, это большей частию один протест против язычества. Ее идеал скорее отрицательный, чем положительный, страдательный — чем деятельный. Она больше проповедует воздержание от ала, чем делание добра. Ужас от чувственности доведен до аскетизма. Награды на небе и наказания в аду придают самым лучшим поступкам чисто эгоистический характер, и в этом отношении христианское воззрение гораздо ниже античного. Лучшая часть в наших смутных понятиях об общественных обязанностях взята из греческих и римских источников. Все доблестное, благородное, самое понятие чести передано нам светским воспитанием нашим, а не духовным, проповедующим слепое повиновение как высшую добродетель». J.-S. Mill [13].

ни, все идет к *посредственности*, лица теряются в толпе. Эта collective mediocrity [14] ненавидит все резкое, самобытное, выступающее; она проводит над всем общий уровень. А так как в среднем разрезе у людей не много ума и не много желаний, то сборная посредственность, как топкое болото, понимает, с одной стороны, все желающее вынырнуть, а с другой — предупреждает беспорядок эксцентричных личностей воспитанием новых поколений в такую же вялую посредственность. Нравственная основа поведения состоит преимущественно в том, чтоб жить, как другие. «Горе мужчине, а особливо женщине, которые вздумают делать то, *чего никто не делает;* но горе и тем, которые не делают *того, что делают все*» [15]. Для такой нравственности не требуется ни ума, ни особенной воли; люди занимаются своими *делами* и иной раз для развлечения шалят в филантропию (philantropic hobby [16]) и остаются добропорядочными, но пошлыми людьми.

Этой-то среде принадлежит сила и власть; самое правительство по той мере мощно, по какой оно служит органом господствующей среды и понимает ее инстинкт.

Какая же это державная среда? «В Америке к ней принадлежат все белые, в Англии господствующий слой составляет *среднее состояние*» [17]*.

С. Милль находит одно различие между мертвой неподвижностию восточных народов и современным мещанским государством. И в нем-то, мне кажется, находится самая горькая капля из всего кубка полыни, поданного им. Вместо азиатского, косного покоя современные европейцы живут, говорит он, в пустом беспокойстве, в бессмысленных переменах: «Отвергая особности, мы не отвергаем перемен, лишь бы они были всякий раз сделаны *всеми*. Мы бросили своеобычную одежду наших отцов и готовы менять два-три раза в год покрой нашего платья, но с тем, чтоб все меняли его, и это делается не из видов красоты или удобства, а для самой перемены!» [19]

Если личности не высвободятся от этого утягивающего омута, от замаривающей топи, то «Европа, несмотря на свои благородные антецеденты и свое христианство, *сделается Китаем*» [20].

Вот мы и возвратились и стоим перед тем же вопросом. На каком основании будить спящего? Во имя чего обрюзгнувшая личность и утянутая в мелочь вдохновится, сделается недовольна своей теперешней жизнью с железными

---

* Пусть читатели вспомнят, что было сказано об этом в «Западных арабесках» («Полярная звезда» на 1857 год [18]).

дорогами, телеграфами, газетами, дешевыми изделиями?

Личности не выступают оттого, что нет достаточного повода. За кого, за что или против кого им выступать? Отсутствие сильных деятелей — не причина, а последствие.

Точка, линия, после которой борьба между желанием *лучшего* и сохранением *существующего* оканчивается в пользу сохранения, наступает (кажется нам) тогда, когда господствующая, деятельная, *историческая* часть народа близко подходит к такой форме жизни, которая соответствует ему; это своего рода насыщение, сатурация; все приходит в равновесие, успокоивается, продолжает вечное одно и то же до катаклизма, обновления или разрушения. Semper idem [21] не требует ни огромных усилий, ни грозных бойцов; в каком бы роде они ни были, они будут лишние: середь мира не нужно полководцев.

Чтоб не ходить так далеко, как Китай, взгляните возле, на ту страну на Западе, которая наибольше отстоялась,— на страну, которой Европа начинает седеть,— на Голландию: где ее великие государственные люди, где ее великие живописцы, где тонкие богословы, где смелые мореплаватели? Да на что их? Разве она несчастна оттого, что не мятется, не бушует, оттого, что их нет? Она вам покажет свои смеющиеся деревни на обсушенных болотах, свои выстиранные города, свои выглаженные сады, свой комфорт, свою свободу и скажет: «Мои великие люди приобрели мне эту свободу, мои мореплаватели завещали мне это богатство, мои великие художники украсили мои стены и церкви, мне хорошо — чего же вы от меня хотите? Резкой борьбы с правительством? Да разве оно теснит? У нас и теперь свободы больше, нежели во Франции когда-либо бывало».

Да что же из этой жизни?

Что выйдет? Да вообще, *что* из жизни выходит? А потом — разве в Голландии нет частных романов, коллизий, сплетней? Разве в Голландии люди не любятся, не плачут, не хохочут, не поют песен, не пьют скидама [22], не пляшут в каждой деревне до утра? К тому же не следует забывать, что, с одной стороны, они пользуются всеми плодами образования, наук и художеств, а с другой — им бездна дела: гранпасьянс торговли, меледа хозяйства [23], воспитание детей по образу и подобию своему; не успеет голландец оглянуться, обдосужиться, а уж его несут на «божью ниву» в щегольски отлакированном гробе, в то время как сын уже запряжен в торговое колесо, которое необходимо следует беспрестанно вертеть, а то дела остановятся.

Так можно прожить тысячу лет, если не помешает какое-нибудь второе пришествие Бонапартова брата [24].

От старших братий я прошу позволение отступить к меньшим.

Мы не имеем достаточно фактов, но можем предположить, что животные породы, так, как они установились, представляют последний результат долгого колебания разных видоизменений, ряда совершенствований и достижений. Эта история делалась исподволь костями и мышцами, извилинами мозга и струйками нерв.

Допотопные животные представляют какую-то героическую эпоху этой *книги бытия;* это титаны и богатыри; они мельчают, уравновешиваются с новой средой и, как только достигают довольно ловкого и прочного типа, начинают типически повторяться, и до такой степени, что Улиссова собака в «Одиссее» похожа, как две капли воды, на всех наших собак. И это не все: кто сказал, что животные политические или общественные, живущие не только стадом, но и с некоторой организацией, как муравьи и пчелы, что они так сразу учредили свои муравейники или ульи? Я вовсе этого не думаю. Миллионы поколений легли и погибли прежде, чем они устроились и упрочили свои *китайские* муравейники.

Я желал бы уяснить этим, что если какой-нибудь народ дойдет до этого состояния соответственности внешнего общественного устройства с своими потребностями, то ему нет никакой внутренней необходимости до перемены потребностей идти вперед, воевать, бунтовать, производить эксцентрические личности.

Покойное поглощение в стаде, в улье — одно из первых условий сохранения достигнутого.

До этого полного покоя мир, о котором говорит С. Милль, не дошел. Он после всех своих революций и потрясений не может ни устояться, ни отстояться: бездна дряни наверху, все мутно, нет ни этой китайской фарфоровой чистоты, ни голландской полотняной белизны. В нем множество неспетого, уродливого, даже болезненного, и в этом отношении ему предстоит, действительно, на его собственном пути еще шаг вперед. Ему надобно приобрести не энергические личности, не эксцентрические страсти, а честную мораль своего положения. Англичанин перестанет обвешивать, француз — помогать всякой полиции; этого требует не только respectability [25], но и прочность быта.

Тогда Англия может, по словам С. Милля, превратиться в Китай (и, конечно, в усовершенствованный), сохраняя

всю свою торговлю, всю свою свободу и улучшая свое законодательство, т. е. облегчая его по мере возрастания обязательного обычая, который лучше всех судов и наказаний заморит волю. А Франция может в это время взойти в красивое военное русло персидской жизни, расширенное всем, что образованная централизация дает в руки власти, вознаграждая себе за потерю всех человеческих прав блестящими набегами на соседей и приковывая другие народы к судьбам централизованной деспотии... Черты зуавов уже теперь больше принадлежат азиатскому типу, чем европейскому.

Предупреждая возгласы и проклятия, я тороплюсь сказать, что здесь речь идет ни о моих желаниях, ни даже о моих мнениях. Труд мой чисто логический, я хотел *развернуть скобки* формулы, в которой выражен результат С. Милля, я хотел от его личностей-дифференциалов взять исторический интеграл.

Стало быть, вопрос не может быть в том, учтиво ли пророчить Англии судьбы Китая (это же сделал не я, а он сам) и деликатно ли предсказывать Франции, что она будет Персией. Хотя, по справедливости, я не знаю, отчего же Китай и Персию можно безнаказанно оскорблять. Вопрос действительно важный, до которого С. Милль не коснулся, вот в чем: существуют ли всходы новой силы, которые могли бы обновить старую кровь, есть ли подседы и здоровые ростки, чтоб прорасти измельчавшуюся траву? А этот вопрос сводится на то, потерпит ли народ, чтоб его окончательно употребили для удобрения почвы новому Китаю и новой Персии, на безвыходную, черную работу, на невежество и проголодь, позволяя взамен, как в лотерейной игре, одному на десять тысяч, в пример, ободрение и усмирение прочим, разбогатеть и сделаться из снедаемого обедающим.

Вопрос этот разрешат события — теоретически его не разрешишь. Если народ сломится, новый Китай и новая Персия неминуемы.

Но если народ сломит, неминуем *социальный переворот!*

Не это ли и есть *идея,* которая может быть произведена idée fixe, несмотря на пожимание плеч аристократии, ни на скрежет зубов мещан?

Народ это чует, и очень; прежней детской веры в законность или по крайней мере в справедливость того, что делается, нет; есть страх перед силой и неуменье возвести в общее правило частную боль, но слепого доверия нет. Во Франции народ грозно заявил свой протест в то самое

время, когда среднее состояние в упоении от власти и силы венчало себя на царство под именем республики и развалясь с Маррастом на креслах Людовика XV в Версале, диктовало законы; народ восстал с отчаяния, видя, что он опять остался за дверями и без куска хлеба; он восстал варварски, не имея никакого решения, без плана, без вождей, без средств, но в энергических личностях у него недостатка не было, и еще больше — он, с другой стороны, вызвал этих хищных, кровожадных коршунов вроде Каваньяка.

Народ побили наголову. Вероятности Персии *поднялись* и с тех пор все идут в гору.

Как английский работник поставит свой социальный вопрос, мы не знаем, но воловья упорность его велика. С его стороны числовое большинство, но сила не с его стороны. Число ничего не доказывает. Три-четыре линейных казака да два-три гарнизонных солдата водят из Москвы в Сибирь по пятисот колодников.

Если народ и в Англии будет побит, как в Германии во время крестьянских войн, как во Франции в Июньские дни,— тогда Китай, пророчимый Стюартом Миллем, не далек. Переход в него сделается незаметно, не утратится, как мы сказали, ни одного права, не уменьшится ни одной свободы, уменьшится только *способность пользоваться этими правами и этой свободой!*

Люди робкие, люди чувствительные говорят, что это невозможно. Я ничего лучше не прошу, как согласиться с ними, но не вижу причины. Трагическая безвыходность состоит именно в том, что та идея, которая может спасти народ и устремить Европу к новым судьбам, *невыгодна* господствующему классу, что ему, если б он был последователен и смел, *выгодно* только государство с американским невольничеством! *

---

* Этот разбор книги Д.-С. Милля мы берем из V книжки «Полярной звезды», которая выйдет к 1 маю [26].

[ГЛАВА IX]

РОБЕРТ ОУЭН

ПОСВЯЩЕНО К[АВЕЛИН]У

Ты все поймешь, ты все оценишь! [1]

Shut up the world at large, let Bedlam out,
And your will be pehaps surprised to find
All things pursue exactly the same route,
As now with those of «soi-disant» sound mind,
This I *could prove* beyond a single doubt
Were there a jot of sense among mankind,
But till that point d'appui is found alas,
Like Archimedes, I leave earth as't was.

Byron. «Don Juan», c. XIV—84 [2]

I

...Вскоре после моего приезда в Лондон, в 1852 г., я получил приглашение от одной дамы; она звала меня на несколько дней к себе на дачу в Seven Oaks [3]. Я с ней познакомился в Ницце, в 50 году, через Маццини. Она еще застала дом мой светлым и так оставила его. Мне захотелось ее видеть; я поехал.

Встреча наша была неловка. Слишком много черного было со мною с тех пор, как мы не видались. Если человек не хвастает своими бедствиями, то он их стыдится, и это чувство стыда всплывает при всякой встрече с прежними знакомыми.

Не легко было и ей. Она подала мне руку и повела меня в парк. Это был первый старинный английский парк, который я видел, и один из великолепнейших. До него со времен Елисаветы не дотрогивалась рука человеческая; тенистый, мрачный, он рос без помехи и разрастался в своем аристократически-монастырском удалении от мира. Старинный и чисто елисаветинской архитектуры дворец был пуст; несмотря на то, что в нем жила одинокая старуха-барыня, никого не было видно; только седой привратник, сидевший у ворот, с некоторой важностью замечал входящим в парк, чтоб в обеденное время не ходить мимо замка. В парке было так тихо, что лани гурьбой перебегали большие аллеи, спокойно приостанавливались и беспечно нюхали воздух, приподнявши морду. Нигде не раздавался никакой посторонний звук, и вороны каркали, точно как в старом саду

у нас в Васильевском. Так бы, кажется, лег где-нибудь под дерево и представил бы себе тринадцатилетний возраст... мы вчера только что из Москвы, тут где-нибудь неподалеку старик садовник троит мятную воду... На нас, дубравных жителей, леса и деревья роднее действуют моря и гор.

Мы говорили об Италии, о поездке в Ментоне; говорили о Медичи, с которым она была коротко знакома, об Орсини и не говорили о том, что тогда меня и ее, вероятно, занимало больше всего.

Ее искреннее участие я видел в ее глазах и молча благодарил ее... Что я мог ей сказать нового?

Стал перепадать дождь; он мог сделаться сильным и продолжительным,— мы воротились домой.

В гостиной был маленький, тщедушный старичок, седой как лунь, с необычайно добродушным лицом, с чистым, светлым, кротким взглядом,— с тем голубым детским взглядом, который остается у людей до глубокой старости, как отсвет великой доброты *. Дочери хозяйки дома бросились к седому дедушке; видно было, что они приятели.

Я остановился в дверях сада.

— Вот кстати, как нельзя больше,— сказала их мать, протягивая старику руку,— сегодня у меня есть чем вас угостить. Позвольте вам представить нашего русского друга. Я думаю,— прибавила она, обращаясь ко мне,— вам приятно будет познакомиться с одним из *ваших патриархов*.

— Robert Owen,— сказал, добродушно улыбаясь, старик,— очень, очень рад.

Я сжал его руку с чувством сыновнего уважения; если бы я был моложе, я бы стал, может, на колени и просил бы старика возложить на меня руки.

Так вот отчего у него добрый, светлый взгляд, вот отчего его любят дети... Это тот, *один* трезвый и мужественный присяжный «между пьяными» (как некогда выразился Аристотель об Анаксагоре) [4], который осмелился произнести not guilty [5] человечеству, not guilty преступнику [6]. Это тот второй чудак, который скорбел о мытаре и жалел о падшем и который, не потонувши, прошел если не по морю, то по мещанским болотам английской жизни, не только не потонувши, но и не загрязнившись!

...Обращение Оуэна было очень просто; но и в нем, как в Гарибальди, середь добродушия просвечивала сила и сознание, что он власть имущий. В его снисходительности

---

* При этом не могу не вспомнить тот же голубой взгляд детства под седыми бровями Лелевеля.

было чувство собственного превосходства; оно, может, было следствием постоянных сношений с жалкой средой; вообще, он скорее походил на разорившегося аристократа, на меньшого брата большой фамилии, чем на плебея и социалиста.

Я тогда совсем не говорил по-английски; Оуэн не знал по-французски и был заметно глух. Старшая дочь хозяйки предложила нам себя в драгоманы [7]: Оуэн привык так говорить с иностранцами.

— Я жду великого от вашей родины,— сказал мне Оуэн,— у вас поле чище, у вас попы не так сильны, предрассудки не так закоснели... а сил-то... а сил-то! Если б император хотел вникнуть, понять новые требования возникающего гармонического мира, как ему легко было бы сделаться одним из величайших людей.

Улыбаясь, просил я моего драгомана сказать Оуэну, что я очень мало имею надежд, чтоб Николай сделался его последователем.

— А ведь он был у меня в Ленарке [8].

— И, верно, ничего не понял?

— Он был тогда молод и,— Оуэн засмеялся,— и очень жалел, что мой старший сын такого *высокого роста и не идет в военную службу*. А впрочем, он меня приглашал в Россию.

— Теперь он стар, но так же ничего не понимает и, наверное, еще больше жалеет, что не все люди большого роста идут в солдаты. Я видел письмо, которое вы адресовали к нему, и, скажу откровенно, не понимаю, зачем вы его писали. Неужели вы в самом деле надеетесь?

— Пока человек жив, не надобно в нем отчаиваться. Мало ли какое событие может раскрыть душу! Ну, а письмо мое не подействует, и он бросит его, что ж за беда, я сделал свое. Он не виноват, что его воспитание и среда, в которой живет, сделали его неспособным понимать истину. Тут надобно не сердиться, а жалеть.

Итак, этот старец свое всеотпущение грехов распространял не только на воров и преступников, а даже на Николая! Мне на минуту сделалось стыдно.

Не потому ли люди ничего не простили Оуэну, ни даже предсмертное забытье его и полуболезненный бред о духах? [9]

Когда я встретил Оуэна, ему был восемьдесят второй год (род. 1771). Он *шестьдесят лет* не сходил с арены.

Года три спустя после Seven Oaks's я еще раз мельком видел Оуэна. Тело отжило, ум туск и иногда бродил, разнуздавшись, по мистическим областям призраков и теней.

А энергия была та же, и тот же голубой взгляд детской доброты, и то же упованье на людей! У него не было памяти на зло, он старые счеты забыл, он был тот же молодой энтузиаст, учредитель New Lanark'a, худо слышавший, седой, слабый, но так же проповедовавший уничтожение казней и стройную жизнь общего труда. Нельзя было без глубокого благоговения видеть этого старца, идущего медленно и неверной стопой на трибуну, на которой *некогда* его встречали горячие рукоплескания блестящей аудитории и на которой пожелтелые седины его вызывали теперь шепот равнодушия и иронический смех. Безумный старик, с печатью смерти на лице, стоял, не сердясь, и просил кротко, с любовью час времени. Казалось, можно бы было дать ему этот час за шестидесятипятилетнюю беспорочную службу; но ему в нем отказывали, он надоел, он повторял одно и то же, а главное — он глубоко обидел толпу: он хотел отнять у нее право болтаться на виселице и смотреть, как другие на ней болтаются; он хотел у них отнять подлое колесо, которое сзади подгоняет, и отворить селюлярную клетку, эту бесчеловечную mater dolorosa [10] для духа, которой светская инквизиция заменила монашеские ящики с ножами. За это святотатство толпа готова была побить Оуэна каменьями, но и она сделалась *человеколюбивее*: камни вышли из моды, им предпочитают грязь, свист и журнальные статейки.

Другой старик, такой же фанатик, был счастливее Оуэна, когда слабыми, столетними руками благословлял малого и большого на Патмосе [11] и только лепетал: «Дети! любите друг друга!» Простые люди и нищие не хохотали над ним, не говорили, что его заповедь — нелепость; между этими плебеями не было золотой посредственности мещанского мира — больше лицемерного, чем невежественного, больше *ограниченного*, чем глупого. Принужденный оставить свой New Lanark в Англии, Оуэн десять раз переплывал океан, думая, что семена его учения лучше взойдут на *новом грунте*, забывая, что его расчистили квекеры и пуритане, и, наверно, не предвидя, что пять лет после его смерти джефферсоновская республика, первая провозгласившая права человека, распадется во имя права сечь негров. Не успев и там, Оуэн снова является на старой почве, стучится ста руками во все двери, у дворцов и хижин, заводит базары, которые послужат типом рочдельского общества [12] и кооперативных ассоциаций, издает книги, издает журналы, пишет послания, собирает митинги, произносит речи, пользуется всяким случаем. Правительства посылают со всего мира делегатов на «всемирную выставку» [13]— Оуэн

уже между ними, просит их взять с собой оливовую ветку, весть призыва к разумной жизни и согласию,— а те не слушают его, думают о будущих крестах и табатерках. Оуэн не унывает.

Одним туманным октябрьским днем 1858 лорд Брум, очень хорошо знающий, что в ветхой общественной барке течь все сильнее, но чающий еще, что ее можно так проконопатить, что на наш век хватит, совещался *о пакле и смоле* в Ливерпуле на втором сходе Social science association [14].

Вдруг делается какое-то движение: тихо несут на носилках бледного, больного Оуэна на платформу. Он через силу нарочно приехал из Лондона, чтоб повторить свою благую весть о возможности сытого и одетого общества, о возможности общества без палача. С уважением принял лорд Брум старца — они когда-то были близки; тихо поднялся Оуэн и слабым голосом сказал о приближении другого времени... нового согласия, new harmony [15]; и речь его остановилась, силы оставили... Брум докончил фразу и подал знак — тело старца склонилось, он был без чувств; тихо положили его на носилки и в мертвой тишине пронесли толпой, пораженной на этот раз каким-то благоговением; она будто чувствовала, что тут начинаются какие-то не совсем обыкновенные похороны и тухнет что-то великое, святое и оскорбленное.

Прошло несколько дней, Оуэн немного оправился и одним утром сказал своему другу и помощнику Ригби, чтоб он укладывался, что он хочет ехать.

— Опять в Лондон? — спросил Ригби.

— Нет, свезите меня теперь на место моего рождения, я там сложу мои кости.

И Ригби повез старца в Монгомеришир, в Ньютоун, где за восемьдесят восемь лет тому назад родился этот странный человек, апостол между фабрикантами...

«Дыханье его прекратилось так тихо,— пишет его старший сын, один успевший еще приехать в Ньютоун до кончины Оуэна,— что я, державший его руку, едва заметил: не было ни малейшей борьбы, ни одного судорожного движения». Ни Англия, ни весь мир точно так же не заметили, как этот свидетель *à décharge* [16] в уголовном процессе человечества перестал дышать.

Английский поп втеснил его праху отпевание вопреки желанию небольшой кучки друзей, приехавших похоронить его; друзья разошлись, Томас Олсоп * протестовал смело, благородно — and all fas over [17]

---

* Известный по делу Орсини.

Хотелось мне сказать несколько слов об нем, но, унесенный общим Wirbelwind'ом [18], я ничего не сделал; трагическая тень его отступала дальше и дальше, терялась за головами, за резкими событиями и ежедневной пылью; вдруг на днях я вспомнил Оуэна и мое намерение написать о нем что-нибудь.

Перелистывая книжку «Westminster Review», я нашел статью о нем [19] и прочитал ее всю, внимательно. Статью эту писал не враг Оуэна, человек солидный, рассудительный, умеющий отдавать должное заслугам и заслуженное недостаткам, а между тем я положил книгу с странным чувством боли, оскорбления, чего-то душного,— с чувством, близким к ненависти за вынесенное.

Может, я был болен, в дурном расположении, не понял?.. Я взял опять книжку, перечитал там-сям — все то же действие.

«Больше чем двадцать последних лет жизни Оуэна не имеют никакого интереса для публики,

Ein unnütz Leben ist ein früher Tod [20].

Он сзывал митинги, но почти никто не шел на них, потому что он повторял свои старые начала, давно всеми забытые. Те, которые хотели узнать от него *что-нибудь полезное для себя*, должны были опять слушать о том, что весь общественный быт зиждется на ложных основаниях... Вскоре к этому помешательству (dotage [21]) присовокупилась вера в постукивающие духи... старик толковал о своих беседах с герцогом Кентом, Байроном, Шелли и проч.

Нет ни малейшей опасности, чтоб учение Оуэна было практически принято. Это такие *слабые* цепи, которые не могут *держать* целого народа. Задолго до его смерти начала его уже были *опровергнуты*, забыты, а он все еще воображал себя благодетелем рода человеческого, каким-то *атеистическим мессией*.

Его обращение к постукивающим духам нисколько не удивительно. Люди, *не получившие воспитания*, постоянно переходят с чрезвычайной легкостью от крайнего скептицизма к крайнему суеверию. Они хотят определить каждый вопрос одним *природным* светом. Изучение, рассуждение и осторожность в суждениях им неизвестны.

Мы в предшествующих страницах,— прибавляет автор в конце статьи,— больше занимались жизнью Оуэна, чем его учениями; мы хотели *выразить наше сочувствие* к практическому добру, сделанному им, и с тем вместе заявить наше совершенное несогласие с его теориями. Его биография интереснее его сочинений. В то время как первая

может быть полезна и занимательна (amusé), вторые могут только сбить с толку и надоесть читателю. Но и тут мы чувствуем, что он *слишком долго жил*: слишком долго для себя, слишком долго для своих друзей и еще дольше для своих биографов!»

Тень кроткого старца носилась передо мной; на глазах его были горькие слезы, и он, грустно качая своей старой-старой головой, как будто хотел сказать: «Неужели я заслужил это?» — и не мог, а рыдая упал на колени, и будто лорд Брум торопился опять покрыть его и делал знак Ригби, чтобы его снесли как можно скорее назад на кладбище, пока испуганная толпа не успеет образумиться и упрекнуть его за все, за все, что ему было так дорого и свято, и даже за то, что он так долго жил, заедал чужую жизнь, занимал лишнее место у очага. В самом деле, Оуэн, чай, был ровесником Веллингтона, этой величественнейшей *неспособности* во время мира.

«Не смотря на его ошибки, его гордость, его падение, Оуэн *заслуживает наше признание*». — Чего же ему больше?

Только отчего ругательства какого-нибудь оксфордского, винчестерского или чичестерского архиерея, проклинающего Оуэна, легче для нас, чем это воздаяние по заслугам? Оттого, что там страсть, обиженная вера, а тут узенькое *беспристрастие*,— *беспристрастие* не просто человека, а судьи низшей инстанции. В управе благочиния очень хорошо могут обсудить поступки какого-нибудь гуляки вообще, но не такого, как Мирабо или Фокс. Складным футом легко мерить с большой точностью холст, но очень неудобно прикидывать на него сидеральные [22] пространства.

Может, для верности суждения о делах, не подлежащих ни полицейскому суду, ни арифметической поверке, *пристрастие* нужнее справедливости. Страсть может не только ослеплять, но и проникать глубже в предмет, обхватывать его своим огнем.

Дайте школьному педанту, если он только не наделен от природы эстетическим пониманьем,— дайте ему на разбор что хотите — Фауста, Гамлета, и вы увидите, как исхудает «жирный датский принц», помятый каким-нибудь гимназистом-доктринером. С цинизмом Ноева сына покажет он наготу [23] и недостатки драм, которыми восхищается поколение за поколением.

В мире ничего нет великого, поэтического, что бы могло выдержать *не глупый, да и не умный* взгляд,— взгляд обыденной, жизненной мудрости. Это-то французы и выра-

зили так метко пословицей, что «для камердинера нет великого человека».

«Попадись нищему лошадь, как говорит народ и повторяет критик «Вестминстерского обозрения», он на ней и ускачет к черту... An ex-linen-draper [24] (это выражение употреблено несколько раз) *, который вдруг сделался (заметьте, после двадцати лет неусыпного труда и колоссальных успехов) важным лицом, на дружеской ноге с герцогами и министрами, натурально, должен был зазнаться и сделаться *смешным, не имея ни большой умеренности, ни большого благоразумия*». Ex-linen-draper зазнался до того, что деревня его стала ему узка, ему захотелось перестроить свет; с этими притязаниями он разорился, ни в чем не успел и покрыл себя *смехом*.

И это не все. Если б Оуэн только проповедовал свой экономический переворот, это безумие простили бы ему на первый случай в *классической* стране сумасшествия. Доказательством этому служит то, что министры и архиереи, парламентские комитеты и съезды фабрикантов совещались с ним. Успех New Lanark'a увлек всех: ни один государственный человек, ни один ученый не уезжал из Англии, не сделавши поездки к Оуэну; даже (как мы видели) сам Николай Павлович был у него и хотел сманить его в Россию, а сына его в военную службу. Толпы народа наполняли коридоры и сени зал, где Оуэн читал свои речи. Но Оуэн своей дерзостью разом, в четверть часа, уничтожил эту колоссальную популярность, основанную на колоссальном непонимании того, что он говорил; видя это, он поставил точку на i, и притом на самое опасное i.

Это случилось 21 августа 1817 года. Протестантские святоши, самые неотвязчивые и клейко скучные, давно надоедали ему. Оуэн, сколько мог, отклонял прения с ними, но они не давали ему покоя. Какой-то инквизитор и бумажных дел фабрикант Филипс дошел в своем церквобесии до того, что в комитете парламента вдруг, ни к селу ни к городу, середь дельных прений, пристал к Оуэну с допросом, во что он верит и во что не верит.

Вместо того чтоб отвечать бумажных дел фабриканту какими-нибудь тонкостями, как Фауст отвечает Гретхен, ex-linen-draper Оуэн предпочел отвечать с высоты трибуны, перед огромнейшим стечением народа, на публичном митинге *в Англии, в Лондоне, в Сити, в London Tavern!* Он по

* Фурье начал с того, что был сидельцем в суконной лавке своего отца; Прудон — сын безансонского крестьянина. Какое *подлое* начало социализма! [25] От таких ли полубогов и полуразбойников ведут начало династии?

сю сторону Темпль-Бара, возле кафедрального зонтика, под которым лепится старый город, в соседстве Гога и Магога, в виду Уайт-Голль и светской кафедральной синагоги банка,— объявил прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто, что главное препятствие к гармоническому развитию нового общежития людей — *Религия*. «Нелепости изуверства сделали из человека слабого, одурелого зверя, безумного фанатика, ханжу или лицемера. С существующими религиозными понятиями, заключил Оуэн, не только не устроишь предполагаемых им общинных деревень, но с ними рай недолго устоял бы раем!» [26]

Оуэн был до того уверен, что этот акт «безумия» был актом *честности и апостольства*, необходимым последствием его учения, что обнародовать свое мнение заставляли его чистота и откровенность, вся его жизнь, что через *тридцать пять лет* он писал: «Это величайший день в моей жизни, я исполнил свой долг!»

Нераскаянный грешник был этот Оуэн! Зато ему и досталось!

«Оуэна,— говорит «Westminster Review»,— не разорвали на части за это: время физической мести в делах религии прошло. Но никто даже и ныне *не может безнаказанно оскорблять дорогие нам предрассудки!»*

Английские попы в самом деле не употребляют больше хирургических средств, хотя другими, более духовными, не брезгают. «С этой минуты,— говорит автор статьи,— Оуэн опрокинул на себя страшную ненависть духовенства, и с этого митинга начинается *длинная перечень его неудач, сделавшая смешными сорок последних лет его жизни.* He was not a martyr, but he was an outlaw!» [27]

Я думаю, довольно «Westminster Review» можно положить на место; я ему очень благодарен, он мне так живо напомнил не только святого старца, но и среду, в которой он жил. Обратимся к делу, т. е. к самому Оуэну и его учению.

Одно прибавлю я, прощаясь с неумытным критиком и с другим биографом Оуэна [28], тоже неумытным, менее строгим, но не менее солидным,— что, не будучи вовсе завистливым человеком, я завидую им от всей души. Я дал бы дорого за их невозмущаемое сознание своего превосходства, за успокоившееся довольство собою и своим пониманием, за их иногда уступчивую, всегда справедливую, а подчас слегка проироненную снисходительность. Какой покой должна приносить эта полная уверенность и в своем знании, и в том, что они и умнее и практичнее Оуэна, что, будь у них его энергия и его деньги, они бы не наделали таких глупостей, а были бы богаты, как Ротшильд, и министры, как Палмерстон!

II

Р. Оуэн назвал одну из статей, в которых он излагал свою систему, «An attempt to change this *Lunatic asylum* into a rational world» *.

Один из биографов Оуэна по этому случаю рассказывает [30] как какой-то безумный, содержавшийся в больнице, говорил: «Весь свет меня считает поврежденным, а я весь свет считаю таким же; беда моя в том, что *большинство* со стороны всего света».

Это пополняет заглавие Оуэна и бросает яркий свет на все. Мы уверены, что биограф не рассудил, *насколько берет и как далеко бьет* его сравнение. Он только хотел намекнуть на то, что Оуэн был сумасшедший, и мы спорить об этом не станем... но с чего же он *весь свет-то считает умным* — этого мы не понимаем.

Оуэн если был сумасшедшим, то вовсе не потому, что его свет считал таким и он ему платил той же монетой, а потому, что, зная очень хорошо, что живет в доме умалишенных и окружен больными, он *шестьдесят лет* говорил с ними как с здоровыми.

Число больных тут ничего не значит, ум имеет свое оправдание не в большинстве голосов, а в своей логической самозаконности. И если вся Англия будет убеждена, что такой-то medium призывает духи умерших, а один Фарадей скажет, что это вздор, то истина и ум будут с его стороны, а не со стороны всего английского населения. Еще больше, если и Фарадей не будет этого говорить, тогда истина об этом предмете совсем существовать не будет как сознанная, то тем не меньше единогласно принятая целым народом нелепость все же будет нелепость.

Большинство, на которое жаловался больной, не потому страшно, что оно умно или глупо, право или не право, в лжи или в истине, а потому, что оно сильно, и потому, что ключи от Бедлама у него в руках.

Сила не заключает в своем понятии сознательности как необходимого условия; напротив, она тем непреодолимее, чем безумнее, тем страшнее, чем бессознательнее. От поврежденного человека можно спастись, от стада бешеных волков труднее, а перед бессмысленной стихией человеку остается сложить руки и погибнуть.

Поступок Оуэна, поразивший ужасом Англию 1817 года, не удивил бы в 1617 родину Ванини и Джордано Бруно,

---

* «Опыт изменить сумасшедший дом общественного устройства в рациональный» [29].

не скандализировал бы в 1717 ни Германию, ни Францию, а Англия не может через полвека вспомнить об нем без раздражения. Может быть, где-нибудь в Испании монахи взбунтовали бы против него дикую чернь или инквизиционные алгвазилы посадили бы его в тюрьму, сожгли бы на костре, но очеловеченная часть общества была бы за него...

Разве Гёте и Фихте, Кант и Шиллер, наконец, Гумбольдт в наше время и Лессинг сто лет тому назад скрывали свой образ мыслей или имели бессовестность проповедовать шесть дней в неделю в академиях и книгах свою философию, а на седьмой фарисейски слушать предику и морочить толпу, la plèbe, своим благочестивым христианством?

Во Франции то же самое: ни Вольтер, ни Руссо, ни Дидро, ни все энциклопедисты, ни школа Биша и Кабаниса, ни Лаплас, ни Конт не прикидывались ультрамонтанами, не преклонялись благоговейно перед «дорогими предрассудками», и это ни на одну йоту не унизило, не умалило их значения.

Политически порабощенный материк нравственно свободнее Англии; масса идей и сомнений, находящихся в обороте, гораздо обширнее; к ней привыкли, общество не трепещет ни страхом, ни негодованием перед свободным человеком —

Wenn er die Kette bricht [31].

Люди материка беспомощны перед властью, выносят цепи, но не уважают их. Свобода англичанина больше в учреждениях, чем в нем, чем в его совести; его свобода в common law [32], Habeas corpus [33], а не в нравах, не в образе мыслей. Перед общественным предрассудком гордый бритт склоняется без ропота, с видом уважения. Само собою разумеется, что везде, где есть люди, там лгут и притворяются, но не считают откровенности пороком, не смешивают смело высказанное убеждение мыслителей с неблагопристойностью развратной женщины, хвастающейся своим падением, но не подымают лицемерия на степень общественной и притом обязательной добродетели *.

Конечно, ни Давид Юм, ни Гиббон не лгали на себя мистических верований. Но Англия, слушавшая Оуэна

* В нынешнем году мирный судья Темпль не принял показания одной женщины из Рочделя, потому что она отказалась присягать по данной форме, говоря, что не верит в наказания на том свете. Трелоне (сын известного приятеля Байрона и Шеллея) спрашивал 12 февраля в парламенте министра внутренних дел, какие меры он предполагает взять в отстранение таких отводов. Министр отвечал, *что никаких*. Подобные случаи повторялись много раз, например, с известным публицистом Голиоком. Лгать присягой делается необходимостью.

в 1817 году, была не та, во времени и *в глубине*. Ценс пониманья расширился и не был больше ограничен отборным венком образованных аристократов и литераторов. С другой стороны, она лет пятнадцать просидела в селлюлярной тюрьме, запертая в нее Наполеоном [34], и, с одной стороны, выдвинулась из потока идей, а с другой — жизнь выдвинула вперед огромное большинство мещанства, эту conglomerated mediocrity Стюарта Милля. В новой Англии люди, как Байрон и Шеллей, бродят иностранцами; один просит у ветра нести его куда-нибудь, только не на родину [35]; у другого судьи, с помощью обезумевшей от изуверства семьи, обирают детей, потому что он не верит в бога [36].

Итак, нетерпимость против Оуэна не дает никакого права заключать ни о ложности, ни о истинности его учения; она только дает меру безумия, т. е. нравственной несвободы Англии, и в особенности того слоя, который ходит по митингам и пишет журнальные статейки.

Ум количественно всегда должен будет уступить, он *на вес* всегда окажется слабейшим; он, как северное сияние, светит далеко, но едва существует. Ум — последнее усилие, вершина, до которой развитие не часто доходит; оттого-то он мощен, но не устоит против кулака. Ум как сознание может вовсе не быть на земном шаре; он едва родился в сравнении с маститыми альпийскими старцами, свидетелями и участниками геологических революций. В дочеловеческой, в околочеловеческой природе нет ни ума, ни глупости, а — необходимость условий, отношений и последствий. Ум мутно глядит в первый раз молочным взглядом животного, он медленно мужает, вырастает из своего ребячества, проходя стадной и семейной жизнию рода человеческого. Стремление пробиться к уму из инстинкта постоянно является вслед за сытостью и безопасностью, так что, в какую бы минуту мы не остановили людское сожитие, мы поймаем его на этих усилиях достигнуть ума из-под власти безумия. Пути вперед не назначено, его надобно прокладывать; история, как поэма Ариоста, несется зря, двадцатью эпизодами, бросаясь туда, сюда, с тем тревожным беспокойством, которое уже бесцельно волнует обезьяну и которого почти совсем нет у низших зверей, этих довольных животного царства.

Слово lunatic asylum [37] Оуэн, само собою разумеется, употребил comme une manière de dire [38]. Государства — не домы сошедших с ума, а домы не *взошедших в ум*. Практически, впрочем, он мог употребить это выражение... не делая ошибки. Яд или огонь в руках трехлетнего ребенка так же страшен, как в руках тридцатилетнего сумасшедше-

го. Разница в том, что безумие одного — состояние патологическое, другого — степень развития, состояние эмбриогеническое. Устрица представляет ту степень развития организма, на которой животное *еще не имеет* ног, она фактически *безногая*, но вовсе не так, как зверь, у которого ноги отняты. Мы знаем (но устрица этого не знает), что при хороших обстоятельствах органические попытки дойдут до ног и до крыльев, и смотрим на неразвитые формы моллюска как на одну из растущих, прибывающих волн прилива, в то время как форма искаженная возвращается с отливом в стихийный океан и составляет частный случай смерти или агоний.

Оуэн, убедившись, что организму в тысячу раз удобнее иметь ноги, руки, крылья, чем постоянно дремать в раковине, понимая, что из тех же самых бедных, но уже *существующих* частей организма есть возможность развить эти оконечности, до того увлекся, что вдруг стал проповедовать устрицам, чтоб они взяли свои раковины и пошли за ним. Устрицы обиделись и сочли его *антимоллюском*, т. е. безнравственным в смысле раковинной жизни, и прокляли его.

«...Характер человека существенно определяется обстоятельствами, окружающими его. Но эти обстоятельства *общество может легко* так устроить, чтоб они способствовали наилучшему развитию умственных и практических способностей, сохраняя притом все бесконечное разнообразие личностей и соображаясь с многоразличием физической и умственной натуры» [39].

Все это понятно, и надобно иметь редкую степень тупоумия, чтоб возражать на этот тезис Оуэна. Да на него, заметьте, никто и не возражает. Возражение большинством — не ответ, а насилие; возражение, что это безнравственно или не согласно с такой-то традиционной религией или с иной, тоже не опровержение. В худшем случае такие ответы могут только доказать *двойство между истиной и нравственностью, пользу лжи и вред правды*. Истина не подлежит этому суду, ее критериум не тут.

Ахиллова пята Оуэна не в ясных и простых основаниях его учения, а в том, что он думал, что обществу легко понять его *простую* истину. Думая так, он впал в святую ошибку любви и нетерпения, в которую впадали все преобразователи и предтечи переворотов от Иисуса Христа до Томаса Мюнстера, Сен-Симона и Фурье.

Хроническое *недоумие* в том и состоит, что люди, под влиянием исторического преломления лучей и разных нравственных параллаксов, всего меньше понимают *простое*, а готовы верить, и еще больше *верить, что понимают* вещи

очень сложные и совершенно непонятные, но традиционные. привычные и соответствующие детской фантазии... Просто! Легко! Да всегда ли простое легко? Воздухом положительно проще дышать, чем водой, но для этого надобно иметь легкие; а где же им развиться у рыб, которым нужен сложный дыхательный снаряд, чтоб достать немного кислорода из воды. Среда им не позволяет, их не вызывает на развитие легких, она слишком густа и иначе составлена, чем воздух. Нравственная густота и состав, в котором выросли слушатели Оуэна, обусловила у них свои *духовные* жабры; дышать более чистой и редкой средой должно было произвести боль и отвращение.

Не думайте, что тут только внешнее сравнение,— тут истинная аналогия одинаковых явлений в разных возрастах и разных слоях.

Легко понять... легко исправить! Помилуйте — кому? Той толпе, которая наполняет до давки колоссальный трансепт Кристального дворца [40], слушая с жадностью и рукоплесканием проповеди какого-то плоского средневекового бакалавра, попавшего не знаю как в наш век и обещающего толпе кары небесные и бедствия земные на вульгарном языке шиллеровского капуцина в «Wallensteins Lager»? [41]

Для них не легко!

Люди отдают долю своего достояния и своей воли, подчиняются всякого рода властям и требованиям, вооружают целые толпы тунеядцев, строят суды, тюрьмы и стращают виселицей, строят церкви и стращают адом. Словом, делают все так, чтоб, куда человек ни обернулся, перед его глазами был бы или палач земной, или палач небесный — один с веревкой, готовый все кончить, другой с огнем, готовый жечь всю вечность. Цель всего этого — сохранить общественную безопасность от диких страстей и преступных покушений, как-нибудь удержать в русле общественной жизни необузданные покушения вырваться из него.

А тут является чудак, который прямо и просто говорит, да еще с какой-то обидной наивностью, *что все это вздор*, что человек вовсе не преступник par le droit de naissance [42], что он так же мало отвечает за себя, как и другие звери, и, как они, суду не подлежит, *а воспитанию — очень*. И это не всё: он перед лицом судей и попов, имеющих единственным основанием, единственной достаточной причиной своего существования грехопадение, наказание и отпущение, всенародно объявляет, что человек не сам творит свой характер, что стоит его поставить со дня рождения в такие

обстоятельства, чтоб он мог быть не мошенником, так он и будет так себе, хороший человек. А теперь общество рядом нелепостей наводит его на преступление, а люди наказывают не общественное устройство, *а лицо*.

И Оуэн воображал, что это *легко* понять?

Разве он не знал, что нам легче себе вообразить кошку, повешенную за мышегубство, и собаку, награжденную почетным ошейником за оказанное усердие при поимке укрывшегося зайца, чем ребенка, не наказанного за детскую шалость, не говоря уже о преступнике. Примириться с тем, что мстить всем обществом преступнику мерзко и глупо, что целым собором делать безопасно и хладнокровно столько же злодейства над преступником, сколько он сделал, подвергаясь опасности и под влиянием страсти, отвратительно и бесполезно, ужасно трудно, не по нашим жабрам! Резко!

В боязливом упорстве массы, в тупом отстаивании старого, в консервативной цепкости ее есть своего рода темное воспоминание, что виселица и покаяние, смертная казнь и бессмертие души, страх божий и страх власти, уголовная палата и страшный суд, царь и жрец — что все это были некогда огромные шаги вперед, огромные ступени вверх, великие Errungenschaften [43], подмостки, по которым люди, выбиваясь из сил, взбирались к покойной жизни, комяги, на которых подплывали, сами не зная дороги, к гавани, где бы можно было отдохнуть от тяжелой борьбы со стихиями, от земляной и кровавой работы, можно было бы найти бестревожный досуг и святую праздность — этих первых условий прогресса, свободы, искусства и сознания!

Чтоб сберечь этот дорого доставшийся покой, люди обставили свои гавани всякого рода пугалами и дали своему царю в руки палку, чтоб погонять и защищать, а жрецу — власть проклинать и благословлять.

Одолевшее племя, естественно, кабалило себе племя покоренное и на его рабстве основывало свой досуг, т. е. свое развитие. Рабством, собственно, началось государство, образование, человеческая свобода. Инстинкт самосохранения навел на свирепые законы, необузданная фантазия доделала остальное. Предания, переходя из рода в род, покрывали больше и больше цветными туманами начала, и подавляющий владыка, так же как подавленный раб, склонялся с ужасом перед заповедями и верил, что при блеске молнии и треске грома их диктовал Иегова на Синае или что они были внушены человеку, избранному каким-нибудь паразитным духом, живущим в его мозгу.

Если свести все разнообразные основы этих краеуголь-

ных камней, на которых выводились государства, на главные начала, освобождая их от фантастического детского, принадлежащего к возрасту, то мы увидим, что они постоянно одни и те же, соприсносущи всякой церкви и всякому государству; декорации и формы меняются, но начала те же.

Дикая расправа царя-зверолова в Африке, который собственноручно прирезывает преступника, совсем не так далека от расправы судьи, доверяющего другому убийство. Дело в том, что ни судья в шубе, в белом парике, с пером за ухом, ни голый африканский царь, с пером в носу и совершенно черный, не сомневаются, что они это делают для спасения общества и не только имеют право в иных случаях убивать, но и священный долг.

Нескладная бессмыслица, произносимая каким-нибудь лесным заклинателем, и складный вздор, произносимый каким-нибудь архиереем или первосвященником, также похожи друг на друга. Существенное не в том, как кто ворожит и каких духов призывает, а в том, допускают ли они или нет какой-то заграничный мир, которого никто не видал,— мир, действующий без тела, рассуждающий без мозга, чувствующий без нерв и имеющий влияние на нас не только после нашего перехода в эфирное состояние, но и при теперешнем податном состоянии. Если допускают, остальное — оттенки и подробности: египетские боги с собачьей мордой и греческие с очень красивым лицом, бог Авраама, бог Иакова, бог Иосифа Маццини, бог Пьера Леру — это все тот же бог, так ясно определенный в алкоране: «Бог есть бог».

Чем развитее народ, тем развитее его религия, но с тем вместе, чем религия дальше от фетишизма, тем она глубже и тоньше проникает в душу людей. Грубый католицизм и позолоченный византизм не так суживают ум, как тощий протестантизм; а религия без откровения, без церкви и с притязанием на логику почти неискоренима из головы поверхностных умов, равно не имеющих ни довольно сердца, чтоб верить, ни довольно мозга, чтоб рассуждать *.

---

* Нет той логической абстракции, нет того собирательного имени, нет того неизвестного начала или неисследованной причины, которая не побывала бы, хоть на короткое время, божеством или святыней. Иконоборцы рационализма, сильно ратующие против кумиров, с удивлением видят, что по мере того, как они сбрасывают одних с пьедесталей, на них являются другие. А по большей части они и не удивляются, потому ли что вовсе не замечают или сами их принимают за истинных богов.

Естествоиспытатели, хвастающиеся своим материализмом, толкуют о каких-то вперед задуманных планах природы, о ее целях и ловком избрании средств; ничего не поймешь, как будто natura sic voluit [44] яснее fiat

То же самое и в юридической церкви. Царь звероловов, исполняющий бердышом или топором свой приговор, близок к тому, что виновный или подсудимый, если у него бердыш длиннее, предупредит его. Сверх того, юрист с пером в носу, вероятно, будет казнить зря, по пристрастию, толпа будет роптать и наконец взбунтуется открыто или подчинится суду страдательно и без веры, как подчиняется человек чуме или наводнению. Но там, где нет лицеприятия, где суд честен, т. е. верен своим началам, что вовсе не мешает началам быть неверными, там он становится вдвое незыблемее и никто не сомневается в нем, не исключая самого пациента, который печально отправляется на виселицу, уверенный, что так и надобно, что они дело делают, вешая его.

Сверх страха воли — того страха, который дети чувствуют, начиная ходить без помочей, сверх привычки к этим поручням, облитым потом и кровью, к этим ладьям, сделавшимся ковчегами спасения, в которых народы пережили не один черный день,— есть еще сильные контрфорсы, поддерживающие ветхое здание. Неразвитость масс, не умеющих понимать, с одной стороны, и корыстный страх — с другой, мешающий понимать меньшинству, долго продержат на ногах старый порядок. Образованные сословия, противно своим убеждениям, готовы сами ходить на веревке, лишь бы не спускали с нее толпу.

Оно и в самом деле не совсем безопасно.

Внизу и вверху разные календари. Наверху XIX век, а внизу разве XV, да и то не в самом низу — там уж готтентоты и кафры различных цветов, пород и климатов.

Если в самом деле подумать об этой цивилизации, которая оседает лаццаронами и лондонской чернью, людьми, свернувшими с полдороги и возвращающимися к состоянию лемуров и обезьян, в то время как на вершинах ее

---

lux [45]? Это фаталиам в *третьей* степени, в кубе; на первой кипит кровь Януария [46], на второй орошаются поля дождем по молитве, на третьей открываются тайные замыслы химического процесса, хвалятся экономические способности жизненной силы, заготовляющей желтки для зародышей, и т. п. Как ни смешны *протестантские* статьи, издевающиеся над кипением крови св. Януария, помещаемые рядом с молитвами архиереев о снабжении такой-то страны дождем или засухой,— как будто кипятить кровь в католической склянке труднее для бога, чем мочить и сушить по надобности протестантские поля,— но тут иной раз проглядывает наивная глупость, и потому они ничего не значат в сравнении с благочестивой риторикой, которую мы беспрестанно находим в физиологических или геологических лекциях и трактатах, в которых естествоиспытатель с умилением толкует о благости провидения, снабдившего птиц крыльями, без которых бедняжки бы попадали и расшиблись в прах, и проч.

цветут бездарные Меровинги всех династий и тщедушные астеки всех аристократий, действительно голова закружится. Вообразите себе этот зверинец на воле, без церкви, без инквизиции и суда, без попа, царя и палача!

Оуэн считал ложью, т. е. отжившей правдой, вековые твердыни теологии и юриспруденции, и это понятно; но, когда он под этим предлогом требовал, чтоб они сдались, он забыл храбрый гарнизон, защищающий крепость. Ничего в мире нет упорнее трупа: его можно убить, разбить на части, но убедить нельзя. К тому же на нашем Олимпе сидят уже не сговорчивые, не разгульные боги Греции, которым, по словам Лукиана, пока они придумывали меры против атеизма, пришли доложить, что дело их проиграно и что в Афинах доказали, что *их нет* [47], а они побледнели, улетучились и исчезли. Греки, люди и боги, были проще. Греки верили вздору, играли в мраморные куклы из детской артистической потребности, а мы из *процентов*, из барышей поддерживаем иезуитов и old shop [48], в обуздание народа и обеспечение эксплуатации его. Какая же логика тут возьмет?

Это приводит нас к вопросу не о том, прав или не прав Р. Оуэн, а о том, *совместны ли вообще разумное сознание и нравственная независимость с государственным бытом.*

История свидетельствует, что общества постоянно достигают разумной аутономии, но свидетельствует также, что они остаются в нравственной неволе. Разрешимы эти вопросы или нет, сказать трудно; их не решишь сплеча, особенно одной любовью к людям и другими теплыми и благородными чувствами.

Во всех сферах жизни мы наталкиваемся на неразрешимые антиномии, на эти асимптоты, вечно стремящиеся к своим гиперболам, никогда не совпадая с ними. Это крайние грани, между которыми колеблется жизнь, движется и утекает, касаясь то того берега, то другого.

Появление людей, протестующих против общественной неволи и неволи совести,— не новость; они являлись обличителями и пророками во всех сколько-нибудь назревших цивилизациях, особенно когда они старели. Это высший предел, *перехватывающая личность*, явление исключительное и редкое, как гений, как красота, как необыкновенный голос. Опыт не доказывает, чтоб их утопии были осуществляемы.

У нас перед глазами страшный пример. С тех пор как род человеческий запомнит себя, не встречалось никогда такого стечения счастливых обстоятельств для разумного и свободного развития государственного, как в Северной

Америке; все мешающее на истощенной, исторической почве или на почве, вовсе невозделанной, отсутствовало. Учение великих мыслителей и революционеров XVIII века, без французской военщины, английский common law без каст легли в основу их государственного быта. Чего же больше? Все, о чем мечтала старая Европа: республика, демократия, федерация, самозаконность каждого клочка и едва связывающий общий правительственный пояс с слабым узлом в середине.

Что же вышло из всего этого?

Общество, большинство захватило диктаторскую и полицейскую власть; сам народ исполняет должность Николая Павловича, III отделения и палача; народ, объявивший восемьдесят лет тому назад «права человека», распадается из-за «права сечь». Преследования и гонения в Южных штатах, поставивших на своем знамени слово *Рабство* так, как некогда Николай ставил на своем слово *Самодержавие*, за образ мыслей и слова не уступают в гнусности тому, что делал неаполитанский король и венский император.

В Северных штатах «рабство» не возведено в догмат религии; но каков уровень образования и свободы совести в стране, бросающей счетную книгу только для того, чтоб заниматься вертящимися столами, постукивающими духами,— в стране, хранящей всю нетерпимость пуритан и квекеров!

В формах более мягких мы то же встречаем в Англии и в Швеции. Чем страна свободнее от правительственного вмешательства, чем больше признаны ее права на слово, на независимость совести, тем нетерпимее делается толпа, общественное мнение становится застенком; ваш сосед, ваш мясник, ваш портной, семья, клуб, приход держат вас под надзором и исправляют должность квартального. Неужели только народ, не способный к *внутренней* свободе, может достигнуть свободных учреждений? Или не значит ли все это, наконец, что государство развивает постоянно потребности и идеалы, достижение которых исполняют деятельностью лучшие умы, но которых осуществление несовместимо с государственной жизнью?

Мы не знаем решения этого вопроса, но считать его решенным не имеем права. История до сих пор его решает одним образом, некоторые мыслители, и в том числе Р. Оуэн,— иначе. Оуэн *верит* несокрушимой верой мыслителей XVIII столетия (прозванного веком безверия), что человечество накануне своего торжественного облечения в вирильную тогу [49]. А нам кажется, что все опекуны и пастухи, дядьки и мамки могут спокойно есть и спать на

счет недоросля. Какой бы вздор народы ни потребовали, *на нашем веку* они не потребуют право совершеннолетия. Человечество еще долго проходит с отложными воротничками à l'enfant [50].

Причин на это бездна. Для того чтоб человеку образумиться и прийти в себя, надобно быть гигантом; да, наконец, и никакие колоссальные силы не помогут пробиться, если быт общественный так хорошо и прочно сложился, как в Японии или Китае. С той минуты, когда младенец, улыбаясь, открывает глаза у груди своей матери, до тех пор, пока, примирившись с совестью и богом, он так же спокойно закрывает глаза, уверенный, что, пока он соснет, его перевезут в обитель, где нет ни плача, ни воздыхания,— все так улажено, чтоб он не развил ни одного простого понятия, не натолкнулся бы ни на одну простую, ясную мысль. Он с молоком матери сосет дурман; никакое чувство не остается неискаженным, не сбитым с естественного пути. Школьное воспитание продолжает то, что сделано дома, оно обобщает оптический обман, книжно упрочивает его, теоретически узаконивает традиционный хлам и приучает детей к тому, чтоб они *знали не понимая* и принимали бы *названия за определения.*

Сбитый в понятиях, запутанный словами, человек теряет чутье истины, вкус природы. Какую же надобно иметь силу мышления, чтоб заподозрить этот нравственный чад и уже с кружением головы броситься из него на чистый воздух, которым вдобавок стращают все вокруг! На это Оуэн отвечал бы, что он именно потому и начинал свое социальное перерождение людей не с фаланстера, не с Икарии [51], а со школы,— со школы, в которую он брал детей с двухлетнего возраста и меньше.

Оуэн был прав, и еще больше — он практически доказал, что *он был прав:* перед New Lanark'ом противники Оуэна молчат. Этот проклятый New Lanark вообще костью стоит в горле людей, постоянно обвиняющих социализм в утопиях и в неспособности что-нибудь осуществить на практике. «Что сделал Консидеранд с Брейсбеном, что монастырь Сито, что портные в Клиши и Banque du peuple [52] Прудона?» Но против блестящего успеха New Lanark'а сказать нечего. Ученые и послы, министры и герцоги, купцы и лорды — все выходило с удивлением и благоговением из школы. Доктор герцога Кентского, скептик, говорил о Lanark'е с улыбкой. Герцог, друг Оуэна, советовал ему съездить самому в New Lanark. Вечером доктор пишет герцогу: «Отчет я оставляю до завтра; я так взволнован и тронут тем, что видел, что не могу еще писать; у меня

несколько раз навертывались слезы на глазах». На этом торжественном признании я и жду моего старика. Итак, он доказал свою мысль на деле — он был прав. Пойдемте далее.

New Lanark был на вершине своего благосостояния. Неутомимый Оуэн, несмотря ни на лондонские поездки, ни на митинги, ни на беспрерывные посещения всех знаменитостей Европы, даже, как мы сказали, самого Николая Павловича, с той же деятельной любовью занимался школой-фабрикой и благосостоянием работников, между которыми развивал общинную жизнь. И все лопнуло!

Что же, вы думаете, он обанкротился? Учители перессорились, дети избаловались, родители спились? Помилуйте, фабрика шла превосходно, доходы росли, работники богатели, школа процветала. Но одним добрым утром в эту школу взошли какие-то два черных шута, в низеньких шляпах, в намеренно дурно сшитых сертуках: это были двое квекеров, такие же собственники New Lanark' а, как и сам Оуэн. Насупили они брови, видя веселых детей, нисколько не горюющих о грехопадении; ужаснулись, что маленькие мальчики без панталон, и потребовали преподавание какого-то своего катехизиса. Оуэн сначала отвечал гениально: цифрой приращения доходов. Ревность о господстве успокоилась на время: так греховная цифра была велика. Но совесть квекеров проснулась опять, и они еще настоятельнее стали требовать, чтобы детей не учили ни танцевать, ни *светскому* пению, а раскольничьему катехизису непременно.

Оуэн, у которого хоры, правильные эволюции и танцы играли важную роль в воспитании, не согласился. Были долгие прения; квекеры решились на этот раз упрочить свои места в раю и требовали введения псалмов и каких-то штанишек детям, ходившим по-шотландски. Оуэн понял, что крестовый поход квекеров на этом не остановится. «В таком случае,— сказал он им,— управляйте сами, я отказываюсь». Он не мог иначе поступить.

«Квекеры,— говорит биограф Оуэна,— вступив в управление New Lanark'ом, начали с того, что *уменьшили плату и увеличили число часов работы*».

New Lanark пал!

Не надобно забывать, что успех Оуэна раскрывает еще одну великую историческую *новость*, именно ту, что бедный и подавленный работник, лишенный образования, с детства приученный к пьянству и обману, к войне с обществом, только сначала противудействует нововведениям, и то из недоверия; но как только он убеждается в том, что

перемена не во вред ему, что при ней и он не забыт, он следует с покорностью, потом с доверчивой любовью.

Среда, служащая тормозом, не тут.

Гейнц, литературный холоп Меттерниха, за обедом во Франкфурте сказал Роберту Оуэну:

— Положим, что вы бы успели, что же бы из этого вышло?

— Очень просто,— отвечал Оуэн,— вышло бы то, что каждый был бы сыт, хорошо одет и получил бы дельное воспитание.

— Да ведь этого-то именно мы и не хотим,— заметил Цицерон Венского конгресса. Гейнц, чего нет другого, был откровенен.

С той минуты, как попы, лавочники догадались, что *потешные* роты работников и учеников[53]— дело очень серьезное, гибель New Lanark'a была неминуема.

И вот отчего падение небольшой шотландской деревушки с фабрикой и школой имеет значение исторического несчастия. Развалины оуэнского New Lanark'a наводят на нашу душу не меньше грустных дум, как некогда другие развалины наводили на душу Мария,— с той разницей, что римский изгнанник сидел на гробе старца и думал о суете суетствий, а мы то же думаем, сидя у свежей могилы младенца, много обещавшего и убитого дурным уходом и страхом, *что он потребует наследства!*

III

Итак, Р. Оуэн был прав перед разумом; выводы его были логичны и, еще больше, были практически оправданы. Им только недоставало *пониманья* со стороны слушавших его.

— Это дело времени, когда-нибудь люди поймут.

— Я не знаю.

— Нельзя же думать, чтоб люди никогда не дошли до пониманья своих собственных выгод.

Однако до сих пор было так; этот недостаток пониманья восполнялся церковью и государством, т. е. двумя главнейшими препятствиями к дальнейшему развитию. Это логический круг, из которого очень трудно выйти. Оуэн воображал, что достаточно людям указать на отжившую нелепость их, чтоб люди освободились,— и ошибся. Нелепость их, особенно церкви, очевидна; но это им нисколько не мешает. Несокрушимая твердость их основана не *на разуме, а на недостатке его*, и потому они почти так же мало зависят от критики, как горы, леса, скалы. История развивалась нелепостями; люди постоянно стремились за бред-

нями, а достигали очень действительных последствий. Наяву сонные, они шли за радугой, искали то рай на небе, то небо на земле, а по дороге пели свои вечные песни, украшали храмы своими вечными изваяниями, построили Рим и Афины, Париж и Лондон. Одно сновидение уступает другому; сон становится *иногда* тоньше, но никогда не проходит. Люди принимают все, верят во все, покоряются всему и многим готовы жертвовать; но они с ужасом отпрядывают, когда между двумя религиями в раскрытую щель, в которую проходит дневной свет, дунет на них свежий ветер разума и критики. Если б, например, Р. Оуэн хотел исправить англиканскую церковь, ему так же бы удалось, как унитариям, квекерам и не знаю кому. Перестроивать церковь, ставить алтарь за перегородку или без перегородки, вынести образа или принесть их еще больше — это все можно, и тысячи пойдут за реформатором; но Оуэн хотел вести *вон* из церкви — тут sta, viator![54] — тут рубеж. До границы легко идти, труднейшее во всякой стране — это перейти ее, особенно когда сам народ со стороны таможни.

Во всю тысячу и одну ночь истории, как только накапливалось немного образования, попытки эти были; несколько человек просыпались, протестовали против спящих, заявляли, что они наяву, но других добудиться не могли. Появление их доказывает, без малейшего сомнения, возможность человека развиваться до разумного пониманья. Но этим не разрешается наш вопрос: может ли это исключительное развитие сделаться общим? Наведение, которое нам дает прошедшее, не в пользу положительного решения. Разве будущее пойдет иначе, приведет иные силы, иные элементы, которых мы не знаем и которые перевернут, по плюсу или минусу, судьбы человечества или значительной части его. Открытие Америки равняется геологическому перевороту; железные дороги, электрический телеграф изменили все человеческие отношения. То, чего мы не знаем, мы не имеем права вводить в наш расчет; но, принимая все лучшие шансы, мы все же не предвидим, чтоб люди скоро почувствовали потребность *здравого смысла*. Развитие мозга требует своего времени. В природе нет торопливости; она могла тысячи и тысячи лет лежать в каменном обмороке и другие тысячи чирикать птицами, рыскать зверями по лесу или плавать рыбой по морю. Исторического бреда ей станет надолго; им же превосходно продолжается пластичность природы, истощенной в других сферах.

Люди, которые поняли, что это сон, воображают, что проснуться легко, сердятся на спящих, не соображая, что весь мир, их окружающий, не позволяет им проснуться.

Жизнь проходит рядом оптических обманов, искусственных потребностей и мнимых удовлетворений.

Случайно, не выбирая, возьмите любую газету, взгляните на любую семью. Какой же тут Роберт Оуэн поможет? Из вздора люди страдают с самоотвержением, из вздора идут на смерть, из вздора убивают других. В вечной заботе, суете, нужде, тревоге, в поте лица, в труде без отдыха и конца человек даже и не наслаждается. Если ему досуг от работы, он торопится свить семейные сети, вьет их совершенно случайно, сам попадает в них, стягивает других, и если не должен спасаться от голодной смерти каторжной, нескончаемой работой, то начинает ожесточенное преследование жены, детей, родных или сам преследуется ими. Так люди гонят друг друга во имя родительской любви, во имя ревности, во имя брака, делая ненавистными священнейшие связи. Когда же тут образумиться? Разве по другую сторону семьи, за ее гробом, когда человек все потерял, и энергию, и свежесть мысли,— когда он ищет одного покоя.

Посмотрите на хлопоты и заботы целого муравейника или одного муравья отдельно; вникните в его домогательства и цели, в его радости и горе, в его понятие о добре и зле, *о чести и позоре* — во все, что он делает в продолжение всей жизни, с утра до ночи; взгляните, на что он посвящает последние дни и чему жертвует лучшими мгновениями своей жизни,— вас обдаст детской, с ее лошадками на колесах, с блестками и фольгой, с куклами, поставленными в угол, и с розгами, поставленными в другой. В ребячьем лепете слышится иной раз проблеск дела, но он теряется в детской рассеянности. Остановиться, обдуматься нельзя — дела расстроишь, отстанешь, будешь затерт; все слишком компрометировались, и все слишком быстро несутся, чтоб можно было остановиться, особенно перед горстью людей без пушек, без денег, без власти, *протестующих во имя разума*, не подтверждая даже своей истины чудесами.

Ротшильду или Монтефиоре *надобно* с утра в бюро, чтоб начать капитализацию сотого миллиона; в Бразилии мор, в Италии война, Америка распадается — все идет прекрасно; а тут ему говорят о безответственности человека и о *ином* распределении богатств — разумеется, он не слушает. Мак-Магон дни, ночи обдумывал, как вернее, в самое короткое время, истребить наибольшее количество людей, одетых в белые мундиры, людьми, одетыми в красные штаны [55]; истребил их больше, чем думал; все его поздравляют, даже ирландцы, которые, в качестве папи-

стов, побиты им,— а ему говорят, что война не только отвратительная нелепость, но и преступление. Разумеется, вместо того чтоб слушать, он станет любоваться мечом, поднесенным Ирландией.

В Италии я был знаком с одним стариком, главою богатого банкирского дома. Раз, поздно ночью, мне не спалось, я пошел гулять и возвращался часу в пятом утра, мимо его дома. Работники выкатывали из подвалов бочонки с оливковым маслом для отправки морем. Старик банкир, в теплом сертуке, стоял с бумагой в руке, отмечая каждый бочонок. Утро было свежо, он зябнул.

— Вы уже встали? — сказал я ему.

— Я здесь больше часа,— отвечал он, улыбаясь и протягивая руку.

— Да вы замерзли, как в России.

— Что делать, стар становлюсь, силы отказывают. Приятели-то ваши (т. е. его сыновья) спят еще небось — и пусть поспят, пока старик еще жив. А без собственного надзора нельзя. Я прежнего покроя человек, много нагляделся; пять революций, amico mio [56], видел, возле прошли; а я за своей работой все так же: отпущу масло, пойду в контору. Я и кофей там пью,— прибавил он.

— И так до самого обеда?

— До самого обеда.

— Вы не балуете себя.

— А впрочем, скажу вам откровенно, тут много делает привычка. *Мне скучно без дела.*

«Не нынче — завтра он умрет. Кто же будет масло отпускать, как пойдет дом? — думал я, оставив его.— Разве к тем порам старший сын тоже сделается человеком прежнего покроя и тоже будет скучать без дела и вставать в четыре часа. Так и пойдет одна тысяча золотых к другой до тех пор, пока кто-нибудь из династов, и, наверное, самый лучший, проиграет все в карты или поднесет лоретке». «Родители-то какие были! — скажут добрые люди.— Они отказывали во всем себе и другим тоже и все копили про детей. А вот блудный сын!..»

Ну, где ж тут скоро добраться, сквозь эту толщу нелепости, до живого мяса?

Этим людям, занятым службой, ажиотажем, семейными ссорами, картами, орденами, лошадьми, Р. Оуэн проповедовал другое употребление сил и указывал им на нелепость их жизни. Убедить их он не мог, а озлобил их и опрокинул на себя всю нетерпимость непонимания. Один разум долготерпелив и милосерд, потому что он понимает.

Биограф Р. Оуэна очень верно судил, говоря, что он

разрушил свое влияние, отрекаясь от религии. Действительно, стукнувшись о церковную ограду, ему следовало остановиться, а он перелез на другую сторону и остался там один-одинехонек, провожаемый благочестивым ругательством. Но нам кажется, что рано или поздно он точно так же остался бы и за *другим черепком* раковины — один и outlaw.

Толпа только потому не освирепела на него с самого начала, что государство и суд не так популярны, как церковь и алтарь. Но за право наказания вступились бы, á la longue [57], люди получше подкованные, чем богобеснующиеся квекеры и фельетонные святоши.

О церковном учении и истинах катехизиса никто уважающий себя не спорит, зная вперед, что они не могут выдержать никакой критики. Нельзя же серьезно доказывать *постное* зачатие девы Марии или уверять, что геологические исследования Моисея сходны с исследованиями Мурчисона. Светские церкви *гражданского и уголовного суда* и догматы юридического катехизиса стоят гораздо тверже и пользуются, *впредь до рассмотрения*, правами доказанных истин и незыблемых аксиом.

Люди, опрокинувшие алтари, не дерзали коснуться до зерцала. Анахарсис Клоц, гебертисты, назвавшие бога по имени — Разумом, были так же уверены во всех salus populi [58] и других гражданских заповедях, как средневековые попы в каноническом праве и в необходимости жечь колдунов.

Давно ли один из сильнейших, из самых смелых мыслителей нашего века, для того чтоб нанести церкве последний удар, секуляризовал ее в трибунал и, вырывая из рук жрецов Исаака, приготовляемого на заклание богу, отдал его под суд, т. е. на заклание справедливости? [59]

Вековой спор — спор тысячелетий о *воле и предопределении* — не кончен. Не один Оуэн в наше время сомневался в ответственности человека за его поступки; следы этого сомнения мы найдем у Бентама и у Фурье, у Канта и у Шопенгауэра, у натуралистов и у врачей и, что всего важнее, у всех занимающихся статистикой преступлений. Во всяком случае спор не решен, *но о том, что преступника наказывать справедливо, и притом по мере преступления, об этом и спору нет*, это всякий сам знает!

С которой же стороны lunatic asylum?

«Наказание есть неотъемлемое право преступника»,— сказал сам Платон.

Жаль, что он сам сказал этот каламбур, но, впрочем, мы

не обязаны с Аддисоновым «Катоном» приговаривать ко всему: «Ты прав, Платон, ты прав» [60], даже и тогда, когда он говорит, что «наш дух не умирает».

Если быть выпоронному или повешенному составляет *право* преступника, пусть же он сам и предъявляет его, если оно нарушено. Права втеснять не надобно.

Бентам называет преступника дурным счетчиком; понятно, что кто обчелся, тот должен нести последствия ошибки, но ведь это не право его. Никто не говорит, что если вы стукнулись лбом, то вы имеете право на синее пятно, и нет особого чиновника, который бы посылал фельдшера сделать это пятно, если его нет. Спиноза еще проще говорит о могущей быть необходимости убить человека, мешающего жить другим, «так, как убивают бешеную собаку». Это понятно. Но юристы или так неоткровенны, или так забили свой ум, что они казнь вовсе не хотят признать обороной или местью, а каким-то нравственным вознаграждением, «восстановлением равновесия». На войне дела идут прямее: убивая неприятеля, солдат не ищет *его* вины, не говорит даже, что это справедливо, а кто кого сможет, тот того и повалит.

— Но с этими понятиями придется затворить все суды.

— Зачем? Делали же из базилик приходские церкви, не попробовать ли теперь их отдать под приходские школы?

— С этими понятиями о безнаказанности не устоит ни одно правительство.

— Оуэн мог бы, как первый *исторический брат* [61], на это отвечать: «Разве мне было поручено упрочивать правительства?»

— Он в отношении правительств был очень уклончив и умел ладить с коронованными головами, с министрами-тори и с президентом американской республики.

— А разве он был дурен с католиками или протестантами?

— Что ж, вы думаете, Оуэн был республиканец?

— Я думаю, что Р. Оуэн предпочитал ту *форму правительства*, которая наибольше соответствует принимаемой им церкве.

— Помилуйте, у него никакой нет церкви.

— Ну, вот видите.

— Однако нельзя быть без правительства.

— Без сомнения... хоть какое-нибудь дрянное, да надобно. Гегель рассказывает о доброй старухе, говорившей: «Ну что ж, что дурная погода? Все лучше, чтоб была дурная, чем если б совсем погоды не было!»

— Хорошо, смейтесь, да ведь государство погибнет без правительства.

— А мне что за дело!

IV

Во время революции был сделан опыт коренного изменения гражданского быта с сохранением *сильной правительственной* власти [62].

Декреты приготовлявшегося правительства уцелели с своим заголовком:

Egalité Liberté
Bonheur Commun [63],

к которому иногда прибавляется в виде пояснения: «Ou la mort!» [64]

Декреты, как и следует ожидать, начинаются с *декрета полиции* [65]:

§ 1. Лица, ничего не делающие *для отечества*, не имеют никаких политических прав, это *иностранцы*, которым *республика* дает гостеприимство.

§ 2. Ничего не делают *для отечества* те, которые не *служат ему* полезным трудом.

§ 3. *Закон* считает полезными трудами:

Земледелие, скотоводство, рыбную ловлю, мореплавание.

Механические и ручные работы.

Мелкую торговлю (la vente en détail).

Извоз и ямщичество.

Военное ремесло.

Науки и преподавание.

§ 4. Впрочем, *науки* и *преподавание* не будут считаться полезными, если *лица*, занимающиеся ими, не представят в данное время свидетельство цивизма, *написанное по определенной форме.*

§ 6. *Иностранцам* воспрещается вход в публичные собрания.

§ 7. Иностранцы находятся под прямым надзором высшей администрации, которой предоставляется право высылать их с места жительства и отправлять в исправительные места.

В декрете о «работах» [66] все расписано и распределено: в какое время, когда что делать, сколько часов работать; старшины дают «пример усердия и деятельности», другие доносят обо всем делающемся в мастерских начальству. Работников посылают из одного места в другое (так, как

гоняют мужиков на шоссейную работу у нас) по мере надобности рук и труда.

§ 11. Высшая администрация посылает на каторжную работу (travaux forcés), под надзор ею назначенных общин, лица обоего пола, которых *инцивизм* (incivisme [67]), лень, роскошь и *дурное поведение* дают обществу дурной пример. Их имущество будет конфисковано.

§ 14. Особенные чиновники заботятся о содержании и приплоде скота, об одежде, переездах и облегчениях работающих граждан.

Декрет о распределении имущества.

§ 1. Ни один член общины не может пользоваться ничем, кроме того, что ему определяется законом и дано посредством облеченного властью чиновника (magistrat).

§ 2. Народная община с самого начала дает своим членам квартиру, платья, стирку, освещение, отопление, достаточное количество хлеба, мяса, кур, рыбы, яиц, масла, вина и других напитков.

§ 3. В каждой коммуне в определенные эпохи будут общие трапезы, на которых члены общины *обязаны* присутствовать.

§ 5. Всякий член, взявший плату за работу или хранящий у себя деньги, *наказывается*.

Декрет о торговле.

§ 1. Заграничная торговля частным лицам *запрещена*. Товар будет конфискован, преступник наказан.

Торговля будет производиться чиновниками. Затем деньги уничтожаются. Золото и серебро не велено ввозить. Республика не выдает денег; внутренние частные долги уничтожаются, внешние уплачиваются; а если кто обманет или сделает подлог, то наказывается *вечным рабством* (esclavage perpétuel).

За этим так и ждешь «*Питер* в Сарском Селе» или «граф *Аракчеев* в Грузине», а подписал не Петр I, а первый социалист французский *Гракх Бабёф!*

Жаловаться трудно, чтоб в этом проекте недоставало правительства; обо всем попечение, за всем надзор, надо всем опека, все устроено, все приведено в порядок. Даже воспроизведение животных не предоставляется их собственным слабостям и кокетству, а регламентировано высшим начальством.

И для чего, вы думаете, все это? Для чего кормят «курами и рыбой; обмывают, одевают и *утешают*» * этих

---

* «Каждый гражданин будет от администрации logé, nourri, habillé et amusé» [68].

крепостных благосостояния, этих приписанных к равенству арестантов? Не просто для них: декрет именно говорит, что все это будет делаться médiocrement [69]. «Одна Республика должна быть богата, великолепна и всемогуща» [70].

Это сильно напоминает нашу Иверскую божию матерь: sie hat Perlen und Diamanten [71], карету и лошадей, иеромонахов для прислуги, кучеров с незамерзаемой головой — словом, у нее все есть — да ее только нет, она владеет всем добром in effigie [72].

Противуположность Роберта Оуэна с Гракхом Бабёфом очень замечательна. Через века, когда все изменится на земном шаре, по этим *двум коренным зубам* можно будет восстановить ископаемые остовы Англии и Франции до последней косточки. Тем больше, что в сущности эти мастодонты социализма принадлежат одной семье, идут к одной цели и из тех же побуждений,— тем ярче их различие.

Один видел, что, несмотря на казнь короля, на провозглашение республики, на уничтожение федералистов [73] и демократический террор, народ остался ни при чем. Другой — что, несмотря на огромное развитие промышленности, капиталов, машин и усиленной производительности, «веселая Англия» делается все больше Англией скучной и Англия обжорливая — все больше Англией голодной. Это привело обоих к необходимости изменения основных условий государственного и экономического быта. Почему они (и многие другие) почти в одно и то же время попали на этот порядок идей — понятно. Противоречия общественного быта становились не больше и не хуже, чем прежде, но они выступали резче к концу XVIII века. Элементы общественной жизни, развиваясь розно, разрушили ту гармонию, которая была прежде между ними при меньше благоприятных обстоятельствах.

Встретившись так близко в точке исхода, оба идут в противуположные стороны.

Оуэн видит в том, что общественное зло приходит к сознанию, последнее *достижение*, последнюю победу тяжелого, сложного исторического похода; он приветствует зарю *нового* дня, никогда не бывалого и невозможного в прошедшем, и уговаривает детей как можно скорее покинуть пеленки, помочи и стать на свои ноги. Он заглянул в двери будущего и, как путешественник, доехавший до места, не сердится больше на дорогу, не бранит ни станционных смотрителей, ни кляч.

Но конституция 1793 года думала не так, а с ней не так

думал и Гракх Бабёф. Она декретировала *восстановление естественных прав человека, забытых и утраченных.* Государственный быт — преступный плод узурпации, последствие злодейского заговора тиранов и их сообщников — попов и аристократов. Их следует казнить как врагов отечества, достояние их возвратить законному *государю*, которому теперь есть нечего и который называется поэтому *санкюлотом.* Пора восстановить его старые *неотъемлемые* права... Где они были? Почему пролетарий — государь? Почему ему принадлежит все достояние, награбленное другими?.. А! Вы сомневаетесь — вы подозрительный человек, ближний государь сведет вас к гражданину судье, а тот пошлет к гражданину палачу, и вы больше сомневаться не будете!

Практика *хирурга* Бабёфа не могла мешать практике *акушера* Оуэна.

Бабёф хотел силой, т. е. властью, разрушить созданное силой, разгромить неправое стяжение. Для этого он сделал заговор: если б ему удалось овладеть Парижем, комитет insurrecteur [74] *приказал бы* Франции новое устройство, точно так, как Византии его приказал победоносный Османлис; он втеснил бы французам свое *рабство общего благосостояния* и, разумеется, с таким насилием, что вызвал бы страшнейшую реакцию, в борьбе с которой Бабёф и его комитет погибли бы, бросив миру *великую мысль в нелепой форме,*— мысль, которая и теперь тлеет под пеплом и мутит довольство *довольных.*

Оуэн, видя, что люди образованных стран подрастают к переходу в новый период, не думал вовсе о насилии, а хотел только облегчить развитие. С своей стороны он так же последовательно, как Бабёф с своей, принялся за изучение зародыша, за развитие ячейки. Он начал, как все естествоиспытатели, с частного случая; его микроскоп, его лаборатория был New Lanark; его учение росло и мужало вместе с ячейкой, и оно-то довело его до заключения, что главный путь водворения нового порядка — *воспитание.*

Заговор для Оуэна был ненужен, восстание могло только повредить ему. Он не только мог ужиться с лучшим в мире правительством, с английским, но со всяким другим. Он в правительстве видел устарелый, исторический факт, поддерживаемый людьми отсталыми и неразвитыми, а не шайку разбойников, которую надобно неожиданно накрыть. Не домогаясь ниспровергнуть правительство, он не домогался нисколько и *поправлять его.* Если б святые лавочники не мешали ему, в Англии и Америке были бы

теперь сотни New Lanark и New Harmony *, в них втекали бы свежие силы рабочего народонаселения, они исподволь отвели бы лучшие жизненные соки от отживших государственных цистерн. Что же ему было бороться с умирающими? Он мог их предоставить естественной смерти, зная, что каждый младенец, которого приносят в его школы, c'est autant de pris [75] над церковью и правительством!

Бабёф был казнен. Во время процесса он вырастает в одну из тех великих личностей, мучеников и побитых пророков, перед которыми невольно склоняется человек. Он угас, а на его могиле росло больше и больше всепоглощающее чудовище *Централизации*. Перед нею особенность стерлась, завянула, побледнела личность и исчезла. Никогда на европейской почве, со времен тридцати тиранов афинских до Тридцатилетней войны и от нее до исхода Французской революции, человек не был так пойман правительственной паутиной, так опутан сетями администрации, как в новейшее время во Франции.

Оуэна исподволь затянуло илом. Он двигался, пока мог, говорил, пока голос его доходил. Ил пожимал плечами, качал головой; неотразимая волна мещанства росла, Оуэн старелся и все глубже уходил в трясину; мало-помалу его усилия, его слова, его учение — все исчезло в болоте. Иногда будто попрыгивают фиолетовые огоньки, пугающие робкие души либералов — только *либералов*: аристократы их презирают, попы ненавидят, народ не знает.

— Зато будущее их!..

— Как случится.

— Помилуйте, к чему же после этого вся история?

— Да и все-то на свете к чему? Что касается до истории, я не делаю ее и потому за нее не отвечаю. Я, как «сестра Анна» в «Синей Бороде», смотрю для вас на дорогу [76] и говорю, что вижу: одна пыль на столбовой, больше ничего не видать... Вот едут... едут, кажется, они; нет, это не братья наши, это бараны, много баранов! Наконец-то приближаются два гиганта, разными дорогами. Ну уж не тот, так другой потреплет Рауля за синюю бороду. Не тут-то было! Грозных указов Бабёфа Рауль не слушается, в школу Р. Оуэна не идет,— одного послал на гильотину, другого

---

* С легкой руки Оуэна начались в Англии развиваться *кооперативные работничьи ассоциации;* их считается до 200. Рочдельское общество, начавшееся скромно и бедно 15 лет тому назад, с капиталом 28 ливров, строит теперь на общественные деньги фабрику с двумя машинами, каждая в 60 сил, и которая им стоит за 30 000 фунтов. Кооперативные общества печатают журнал «The Co-operator», который издается исключительно работниками.

утопил в болоте. Я этого вовсе не хвалю, мне Рауль не родной; я только констатирую факт, *и больше ничего!*

V

...Около того времени, когда в Вандоме упали в роковой мешок головы Бабёфа и Дорте [77], Ауэн жил на одной квартире с другим непризнанным гением и бедняком, Фультоном, и отдавал ему последние свои шиллинги, чтоб тот делал модели машин, которыми он обогатил и облагодетельствовал род человеческий. Случилось, что один молодой офицер [78] показывал дамам свою батарею. Чтоб быть вполне любезным, он без всякой нужды пустил несколько ядер (это рассказывает он сам); неприятель отвечал тем же — несколько человек пали, другие были изранены; дамы остались очень довольны нервным потрясением. Офицера немножко угрызала совесть. «Люди эти, говорит, погибли совершенно бесполезно»... но дело военное, это скоро прошло. Cela promettait [79], и впоследствии молодой человек пролил крови больше, чем все революции вместе, потребил одной конскрипцией больше солдат, чем надобно было Ауэну учеников, чтоб пересоздать весь свет.

Системы у него не было никакой, добра людям он не желал и не обещал. Он добра желал себе одному, а под добром разумел власть. Теперь и посмотрите, как слабы перед ним Бабёф и Ауэн! Его имя тридцать лет после его смерти было достаточно, чтоб его племянника признали императором.

Какой же у него был секрет?

Бабёф хотел людям *приказать благосостояние* и коммунистическую республику.

Ауэн хотел их *воспитать* в другой экономический быт, несравненно больше выгодный для них.

Наполеон не хотел ни того, ни другого; он понял, что французы не в самом деле желают питаться спартанской похлебкой и возвратиться к нравам Брута Старшего, что они не очень удовлетворятся тем, что по большим праздникам «граждане будут сходиться рассуждать о законах * и обучать детей цивическим добродетелям» [80]. Вот дело другое — подраться и похвастаться храбростью — они точно любят.

Вместо того чтоб им мешать и дразнить, проповедуя вечный мир, лакедемонский стол [81], римские добродетели

---

* Не из наших ли законов взял Гракх Бабёф это развлечение? Когда в коллегии нет дела, члены должны *читать законы!*

и миртовые венки, Наполеон, видя, как они страстно любят кровавую славу, стал их натравливать на другие народы и сам ходить с ними на охоту. Его винить не за что: французы и без него были бы такие же. Но эта одинаковость вкусов совершенно объясняет любовь к нему народа: для толпы он не был упреком, он ее не оскорблял ни своей чистотой, ни своими добродетелями, он не представлял ей возвышенный, преображенный идеал; он не являлся ни карающим пророком, ни поучающим гением, *он сам принадлежал толпе* и показал ей *ее самоё,* с ее недостатками и симпатиями, с ее страстями и влечениями, возведенную в *гения* и покрытую лучами славы. Вот отгадка его силы и влияния; вот отчего толпа плакала об нем, переносила его гроб с любовью и везде повесила его портрет.

Если и он пал, то вовсе не от того, чтоб толпа его оставила, что она разглядела пустоту его замыслов, что она устала отдавать последнего сына и без причины лить кровь человеческую. Он додразнил другие народы до дикого отпора, и они стали отчаянно драться за свои рабства и за своих господ. Христианская нравственность была удовлетворена — нельзя было с бóльшим остервенением защищать своих врагов!

На этот раз военный деспотизм был побежден феодальным.

Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту победы под Ватерлоо; я долго смотрю на нее всякий раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно... Эта спокойная, британская, не обещающая ничего светлого фигура — и этот седой, свирепо-добродушный немецкий кондотьер. Ирландец на английской службе, человек без отечества — и пруссак, у которого отечество в казармах, приветствуют радостно друг друга; и как им не радоваться? Они только что своротили историю с большой дороги по ступицу в грязь,— в такую грязь, из которой ее в полвека не вытащат... Дело на рассвете... Европа еще спала в это время и не знала, что судьбы ее переменились. И отчего? Оттого, что Блюхер поторопился, а Груши опоздал! [82] Сколько несчастий и слез стоила народам эта победа! А сколько несчастий и крови стоила бы народам победа противной стороны?

...— Да какой же вывод из всего этого?

— Что вы называете вывод? Нравоучение вроде fais ce que doit, advienne ce que pourra [83] или сентенцию вроде

И прежде кровь лилась рекой,
И прежде плакал человек?

Понимание дела — вот и вывод, освобождение от лжи — вот и нравоучение.

— А какая польза?

— Что за корыстолюбие, и особенно теперь, когда все кричат о безнравственности взяток? «Истина — религия,— толкует старик Оуэн,— не требуйте от нее ничего больше, как ее самоё».

За все вынесенное, за поломанные кости, за помятую душу, за потери, за ошибки, за заблуждения — по крайней мере разобрать несколько букв таинственной грамоты, понять общий смысл того, что делается около нас... Это страшно много! Детский хлам, который мы утрачиваем, не занимает больше, он нам дорог только по привычке. Чего тут жалеть? Бабу-ягу или жизненную силу, сказку о золотом веке сзади или о бесконечном прогрессе впереди, чудотворную склянку св. Януария или метеорологическую молитву о дожде, тайный умысел химических заговорщиков или natura sic voluit?

Первую минуту страшно, но только одну минуту. Вокруг все колеблется, несется; стой или ступай куда хочешь; ни заставы, ни дороги, никакого начальства... Вероятно, и море пугало сначала беспорядком, но, как только человек понял его бесцельную суету, он взял дорогу с собой и в какой-то скорлупе переплыл океаны.

Ни природа, ни история *никуда не идут* и потому готовы идти *всюду,* куда им укажут, *если это возможно,* т. е. если ничего не мешает. Они слагаются à fur et à mesure [84] бездной друг на друга действующих, друг с другом встречающихся, друг друга останавливающих и увлекающих частностей; но человек вовсе не теряется от этого, как песчинка в горе, не больше подчиняется стихиям, не круче связывается необходимостью, а вырастает тем, что понял свое положение, в рулевого, который гордо рассекает волны своей лодкой, заставляя бездонную пропасть служить себе путем сообщения.

Не имея ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизация истории готова идти с каждым; каждый может вставить в нее свой стих, и, если он звучен, он останется *его* стихом, пока поэма не оборвется, пока прошедшее будет бродить в ее крови и памяти. Возможностей, эпизодов, открытий в ней и в природе дремлет бездна на всяком шагу. Стоит тронуть скалу, чтоб из нее текла вода,— да что вода! Подумайте о том, что сделал сгнетенный пар, что делает электричество с тех пор, как человек, а не Юпитер взял их в руки. Человеческое участие велико и полно поэзии, это своего рода творчество.

Стихиям, веществу все равно, они могут дремать тысячелетия и вовсе не просыпаться, но человек шлет их на свою работу, и они идут. Солнце давно ходит по небу; вдруг человек перехватил его луч, задержал его след, и солнце стало ему делать портреты.

Природа никогда не борется с человеком, это пошлый, религиозный поклеп на нее; она не настолько умна, чтоб бороться, ей все равно: «По той мере, по которой человек ее знает, по той мере он может ею управлять»,— сказал Бэкон и был совершенно прав. Природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее законам; она, продолжая свое дело, бессознательно будет делать его дело. Люди это знают и на этом основании владеют морями и сушами. Но перед объективностью исторического мира человек не имеет того же уважения — тут он дома и не стесняется; в истории ему легче страдательно уноситься потоком событий или врываться в него с ножом и криком: «Общее благосостояние или смерть!», чем вглядываться в приливы и отливы волн, его несущих, изучать ритм их колебаний и тем самым открыть себе бесконечные фарватеры.

Конечно, положение человека в истории сложнее, тут он разом *лодка, волна и кормчий.* Хоть бы карта была!

— А будь карта у Колумба, не он открыл бы Америку.

— Отчего?

— Оттого, что она должна была быть открыта... чтоб попасть на карту. Только отнимая у истории всякий предназначенный путь, человек и история делаются чем-то серьезным, действительным и исполненным глубокого интереса. Если события подтасованы, если вся история — развитие какого-то доисторического *заговора* и она сводится на одно выполнение, на одну его mise en scène — возьмемте по крайней мере и мы деревянные мечи и щиты из латуни. Неужели нам лить настоящую кровь и настоящие слезы для представления провиденциальной шарады? С предопределенным планом история сводится на вставку чисел в алгебраическую формулу, будущее отдано в кабалу до рождения.

Люди, с ужасом говорящие о том, что Р. Оуэн лишает человека воли и нравственной доблести, мирят предопределение не только с свободой, но и с палачом! Разве только на основании текста, что «Сын человеческий *должен быть* предан, но горе тому, кто его предаст»*[85].

---

* Теологи отважнее доктринеров вообще; они прямо говорят, что без воли божией не падет волос с головы, а ответственность за каждое действие, даже за помысел, оставляют на человеке. Ученый фатализм утвер-

В мистическом воззрении все это на месте, и там это имеет свою художественную сторону, которой в доктринаризме нет. В религии развертывается целая драма; тут борьба, возмущение и его усмирение; вечная Мессиада, Титаны, Луцифер, Абадонна, изгоняемый Адам, прикованный Прометей, караемые богом и искупаемые спасителем. Это роман, потрясающий душу, но его-то и отбросила метафизическая наука. Фатализм, переходя из церкви в школу, утратил весь свой смысл, даже тот смысл правдоподобия, который мы требуем в сказке. Из яркого, пахучего, опьяняющего азиатского цветка доктринеры высушили бледное сено для гербариума. Отталкивая фантастические образы, они остались при голой логической ошибке, при нелепости пред исторической arrière-pensée [88], воплощающейся во что бы ни стало и достигающей людьми и царствами, войнами и переворотами своих целей. Зачем, если она существует, она еще раз осуществляется? Если же ее нет и она только *становится и отстаивается* событиями, то что же за новый иммакулатный [89] процесс зачатия зародил во временном преждесущую идею, которая, выходя из чрева истории, возвещает тотчас, что она была прежде и будет после? Это новое сводное бессмертие души, идущее в обе стороны, не личное, не чье-нибудь, а родовое... *Бессмертная душа* всего человечества... Это стоит мертвых душ! Нет ли бессмертной березы всех берез?

Мудрено ли, что с таким освещением самые простейшие, обыденные предметы сделались при схоластическом объяснении совершенно непонятными. Может ли, например, быть факт доступнее всякому, как наблюдение, что чем человек больше живет, тем имеет больше случая нажиться; чем дольше глядит на один предмет, тем больше разгляды-

---

ждает, что у них и речи нет о личностях, *о случайных* носителях идеи... (т. е. речи нет о нашем брате, обыкновенном человеке, а что касается до таких личностей, как Александр Македонский или Петр I,— нам уши прожужжали их всемирно-историческим призванием). Доктринеры, видите, как большие господа: хозяйством истории распоряжаются en gros [86], гуртом... но где граница стада и личностей, где несколько зерен-то, как спрашивали мои милые афинские софисты, становятся кучей?

Само собою разумеется, что мы никогда не смешивали предопределений с теорией вероятностей; мы вправе наведением делать посылки от прошедшего к будущему. Делая индукцию, мы знаем, что делаем, основываясь на постоянстве некоторых законов и явлений, но допуская также и нарушения. Мы видим человека тридцати лет и имеем полное право предполагать, что через другие тридцать лет он будет сед или плешив, несколько сгорбится и пр. Это не значит, что его назначение — седеть, плешиветь, сгорбиться, что ему это на роду написано. Умри он тридцати пяти лет, он не будет седеть, а пойдет «на замазку», как говорит Гамлет [87], или на салат.

вает его, если ничего не помешает или он не ослепнет? И из этого факта ухитрились сделать кумир *прогресса*, какого-то беспрерывно растущего и обещающего расти в бесконечность золотого тельца.

Не проще ли понять, что человек живет не для *совершения судеб*, не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился, и родился *для* (как ни дурно это слово)... для настоящего, что вовсе не мешает ему ни получать наследство от прошедшего, ни оставлять кое-что по завещанию. Это кажется идеалистам унизительно и грубо; они никак не хотят обратить внимание на то, что все великое значение наше, при нашей ничтожности, при едва уловимом мелькании личной жизни, в том-то и состоит, что, пока мы живы, пока не развязался на стихии задержанный нами узел, *мы все-таки сами,* а не куклы, назначенные выстрадать прогресс или воплотить какую-то бездомную идею. Гордиться должны мы тем, что мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории... Мы знаем, что ткань эта не без нас шьется, но это не цель наша, не назначенье, не заданный урок, а последствие той сложной круговой поруки, которая связывает все сущее концами и началами, причинами и действиями.

И это не всё: мы можем *переменить узор ковра.* Хозяина нет, рисунка нет, одна основа, да мы одни-одинехоньки. Прежние ткачи судьбы, все эти Вулканы и Нептуны, приказали долго жить. Душеприказчики скрывают от нас их завещание, а покойники нам завещали свою власть.

— Но если, с одной стороны, вы отдаете судьбу человека на его произвол, а с другой — снимаете с него ответственность, то с вашим учением он сложит руки и просто ничего не будет делать.

Уж не перестанут ли люди есть и пить, любить и производить детей, восхищаться музыкой и женской красотой, когда узнают, что едят и слушают, любят и наслаждаются для себя, а не для совершения высших предначертаний и не для *скорейшего* достижения *бесконечного* развития совершенства?

Если религия, с своим подавляющим фатализмом, и доктринаризм, с своим безотрадным и холодным, не заставили людей сложить руки, то нечего бояться, чтоб это сделало воззрение, освобождающее их от этих плит. Одного чутья жизни и непоследовательности было достаточно, чтобы спасти европейские народы от религиозных проказ вроде аскетизма, квиетизма, которые постоянно были только на словах и никогда на деле,— неужели разум и сознание окажутся слабее?

К тому же в реальном воззрении есть свой секрет; тот, кто от него сложит руки, тот не поймет его и не примет; он еще принадлежит к иному возрасту мозга, ему еще нужны шпоры: с одной стороны, дьявол с черным хвостом, с другой — ангел с белой лилией.

Стремление людей к более гармоническому быту совершенно естественно, его нельзя ничем остановить, так, как нельзя остановить ни голода, ни жажды. Вот почему мы вовсе не боимся, чтобы люди сложили руки от какого бы учения ни было. Найдутся ли лучшие условия жизни, совладает ли с ними человек или в ином месте собьется с дороги, а в другом наделает вздору — это другой вопрос. Говоря, что у человека никогда не пропадет голод, мы не говорим, будут ли всегда и для каждого съестные припасы, и притом здоровые.

Есть люди, удовлетворяющиеся малым, с бедными потребностями, с узким взглядом и ограниченными желаниями. Есть и народы с небольшим горизонтом, с странным воззрением, удовлетворяющиеся бедно, ложно, а иногда даже пошло. Китайцы и японцы, без сомнения, два народа, нашедшие наиболее соответствующую гражданскую форму для своего быта. Оттого они так неизменно одни и те же.

Европа, кажется нам, тоже близка к «насыщению» и стремится, усталая, осесть, скристаллизоваться, найдя свое прочное общественное положение *в мещанском устройстве*. Ей мешают покойно сложиться монархическо-феодальные остатки и завоевательное начало. Мещанское устройство представляет огромный успех в сравнении с олигархически-военным — в этом нет сомнения, но для Европы, и в особенности для англо-германской, оно представляет не только огромный успех, *но и успех достаточный*. Голландия опередила, она первая успокоилась до прекращения истории. Прекращение роста — начало совершеннолетия. Жизнь студента полнее событий и идет гораздо бурнее, чем трезвая и работящая жизнь отца семейства. Если б над Англией не тяготел свинцовый щит феодального землевладения и она, как Уголино, не ступала бы постоянно на своих детей, умирающих с голоду [90], если б она, как Голландия, могла достигнуть для всех благосостояния мелких лавочников и небогатых хозяев средней руки, она успокоилась бы на мещанстве. А с тем вместе уровень ума, ширь взгляда, эстетичность вкуса еще бы понизились, и жизнь без событий, развлекаемая иногда внешними толчками, свелась бы на однообразный круговорот, на слегка видоизменяющийся semper idem. Собирался бы парламент, представлялся бы бюджет, говорились бы

дельные речи, улучшались бы формы... и на будущий год то же, и через десять лет то же; это была бы покойная колея взрослого человека, его деловые будни. Мы и в естественных явлениях видим, как начала эксцентричны, а устоявшееся продолжение идет потихоньку: не буйной кометой, описывающей с распущенной косой свои неведомые пути, а тихой планетой, плывущей с своими сателлитами, вроде фонариков, битым и перебитым путем; небольшие отступления выставляют еще больше общий порядок. Весна помокрее, весна посуше, но после всякой — лето, но перед всякой — зима.

— Так это, пожалуй, все человечество дойдет до мещанства да на нем и застрянет?

— Не думаю, чтобы все, а некоторые части наверно. Слово «человечество» препротивное: оно не выражает ничего определенного, а только к смутности всех остальных понятий подбавляет еще какого-то пегого полубога. Какое единство разумеется под словом «человечество»? Разве то, которое мы понимаем под всяким суммовым названием, вроде икры и т. п. Кто в мире осмелится сказать, что есть какое-нибудь устройство, которое удовлетворило бы одинаким образом ирокезов и ирландцев, арабов и мадьяр, кафров и славян? Мы можем сказать одно — что некоторым народам мещанское устройство противно, а другие в нем как рыба в воде. Испанцы, поляки, отчасти итальянцы и русские имеют в себе очень мало мещанских элементов; общественное устройство, в котором им было бы привольно, выше того, которое может им дать мещанство. Но из этого никак не следует, что они *достигнут* этого высшего состояния или что они не свернут на буржуазную дорогу. Одно стремление ничего не обеспечивает, на разницу возможного и неминуемого мы ужасно напираем. Недостаточно знать, что такое-то устройство нам противно, а надобно знать, какого мы хотим и возможно ли его осуществление. Возможностей много впереди: народы буржуазные могут взять совсем иной полет, народы самые поэтические — сделаться лавочниками. Мало ли возможностей гибнет, стремлений авортирует [91], развитий отклоняется. Что может быть очевиднее, осязаемее тех не только возможностей, а начал личной жизни, мысли, энергии, которые умирают в каждом ребенке? Заметьте, что и эта ранняя смерть детей тоже не имеет в себе ничего неминуемого; жизнь девяти десятых, наверное, могла бы сохраниться, если б доктора знали медицину и медицина была бы в самом деле наукой. На это *влияние человека и науки* мы обращаем особое внимание, оно чрезвычайно важно.

Заметьте еще посягательство обезьян (например, шимпанзе) на дальнейшее умственное развитие. Оно видно в их беспокойно-озабоченном взгляде, в тоскливо-грустном присматривании ко всему, что делается, в недоверчивой и суетливой тревожности и любопытстве, которое, с другой стороны, не дает мысли сосредоточиться и постоянно ее рассевает. Ряды и ряды поколений вновь и вновь стремятся к какому-то разумению, заменяются новыми, и эти стремятся, не достигая его, умирают,— и так прошли десятки тысяч лет и пройдут еще десятки.

Люди имеют большой шаг перед обезьянами; их стремления не пропадают бесследно, они облекаются словом, воплощаются в образ, остаются в предании и передаются из века в век. Каждый человек опирается на страшное генеалогическое дерево, которого корни чуть ли не идут до Адамова рая; за нами, как за прибрежной волной, чувствуется напор целого океана — всемирной истории; мысль всех веков на сию минуту в нашем мозгу, и нет ее «разве него», а с нею мы можем быть властью.

Крайности ни в ком нет, но всякий может быть незаменимой действительностью; перед каждым открытые двери. Есть что сказать человеку — пусть говорит, слушать его будут; мучит его душу убеждение — пусть проповедует. Люди не так покорны, как стихии, но мы всегда имеем дело с современной массой,— ни она не самобытна, ни мы не независимы от общего *фонда* картины, от одинаких предшествовавших влияний; связь общая есть. Теперь вы понимаете, от кого и кого зависит будущность людей, народов?

— От кого?

— *Как от кого?.. да от НАС С ВАМИ, например. Как же после этого нам сложить руки!*

ОПЫТ БЕСЕД С МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ *

Вероятно, каждому молодому человеку, сколько-нибудь привычному к размышлению, приходило в голову: отчего в природе все так весело, ярко, живо, а в книге то же самое скучно, трудно, бледно и мертво? Неужели это свойство речи человеческой? Я не думаю. Мне кажется, что это вина неясного понимания и дурного изложения.

Ни трудных, ни скучных наук вовсе нет, если их начинать с начала и идти в каком-нибудь порядке. Труднее всего и во всем азбука и чтение, они требуют механических усилий памяти и соображения, чтоб запомнить множество *условных знаков,*— но вы знаете, как это легко делается. Всякая наука имеет свою азбуку, далеко не так сложную, как настоящая, но которая издали дика и запутанна; через нее надобно пройти, и это ничего не значит. Разумеется, нельзя читать химическое рассуждение, не зная, что такое кислота, соль, основание, сродство и проч. Но не надобно забывать, что нельзя и в карты играть, не давши себе труда выучиться мастям и названиям.

Будьте уверены, что трудных предметов нет, но есть бездна вещей, которых мы просто не знаем, и еще больше таких, которые знаем дурно, бессвязно, отрывочно, даже ложно. И эти-то ложные сведения еще больше нас останавливают и сбивают, чем те, которых мы совсем не знаем.

Основываясь на ложном и неполном пониманье, на произвольных предположениях, как на решенном деле, мы быстро доходим до больших ошибок. Пустые ответы убивают справедливые вопросы и отводят ум от дела. Вот причина, почему, начиная говорить с вами, я не только не требую от вас знаний, но скорее был бы доволен, если бы вы забыли все, что знаете школьно, и имели бы тот простой взгляд и те

* Я убедительно прошу принять эту статейку только за *опыт*. Если я не умел его сделать, пусть кто-нибудь другой напишет на тех же началах; я вполне убежден, что *в них* я не ошибся.

неизбежные понятия о вещах, которые сами собой приобретаются в жизни — иногда смутно и ошибочно, но не *преднамеренно* ложно.

Мне хотелось бы не столько сообщить вам сведений, дать ответы на ваши вопросы, как научить вас спрашивать, *поставить* вас относительно предметов на точку зрения *здравого смысла*. Овладевши ее несложными приемами, вам легко будет приобрести сколько хотите знаний из огромных запасов наблюдений и фактов. Мне хотелось бы указать вам тропинку в их дремучем лесу, чтоб вас не обошел, как говорят наши мужички, «лукавый», т. е. дух лжи и неправды,— дать вам нить, которая довела бы вас до других, уже более опытных проводников и, если вы того захотите, до собственного наблюдения.

Предания, которые нас окружают с детства, общепринятые предрассудки, с которыми мы выросли, которые мы повторяем по привычке и к которым привыкаем по повторениям, страшным образом затрудняют нам простое изучение окружающей нас жизни. Желая что-нибудь понять из естественных явлений, мы почти никогда не имеем дела с ними самими, а с какими-то аллегорическими призраками, вызываемыми по их поводу в нашем воображении. Оттого мы почти всегда смотрим на произведения природы как на фокусы или на колдовство и вместо отыскивания причин, законов, связи мы думаем о фокуснике, который нас обманывает, или о колдуне, который ворожит.

Большая часть людей, занимавшихся изучением природы, знают, что это не так, но сами принимают неверный язык и лепет младенческого развития,— одни — воображая, что они этим сделают понятнее науку — так, как дурные няньки, говоря с маленькими детьми, повторяют нарочно детские ошибки и детское произношение; другие — из равнодушного неуважения к истине или из жалкой боязни раздразнить людей, верующих в исторические предрассудки.

Я намерен говорить с вами, как с совершеннолетними, и думаю, что мне никогда не придется ни употреблять детский лепет, ни лицемерить. Лучше молчать, если нельзя иначе.

Безнравственно на вопрос о причине какого-нибудь явления отвечать вздором только для того, чтоб отделаться. А это-то мы видим сплошь да рядом.

Отчего, спрашиваете вы, зверь глупее человека? — Оттого, говорят вам, что у зверя *инстинкт*, а у человека *ум*. Неужели этот ответ дельнее того, который бы кто-нибудь сделал на вопрос — отчего близорукий видит хуже

других? — оттого, что он миоп. Или, еще лучше, слабые глаза — назвал бы одним именем, а сильные глаза — другим и дал бы вам это за объяснение.

Кому не хочется, глядя на природу, заглянуть за ее кулисы, в ту мастерскую, из которой беспрерывно идет, летит, стремится это множество всякой всячины — звезды, камни, деревья, вы, я,— и всякий раз на вопрос ваш о том, как все это делается, вам отвечают шалостью или обманом, чтоб скрыть свое неведение, а иногда, и это еще хуже, чтоб скрыть свое знание.

Один из обыкновенных приемов — пугать начинающих такими цифрами лет, милей, что их и произнести нельзя. Сбивши ими с толку, начинают толковать о сотворении мира, прежде нежели объясняют, что такое мир и как он может быть сотворен; потом заставляют принять на веру три-четыре силы, и все это для того, чтоб потом с их помощью трудным путем дойти до того, с чего начинает катехизис.

Не лучше ли было бы начать с первого предмета, попавшегося на глаза, с предмета знакомого, который можно взять в руки, посмотреть. Тем больше, что природа везде одинакова, все ее произведения равны *перед законом,* какого бы роста они ни были, какое бы значение они ни имели — близко ли, далеко ли, в телескоп ли на них смотрят, простыми глазами или в микроскоп. Капля воды и струйка дыма подлежат тем же общим правилам, как океан и вся атмосфера. Страх перед количеством, длиной и долготой надобно победить с самого начала, а потому и следует начинать с величин соизмерных: то, что мы в них найдем, наверно, можно будет приложить ко всем прочим.

В капле нечистой воды зарождается бездна маленьких животных, в междузвездных пространствах — бездна планет и комет, на сырой стене — плесень.

Объяснить образование плесени не легче, чем объяснить образование земного шара. Плесень нас не удивляет только потому, что она неказиста, невелика. А ведь было время, что и земной шар был меньше тех животных, которые тысячами вертятся в одной капле воды.

Сделаться большим не так трудно, как *начать расти.* Вы, верно, слыхали о той даме, которая на вопрос — верит ли она, что св. Дионисий прошел большое пространство без головы, отвечала, что не в том важность, что он далеко ушел, но в том, что он сделал первый шаг.

Действительно, в определенных явлениях все зависит от первого шага, т. е. от начальной встречи необходимых условий; где они соберутся, там и делается *первый шаг,* и,

если ничего не помешает, развитие пойдет длинным рядом изменений, смотря по обстоятельствам — в комету, в цветок, в плесень. Эти встречи делаются беспрерывно, везде, на каждой точке безграничного пространства. Миры возникают беспрерывно, так, как плесень и инфузории; они не сделаны, не готовы, а делаются, одни существуют теперь, другие едва образуются, третьи кончают свою жизнь в этой форме.

Мы имеем один факт, не подлежащий, так сказать, нашему суду,— факт, втесняющий нам себя, обязывающий нас себя признать; это факт существования чего-то непроницаемого в пространстве — вещества. Мы можем начинать только от него, он тут, он есть; так ли, иначе ли — все равно, но отрицать его нельзя. Пространств без веществ мы не знаем, мы знаем только, что в иных пространствах вещества больше, т. е. что они гуще и плотнее, в других меньше, т. е. что они жиже и пустее.

Где бы вы ни начали изучать вещество, вы непременно дойдете до таких общих свойств его, до таких законов, которые принадлежат всякому веществу, и из этих законов можете вывести, изменяя условия, что хотите — возникновение миров и их движение или движение пылинок, которые колеблются и несутся на солнечном луче.

Вот, например, одно из этих общих свойств, самых очевидных и легких для наблюдения. Стоит посмотреть на несколько разных веществ, чтоб увидеть, что частицы одного вещества иногда соединяются с частицами другого, одни льнут друг к другу, другие сближаются теснее, как бы просасываясь друг в друга.

Продолжая наблюдение, мы можем изучить, заметить некоторые особенности, сопровождающие тесные соединения частиц. Возьмем, например, стакан воды и стакан спирту, смешаем их так, чтоб ничего не утратилось; мы получим сумму веса воды и веса спирта, а объем их будет немного меньше двух стаканов. Новая жидкость сделалась несколько плотнее. Стало быть, есть соединения, при которых разные частицы соединяются теснее и в силу этого занимают, соединившись, меньшее пространство.

Я хочу, взяв в основание эти два простейшие явления, показать вам возможность объяснить ими возникновение всего на свете.

Одного только я потребую от вас — того, что требует всякая старушка, рассказывающая сказки,— немного внимания и немного воображения.

Вместо двух стаканов, из которых в одном налит спирт, а в другом вода, вы себе представьте глухую ночь беско-

нечного пространства, в котором носится разжиженное до чрезвычайности вещество; рассеянные частицы беспрерывно встречаются, соединяются, просасываются друг в друга, снова разлагаются, опять соединяются — и это повсюду, спокон века и ежеминутно. В бесконечном числе этих соединений должны встретиться и такие, которые удержались и с тем вместе сделались плотнее. Что может выйти из этого? Первое последствие будет нарушение равновесия, в котором около носившиеся частицы держали друг друга в балансе. Окружающие частицы, не встречая прежнего препятствия, стали падать к более плотному соединению, чтоб наполнить изреженное место, от которого вещество долею отступило, сделавшись плотнее.

Зачем? На этот вопрос, совершенно правильный, я буду отвечать фактом. Раздвигаемость частиц и стремление занять наибольшее пространство есть отличительное свойство одного из трех известных состояний вещества; мы его называем воздухообразным.

В обыкновенной жизни мы почти не считаем воздух за вещество. Мы говорим: «Стакан пустой», когда в нем нет ничего жидкого и ничего твердого, забывая, что он полон воздуха, и в этом нет никакой ошибки, потому что стакан сделан для того, чтоб содержать жидкость. Тем не меньше надобно остерегаться и от тех ложных представлений, которые вносит не книга, а практически-житейское отношение к предметам. Воздух у нас в большом пренебрежении. Вещь улетученную, воздухообразную мы считаем уничтоженной вещью. «Сколько мы истребили дров нынешней зимой! — говорим мы относительно правильно, ибо дрова, как вещь ценная, как вещь полезная, даже как вещь осязательная, не существует больше; но не следует забывать, что от сожженных дров ничего не пропало и не могло пропасть. Нет того снаряда, того пресса, того паровика, того плавильного огня, которым бы можно уничтожить пылинку, носящуюся в воздухе, малейшую скорлупу ореха. Если собрать сажу, дым, уголь, золу и разные воздушные соединения, вы бы увидели с весами в руках, что дрова ваши совершенно целы, а только живут иначе. Дело в том, что всякое самое твердое тело (так, как вы это видите на льду), свинец например, может сначала расплавиться, а потом при известных условиях сделается воздухообразным, нисколько не переставая быть свинцом, и точно так же может из воздухообразного снова перейти в свое твердое состояние, так, как водяные пары превращаются в лед. Это нас приводит к одному из величайших законов природы: ничего существующего нельзя уничтожить, а можно только

изменять. Но если сегодня нельзя ничего уничтожить, то и вчера нельзя было, и тысячу лет тому назад, и так далее, т. е. что *вещество вечно* и только *по обстоятельствам переходит в разные состояния.* Люди, толкующие о преходимости всего вещественного, не знают, что говорят; если льду нет, зато есть вода; если воды нет, зато есть пары; если и их разложить, мы получим два воздухообразные вещества, которые можно на тысячу ладов соединить, но уничтожить ничем нельзя, ни даже человеческим воображением; сделайте опыт представить себе что-нибудь существующее уничтоженным, как же оно примется за то, чтоб не быть?

Сочетания и разложения вещества, по собственному ли развитию или по воле человеческой, могут только *переделывать, изменять* материал, приводить его в другие соединения и в другие формы, *но материалу* от этого ни больше, ни меньше, он все тот же и в том же количестве. Если в одном месте сделается что-нибудь гуще, непременно где-нибудь будет жиже. Перед вами фунт говядины, вы ее съедаете и становитесь фунтом тяжеле, а через час или два несколько легче, но разница не пропала; говядина, претворившись в кровь, потеряла разные водяные и воздушные частицы, оставившие ваше тело испарением, дыханием. Эти освобожденные частицы пошли каждая своей дорогой, одни были всосаны растениями, другие соединились с землей, рассеялись в воздухе.

Но если все, что делается в природе, только перемена вечного, готового материала, то вы, несколько подумавши, ясно увидите, что также нельзя в природе ничего *вновь* сделать, ничего прибавить, *ничего создать.* Можно пары охладить в воду, воду заморозить в лед, но водяных паров нельзя составить, если нет их составных частей; с чего же начать?

Мы остановились на том, что частицы вещества, окружавшие более плотное соединение, устремились к нему. При этом движении они должны были увлекать с собой слой за слоем и, следственно, быть причиной нового колебания, продолжающегося до тех пор, пока движение слоев не потеряется в пространстве и не придет в равновесие.

Наши соединившиеся частички в этом колебании уже играют роль средоточия, зерна; стремящиеся на них воздухи (газы) наносят им новые соединяющиеся частицы, движение от этого становится больше и больше. Вы знаете, что ветер — не что иное, как перемещение слоев воздуха, теплых и холодных, сухих и наполненных парами, продолжающееся до тех пор, пока слои придут в равновесие.

Мы можем поэтому представить себе, как мало-помалу возрастали вьюги и вихри, колебавшиеся в воздушном растворе без всякой рамы, на просторе бесконечного пространства, около сгущенного средоточия.

Если средоточие выдержит напор, не потеряв своей особенности, не распустившись в пространстве, не прильнув само к *другому*, то оно с волнующимся около него воздухом или туманом представится нам особенной областью, вымежевавшейся от окружающего пространства своим движением около ядра. Если же оно вступит в *другие* соединения, вовлечется в *другое* движение, что, вероятно, повторялось мильоны и мильоны раз, тогда оставим его своей судьбе и займемся тем *другим* средоточием, в котором развитие продолжается. В той ли воздушной области или в другой идет операция, мы не можем иначе себе представить ее форму, как шарообразной, потому что нет никакой причины частицам простираться больше или меньше в одну сторону, нежели в другую. А простираться ровным образом во все стороны от одного средоточия значит быть шарообразным.

Но отчего же развилась та область или другая, почему *тут* образовалось более плотное соединение, а не *там?* Какое вам до этого дело? Это один из самых пустых вопросов, но так как его повторяют довольно часто, то надобно было о нем упомянуть. Естественные науки не дают никакого ответа на подобные вопросы, потому что им нечего сказать. В бесконечном пространстве нет местничества; там, где случились необходимые условия, и именно в то время, когда они встретились, там и начало, там и продолжение; случись оно в другом месте, в другое время, оно было бы там, а не тут; может, было бы в обоих местах. Ну что же из этого?

Природа представляет нам факт, наше дело — его изучать, приводить к сознанию, раскрывать его законы. Ну а если б у нее были другие законы, тогда, вероятно, и нас бы не было, а было бы что-нибудь совсем другое... где тут предел... мы изучаем те факты, которые существуют, и смиренно принимаем их, *как они есть.*

Говоря о *возникновении миров,* например, само собой разумеется, мы говорим о тех мирах, которые возникли, и об общем законе возникновения... Миры могли и *могут* возникать на всякой точке, но не на всякой точке нашлись условия, для них необходимые. На иных могут быть условия, годные для начала, но которые не в силах поддержать развитие. Мы их не знаем, да если б и знали, их следовало бы оставить. Описывая животных, мы не оста-

навливаемся на неудавшихся зародышах или на уродливых недоносках.

Естественные науки занимаются только фактами и их изучением, не допуская фантастического созерцания возможностей. Почем мы знаем, что теперь делается в мрачных и холодных пространствах между звезд, какие образуются там новые миры и подрастают на замену солнечной системы или какой другой... Во всем этом нам не на что опереться, кроме на ведение,— оно действительно подтверждает, что *должно быть это так*; тем и оканчивается весь научный интерес, и дальнейшее переходит в область мечтаний.

Нас ожидают вопросы больше существенные в жизнеописании нашей воздушной области. Будучи гуще внутри, она должна была сложиться в последовательное наслоение. Легкие слои всплыли наверх, потяжеле повисли в середине, самые тяжелые потонули к средоточию. Пока все не пришло в равновесие, в шаре делалось то, что делается, когда кипятят воду: подогретая вода подымается, в то время как холодная низвергается на дно. Противуположные потоки должны были стремиться одни лучеобразно от центра ко всем точкам поверхности, другие — от всех точек поверхности к центру, но по мере того, как все частицы повисли бы на своем месте, они успокоились бы, и общее движение мало-помалу должно остановиться, а с ним замереть и дальнейшее развитие. Этот покой действительно и настает в кипятке, если воду не будут *подогревать*. Но где же очаг, который бы подогревал наш воздушный шар?

Переходим опять к ежедневным, домашним опытам; возьмите кусок холодного железа, положите его на холодную наковальню и начните его бить холодным молотом; оно сначала сделается теплым, потом горячим — где очаг? Если в металлической трубке с одним отверстием, подвижной пробкой, туго входящей, быстро сжать воздух, то трут, прикрепленный на дне трубки, загорается. Кто его зажег? Дело состоит в том, что *тела, сжимаясь, становятся теплее*. А ведь две первые частицы, соединившись заняли *меньше пространства* — сжались, стало быть, они сделались теплее. Притечение новых частиц и их соединение развивало больше и больше тепла в ядре, отсюда движение частиц, отдаляющихся от центра и притекающих к нему, должно было становиться сильнее и сильнее, температура центральной части — выше и выше.

Идем далее... Имеем ли мы какое-нибудь право себе представить, что та *данная* воздушная «капля», при развитии которой мы присутствуем, одна и есть во всей все-

ленной? Если б это было так, то, стало быть, было когда-нибудь время, в которое ничего не было, т. е. в которое нельзя было *возникнуть* чему-нибудь, т. е. что вещество и законы его были не те, которые теперь, чего мы допустить не можем; совсем напротив, потому, что эта область могла развиться, стало быть, и другие миры должны были развиваться прежде нее. Если же это так... то наша сфера где-нибудь, как-нибудь встретится с другими.

Какое же будет их взаимодействие? Верхние слои, самые изреженные по свойству воздухообразного состояния, проникнут друг друга, могут смешаться, если не будут удерживаемы потоками частиц, летящих или низвергающихся к средоточию. Мы не имеем причины предполагать обе сферы одинакого объема, одинаковой плотности,— это может быть, но это один из случаев; гораздо легче себе представить, что одна сфера больше другой, и тогда меньшая будет постоянно склоняться к большой. Если частицы, стремящиеся к зерну меньшой сферы, не в состоянии противудействовать удаляющимся от него, то она *упадет* на большую, распустится в нем, станет двигаться как один из его слоев или как одна из его частных областей.

Но если движение частиц к средоточию достаточно, чтоб противудействовать падению, но недостаточно, чтоб совсем пересилить стремление частиц к средоточию большой сферы, тогда, повинуясь двум движениям, шар наш будет кружиться около центра большой сферы, постоянно готовый сорваться с пути или упасть к его центру. И то и другое может случиться, но нам для нашей цели следует взять такое отношение сфер, в котором они уравновешиваются на постоянном движении одной около другой.

Но все частицы вещества, составляющего воздушный шар, несущийся около средоточия, вне его находящегося, одинаково ринуты в движение. Слои ближе к его зерну вертятся медленнее, у самого центра все покойно, быстрота, разумеется, возрастает с удалением от него и всего больше на поверхности. Простой опыт мячика, привязанного на бечевке, который вы станете кружить, дает наглазное представление.

Сверх того, и на самой поверхности не все точки двигаются с ровной скоростью, потому что не все подвергаются одинаковой близости к большой сфере, около которой двигается меньшая. Наибольшее движение будет на том поясе, который всего ближе к большой сфере, туда и будут притекать наибольше частиц. В силу этого разного движения мы можем определить такую линию, около которой шар будет обращаться, как около своей *оси*.

С своей стороны, постоянное притечение частичек к поясу наибольшего движения должно изменить шарообразную форму, она сплюснется у полюсов, т. е. у концов *оси*, и увеличится у пояса, ближайшего к внешнему средоточию.

Но чем далее частицы от зерна, тем слабее их связь с ним, а так как и движение там всего сильнее, то под его влиянием пояс может, наконец, сорваться или, лучше, расчлениться с общей массой, продолжая увлекаться ее движением, уже не как ее слоем, а в виде обруча. За ним может отделиться другой, третий и т. д.; тогда плотность всей сферы сделается, так сказать, полосатой в отношении к густоте, гораздо изреженнейшей между обручами, гораздо плотнейшей в них самих.

При крутом и стремительном движении обручей они сами могут разорваться, и тогда — одна часть дуги отставая, а другая напирая на нее — они могут собраться, сжаться в один или несколько комков, обращающихся около общего центра своей сферы и увлекаемых с нею около средоточия большой сферы; в каждом расчленившемся обруче или кольце снова повторятся те же явления.

При этих отделениях обручей, при их распадениях на шары должны были остаться свободные частицы, уносимые общим потоком и которые, в свою очередь, льнут к тем или другим шарам, больше и больше сгущая их. Самое образование обручей было сгущением, но сгущаться — значит разогреваться; чем больше накаливались частные центры, тем сильнее стремились от них частицы, поднимаясь к окружности. Таким образом зерно, вместо того, чтоб делаться плотнее и плотнее, становилось все жиже и жиже, истощаясь своим лучезарным рассеянием частиц.

Такое средоточие — наше солнце, его расчленившиеся обручи — планеты нашей системы; их отделившиеся обручи в свою очередь составили их спутников, как Луна, или остались обручами, как кольцо Сатурна. Вся солнечная система имеет свое общее движение около одного из своих созвездий. Представляет ли это созвездие общее средоточие или само обращается около чего-нибудь? Наверно, последнее. Мы слишком бедны, чтоб доказать это опытом, наши периоды наблюдений слишком ограничены и слишком малы, но нелепость средоточия чего-нибудь бесконечного так же очевидна, как означение года, делящего на две равные эпохи вечность. Общего средоточия движения не может быть, *оно не в духе природы*... все носится друг около друга; одни центры исчезли, послуживши причиной движения; другие возникают, приставая к той или другой системе или перетягивая к себе.

Так это и наша солнечная система когда-нибудь перестанет существовать? — Непременно. Одна из причин бросается в глаза — это постоянное истощение солнца; оно уже и теперь не может производить новых планет, обручи не отделяются от него, но оно продолжает на огромное пространство до Сатурна греть и светить, не получая топлива снаружи; силы солнца также сочтены, придет время, когда воздушный очаг потухнет.

Что касается до возникновения новых небесных тел, мы можем следить за образованием и ростом плотной части *туманных пятен* и комет, так, как можем изучать по обитателям Новой Зеландии начала стадной жизни людской.

На этом мы остановимся. Мне хотелось в этом опыте только показать, как из легкого химического опыта и из самых элементарных понятий механики и физики, что тела, сжимаясь, нагреваются, что воздухообразные частицы стремятся занимать больше пространства, что есть такие соединения веществ, при которых соединенное тело становится плотнее соединяемых, есть *возможность* объяснить всемирные явления, не вводя никаких фокусов, никаких спрятанных колдунов, не отводя глаз. Цель моя будет совершенно достигнута, если мой опыт возбудит умственную деятельность и желание ближе узнать то, что едва обозначено в нем. Одного желал бы я безмерно — чтоб вы заметили коренную *разницу* этого приема с обыкновенным риторико-теологическим.

В этом сжатом очерке я старался до того сберечь чистоту вашего воображения, что не употреблял, как ни было мне это трудно, таких слов, как *притяжение, тяготение, центробежная и центростремительная* сила, которыми для краткости выражают общие причины всех явлений, вследствие которых частицы соединяются, влекутся к другим, кружатся и проч. Я боялся их употреблять и предпочел передавать факты, не означая их именем, потому что незнакомые названия с условным собирательным смыслом заменяют очень часто объяснение, останавливают вопросы; произнося слово, нам кажется, что мы знаем его смысл, что мы определяем саму причину, в то время как мы *только ее называем.*

Мы смеемся с Мольером над шутом, который объясняет свойство ревеня тем, что он имеет *слабительную* силу, и в то же время довольствуемся тем, что частицы веществ соединяются вследствии *силы сцепления.*

А что такое сила сцепления? Опять колдовство, только в другой форме, переведенное с мистического языка на

язык науки, переодетое из монашеской рясы в докторскую мантию.

Слова эти необходимы, но необходимы как знаки; это стропилы, вехи по дороге к истине, а не сама истина, «взаправду», как говорят дети.

Явления, ожидающие нас, если мы будем продолжать наши беседы, становятся определеннее и вводят нас в сферы больше живые. Мы видели, что с сжатием является теплота, с теплотой свет; при их посредстве рассеянные частицы вещества обнаруживают больше и больше действий друг на друга (химизм), с теплотой и химизмом неразлучно электричество, а тут является и кристаллизация, и органическая клетчатка, а с ними все животное царство и человек.

ОТВЕТ РУССКОЙ ДАМЕ

Милостивая государыня,

вы мне писали с доброй целью, я этому верю, я это вижу из некоторых мест вашего письма. Напрасно вы извиняетесь в конце его и избавляете меня от ответа, думая, что я не буду и не могу отвечать искренно. Совсем напротив, я сам хочу вам отвечать, и притом очень откровенно. Я вообще не скрытен, а тут и нет причины.

В вашем письме, признаюсь вам, в самом начале, два замечания странно подействовали на меня, потому ли, что оба нисколько не заслужены мною, или потому, что оба касаются до предметов очень дорогих мне.

Вы говорите, что я *все* браню в России,— полно, все ли? Вы, мне кажется, думаете, что я имею какой-то зуб на Россию, что я полон нелюбви ко всему русскому. Уверять в противном я не стану, а скажу только, что вся моя жизнь, все мои слова, все, что я делал и делаю,— лучшее возражение на ваше замечание. Вы были предупреждены, читая «Полярную звезду».

А потому, что вы были предупреждены, вы увидали какой-то холодный, чуть не саркастический смысл в строках, писанных трепетной рукой, в строках, писанных с бьющимся сердцем, где я говорил «о тяжелых венцах, которыми венчали ямщиков, и о дьячке, подававшем дрожащей рукой ковш единения». Я вас не понимаю; сделайте одолжение, перечитайте это место *.

Мне хотелось в самом начале покончить эти личные вопросы. Теперь позвольте мне обратиться к главному предмету вашего письма.

Цель его — обращение меня в христианскую религию.

Вы видите во мне что-то «неспокойное», какую-то разорванность, подозреваете какую-то тайну, чуть ли не угрызение совести и хотите меня спасти или, лучше, не самого меня, а мою душу. Вы предполагаете, что я хочу успокоиться во что бы ни стало, и, жалея меня, вы подаете мне потир [2] с опиумом.

---

* «Полярная звезда», III книжка, стр. 134—135 [1].

Но вы ошибаетесь в моем духовном настроении. Тайн у меня нет. В прошедшем меня посетили страшные несчастия, но угрызений совести они не оставили. От этого не легче; есть случаи, в которых угрызения совести примиряют с несчастиями, вводя какой-то мстительный разум в противное бессмыслие, в хаотическую нелепость случайностей.

Но при всем этом где же вы видели во всем писанном мною эту усталую потребность *одного* покоя, в котором терзающие меня диссонансы разрешились бы не *в самом деле,* а в моем слухе...

Я не ищу страданий и не бегу от них.

Но представьте, что вы были бы правы, что, измученный, обессиленный, усталый, я жаждал бы успокоения и веры... Неужели вы думаете, что стоит захотеть — и поверишь?

Я уже не раз повторял ответ Байрона даме, которая ему писала в Грецию письмо в том же роде, как вы написали ко мне в Лондон. Байрон оценил ее участие и, отвечая ей с грустной кротостью, спросил ее: «С чего же начать, чтоб *поверить,* когда не веришь, как это сделать?» Ведь это в самом деле задача невозможная!

Вера — страсть; но и любовь к истине — страсть; вера требует жертв, и любовь к истине требует жертв, и притом вера берет взаймы с лихвою, а любовь к истине без всякого вознаграждения, так она самодеянна и сильна. На которую из двух дорог попадет человек, выбор почти не зависит от него.

Вы знаете, что внутренняя жизнь наша определяется вовсе не по обдуманной программе; в раннем отрочестве, иногда в ребячестве инстинкт, окружающая среда без преднамерения, без полного сознания, без участия воли с той и другой стороны дают направление. Когда молодой человек впервые приостанавливается в раздумье и начинает разбор себя — его мысли уже подтасованы, движение по известному направлению уже дано. Остальное зависит от силы логики, от силы характера, от последовательности. Большей частию умственная жизнь у людей так поверхностна и их интересы в ней так несерьезны, что из них можно равно сделать мистиков и материалистов, и даже то и другое вместе; у одних будет немного мистицизма в их материализме, а у других небольшая толика материализма в их мистицизме. Но если для человека мысль и сознание не шутка, если истина в самом деле составляет для него существенную потребность, если он дал в своей груди место ее труду, если он развил в себе тоску, боль по ней — тогда ему

будет трудно отказаться от самобытного разума, от независимого анализа в пользу какого бы то ни было авторитета, мысль его будет в тиши подтачивать на веру взятое, взвешивать слова и класть пальцы во все раны, хотя от этого и сделается в сто раз больнее.

Многие (и вы в том числе) думают, что это гордость мешает варить. Но отчего гордость не мешает учиться? Что может быть смиреннее работы мыслителя, наблюдающего природу? Он исчезает как личность и делается одним страдательным сосудом для обличения, для приведения к сознанию какого-нибудь закона. Он знает, как он далек от полного ведения, и говорит это. Сознание о том, чего мы не знаем, своего рода начало премудрости.

До сих пор религиозное воззрение безнаказанно злоупотребляло словами, не отдавая себе отчета,— по привычке, традиции и монополии, которой религия пользуется.

Перед высокомерным уничижением верующего не только гордость труженика науки ничего не значит, но гордость царей и полководцев теряется и исчезает. Да и как же ему не гордиться — он знает безусловную, несомненную истину о боге и о мире; он знает не только этот, но и *тот* свет... он смиренен, даже застенчив от избытка богатства, от уверенности.

Посмотрите, как беспощадно, строго вы у меня отнимаете право речи, которое мне дала природа, как гордо и резко вы меня спрашиваете, кто мне поручил проповедовать? где мое помазание? То, что я сам себе это поручил, в ваших глазах ничего не значит — что такое я? Помазание любви, помазание труда,— все это не спасает меня, я самозванец и должен замолчать. С другой стороны, какое спокойствие, какая уверенность в вас самих! В вашем помазании *вы не сомневаетесь*, вы уверены, что бог вам поручил меня спасти; вам легко, потому что вы действуете с ним заодно. Не думайте, что я хочу этими строками сделать вам личный упрек,— нисколько. Это странное сочетание неестественной гордости с неестественным смирением принадлежит вообще христианскому воззрению. Оттого-то и папа римский, «царь царей», всегда называет себя *рабом рабов*.

Вы говорите, что «я мог бы многое сделать для России, если б любил ее *бескорыстно*». Какая же корысть у меня? Видеть развитие России, участвовать в нем как один из сотен тысяч, видеть ее освобождение, освобождение крестьян — неужели это корысть? Неужели вы не шутя говорите, что я «живу для одной славы». Помилуйте, ведь я не шестнадцатилетний студент, не Карл Мор, не маркиз Поза. В наш век волокитство за славою вообще миновало, и ми-

лый Камиль Демулен с милыми жирондистами и грозным Дантоном, говорившими о славе на ступенях эшафота, были последние люди, которые *не смешно* о ней говорили.

В наш век люди скорее живут для власти, для денег, чем для славы.

Если б я только хотел шуму, неужели вы думаете, что я бы не нашел дела в Англии, во Франции, в Америке, наконец, в Швейцарии, которая так дружески усыновила меня? Или, может, я ищу власти в России? Нечего сказать, хорош путь выбрал я в первые страницы адрес-календаря? Не денег ли?.. Этого уж никто не думает.

Так *из чего же* я хлопочу?

Религиозному воззрению любовь к истине, к делу, потребность обнаруживания себя, потребность борьбы с ложью и неправдой, словом, деятельность *бескорыстная*, непонятна. Религиозный человек свечки грошовой даром богу не поставит, это ему всё векселя на будущую болезнь, на будущий урожай, наконец, на будущую жизнь. Я не смею находить *бескорыстной* молитву, потому что мне придется, чтоб спасти ее от своекорыстия, признаться, что то, чего она просит, не в самом деле или невозможно,— а вы за это рассердитесь на меня.

Вы говорите мне: «Напрасно вы заботитесь о России, она могучая, здоровая, *сама справится*». Что такое *сама?* Да разве вы, я, все проснувшиеся, все говорящие, все недовольные, западники, славянофилы... не принадлежат к этой самости, не составляют ее сводной личности? Разве она не нами развивается, разве мы не ею развиты? Не с неба же свалились мои мысли, мое направление. Я «забочусь о России» потому, что *не могу* не заботиться об ней, потому, что, утром, просыпаясь и ночью засыпая, невольно думается о России, потому, что каждая весть оттуда заставляет биться сердце — двойным негодованием или двойной радостью. Что же удивительного, что я «забочусь о России»? Ведь, может, и я, как Россия, «сам справлюсь», а вы заботитесь, однако, о спасении моей души, и я в этом нахожу очень человеческое чувство и душевно вас благодарю.

Перехожу к последнему. Вы говорите, что я браню все на Западе, царей и народы, браню все в России — без различия *сана и лет*, и спрашиваете, да где же мой рецепт на спасение людское... вы говорите, что я только сею раздражительное неудовольствие и сомнение, что я только развиваю жажду, не поднося питья.

Что касается до «сана и лет» — это мы отложим в сторону; лета только тогда достойны уважения, когда они служат доказательством не только крепости мышц и пище-

варения, но и человечески прожитой жизни; и кто же не склоняется перед старцем Гумбольдтом, кто не склонялся перед старцем Оуэном,— бывали и на Руси старцы, которых все уважали, как Н. С. Мордвинов; у нас и теперь есть наши *старцы* Сибири, наши *старцы* каторжной работы, и мы пе́ред ними стоим с непокрытой головой. Но уважать эти седые пиявки, сосущие русскую кровь, этих николаевских писцов, ординарцев, оттого что они живут до аредовых лет, оттого что их и смерть не берет и они, пользуясь этим, сделались какими-то мозолями, мешающими ступить России шаг вперед? Нет, они не заслуживают даже снисхождения.

Если взять табель о рангах и прочность желудка за меру уважения, где же мы поставим границы ему? Эдак мы дойдем через пять лет до уважения Дубельта, а через пятнадцать до Иакова Энтузиаста [3]. Тут вы меня извините, я не только не могу вам уступить главных вроде Панина, но даже их подмастерий вроде Закревского. Да вот скажите кстати сами, что же вы — уважаете его за его сан и за его без малого сто лет?..

Итак, вы говорите, что я *только* вношу сомнения в сердца молодого поколения и пробуждаю в нем жажду. Это *только* само по себе кое-что. Человек сомневающийся будет беспокоен, станет искать выхода из сомнения; человек, у которого жажда возбуждена, пойдет отыскивать утоление ее. После нравственной косности прошлого тридцатилетия, после старческого маразма, внесенного в самую юность искаженным воспитанием, всякое возбуждение к жизни, всякий голос, бросающий вопрос, разрушающий рассеянное равнодушие, останавливающий молодого человека между университетским дипломом и дипломом на чин титулярного советника, между кадетским корпусом и полком и зовущий на раздумье,— спасительный голос.

Тех решений, о которых вы говорите, я не могу дать, я их не имею, я сам их ищу, я не учитель, я попутчик. Мы вместе доискиваемся, оттого, может быть, у нас есть сочувствие. Я не берусь им говорить, *что надобно,* но, кажется, довольно верно указываю, *чего не надобно.*

Вы хотите от меня доктрины. Вы правы. Доктрина действительно стоит между церковью и свободным мышлением вроде расстриженного монаха, не привыкнувшего еще к светскому платью. Того разлада, той неудовлетворенности, которую вы находите во мне, конечно нет у доктринеров, как вообще нет у религиозных людей. Доктрина — религия, из которой бог выехал, а церковная утварь осталась; от этого она вам знакомее, в ней еще ладаном

пахнет. Церковь заменяется государством, монастырь — присутственным местом, чины небесные — служебными чинами, поглощение лица в боге — поглощением его в государстве; священники стали квартальными, и централизацией исправляется должность Иеговы. Народ по-прежнему остается паствой, пастухи-бюрократы знают, куда пасут его, псы верные от кавалерии и инфантерии им помогают, чтобы глупое стадо не заплуталось,— такой доктрины, определенной, ограниченной, умеренной и воздержной, у меня так же нет, как веры [4].

Но если я не имею доктрины, не пишу заповедей где-нибудь на горе, ни приказов где-нибудь в канцелярии,— неужели же я не могу кричать о рабстве и передней всякий раз, как увижу галун, на какой бы ливрее он ни был, с пчелами или орлами [5], на академической мантии или на генерал-адъютантском мундире... Неужели я не могу проповедовать освобождение мысли и совести от всего хлама, не проведенного сквозь очистительный огонь сознания, звать на борьбу со всеми остающимися узами на независимости мышления, со всем ограничивающим самозаконность личности, этой высшей, действительной цели церкви и государства? Неужели я не имею права покачать диалектическими мышцами все эти почтенные идолы, пугающие слабых, во имя логической свободы, во имя беспрепятственного мышления, разбирающего все, посягающего на все... Или неужели вы не дадите права русскому сделать гласным биение сердца, слезы, надежды и сомнения... во всем касающемся до русского народа в современных вопросах наших, который может меня упрекнуть во всем, кроме недостатка сочувствия и любви.

И к тому же зачем меня лишать права речи? Если мои слова без мистического верования, без школьной доктрины будут пусты, будут нелепы, их прочтут, забудут и наконец совсем не будут читать. Зачем же отнимать у человека такое естественное право, как участие речью в современном деле своей родины? Довольно в России всяких ценсур, всяких стеснений, всяких монополий, научимтесь выносить свободу!

В заключение моего письма я попрошу вас не сомневаться ни на одну минуту, что, несмотря на различие наших воззрений, я вполне ценю и теплоту душевную, с которой вы писали, и ваше доброе, человеческое желание свести мир в мою душу, и потому искренно и откровенно благодарю вас.

10 февраля 1859.

РАЗГОВОРЫ С ДЕТЬМИ

I

Пустые страхи.— Вымыслы

Желание узнать причины, как что делается возле нас, совершенно естественно человеку в каждый возраст. Это всякий испытал на себе. Кому не приходило в голову в ребячестве, отчего дождь идет, отчего трава растет, отчего иногда месяц бывает полный, а иногда видна одна закраинка его, отчего рыба в воде может жить, а кошка не может?.. Людям так свойственно добираться до причины всего, что делается около них, что они лучше любят выдумывать вздорную причину, когда настоящей не знают, чем оставить ее в покое и не заниматься ею.

Такого любопытства — *знать,* что и как делается,— звери не имеют. Зверь бегает по полю, ест, коли что попадется по вкусу, но никогда не подумает, почему он бегает и отчего он может бегать, откуда взялся съестной припас, который он ест. А люди всем этим заботятся.

Посмотрите, что из этого выходит: чем больше вещей человек знает и чем короче, подробнее он их знает, тем больше у него власти над ними. Звери с их умом несовершенным и маленькие дети с их незнанием всего слабее и беспомощнее. Не думайте, что дети только потому слабы, что они малы,— слон при всем своем росте не больше ребенка во всех тех случаях, где нельзя взять ни массой, ни мышцами.

Когда человек хочет что-нибудь сделать, он прежде должен *знать* свойства вещей, из которых ему приходится что-нибудь сделать. Вещи сами по себе очень послушны, но слушаются они человека и настолько исполняют его волю, насколько он умеет приказывать им, т. е. насколько он их *знает.*

Вещи не *в самом деле* слушаются человека или противудействуют ему. Это так говорится для краткости, вещам до человека дела нет, они очень равнодушны к своей судьбе и продолжают существовать — рудою, слитком, червонцем, кольцом на пальце, как случится, у них нет ни цели, ни

намерения, ни воли. Река течет,— течет потому, что земля поката, а не потому, что ей хочется течь. Человек ставит плотину — так как воде все равно, то она перестает течь и накапливается. Насколько человек знает силу воды, силу плотины, вышину берегов и другие условия, настолько он может заставлять воду, делая *свое дело,* исполнять *его волю:* вертеть колеса, пилить бревна, орошать луга, подымать барки. Из этого вы уж видите, что мы настолько умеем управлять природой или вещами, нас окружающими, *насколько их знаем,* направляя одни против других или соединяя их по их свойствам.

Вы хотите отрезать сучок от дерева и сделать из него трость. Вы берете нож, т. е. кусок железа, таким образом сплавленный, выкованный, отточенный, что одна сторона его остра, и начинаете отрезывать, зная, что растительные волокна не могут удержаться против железа.

Таким точно образом человек поступает и в самых сложных своих делах, в хлебопашестве и других работах.

Совсем напротив — чего мы не знаем, то не только не в нашей воле, но скорее мы в его воле, *оно нас теснит.* Люди по большей части боятся того, чего не знают, потому что от него трудно защищаться.

Вот тут-то и случается, что люди лучше выдумывают ложную, мнимую причину, чем остаются в безоружном неведении. Принимая ложную причину за знание, за понимание, веря ей, они обманывают себя и думают, что овладели страшным явлением.

Возьмемте для примера *грозу* и посмотрим, в каком отношении к грозе находились люди в младенческом состоянии и в какое перешли в более образованном.

Люди были поражены блеском молнии, раскатом грома, они видели зажженные деревья, убитый скот, убитых людей и потом снова прежнюю тишину, тучи проходили, небо разъяснялось. Вместо того чтоб добираться до причины, сличать, обдумывать, они вот как рассуждали: «Мы слышали треск и гром — стало быть, *кто-нибудь гремит»,* и они стали искать (тут-то вся ошибка) не *что* гремит, а виноватого. Гремит наверху, молния падает сверху, стало быть, *громовержец* живет наверху. Черные тучи, мрачное небо показывают, что он сердится; на кого? Конечно, всего больше на тех, кого убивает.

Что же делать и как умилостивить этого свирепого громовержца? Унижением, бросаясь на колени, моля о пощаде. Так люди делали тысячелетия, и им в голову не приходило, что громовержец бьет бессмысленно скалы и деревья, которые не могут быть виноватыми, баранов

и волов, мирно пасущихся, и из людей убивает не худших, а так, кто попадется; это объясняли тем, что громовержец делает это для острастки, чтобы виновные трепетали, а прочие знали бы его мощь. И эдакого-то бессмысленного и безжалостного чудака хотят умолить красными словами, поклонами, взятками. А все это делается только для того, чтоб заглушить страх перед неизвестной опасностью.

Помните вы греческое вероисповедание, у них на все был свой Бука или своя Баба-яга: для моря и огня, для неба и земли. И серьезные, взрослые люди, полководцы, купцы, отправляясь в море, ходили перетолковать об этом с медной куклой, делали ей обещание принести в жертву кур и телят, повесить в ее храме свое платье, если кукла пошлет хорошую погоду во время плавания.

Мы смеемся над их морским богом, разъезжающим в раковине на четверке дельфинов с трезубцем в руке, так, как вы смеетесь над куклами, с которыми вы бывало разговаривали, как с живыми, укладывали их спать, давали им лекарства,— ведь вам и тогда чувствовалось, что они не живые, да хотелось верить, вы и верили. Но мало-помалу ваш ум крепнул, и, по мере того как он стал брать верх над детским воображением, вам меньше и меньше казалось вероятным, что кукла больна или спит. Так жили целые народы — до тех пор, пока *знание* природы не победило их *мечтание* об ней.

Когда люди приобрели больше опытности и сведений о природе, они пошли и в деле *грома* и *молнии* иным путем; вместо того чтоб спрашивать, *кто* гремит, стали наблюдать, *что* гремит, и мало-помалу, сличая разные явления, доискались до причины; а найдя ее, стали обороняться от нее уже не молитвами и коленопреклонением, не курами и свечами, принесенными на жертву, а снарядами, называемыми *громоотводами.*

Точно так же действует знание во всех других вещах и предметах: везде освобождает оно нас от страха, а где не может освободить от зависимости, там учит нас избегать вредных действий.

Прежде чем мы пойдем дальше, я вам расскажу, как в детстве я сам освободил себя от одного из *пустых страхов.* У меня, по правде сказать, их было немного, однако ж не был и я совсем свободен от них. Нянюшки натолковали и мне о всяких чудесах, о том, как домовой приходит по ночам в конюшню и ездит верхом на лошадях и как кучер против этого в стойле держит козла. Лет двенадцати я стал с ними спорить, и, разумеется, разубедить их не мог.

Бедные люди эти обречены на темную жизнь неведения и тяжкую работу — им недосуг учиться, недосуг думать, их досугом пользуемся мы; и если свет до них не доходит, то мы не должны забывать, что *мы* им застим его. А осуждать их — большое преступление; к тому же гораздо удивительнее, что люди ученые и образованные рассуждают иной раз не лучше их и что бóльшая часть их верит в такого или другого домового и имеет в конюшне или дома своего *козла* против него.

Мне было лет двенадцать, жили мы летом в деревне. За нашим домом был овраг, заросший сосняком и ельником, овраг этот шел, огибая поля, к двум-трем курганам, тоже покрытым большим сосновым лесом. Курганы эти, вероятно, были насыпаны над могилами падших воинов в древние времена.

Там раза два отрывали совсем перержавевшие доспехи; в преданиях у крестьян осталось темное воспоминание какого-то сражения. Курганы эти они звали «проклятыми». Неохотно ходили туда ночью мужики; про женщин и говорить нечего: ни одна ни за что на свете не пошла бы туда после сумерек — не оттого, чтоб они боялись волков — это было бы естественно, а оттого, что боялись каких-то *духов*.

Дворовые люди наши, разумеется, не меньше их верили в эти чудеса. Я спорил с ними, смеялся над их трусостью.

— Да вы вместо того чтоб говорить,— сказал мне один из них,— сами бы ночью сходили.

— Я охотно пойду.

— Когда?

— Сегодня, когда у нас все улягутся...

— А как же знать, до которых мест вы дойдете?

— У большой сосны возле первого кургана лежит лошадиный череп.

— Помню.

— Ну так я принесу его.

Пространство, которое мне приходилось пройти, вряд было ли всего больше полутора или двух верст, из которых половина шла полем. Пока было видно освещенное окно нашего дома и я не покидал тропинки, я шел себе спокойно, попевая песни для большей храбрости, но, когда взошел в лес, мне тоже стало очень страшно. Чего мне было страшно, не знаю; но сердце билось и ноги так неверно ступали, когда я цеплялся за сучья, что в ту же пору хоть бы и воротиться. Но я переломил свой страх, дошел до черепа, взял его на палку и побежал домой.

Человек наш хотя и похвалил меня, но все же не

убедился, а говорил мне, что «иногда и ничего не бывает, а иногда бывает».

На другую, на третью ночь я уже ходил туда без всякого постороннего повода, и сердце билось меньше и меньше, и я уже не пугался, зацепляясь за хвойные ветви. Вот как проходят пустые страхи.

Но чего же собственно наши люди и крестьяне боялись на курганах? Того, чего люди обыкновенно боятся в присутствии мертвого тела, на кладбище. Они боятся, что покойник *не в самом деле умер,* а что он *раздвоился както* — тело само по себе, а жизнь этого тела *сама по себе.* Этого-то люди и боятся, по инстинкту понимая, что в этом есть что-то *нелепое.* А то чего же бы бояться? Люди сами хотят жить после смерти, скорбят и оплакивают, когда кто-нибудь умрет,— стало быть, следовало бы радоваться, что духи усопших уцелели и являются к нам!

Дух без тела страшен невообразимой нелепостью своей; до того страшен, что человек обыкновенно придумывает ему или чудовищное *тело,* или неестественно красивое.

Вы, верно, видали изображение длинных, исхудалых, завернутых в белые саваны мертвецов, с дырами вместо глаз. Видали вы, верно, также и маленькие кудрявые головки, нарисованные без туловища с двумя-четырьмя крылышками, прикрепленными к задней стороне нижней челюсти или к первому шейному позвонку [1]. Само собою разумеется, что ни скелет в холстине, ни голова без груди, необходимой для дыхания, и без живота, необходимого для пищеварения, не только не могут понимать и говорить, но просто не могут жить. Несмотря на то, людям легче воображать эти нелепости, чем живой *дух,* т. е. живой *воздух,* газообразную личность без всяких жидких и густых частей. Это до такой степени нелепо, что человек отпрядывает от бестелесного духа к уродливым вымыслам.

На это, пожалуй, вам скажут, что *духи* могут иметь воздушное или эфирное тело, не зримое нашими глазами, тонкое, легкое и прозрачное.

На земной планете таких нет, а если б они где-нибудь и были, то с умершими людьми они ничего общего не имеют. К тому же не думайте, что в самом деле *прозрачность* и воздушность — что-нибудь высшее. Если б человек мог сделаться жиже, еще жиже и наконец совсем прозрачным, он от этого стал бы только хуже. Хорошая кровь густа, и хороший мозг густ, хорошие мускулы упруги; воздушные мускулы не могли бы служить; газовым мозгом нельзя было бы думать.

Невидимых для простого глаза животных бездна — все наливчатые животные [2]; но они, хотя и малы, не состоят же из одного воздуха или из одной жидкости; у них есть свои оболочки, очень тонкие, но которые оставляют после себя известку или мел. Их прозрачность сопряжена с самой бедной степенью жизни; для того чтоб жизнь мухи или осы была возможна, телу животному надобно было очень много погустеть, потерять своей прозрачности и местами окрепнуть, как крылья жука или ноги кузнечика.

Тело всякого животного — червя, слона, человека — делается из окружающих припасов едой и дыханием. На это ему нужны части твердые, жидкие и воздухообразные. Пока они вместе работают и ни одна не берет верха, *жизнь* продолжается. Если у животного отнять твердые оболочки его, то кровь и всякая жидкость, обращающаяся в его сосудах, прольется, газы, в ней заключающиеся, испарятся, рассеются, твердые части выветрятся, засохнут, сделаются черноземом, известковой землей.

Общее дело (жизнь) твердых, жидких и воздухообразных веществ, пока они продолжают пищеварение, нельзя отделить от этих частей (т. е. от тела). Так, как нельзя линию, границу двух площадей, отделить от площадей не на чертеже, а в самом деле.

Объяснить это *общее дело,* задерживающее в известном виде и в известной деятельности части тела,— задача трудная; но путь к ее разрешению очевиден — *физиология и химия.*

Неполное знание дает права на произвольные предположения. Мы сейчас видели, до каких нелепостей люди доходили в своем объяснении грома; повторять такие ошибки непростительно.

Вымыслы не только отдаляют пониманье, но забивают самую возможность правильно поставить вопрос; в манере спрашивать видно, что сделанный вопрос вперед решен.

Так, вопрос *«Может ли душа существовать без тела?»* заключает в себе целое нелепое рассуждение, предшествовавшее ему и основанное на том, что душа и тело — две разные вещи. Что сказали бы вы человеку, который бы вас спросил: «Может ли черная кошка выйти из комнаты, а черный цвет остаться?» Вы его сочли бы за сумасшедшего — а оба вопроса совершенно одинакие. Само собою разумеется, тот, кто может себе представить черный цвет, оставленный кошкой, или ласточку, которая летает без крыльев и легких, тому легко представить себе *душу* без тела, такое *целое,* которого части *уничтожены*... а затем почему ему и не бояться на кладбище или на кургане встре-

чи с давноумершими, ходящими без мускулов, одними костями, говорящих без языка.

Есть люди, которые без малейшего основания говорят, что души умерших отправляются на *другие планеты;* это понять не легче.

Как же это они подымаются в океане кислорода и селитророда, не окислившись в нем или не соединяясь с водородом, углеродом? Но душа не имеет *химических* свойств. Какие же? Физические? Нет. *А двигается?*

Предмет, не имеющий ни физических, ни химических свойств, без формы, без качества и количества, мы называем несуществующим, т. е. *ничем.*

Тут прибегают обыкновенно к сравнению с электрической искрой; но электрическая искра очень богата физическими и химическими свойствами; несмотря на то, в ней нельзя предположить сознания — а ведь это *главное,* чего хотят в душе, отрешенной от тела. Чтоб сознавать себя, нельзя быть ни твердым, как кремень, ни жидким, как вода, ни изреженным, как воздух; надобно быть *студнем или кашей, как мозг.*

На первый случай, я думаю, есть о чем вам подумать и поговорить с вашими товарищами и учителями, если только они не боятся *домового* и не держат *козла.*

КОНЦЫ И НАЧАЛА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда, год тому назад, я писал «Концы и начала», я не думал их так круто заключить. Мне хотелось в двух-трех последующих письмах ближе означить *«начала»; «концы»* казались мне сами по себе яснее. Сделать этого я не мог. Строй мыслей изменился: события не давали ни покоя, ни досуга — они принялись за свои комментарии и за свои выводы. Трагедия продолжает расти перед нашими глазами и все больше и больше становится из частного столкновения введением в мировую борьбу. Пролог ее окончился, завязка сложилась хорошо; все перепуталось: ни людей, ни партий узнать нельзя... Поневоле приходит в голову образ дантовских единоборцев [1], в котором члены бойцов не только переплелись друг с другом, но, по какой-то метаморфозе, последовательно превращаются друг в друга.

Все юношеское, восторженное, от молитвы перед распятием — до безрассудной отваги, от женщины, одевшейся в черное,— до тайны, хранимой целым народом,— все давно увядшее в старом мире, от митры и рыцарского меча — до фригийской шапки, явилось еще раз во всем поэтическом блеске своем в восставшей Польше, как будто для того, чтоб украсить молодыми цветами *старцев цивилизации,* медленно двигающихся на борьбу, которой они боятся...

С другой стороны, *начала* едва пробиваются сквозь дым сожженных сел и городов... Здесь происходит совершенно обратное явление... все отжившее *старого мира* поднялось на защиту петербургской империи и отстаивает ее неправое стяжание всеми оружиями, оставленными в наследство дикими веками военной расправы и растленным временем дипломатических обманов, от пыток и убийства пленных — до ложных амнистий и поддельных адресов, от татарского изгнания целой части населения — до журнальных статеек и филигранной риторики горчаковских нот.

Сотрясение последнего времени взболтало тихий омут

наш. Многое, хранившееся в молчании, под гробовой доской прошлого гнета, вышло наружу и обличило всю порчу организма. Только теперь становится возможным измерить *толщу,* которую растлило петербургское императорство, германизируя нас полтора века. Немецкая лимфа назрела в грубой крови, здоровый организм дал ей свежую силу и, зараженный ею, не утратил ни одного собственного порока... Бесчеловечное, узкое безобразие немецкого рейтера и мелкая, подлая фигура немецкого бюралиста давно срослись у нас с широкими, монгольскими скулами, с звериной безраскаянной жестокостью восточного раба и византийского евнуха. Но мы не привыкли видеть эту сводную личность вне казарм и канцелярий; она не так резко выступала вне службы: малограмотная, она не только мало писала, но и мало читала; теперь наш минотавр всплыл не в дворцах и застенках, а в обществе, в литературе, в университете...

Мы думали, что наша литература так благородна, что наши профессора как *апостолы,*— мы ошиблись в них, и как это больно; нас это возмущает, как всякое зрелище нравственного падения. Нельзя не протестовать против ужасных дел и ужасных слов, нельзя не отойти от беснующихся сил, от бесчеловечной бойни и еще больше бесчеловечных рукоплесканий. Может, нам придется вовсе сложить руки, умереть в своем a parte [2] прежде, чем этот чад *образованной* России пройдет... Но зерна, лежащего в земле, эта буря не вырвет и не затронет, а, пожалуй, еще укрепит его. Восходящей силе все помогает — преступления и добродетели; она одна может пройти по крови, не замаравшись, и сказать свирепым бойцам: «Я вас не знаю,— вы мне работали, но ведь вы работали *не для меня*».

Посмотрите на дикого сатрапа в Литве [3]: он душит польский элемент, а синие пятна выйдут у петербургской империи, он гонит с места, отталкивает польское дворянство — а побежит русское.

Дворники, они не знают, кому метут, кому расчищают путь, так, как римская волчица не знала, *кого* она кормит и *что* вскармливает. По их кровавой дороге пройдет тоже если не Ромул, то Рем, обиженный в прошедшем; ему-то и расчищают дорогу и царь и сатрапы.

Но пока он явится — еще много прольется крови, еще случится страшное столкновение двух миров.— Зачем она польется? — Конечно, зачем? Да что же делать, что люди не умнеют? События несутся быстро, а мозг вырабатывается медленно. Под влиянием темных влечений, фантасти-

ческих образов, народы идут как спросонья — рядом неразрешимых антиномий, дерутся между собой и доходят, ничего не уяснивши себе, через полторы тысячи лет после страшного разгрома римского мира — до времен Германика и Аларихa, переложенных на нравы XIX века.

1 августа 1863 г.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Итак, любезный друг, ты решительно дальше не едешь, тебе хочется отдохнуть в тучной осенней жатве, в тенистых парках, лениво колеблющих свои листья после долгого знойного лета. Тебя не страшит, что дни уменьшаются, вершины гор белеют и дует иногда струя воздуха, зловещая и холодная; ты больше боишься нашей весенней распутицы, грязи по колено, дикого разлива рек, голой земли, выступающей из-под снега, да и вообще нашего упованья на будущий урожай, от которого мы отделены бурями и градом, ливнями, засухами и всем тяжелым трудом, которого мы еще не сделали... Что же, с богом, расстанемся, как добрые попутчики, в любви и совете.

...Тебе остается небольшая упряжка, ты приехал — вот светлый дом, светлая река, и сад, и досуг, и книги в руки. А я, как старая почтовая кляча, затянувшаяся в гоньбе,— из хомута в хомут, пока грохнусь где-нибудь между двумя станциями.

Будь уверен, что я вполне понимаю и твой страх, смешанный с отвращением перед неустройством ненаезженной жизни, и твою привязанность к выработавшимся формам гражданственности, и притом к таким, которые *могут быть* лучше — но которых *нет лучше*.

Мы вообще, люди европейской, городской цивилизации, можем жить только по-готовому. Городская жизнь нас приучает с малолетства к скрытому, закулисному замиранию и уравновешению нестройных сил. Сбиваясь случайно с рельсов, на которые она нас вводит с дня рождения и осторожно двигает, мы теряемся, как кабинетный ученый, привыкнувший к музеям и гербариям, к зверям в шкапу, теряется, поставленный лицом к лицу со следами геологического переворота или с густым населением средиземной волны.

Мне случилось видеть двух, трех отчаянных ненавистников Европы, возвращавшихся из-за океана. Они поехали туда до того оскорбленные реакцией после 1848, до того озлобленные против всего европейского, что едва оста-

навливались в Нью-Йорке, торопясь в Канзас, в Калифорнию. Года через три, четыре они снова явились в родные кафе и пивные лавочки старой Европы, готовые на все уступки — лишь бы не видать девственных лесов Америки, ее непочатой почвы, лишь бы не быть tête-à-tête с природой, не встречать ни диких зверей, ни змей с гремушками, ни людей с револьверами. Не надобно думать, впрочем, что их просто испугала опасность, материальная нужда, необходимость работы,— и здесь мрут с голода, не работая, и здесь работают по 16 часов в сутки, а опасность полиции и шпионства на старом континенте превышает опасность зверей и револьверов. Их испугала, утомила пуще всего неочеловеченная природа, отсутствие того благоустроенного порядка, того администрацией обеспеченного покоя, того художественного и эпикурейского комфорта, которые обусловливаются долгой жизнию на одном месте, берегутся сильными полицейскими плотинами, покоятся на невежестве масс и защищаются церковью, судом и казармами. За эту чечевичную похлебку, *хорошо сервированную,* мы уступаем долю человеческого достоинства, долю сострадания к ближнему и *отрицательно* поддерживаем порядок, в сущности нам противный.

Во Франции мы видели другой пример: беллетристы, жившие в риторике, художники, жившие в искусстве для искусства и для денег, были вне себя от беспокойства, причиненного Февральской революцией. У нас есть знакомый учитель пенья, который от 1848 года переселился из Парижа в Лондон, в отечество горловых болезней, бронхитов, астмов и разговора сквозь зубы,— только чтобы не слыхать набата и действительного хора масс.

В теперешней России соединены обе причины, заставлявшие людей бежать из Парижа и из Арканзаса. В Америке пугала пуще всего *голая* природа, дикая природа, у которой сотворение мира на листах не обсóхло и которую мы так горячо любим в картинах и поэмах (человек с револьвером, наивно убивающий ближнего, относится так же к пампам, как и наивный тигр с своими зубами в вершок величины). Во Франции — природа ничего, прибрана и выметена, тигры не ходят, а виноград растет; но зато в 1848 там снова разнуздались страсти и снова покачнулись основы благочиния. У нас, при непочатой природе, люди и учреждения, образование и варварство, прошедшее, умершее века тому назад, и будущее, которое через века народится,— все в брожении и разложении, валится и строится, везде пыль столбом, стропилы и вехи. Действительно, если к нашим девственным путям сообщения прибавить

мужественные пути наживы чиновников, к нашей глинистой грязи — грязь помещичьей жизни, к нашим зимним вьюгам — Зимний дворец,— а тут генералитет, кабинет, буфет, Филарет, «жандармский авангард цивилизации» из немцев и арьергард с топорами за кушаком, с стихийной мощью и стихийной неразвитостью,— то, сказать откровенно, надобно иметь сильную *зазнобу или сильное помешательство,* чтоб по доброй воле ринуться в этот водоворот, искупающий все неустройство свое пророчествующими радугами и великими образами, постоянно вырезывающимися из-за тумана, который постоянно не могут победить.

Зазноба и помешательство — своего рода таланты и по воле не приходят. Одного тянет непреодолимо в водоворот, другого он отталкивает брызгами и шумом. Штука, собственно, в том, что иному сон милее отца и матери, а другому сновидение. Что лучше? Я не знаю; в сущности, и то и другое, пожалуй, сведется на *один бред.*

Но в эти философские рассуждения мы с тобой не пустимся: они же обыкновенно, тем или другим путем, приводят к неприятному заключению, что, валяйся себе на перине или беспокойся в беличьем колесе, полезный результат этого будет один и тот же, чисто агрономический. Всякая жизнь, как поет студентская песня, начинается с «Juvenes dum sumus» [4] и оканчивается: «Nos habebit humus!» [5]. Останавливаться на этих печальных приведениях всего на свете *к нулю* не следует — ты же назовешь эдак *нигилистом,* а нынче это крепкое слово, заменившее гегелистов, байронистов и пр.

Живой о живом и думает. Вопрос между нами даже не в том, имеет ли право человек удалиться в спокойную среду, отойти в сторону, как древний философ перед безумием назарейским, перед наплывом варваров. Об этом не может быть спору. Мне хочется только уяснить себе, в самом ли деле вековые обители, упроченные и обросшие западным мохом, так покойны и удобны, а главное, так прочны, как были, и, с другой стороны, нет ли, в самом деле, каких-нибудь чар в наших сновидениях под снежную вьюгу, под троечные бубенчики, и нет ли основания этим чарам?

Было время, ты защищал *идеи* западного мира, и делал хорошо; жаль только, что это было совершенно не нужно. Идеи Запада, т. е. наука, составляла давным-давно всеми признанный майорат человечества. Наука совершенно свободна от меридиана, от экватора, она, как гётевский «Диван»,— *западно-восточная* [6].

Теперь ты хочешь права майората перенести и на самые

формы западной жизни, и находишь, что исторически выработанный быт европейских бельэтажей один соответствует эстетическим потребностям развития человека, что *он* только и дает необходимые условия умственной и художественной жизни, что искусство на Западе родилось, выросло, ему принадлежит и что, наконец, другого искусства нет совсем. Остановимся на этом сначала.

Пожалуйста, не подумай, что с точки зрения сурового цивизма и аскетической демагогии я стану возражать на то место, которое ты даешь искусству в жизни. Я с тобой согласен в этом. Искусство — c'est autant de pris [7]; оно, вместе с зарницами личного счастья,— единственное, несомненное благо наше; во всем остальном мы работаем или толчем воду для человечества, для родины, для известности, для детей, для денег, и притом разрешаем бесконечную задачу,— в искусстве мы наслаждаемся, в нем цель достигнута, это тоже *концы*.

Итак, отдав Диане Эфесской, что Диане принадлежит, я тебя спрошу, о чем ты, собственно, говоришь — о настоящем или прошедшем? О том ли, что искусство развилось на Западе, что Дант и Бонаротти, Шекспир и Рембрандт, Моцарт и Гёте были по месту рождения и по мнениям *западниками?* Но об этом никто не спорит. Или ты хочешь сказать о том, что долгая историческая жизнь приготовила и лучшую арену для искусства, и красивейшую раму для него, что хранилищницы в Европе пышнее, чем где-нибудь, галереи и школы богаче, учеников больше, учителя даровитее, театры лучше обстановлены и пр.,— и это так (или почти так, потому что с тех пор как Большая Опера возвратилась к первобытному состоянию бродячих из города в город комедиантов, одна великая опера и есть überall und nirgends [8]). Вся Америка не имеет такого Campo Santo, как Пиза, но все же Campo Santo [9] — кладбище; к тому же довольно естественно, что там, где было больше кораллов, там и коралловых рифов больше... Но где же во всем этом новое искусство, творческое, живое, где художественный элемент в самой жизни? Вызывать постоянно усопших, повторять Бетховена, играть «Федру» и «Аталию» очень хорошо, но ничего не говорит в пользу творчества. В скучнейшие времена Византии на литературных вечерах читали Гомера, декламировали Софокла; в Риме берегли статуи Фидиаса и собирали лучшие изваяния накануне Генсерихов и Аларихов. Где же новое искусство, где художественная инициатива? Разве в *будущей* музыке Вагнера?

Искусство не брезгливо, оно все может изобразить, ставя на всем неизгладимую печать дара духа изящного

и бескорыстно поднимая в уровень мадонн и полубогов всякую случайность бытия, всякий звук и всякую форму — сонную лужу под деревом, вспорхнувшую птицу, лошадь на водопое, нищего мальчика, обожженного солнцем. От дикой, грозной фантазии ада и страшного суда до фламандской таверны с своим отвернувшимся мужиком, от Фауста до Фобласа, от Requiem'а до «Камаринской» — все подлежит искусству... Но и искусство имеет свой предел. Есть камень преткновения, который решительно не берет ни смычок, ни кисть, ни резец; искусство, чтоб скрыть свою немоготу, издевается над ним, делает карикатуры. Этот камень преткновения — *мещанство*... Художник, который превосходно набрасывает человека совершенно голого, покрытого лохмотьями или до того совершенно одетого, что ничего не видать, кроме железа или монашеской рясы, останавливается в отчаянии перед *мещанином во фраке*. Отсюда посягательство Роберту Пилю набросить римскую тогу [10]; с какого-нибудь банкира снять сертук, галстух и отогнуть ему рубашку, так что если б он после смерти сам увидел свой бюст, то перед своей женой покраснел бы до ушей... Робер Макер, Прюдом — великие карикатуры, иногда гениально верные, верные до трагического у Диккенса, но карикатуры; далее Гогарта этот род идти не может. Ван-Дик и Рембрандт мещанства — «Пунш» и «Шаривари», это его портретная галерея и лобное место. Это фамильные *фасты* [11] и позорный столб.

Дело в том, что весь характер мещанства, с своим добром и злом, противен, тесен для искусства; искусство в нем вянет, как зеленый лист в хлоре, и только всему человеческому присущие страсти могут, изредка врываясь в мещанскую жизнь или, лучше, вырываясь из ее чинной среды, поднять ее до художественного значения.

Чинный — это настоящее слово. У мещанства, как у Молчалина, два таланта, и те же самые: «умеренность и аккуратность». Жизнь среднего состояния полна мелких недостатков и мелких достоинств; она воздержна, часто скупа, бежит крайности, излишнего. Сад превращается в огород, крытая соломой изба — в небольшой уездный домик с разрисованными щитами на ставнях, но в котором всякий день пьют чай и всякий день едят мясо. *Это огромный шаг вперед,* но вовсе не артистический. Искусство легче сживается с нищетой и роскошью, чем с довольством, в котором видны белые нитки, чем с удобством, составляющим цель; если на то пошло, оно ближе с куртизаной, продающей себя, чем с нравственной женщиной, продающей втридорога чужой труд, вырванный у голода. Искус-

ству не по себе в чопорном, слишком прибранном, расчетливом доме мещанина, а дом мещанина *должен быть* таков; искусство чует, что в этой жизни оно сведено на роль внешнего украшения, обоев, мебели, на роль шарманки; мешает — шарманщика прогонят, захотят послушать — дадут грош и квит... Искусство, которое по преимуществу изящная соразмерность, не может выносить аршина; самодовольная в своей ограниченной посредственности жизнь запятнана в его глазах самым страшным пятном в мире — *вульгарностью.*

Но это нисколько не мешает всему *образованному* миру идти в мещанство, и авангард его уже пришел. Мещанство — идеал, к которому стремится, подымается Европа со всех точек дна. Это та «курица во щах», о которой мечтал Генрих IV [12]. Маленький дом с небольшими окнами на улицу, школа для сына, платье для дочери, работник для тяжелой работы, да это в самом деле гавань спасения — havre de grâce!

Прогнанный с земли, которую обработывал века для барина, потомок разбитого в бою селянина, осужденный на вечную каторгу, голод, бездомный поденщик, батрак, родящийся нищим и нищим умирающий, только делаясь собственником, хозяином, буржуа, отирает пот и без ужаса смотрит на детей; его сын не будет отдан в пожизненную кабалу из-за хлеба, его дочь не обречена ни фабрике, ни публичному дому. Как же ему не рваться в мещане? Идеал *хозяина*-лавочника — этих рыцарей, этих попов среднего состояния — носится светлым образом перед глазами поденщика до тех пор, пока его заскорузлые и усталые руки не опустятся на надломленную грудь и он не взглянет на жизнь с тем ирландским покоем отчаяния, которое исключает всякую мечту, всякое ожидание, кроме мечты о целом полуштофе виски в следующее воскресенье.

Мещанство, последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности,— демократизация аристократии, аристократизация демократии; в этой среде Альмавива равен Фигаро: снизу все тянется в мещанство, сверху все само падает в него по невозможности удержаться. Американские Штаты представляют одно среднее состояние, у которого нет ничего внизу и нет ничего вверху, а мещанские нравы остались. Немецкий крестьянин — *мещанин* хлебопашества, работник всех стран — *будущий* мещанин. Италия, самая поэтическая страна в Европе, не могла удержаться и тотчас покинула своего фанатического любовника Маццини, изменила своему мужу-геркулесу — Гарибальди, лишь только гениальный ме-

щанин Кавур, толстенький, в очках, предложил ей взять ее на содержание.

С мещанством стираются личности, но стертые люди сытее; платья дюжинные, незаказные, не по талии, но число носящих их больше. С мещанством стирается красота породы, но растет ее благосостояние. Античный бедняк из Транстевере употребляется на черную работу гунявым лавочником via del Corso. Толпа гуляющих в праздничный день в Елисейских Полях, Кенсингтон-Гардене, собирающихся в церквах, театрах наводит уныние пошлыми лицами, тупыми выражениями — но для гуляющих в Елисейских Полях, для слушающих проповеди Лакордера или песни Левассора до этого дела нет, они даже этого не замечают. Но что для них очень важно и заметно — это то, что отцы и старшие братья их не в состоянии были идти ни на гулянье, ни в театр, а они могут; что те иногда ездили на козлах карет, а они сами ездят, и очень часто, в фиакрах.

Во имя *этого* мещанство победит, и должно победить. Нельзя сказать голодному: «Тебе больше к лицу голод, не ищи пищи». Господство мещанства — ответ на *освобождение без земли,* на закрепление людей и прикрепление почвы малому числу избранных. Заработавшая себе копейку толпа одолела и по-своему жуирует и владеет миром. В сильно обозначенных личностях, в оригинальных умах ей никакой необходимости. Наука не может не натолкнуться на ближайшие открытия. Фотография, эта шарманка живописи, заменяет артиста; хорошо, если явится художник с творчеством, но вопиющей нужды и в нем нет. Красота, талант — вовсе не нормальны; это исключение, роскошь природы, высший предел или результат больших усилий целых поколений. Стать лошадей Дерби, голос Марио — редкости. Но хорошая квартира и обед — необходимость. В самой природе, можно сказать, бездна мещанского; она очень часто останавливается на середке наполовину — видно, дальше идти духу не хватает. Кто тебе сказал, что у Европы хватит?

Европа провела дурные четверть часа — мещанство чуть не лишилось плодов долгой жизни, долгих усилий, труда. Внутри человеческой совести поднялся какой-то неопределенный, но страшный протест. Мещане вспомнили войны свои за права, вспомнили героические времена и библейские предания. Авель, Рем, Фома Мюнстер были еще раз усмирены, и на их могилах еще долго будет расти трава в предупреждение того, как карает самодержавное мещанство. Все с тех пор пришло в свой порядок; он кажется прочен, он рационален из своих начал, он силен

ростом, но артистического смысла, но художественной струны в нем не прибыло, он их и не ищет; он слишком практичен; он согласен с Екатериной II, что серьезному человеку не идет хорошо играть на фортепьянах,— императрица тоже смотрела на мужчин с *практической* точки зрения. Для цветов его гряды слишком унавожены; для его гряд цветы слишком бесполезны; если он иногда растит их, то это на продажу.

Весной 1850 года я искал в Париже квартиру; тогда я уже настолько обжился в Европе, что мне опротивела теснота и давка цивилизации, которая сначала очень нравится нам, русским; я с ужасом, смешанным с отвращением, смотрел уже на беспрестанно двигающуюся, кишащую толпу, предчувствуя, как она у меня отнимет полместа в театре, в дилижансе, как она бросится зверем в вагоны, как нагреет и насытит собою воздух,— а поэтому я и квартиру искал не на юру и сколько-нибудь не похожую на уютно пошлые и убийственно однообразные квартиры в три спальни, à trois chambres à coucher de maître *[13]

Мне кто-то указал флигель большого старого дома по ту сторону Сены в самом С.-Жерменском предместье, или около. Я пошел туда. Старуха, жена дворника, взяла ключи и повела меня *двором*. Дом и флигель стояли за оградой; внутри двора, за домом, зеленели какие-то деревья. Флигель был неубран, запущен, вероятно, в нем много лет никто не жил. Полустаринная мебель времени Первой империи, с римской прямолинейностью и почернелой позолотой. Флигель этот был не велик, не богат, но расположение комнат, мебель — все указывало на *иное* понятие об удобствах жизни. Возле небольшой гостиной была еще крошечная, совершенно в стороне, близ спальной — кабинет с шкапами для книг и большим письменным столом. Я походил по комнатам, и мне показалось, что я после долгого скитанья снова встретил человеческое жилье, un chez-soi [14], а *не нумер,* не людское стойло.

Это замечание можно распространить на всё — на театры, на гулянья, на трактиры, на книги, на картины, на платье; всё степенью понизилось и страшно возросло числом. Толпа, о которой я говорил,— лучшее доказательство успеха, силы, роста, она прорывает все плотины, наполняет все и льется через край. Она всем довольствуется, и всего ей

---

* Один очень умный человек, граф Оскар Рейхенбах, мне раз сказал, говоря о зажиточно мещанских квартирах в Лондоне: «Скажите мне цену и этаж — и я берусь без свечи, в темную ночь, принесть часы, вазу, графин... что хотите из вещей, непременно бывающих во всяком жилище среднего круга».

мало. Лондон тесен, Париж узок. Сто прицепленных вагонов недостаточны, сорок театров — места нет; для того, чтоб лондонская публика могла видеть *пьесу,* надобно ее давать кряду три месяца.

— Отчего у вас так плохи сигары? — спросил я одного из первых лондонских торговцев *.

— Трудно доставать, да и хлопотать не стоит, знатоков мало, а богатых знатоков еще меньше.

— Как не стоит? Вы берете 8 пенсов за сигару.

— Это у нас почти никакого расчета не делает. Ну, вы и еще десять человек будут покупать у меня, много ли барыша? Я в день сигар по 2 и по 3 пенса больше продам, чем тех в год. Я их совсем не буду выписывать.

Вот человек, постигнувший дух современности. Вся торговля, особенно английская, основана теперь на количестве и дешевизне, а вовсе не на качестве, как думают старожилы, покупавшие с уважением тульские перочинные ножики, на которых была английская фирма. Все получает значение гуртовое, оптовое, рядское, почти всем доступное, но не допускающее ни эстетической отделки, ни личного вкуса. Возле, за углом, везде дожидается стотысячеголовая гидра, готовая без разбора все слушать, все смотреть, всячески одеться, всем наесться,— это та самодержавная толпа сплоченной посредственности (conglomerated mediocrity) Ст. Милля [15], которая все покупает и потому всем владеет,— толпа без невежества, но и без образования, для нее искусство кричит, машет руками, лжет, экзажерирует [16] или с отчаяния отворачивается от людей и рисует звериные драмы и портреты скота, как Лансир и Роза Бонер.

Видел ли ты в Европе за последние пятнадцать лет актера,— одного актера, который бы не был гаер, паяц сентиментальности или паяц шаржи? Назови его!

Эпохе, которой последнее выражение в звуках Верди, на роду могло быть написано много хорошего, но, наверное, не художественное призвание. Ей совершенно по плечу ее созданье — cafés chantants, амфибия между полпивной и бульварным театром. Я ничего не имею против cafés chantants, но не могу же я им дать серьезное артистическое значение; они удовлетворяют общему «костюмеру», как говорят англичане, общему потребителю, давальцу, стоглавой гидре мещанства — чего же больше?

Выход из этого положения далек. За большинством, теперь господствующим, стоит *еще большее* большинство

---

* У Карреpаса.

кандидатов на него, для которых нравы, понятия, образ жизни мещанства — единственная цель стремлений, их хватит на десять перемен. Мир безземельный, мир городского преобладания, до крайности доведенного права собственности, не имеет другого пути спасения и весь пройдет мещанством, которое в наших глазах отстало, а в глазах полевого населения и пролетариев представляет образованность и развитие. Забежавшие вперед живут в крошечных кругах вроде светских монастырей, не занимаясь тем, что делают миряне за стеной.

Было это и прежде, но и размеры и сознание были меньше, к тому же прежде были идеалы, верования, слова, от которых билось и простое сердце бедного гражданина, и сердце надменного рыцаря; у них были общие святыни, перед которыми, как перед дарами, склонялись все. Где тот псалм, который могут в наше время с верой и увлечением петь во всех этажах дома от подвала до мансарды, где наша «Gottes feste Burg» [17] или «Марсельеза»?

Когда Иванов был в Лондоне, он с отчаянием говорил о том, что ищет новый религиозный тип и нигде не находит его в окружающем мире. Чистый артист, боявшийся, как клятвопреступления, солгать кистью, прозревавший больше фантазией, чем анализом, он требовал, чтоб мы ему указали, где те живописные черты, в которых просвечивает новое искупление. Мы ему их не указали. «Может, укажет Мацини»,— думал он.

Мацини ему указал бы на «единство Италии», может, на Гарибальди в 1861 году как *на предтечу* — на этого *великого последнего.*

Иванов умер, стучась,— так дверь и не отверзлась ему.

Isle of Wight, 10 июня 1862.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Кстати, к Мацини. Несколько месяцев тому назад появился первый том полного собрания его сочинений. Вместо предисловия или своих записок Мацини связал статьи, писанные им в разные времена, рядом пополнений; в этих пояснительных страницах бездна самого живого интереса. Поэма его монашеского жития, посвященного *одному* богу и *одному* служению, раскрывается сама собою в разбросанных отметках — без намерения, может, больше, чем он хотел.

Энтузиаст, фанатик, с кровью лигура в жилах, Мацини отроком безвозвратно отдается великому делу освобожде-

ния Италии — и этому делу остается верен и ныне, и при сно, и во веки веков, ога e sempre [18], как говорит его девиз. тут его юность, любовь, семья, вера, долг. Муж единой жены, он ей не изменил, и, седой, исхудалый, больной, он удерживает смерть, он не хочет умереть прежде, чем Рим не будет столицей единой Италии и лев св. Марка [19] не разорвет на лоскутки развевающуюся над ним черно-желтую тряпку.

Свидетельство такого человека, и притом гонителя скептицизма, социализма, материализма,— человека, жившего всеми сердцебиениями европейской жизни в продолжение сорока лет, чрезвычайно важно.

После первых *пансионских* увлечений всякой революционной карьеры, после поэзии заговоров, таинственных формул, свиданий ночью, клятв на необагренных кинжалах молодого человека берет раздумье.

Как ни увлекает южную, романскую душу обстановка и ритуал, серьезный и аскетический Маццини скоро разглядывает, что в карбонаризме гораздо больше приемов, обрядов, чем дела, больше сборов и приготовлений, чем пути. Давно догадались и мы, что политическая литургия священнослужителей конспираций, как и церковная литургия,— одно драматическое представление; сколько бы чувств и искренности ни вносили иногда священники в *службу,* все же агнец закалается в хлебе и истекает вином. Маццини это заметил тридцать пять лет тому назад.

Дойдя до этого, молодому карбонару было трудно остановиться. Вглядываясь в недавние события рухнувшейся империи, свидетель монархических реставраций, революции, конституционных попыток и республиканских неудач, Маццини пришел к заключению, что у современной европейской жизни нет, как он выразился, «никакой инициативы», что консерваторская идея и идея революционная имеют только отрицательное значение: одна ломает — не зная, для чего, другая хранит — не зная, для чего; что во всем, что делается (а делалась тогда революция тридцатого года), нет ничего чинополагающего новый порядок дел.

В этих словах будущего соперника папы есть звуки погребального колокола, в который ударял друг папы, Местр.

Пустота, которую ощущал Маццини, понятна.

Прилив революционного моря поднимался торжественно в 1789 и, не мучимый никакими сомнениями, затоплял старую весь; но когда все было покрыто его волнами и на минуту всплывшие головы без туловища (и в том числе одна в короне), митры без головы и шляпы с плюмажем

пошли на дно, тогда впервые почувствовался какой-то страшный *простор отсутствия.* Освобожденные силы разъедали друг друга, потом устали и остановились — им нечего было делать, они ждали события дня, как поденщики ждут работы. Постоянные войска эти во время мира кипели боевой энергией, но не было боя, а главное — не было ясной цели. А если цели нет, все может быть целью; Наполеон их уверил, что *он* — цель, что война — цель, и отлил больше человеческой кровью, чем напор волн революционных прилил идей.

Мацини понял это и, прежде чем произнести окончательный приговор, он посмотрел за политические стены. Там ему встретился колоссальный эгоизм Гёте, его покойное безучастие, его любознательность естествоиспытателя в делах человеческих; там ему встретился гложущий себя колоссальный эгоизм Байрона.

Поэзия презрения возле поэзии созерцания; плач, смех, гордое бегство и отвращение от современного мира — возле гордого довольства в нем. Герои Байрона поражают Мацини; он ищет, откуда ведут свое начало эти странные отшельники, без религии и монастыря, сосредоточенные на себе, ненужные, несчастные, без дела, без родины, без интересов, эгоисты и аскеты, готовые на жертвы, которых не умеют принести, готовые презирать себя в качестве людей. И снова Мацини наталкивается на ту же причину. У байроновских героев недостает объективного идеала, веры; мечта поэта, отвернувшись от бесплодной, отталкивающей среды, была сведена на лиризм психических явлений, на *внутрь вошедшие* порывы деятельности, на больные нервы, на те духовные пропасти, где сумасшествие и ум, порок и добродетель теряют свои пределы и становятся привидениями, угрызениями совести и вместе с тем болезненным упоением.

Успокоиться на этом *свидетельстве болезни* деятельный дух Мацини не мог. Ему во что бы то ни стало хотелось сыскать слово новой эры, инициативу — он и сыскал их.

Теперь рычаг в его руках. Он повернет мир, он пересоздаст Европу, заменит гроб колыбелью, разрушителей сделает зодчими, разрешит противоречие общества и лица, свободы и авторитета, даст сердцу веру, не отнимая у разума — разум... Что же, ты думаешь, это magnum ignotum? [20] — *Единство и освобождение Италии с древним Римом в центре.*

Тут, само собою разумеется, нет места ни разбору, ни критике. Не оттого ли, что Мацини предвидел новое откровение, новое искупление мира в итальянском risorgimen-

to [21], он не предвидел одного — именно Кавура? Кавура он должен был ненавидеть больше, чем Антонелли. Кавур был прозаическим переводом его поэмы, он выполнил одну будничную часть маццииевской программы, за Римом и Венецией à la longue [22] дело не станет. Кавур — это итальянская Марфа, мешающая хозяйственными дрязгами единой мечте итальянской Марии [23]. И в то время, когда Мария с умилением видела искупление мира в освобождающейся Италии, Марфа кроила для Италии бельгийский костюм [24], и страна, довольная, что конституция не жмет ее, пошла себе по торной западной колее, по большому торговому тракту, а по нем не доедешь ни до какого пересоздания мира, *не пустившись в опасный брод.*

Фанатик Маццини ошибался; колоссальность его ошибки сделала возможным соизмеримого Кавура и единую Италию. Для нас, впрочем, вовсе не важно, как он разрешил вопрос; для нас важно то, что западный человек, как только становится на свои ноги и освобождается от готовых формул, как только начинает вглядываться в современное состояние Европы,— чувствует неловкость, чувствует, что что-то *не туда идет,* что развитие *дало в сторону.* Обмануть это чувство заменою недостающего начала началом национальности легко могут революционеры и консерваторы, особенно если, по счастью, их родина будет покорена. Но что же дальше? Что делать, восстановивши независимость своего народа? Или что делать, когда она и без того независима?

Маццини, сознавая какую-то *пустоту* демократической мысли, указывает на освобождение Италии от «тедесков». Ст. Милль видит, что все около него пошлеет, мельчает, с отчаянием смотрит на подавляющие массы какой-то паюсной икры, сжатой из мириад мещанской мелкоты без инициативы, без пониманья, но в Англии нет ни австрийского ига, ни папы, ни неаполитанского Бурбона. Тут что делать?

...Я предчувствую гнев наших крепостных людей, приписанных к научным фабрикам и схоластическим заводам [25]; я вижу, как они белым днем яростно смотрят на меня своими ночными глазами филина и говорят: «Что он за вздор несет? Как будто история может дать в сторону, как будто она не двигается по своим законам, как планеты, которые никогда не дают в сторону и не срываются с орбит?»

На последнее можно сказать, что всякое бывает и нет причины, чтоб иной раз планета и не сорвалась. У Сатурна кольцо уцелело и вертится с ним; у Юпитера оно лопнуло,

и из него сделались бусы; у Земли одна луна как бельмо на глазу. Но вместо обсерватории стоит заглянуть в любую больницу, чтоб видеть, как живые организмы *дают в сторону,* развиваются в своем отклонении и доводят его до относительного совершенства, искажая, а иногда и убивая весь организм. Шаткое равновесие всего живого колеблется и до некоторой степени уступает уклонениям; но еще шаг в ту же сторону — и худо стянутый узел, связующий их, развязан, и освобожденные элементы идут в другие сочетания...

Разумеется, что общие законы остаются те же, но в частных приложениях они могут разниться до совершенно противоположных явлений. Повинуясь одному и тому же закону, пух летает, а свинец падает.

При отсутствии плана и срока, аршина и часов, развитие в природе, в истории не то что *не может* отклониться, но *должно* беспрестанно отклоняться, следуя всякому влиянию и в силу своей беспечной страдательности, происходящей от отсутствия определенных целей. В отдельном организме иногда отклонение дает себя знать болью, и тут часто боль является слишком поздним предостережением. Сложные, сводные организмы сбиваются с своих диагоналей и уносятся по скатам, вовсе не замечая ни дороги, ни опасности благодаря смене поколений. Возможность остановить отклонившееся, удержать забежавшее или нагнать его очень мала и мало желается; желание предполагало бы всякий раз сознание и цель.

Сознание, с своей стороны, очень далеко от практического приложения. Боль не лечит, а вызывает леченье. Патология может быть хороша, а терапия скверная; можно вовсе не знать медицины и ясно видеть болезнь. Требование лекарства от человека, указывающего на какое-нибудь зло, чрезвычайно опрометчиво. Христиане, плакавшие о грехах мира сего, социалисты, раскрывшие раны быта общественного, и мы, *недовольные, неблагодарные* дети цивилизации, мы вовсе не врачи — мы *боль;* что выйдет из нашего кряхтения и стона, мы не знаем — но *боль заявлена.*

Перед нами цивилизация, последовательно развившаяся на безземельном пролетариате, на безусловном праве собственника над собственностию. То, что ей пророчил Сиэс, то и случилось: среднее состояние сделалось *всем* — на условии владеть *чем-нибудь.* Знаем ли мы, как выйти из мещанского государства в государство народное, или нет — все же мы имеем право считать мещанское государство односторонним развитием, уродством.

Под словом «уродства», «болезни» мы обыкновенно

разумеем что-то неестественное, противозаконное, не отдавая себе отчета, что уродство и болезнь *естественнее* нормального состояния, представляющего алгебраическую формулу организма, отвлечение, обобщение, идеал, собранный из разных частностей исключением случайностей. Отклонение и уродство *подзаконны* тому же *закону,* как и организмы; в ту минуту, когда бы они освободились от него, организм бы умер. Но, сверх общей подзаконности, они еще состоят на особых правах, имеют свои частные законы, последствия которых опять-таки мы имеем право выводить, без всяких ортопедических возможностей поправлять. Видя, что у жирафа передняя часть развита *односторонно,* мы могли догадаться, что это развитие сделано на счет задней части и что в силу этого в его организме непременно будет ряд недостатков, соответствующих его одностороннему развитию, но которые для него естественны и относительно нормальны.

Переднюю часть европейского камелеопардала составляет мещанство,— об этом можно бы было спорить, если б дело не было так очевидно; но однажды согласившись в этом, нельзя не видать всех последствий такого господства лавки и промышленности. Ясно, что кормчий этого мира будет купец и что он поставит на всех его проявлениях свою торговую марку. Против него равно будет несостоятельна нелепость родовой аристократии и несчастье родового пролетариата. Правительство должно умереть с голоду или сделаться его приказчиком; у него на пристяжке пойдут его товарищи по непроизводительности, опекуны несовершеннолетнего рода человеческого — адвокаты, судьи, нотариусы и пр. Вместе с его господством разовьется понижение всего нравственного быта, и Ст. Милль, например, вовсе не преувеличивал, говоря о суживании ума, энергии, о стертости личностей, о постоянном мельчании жизни, о постоянном исключении из нее общечеловеческих интересов, о сведении ее на интересы торговой конторы и мещанского благосостояния. Милль прямо говорит, что по этому пути Англия сделается *Китаем;* мы к этому прибавим: и не одна Англия.

Может, какой-нибудь кризис и спасет от китайского маразма. Но откуда он придет, как, и вынесет ли его старое тело или нет? Этого я не знаю, да и Ст. Милль не знает. Опыт нас проучил; осторожнее Маццини, мы смиренно держимся точки зрения *прозектора.* Лекарств не знаем, да и в хирургию мало верим.

Мне же особенно посчастливилось,— место в анатомическом театре досталось славное и возле самой клиники; не

стоило смотреть в атлас, ни ходить на лекции парламентской терапии и метафизической патологии: болезнь, смерть и разложение совершались перед глазами.

Агония Июльской монархии, тиф папства, преждевременное рождение республики и ее смерть, за февральскими *сумерками* Июньские *дни,* вся Европа в припадке лунатизма, сорвавшаяся с крыши Пантеона в полицейскую лужу! И потом десять лет в обширнейшем музее патологической анатомии — на лондонской выставке образцов всех прогрессивных партий в Европе, рядом с туземными образцами всех консерватизмов со времен иудейских первосвященников до шотландских пуритан.

Десять лет!

Был досуг всмотреться в эту жизнь, в то, что делалось вокруг; но мое мнение не изменилось с тех пор, как в сорок восьмом году я осмелился, еще с некоторым ужасом, разобрать на лбу этих людей цицероновское «vixerunt!» [26].

С каждым годом я бьюсь более и более об непонимание здешних людей, об их равнодушие ко всем интересам, ко всем истинам, об легкомысленную ветреность их старого ума, об невозможность растолковать им, что рутина не есть безапелляционный критериум и привычка — не доказательство. Иногда я приостанавливаюсь, мне кажется, что худшее время прошло, я стараюсь быть непоследовательным: мне кажется, например, будто сгнетенное слово во Франции вырастает в мысль... я жду, надеюсь... бывает же иногда и исключение... будто что-то брезжит... нет, ничего!

И этого никто не чувствует... на тебя смотрят с какой-то жалостью, как на поврежденного... мне только случилось встречать старых стариков, как-то очень грустно качавших седой головой.

Этим старикам было, видимо, неловко с своими *чужими,* т. е. с сыновьями и внучатами...

...Да, caro mio [27], есть еще в здешней жизни великий тип для поэта,— тип вовсе непочатый... Тот художник, который здесь всмотрится в *дедов* и *внучат,* в *отцов* и *детей* и безбоязненно, беспощадно воплотит их в черную, страшную поэму,— тот будет надгробный лауреат этого мира.

Тип этот — тип Дон-Кихота революции, старика 89 года, доживающего свой век на хлебах своих внучат, разбогатевших французских мещан,— он не раз наводил на меня ужас и тоску.

Ты подумай об нем, и у тебя волос станет дыбом.

Isle of Wight, 20 июля 1862.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

...Фу, какое отвратительное лето: холод, темнота, слякоть, постоянные ветры, нервы раздражены, носовая перепонка тоже, и все это продолжается три месяца, а пред ними были семь предшественников их, по ту сторону вступления в знак Овна!

Наконец-то солнце явилось на безоблачном небе. Море разгладилось и блестит, я сижу у своего окна, в крошечной ферме, и не могу наглядеться,— так давно я не видел солнца и дали. Сегодня даже тепло. Я просто обрадовался, увидя, что природа еще цела; зато пир горой: шмели, пчелы, птицы летают, жужжат, поют, шумят, на дворике фермы кричит во все горло просохнувший петух, и старая собака, забыв лета и общественное положение, лежит на спине, как щенок, задравши ноги вверх, и покачивается из стороны в сторону, с невольным эпикурейским ворчаньем. Людей не видать из моего окна, но полей, но деревьев, но садов — без конца; несмотря на море в стороне, вид этот очень напоминает наши великорусские виды, к тому же пахнет травой и деревьями.

Пора была погоде исправиться, а то я начинал опасаться уж не социального переворота, а геологического; я так и ждал, что вслед за десятимесячной дурной погодой Европа даст трещину и вулканической мерой разрубит гордиев узел современных вопросов, и impass'ов [28], приглашая желающих начать не то что с азбуки, а с Адама II.

Ты в качестве поэта и идеалиста, должно быть, не веришь такой чепухе, а Ламе в качестве одного из величайших математиков нашего времени не того мнения. Ему кажется, что равновесие скучившихся материков очень непрочно и что, взяв к тому же в расчет быстрое движение в одну сторону и кой-какие факты передвижения масс в Исландии, того и смотри, что шар земной даст трещину в Европе. Он даже составил ряд формул, сделал ряд вычислений... Ну да что тебя пугать, до Орловской губернии трещина не дойдет.

Лучше, пользуясь казусно хорошей погодой, потолкуем опять об наших «концах» и «началах», а придет трещина, она сама распорядится.

Дон-Кихот революции не идет у меня из головы. Суровый, трагический тип этот исчезает,— исчезает, как беловежский зубр, как краснокожие индейцы, и нет художника, который бы пометил его черты старые, резкие, носящие на себе следы всех скорбей, всех печалей, идущих из *общих* начал и из веры в человечество и разум. Скоро

черты эти замрут, не сдавшись, с выражением гордого и укоряющего презрения, потом сотрутся, и человеческая память утратит один из высших, предельных типов своих.

Это вершины гор, которыми заключается хребет XVIII столетия, ими он достигает своего предела и замыкается, ими обрывается ряд усилий подняться. Дальше этим вулканическим напором идти нельзя.

Титаны, остающиеся после борьбы, после поражения, при всех своих титанических стремлениях, представителями неудовлетворенных притязаний, делаются из великих людей печальными Дон-Кихотами. История подымается и опускается между пророками и рыцарями печального образа. Римские патриции, республиканцы, стоики первых веков, отшельники, бежавшие в степи от христианства, опошленного в официальную религию, пуритане, наполнившие целое столетие скрежетом зубов за недостижение своего скучного идеала,— все это, оставленное отливом, упорно рвущееся вперед и вязнущее в тине, не поддержанное волною, все это Дон-Кихоты, но Дон-Кихоты, нашедшие своих Сервантесов. Для сподвижников начальной церкви есть томы легенд, есть иконопись и живопись, есть их мозаики, изваяния. Тип пуританизма закреплен в английской литературе, в голландской живописи; а тип Дон-Кихота революции выветривается на наших глазах, становится реже и реже, и никто не думает о том, чтоб по крайней мере снять фотографию.

Фанатики земной религии, фантасты не царства божия, а царства человеческого, они остаются последними часовыми идеала, давно покинутого войском, они мрачно и одиноко стоят полстолетия, бессильные *изменить* и всё ожидающие пришествия республики на земле; грунт возле понижается, понижается — они этого не хотят видеть. Я еще застал несколько из этих апостолов девяностых годов; резкие, печальные, крупные фигуры их, переросшие два поколения, казались мне какими-то угрюмыми и неподвижно разрушающимися по камешку Мемнонами в египетских степях... и у их ног копошились, хлопотали, таскали товары крошечные люди и маленькие верблюды, едва видные из-за урагана пыли.

Смерть давала все больше и больше знать о своем приближении; старый, пожелтелый взгляд становился суровее, уставал от напряжения, высматривая смену, отыскивая, кому сдать честь и место.— Сыну? Старик хмурится.— Внуку? Он махнул рукой. Бедный король Лир в демократии, куда ни обращает он угасающий взгляд свой — к своим, к присным,— везде его встречает непониманье,

безучастье, осужденье, полускрытый упрек, мелкие счеты и мелкие интересы. Его якобинских слов боятся при посторонних, ему просят прощение, указывая на изредевшие седины. Его невестка мучит его примирением с церковью, и иезуитский аббат шныряет по временам, как мимолетный ворон, посмотреть, сколько еще сил и сознания, чтоб поймать его богу в предсмертном бреде [29].

Еще хорошо, если где-нибудь в околотке гражданина Лира есть гражданин Кент, который находит, что «в его лице есть что-то, напоминающее 94 год», какой-нибудь темный сподвижник Сантера, солдат армии Марсо и Гоша, гражданин Спартакюс-Брютюс-жюниор, детски верный своему преданью и гордо держащий лавочку рукой, которой держал пику с фригийской шапкой. Лир зайдет к нему иной раз отвести душу, покачать головой и вспомнить старину с ее огромными надеждами, с ее великими событиями, побранить Талиена и Барраса, Реставрацию с своими cafards [30], короля-лавочника et ce traître de Lamartine [31]. Оба *знают,* что час революции пробьет, что народ проснется, как лев, и снова поднимет фригийскую шапку, и в этом уповании один из них засыпает.

Насупив брови, идет Лир за гробом Спартакюс-Брютюс-жюниора, или Спартакюс-Брютюс-жюниор, не скрывая глубокого отвращения ко всему родству покойного, идет за гробом Лира — и из двух величавых фигур остается одна, и та совершенно лишняя.

«И его нет, и он не дождался! — думает оставшийся старик, возвращаясь с похорон.— Неужели в самом деле изуверство и монархизм, сторона Питта и Кобурга, окончательно взяли верх, неужели вся долгая жизнь, усилия, жертвы... нет, не может быть, истина с нашей стороны, и победа будет с нашей... Разум и справедливость восторжествуют, разумеется сперва во Франции, потом во всем роде человеческом; и „vive la république, une et indivisible!“» [32] — молится старец восьмидесятилетними губами, так, как другой старец, отдавая с миром дух свой господу, шепчет ему: «Да приидет царствие твое»,— и оба спокойно закрывают глаза и не видят, что ни царство небесное на земле, ни единая и нераздельная республика во Франции вовсе не водворяются, и не видят потому, что дух их принял с миром не господь, а разлагающееся тело.

Святые Дон-Кихоты, вам легка земля!

Эти фанатические верования в осуществимость гармонического порядка, общего блаженства, в осуществимость истины, *потому что она истина,* это отрешение от всего частного, личного, эта преданность, переживающая все

испытания, все удары,— это-то и есть *вершина*... Гора окончена, выше, дальше — холодный воздух, мгла, ничего. Опять спускаться! Отчего нельзя продолжать? Отчего Монблан не стоит на Шимборазо и Гималай не продолжает их — какова бы была гора?

Так нет — у каждого геологического катаклизма свой роман, своя поэма гор, свой хребет, свои гранитные, базальтовые личности, подавляющие своим величием низменные бассейны. Памятники планетных революций, они давно обросли лесами и мохом в свидетельство тысячелетнего застоя потом. И наши забежавшие пионеры революции оставили в истории свои Альпы; следы их титанических усилий не прошли и долго не пройдут. Чего же больше?

Да, для истории. Там своя гуртовая, беспощадная оценка; там, как в описании сражений,— движение корпусов, действие артиллерии, напор левого фланга, отступление правого; там свои личности «30-й егерский, а после 45-й» [33]. Далее бюльтен не идет, он довольствуется итогом трупов, а «пятое действие» каждого солдата идет далее, и оно имеет свой совершенно *статский* интерес.

Что вынесли эти люди *последнего* прилива, оставленные отливом в тине и слякоти! Что выстрадали эти *отцы* с своими *детьми,* одинокие в своих семьях больше, чем монахи в своих кельях! Какие страшные столкновения всякого часа, всякого дня!.. Какие минуты устали и отчаяния!

Не странное ли дело, что в длинном ряду «несчастных», вызванных В. Гюго, являются и старики... *а несчастный старик* по преимуществу отодвинут на задний план, пропущен? Гюго едва заметил, что возле мучительного сознания виновности есть другая пытка — мучительное *сознание ненужной правоты своей,* сознание своего бесплодного превосходства над слабостью всего близкого, молодого, переживающего... Великий ритор и поэт, между скорбными существованиями французской жизни, чуть коснулся величайшей скорби в мире — старца, юного душою, окруженного больше и больше мельчающим поколением.

Ну что перед ними и мучительные, но ненужные и чисто субъективные страдания Жан Вальжана, так утомительно подробно рассказанные в романе-омнибусе Гюго? Конечно, сострадать можно всякому несчастию, но не всякому — глубоко сочувствовать. Боль от перелома ноги и боль от перелома жизни вызывают розное участие.

Мы слишком мало французы, чтоб понимать такие идеалы, как Жан Вальжан, и сочувствовать таким героям полиции, как Жавер. Жавер для нас просто отвратителен.

Вероятно, Гюго не думал, чертя эту совершенно национальную фигуру шакала порядка, какое клеймо он выжег на плече своей «прелестной Франции». В Жан Вальжане нам только понятна его внешняя борьба доброго, несчастного зверя, травимого целым гончим обществом. Внутренняя борьба его для нас остается посторонней; этот сильный человек мышцами и волей, в сущности, чрезвычайно слабый человек. Святой каторжник, Илья Муромец из тулонских галер, акробат в пятьдесят лет и влюбленный мальчик чуть не в шестьдесят, он исполнен суеверья. Он верует в клеймо на плече; он верует в приговор; он верует, что он отверженный человек, оттого что тридцать лет тому назад украл хлеб, да и то не для себя. Его добродетель — болезненное раскаяние; его любовь — старческая ревность. Натянутое существование его поднимается до истинно трагического значения только в конце книги, от бездушной ограниченности Козеттина мужа и безграничной неблагодарности ее самой.

И тут Жан Вальжан действительно граничит с нашими стариками — раскаяние одного и правота других смешивается в жгучем страдании. Ртуть термометра, замерзшая в пулю, обжигает, как раскаленная пуля из свинца. Сознание правоты, отхватывающее полсердца, полсуществования, стоит угрызения совести, и еще хуже: тут есть искупление исповеди, вознаграждение, там — ничего. Между стариком девяностых годов, фанатиком, фантастом, идеалистом, и сыном, который *старше* его осторожностью, благоразумием, разочарованием,— сыном, через край удовлетворенным «меньшей линией», и внуком, который, щеголяя в мундире императорского гида, мечтает о том, как бы лукнуть в супрефекты, pour exploiter sa position [34],— нарушено естественное отношение, нарушено равновесие, искажена органическая преемственность поколений.

Жан Вальжан в своей старческой девственности, в своей лирической, личной сосредоточенности сам не знал, чего требовал от молодой жизни. Чего хотел он, в самом деле, от Козетты? Разве она могла быть его подругой? Он в неопытной непочатости своего сердца перешагнул любовь отца... Он исключительно *для себя* хотел любить ее, а так отец не любит. Сверх того, он, всю жизнь внутренно драпируясь в куртку каторжного, сломился под бременем отвращения, которое ему показал ограниченнейший молодой человек — типический представитель пошлеющего поколения.

Я не знаю, что Гюго хотел сделать с Мариюсом, для меня он в своем поколении такой же тип, как Жавер в сво-

ем. В инстинктах этого молодого человека мерцают каким-то отблеском другого дня благородные и горячие порывы, без рассуждения, без корня, почти без смысла — по преданию, по примеру. В нем и закваски XVIII века больше нет — этой неутомимой потребности анализа, критики, этого грозного вызова всего на свете на провер ума; у него и ума нет, но он еще добрый товарищ, пойдет на баррикаду, не зная, что потом; он живет по готовому и, зная à code ouvert [35], *что добро и что зло*, так же мало беспокоится об этом, как человек, знающий достоверно, что скоромное есть грешно в пост. На этом поколении окончательно останавливается и начинает свое отступление революционная эпоха; еще поколение — и нет больше порывов, все принимает обычный порядок, личность стирается, смена экземпляров едва заметна в продолжающемся жизненном обиходе.

Я воображаю, что кое-что подобное было в развитии животных — складывавшийся вид, порываясь свыше сил, отставая ниже возможностей, мало-помалу уравновешивался, умерялся, терял анатомические эксцентричности и физиологические необузданности, приобретая зато плодовитость и начиная из рода в род, из века в век повторять, по образцу и подобию первого остепенившегося праотца, свой обозначенный вид и свою индивидуальность.

Там, где вид сложился, *история* почти прекращается, по крайней мере становится скромнее, развивается исподволь... в том роде, как и планета наша. Дозревши до известного периода охлаждения, она меняет свою кору понемногу: есть наводнения, нет всемирных потопов; есть землетрясения там-сям, нет общего переворота... Виды останавливаются, консолидируются на разных возможностях, больше или меньше, в ту или другую сторону односторонних; они их удовлетворяют, перешагнуть их они почти не могут, а если б и перешагнули, то в смысле той же односторонности. Моллюск не домогается сделаться раком, рак — форелью, Голландия — Швецией... если б можно было предположить животные идеалы; то идеал рака был бы тоже рак, но с более совершенным организмом. Чем ближе страна к своему окончательному состоянию, тем больше она считает себя средоточием просвещения и всех совершенств, как Китай, стоящий без соперников, как Англия и Франция, не сомневающиеся в своем антагонизме, в своем соревновании, в своей взаимной ненависти, что они передовые страны мира. Пока одни успокоиваются на достигнутом, развитие продолжается в несложившихся видах возле, около *готового*, совершившего свой цикл вида.

Везде, где людские муравейники и ульи достигали

относительного удовлетворения и уравновешения, движение вперед делалось тише и тише, фантазии, идеалы потухали. Довольство богатых и сильных подавляло стремление бедных и слабых. Религия являлась всехскорбящей утешительницей. Все, что сосало душу, по чем страдал человек, все, что беспокоило и оставалось неудовлетворенным на земле,— все разрешалось, удовлетворялось в вечном царстве Ормузда, превыше Гималая, у подножия престола Иеговы. И чем безропотнее выносили люди временные несчастия земной жизни, тем полнее было небесное примирение, и притом не на короткий срок, а во веки веков.

Жаль, что мы мало знаем внутреннюю повесть азиатских народов, вышедших из истории, мало знаем те периоды без событий, которые предшествовали у них насильственному вторжению диких племен, все избивавших, или хищной цивилизации, все искоренявшей и перестроивавшей. Она нам показала бы в элементарных и простых формах, в тех пластических, библейских образцах, которые создает один Восток, выход народа из исторического треволнения в покойное statu quo жизни, продолжающейся в бесспорной смене поколений — зимы, весны, весны, лета...

Тихим, невозмущаемым шагом идет Англия к этому покою, к незыблемости форм, понятий, верований. На днях «Теймс» поздравлял ее с отсутствием интереса в парламентских прениях, с безропотностью, с которой работники умирают с голоду, «в то время как еще так недавно их отцы, современники О'Коннора», потрясали страну своим грозным ропотом. Прочно, как вековый дуб, стоит, глубоко пустивши корни, англиканская церковь, милосердо допуская все расколы и уверенная, что все они далеко не уйдут. Упираясь по старой памяти и кобенясь, низвергается Франция задом наперед, чтоб придать себе вид прогресса. За этими колоссами пойдут и остальные двумя колоннами, некогда пророчески соединенными под одним скипетром... С одной стороны, худой, суровый, постный тип испанца, задумчивого без мысли, энтузиаста без цели, озабоченного без причины, принимающего всякое дело к сердцу и не умеющего ничему помочь,— словом, тип настоящего Дон-Кихота Ламанчского. С другой — дородный тип голландца, довольного, когда он сыт, напоминающий Санчо-Пансу.

Не оттого ли здесь дети *старше* своих отцов, старше своих дедов и могут их назвать à la Dumas jun. «блудными отцами» [36], что старость-то и есть главная характеристика теперь живущего поколения? По крайней мере, куда я ни

смотрю, я везде вижу седые волосы, морщины, сгорбившиеся спины, завещания, итоги, выносы, *концы* и все ищу, ищу *начал*,— они только в теории и отвлечениях.

10 августа 1862 г.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Прошлым летом приезжает ко мне в Девоншир один приятель, саратовский помещик и большой фурьерист.

Сделай одолжение, не сердись на меня, т. е. это не помещик мне сказал, а я тебе говорю, за то, что я беспрестанно сворачиваю с дороги. Вводные места — мое счастие и несчастие. Один француз, литератор времен Реставрации, классик и пурист, не раз говаривал мне, продолжительно и академически нюхая табак (так, как скоро перестанут нюхать): «Notre ami abuse de la parenthèse avec intempérance!» [37] Я за отступления и за скобки всего больше люблю форму писем — и именно писем к друзьям,— можно не стесняясь писать что в голову придет.

Ну, вот мой саратовский фурьерист в Девоншире и говорит мне:

— Знаете ли, какая странность? Я теперь был первый раз в Париже, ну — конечно... что и говорить, а если разобрать поглубже, в Париже скучно... право, скучно!

— Что вы? — говорю я ему.

— Ей-богу.

— Впрочем, отчего же вы думали, что там весело?

— Помилуйте, после саратовских степей.

— Может, именно поэтому. А впрочем, не оттого ли вам было в Париже скучно, что там чересчур весело?

— Вы по-прежнему все дурачитесь.

— Совсем нет. Лондон, смотрящий сентябрем, нам больше по душе; впрочем, и здесь скука страшная.

— Где же лучше? Видно, по старой поговорке: *где нас нет!*

— Не знаю; а думать надобно, что и там не очень хорошо.

...Разговор этот, кажется, не то чтоб длинный или особенно важный, расшевелил во мне ряд старых мыслей о том, что в мозгу современного человека недостает какого-то рыбьего клея; оттого он не отстаивается и мутен от гущи: новые теории — старые практики, новые практики — старые теории.

И что за логика? Я говорю, что в Париже и Лондоне скучно, а он мне отвечает: «Где же лучше?», не замечая

вовсе, что эту диалектику употребляли у нас дворовые люди прежнего покроя; они обыкновенно на замечание: «Да ты, братец, кажется, пьян?» — отвечали: «А разве вы подносили?»

На чем основана мысль, что людям где-нибудь хорошо? может, должно быть хорошо? и каким людям? и чем хорошо? Положим, что людям в одном месте лучше жить, чем в другом. Почему же Париж и Лондон — пределы этого «лучше»?

Разве по гиду Рейхардта?

Париж и Лондон замыкают том всемирной истории,— том, у которого едва остаются несколько неразрезанных листов. Люди, старающиеся из всех сил *скорее* перевернуть их, дивятся, что — по мере приближения к концу — в прошедшем больше, чем в настоящем, и досадуют, что два полнейшие представителя *западного мира садятся с ним вместе.*

В общих разговорах, носящихся, как некогда дух божий над водами,— удаль и отвага страшные, а как дойдет не только до дела, а до критической оценки событий — все забыто, и старые весы, и старые аршины вытаскиваются из бабушкиной кладовой.

— Обветшалые формы только и могут спастись — совершенным перерождением; Запад должен возродиться, как феникс, в огненном крещении.

— Ну, так с богом в полымя его.

— А как он не возродится... а опалит свои красивые перья или, пожалуй, сгорит?

— В таком случае продолжайте его крестить *водой* и не скучайте в Париже. Вот мой отец, например: он жил лет восемь в Париже и никогда не скучал; он через тридцать лет любил рассказывать о праздниках, которые давали маршалы и сам Наполеон, об ужинах в Palais Royal, на которых являлись актрисы и оперные танцовщицы, украшенные брильянтами, выковырянными из побежденных корон; об Юсуповых, Тюфякиных и других princes russes [38], положивших там больше крестьянских душ, чем их легло под Бородином. С разными переменами и un peu plus canaille [39], то же существует и теперь. Маршалы *биржи* дают праздники не хуже боевых маршалов, ужины с улицы St.-Honoré переехали на Елисейские Поля, в Булонский лес... Но вы человек серьезный — больше любите смотреть за кулисы всемирной истории, чем за кулисы оперы... вот вам парламент, и два,— чего же вам больше?.. С какой завистью и болью слушал я, бывало, людей, приезжавших из Европы в тридцатых годах,— точно будто у меня отняли

все то, что они видели... а я не видал. Они тоже не скучали, а много надеялись — кто на Одилона Барро, кто на Кобдена. Умейте же и вы не скучать... и во всяком случае будьте сколько-нибудь последовательны; и, если вам все-таки скучно, ищите причину. Может, найдете, что вы требуете пустяков, тогда лечитесь; это скука праздности, пустоты, неуменья найтиться. А может, вы найдете другое — что вам оттого скучно, что на стремления, больше и больше растущие в сердце и мозгу современного человека, Париж и Лондон не имеют ответа, что́ вовсе не мешает им представлять высшее развитие и блестящий результат былого, богатые концы богатого периода.

Я это говорил десять раз. Но без повторений обойтись невозможно. Люди привычные знают это. Я как-то сказал Прудону о том, что в его журнале часто помещаются почти одинакие статьи, с небольшими вариациями.

— А вы воображаете,— отвечал мне Прудон,— что раз сказали, так и довольно, что новая мысль так вот и примется сразу. Вы ошибаетесь: долбить надобно, повторять надобно, беспрерывно повторять — чтоб мысль не только не удивляла больше, не только была бы понята, а усвоилась бы, получила бы действительные права гражданства в мозгу.

Прудон был совершенно прав. Есть две-три мысли, особенно дорогие для меня, я их повторяю около пятнадцати лет; факт за фактом подтверждает их с ненужной роскошью. Часть ожидаемого совершилась; другая совершается перед нашими глазами. А они так же дики, неупотребительны, как были.

И что всего обиднее — люди будто понимают вас, соглашаются, но мысли ваши остаются в их голове чужими, не идущими к делу, не становятся той непосредственностью сознания и нравственного быта, которая вообще лежит в бесспорной основе наших мнений и поступков.

От этого двойства люди, по-видимому очень развитые, беспрестанно поражены неожиданным, взяты врасплох, возмущаются против неминуемого, борются с неотразимым, идут мимо нарождающегося и лечат всеми аллопатиями и гомеопатиями дышащих на ладан. Они знают, что их часы были хорошо поставлены, но, как «неоплаканный» Клейнмихель [40], не могут понять, что меридиан не тот.

Доктринерство, схоластика мешают пониманью, простому, живому пониманью больше, чем изуверство и невежество. Тут остались инстинкты мало сознанные, но верные; сверх того, невежество не исключает страстного

увлеченья, изуверство — непоследовательности, а доктрина верна себе.

Во время итальянской войны один добрый, почтенный профессор читал своим слушателям о великих успехах международного права; о том, как некогда крупно набросанные основания Гуго Гроция, развиваясь, внедрились в народное и правительственное сознание; о том, как вопросы, которые прежде разрешались реками крови, несчастиями целых провинций, целых поколений, разрешаются теперь, как гражданские вопросы между частными людьми, на началах международной совести.

Кто же, кроме каких-нибудь старых кондотьеров по ремеслу, не будет согласен с доцентом, что это одна из величайших побед гуманности и образования над дикой силой? Беда не в том, что суждение доцента несправедливо, а в том, что человечество этой победы вовсе не одерживало.

Когда профессор красноречивой речью увлекал юношей в эти созерцания мира, на полях Мадженты и Сольферино делались другие комментарии на международное право [41]. Итальянская война тем меньше могла быть устранена какими-нибудь амфиктионовыми судами [42], что на нее никакой международной причины не было, так как не было спорного предмета. Войну эту Наполеон вел с медицинской точки зрения, чтоб угомонить французов гимнастикой освобождения и потрясениями побед. Какой же Гроций и Вателъ могли бы разрешить такую задачу? Как же было возможно отстранить войну, которая была необходима для внутренних интересов? Не австрийцев, так кого-нибудь другого надобно было бить французам; остается радоваться, что именно австрийцы подвернулись.

Далее — Индия, Пекин, война демократов за рабство черных, война республиканцев за рабство государственной нераздельности [43]. А профессор продолжает свое, слушатели тронуты, им кажется, что слышен последний скрып церковных ворот в Янусовом соборе, что воины сложили оружия, надели миртовые венки и взяли прялки в руки, что армии распущены и возделывают поля... И все это в то самое время, когда Англия покрывалась волонтерами, что ни шаг — мундир, что ни лавочник — ружье, французское и австрийское войско стояло с зажженными фитилями и сам принц, кажется, гессен-кассельский, поставил на военную ногу и вооружил револьверами двух гусар, мирно и безоружно ездивших за его каретой со времени Венского конгресса.

Вспыхни опять война,— а это зависело от тысячи

случайностей, от одного выстрела кстати, в Риме, на границе Ломбардии,— она разлилась бы кровавым морем от Варшавы до Лондона. Профессор удивился бы, профессор огорчился бы. А, «кажись, не подобает» [44] ни удивляться, ни огорчаться — история делается не за углом! Беда доктринеров в том, что они, как наш Дидро, споря, закрывают глаза, чтоб не видать — противник хочет возражать; а противник-то их — сама природа, сама история.

В дополнение конфузии не следует терять из виду, что *отвлеченно-логически* профессор прав и что, если б не сто человек, а сто миллионов человек понимали Гроция и Ваттеля, так они и не стали бы резать друг друга ни для моциона, ни из клочка земли. Да несчастье-то в том, что при нынешнем государственном устройстве могут понимать Гроция и Ваттеля сто человек, а не сто миллионов. Оттого-то ни лекции, ни проповеди не действуют, оттого-то ни отцы-доктринеры, ни духовные отцы не могут принесть нам облегчения; монахи науки, так же как и монахи невежества, не знают ничего вне стен своих монастырей, не поверяют своей теории, своих выводов по событиям, и тогда как люди гибнут от извержения волкана, они с наслаждением бьют такт, слушая музыку небесных сфер и дивясь ее гармонии.

Бакон Веруламский давным-давно уже разделил ученых на *пауков* и *пчел* [45]. Есть эпохи, в которых пауки решительно берут верх, и тогда развивается бездна паутины — но мало собирается меду. Есть условия жизни, особенно способствующие паукам. Для меда надобны липовые рощи, цветистые поля и пуще всего крылья и общежительный образ мысли. Для паутины достаточен тихий угол, невозмущаемый досуг, много пыли и безучастие ко всему вне внутреннего процесса.

В обыкновенное время по пыльной гладкой дороге еще можно плестись, дремля и не обрывая паутины, но чуть пошло через кочки да целиком — беда.

Была истинно добрая, покойная полоса европейской истории, начавшаяся с Ватерлоо и продолжавшаяся до 1848 года. Войны тогда не было, а международного права и постоянного войска — очень много. Правительства поощряли явно «истинное просвещение» и давили в тиши — *ложное;* не было большой свободы, но не было и большого рабства, даже деспоты все были добродушные, вроде патриархального Франца II, пиетиста Фридриха-Вильгельма и аракчеевского Александра; неаполитанский король и Николай были вроде десерта. Промышленность процветала, торговля процветала еще больше, фабрики работали, книг

писалась бездна, это был золотой век для всех паутин,— в академических аулах и в кабинетах ученых сплелись ткани бесконечные!..

История, уголовное и гражданское право, право международное и сама религия — все было возведено в область чистого знания и падало оттуда самыми кружевными бахромами паутины. Пауки качались привольно на своих ниточках, никогда не касаясь земли. Что, впрочем, было очень хорошо, потому что по земле ползали другие насекомые, представлявшие великую идею государства в *момент самозащищения* и сажавшие слишком смелых пауков в Шпандау и другие крепости. Доктринеры всё понимали как нельзя лучше à vol d'araignée [46]. Прогресс человечества тогда был известен как высочайший маршрут инкогнито — этап в этап, на станциях готовили лошадей. А тут 24 *февраля*, 24, 25, 26 *июня*, 2 *декабря!*

Эти мухи были не по паутине.

Сравнительно слабый толчок Июльской революции — и тот убил наповал таких гигантов, как Нибур и Гегель. А еще торжество-то было в пользу доктринаризма — журналистика, Collège de France, политическая экономия садились на первые ступени трона вместе с орлеанской династией. Оставшиеся в живых отправились и кой-как сладили с 1830 годом; они сладили бы, вероятно, и с республикой трубадура Ламартина.

Но как совладать с Июньскими днями?

Как со вторым декабрем?

Конечно, Гервинус поучает, что за демократическим переворотом *следует* эпоха централизации и деспотизма, но все что-то было неладно. Одни начали поговаривать, не воротиться ли в средние века, другие — просто-напросто в католицизм; столпники революции указывали неподвижной рукой по всей железной дороге века — на 93 год, иудеи доктринаризма продолжали, вопреки фактам, свои лекции, ожидая, что человечество побалует да и воротится к Соломонову храму премудрости.

Прошло десять лет.

Ничего не удалось. Англия не сделалась католической, как хотел Донозо Кортес [47], XIX век не сделался XIII, по желанию некоторых немцев; народы решительно не хотят ни французского братства (или смерть), ни международного права по Peace Society [48], почтенного убожества по Прудону, ни киргизской диеты — меда и млека...

А *католики* несут свое...

Средневековики — свое...

Столпники 93 года — свое...

И все *доктринеры* — свое...

— Куда же человечество идет, если оно пренебрегает такими авторитетами?

— Может, оно само не знает.

— Да мы за него должны знать.

— Видно, не туда, куда мы думали. Оно и в самом деле трудно знать, куда попадешь, ехавши на шаре, который несколько месяцев тому назад чуть не угодил под комету, а не нынче — завтра даст трещину, как я тебе сообщал в прошлом письме.

1 сентября 1862

КОНЦЫ!.. КОНЦЫ!..

(ПОСТСКРИПТУМ К ЧЕТВЕРТОМУ ПИСЬМУ)

...La foresta dorme; il leone è ferito!.. [49]

«Il Diritto», 8 Septembre 1862.

...Да, любезный друг, трудно знать, куда попадешь, ехавши на земном шаре, не только потому, что комета за спиной, а под ногами возможная трещина, а потому, что мы несемся в одном поезде с странными товарищами и не можем ни выйти на полдороге, ни остановиться, ни направить путь... захватило и несет. Ты, верно, помнишь ту итальянскую оперу, в которой представляется внутренний двор сумасшедшего дома; кругом запертые двери с окошечками, никого нет и все тихо, но при появлении героя оперы, при звуках его песни, во всех окошечках являются обезображенные больные и поют свой дикий хохот. На этот раз все знакомые лица в окошечках: Кошут, Клапка, молодые итальянские генералы, сам король — *честный* человек.

Концы!.. концы!..

И *Вечный город* опять выдвигается более черной массой из своего мрака. К этому обвалившемуся столбу, покрытому плесенью и мохом двух миров, все еще привязаны судьбы Запада и не могут оторваться никакой средобежной силой. Битый всеми бурями, полуразрушенный, отслужив свою службу Юпитеру и Христу, он пережил их. Идут века, никто о нем не думает, но доходит вопрос до наследства, до *начал* — и вдруг тянет с того конца, и люди невольно вспоминают, что старик на Тибре еще жив и духовную не отдавал; так и хочется его спросить, как Франц Моор спрашивал своего отца: «Что он, не в самом ли деле вечно хочет жить?» [50] Умел же он раз, одряхлевши от побед, сбросить

с себя и лавровый венок, и цезарскую мантию для того, чтоб постричься в монахи и начать новую жизнь? Умел же он отказаться от всех благ земных для удержания власти?.. умел же раз связать *концы с началами?..*

...На днях * я простился с Маццини. Тяжело было это прощанье. В успех его дела я не верил, да и он сам не вполне верил... идти назад, остановиться *им обоим* было поздно [51]. Черед был за ними; два последних поэтических образа, две величавые тени высшей *вершины* революционного хребта должны были исчезнуть в рдеющем блеске горного заката. Два последних Дон-Кихота революции **— они безумно бросили перчатку целой части света, с верой в правое дело. С кучкой друзей они пошли на бой против военных поселений, называемых Францией, против армии, называемой Австрией, против французского департамента, называемого Италией,— безумно протестуя, во имя *родины и человеческого достоинства*, против штыков и военной дисциплины.

Седой, бледный, худой до прозрачности, сидел передо мной Маццини (месяца два тому назад он был при смерти, болен); лицо его выражало скорбь и заботу, и только глаза старого орла светились прежней несокрушимой энергией. Я смотрел на него с бесконечной грустью, и мне пришло в голову обратное приветствие гладиаторов: «Идущим на гибель остающиеся в живых кланяются!» Догадываясь, что происходило во мне, он отвечал мне на мое молчание:

— Да, может, мы и погибнем! Но Италия не вынесет нашей гибели!

А мне казалось — *вынесет;* только я ему не сказал этого.

Через четыре дня *все было кончено* [52].

На этот раз нельзя жаловаться, чтоб мы долго ждали развязки.

И словно что-то оторвалось в сердце.

Прощайте, великие безумцы; прощайте, святые Дон-Кихоты!.. Много мечтаний, дорогих человеку, в которые он верил, вопреки уму, садятся с вами за небосклон, вы много унесете с собой; беднее будет жизнь без вас... пошлее... пока прозябнут новые идеалы новой весны... Вас помянут тогда; будущий Дант стихом, будущий Бонарроти резцом изваяют раненого льва под деревом, народного вождя, пораженного единоплеменной пулей в горах дикой Калабрии, и худого

* 25 или 26 августа.

** Просим вспомнить значение, которое мы дали этому слову в третьем письме. Дон-Кихот — один из самых трагических типов людей, переживающих свой идеал.

старика, изгнанника, сходящего с Альп в обетованную родину, не зная, что все кончено.

Задумается какой-нибудь северный Фортинбрас над этой группой, над этой повестью Горацио и, с раздумьем вздохнувши, пойдет в дубравную родину свою — на Волгу, к *своему* земскому делу.

Но при жизни побежденным вождям нечего ждать, да им нечего больше и жить. Они знают, *чья взяла;* они знают своих победителей; тут не может быть подозрения в ширипониманья,— они везде встретят ликующую улыбку полицейских патриотов, подло-разумные рассуждения мещан (которые теперь уж могут вкусить в «Теймсе») и строгий приговор управы благочиния над *всемирной историей;* поверженных львов не только лягнет всякое копыто, их будет жалить всякая пчела, которая в своем улье будет перепечатывать трутням, что «*закон* ко всему глух», что «для него *такие* люди ни более, ни менее, как бунтовщики» [53] *. Итак, умрите, господа!

А жаль, жаль их — этих благородных прошедших!

...Человек ужасно непоследователен — сидит у изголовья умирающего, видит, как его силы падают, как дыханья недостает, как он весь слабеет, а все-таки рыдает у его гроба, как будто он не ждал его смерти.

И будем непоследовательны...

7 сентября 1862

ПИСЬМО ПЯТОЕ

«...В первые времена моей юности меня поразил один французский роман, „Arminius“ [54], которого я впоследствии не встречал; может, он и не имеет больших достоинств, но тогда он на меня сильно подействовал, и я помню главные черты его до сих пор.

Все мы, больше или меньше, знаем встречу и столкновение двух исторических миров в первые века: одного — классического, образованного, но растленного и отжившего, другого — дикого, как зверь лесной, но полного непочатых сил и хаотических стремлений,— только знаем мы по большей части одну официальную, *газетную* сторону их столкновения, а не ту, которая совершалась по мелочи, в тиши домашней жизни. Мы знаем гуртовые события, а не частные судьбы; не драмы, в которых без шума ломались жизни и гибли в личных столкновениях, кровь заменялась

* Какая тупая бестия должен быть этот закон!

горькими слезами, опустошенные города — разрушенными семьями и забытыми могилами.

Автор „Arminius'a" попытался воспроизвести эту встречу двух миров у семейного очага: одного, идущего из леса в историю, другого — из истории в гроб. Всемирная история тут граничит со сплетнями и потому становится ближе к нам, доступнее, соизмеримее *.

Не приходило мне тогда в мысль, что я сам попаду в такое же столкновение, что и в моей жизни развернется, со всей губящей силой своей, подобное столкновение, что и мой очаг опустеет, раздавленный при встрече двух мировых колес истории...

В нашем отношении к европейцам, при всем несходстве, которое я очень хорошо знаю, есть сходные черты с отношением германцев к римлянам. Несмотря на нашу наружность, мы все же варвары. Наша цивилизация накожна, разврат груб, из-под пудры колет щетина, из-под белил пробивается загар. У нас бездна лукавства диких и уклончивости рабов. Мы готовы дать плюху без разбора и повалиться в ноги без вины, но... но я упорно повторяю — мы отстали в разъедающей, наследственно зараженной тонкости западного растления.

У нас умственное развитие служит (по крайней мере служило до сих пор **) чистилищем и порукой. Исключения чрезвычайно редки. Образование у нас кладет предел, за который много гнусного не ходит, на этом основании во все николаевское время правительство не могло составить ни тайной полиции, ни полицейской литературы вроде французских.

На Западе это не так. И вот почему русские мечтатели, вырвавшись на волю, отдаются в руки всякому человеку, касающемуся с сочувствием святынь их, понимающему их заповедные мысли,— забывая, что для него эти святыни давно перешли в обычную фразу, в форму, что большей частию он их повторяет, пожалуй, и добросовестно, но в том роде, в котором поп, думая вовсе о другом, благословляет встречного. Мы забываем, сколько других стихий напутано в сложной, усталой, болезненно пробившейся душе западного человека; сколько он уже источен, изношен завистью, нуждой, тщеславием, самолюбием и в какой страшный эпикуреизм высшего, болезненно-нервного порядка

---

* Я был до того увлечен «Арминием», что написал ряд подобных сцен, и их критически разбирал при мне в следственной комиссии (в 1834 г.) обер-полицмейстер Цынский.

** Всё это писано в 1855 году!

перегнулись перенесенные им унижение, нищета и горячечный бой соревнования.

Мы все это узнаем, когда удар нанесен; нас это ошеломляет. Мы чувствуем себя одураченными и хотим отомстить. Глядя на это, иногда мне кажется, что много прольется крови из-за столкновения этих двух разных развитий...»

Строки эти были писаны несколько лет тому назад *.

Я и теперь того же мнения, несмотря на то, что русские пользуются в Европе репутацией самых развратных людей. Это происходит от бесцеремонности нашего поведения и от помещичьих ухваток. Мы уверили весь свет в нашей порочности, так как англичане его уверили в своих семейных добродетелях. На самом деле ни то, ни другое — не очень глубоко. Русские за границей не только беспорядочно живут, но хвастаются своими дикими и распущенными привычками. По несчастью встречаясь, при самом переезде границы, с неловкой и подобострастной родиной кельнеров и гофратов, русские, как вообще недовоспитанные люди, перестают стесняться, распускаются еще больше и в этом задорном состоянии приезжают в Париж и Лондон. Мне случалось много раз замечать, как русские бросаются в глаза совершенными мелочами, а потом поддерживают первое впечатление какой-то вызывающей nargue [55], с которой они (великие мастера покорности и вытяжки дома!) не хотят покориться принятым обычаям. Русского узнают в больших отелях, потому что он кричит в общей зале, хохочет во все горло и непременно протестует, что нельзя курить в столовой. Вся эта заносчивость официанта, вышедшего за вороты господского дома, показывает гораздо больше недозрелости, непривычки к воле, чем глубокой испорченности; с этой нравственной «сыростью» неразрывно хвастовство. Нам хочется, как четырнадцатилетним мальчикам, не только напиться, но и показать всему свету: «Вот, мол, как я нализался». А весь свет рассуждает иначе: он, глядя на *то,* что́ русские обнажают, думает, качая головой,— что же после этого скрыто-то у них? А там — ничего, как в ранце солдатском на параде, только вид, что туго набито.

Долгая цивилизация, перешедшая поколения и поколения, получает особый букет, который *разом* не возьмешь, в этом судьба людей схожа с судьбою рейнвейна. Выработанной пристойностью особенно увлекаться нечего, хотя ходить по ней, как по выметенной дорожке, гораздо при-

* Из ненапечатанной части «Былого и дум».

ятнее. Мы, нельзя не признаться, дурно выметены — и грязи много, и жестких камней довольно.

Дрессура наша в образование свежа в памяти: она делалась через пень колоду, в том роде, как крестьянина, взятого во двор, стригут в немца и заставляют *служить*. Отрекаясь по высочайшему повелению от всего склада жизни народной, дворянство упорно сохранило все дурные ее стороны; бросая за борт вместе с предрассудками строгий чин и строй народного быта, оно осталось при всех грубо барских привычках и при всем татарском неуважении к себе и к другим. Тесная обычная нравственность прежнего времени не заменилась ни аристократическим понятием чести, ни гражданским понятием доблести, самобытности; оно заменилось гораздо проще немецкой казарменной дисциплиной *во фрунте*, подлым уничижением, подобострастным клиентизмом в *канцелярии* и ничем *вне службы*.

Вне службы дворянин превращался из битого денщика в бьющего Петра I; в деревне ему было полное раздолье, тут сам он становился капралом, императором, вельможей и отцом вотчины. Из этой жизни волка и просветителя вместе вышли все колоссальные уродства — от Бироновых заплечных мастеров и Потемкиных большого размера до Биронов-палачей и Потемкиных в микрометрическом сокращении; от Измайлова, секущего исправников, до Ноздрева с оборванной бакенбардой; от Аракчеева всея России до батальонных и ротных Аракчеевых, *заколачивающих* в гроб солдата; от взяточников первых трех классов до голодной стаи пернатых, *записывающих* бедных мужиков в могилу,— со всеми неистощимыми вариациями пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников. В их числе тамсям изредка попадался помещик, сделавшийся иностранцем для того, чтоб остаться человеком, или «прекрасная душа» Манилов, горлица-дворянин, воркующий в господском доме близ исправительной конюшни.

Казалось бы, что могло зародиться, вырасти, окрепнуть путного на этих грядах между Аракчеевыми и Маниловыми? Что воспитаться этими матерями, бившими лбы, резавшими косы, колотившими прислугу, этими отцами, подобострастными перед всеми высшими, дикими тиранами со всем низшим? А именно между ними развились люди 14 декабря, фаланга героев, вскормленная, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Оно им пошло впрок! Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную

гибель, чтоб разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия. Но кто же их-то душу выжег огнем очищения, что за *непочатая сила* отреклась в них-то самих от *своей* грязи, от наносного гноя и сделал их мучениками будущего?..

Она была в них — для меня этого довольно теперь, я помечаю это и возвращаюсь к тому, что сказал: кабацкая оргия нашего разврата имеет характер какого-то неустоявшегося, неуравновесившегося брожения и беснований; это горячка опьянения, захватившая целое сословие, сорвавшееся с пути, без серьезного плана и цели,— но она не имеет еще той в глубь уходящей, той из глуби подымающейся, тонкой, нервной, *умной,* роковой безнравственности, которыми разлагаются, страдают, умирают образованные слои западной жизни.

Но как же это случилось? Что за нравственный самум подул на образованный мир?.. Все прогресс да прогресс, свободные учреждения, железные дороги, реформы, телеграфы?..

Много хорошего делается, много хорошего накапливается, а самум-то дует себе да дует, какими-то memento mori, постоянно усиливаясь и сметая перед собой все, что на пути. Сердиться за это так же нечего, как сердиться на белок за то, что они линяют, на море за то, что после прилива (и, как на смех, в самую лучшую минуту его) начинается отлив. К этому колебанью, к этому ритму всего сущего, к этой смене дня ночью пора привыкнуть.

Эпоха *линянья,* в которой мы застали западный мир, самая трудная; новая шкура едва показывается, а старая окостенела, как у носорога,— там трещина, тут трещина, но en gros [56] она держится крепко и приросла глубоко. Это положение между двух шкур необычайно тяжело. Все сильное страдает, все слабое, выбивавшееся на поверхность, портится; процесс обновления неразрывно идет с процессом гниения, и который возьмет верх — неизвестно.

Дай мне объяснить мою мысль в следующем письме. Может, я и успею тебе доказать, что это не manière de dire [57], не субъективное негодование (трудно, в самом деле, иметь личность с всемирной историей), а несколько черт, подмеченных глазами, свободными от куриной слепоты школьного доктринаризма и от темной воды мистицизма.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

Мы остановились на том, что не надобно сердиться на белок за то, что они линяют, и за то, что всякий год зима следует за летом. Признание неотвратимого — сила. Только зная морские токи и постоянно сменяющиеся экваториальные ветры, без желания их исправлять, и можно плавать по океану.

Вглядись, как вообще дела делаются в природе. В каждой формации, в образовании каждого вида развитие идет на тех началах, с которыми определилось зачатие. Оно укрепляется, обособляется, получает больше или меньше безвозвратный характер от взаимного действия развивающихся начал и среды. Новые элементы могут превзойти, новые условия могут изменить направление, могут остановить начатое и заменить его совсем иным; но определившееся развитие, если оно не утратит своей индивидуальности, если оно продолжится, пойдет далее непременно с своей *особенностью,* развивая свою *односторонность* и односторонность своей среды, т. е. свой *частный случай.* Это нисколько не мешает соседям по пространству или по времени развивать всевозможные вариации на ту же тему, с разными восполнениями и недостатками, с своими односторонностями, сообразными другим условиям и другой среде. Только при начале образования видов есть неопределенная и бесхарактерная эпоха,— эпоха, так сказать, дозоологического состояния в яйце и зародыше.

О перерождении животных видов мы очень мало знаем. Вся *история* их вообще совершилась за спиной человека и в огромные периоды лет, в которых не было *свидетеля.* Перед нами стоят теперь оконченные, оседлые типы, до того далекие друг от друга, что всякий переход между ними невозможен. За каждым животным просвечивает длинная история — стремлений, прогресса, avortement [58] и уравновешения, в котором формы его успокоились наконец, не выполнив смутного идеала своего, но остановившись на возможном, на русском «живет и так».

Само собою разумеется, что естественные явления не имеют ни в чем ни резких границ, ни безвозвратных приговоров. Приостановившееся творчество, сведенное на одно повторение, может всегда быть разбужено; оно в некоторых случаях перешло из-под влияний планетных под влияние человека; он своей культурой развил растительные и животные виды, которые сами собою не развились бы.

Все это бросает огромный свет на вопросы, нас занимающие.

История представляет нам *на самом деле* схваченную, неосевшую, оседающую формацию, хранящую в памяти своей главные фазы развития и их переливы. Одни части рода человеческого достигли соответствующей формы и победили, так сказать, историю; другие в разгаре деятельности и борьбы творят ее; третьи, как недавно обсохнувшее дно моря, готовы для всяких семян, для всяких посевов и всем дают неистощенную, тучную почву.

Так, как нельзя сказать, глядя на тихое море, что оно через час не будет вовлечено в бурю,— так нельзя положительно утверждать, что Китай, например, или Япония будут продолжать века и века свою отчужденную, замкнутую, остановившуюся форму бытия. Почем знать, что какое-нибудь слово не падет каплей дрожжей в эти сонные миллионы и не поднимет их к новой жизни? Но если мы не имеем права безусловного, непреложного заключения, то из этого никак не следует, чтоб, всматриваясь и наблюдая, мы не имели права делать никаких заключений. Рыбак, глядящий на безоблачное небо во время безветрия, почти наверное будет прав, предполагая, что *через час* не будет бури.

Я только этого права и добиваюсь в рассматривании современной истории. Для меня очевидно, что западный мир доразвился до каких-то границ... и в последний час у него недостает духу ни перейти их, ни довольствоваться приобретенным. Тягость современного состояния основана на том, *что на сию минуту* деятельное меньшинство не чувствует себя в силах ни создать формы быта, соответствующего новой мысли, ни отказаться от старых идеалов, ни откровенно принять выработавшееся по дороге *мещанское государство* за такую соответствующую форму жизни германо-романских народов, как соответственна китайская форма — Китаю.

Мучительное состояние, колебанье и нерешительность делают жизнь Европы невыносимой. Успокоится ли она, отбрасывая предрассудки прошлого и упованья на будущее, или беспокойный дух западных *вершин* и *низов* смоет новые плотины — я не знаю; но во всяком случае считаю современное состояние каким-то временем истомы и агонии. Нельзя жить между двумя идеалами.

Один пример, со всеми подробностями, дает нам история.

Длинный процесс окончания древнего мира и водворения мира христианского представляют на все формы исторической смерти, переселения душ и рождения. Целые государства остановились, вышли из движения, не взошли

в христианскую формацию, одряхлели и разрушились. Дикие племена, едва собранные в правильные стада, сложились рядом с ними в новые, сильные государственные организмы... а Рим, древний город по превосходству, переродился в город по превосходству католический.

Те, которые отрицают внутреннюю необходимость смерти древнего Рима и находят, что он убит насильственно, забывают одно — что всякая смерть насильственна. Смерть вовсе не лежит в понятии живого организма, она вне его, за его пределом. Старчество и болезнь протестуют своими страданиями против смерти, а не зовут ее, и, найди они *в себе силы* или *вне себя* средства, они победили бы смерть.

Варвары — варварами, но не надобно думать, что вся болезнь античного мира была от побоев. Мысль его, с тацитовских времен, явным образом становилась мрачной, усталой. Тягость, тоска доходили до самоубийства, до того, что весь мир чуть не сошел с ума и действительно повредился, поверив самой несбыточной теодицее и самому неестественному спасению, приняв отчаяние за утешение и религию смерти — за новую жизнь. Люди, которые не могли сойти с ума, удалялись с общей сатурналии похорон,— похорон в розовых венках, с амфорами вин, похорон в венках терновых, с плачем о грехах мира сего,— и удалялись с них двумя небольшими дверями стоицизма и скептицизма.

Возле людей, презиравших смерть, возле людей, не веривших жизни, возле фанатиков, шедших на разрушение древней веси до последнего камня, и фанатиков, ожидавших, что древняя весь возникнет с допуническими добродетелями, была *томпаковая* посредственность, толпа не слепых и не зрячих, толпа миопов, которые за недосугом ежедневных забот, за военными новостями, за сенатскими делами, придворными сплетнями, схоластической меледой и бесконечной задачей домашнего хозяйства ничего не видали: ни Катилину, ни смерти; пожимали плечами, слушая бред христианских якобинцев, презирали варваров и смеялись над их неотесанностью, не догадываясь, что эти лесные готтентоты, белобрысые и длинноволосые, идут на историческую смену.

Отслужили и варвары свою службу, отстояли свои часы; страшно богатая и широкая эпоха развилась ими, но и они дошли до пределов *своего* образования — им приходится отречься от основных начал своих или в них успокоиться.

Миру современной цивилизации очень трудно сладить с новыми началами, мучащими его. Что можно было попра-

вить — поправлено, что переворотить — переворочено; далее приходится хранить приобретенное или выйти из той *односторонности,* из того *частного случая,* который составляет его личность. Последнее слово католицизма сказано реформацией и революцией; они обнаружили его тайну; мистическое *искупление* разрешено политическим *освобождением.* Символ веры Никейского собора, основанный на отпущении греха христианину, выразился признанием прав каждого человека в символе последнего вселенного собора, то есть Конвента 1792 года. Нравственность иудейского пролетария и евангелиста Матфея — та же самая, которую проповедует женевский пролетарий и деист Ж.-Ж. Руссо. *Вера, любовь и надежда* при входе, *свобода, братство и равенство* при выходе.

В громах и ураганах, следовавших за торжественным 1789 годом, завершился германо-романский мир. Землетрясение французской революции шло вершинами и пропастями, великим и страшным, победами и террором, частными обрывами и потрясениями — до 1848 года: тут *аминь,* nec plus ultra [59]. Катаклизм, поднявшийся со времен Возрождения и Реформы, окончился.

Внутри идет работа: микроскопическое тканье, выветривание и наносы, «мышья беготня» [60] истории, вулканическая работа под землей, просасывание волосяными сосудами прошлой осени в будущую весну. Вверху страшные сновидения, мертвецы в старых доспехах и старых тиарах и фантастические, несбыточно светлые образы, мучительные страдания, безумные надежды, горькое сознание своей слабости и бессилия разума. Внизу бездонная пропасть стихийных страстей доисторического сна, детских грез, циклопической, кротовой работы; на это дно и голос человеческий не доходит, как ветер не доходит до глубины морской; иной раз только слышится там военная труба и барабан, зовущие на кровь, обещающие убийства и дающие разорение.

Между фантастами наверху и дикими внизу колышется *среднее состояние,* не имея ни силы гордо сказать свое *«Я царь!»,* ни самоотвержения идти в иезуиты или в социалисты.

Этот слой, колеблющийся *между двумя нравственностями,* и представляет, именно своим колебанием, ту среду порчи, о которой идет речь.

— Да как это между двумя нравственностями? Что такое между двумя нравственностями? И разве есть две нравственности, разве не одна вечная, безусловная нравственность, une et indivisible? [61]

Абсолютная нравственность должна делить судьбу всего абсолютного — она вне теоретической мысли, вне отвлечений вовсе не существует. Нравственностей *несколько,* и все они очень относительные, то есть исторические.

Первые христиане высказали это очень прямо, очень смело, без обиняков и, объявивши, что новый Адам принес новую нравственность, что языческие добродетели для христианина — блестящие пороки, закрыли Платона, закрыли Цицерона и пошли тащить с пьедесталей златовласых Афродит, волооких Гер и другие *грешные святыни* старой нравственности.

Плиний смотрел на них как на дураков, Траян презирал их, Лукьян хохотал над ними, а они начали новый мир и *новую* нравственность. Их новая нравственность в свою очередь сделалась старой. Об этом у нас только и идет речь.

Революция что могла *секуляризовала* из катехизиса, но революция так же, как реформация, стояли на церковном погосте. У Эгмонта и Альбы, у Кальвина и Гиза, у Людвига XVI и Робеспьера были общие верования; они отличались, как раскольники,— оттенками. Вольтер, приехавший, закутавшись в шубу, в карете смотреть восхождение солнца и ставший на дрожащие колена с молитвой на устах,— Вольтер, благословивший Франклинова внука «во имя бога и свободы», такой же богослов, как Василий Великий и Григорий Назианзин, только разных толков. Лунный, холодный отсвет католицизма прошел всеми судьбами революций и в двенадцатый час ее еще развернул хоругвь с надписью «Dio e Popolo» [62].

Кое-где на вершинах начинается заря нового дня и борется с месячным светом, обличая вопиющее противоречие веры и сознания, церкви и науки, закона и совести, но об этом на долинах не знают. Это для малого числа избранных.

Честный союз науки с религией невозможен, а *союз есть;* отсюда и делай заключение о нравственности, которая основана на таком союзе. Дело в том, что разум, боясь скандала, скрывает свою истину, наука скрывает свою беременность новым искупителем — не от Иеговы, а от Пана, и обе отмалчиваются, шепчутся, говорят шифрами или просто лгут, оставляя людей в совершенном хаосе сбивчивых понятий, в которых молитвы о дожде смешаны с барометрами, химия — с чудесами, телеграфы — с четками.

И это все как-то рутинно, по привычке, верь не верь, только исполняй известные приличия. Кто обманутый? Для чего все это? Одно обязательное правило и осталось

сильным и общепринятым: *думай как знаешь*, но *лги*, как другие.

Пророки могут вести народы виденьями и страстными словами, но не могут вести, скрывая дар пророчества или поклоняясь Ваалу.

Чему же дивиться, что пустота жизни растет с страшной быстротой, наталкивая людей неясным пониманьем, мертвящей скукой на всякого рода безумья — от игры на бирже до игры в вертящиеся столы?

По видимому все идет в порядке: солидные люди заняты ежедневными заботами, своими делами, возможными целями, они ненавидят всякие утопии и все перехватывающие идеалы, а в сущности это не так, и сами солидные люди с своими праотцами все, что ни выработали хорошего, выработали, постоянно идучи за радугой и осуществляя невозможности вроде католицизма, реформации, революции. Этих-то радуг больше и нет, по крайней мере оптический обман не обманывает больше.

Все прежние идеалы потухли, *все до единого,* от распятия до фригийской шапки.

...Помнишь ли ты ту страшную картину в ряде гениальной галиматьи Ж.-П. Рихтера, в которой он представляет, не помню à propos чего, как все кающиеся народы бегут в день Страшного суда, испуганные, к кресту, молясь о спасении, о ходатайстве Сына божия? Христос отвечает коротко: «У меня нет отца!»

Такой ответ раздается теперь со всех крестов, к которым подходят уповающие народы, измученные борьбой, измученные путем. С каждой Голгофы громче и громче раздается: «У меня нет свободы!», «У меня нет равенства!», «У меня нет братства!» И обманутая надежда тухнет одна за другой, бросая догорающие лучи на печальные образы Дон-Кихотов, упорно не хотящих слышать голоса с Голгофы... Они машут людям, чтоб те шли скорее за ними, и один за другим исчезают в мгле зимних сумерек.

И это не все; люди с двойным ужасом стали разглядывать, что у революции — не только нет *отца,* но нет и *сына.*

Страшные, бесплодные Июньские дни 1848 были протестом отчаяния; они не создавали, они разрушали — но разрушаемое оказалось крепче. С взятием последней баррикады, с отправкой последней депортации без суда настает эра для *порядка.* Утопия демократической республики улетучилась так же, как утопия царства небесного на земле. *Освобождение* оказалось окончательно так же несостоятельным, как *искупление.*

Но общественное брожение не настолько успокоилось,

чтоб люди занялись тихо своим делом; надобно было *занять умы,* а без утопий, без эпидемических увлечений идеалами плохо. Хорошо еще, если б без них обманутые в ожидании народные массы только бы плеснели и загнивали на ирландский манер, как стоячая вода; а то, пожалуй, они поднимутся одичалые и попробуют своими самсоновскими мышцами — крепки ли столбы общественной храмины, к которым они прикованы!

Где же взять безопасные идеалы?

Затрудняться нечего — в душе человеческой обителей много. Сортировка людей по народностям становилась больше и больше бедным идеалом в этом мире, схоронившем революцию.

Политические партии распустились в *национальные* — это не только шаг за революцию, но шаг за христианство. Общечеловеческие стремления католицизма и революций уступили место языческому патриотизму, и честь знамени осталась единственной неприкосновенной честью народов.

Когда мне приходит в голову, что двенадцать лет тому назад в парижских салонах гуляка и шут Ромье проповедовал во всеуслышание, что возбужденные революционные силы надобно своротить с их страшной дороги и направить на вопросы национальные, пожалуй династические [63], я невольно, по старой памяти, краснею от стыда.

Воевать, за что б то ни было, надобно, иначе в этом застое нападет китайский сон — ну а его долго не разбудишь. Да нужно ли будить? В этом-то и вопрос.

Последним могиканам XVIII столетия, Дон-Кихотам революции, социалистам и долею литераторам, поэтам и вообще всяким эксцентричностям спать не хочется, и они, насколько могут, мешают массам — заснуть. Неречистое мещанство совестится признаться, что ему спать хочется, и туда же бормочет в полусне неясные слова о прогрессе, свободе...

Будить надобно войной. А есть ли во всей оружейной палате прошлого знамя, хоругвь, слово, идея, из-за которых бы люди пошли драться, которых бы они не видали опозоренными и в грязи... suffrage universel [64], может быть?..

Нет, не пойдет человек нашего времени ни за один развенчанный идол с тем светлым самоотвержением, с которым шел его предок на костер за право петь псалмы, с той гордой самоуверенностью, с которой шел его отец на гильотину — за единую и нераздельную республику. Ведь он знает, что ни псалмы, петые по-немецки, ни освобождение народов по-французски ни к чему не ведут.

А за *незнакомого бога,* тайком идущего за стенкой,—

умирать нельзя. Пусть он прежде скажет, кто он такой, пусть признает себя за бога и с дерзостью св. Августина скажет в глаза старому миру, что его «добродетели — пороки, что его истины — нелепость и ложь».

Ну — это будет не сегодня и не завтра.

Благоразумный человек нашего века, как Фридрих II,— esprit fort [65], в своей комнате и esprit accommodant [66] на площади. Входя в свой кабинет, из которого высылались лакеи, король делался философом; но, выходя из него, философ делался королем.

...Вот тут-то «быки и стоят перед горой»! [67]

А впрочем, нельзя отрицать, что свет разума все больше и больше рассеивает тьму предрассудков... всего досаднее, что людям недосуг и рано умирают,—только начнет в ум входить человек, глядишь — а уже и несут на кладбище. Невольно вспомнишь известную лошадь, которую пастор совсем было отучил от еды, да смерть помешала.

...В альпийских ледниках всякое лето оттаивает кора льда, но масса его так толста, что осень всякий раз захватывает на полдороге дело лучей солнечных, и кора опять начинает замерзать,— иногда, впрочем, не достигая прежней толщины. Метеорологи рассчитывали много раз, сколько веков и веков необходимо лету работать над зимой, чтоб распустить весь лед. Многие сомневаются, чтоб вообще солнце само по себе дошло до этого,— разве вулканический взрыв поможет.

В истории этот счет еще не делан.

20 октября 1862

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ

Шесть дней на работу, а седьмой на отдых. Недаром Моисей и Прудон защищают день субботний. Однообразный труд страшно утомляет. Надобно периодические паузы, в которые человек, вымывши руки и надев чистое платье, идет не на работу, а гулять, посмотреть на добрых людей, посмотреть на природу, одуматься, свободно вздохнуть, «воскреснуть» *.

Вот и я сделал себе из моей периодической болтовни о «концах» и «началах» воскресную рекреацию и ухожу в нее от ежедневных диссонансов, газетных мерзостей

---

* Sie feiern die *Auferstehung* des Herrn,
Denn sie sind selber auferstanden,
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern.

«Faust» [68]

и будничных споров, в которых меняются часы и числа, но мнения и речи остаются те же... ухожу, как в какую-нибудь отдаленную келью, из окон которой не видать многих подробностей, не слыхать многих звуков, но ясно видны молчащие очерки близких и далеких гор и внятно доходит морской гул.

Может, ты найдешь, что я невесело праздную свои праздники,— вспомни, что я в Англии, где из всех скучных дней воскресенье самый скучный.

Ну, что ж делать, поскучай еще раз, а я, с своей стороны, постараюсь как можно забавнее тебе рассказать те печальные вещи, о которых мы говорим.

Да точно ли они печальны? И не пора ли, если б и в самом деле было так, примириться с ними? Нельзя вечно горевать о вещах, которые не в нашей воле переменить. Не лучше ли подобру да поздорову проверить приходо-расходные книги, достающиеся нам по наследству и, забывая неумеренные траты и невознаградимые потери, принять с смирением духа итог за новую точку отправления. Тоскуй сколько хочешь, делу не поможешь; мало ли кто как *мог* употребить свой наследственный капитал; мало ли кто что грезил, получая его, и что мы грезили за него... *Симфония эроика* кончена, начинается деловая жизнь. Вино отшипело, будем пить *сухую* tisane de champagne [69]. Оно не так вкусно, но, говорят, здоровее.

Часть образованного мира страждет стародевической тоской о счастии, которого она не утратила, а вовсе не имела. И вместо того, чтоб твердо решиться на вдовство без замужества, хнычет о том, что *идеал* молодых лет не похитил, не увез ее... что делать? — не увез, а теперь поздно.

Люди досадуют за то, что у них нет крыльев, и от этого не заботятся об обуви. Тягость европейской жизни в наиболее развитых слоях в прямой зависимости от ее ложного положения между несбыточными мечтами и пренебрежением того, что есть.

Рядом с идеалами серафимских крыльев, больше и больше пропадающими в мраке прошедшего, и идеалами других крыльев, исчезающих в будущем, сложился целый самобытный мир, на который мечтатели сердятся за то, что он исполнил то, что мог, а не то, что они ожидали, т. е. не крылья. Пока этот мир не признают власть и право имущим, до тех пор продолжится лихорадочное брожение, постоянная ложь в жизни, невольная измена и своему идеалу, и практической реальности, которая обличается в беспрерывном противоречии слов и дел, фразы и поведения.

Мир этот не боек на словах и не речист, несмотря на то, что он создал великий рычаг, стоящий рядом с паром и электричеством, рычаг афиши, объявлений, *реклам*,— и со всем тем он не умеет стать во весь рост, во всю толщину и громко сказать народам: «Я — альфа и омега вашего развития; идите ко мне, и я успокою вас, дам, что дать можно; но перестаньте толкаться во все двери, которые вам не отпираются,— одни потому, что некому отпереть, другие потому, что никуда не ведут. Помните наконец, что нет вам бога разве меня, и перестаньте поклоняться всем кумирам на свете и желать всяких крыльев на свете. Поймите, что нельзя проповедовать в одно и то же время христианскую нищету и политическую экономию, социальные теории и безусловное право собственности. Доселе моя власть существует как факт, но не как признанная основа нравственности, даже не как знамя, и еще хуже — меня отрицают, меня оскорбляют в церквах и академиях, в аристократических залах и сходках клубистов, в речах и в проповедях, в романах и журналах... Мне надоела роль провинциальной родни, от которой столичные фаты получают деньги и домашние запасы, но о которой умалчивают или говорят краснея. Я не только хочу царствовать, но хочу одеться в порфиру».

Да, любезный друг, пора прийти к покойному и смиренному сознанию, что *мещанство* окончательная форма западной цивилизации, ее совершеннолетие — état adulte; *им* замыкается длинный ряд его сновидений, оканчивается эпопея роста, роман юности — все, вносившее столько поэзии и бед в жизнь народов. После всех мечтаний и стремлений... оно представляет людям скромный покой, менее тревожную жизнь и посильное довольство, не запертое ни для кого, хотя и недостаточное для большинства. Народы западные выработали тяжким трудом свои зимние квартиры. Пусть другие покажут свою прыть. Время от времени, конечно, будут еще являться люди прежнего брожения, героических эпох, других формаций — монахи, рыцари, квекеры, якобинцы, но их мимолетные явления не будут в силах изменить главный тон.

Великие стихийные ураганы, поднимавшие всю поверхность западного моря, превратились в тихий морской ветерок, не опасный кораблям, но способствующий их прибрежному плаванью. Христианство обмелело и успокоилось в покойной и каменистой гавани Реформации; обмелела и революция в покойной и песчаной гавани либерализма. Протестантизм, суровый в мелочах религии, постиг тайну примирения церкви, презирающей блага земные,

с владычеством торговли и наживы. Либерализм, суровый в мелочах политических, умел соединить еще хитрее постоянный протест против правительства с постоянной покорностью ему.

С такой снисходительной церковью, с такой ручной революцией... западный мир стал отстаиваться, уравновешиваться: все, что ему мешало, утягивалось мало-помалу в тяжелевшие волны — как насекомые, захваченные смолой янтаря. Задыхаясь, испустил крик досады Байрон и бежал один из первых *куда-нибудь*... в Грецию *. Стоически оставшись в Франкфурте, медленно задыхался Шопенгауэр, помечая, как Сенека, с разрезанными венами, прогресс смерти и приветствуя ее как избавительницу... Это нисколько не мешало повороту всей европейской жизни в пользу тишины и кристаллизации, напротив, он становился яснее и яснее. Личности стирались, родовой типизм сглаживал все резко индивидуальное, *беспокойное,* эксцентрическое. Люди, как товар, становились чем-то гуртовым, оптовым, дюжинным, дешевле, плоше врозь, но многочисленнее и сильнее в массе. Индивидуальности терялись, как брызги водопада, в общем потопе, не имея даже слабого утешения «блеснуть и отличиться, проходя полосой радуги». Отсюда противное нам, но естественное равнодушие к жизни ближнего и судьбе лиц: дело в типе, дело в роде, дело в деле, а не в лице. Сегодня засыпало в угольной копи сто человек, завтра будут засыпаны пятьдесят, сегодня на одной железной дороге убито десять человек, завтра убьют пять... и все смотрят на это как на частное зло. Общество предлагает страховаться... что же оно может больше сделать?.. В перевозимом товаре, живом и мертвом, оттого, что убили чьего-нибудь отца или сына, недостатка не может быть; в живых снарядах для углекопей тоже. Нужна лошадь, нужен работник, а уж именно саврасая ли лошадь или работник Анемподист — совершенно все равно. В этом *все равно* — вся тайна замены лиц массами, поглощение личных самобытностей родом.

Одна буря было подымалась, грозя всех разбудить и помешать мещанской кристаллизации, снести колокольни и каланчи, ограды и таможни, но — вовремя отведенная громоотводами — она вне игры. И легче себе представить Европу, возвратившуюся в католицизм времен Григория Гильдебрандта по приглашению Донозо Кортеса и графа

---

* До какой степени развитые люди чувствовали тогда свое отчуждение и выдумывали себе жизнь, занятия и проч., ты можешь ясно видеть в «Recollection of the last days of Byron and Shelley» Трелоне [70].

Монталамбера, чем социальной республикой по рецепту Фурье или Кабэ. Впрочем, кто же теперь серьезно говорит о социализме! С этой стороны западный мир может быть доволен — ставни закрыты, зарниц не видать, до грому далеко... он может спокойно покрыться стеганым одеялом, повязать фуляр и погасить свечу.

Gute Nacht, gute Nacht,
Liebe Mutter Dorothee! [71]

Но у бедной матери Доротеи, как у Гретхен, брат — солдат и, как все солдаты, любит шум и драку и не дает спать. Она бы его давно сбыла с рук, да есть кой-какие дорогие пожитки, так насчет голодных соседей без сторожа нельзя. Ну, а брату мало быть сторожем — амбиция. «Я, говорит, рыцарь, жажду подвигов и повышений».

...Да, если б можно было свести войско на опричников собственности, на телохранителей капитала и лейб-гвардию имущества, все бы быстро достигнуло прочного, окончательного строя. Но в мире нет ничего совершенного, и наследственный рыцарский дух мешает покойному осаждению докипающей жизни и поддерживает брожение. Как грабеж ни заманчив и кровожадность ни естественна людям вообще, но гусарская удаль и суворовский задор несовместны с совершеннолетием, с ровным и тихим развитием. Отвращение Китая от всего военного гораздо понятнее у сложившегося народа, чем николаевское пристрастие к «выпушкам, погончикам, петличкам» [72].

Вот тут и загвоздка! Что делать с *великим народом*, который хвастается тем, что он *народ военный*, который весь состоит из зуавов, пью-пью и французов, т. е. тоже солдат?..

Peuple de France — peuple de braves! [73]

Смешно говорить о покойных ночах, прогулках при лунном свете, о свободе политической, торговой и всяческой, когда пятьсот тысяч штыков, праздных и скучающих, требуют заявить свое «право на работу».

На то галльский петух, чтоб ни одна индейка, ни одна утка и ни один гусь в Европе не дремал покойно.

В самом деле, перейди Франция из военной службы в штатскую (без службы она уж не может жить) — и все пойдет как по маслу. Англия бросит в море ненужные ружья, купленные для рейфльменов [74], мой grocer Джонсон (and son [75]) первый променяет свой штуцер на удочку и пойдет в Темзе удить рыбу, Кобден ослабит все, что укрепил Пальмерстон, и фельдмаршала кембриджского выберут председателем Peace Society [76].

Но Франция и не думает выходить из военной службы — да и нельзя: на кого оставить Мексику, папу римского и *без малого* единую Италию? Знамя замешано — делать нечего!

Peuple de France — peuple de braves!

Как же быть?

Позволь мне на этом остановиться и рассказать новую встречу с одним старым знакомым [77], он смелей меня, с своей точки зрения «поврежденного», решал эти вопросы.

Иду я как-то года два тому назад по Странду, смотрю — в дверях большой лавки с дорожными вещами хлопочет какая-то толстенькая, подвижная фигура, резко не лондонская, с разными признаками Италии, в светло-серой шляпе, в легком желтом пальто и с огромной черной бородой; мне казалось, что я где-то видал ее... всматриваюсь... он, точно он, мой здоровый, разбитной лекарь, с волчьими зубами и веселостью хорошего пищеварения, тот самый лекарь, с которым в былые времена мы «резали собак и кошек», как он выражался, и то не в Италии, а в анатомическом театре Московского университета.

— На этот раз,— сказал я русскому-итальянцу,— не вам первому достанется честь узнать старого знакомого.

— Eccolo! Вот прелесть! Скажите, пожалуйста — и он бросился меня целовать, так коротко он познакомился со мной во время своего отсутствия.

— Если вы будете часто так поднимать обе руки,— заметил я ему,— у вас непременно отрежут дорожный мешочек.

— Знаем, знаем, классическая страна воровства... Помните — Дон-Жуан, ну, там в конце, когда он возвращается в Лондон [78].

— Помню. Ну а ваш чудак с вами?

— Как же, он меня ждет в hôtel'e, сунулся было на улицу, да тотчас назад; «такая,— говорит,— толпа и духота, что боюсь морской болезни»,— вот меня и послал купить кой-какие вещицы на дорогу, мы завтра отправляемся в Техас.

— Куда?

— В Техас, ну, знаете, в Америке?

— Зачем?

— А зачем жили в Калабрии? Телемак-то мой ни на волос не переменился, только эдак солиднее прежнего заговаривается. Помните, как он вам толковал, что планета больна и что пора людям вылечиться от истории, вот он и убедился теперь, что лечение в Европе идет медленно,— ну он и едет в какой-то Техас. Я привык к нему, все по-

прежнему спорим целый день, это людей ужасно связывает. Что же, посмотрим и Америку!

— Ну а что в Калабрии?

— Ему-то там сначала понравилось; т. е., по-нашему, вся Калабрия хуже последнего уездного города в какой-нибудь Саратовской губернии,— там хоть бильярд есть, ну какая-нибудь вдовушка-чиновница, ну хоть какая-нибудь солдатка в слободке, а тут разбойники, пастухи да попы, да такие, что и не различишь, который разбойник, который пастух, который поп. Наняли мы там полуразвалившийся радклифовский вертеп; ящерицы, бестии, белым днем по полу ходят, а ночью нетопыри по зале летают, хлоп в стену, хлоп. Я, впрочем, уезжал несколько раз и в Неаполь и в Палермо... А каков Гарибальди? Вот человек-то, с таким не пропадешь!.. А он все сидел в своем замке, только раз съездил в Рим. Рим ему по вкусу пришелся, будто сейчас певчие перестали петь «Со святыми упокой!». Гамлет, гробокопатель!

— А что, ваш Гамлет показывается?

— Без сомнения. Он поминал вас несколько раз; «он,— говорит,— сбивается еще, а впрочем, на хорошей дороге», ха! ха! ха!

— И то хорошо. Пойдемте к нему.

— С удовольствием.

Евгения Николаевича я нашел сильно постаревшим. Лицо его, больше покойное, получило какой-то клерикально-задумчивый оттенок; сухая, матовая бледность придавала его лицу что-то неживое; темные обводы около глаз, больше прежнего впавших, делали зловещим прежнее грустное выражение их.

— Вы бежите от нас, Евгений Николаевич, за океан,— сказал я ему.

— И вам советую.

— Что же так?

— Утомительно-с очень здесь.

— Да ведь вы это знали и прежде, вы мне говорили это восемь лет тому назад.

— Это правда, но, признаюсь, я думал, что будет война.

— Какая война?

— Война! — и он покрутил рукой.

— Это вы в Калабрии сделались таким кровожадным?

— Мне, собственно, ничего, но больно быть свидетелем, вчуже жаль молодое поколение.

— Да войну вам на что? Чтоб помочь молодому поколению?

— Я не виноват, вопрос так стал.

— Каюсь вам чистосердечно, что ясно вашей мысли не понимаю.

— Нашла коса на камень! — вставил Филипп Данилович.

— Это оттого, что вы и сомневаетесь, и верите. Это беда-с. «Ясно, что столы не вертятся», а тут вопрос: «Ну, а как столы в самом деле вертятся?» — оно и не ясно-с. Вот Филипп Данилович другое дело, он ортодокс, он и знает, как там прогресс идет и все так к лучшему. А я вот, как ни прикидываю, вижу, что люди заступили за постромку и все дальше и дальше несутся в болото.

— Лошадь заступила за постромку, так ей ноги прочь, сейчас ампутацию. Радикальное лечение! — заметил лекарь.

— Найдите снадобье — и ампутации не надобно. А как его нет, так так и оставить больного? Западные народы из сил выбились, да и есть от чего, они хотят отдохнуть, пожить в свое удовольствие, надоело беспрестанно перестраиваться, обстраиваться да и ломать друг другу домы. У них все есть, что надобно,— и капиталы, и опытность, и порядок, и умеренность... что же им мешает? Были трудные вопросы, были любимые мечты — все улеглось. На что вопрос о пролетариате — и тот утих. Голодные сделались ревностными поклонниками чужой собственности, в надежде приобрести свою, сделались тихими лаццарони индустрии, у которых ропот и негодование сломлены вместе со всеми остальными способностями, и это, без сомнения, одна из важнейших заслуг фабричной деятельности... а покоя все нет как нет... держи войско, держи флоты, трать все выработанное на защиту,— кто же, кроме войны, может покончить с войском?

— Это гомеопатически клин клином вышибать,— заметил Филипп Данилович.

— Можно ли,— продолжал мой чудак,— беззаботно работать в своем садике, зная, что возле, в ущелии, какой-нибудь вертеп бандитов, пандуров, янычар?

— Позвольте,— перебил Филипп Данилович,— одно слово: пари на бутылку бургунского, что вы не знаете, кто эти тормозы просвещенья, прогресса — эти пандуры и янычары!

— Что ж, Австрия и Россия?

— Ха-ха-ха — наверняк обыграл! За вами бутылка шамбертен — я другого не люблю.

— Ну, помилуйте,— заметил с упреком Евгений Николаевич,— что же Австрия может сделать? Страна употребляет все усилия, чтоб не умереть, натягивает все мышцы,

чтоб части не расползлись, ну где же ей кому-нибудь грозить? Человек одной рукой придерживает ногу, чтоб она без него не ушла, а другой — голову, чтоб она не отвалилась. А тут говорят, что она на драку лезет. Пора и Россию после кампании отчислить из пугал; ее не только никто не боится, но на нее никто и не надеется больше — ни сербы, ни болгары, ни все эти славянские патриоты, отыскивающие с IV столетия свое отечество и свою самобытность. Да это и хорошо, пусть Россия *«чает жизни будущего века»*, а в настоящем отучает чиновников воровать да помещиков драться. В Европе есть гнеты, почище устроенные, от которых воздуха в легких и покоя в сердце недостает.

— Так это вы Англию и Францию так честите?

— Без сомнения; еще с Англией можно бы было как-нибудь сладить, она все эдак потихоньку, за углом, отрицательно давит, тут поддерживает дряхлое, там так притиснет молодое, что оно расти перестанет; голодного встретит, говорит ему: «Что ж, с богом, ты свободный человек, иди, я тебя не держу». А Франция... ну, помилуйте, один батальон; за барабаном и двумя дудками вся Франция пойдет куда хотите — в Казань, Рязань, а в Англию она и без барабанов вплавь бросится, лишь бы в доках-то, в Сити похозяйничать, как в пекинском дворце. Кто мог ждать, что эти два заклятых врага будут покойно смотреть друг на друга с той ненавистью, которую не могли преодолеть ни века, ни образование, ни торговая выгода, и притом сдвигаясь все ближе и ближе, так что уж между Парижем и Лондоном остается только десять часов езды? С одной стороны Ламанша legion d'honneur [79], с другой — Habeas corpus [80], и они терпят друг друга! Понимаете ли вы это — так страстно ненавидеть и не иметь духу? — После этого я решительно в Техас.

— Понять трудно, это правда, но что *оно так* — это не совсем дурно. Вот уже когда ваша война будет и французы переплывут Ламанш, чтоб *освободить* Англию, тогда я и сам отправлюсь в Техас.

— A la bonne heure! [81] — вскрикнул обрадованный Филипп Данилович.

— Дренаж-с, война — дренаж-с для расчистки места и воздуха. Где ж им в Лондоне остаться. Москва не Лондон, и то взяла всяких немцев по дороге да и пошла в Париж.

— Или у вас есть в запасе какой-нибудь Людвиг XIX?

— *В нем не будет надобности.*

— Евгений Николаевич,— сказал я, помолчав,— и все-то это для того, чтоб дойти до голландского покоя, и за эту

похлебку из чечевицы проститься с лучшими мечтами, с святейшими стремлениями.

— А чем худо,— заметил Филипп Данилович, снова показывая свои белые зубы,— есть сельди да вафли с чистой совестью и такой же салфеткой — в доме, который только что выстирали, с женой из рубенсовских мясов, и кругом мал мала меньше. Скидам, фаро и кюрасо, я больше ничего голландского не знаю. Ха-ха-ха, из чего бились все ваши Фурье да Овены!

— Не они одни; католики и протестанты, энциклопедисты и революционеры... все из чего бились? А их труд, их вера, их борьба, их гибель... это разве ничего? Вам еще надобно, чтоб и весь господня, и Feste Burg [82], и фаланстер, и якобинская республика — все бы в самом деле осуществилось? Я помню...

Он приостановился и потом с каким-то внутренним умилением спросил меня:

— Испытали вы, что чувствует человек, когда он передает свое воззрение другому и видит, как оно всходит в нем?

— Все это хорошо, воля ваша,— перебил ученик Гиппократа,— да какой же прок с наслаждением переливать из пустого в порожнее? Хлопотать-то из чего?

— Эх, Филипп Данилович, мы-то с вами из чего хлопочем, не дошли же мы до того, чтоб лечиться от смерти, а ведь гробовой-то покой хуже голландского. Ну, да уж вам и бог простит, вы ортодокс. А вот вы-то как же эдак спотыкаетесь? — прибавил он, обращаясь ко мне, печально качая головой.

И потом, вдруг расхохотавшись своим нервным, невеселым смехом, сказал:

— Я вспомнил теперь одну немецкую книгу, в которой рассказывается о труженическом существовании крота,— очень смешно. Зверь маленький, с большими лапами, с щелочками вместо глаз, роет в темноте, под землей, в сырости, роется день и ночь, без устали, без рассеяния, с страстной настойчивостью. Едва перекусит каких-нибудь зернышек да червячков и опять за работу, зато для детей готова норка, и крот умирает спокойно, а дети-то начинают во все стороны рыть норки для своих детей. Какова заплатная цена за пожизненную земляную работу? Каково соотношение между усилиями и достигаемым? Ха-ха-ха! Самое смешное-то в том, что, выстроивши свои отличные коридоры, переходы, стоившие ему труда целой жизни, он не может их видеть, бедный крот!

Этой моралью моего поврежденного я и заключу первый

отдел «Концов и начал» и последний месяц 1862 года. Через два дня *Новый год*, с которым тебя поздравляю, надобно набрать к нему свежие силы на кротовую работу — лапы чешутся.

29 декабря 1862

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ

Мужайся, стой и дай ответ!

— ...Halte-là! Stop! [83] — сказал мне на этот раз не *поврежденный*, а, напротив, один *поправленный* господин, входя в мою комнату с «Колоколом» в руке.— Я пришел к вам объясниться. Ваши «Концы и начала» перешли всякую меру, пора честь знать и действительно положить им конец, сожалея о их начале.

— Неужели *до этой* степени?

— До этой. Вы знаете — я вас люблю, я уважаю ваш талант...

«Ну,— подумал я,— дело плохо; видно, „поправленный“ не на шутку хочет меня обругать, а то не стал бы заезжать такими лестными апрошами» [84].

— Вот моя грудь,— сказал я,— разите.

Мое самоотвержение, смешанное с классическим воспоминанием, хорошо подействовало на раздраженного приятеля, и он с более добродушным видом сказал мне:

— Выслушайте меня покойно, без авторского самолюбия, без изгнаннической исключительности — к чему вы все это пишете?

— На это много причин. Во-первых, я считаю истиной то, что пишу, а у каждого человека, неравнодушного к истине, есть слабость ее распространять. Во-вторых... впрочем, я полагаю, что и первого достаточно.

— Нет. Вы должны знать публику, с которой говорите, ее возраст, обстоятельства, в которых она находится. Я вам скажу прямо: вы имеете самое пагубное влияние на нашу молодежь, которая учится у вас неуважению к Европе, к ее цивилизации, в силу чего не хочет серьезно заниматься, хватает вершки и довольствуется своей широкой натурой.

— У! как вы состарились с тех пор, как я вас не видал; и молодежь браните, и воспитывать ее хотите ложью, как няньки, поучающие детей, что новорожденных приносит повивальная бабка и что девочка от мальчика отличается покроем платья. Подумайте лучше, сколько

веков люди безбожно лгали с нравственной целью, а нравственности не поправили; отчего же не попробовать говорить правду? Правда выйдет нехороша, пример будет хорош. С вредным влиянием на молодежь — я давно примирился, взяв в расчет, что всех, делавших пользу молодому поколению, постоянно считали развратителями его, от Сократа до Вольтера, от Вольтера до Шеллея и Белинского. К тому же меня утешает, что нашу русскую молодежь очень трудно испортить. Воспитанная в помещичьих плантаторских усадьбах николаевскими чиновниками и офицерами, окончившая курс своих наук в господских домах, казармах и канцеляриях, она или не может быть испорчена, или уже до того испорчена, что мудрено прибавить много какой-нибудь горькой правдой о Западе.

— Правдой!.. Да позвольте вас спросить, правда-то ваша в самом ли деле правда?

— За это я отвечать не могу. Вы можете быть в одном уверены — что я говорю добросовестно, как думаю. Если же я ошибаюсь, не сознавая того, что же мне делать? Это скорее ваше дело раскрыть мне глаза.

— Вас не убедишь — и знаете почему? — потому что вы *отчасти* правы. Вы хороший *прозектор,* как сами говорили, и — плохой акушер.

— Да ведь и живу-то я не в maternité [85], а в клинике и в анатомическом театре.

— А пишете для воспитательных домов. Детей надобно учить, чтоб они друг у друга каши не ели да не таскали бы друг друга за вихры, а вы их потчуете тонкостями вашей патологической анатомии. Да еще приговариваете: «Вот, мол, какие скверные потрохи были у западных стариков». К тому же у вас две меры и два веса. Взялись за скальпель, ну и режьте одинаким образом.

— Как же это, и живых-то резать? Страсти какие, да еще детей! Что же я за Ирод вам достался?

— Шутите как хотите, меня не собьете. Вы с большой чуткостью произносите диагнозу современного человека, да только, разобравши все признаки хронической болезни, вы говорите, что все это произошло оттого, что пациент — француз или немец. А те, дома у нас, и в самом деле воображают, что у них-то и молодость, и будущность. Все, что нам дорого в предании, в цивилизации, в истории западных народов, вы взрезываете без оглядки, без жалости, выставляя наружу страшные язвы, и тут вы в вашей прозекторской роли. Но валандаться вечно с трупами вам надоело. И вот вы, отрекшись от всех идеалов в мире, сотворяете себе новый кумир — не золотого тельца, а бараний

тулуп,— да и давай ему поклоняться и славословить его: «Абсолютный тулуп, тулуп будущности, тулуп общинный, социальный!» Вы, которые сделали себе из скептицизма должность и занятие, ждете от народа, ничего не сделавшего, всякую благодать, новизну и оригинальность будущих общественных форм и в ультрафанатическом экстазе затыкаете уши, зажимаете глаза, чтоб не видать, что ваш бог в грубом безобразии не уступает любому японскому кумиру, у которого живот в три яруса, нос расплюснут до скул и усы сардинского короля. Вам что ни говори, какие ни приводи факты, вы «в восторге неком пламенном» толкуете о весенней свежести, о благодатных бурях, о многообещающих радугах, всходах! Чему же дивиться, что наша молодежь, упившись вашей неперебродившей социально-славянофильской брагой, бродит потом, отуманенная и хмельная, пока себе сломит шею или разобьет нос об *действительную* действительность нашу. Разумеется, что и их, как вас, протрезвить трудно,— история, филология, статистика, неотразимые факты вам обоим нипочем.

— Позвольте, однако, и я в свою очередь скажу, надобно знать меру,— какие же это *несомненные* факты?

— Бездна.

— Например?

— Например, факт, что мы, русские, принадлежим и по языку, и по породе к европейской семье, genus europaeum [86], и, следовательно, *по самым неизменным законам физиологии должны идти по той же дороге.* Я не слыхал еще об *утке*, которая, принадлежа к породе уток, дышала бы жабрами...

— Представьте себе, что и я не слыхал.

...Я останавливаюсь на этом приятном моменте полного согласия с моим противником, чтоб снова обратиться к тебе и отдать на твой суд таковые до чести и добродетели моих посланий относящиеся нарекания [87].

Грех мой весь в том, что я избегал догматического изложения и, может, слишком полагался на читателей; это привело многих в искушение и дало моим *практическим* противникам орудия против меня — разных закалов и не одинаковой чистоты. Постараюсь сжать в ряд афоризмов основы того воззрения, на которые опираясь я считал себя вправе сделать те заключения, которые передавал, как сорванные яблоки, не упоминая ни о лестнице, которую приставлял к дереву, ни о ножницах, которыми стриг. Но прежде чем я примусь за это, я хочу тебе показать на одном примере, что мои строгие судьи не то чтоб были очень хорошо подкованы. Ученый друг, приходивший возмущать

покой моей берлоги, принимает, как ты видел, за *несомненный факт*, за *неизменный физиологический закон*, что если *русские* принадлежат к *европейской семье*, то им предстоит та же дорога и то же развитие, которое совершено романо-германскими народами; но в своде физиологических законов такого параграфа не имеется.

Это мне напоминает чисто московское изобретение разных учреждений, постановлений, в которые все верят, которые все повторяют и которые, между прочим, никогда не существовали. Один мой (и твой) знакомый называл их *законами Английского клуба*.

Общий план развития допускает бесконечное число вариаций непредвидимых, как хобот слона, как горб верблюда. Чего и чего не развилось на одну тему собаки — волки, лисицы, гончие, борзые, водолазы, моськи... Общее происхождение нисколько не обусловливает одинаковость биографий. Каин и Авель, Ромул и Рем были родные братья, а какие разные карьеры сделали. То же самое во всех нравственных родах или общениях. Все христианское имеет сходные черты в устройстве семьи, церкви и пр., но нельзя сказать, чтоб судьба английских протестантов была очень сходна с судьбой абиссинских христиан или чтоб очень католическая австрийская армия была похожа на чрезвычайно православных монахов Афонской горы. Что утка не дышит жабрами — это верно; еще вернее, что кварц не летает, как колибри. Впрочем, ты, верно, знаешь, а ученый друг не знает, что в жизни утки была минута колебания, когда аорта не загибалась своим стержнем вниз, а ветвилась с притязанием на жабры; но имея физиологическое предание, привычку и возможность развиться, утка не останавливалась на беднейшем строении органа дыхания и переходила к легким.

Это значит просто-напросто, что рыба *приладилась* к условиям водяной жизни и далее жабр не идет, а утка идет. Но почему же это рыбье дыхание должно сдунуть мое воззрение, этого я не понимаю. Мне кажется, что оно, напротив, объясняет его. В «genus europaeum» есть народы, состарившиеся без полного развития мещанства (кельты, некоторые части Испании, Южной Италии и проч.), есть другие, которым мещанство так идет, как вода жабрам,— отчего же не быть и такому народу, для которого мещанство будет переходным, неудовлетворительным состоянием, как жабры для утки?

В чем же состоит та злая ересь, то отпадение от своих собственных принципов, от непреложных законов мироздания и от всех божественных и человеческих учений и уста-

вов, что я не считаю мещанства окончательной формой русского устройства, того устройства, к которому Россия стремится и достигая которого она, вероятно, *пройдет* и мещанской полосой. Может, народы европейские сами перейдут к другой жизни, может, Россия вовсе не разовьется, но именно потому, что это *может быть, может быть* и другое. И тем больше, что в том череду, как стали вопросы, в случайностях места и времени развития, в условиях быта и жизни, в постоянных *складках* характера — бездна указаний.

Народ русский, широко раскинувшийся *между* Европой и Азией, принадлежащий каким-то двоюродным братом к общей семье народов европейских, он не принимал почти никакого участия в семейной хронике Запада. Сложившийся туго и поздно, он должен внести или свою полную неспособность к развитию или развить что-нибудь свое под влиянием былого и заимствованного, соседнего примера и своего угла отражения.

До нашего времени Россия ничего не развила своего, но кое-что сохранила; она, как поток, отражала верхним слоем теснившие ее берега, отражала их верно, но поверхностно. Влияние византийское, может, было самое глубокое; остальное шло по-петровски — брилась борода, стриглись волосы, резались полы кафтана; народ молчал, уступал, меньшинство переряжалось, служило, а государство, которому дали общий европейский чертеж,— росло, росло... Это обыкновенная история ребячества. Оно окончилось. В этом никто не сомневается — ни Зимний дворец, ни юная Россия. Пора стать на свои ноги, зачем же непременно на деревянные — потому что они иностранной работы? Зачем же наряжаться в блузу, когда есть своя рубашка с косым воротом?

Мы досадуем на бедность сил, на узкость взгляда правительства, которое в своей бесплодности усовершает наш быт тем, что вместо черно-желтой Zwangsjacke [88], в которой нас пасли полтораста лет, надевает трехцветную camisole de force [89], шитую по парижским выкройкам. Но тут не правительство, а мандарины литературы, сенаторы журнализма, кафедральные профессора проповедуют нам, что уж такой *неизменный закон физиологии:* принадлежишь к genus europaeum, так и проделывай все старые глупости на новый лад; что мы, как бараны, должны спотыкнуться на той же рытвине, упасть в тот же овраг и сесть потом вечным лавочником и продавать овощ другим баранам.

Пропадай он совсем, этот физиологический закон! И от-

чего же это Европа была счастливее, ее никто не заставлял da capo [90] играть роль Греции и Рима?

В природе, в жизни нет никаких монополей, никаких мер для предупреждения и пресечения новых зоологических видов, новых исторических судеб и государственных форм; пределы их — одни невозможности. Будущее импровизируется на тему прошедшего. Не только фазы развития и формы быта изменяются, но создаются новые народы и народности, которых судьбы идут иными путями. На наших глазах, так сказать, образовалась новая порода, varietas [91] *сводно и свободно европейская.* Не только быт, нравы, приемы американцев развили свой особый характер, но наружный тип англосаксонский и кельтический изменился за океаном до того, что американца почти всегда узнаешь. Если достаточно было новой почвы для старых людей, чтоб из них сделать своеобразный, характеристический народ,— почему же народ, самобытно развившийся, при совершенно других условиях, чем западные государства, с иными началами в быте, должен пережить европейские зады, и *это — зная очень хорошо, к чему они ведут?*

Да, но в чем же эти начала?

Я говорил много раз в чем, *ни разу не слышал* серьезного возражения и всякий раз опять слышу *одни и те же* возражения, добро бы от иностранцев, а то от русских...

Делать нечего, повторим и их опять.

15 января 1863

ИСКОПАЕМЫЙ ЕПИСКОП, ДОПОТОПНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ОБМАНУТЫЙ НАРОД *

Шесть часов до своей кончины, в декабре 1846, воронежский архиерей Антоний вспомнил, что за *шестьдесят* лет умер его предшественник Тихон, и «вменил себе в священный долг, *по особому* внушению, засвидетельствовать *архиерейской совестью* пред Николаем Павловичем о сладостном и претрепетном желании, да явлен будет пред очию всех сей светильник веры и добрых дел, лежащий теперь под спудом».

Затем все сделали свое дело: Антоний умер, Николай не обратил никакого внимания на предсмертный бред монаха — он же полагал, что Митрофаном отделался навсегда от мощей и воронежской епархии; покойник продолжал покоиться под спудом.

Настали другие времена — времена прогрессов, освобождений и обличений. *Шесть* лет после воцарения Александра II и в *шестой* (кажется) день святительства адмирала Путятина, кормчемствующего судно светского просвещения к брегам вечной и нетленной Японии, синод и государь, Бажанов и государыня нашли *благовременным* приступить к *необходимым* распоряжениям для *обличения* нетленности тела святителя Тихона. Эта палеонтологическая работа была поручена Исидору киевскому (ныне петербургскому), какому-то Паисию и другим экспертам. Думать надобно, что известный читателям «Колокола» крепостник и во Христе сапер Игнатий [2] заведовал земляными работами. Следствие вполне удалось, и ископаемый епископ, «во благоухании святыни почивший», пожалован государем в святые, а тело его, за примерное нетление, произведено в мощи, с присвоением всех прав состояния, т. е. пользования серебряной ракой, лампадой, восковыми

* Событие это, представление синода и указ до такой степени пошлы, нелепы, что ритор, защитник, хвалитель Зимнего дворца, «Le Nord», не нашел духу передать своим европейским читателям такую глупость [1].

свечами и, главное, кружкой для сбора, коею иноцы будут руководствоваться по *особому* внушению божию и по крайнему разумению человеческому.

Мы останавливаемся перед этой нелепостью и спрашиваем: для чего эта роскошь изуверства и невежества, эта невоздержность идолопоклонства и лицемерия?

Может, инок Тихон был честный, почтенный человек — но зачем же эта синодальная комедия, не сообразная с нашими понятиями, зачем же тело его употреблять как аптеку, на лекарство? Ведь в врачебные свойства Тихона, несмотря на «сорок восемь обследованных чудес» *, никто не верит: ни Исидор, прежде киевский, а теперь петербургский, ни Паисий, ни Аскоченский, ни Путятин, ни камилавки, ни ленты через плечо.

Да это и *не для них* делается — *а ими*!

Чудесам поверит своей детской душой крестьянин, бедный, обобранный дворянством, обворованный чиновничеством, обманутый освобождением, усталый от безвыходной работы, от безвыходной нищеты,— он поверит. Он слишком задавлен, слишком несчастен, чтоб не быть суеверным. Не зная, куда склонить голову в тяжелые минуты, в минуты человеческого стремления к покою, к надежде, окруженный стаей хищных врагов, он придет с горячей слезой к немой раке, к немому телу — и этим телом и этой ракой его обманут, его утешат, чтоб он не попал на иные утешения. И вы, развратители, ограбивши несчастного до рубища, не стыдитесь употреблять эти средства? Вы хотите сделать его духовным нищим, духовным слепцом, подталкивая его в тьму изуверства,— какие вы все черные люди, какие вы все злодеи народа!

А тут толкуют о старообрядцах, о раскольниках, об их изуверстве, об их обманах, пишут побасенки в клевету и уничижение гонимых, которые не могут ответ держать. Нет, ваша полицейская церковь не выше их образованием, она только ниже их жизнию. Их убогие священники, их иноки делили все страдания народа — но не делили награбленной добычи. Не они помазывали миром петербургских царей, не они проповедовали покорность помещикам, не они кропили войска, благословляя на неправые победы; они не стояли, в подлом уничижении, в передней бироновских немцев, они не совокупляли насильственным браком крепостных, они не загоняли народ в свою молельню розгой

* Кто делал следствие, как? Хоть бы достать восемь — ужасно интересно было бы для характеристики наших шаманов.

капитан-исправника, их пеших иерархов не награждали цари кавалериями!

...О, если б слова мои могли дойти до тебя, труженик и страдалец земли русской,— до тебя, которого *та* Русь, Русь лакеев и швейцаров, презирает, которого ливрея зовет *черным* народом и, издеваясь над твоей одеждой, снимает с тебя кушак, как прежде снимала твою бороду,— если б до тебя дошел мой голос, как я научил бы тебя презирать твоих духовных пастырей, поставленных над тобой петербургским синодом и немецким царем. Ты их не знаешь, ты обманут их облачением, ты смущен их евангельским словом — пора их вывести на свежую воду!

Ты ненавидишь помещика, ненавидишь подьячего, боишься их — и совершенно прав; но веришь еще в царя и в архиерея... не верь им. Царь с ними, и они его. Его ты видишь теперь,— ты, отец убитого юноши в Бездне, ты, сын убитого отца в Пензе [3]. Он облыжным освобождением сам взялся раскрыть народу глаза и для ускорения послал во все четыре стороны Руси флигель-адъютантов, пули и розги.

А пастыри-то твои в стороне — по своим Вифаниям да Халкидонам. Вот оттуда-то мы и желали бы «претрепетно» явить перед очию всех добрые дела духовных светильников твоих.

После вековых страданий,— страданий, превзошедших всю меру человеческого долготерпения, занялась заря крестьянской свободы. Путаясь перевязанными ногами, ринулась вперед, насколько веревка позволяла, наша литература; нашлись помещики, нашлись чиновники, отдавшиеся всем телом и духом великому делу; тысячи и тысячи людей ожидали с трепетом сердца появление указа: нашлись люди, которые, как М. П. Погодин, принесли наибольшую жертву, которую человек может принести,— пожертвовали здравым смыслом и до того обрадовались манифесту, что стали писать детский бред [4].

Ну а что сделала, в продолжение этого времени, всех скорбящая, сердобольная заступница наша, *новообрядческая* церковь наша со своими иерархи? С невозмущаемым покоем ела она свою семгу, грузди, визигу; она выказала каменное равнодушие к народному делу, то возмутительное, преступное бездушие, с которым она два века смотрела из-под клобуков своих, перебирая четки, на злодейства помещиков, на насилия, на прелюбодеяния их, на их убийства... не найдя в пустой душе своей ни одного слова негодования, ни одного слова проклятья!

Европа встрепенулась; в Англии, во Франции чужие

приветствовали начало освобождения, показали участие. Укажите мне слово, письмо, проповедь, речь — Филарета, Исидора, Антония, Макридия, Мельхиседека, Агафатокла? Где молитва благодарности, где радостный привет народу, заступничество за него перед остервенелым дворянством, совет царю? Ничего подобного — то же афонское молчание, семга, визига, похороны, освящение храма, купеческие кулебяки да вино — благо гроздия винолозы постные суть. А тут, лет через двадцать пять, «претрепетное желание», и они выставят «во благоухании почившего» какого-нибудь Трифона или Тихона с кружечкой для благодатных дателей! Что у вас общего с народом? Да что у вас общего с людьми вообще? С народом разве борода, которой вы его обманываете. Вы не на шутку ангельского чина, в вас нет ничего человеческого *.

Новообрядческая церковь отделалась на первый случай острым словцом московского Филарета; в одной из своих *привратных* речей, которыми он мешает своим помазанникам входить в Успенский собор, он отпустил цветословие о том, что другие властители покоряют народы пленением, а ты, мол, «покоряешь освобождением».

Говорили, правда, речи архиереи после объявления манифеста, и то по губернаторскому наряду, т. е. так же добровольно являлись они за налоем, как жандармы являются к разъездам. Да и что же замечательного было ими высказано?

Медаль перевернулась скоро. Михаил Петрович еще бредил и не входил в себя от радости, а уж из обнаженной и многострадальной груди России сочилась кровь из десяти ран, нанесенных русскими руками, и согбенная спина старика крестьянина и несложившаяся спина крестьянина-отрока покрывались свежими рубцами, темно-синими рубцами освобождения.

Крестьяне не поняли, что освобождение обман, они поверили слову царскому — царь велел их убивать, как собак; дела кровавые, гнусные совершились.

Что же, кто-нибудь из иерархов, из кавалерственных архиереев пошел к народу объяснить, растолковать, успокоить, посетовать с ним? Или бросился кто из них, как в 1848 католический архиерей Афр [5], перед одичалыми

---

* Мы говорим о высшем духовенстве; вероятно, из священников нашлись многие, сочувствовавшие народу. Мы помним, сверх того, молодого архимандрита Казанской академии Иоанна, поместившего в январской книжке 1859 «Православного собеседника» «Слово об освобождении»; но статья его тотчас вызвала дикий и уродливый ответ во Христе сапера.

опричниками, заслоняя крестом, мощами Тихона, своей грудью неповинного крестьянина, поверившего в простоте души царскому слову? Был ли хоть один? Кто? Где? Назовите, чтоб я в прахе у него попросил прощения... Я жду!

А покамест еще раз скажу народу: нет, это не твои пастыри; под платьями, которые ты привык уважать по преданию, скрыты клевреты враждебного правительства, такие же генералы, такие же помещики; их зачерствелое, постное сердце не болеет о тебе. Твои пастыри — темные, как ты, бедные, как ты; они говорят твоим языком, верят твоим упованьям и плачут твоими слезами. Таков был пострадавший за тебя в Казани иной Антоний [6], мученической, святою кровью запечатлел он свое болезное родство с тобою. Он верил в волю вольную, в волю истинную для русского земледельца — и, поднявши над головою ложную грамоту, пал за тебя.

Об открытии его мощей не попросит, за *шесть* часов, ни один архиерей и не дозволит ни один петербургский царь. Да оно и не нужно — он принадлежит к твоим святителям, а не к их. Тела твоих святителей не сделают сорока восьми чудес, молитва к ним не вылечит от зубной боли; но живая память об них может совершить одно чудо — твое освобождение *.

---

* Недавно нам рассказывали случай, бывший года полтора тому назад в Хвалынске. Полицейский поп, сговорившись с каким-то чиновником, напал на старообрядческого священника *Осипа Федоровича Андреева*, ехавшего с женой и детьми и снабженного паспортом, выданным из самарской конторы. Поп и исправник разбили ящики с кладью, отобрали паспорт и Андреева отправили скованного сначала к исправнику Середе, а потом в острог. Спустя девять месяцев тот же очевидец этого духовно-земского разбоя снова проезжал по Хвалынску и, вспомнив историю, спросил о священнике Андрееве и узнал следующее: жену и детей к нему не допускали целые полгода. Жена ездила в Саратов; там ее обругал и прогнал протопоп *Поляковский* и грозил ее самое посадить в тюрьму. Несчастная женщина, разоренная, без всякой помощи, написала письмо к государю. Государь не отвечал — он сам принадлежит к церкви исправника и попа!

В *Орловской губернии*,— пишут нам,— многие попы до тех пор отказывались от чтения манифеста об освобождении, пока крестьяне не делали складчину, ими самими назначенную.

ПИСЬМА К ПРОТИВНИКУ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Сегодня первое тихое утро после свиданья с вами и ряда наших разговоров. Я перебрал слышанное от вас и старался, насколько мог, спокойно обдумать и привесть в порядок сказанное вами. Мы как-то сбиваемся на генерала Ли и генерала Гранта, служа оба двум *распавшимся частям одного целого;* мы, как они, ничего не уступаем и, как ни меняем позиции, все находимся во враждебном положении. Мне кажется, что с нами может случиться то же, что с ними почти наверное будет, т. е. что мир заключат другие за спиной нашей, пока мы будем продолжать старую войну.

Принимаясь за перо, я не имею притязания вас победить, ни предчувствия быть побитым вами; но полагаю, что если мы и не дойдем до общего пониманья, то все же не будет бесполезно определеннее высказаться. В два последних года все понятия и оценки, все люди и убеждения так изменились в России, что не мешает напомнить друзьям и противникам, *кто мы.* Пусть одни хвалят, другие бранят, зная, кого они гладят по голове и кого бьют.

Я вас слушал честно и добросовестно, но вы не убедили меня, и это не личное упрямство и не упорство партии. Объективная истина для меня и теперь так же свята и дорога, как во времена юных споров и университетских препинаний. Мне не надобно было внешнего побуждения, чтоб заявить в пятидесятых годах, насколько я ошибался в споре с нашими славянами [1], и я не очень испугался западных авторитетов, обличая и уличая их революционную несостоятельность, так, как она мне раскрылась в 1848 г.

Ваше оправдание тому, что в России теперь делается, я решительно отвергаю. Из глубины моей совести, из глубины моего сердца подымается крик протеста и негодования против казней в Польше, против террора в России, против мелких преследований и добиваний после победы и, само собой разумеется, еще больше против всякого посягательства их оправдывать. Защищающие дикую расправу

правительства «из высших государственных интересов» берут на себя страшную ответственность за растление целого поколения. Оправдание того, что делается в России, не в смысле объяснения причин, а в смысле сочувствия и солидарности, ниспровергает всякое простое, прямое человеческое пониманье, всякую нравственность и тем больше оскорбляет, что оно вовсе не нужно. Дикая сила имеет верх, и того с нее довольно; какие оправдания нужны напору стихий, сибирской язве, наводнению?

Это я должен был заявить с самого начала, об остальном я готов рассуждать с вами. Тут я не сделаю ни одной уступки и не имею права. Я не настолько религиозен, чтоб с холодной улыбкой шагать через трупы и назидательным взглядом укора провожать мучеников мысли и преданности на виселицу и каторгу.

Затем мне хотелось бы также в самом начале указать, в чем мы согласны. Если б у нас не было ничего общего, то о чем же нам было бы говорить? Мы махнули бы друг на друга рукой и пошли бы один в свою сторону, другой в свою.

Действительно, трудно себе представить двух человек, которых весь нравственный быт и строй, все святое святых, все идеалы и стремления, все упования и убеждения были бы до такой степени противуположны, как у меня с вами... мы люди разных миров, разных веков, и при всем том и вы и я *служим одному делу,* преданы ему искренно и такими признаем друг друга.

Разными путями дошли мы до *одной точки,* в которой согласны. Я знаю, что вы не допустите возможности не одинаким образом доходить до истины, но факт против вас. *Исторически* почти все истины открывались путем ломаным, кривым, фантастическим; однажды сознанная истина освобождается от случайных эмбриогенических путей и получает не только признание помимо их, но и примыкает к методе — вместо личного, относительно случайного проселка она потом создает свой логический, широкий путь.

Нас занимающий вопрос не в теории и не в методе, нас занимает практическая, прикладная сторона его. Дело для нас не в точке отправления, не в личном процессе, не в диалектической *драме,* которыми мы отыскиваем истину, а в том, *истинна ли истина,* которая стала нашей плотью и кровью, нравственным основанием всей жизни и деятельности, и верны ли пути, которыми мы осуществляем ее. Что слово *драма* или *роман* идут к процессу развития живых учений, это мы знаем по опыту. Вспомните борьбу славянофилов с нами в сороковых годах и сравните ее с тем, что

теперь делается. Два противуположные стана, как два бойца, переменили в продолжительном состязании место, перемешали оружия. Славянофилы сделались западными террористами, защитниками немецких государственных идей, а часть западников (и мы в том числе), отрекаясь от salus populi [2] и кровавого прогресса, стоит за самоправность каждой области, за общину, за право на землю. При этом кружении, при этом обмене сторон и оружий осталась неизменной та точка, около которой совершилось все это. Мое воззрение отчасти вам известно, я думаю, что знаю ваше, а потому *точку* определить не трудно. Господствующая ось, около которой шла наша жизнь,— это *наше отношение к русскому народу, вера в него, любовь к нему* (которую я так же, как и «День», не смешиваю с больше и больше ненавистной мне добродетелью патриотизма) и *желание деятельно участвовать в его судьбах.*

Любовь наша не только физиологическое чувство племенного родства, основанное исключительно на случайности месторождения; она, сверх того, тесно соединена с нашими стремлениями и идеалами, она оправдана верой, разумом, и потому она нам легка и совпадает с деятельностью всей жизни.

Для вас русский народ преимущественно народ *православный,* т. е. наиболее христианский, наиближайший к *вести небесной.* Для нас русский народ, преимущественно *социальный,* т. е. наиболее близкий к осуществлению одной стороны того экономического устройства, той *земной вести,* к которой стремятся все социальные учения.

Не мы перенесли на народ русский свой идеал и потом, как это бывает с увлекающимися людьми, сами же стали им восхищаться, как находкой. Мы просто встретились. События последних годов и вопросы, возбужденные крестьянским делом, открыли глаза и уши слепым и глухим. С тех пор как огромная северная лавина двинулась и пошла, что б ни делалось, даже самого противуположного в России, она идет от одного социального вопроса к другому.

Социалист я не со вчерашнего дня. Тридцать лет тому назад я высочайше утвержден Николаем Павловичем в звании социалиста — cela commence à compter [3]. Через двадцать лет я напомнил об этом его сыну в письме, которое вы знаете [4], и через десять других говорю вам, что я решительно не вижу выхода из всеобщего импаса [5] образованного мира, кроме старческого обмиранья или социального переворота — крутого или идущего исподволь, нарастающего из жизни народной или вносимого в нее теоретической мыслью — все равно. Вопрос этот нельзя обойти, он не

может ни устареть, ни сойти с череды, он может быть оттерт, заставлен другими, но он тут, как скрытая болезнь, и если он не постучится в дверь, когда всего меньше думают, то постучится смерть.

Политическая революция, пересоздающая формы государственные, не касаясь до форм жизни, достигла своих границ, она не может разрешить противуречия юридического быта и быта экономического, принадлежащих совершенно разным возрастам и воззрениям,— а оставаясь при их противуречии, нечего и думать о разрешении антиномий, и прежде существовавших, но теперь пришедших к сознанию — вроде безусловного права собственности и неотрицаемого права на жизнь, правомерной праздности и безвыходного труда... Западная жизнь, чрезвычайно способная ко всем развитиям и улучшениям, не касающимся первого плана ее общественного устройства, оказывается упорно консервативной, как дело доходит до линии фундамента. Феодально-муниципальное устройство его стоит твердо и втесняет себя уж не как разумный или оправданный факт, а как существующий и привычный. За городовым валом своим он не боится сельской нищеты и полевого невежества, окружающего его. Против оторванных от земли, против номадов цивилизации, сражающихся с голодной смертью, он защищен — армией, судом, полицией. Внизу — готизм, католицизм, пиетизм и детское состояние мозга. На вершинах — отвлеченная мысль, чистая математика революции, стремящаяся примирить безумие существующего с разумом водворяемого компромиссом между готизмом и социализмом. Этот half-and-half [6] и есть *мещанское государство.*

Когда я спорил в Москве с славянофилами (между 1842 и 1846 годами), мои воззрения в основах были те же. Но тогда я не знал Запада, т. е. знал его книжно, теоретически, и еще больше я любил его всею ненавистью к николаевскому самовластью и петербургским порядкам. Видя, как Франция смело ставит социальный вопрос, я предполагал, что она хоть отчасти разрешит его, и оттого был, как тогда называли, *западником.* Париж в один год отрезвил меня, зато этот год был 1848. Во имя тех же начал, во имя которых я спорил с славянофилами за Запад, я стал спорить с ним самим.

Обличая революцию, я вовсе не был обязан переходить на сторону ее врагов — падение февральской республики не могло меня отбросить ни в католицизм, ни в консерватизм, оно меня снова привело *домой.*

Стоя в стану побитых, я указывал им на народ, носящий

в быте своем больше условий к экономическому перевороту, чем окончательно сложившиеся западные народы. Я указывал на народ, у которого нет тех нравственных препятствий, о которые разбивается в Европе всякая новая общественная мысль, а, напротив, есть *земля под ногами* и вера, что *она его.*

И вот пятнадцать лет я постоянно проповедую это. Слова мои возбуждали смех и негодование, но я шел своей дорогой. Пришла Крымская война, смех заменился свистом, клеветой... но я шел своей дорогой. По странной иронии мне пришлось на развалинах французской республики проповедовать на Западе часть того, что в сороковых годах проповедовали в Москве Хомяков, Киреевские... и на что я возражал.

Год тому назад я встретил на пароходе между Неаполем и Ливорной русского, который читал сочинения Хомякова в новом издании [7]. Когда он стал дремать, я попросил у него книгу и прочел довольно много. Переводя с апокалиптического языка на наш обыкновенный и освещая дневным светом то, что у Хомякова освещено паникадилом, я ясно видел, как во многом мы одинаким образом поняли западный вопрос, несмотря на разные объяснения и выводы. Патологическое описание Хомякова верно, но из этого не следует, что я согласен с его теорией и с его объяснениями зла. То же самое в его оценке бытовых элементов русской жизни, на которых возникает наше развитие. Хомяков, например, полагает, что вся история Запада, т. е. почти *вся* история полутора тысячи лет, не удалась оттого, что германо-романские народы приняли католическую веру, а не греческую, и дает чувствовать, что спасение их, собственно, невозможно на том основании, на котором у нас берут во двор немецких принцесс при перемене одного христианского исповедания на другое. Я считаю, что такие длинные, хронические болезни далеко не излечимы такими простыми, *симпатическими* (как говаривали встарь) средствами, ни таким гомеопатическим вышибанием клина клином. Вообще я ни прежде, ни теперь не мог понять, отчего все христианство за стенами восточной церкви *не христианское* и отчего Россия представляет учение о свободе (разумеется, не на практике...), а Запад — учение, основанное на необходимости. Это становится еще темнее, читая католические любезности той же пробы насчет схизматиков...

...На этом месте меня застало ваше письмо... Оно изменяет температуру. Из вашего письма и из его сильного одушевления я вижу, что был совершенно прав, «отмахиваясь» от богословско-метафизической контроверзы. Я знал,

что она не приведет к добру и не принесет того огня, который светит и греет, а раздует тот, которым жарили еретиков и неверующих.

Делить людей на агнцев и козлов — дело не хитрое и не новое; ставить в одну категорию всех людей религиозных, и преимущественно православных, а в другую — всех остальных, и преимущественно материалистов — легко. Жаль только, что это деление имеет один важный недостаток — полнейшую неверность в практике. Вам, как всем идеалистам и теологам, это все равно; вы строите мир a priori, вы знаете, какой он *должен быть* по откровению,— ему же хуже, если он не такой, какой должен быть! Если б вы были просто наблюдатель, вас остановили бы факты, противуречащие вашему мнению, они заставили бы вас возвратиться к перебору начал и решить, история ли и жизнь нелепы, или учение ложно. Уверенные в непогрешительности учения, вы шагаете через. Что вам за дело, что возле мартилога христианства — мартилог революции! История вам указывает, как язычники и христиане, люди, не верившие в жизнь за гробом и верившие в нее, умирали за свое убеждение, за то, что они считали благом, истиной или просто любили... а вы все будете говорить, что человек, считающий себя скучением атомов, не может собою пожертвовать; а человек, который считает свое тело искусными, но презренными ножнами души, жертвует собой по праву, несмотря на то, что история вовсе не доказывает, чтоб материалисты 93 года были особенные трусы, а верующие по ремеслу — попы, монахи — были бы (кроме Польши) особенно падки на самоотвержение и героизм. Дело в том, что все эти *первые мотивы* и метафизические миросозерцания вовсе не имеют такого решительного и резкого влияния на характер и действия, как вы полагаете. Большое счастие, что голод и жажда развиваются прежде, чем человек обдумает, стоит ли кормить ничтожные атомы и достойно ли поить презренные ножны. Привычка сделана, и еда идет своим чередом, а трансцендентальная психология — своим. Матери не нужно ни религии, ни атеизма, что любить своего ребенка; человеку вообще не нужно ни откровений, ни сокровений, чтоб быть привязанным к своей семье, своему племени и, если случится, вступиться за них; а кто вступается, тот иной раз ложится костьми — из ничтожных ли атомов они или из творческого вовсе ничего, это все равно.

Обо всем этом можно наговорить бездну интересных вещей, бездну вещей, давно сказанных, не говоря ни слова о русском вопросе, который меня занимает гораздо больше

этих безвыходных параллелей, в которых можно биться до конца жизни, не двигаясь ни на шаг и не выплывая на берег.

Вы находите, например, непоследовательным, что человек, не верующий в будущую жизнь, вступается за настоящую жизнь ближнего. А мне кажется, что *только он* и может дорожить *временной* жизнью своей и чужой; он знает, что лучше этой жизни для существующего человека ничего не будет, и сочувствует каждому в его самохранении. С теологической точки зрения смерть представляется совсем не такой бедой; религиозным людям была нужна заповедь «не убей», чтоб они не принялись людей спасать от греховного тела; смерть, собственно, одолжает человека, ускоряя его вечную жизнь. Грех убийства состоит вовсе не в акте плотоумертвления, а в самовольном повышении пациентов в высший класс. Наши вешающие генералы с религиозной точки легко оправдываются; они отсылают подсудимых в высшую инстанцию, там они могут оправдаться, и, чем невиннее окажутся, тем лучше будет их судьба. Вы дивитесь, почему мы дорожим так кровью, будучи «материалистами» (я для вас повторяю это слово, оно и не выражает дела, и очень школьно) [8],— из этого ясно, что вы, с вашей точки, имеете полное право сострадания,— отчего же вы им не пользуетесь? Отчего я в ваших словах, в вашем письме не видал ни одного слова участья и состраданья к казнимым, к идущим на каторгу? Почему вы думаете, что все это виновные, как будто бывают тысячи виновных, как будто в числе казнимых нет людей, чисто преданных своему делу?.. Да и, наконец, если б все были виноваты, кто же за их вину вас-то наказал безучастьем к судьбам их? Отчего вы гораздо больше заняты определением *вменений,* наказаний, чем оправданием обвиняемых?

Вы меня даже спрашиваете, какими нравственными наказаниями я заменяю телесные и не телесные ли наказания тюрьма, ссылка и пр., как будто я когда-нибудь брался, как князь Черкасский, находить детские или старческие, светские или духовные розги и их эквиваленты? [9] Из того, что я говорил о нелепости, о гнусности полосовать человеку спину за прошлый поступок, не следует вовсе, что я тюрьму считаю умной и рациональной, а штраф справедливым.

— «Хотите уничтожения холеры?» — Без сомнения.

— «Но какой же заразой ее заменить? И легче ли будет новая зараза?» — Такого вопроса ни один доктор не разрешит.

Розги и тюрьмы, грабеж судом выработанного и насильственная работа виновного — все это *телесные* наказания

и могут быть только заменены иным общественным устройством.

Материалист Оуэн не искал ни преступников, ни наказаний, ни уравнений между кандалами и побоями, а думал, как найти такие условия жизни, которые не наводили бы людей на преступления. Он начал с воспитания; испуганные безнаказанностью детей, пиетисты закрыли его школу.

Фурье попытался самые страсти, причиняющие в своем необузданном и вместе с тем стесненном состоянии все преступные взрывы и отклонения, направить на пользу общества — в нем заметили одну смешную сторону...

Целые страны существуют без телесных наказаний, а у нас еще ведут контроверзу о том, сечь или не сечь. Если сечь — чем сечь? Если не сечь — сажать ли на цепь или в клетку?.. Что лучше — розга или клетка?.. Какова клетка, какова розга? Детская розга хороша, а детская клетка никуда не годится.

«Уничтожение наказаний невозможно»,— скажете вы с точки зрения религии, которая сделала себе специальностью все прощать, всех прощать. Может быть — но ведь из этого не следует, что наказания надобно выдавать за правду, а за то, что они есть,— за печальную необходимость, за несчастное последствие. О самих вменениях хлопотать нечего, они найдутся. Пока будет судейское ремесло, пока останется кровавый кодекс общественной мести и средневековое невежество масс, хирург правосудия — палач — не умрет без работы.

Но оставимте, наконец, все эти общие диссертации; я еще раз «отмахиваюсь» от них и перехожу к нашим домашним делам.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Вы строго нас судите. «Ваша пропаганда,— говорите вы,— подействовала на целое поколение, как гибельная, *противуестественная привычка,* привитая к молодому организму, еще не успевшему сложиться и окрепнуть. Вы иссушили в нем мозг, ослабили нервную систему и сделали его не способным к сосредоточению, выдержке и энергической деятельности... Причина всему этому злу — *отсутствие почвы,* заставляющее вас продолжать без веры какую-то *революционную чесотку,* по старой памяти»[10].

Что у нас есть *почва,* и даже отчасти общая с *вами,* я вам сказал. Мы на нашей почве, очень реальной, стоим очень реально; почва обыкновенно бывает под ногами; у вас есть

другая над головой; вы богаче нас, но, может, поэтому земные предметы вам представляются обратными.

Что касается до «чесотки», об ней поговорим после, а теперь позвольте вас спросить: да в самом ли деле у нового поколения иссушен мозг и ослаблена нервная система, в самом ли деле оно не способно к *выдержке* и *энергии?* Я ставлю сильный вопросительный знак.

Как бы нам, старикам, не пришлось себя винить в противуестественных привычках вместо молодого поколения? И вы и мы по положению, по необходимости были рефлектерами, резонерами, теоретиками, книжниками, *тайнобрачными* супругами наших идей. Все это было уместно, необходимо после перелома русской жизни в 1825 году; надобно было сойти поглубже в себя, добраться до какого-нибудь света, все это так — *но энергией, но делом, но мужеством* мы мало отличились. Вы скажете, что, когда нет войны, нет и случая показать свою военную отвагу,— без сомнения, но нечего же и бросать каменья в юношей, рвущихся на бой, за то, что они пошли слишком задорно и, главное, не дочитали своих учебников. История и география вещи хорошие, но за их незнание нельзя предавать целое поколение проклятию и, разодравши сертуки наши, с злобной радостью видеть, когда его посылают на каторгу. В 1812 году мальчики шли на войну, и никто не бранил их за то, что они, не кончив курса, брали георгиевские кресты.

Невежество — там, где оно не роковая необходимость, а следствие лет и небрежности,— я, конечно, ненавижу не меньше вашего; но, во-первых, я желал бы знать, что вы разумеете под невежеством? Изучение филологии, *классическое* образование составляли прежде все образование; теперь больше других специалистов; теперь больше занимаются естественными науками. А во-вторых, есть в истории народов полосы, в которые пульс усиливается и мешает обыкновенному строю, в котором все кругом колеблется, изменяется, другие потребности овладевают умами, чем во времена застоя, и увлекают их. Россия явным образом в этом положении с Крымской войны. Спокойно, кабинетно заниматься вряд было ли возможно не только молодежи, но и седым головам.

Нам учиться был страшный досуг. Мы, кроме книги, ни за что и не брались; мы удалялись от дела, оно было или так черно, или так невозможно, что не было выбора; люди, как Чаадаев, как Хомяков, исходили болтовней, ездили из гостиной в гостиную спорить о богословских предметах и славянских древностях. Мы все были отважны и смелы

только в области мысли. В практических сферах, в столкновениях с властью являлась большей частию несостоятельность, шаткость, уступчивость. Хомякову было за сорок лет, когда ему Закревский велел обриться, и он обрился. Бывши под следствием в 1834 году, я скрывал свои мнения, мои товарищи тоже. Не знаю, что скажут другие бывшие по крепостям и призываемые в III отделение, но мне кажется, что после декабристов до петрашевцев все лыняли. Самая революционная натура николаевского времени, *Белинский*, и он был сведен на эстетическую критику, на Гегелеву философию и дальние намеки.

Все печально сидело по щелям, читало книги, писало и, по большей части украдкой, показывало потом статьи. Вдруг, когда всего меньше ждали, в петровском тюремном корабле открылась течь. Обезумевший шкипер первый растерялся и умер. Середь мрачной и мертвой тишины весть о его смерти сверкнула молнией, и все зашевелилось, подняло голову, подняло голос, все были готовы ринуться, исполненные надежд, ожиданий... Куда?.. Этого еще никто не знал, а только спрашивали: когда же? что же?.. да скоро ли?

Минуты великие, в которые начинается пробуждение целой страны, на вершинах всех слоев занимается заря... и все чувствуют, что начинается другое время, новый день...

И вы могли думать, что молодежь, что шестнадцатисемнадцатилетние юноши останутся спокойно и благонравно доучиваться с тем втесненным безучастием к жизни и отчаянным усердием, с которым мы сидели на университетских лавках? И это несмотря даже на то, что у них не было больше профессоров, как Грановский, и со всех сторон врывался в аудиторию говор об общественных делах? Какой же вы плохой знаток человеческого сердца!

Что, собственно, вас сконфузило и испугало? Что студенты стали делать сходки, посылать депутатов к начальству, говорить речи? Отчего же студентам не делать сходки? Зачем молчание монастыря, передней или фрунта? Больных в комнате не было, а была горячая молодежь, которой разрешили немного погромче говорить. Зачем вы и ваши друзья принесли на эти весенние праздники угрюмую фигуру недовольных учителей, монахов на пирушке? Зачем вы видели в этом естественном взрыве молодых сил один беспорядок и нарушение строя (и какого строя!)? Зачем в языке, который обращался к молодежи, был слышен клерикальный и начальнический тон? Одно мягкое братское слово могло сделать больше впечатления, чем

томы черствых проповедей. Вы оскорбили молодежь безучастием и порицанием в минуты дорогие для нее. Чему же дивиться, что и та часть ее, которая слушала вас прежде, отстранилась и ускользнула от вас?

Новые деятели, выступившие на сцену, мало-помалу оставленную старыми актерами, испугавшимися, что пьеса, которую они весь век представляли, начинает превращаться в быль, двинули молодежь в ином направлении, и если они меньше учили ее по книге, то учили больше примером. Оттого молодое поколение стало складываться с бóльшим мужеством, с большей выдержкой и с большей готовностию на бой — вам это может не нравиться, но все же это совершенно противуположно той *энервации,* о которой вы говорите.

Хотите примеры, я вам напомню три-четыре случая, известные всей России; мало их, я готов привести двадцать. Боюсь одного, что они не подействуют на вас: для того, чтоб вы оценили подвиг преданности, любви, вам надо, чтоб он был в четьи минеях или по крайней мере в Болгарии или Сербии, а это все примеры светские, петербургские и иногородные.

Перед каким-нибудь римским центурионом, смело читавшим «запрещенные» молитвы, не боясь ни своего легионера, ни диких зверей, религиозные люди умиляются тысячу восемьсот лет; а когда гардемарин *Трувеллер* прямо и открыто говорит: «Да, я давал эти листы, эти книги солдатам, потому что в них заключается правда»; или когда *Сливицкий* на вопрос, кто писал письмо, служившее единственным доказательством против него, говорит, что писал письмо он, и подписывает его, зная, что он подписывает свой приговор; когда *Муравский,* больной, без всяких средств, встает перед судьями и говорит им все, что накипело в его душе,— тогда почитатели центуриона называют это мальчишничеством, дерзостью, западной демонстрацией [11].

Что, *энервированный* Михайлов просил пощады? Обручев валялся в ногах царя? Чернышевский отрекся от своих убеждений? Нет, они ушли на каторгу с святою нераскаянностью. И у Мартьянова нервы не особенно были слабы, когда, обиженный враждебным отношением всей Европы к России, он предал сам себя земскому царю [12].

Я ни в тридцатых, ни в сороковых годах не помню ничего подобного.

Двенадцатого апреля 1861 года русская земля обагрилась русской кровью [13]. Пятьдесят крестьянских трупов легло на месте, восемьдесят тяжело раненных умирали без всякой помощи по избам. Фанатик, который их вел, простой

крестьянин, как Мартьянов, веровавший в земского царя и золотую волю, был расстрелян Апраксиным. С казни Антона Петрова началась та кровавая полоса нового царствования, которая с тех пор, не перемежаясь, продолжается и растет, но не одна она. С этой же казни начался мужественный, неслыханный в России протест, не втихомолку, не на ухо, а всенародно, в церкви — на амвоне. Казанские студенты служили панихиду по убиенным, казанский профессор произнес надгробное слово [14]. Слабодушным этого поступка назвать нельзя.

Публицист, не имеющий возможности при капризной цензуре нашей сказать свое слово о крестьянском вопросе, печатает свою брошюру в Германии, подписывает ее, говоря в предисловии, что настала пора открытых поступков... Публицист этот третий год уже ждет в каземате приговора на каторжную работу [15].

Где же доказательства той нравственной распущенности, той неспособности к энергическому делу, в которой вы обвиняете молодое поколение? Из-за чего вы так осерчали против него? Неужели только из-за того, что оно мало и дурно учится? У нас спокон века учились мало и скверно, и неужели молодежь, шедшая в юнкера и выходившая из кадетских корпусов, училась больше? Отчего же вы об ней не кручинились?

Правительство гонит молодое поколение потому, что оно его боится, оно уверено, что пожар был от «Молодой России» [16] и что еще две-три прокламации — и в Петербурге настал бы 93 год. Правительство до «Молодой России» и после «Молодой России» вовсе не похожи друг на друга — она действительно произвела переворот. Министры прогресса и директоры либерализма, гуманная полиция и столоначальники освобождения — все исчезло, как прах, от ужаса и слов «Молодой России». Правительство стремилось возвратиться в николаевскую смирительную гавань... По счастию, к ней плыть было тоже страшно, и оно остановилось, как пароход без угля и парусов, со всеми неудобствами качки, но без движения вперед. Страх, наведенный небольшой кучкой энергической молодежи, был так велик, что через год Катков поздравлял правительство и всю Россию с тем, что она миновала страшную революцию. Гонения правительства, стало быть, объяснены — у страха глаза велики.

Вы совсем в другом положении. Вы уверены, что всякая революционная попытка в России невозможна, что «русский народ не пойдет против своего царя, что дворянство без него бессильно и что надобно быть поврежденным, чтоб

предположить, что несколько студентов, не кончивших курс, сделают в России переворот прокламациями à la Baboeuf» [17]. Прекрасно, ну так и оставьте это бессилие и не делайте из него силу. Люди настолько в самом деле становятся сильны, насколько сами верят и верят их окружающие.

— «Да, но они ошибаются, их надобно поставить на путь истинный»,— но ведь ошибаются и те, которые столы вертят и которым Юм ходит по голове, что же вы не направите паяльную трубку вашу на них?

Если вас испугал самый факт «подпольной литературы», то это только доказывает нашу великую девственность в этих делах. В какой же стране, где существовала цензура и правительственный произвол, когда в ней возбуждалось умственное движение и желание воли, не было тайных типографий, тайного распространения рукописей? Это такой же естественный факт, как печатание за границей, как эмиграция. Все христианство распространилось подпольной литературой вроде нашей раскольнической.

Нет, тут что-то другое, все это не объясняет священного гнева нашего. Уж не особенно ли сердит вас *то учение,* которое легло в основу нового направления?

Не гоните ли вы в молодом поколении *материализм,* так, как гоните в поляках *католицизм?*

В раздражении вашем, в том, что вы меня обвинили, что я гибельно подействовал на целое поколение, нет ли у вас особого чувства dépit [18], от которого надобно чрезвычайно остерегаться и в котором невольно лежит сознание, что ваша пропаганда, несмотря *ни на тяжелые беседы, ни на нелегкие дни* [19], не имела никакого успеха в молодом поколении, не соблазнила бы его без патриотических конфортативов. Если б я выражался с той патологической откровенностью, с которой вы выражаетесь, я сказал бы, что вас приводит в гнев то, что наша *революционная чесотка* взяла верх над *богословскими паршами* светских пастырей наших, идущих по стопам богоотец своих Магницких, Руничей и пр.

Беспощадным порицанием молодого поколения вы оканчиваете схоластическую контроверзу, а правительство находит в нем оправдание своим гонениям. Вы сердитесь диатрибами, а правительство — каторгой, казнями. Неужели вам может нравиться этот неровный бой? Воля ваша, а это дурной метод вести учено-богословские споры.

С тою же несправедливостью, но с гораздо большей жестокостью отзываетесь вы об молодых офицерах, писавших к нам из Польши. Офицеров всегда строже наказывают военные судьи, но мы с вами статские.

Чудеса наделало петровское воспитание, оно лишило нас всякого смысла свободы и независимости. Нашей освобождаемости едва хватило на пять лет, следовавшие за смертью Николая. Стоило наткнуться на две, на три прокламации, на матрикулы и на рассуждающих офицеров, чтоб с испугом бежать назад, под кров квартальных нянек и правительственной опеки. Мы торопимся завесить, как Сен-Жюст, «статую свободы и права человека» [20], забывая, что у нас ее нет, а вместо прав человека — покаместь только уничтожение крепостного права.

Говорят, что Англия любит свободу, но не любит равенства, что Франция любит равенство, но не любит свободы. Россия их опередила: она равно не имеет ни пристрастия к равенству, ни *емкости* к свободе. Это так и ведет от аракчеевского императорства к императорству пугачевскому.

Первое мы знаем хорошо. Сухая, беспощадная, фрунтовая выправка, вечное молчание, бессмысленное повиновение, механический порядок — идеал великого курфирста в колоссальных размерах и в колоссальном развитии. В мещанском мизере немецкой жизни фельдфебельству негде было расправить члены; на русском черноземе благодаря помещичьему закалу оно быстро развилось до заколачивания в гроб и *до музыки в шпорах*. Вся педагогия Петра и его наследников состояла в вариациях на эту музыку, т. е. в переложении на русские нравы немецкой казарменной дисциплины. Составились общие катехизисы, философские сентенции вроде знаменитого совета: «Ты мне из десяти рекрут выправь одного солдата, да чтоб был *солдат*», т. е. девять остальных забей, убей, изуродуй, но чтоб у десятого была музыка в шпорах. Самое удивительное во всем этом то, что любовь к этой музыке просочилась во все слои штатского общества, мужского и женского.

Вас сердит, что молодые офицеры обратились ко мне «как к своему directeur de conscience». Вас сердит, что они готовы были скорее перейти в ряды освобождающихся поляков, чем стрелять в них. Вы упрекаете меня, что я *«не догадался* объяснить им все злодейство человека, *носящего русский мундир, из рук русского правительства получаю-*

щего жалованье и *власть* над солдатами, который замышляет *во время войны* пристать *к врагам»* [21].

Итак, мундир делает из человека спадасина без воли и нравственности! А подкуп жалованьем низводит спадасина на степень наемного убийцы. Ваши доводы мне напомнили того вольтеровского солдата, который на вопрос путника: «Из-за чего война?» — отвечает: «Это до меня не касается. Мое ремесло состоит в том, чтоб убивать, быть убитым и этим жить, об остальном знает начальство».

По этой теории мундира и жалованья как критериума нравственности ни один народ никогда не вышел бы из зависимости вооруженной шайки. Возмущением против безнравственных приказов, отказом исполнять их начались все освобождения в мире. Офицеры нигде не считали себя *на содержании* у государя; они везде знали, что жалованье *выдает* правительство, а платит народ; везде знали, что есть предел, далее которого повиновение не идет. Неужели генералы, полковники и офицеры, которые годы целые засекали насмерть целые деревни для водворения ненужных военных поселений, поступили доблестнее подполковника Красовского, сказавшего своим солдатам: «Не стреляйте, братцы, в своих родных, не бейте крестьян» — и пошел за то на каторгу?

Вы упомянули слово «война». *Польской войны* вовсе не было, а было *польское восстание,* что совершенно меняет дело. Сверх того, офицеры писали к нам гораздо до восстания. Они писали к нам осенью 1861 года, спрашивая, что им делать, если Польша восстанет, а их пошлют усмирять. Мы советовали им идти в отставку и ни в каком случае не драться против людей, ищущих независимости своей родины.

Почти через год получили мы другое письмо (оба писал от имени товарищей А. Потебня). Офицеры извещали нас, что ответа нашего не получали (вероятно, благодаря родственной прусской почте), что их пропаганда идет быстро и что они решились в случае восстания идти с поляками, но что им бы очень хотелось узнать мое мнение. Вы смеетесь над этим и называете меня их directeur de conscience. Отчего же это смешно? Не оттого ли, что у меня нет *директорского* мундира и я не получаю *жалованья,* ну хоть из синода, за мою духовную работу? Что же смешного, что к человеку, который *тридцать лет* проповедовал одно и то же, обратились за советом молодые люди, разбуженные, может, его словами, в минуту мучительного противуречия человеческого долга с долгом служебным?..

Не успели мы обдумать ответ, как страшная весть напомнила нам, с каким зверем офицеры имеют дело. Июня 16-го 1862 были расстреляны Аргольдт, Сливицкий и Ростковский за пропаганду между солдатами, «за дерзкие речи» и «*превратные* толкования».

Рубикон был перейден. Испуганное журнальными алармистами и николаевскими генералами, правительство дерзнуло *казнить* без крайности, без опасности; казнь Антона Петрова указала дорогу. Приучение непривыкшего общества и народа к судебным убийствам, к крови — факт чудовищной безнравственности. Мы думали, что по крайней мере кнутом, клеймом, рваньем ноздрей, плетьми, палками, розгами, фухтелями, шомполами, шпицрутенами и пр. русский народ откупился от виселиц, эшафотов и *смерти свинцом,*— не тут-то было. Дверь палачу была открыта через кордегардию. Ужас перед смертной казнью исчез, нервы укрепились. Можно было предвидеть и того безумного генерал-губернатора, который расстрелял в Нижнем разбойника *по подозрению* [22], и ту развратную журналистику, которая рукоплескала казням и дальше подталкивала рассвирепевшее правительство. Вы, как богослов, очень хорошо знаете, что есть заповедные святыни, которые твердо и несокрушимо держатся, пока никто не касается до них, и падают, как только допускаются исключения. В России человек ничего не стоил или стоил по справочным ценам столько-то за душу и на рекрутские квитанции, но жизнь человеческая была *почему-то* свята, последовательно или нет — все равно. В совести правительства и в совести народа было отвращение от смертной казни. У нас казнили в последнее время только в чрезвычайных случаях, и то больше для царского удовольствия, чем по внутреннему чувству справедливости. Уничтожением смертной казни мы хвастались перед другими народами.

Вдруг *три* жертвы, три молодые жертвы, беспощадно расстрелянные, не уваженные даже *царской скрепой приговора*... И во всей литературе не нашелся ни один орган, ни один публицист, ни один поэт, во всем обществе не осмелился ни государственный человек, ни женщина, ни иерарх церкви поднять голос и указать весь ужас этого *почина* крови; не нашелся ни один человек, ни один член царской фамилии, который бросился бы перед царем и остановил его руку, пока она не обагрилась русской кровью... Одна молодежь, «энервированная нашей пропагандой», одни несчастные офицеры, считающие нас за своих directeurs de conscience, помянули казненных торжественной панихи-

дой, да наш дальний Колокол печально прозвонил им вечную память и успокоенье с нашими святыми.

Смерть Аргольдта и его товарищей произвела то, что всегда производят мученичества,— удвоенную энергию, удвоенную ненависть; казнь не запугала никого, офицерский кружок крепче сплотился около Потебни. Для меня совершенно понятно, что никакой мундир, даже гусарский или шитый, никакое жалованье, даже с прибавлением столовых и подъемных, не могли заглушить совести офицеров в виду этой начинавшейся оргии казней, крови и бешеного патриотизма. Не дождавшись нашего ответа, они прислали в Лондон Потебню.

Личности больше симпатичной в великой простоте, в великой преданности, в безусловной чистоте и бескорыстности своей, в трагическом понимании своей судьбы — я редко встречал. В статье Огарева «Надгробное слово» («Кол.», 1 мая 63 г.) нет тени увеличения. Потебня принадлежал к числу тех воплощений вековой боли целого народа, которыми он изредка отбывает страдания, скорбь и угрызения совести. Он плохо верил в успех, но шел, шел потому, что он не мог примириться с мыслью, что русское войско, что русские офицеры без протеста, холодно и беспощадно пойдут бить людей, с которыми два года жили в близости, за то, что они хотят быть вольными. Смерть трех товарищей его, расстрелянных в Люблине, бродила в его крови, и он погиб, потому что хотел погибнуть и потому что твердо веровал, что смерть его искупает повиновение других. «Я еду,— писал он, отправляясь в Польшу,— а в ушах у меня раздается: мы, на смерть идущие, вам кланяемся!»

Мы предвидели гибель их и всеми силами старались задержать восстание. Правительство, напротив, утомленное quasi-законностью, торопилось скорее покончить «польское затруднение».

Офицеры сделали последний торжественный шаг, последний протест, они написали адрес...

Вместо того чтоб приходить в дисциплинарное негодование и официальный ужас от офицерской продерзости, подумайте об ней. Освободитесь на минуту от *петербургской* раздражительности перед словом, сказанным «не по начальству», перед делом, написанным не по форме, перед всяким свободным актом человека и скажите, что преступного в том, что накануне междоусобицы офицеры доводят до брата государя, до наместника края о том, что у них на душе, и просят их *спасти* от измены себе или долгу? «Мы в невыносимом положении в Польше,— пишут они,— мы

не хотим быть изменниками русскому народу, но не хотим быть и палачами!» Во время севастопольской осады подобные сомнения не возникали и подобных вопросов не ставилось. Если б Константин Николаевич в свою очередь подумал об этом (по несчастию, им всегда недосуг думать), то, может быть, вместо того чтоб поручать Минквицу составление контрадреса, над которым смеялся весь мир, он довел бы его до государя, и сколько бедствий, крови было бы спасено... Но как допустить такую дерзость не только офицерам, но и генерал-аншефам! Отчего же идущий на смерть по службе не имеет права осужденного на казнь сказать свое последнее слово, выразить свое желание? Если б в 49 году Паскевичи и Ридигеры довели до Зимнего дворца настроение русских войск и офицеров в Венгрии, мы не видали бы преступного, отвратительного зрелища русской армии, бьющей дружески расположенный к нам народ в пользу своего злейшего врага.

Петербургское правительство всегда, во всем шло напролом, ломало все, что попадалось под ноги, лишь бы дорога была посыпана песком и, главное, была бы вытянута прямолинейно по шнуру. Оно ни разу не останавливалось ни перед чем и топтало без зазрения совести все дорогое и святое человеку. Человеческий оборот дела если и приходил изредка ему в голову, то всегда поздно. Во всем, везде сначала дикая сила, ломанье, и, когда дело вполовину погибло на корню, тогда принимаются залечивать. Сперва столкнут целое население к морю, чтоб от него отделаться, а потом догадаются, по иностранным газетам, что меньше нельзя сделать, как дать им корабли.

Человеческие пути дальше и сложнее, пути насилия коротки и казисты. Для того чтоб их употреблять, надобно иметь отсутствие сердца, очень ограниченный ум и совсем не ограниченную власть, надобно иметь исполнителей, которые никогда не спрашивают, так ли это и почему так. Иметь все это, при счастливых обстоятельствах, бездарностью и ограниченностью можно наделать чудеса нелепостей и бог знает что загубить: «Петрополь вызвать — из блат», Зимний дворец — из пепла, сделать из деревень — военные поселения, из военных поселений — деревни...

...Накануне польского восстания представлялись два средства для того, чтоб его остановить: депортация нескольких тысяч человек подтасованным *набором* [23] и *освобождение крестьян,* как оно сделалось через год после резни и террора.

Я не встречал ни одного человека с здравым смыслом,

которого бы весть о наборе не ошеломила. Князь Орлов поскакал в Варшаву уговаривать великого князя; говорят, что вел. князь сам был в раздумье, телеграфировал государю. Но дело было zu petersburgisch [24] ...набор не отменили. Все усилия, просьбы, доводы, которыми многие старались остановить, задержать восстание, исчезли как прах перед набором.

«Вы видите,— говорил нам в декабре месяце Сигизмунд Падлевский в Лондоне,— можно ли медлить и в нашей ли воле остановить восстание? Если эта варварская травля на людей сбудется, мы, может, все погибнем, но восстание будет наверное». И он поехал с Потебней в Польшу.

Знаменитая бранка [25] была в Варшаве 15 января, 21 января вспыхнуло восстание, а месяца через три не было уже ни Потебни, ни Падлевского — кровь лилась рекой, и на мрачном горизонте России подымались два тусклые пятна вешателя и его ритора [26], именами которых будет помечена эпоха, начавшаяся с конца 1862...

Напрасно хотят покрыть это темное время одним патриотическим взрывом и возбужденным чувством национального достоинства. Одна непомерная спутанность понятий и наглость языка может ставить год *казней* наряду с годом *побед,* год великой и малой полиции с великим 1812 годом. Что кастратский задор западных нот мог взбесить всю Россию и она показала готовность отпора — это понятно, что по сей верной оказии многим захотелось наконец сбросить нравственное иго Европы *, в котором нас держали всякие фамулусы Гнейста и подмастерья немецких гелертеров, также понятно. Но взглядитесь в результат всей агитации. Когда вчерашние почитатели Англии, громко презиравшие все русское, премудро сделавшие «шанже через половину манежа», раздули вместе с откровенными кликушами и беснующимися о России патриотические искры в длинное пламя, которому недоставало одного — сожигаемого материала, т. е. неприятеля, следовало бы успокоиться на сознании и заявлении своей силы. Не тут-то было. Все это возбуждение, вся готовность сразиться с Европой перешла в *полицию.* Прокофьи Ляпуновы и Минины Сухорукие почувствовали себя квартальными и частными приставами; доносчики, сыщики — Фигнерами и Сеславиными; Муравьев — князем Пожарским. Не имея ни отечества для спасения, ни мира для покорения, все бросились на полицейское усмирение Польши, на полицейское водво-

* О чем мы проповедовали (не говоря уже о славянофилах) пятнадцать целых лет.

рение русского элемента, на полицейскую пропаганду православия, на чиновничью демократизацию края... Такой исток патриотизма слишком сдает нашим Петербургом, и мы не видим в нем русского народного чувства. Русский народ положил бы в котомку свой черствый черный хлеб и пошел бы на войну за Русь, но он отроду не считал Польшу русской — что ему до нее за дело! Он слишком занят заботою дня, своим поземельным и выкупным делом, чтоб заниматься Польшей.

Да если б и в самом деле народ, которому грозили войной из-за Польши, которого уверяли, что в каждом пожаре участвует поляк, заразился бы полицейской чумой образованных сословий, мы и с ним не взяли бы круговой поруки против нашей совести, как не берем ее с вами. Мы не рабы любви нашей к родине, как не рабы ни в чем. Такого языческого, азиатского поглощения своей воли и своего разума племенем, народом не только нет больше в *новом мире,* но никогда не было в мире христианском, по крайней мере в том, который основался и развился «не на свободе», а «на логической необходимости».

Под какой бы логической или стихийной необходимостью мы ни были, мы не отречемся от нашего нравственного самоопределения — от святой, самодержавной независимости нашей, мы никогда не поставим критериум нашей совести в чем бы то ни было вне ее. Оттого-то нам родственно понятен голос юношей, остановившихся в раздумье перед кровопролитьем и спросивших себя: «Да следует ли в самом деле быть слепым орудием правительства?» Оттого-то они для нас недосягаемо выше тучи «охотников», пошедших на помощь правительству, распинавшему Польшу, и переменивших военный мундир на полицейский.

И в то время когда эти несчастные доделывают свое дело мести и ненависти, когда они не могут уняться и после победы и рвутся, как тот гвардейский офицер, который бросился к Павлу, чтоб дать еще пинка умирающему,— в то время кровь Потебни и его товарищей кладет основу забвению прошедшего и будущему союзу для новой жизни обоих народов. Русские юноши смертью в польских рядах засвидетельствовали не рознь свою с народом русским, а единство славянского мира, понимающего все отрасли одного дерева.

Нельзя прилагать уголовный свод и полицейский устав, военный артикул и кабальное право мундира и жалованья к таким трагическим событиям; тут ни лица, ни дела не подходят под мерку судебной инстанции, не исключая

самого правительствующего сената со всеми департаментами своими.

Вы хорошо знакомы с религиозным воззрением на наши мирские дела. Вспомните, что делали монахи (когда они были истиной) на окровавленных полях диких битв. Они не упрекали раненых, не отравляли последние минуты умирающих, они без различия стороны молились о тех и других и утешали последних будущностью, как они ее понимали... У религии не одна сторона *нетерпимости* и *гонений*. Зачем же вы берете только ее?

ПИСЬМА К ПУТЕШЕСТВЕННИКУ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Вы меня забросали вопросами: и что делается, и что делать, и что читать? Какие люди, какие книги, что внутри, что снаружи, куда идут, куда идем, где мы, что мы, и правда ли то-то, и правда ли это-то? О каждом вопросе можно продумать год, написать том, пожалуй, два... дайте же срок, дайте привесть в порядок ваши вопросы и собственные мысли, а главное — дайте прежде всего вас поздравить... не с тем, что вы приехали, а с тем, что вы уезжали, с тем, что вас с начала 1863 года вовсе не было ни в России, ни в Европе. Вы чище нас всеми событиями, которых вы не видали, вы моложе нас всем временем, которого вас не было налицо, вы крепче нас всем здоровым, могучим, суровым воздухом, которым дышали по ту сторону океана... в то время как мы задыхались и исходили стыдом.

Кстати, я очень рад, что вы полюбили Соединенные Штаты, что вам понравилась их дебелая, резкая красота в противуположность седым и повиснувшим прелестям Европы. Американская война наделала страшную кутерьму и окончательно спутала тощие идейки, которыми пробавлялись государственные мозги глубокомысленных политиков...

Не правда ли, как демократии и республики, управляемые «чернью», бестолковы, беспомощны и только годны для маленьких кантонов и больших диссертаций, как федеральность слаба? Да и что же можно сделать без постоянных войск, состоящих в должности саранчи в мирное время, без крепкой централизации, администрации и, главное, полиции? Все это хорошо в книгах, все это утопии, «остроумные мечты»! [1] Какой урок, какой удар! Где та монархия, империя, королевство, где тот священный или проклятый союз помазанных и непомазанных царей, который устоял бы против такого распадения и такого междоусобия, который выдержал бы такую войну, на таком протяжении — год, два, три, четыре? Тут все непонятно

человеку «старого материка», потому что все ново, все в первый раз. Непонятно не только дипломатам, финансистам, стратегам, рутинерам, дельцам, эмпирикам нашего «Западно-восточного дивана» (à la Goethe, сочиненного на немецком языке), но также непонятно чисто *западным* диванам на Сене и Темзе. Сегодня войско побито, завтра оно же идет вперед... сегодня не верят последнему выпуску бумажных денег, завтра их выпускают втрое больше, и дело поправлено. «Отечество в опасности», полтела отщепилось и восстало, успехи нерешительны, потери страшны, и вместо понурой головы, как в Австрии после двух итальянских сражений, и вместо потерянной головы, как во Франции после Ватерлоо, трансатлантический кондор не только дерзко смотрит в глаза старого мира, но еще вызывает его помериться в открытую войну вместо контрабандной и воровской.

Иногда так и кажется, что этот старый мир на новых квартирах и есть именно *тот свет*, в котором сохранилось все энергическое и живучее, умершее *в этом*,— Кромвель и 1789 год, пуритане и энциклопедисты, Гош и Марсо, суровые личности Конвента и суровые последователи Кальвина. Новые основы гражданственности в старом мире оселись в трясинах веками накопившегося невежества и были занесены пылью и песком всевозможных развалин и обломков. В Америке не было ни песку, ни рухнувшихся памятников, в ней не было лаццарониевского осадка *[2], низвергнутого на дно для того, чтоб верхние слои прозрачнее отстоялись. Американское общество *не без гущи*, но зато мышцы у него покрепче, это очень оскорбляет слабонервных детей европейской цивилизации...

Вы все это видели, осязали и жалеете, что вас не было ни здесь, ни в России. Полноте, пожалуйста! Счастье тем сыновьям Ноя, которых не было дома, когда безобразно пьяный отец буянил и полунагой валялся на полу. Оттого что вас не было налицо, вам легче связать конец 1862 г. с началом 1865, чем нам; он немного обсох от крови и грязи, и вы не знаете, как он был мокр и как он был грязен.

Мы испытали на себе эти два года и теперь выходим из них, словно из больницы или дома умалишенных, щупая, не обрита ли голова. Мы жили в чаду, в горячке, в раздоре с собой, мы изменяли разуму, следуя сердцу, и изменяли сердцу, следуя разуму. Битые тяжестью каждого дня, горечью каждого дня, оскорбляемые событиями, оскорбля-

---

* Полагаю, что вы не забыли, что и наших «предков» делят на «обезьян старого континента и обезьян нового континента».

емые людьми, оставленные на одни свои силы, на свой неподдержанный протест, отрезанные от края, мы подвязывали парус за парусом, ожидая, когда у пьяного Ноя затрещит голова, а может, и совесть, но хмель был силен и продолжителен. Едва теперь протрезвляются у нас. *Звери становятся как-то смирнее,* они извиняют совершившееся, ищут причин и объяснений; год тому назад они хвастались страшными, вопиющимися делами, и едва теперь прежняя мысль всплывает над печальным полем, на котором не обсохла еще кровь после совершившейся исторической уголовщины.

Да, это было страшное испытание, лишь бы оно не прошло даром.

Смиреннее должны мы идти вперед. Нам предстоит труд, о котором мы не думали, нам следует перевоспитать весь нравственный быт наш. Последние два года страшно обличили, сколько дикого, зверского, узкого, тупо-жестокого дремало в нашей душе, сколько каждый из нас квартальный, помещик и палач. Все прошлые злодейства Петербурга и Зимнего дворца общество покрыло с роскошью. Апотеоза Муравьева была амнистией Бирону и Аракчееву; рукоплесканья, с которыми встречали дикие, позорные, отвратительные меры, запрещавшие полякам говорить по-польски, запрещавшие женщинам носить траур, рукоплескали с тем вместе избиению стрельцов, гонению кафтанов и бород; оправдан Петр I, оправдан Николай. Не в них лежало начало этого наглого вмешательства силы в последние святыни личности, не в них, а *в нас.* Москва и провинции рукоплескали чему-то родному, знакомому; они сочувствовали тому, что делалось в Литве и Польше, потому что в душе лучших остались элементы помещика и холопа, потому что у каждого из них была своя Литва в деревне и свои мятежники в передней.

Ни слова о правительстве, ни слова о статских и военных генералах. Правительство никакого мнения не имеет — разве Адлерберг и К° за него; правительство с Муравьевым и с Суворовым, с братьями Милютиными и с собственным братом Константином. Генералы имеют мнения генеральские, присвоенные их рангу. Все это одето в мундир и верно своей ризе и своей ливрее. Пора перестать дивиться, что штык колет, жандарм доносит, а правительство вешает и по надобности в Сибирь заточает. В последних событиях важно то, что кровавая гидра, поднявшая голову, была без красного и без шитого воротника, это была гидра партикулярная, гидра Английского клуба и дворянских сходок, гидра литературы и салонов, гидра журнали-

стики, профессорских конференций, гидра всей псевдообразованной России. Вот отчего она нам так ненавистна, вот отчего она так пятнает нас.

Никто после горчаковских нот и ответов на них не верил ни в какой 1812 год [3]. Но чем безопаснее становилось наше положение, чем больше ослабевал противник, тем наглее становились мы, тем свирепее патриотствовали... Грубое, отвратительное чувство, чисто помещичье, чисто чиновническое *«дать себя знать»* непокорным, наказать, унизить их с тем вместе подслужиться — вот что являлось во всем цинизме на каннибальских банкетах, на изгнаниях из Английского клуба порицателей Муравьева. Если не веревкой и не пулей, если не жертвуя ни шкурой, ни деньгами, то кулебяками и телеграммами, то оскорблением несчастного народа и сквернословием принять участие в его казни...

...А тут добрые люди воображают, что мы должны *сочувствовать* конституционному прорезыванию зубов у этих московских шакалов, которые с самого первого слова без малейшей нужды привенчали себя Муравьеву и виселице, *вотируя* свою чернильницу благодарности «Московск. ведомостям». «И на нас каплю крови, и на нас комок грязи, дайте и нам потянуть кончик веревки, хоть после казни!» Пожалуй, палач может им дать кончик веревки, так, как кучера дают баричам вожжу пристяжной; но пусть же они не освобождают отечества, не делаются ни Гемпденами, ни Лафайетами, а остаются родовым потомством Ноздрева, детьми Собакевича и внучатами Фамусова.

И сколько при всей лжи, при всем раболепии, коварстве,— сколько глупости в людях, кичащихся дворянской грамотой, на ней строящих свои законодательные притязания и становящихся за уничтожение польской аристократии! Чему радуются наши помещики, что правительство так поступает с литовским дворянством?

Мы можем смотреть как на необходимую меру на польское освобождение крестьян с землей [4]. Вспомните, что писали мы спокон века, что писал полякам Бакунин, вырвавшись из Сибири [5]. Но что же нравится в разорении и оскорблении польского дворянства такому ж российскому? Неужели они не понимают, что, стоит им еще побаловаться конституционными кубарями да попасть неловко в царскую ногу, с ними сделают точно то же и прогонят их сквозь строй таких же мер и таких же Муравьевых. За свежим Катковым, который воспоет их гибель как достославную победу, дело не станет. Вероятно, мы и тогда не будем на их стороне, *да они-то сами зачем не на своей*

стороне? Они-то что за японцы, что точат ножи на свой собственный живот? Ведь уж им об этом докладывал их собственный дворовый листок...[6]

«Но — но большая разница между польской аристократией и нашим барством, между ехидным литовским паном и *кротким* степным помещиком нашим»... Может, до вас в Америке не дошло новое открытие, что наше русское столбовое дворянство *ужас какое демократическое,* что крепостное право у нас было временным затмением братских отношений, недоразумением между старшим и младшим, что, в сущности, помещики и крестьяне нежно любили друг друга, господа были отцы-матери своих мужичков, ели в те же дни, как и они, постное, парились по субботам в бане и ходили по воскресеньям в ту же церковь к обедне. Словом, если б наши крупнопоместные и мелкопоместные демократы не засекали мужиков и дворовых до смерти, не морили бы их на барщине и оброке, не дрались бы беспрестанно в передней, не насиловали женщин и не обирали бы мужчин, то их самих по нравам и обычаям, особенно же по отношению к высшему начальству, можно бы было принять за самых радикальных смердов в мире или (так как они ходят по-немецки) за их собственных лакеев...

Часть наших журналов этим путем приравнения к передней и избе поднимала русское дворянство для того, чтоб оправдывать дикие меры правительства и обвинять польское шляхетство, во многом неправое, но которого кровь в это время лилась всеми жилами, которого сыновья падали на поле битвы или шли на виселицу, жены — в Сибирь, старики — в изгнание, казна — на содержание тайной полиции враждебного повелителя и на премии за доносы.

Институт, который для своего сохранения должен прикидываться не самим собой и класть свое знамя в карман, непрочен. Его собственные защитники спасают его так, как спасали помещиков во время пугачевщины, накинув на барские плеча мужицкий бараний тулуп... Плакать об нем не станут. Прошедшее нашего барства серо и темно... и эта темнота — его счастье. В нем один светлый день — 14 декабря 1825 года, в нем одна светлая полоса — та, которая идет к этому дню, та, которая идет из него. Если дворянство и сделало что-нибудь, то сделало исключительно для правительства, для государства, для царя; для народа — ничего, для защиты прав, для обороны личности, совести — ничего. *Как сословие* оно не может пережить верную подругу свою — крепостное право; ему приходится зачахнуть в бесплодных усилиях, овладеть движением (если нельзя оста-

новить его) или откровенно снять с себя очень некрасивый дворянский мундир, отцепить очень тупую дворянскую шпажку и выйти из залы благородного собрания — простым смертным на чистый воздух.

Замечание графа Ростопчина становится пророчеством. La roture [7]— единственная гавань, в которую можно спрыгнуть с тонущего дворянского судна. Пришлось из кобенящихся пергаментов переписываться в ревижские сказки. Рекрутщина уже занесла свою лапу на молодое поколение — и ловит его за бархатный воротник.

Дождевые капли, притянутые на время солнцем, должны снова упасть на землю, сверкнувши в радуге и поносившись туманом по воздуху. Россия — царство крестьянское, сельское. Все уходившее по делу и по безделью из села воротится в него. Взятые во двор и попавшие в рекруты, отданные в науку и бродившие по миру воротятся дрожжами и солью в несколько пресную сельскую «опару» и внесут в нее движение, которого ей недоставало. Долгое введение наше в историю, долгий и тяжелый искус, которым мы проходили наше немецкое пленение, окончатся — вместе с монополем привилегированных сословий. А что мы идем к *бессословности,* в этом трудно сомневаться.

Бессословная, демократическая Америка и идущая к бессословности крестьянская Русь остаются для меня попрежнему странами *ближайшего будущего.* История вопреки агрономам заводит трехпольное хозяйство, и пока Европа, истощенная своими богатыми урожаями, лежит под паром, она пашет и боронит два другие поля.

На первый взгляд кажется странным, отчего именно этот народ колонистов, с угловатыми нравами, с какой-то цивилизованной грубостью, с неприятной свободой и всякими эксцентричностями, и другой — едва пробуждающийся от рабства, избитый и покорный,— отчего именно они призваны к деятельному совершению своих судеб, именно теперь. Для того чтоб понять это, необходимо ярко отделить ядро от скорлупы. Последняя война показала не только мощь Америки, но и ее слабые стороны. Линкольн в одной из последних речей своих выразил своим мистическим языком печальное сознание, что «войной провидение наказало обе стороны», что «обе согрешили перед богом». Недостатки России не только бросаются всем в глаза, но в них признаются все: правительство и литература, заголовки реформ и дворянские собрания. Сознание своих недостатков — великое дело, его высказывают или в минуты отчаяния и смерти, или в начале новой жизни, по крайней мере жизни обновленной. Оттого, что наше совре-

менное состояние так скверно и мы это знаем, оттого-то мы и идем вперед. Самодовольство косно, гордое suffisance [8] не двигается. Англия знает, что она первая страна в мире, Франция — что она великий народ, чего же им еще? Америка и Россия — страны недозрелые внутри и перезрелые снаружи, обе с здоровой кровью и накожными сыпями, с юными мышцами и старческими привычками. В последние годы Америка открыла, что у нее бездна черного белья, а Россия — что у ней вовсе нет чистого. Стирка сделалась необходимостью.

После нее они пойдут вперед, *но* пойдут они розно. Америка, с лавровым венком и фригийской шапкой, торжественно выходит из гигантского боя. Россия, с опущенным покровом, смиренно и печально пройдет не триумфальными воротами, а скромной калиткой, которую отворяют беременной женщине, осужденной, виновной, но в которой хотят спасти «плод чрева ее»!

Кто он? чей он? Об этом мы поговорим в другом письме.

Женева, 15 мая 1865

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Северо-Американские штаты и Россия — два полюса той социально-гражданской антиномии, к которой примыкает западное развитие со всеми своими перестройками и переворотами. Они оба *за границей* старой арены, представляют два противуположные, но неоконченные решения и потому скорее дополняющие друг друга, чем исключающие. Полная жизни и развития, противуположность — без замкнутости, без законченности, без физиологической розни,— не вызов на вражду и бой, не условие на безучастную посторонность, а на труд для снятия чем-нибудь более широким *формального* противуречия, хотя бы взаимным пониманием и признанием.

Самую резкую и типическую противуположность в Европе представляют два народа, наиболее связанные друг с другом былым и настоящим, географией и торговлей, интересами и образованием. Противуположное воззрение Англии и Франции, *отвердевшее* в своей исключительной непереходимости, перешло в видовой habitus, в особенность сложившуюся, окостеневшую и от которой отделаться очень трудно. Тут дошла до дна, задачи разрешены, шаткого мало, сомнительного мало, обе стороны стоят слишком близко и слишком довольны собой, чтоб уступить что-

нибудь. Северная Америка и Россия не решили задачи, а *разрешают ее* на разных основаниях, ни та ни другая не достигли до *безапелляционных решений.* Постановление задачи взято ими из тех же источников, из той же западной школы, но материал для разрешения явился под руками совсем другой. Школа для них не обязательна, наследственных долгов на них нет. С прошедшим их не связывает ни родовая честь, ни дворянский point d'honneur [9], они могут отказаться от него, не бесславя отцовского имени, его никто не знает. У них нет майоратов, полученных на ряде условий,— в Америке все благоприобретенное, в России одни засеянные поля. Там, где Европа останавливается, спотыкается, оттуда идут новые народы; то, что в Европе считается невозможным, нелепым, гибельным, там очью совершается, и вот почему для меня гораздо интереснее все, что творится в Америке и в России, чем все, что делается в Европе, от Стокгольма до Лиссабона.

Можно ли в самом деле страстно принять к сердцу вопросы, теперь находящиеся в западной работе, разрешаемые кровью и прениями, армиями и камерами? Гольштейн и Дания, Пруссия и Австрия, Наполеон и Наполеон; тут Тьер защищает папу, там Виктор-Эммануил возвращается, как библейский сын, к римскому отцу и отец не приказывает даже убить лучшего барана для него; «Польша, Польша! Идем за Польшу!», и вдруг Польша забыта, предана на пропятие, даже без замены Варавой [10]. Все это носит тот характер случайности или внешней необходимости, который бывает в ежедневных встречах; нельзя же, чтоб чего-нибудь да не случилось,—сегодня одно, завтра другое, а может, и третье. Научное движение, чужое окружающему, как быстрая река, несется своей дорогой, орошая берега, обогащая их и не останавливаясь на них.

Была минута в начале нынешнего года, сердце дрогнуло, но и она прошла и затерлась в общей тине — церковь и государство показали друг другу свои старые зубы [11]. Помните байроновское представление света *. Середь общей гибели и мрака тихо поднимаются два исхудалых умирающих старика, последние живые существа гибнущего мира и два заклятых врага. Они узнали друг друга, их черты, искаженные наступающей смертью, исказились злобой, они задержали кончину и вперили друг в друга стеклянный взгляд, в котором агония смешалась с ненавистью [12]. Мы видели эти две головы и видели этот взгляд; церковь и государство приподняли голову над старческим

* «The Darkness».

бредом энциклики и поняли еще яснее не только как они друг друга ненавидят, но и как они друг другу необходимы. Убедившись в этом, счастливее байроновских героев, они остались живы и, побранившись, успокоились.

Америка и Россия натолкнулись на вопросы, поставленные вроде сфинксов на всех выходах и бастионах старой западной фортеции, и они их обойти не могут и не хотят. Сецессия и федерализация, индивидуализм и коммунизм, обеспеченье землей и обеспеченье правами, товарищество работников и сельская община, круговая порука и личная независимость, раздел заработка и общинное владение землей. Все это в Европе сдано в архив за неимением средств к разрешению, и все это на первом плане в Америке и России. Президент, громко говорящий: «Не вы для нас, для государства, а мы, правительство, а государство для нас», и мужик, повторяющий с незыблемою верой, что земля его, что он не может быть без земляного надела, ставят целую программу будущего.

К ее-то осуществлению Америка и Россия идут противуположными путями.

Америка родилась из готовой головы и в полном вооружении. Новая колония, она глубоко пустила старые англосаксонские корни в непочатую почву. *Нового принципа* она с собой не принесла, но принесла крепко закаленный и очищенный старый, это был выселок меньшинства, наиболее развитого в известном смысле, и притом меньшинства недовольных старыми порядками. Протестантизм, пуританизм имели в себе сильно революционную закваску, они *протестовали* против одной части европейских традиций и ее не взяли с собой за океан, они *очистились* от нее. Религиозная экзальтация нисколько не мешает революционной, школа Руссо и вся суровая часть Горы, с Робеспьером и Сен-Жюстом, слишком *резко* доказали это. Привезенная колонистами цивилизация явилась в Америке при совершенно новых условиях развития и в совершенно новой среде. Непочатая природа, дремучие леса и степи, не перерезанные дорогами, дикость почти необитаемого края, исчезающие племена другой формации встретились лицом к лицу с последним результатом образования, с наукой, с развитой гражданственностью. Иди американцы на севере со всем вековым балластом, во всех рыцарских доспехах, как испанцы на юге, они не далеко бы ушли. Северные колонисты, переходя в новую среду, оставляли свою рыбью оболочку за собой, как головастики; отделавшись от нее, им было легче работать и легче принять в кровь и плоть гражданское учение, озарявшее вершины философской Европы.

Они начали свою самобытную жизнь с провозглашения *прав человека* [13].

Россия тоже колония, но колония иных веков и иных условий; стекая в незапамятные времена с востока, славянское племя ничего не могло принести с собой, кроме себя. Россия, обживая почву, врастая в нее, из нее вырастала и росла, инстинктивно распространяясь в далеко разбросанное и далеко ветвившееся сельское государство. Всю европейскую историю она оставалась в стороне, в тени. Об ее медленном, задержанном и потом переломленном развитии говорили у нас и говорят много, но мало обращают внимания на то, *что ей не было следа развиваться быстрее и в другое время.* Тут не фатализм, а историческая физиология. Сначала Русь тихо оседала, обживалась, потом обособилась от чужого, собрала, стянула свои части и стала складываться в земство. Смутное государство было нелепо, оно как-то сбивалось на допотопные формы зоологического творчества, на тех неповоротливых животных, которые в самых формах своих, колоссальных и неуклюжих, носили доказательство незрелости. Нелепое царство не выдержало и превратилось в нелепую империю, в военную тиранию с западными формами и приемами и без западного содержания и смысла. Вся жизнь, искусственно вызванная и поднятая, притекла наверх. Внизу был застой и продолжение догосударственного быта. Наверху делались всевозможные опыты переложений и сочетаний всех европейских государственных учреждений, не противуречащих самодержавию. Ничего не принялось в самом деле, а все приняло уродливые, безобразные очертания. Западное устройство явным образом не соответствовало «апатическому, забитому, неспособному» народу русскому; он чувствовал себя в нем как в чужом кафтане, и в этом *одно из величайших достоинств его.* Посмотрите, например, как Франция дома в централизации, в военщине, в полиции, как она во всем любит pouvoir fort [14], во всем ищет опеку; вчера были камеры, сегодня империя, завтра будет республика — это ничего не изменит. Гражданский сельский сторож так же жандарм и так же комиссар полиции con amore [15] теперь, как косидьеровский монтаньяр в 1848 и муниципал при Людвиге-Филиппе. Франция нашла учреждения и государственные формы, ей соответствующие. Но Франция, еще по старой привычке, наружно недовольна и выдумывает перемены вроде наших русских перемен мундиров, выпушек, петличек. Англия и этой привычки не имеет, она была бы готова свинтить покрепче все государственные гайки, чтоб во веки веков жить, как теперь.

Даже протест «неприглашенных» на пир [16], нищих труда, скитальцев работы, бездомных бродяг полей и городов в своих стремлениях верен началам, соответствующим характеру двух народностей, успокоившихся в своих государственных учреждениях. Тихо, тяжело осматриваясь, выступает из тесных берегов своей жизни английский пролетарий; он идет путем законности, скрепляя каждый шаг и не выходя из норм англосаксонского быта. Утопии французского работника постоянно склоняются к казенной организации работ, к казарменному коммунизму, к 18 брюмера или 2 декабря [17] социализма. И то и другое составляет особую прочность старых государств. Путем строгой и робкой законности так же трудно уйти далеко, как увлечь перспективой галерного устройства работ. Дальний рев голода и стон бедности хотя и приближается и мужает, но при таких обстоятельствах «пирующее» государство может спокойно донировать. Стон больше неприятен для нерв, чем опасен. «Красный призрак» долго не превратится в *красную действительность*.

Мы ничего не бережем из существующего, у нас консерватизм дальше и выше деревни не идет. Село хранит быт свой, чуя в нем зародыш будущего... За селом никто ни к чему не привязан, и всякий если не понимает, то чувствует, что все остальное — временный балаган, который снаружи окрасили под старое, прочное здание. Когда Мишле в своей легенде о Костюшке говорил, что у нас, русских, нет следа нравственных понятий, что *истинное* и *справедливое* для нас не имеет смысла, я спросил его, о *какой* истине и о *какой* справедливости идет речь, напоминая, что истинное и справедливое старой Европы — ложь и несправедливость для новой [18]. Затем я заметил ему, что это не все, что нравственность русского народа вовсе не сложилась, не вышла из тесного круга обычая, патриархальности и хранимых преданий; что царский суд и царская расправа, что переведенные с немецкого и французского понятия обязанностей для него не обязательны просто оттого, что они не его, да и не общечеловеческие. Что нравственность русского народа может только сложиться на тех основаниях, которые составляют его религиозно-общественную *особность* и которые для этого должны быть приняты за первоначальный факт, от которого идут, но на который не возвращаются, не дойдя до предела.

Эта *особность* заключается в веровании *русского человека, что русская земля принадлежит русскому народу, что русский человек не может быть в России без поземельного надела.* Это основное, натуральное, прирожденное

признание *права на землю* ставит народ русский на совершенно другую ногу, чем та, на которой стоят все народы Запада. Положим, что тут есть своя односторонность, но односторонность-то именно и выражает характер, и потому самобытное развитие только и будет с ним. Право на землю предполагает иную *нравственность,* другие общественные отношения, неразвившиеся, но и не заменимые чужими, идущими из гражданского устройства, отрицающего всякое право на землю, кроме купли и наследства. В основу нашему законодательству непременно лягут элементы нашего бытового, непосредственного социализма. Общинное начало, например, круговая порука пойдут у нас вперед перед самодержавием собственности во всей его западной неумолимости *. Задача нашего законодательства будет состоять в соглашении прав личной независимости с сохранением общинного устройства.

Шаткость моральных понятий, навязанных нам извне, доказывает ясно, что это не наши понятия. Мы им покорились, пойманные в капкан, обманутые, и нарушаем их без угрызения совести. Заставить какого-нибудь самоеда или лопаря делать на трескучем морозе мумии из всех умерших зверей — можно, особенно уверив его, что этого требует *вечная* нравственность и спасение души. Но отвернитесь от него, дайте страху пройти, и лопарь с покойной совестью, безраскаянно оставит мерзнуть моржей и тюленей, и ни солнечный зной, ни разлив Нила, ни миазмы трупов ему не напомнят греха. Англичанин смиряется перед нелепостью одной части своих законов, потому что он в другой видит защиту своих прав и, главное, своей собственности, которая у него такой же догмат irréductible[19], как наше право на землю. Француз считает закон обязательным (все будничные дни, кроме праздников, т. е. дней революционных), повинуется им из point d'honneur'a, из религии дисциплины, из уважения *к будто бы* им установленным властям. Оттого тот и другой чувствуют себя внутренне оскорбленными судебным приговором, а русский чувствует один материальный вред наказания, так же мало думая, что он нравственно уничтожен им, как человек, сломивший себе ногу или схвативший горячку.

Французский и английский радикал считает свои зако-

* Никогда русский ум без повиха не поймет, что справедливо человека больше наказать за краденый платок, чем за побои женщине; никогда не поймет, что можно быть честным отцом и вести в суд девочку или мальчика, дочь или сына лет одиннадцати-двенадцати за кражу нескольких копеек; а в Англии это делается всякий день и все находят, что это в порядке вещей.

ны усовершаемыми, но в то же время очень *совершенными*. Вот отчего революционные люди в Европе с бешенством нападают на людей, осмеливающихся касаться не до частных недостатков, а до религиозных, юридических или экономических оснований. У нас святость этих святынь подозрительна. Человека, привыкнувшего с малых лет к тому, что *мужик есть собственность*, не удивишь, сказав ему, что *собственность есть кража* [20].

Все это не ново и было высказываемо много раз нами и не нами, но в общее сознание не перешло. Большим не меньше детей нужно протверживать зады. Забывая их, мы теряем ключ к пониманью того, что делается, и случайно блуждаем, прикидывая то фут, то метр к явлениям, к которым прилагается другая мера. Без своей единицы, глядя на сумбур реформ, прогрессов, регрессов, казней, учреждений, приговоров, проектов, патриотического неистовства, конституционных слабостей, можно прийти в отчаяние, сойти с ума.

России мы с пути не собьем нашим непониманьем; ее ни татары, ни немцы, ни сам Петр Алексеевич не своротили с дороги. Она уперлась на петербургском тракте, как лошадь с норовом, стегай сколько душе угодно. Но нам-то стыдно теперь не понимать, когда европейские *дальние* горизонты сливаются с нашими *близкими* и европейская выстраданная наука ярко освещает наши поля и наши проселки.

Сырой материал нашего быта оставался в тени за дворянской грамотой, за массами войск, за императорской порфирой, за либеральными идеями. Мы его не знали, и он в самом деле был непонятен, для разрешения его формулы недоставало какого-то элемента, недоставало определения чего-то неизвестного. Его нам указали социальные теории. Мы представляем *частный случай* нового экономического устройства, новой гражданственности, *одно* из их приложений.

Так, как Северная Америка начала с последнего слова революционной философии, с алгебры *прав человека*, так мы начнем с приложения социальных учений к бытовой практике нашей.

История развития мысли человеческой и сознания дошла, спускаясь с вершин государственных сфер, конституционных хартий, правительственных форм, до вопросов о насущном хлебе и хозяйстве, о работе и выработанном, о голоде и капитале, о грамоте и праве... Вопросы мало разрешились, но поставлены они ясно наукой, и их-то свет, падая на наши низменные поля, говорит будто с Кольцовым:

Что ты спишь, мужичок,
Ведь весна на дворе.

Наше дело на череду. Наши десять заповедей, наш гражданский катехизис — в социализме.

«Да неужели социализм, этот незрелый плод тридцатых годов, выкинутый самой Францией, еще существует?»

Если б он и в самом деле умер и был схоронен в Европе, то и тогда это мало бы имело влияния на нас. Наследство свое он передал нам при жизни — но, сверх того, я сильно сомневаюсь в его смерти. Он, как евангельская девица, *не умер, а спит* [21].

Женева, 25 мая 1865

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Вот какой случай случился со мной несколько лет тому назад. Один человек, игравший большую роль в своей родине и как революционер, и как администратор, спорил со мной о социализме [22]. Он — и надобно признаться, что он не один в этом случае, а имеет даже таких товарищей, как Маццини *,— убедившись, что движение 1848 года погибло от примеси социализма к чисто политическому движению, опрокинулся на социализм с тем ожесточением, с которым он прежде гнал реакцию. Сколько я ни ораторствовал, мой противник стучал кулаком по столу, выходил из себя и говорил в заключение такого рода вещи: «Посмотрите, какие законы я провел, посмотрите, как ограждены работники, я сам всеми силами поддерживаю работничьи сходки, у нас нет ни одного нищего и на все на это мне не было нужно никакого социализма...»

— А только почти деспотическая диктатура.

«...этого,— продолжал он, не слушая меня,— этого проклятого социализма, этой выдумки иезуитов, которой они затормозили революцию, разделили наш стан и сбили все понятия у слабых людей».

— Теперь я вижу, что, в сущности, мы с вами гораздо ближе, чем я думал. Вам, собственно, не нравится слово *социализм*. Попробуем то, что все называют социализмом, называть *Клеопатрой*, и дело пойдет как по маслу.

Уступку, которую я делал моему «Дионисию, тирану сиракузскому» [23], я не сделаю ни для вас, ни для кого из русских читателей.

* Нельзя надивиться скудости знания и пониманья полицейско-консервативных органов; они постоянно называют Маццини социалистом, несмотря на его брошюры, статьи и пр.

В гонении на социализм, поднятом у нас в подражание Западу, есть что-то неимоверно бессмысленное и тупоумное, трусливое и невежественное. Европа боялась социального переворота потому, что он был страшен для нее; встретив суровый отпор, он шел путем отчаяния и насилия на разрушение узкого, но веками слепленного и привычного государственного устройства... У нас *этот быт* непривычен, у нас он чужой; где же, в чем вред, причиненный России социализмом, или чем может он повредить ей? Разве освобождение крестьян *с землею* — не *социальный переворот?* Разве общинное владение и право на землю — *не социализм* (как там себе ни голоси наши славянофильские кликуши)? Ненависть к социализму крепостника, оплакивающего землю свою и барщину свою, понятна так, как понятен был страх откупщика, боявшегося отмены откупа; но наших теоретических, литературных врагов социализма нельзя понять.

Когда же для нас будет ясно то, что было ясно слишком пятьдесят лет тому назад для Бентама, говорившего Александру I в Лондоне о «счастии, что России не мешает ни римское право, ни феодальный хлам, ни католическая церковь»? [24] Когда же у нас перестанет болеть голова с чужого похмелья?

В самой Европе преследование социализма безумно. Как будто какое-нибудь развитие на череду, какое-нибудь логическое последствие ряда осуществившихся посылок можно остановить кулаком и бранью, не убивая организма или не делая из него урода. Нашли ли главные социальные вопросы решения или нет — все равно, ошибочны ли эти решения или односторонни — все равно, они не менее живы и не менее стучатся во все двери и бьются во все стороны, ломая и подмывая стены и заборы, мешающие им.

Вообще ни ошибочные решения, ни односторонние не влекут с собою в гибель вопрос или задачу. Каких чудовищностей не нагляделись мы в один наш век, например, в медицине — от кровопролитий Бруссе до наводнений Пристница [25], от *нигилизма* гомеопатии до всевозможных лечений голодом, холодом, парами, молоком, гальванизмом, магнетизмом... тем не меньше и несмотря ни на мистический эмпиризм, ни на традиционную алхимию медицины, в возможности патологии и терапии никто не сомневается.

Социальные идеи не убиты и не отстранены, их побежденный авангард без знамени и шума занял множество неприятельских мест, и не один *новый* Дионисий Сиракузский делал социализм, как Мольеров Журден делал прозу,

не зная того. Не только сен-симонизм и фурьеризм не прошли бесследно, но неопределенные стремления, нашедшие отголосок в поэзии Гюго, в романах Сю, в целой литературе 30-х годов, женский протест Ж. Санда, индийская триада Пьера Леру, полемика Прудона [26] — все это не только разбудило людей и направило их мысли в известную сторону, но все это принялось, прозябло и проросло старую почву. Вглядитесь внимательно, и вы найдете социальные оттенки в тюльерийских декретах и прусских министерских указах; следы проповедей Менильмонтанской улицы остались в оборотах Перейры, в ликвидациях недвижимой собственности; добродушная голова старика Р. Оуэна просвечивает со дна всех английских кооперативных обществ. Каким образом Гладстон дошел до порицания безусловного права собственности и до государственной организации страховых обществ... и почему Стюарт Милль остановился в раздумье перед общинным владением, не рубя с плеча вопроса, как наши молинарьевские подмастерья? О чем робко и не выступая из парламентских форм хлопочет Брум? Все они пролагают, отнекиваясь и открещиваясь, дорогу социальному пересозданию государственного строя.

В тот день, когда несостоятельность юридических, административных и политических реформ оказалась очевидной, когда сама Французская революция погибла в крови и в *теоретическом* освобождении меньшинства, а реальные умы догадались, что в тех сферах, в которых искали разрешения вопроса, *его нет*,— в тот день отрицательно была поставлена вся задача социализма. Ей недоставало имени, имя явилось как-то само собой [27].

Разумеется, что социализм только в антитетическом смысле противупоставляется переворотам чисто политическим, в сущности он представляет их исход. Политический переворот делается внутри известных государственных учреждений, которые идут вперед как неоспоримые условия государственной жизни — будь это монархия или республика, централизация или федерализм. Там, где анализ, критика идут далее, там, где вовлекаются в спор и борьбу сами эти условия, т. е. где с ними делается то же самое, что реформа делала с папской, а революция с королевской властью,— там мы переходим в социализм. Разграничение между политикой и социализмом условное: две разных станции одной и той же дороги.

Все государственные и политические вопросы, все фантастические и героические интересы по мере совершеннолетия народа стремятся перейти в вопросы народного благосостояния. Принимая существующий результат исто-

рических развитий за неизменный в своих основах, мы их не разрешим; исторический быт, так, как он посильно сложился под влиянием совсем иных идей и целей, не совместен с общенародным благосостоянием. Это-то и хотел сказать американец Брейсбен, которого слова я уж не раз приводил, парижским работникам в 1848 году [28], говоря, что «в Америке республика дала все, что могла, что политическое устройство, основанное при самых благоприятных обстоятельствах, но на старых основаниях, дало все, что могло, но вопросов, занимающих работников, *не разрешило и не может разрешить*» — тут ее предел, а разрешить необходимо.

Я так и жду обыкновенного возражения: что за разрешение ломать зря и устроивать общество насильно, на какой-то каторжный манер?.. а социализм только так и разрешал вопрос.

Он ошибался и горько пострадал за это. Но кто же сказал, что он только *так* хотел разрешать и только *так и мог* их разрешать?..

Прудон упрекал в этом социализм, разумея под социализмом организацию работ Луи Блана, коммунизм Теста, отца Кабе, а не социализм вообще. Не будьте ни Апеллесов, ни Павлов, и тогда вы не будете клясть церковь из-за Апеллеса или Павла [29].

Восставая против социализма под тем предлогом, что он хочет зря ломать и насильственно строить, люди со всеми своими прогрессивными стремлениями становятся на сторону закоснелого консерватизма и защищают падающие институты, составляющие главное препятствие развитию. Разве не на наших глазах в 1848 г. республиканцы сделались гонителями и дали тот впрок пошедший урок, который научил всех царей и все власти, как надобно подавлять противников.

Противников они подавили и с тем вместе их односторонность — идеи остались, вопросы остались. Выброшенные полицией за дверь, они за нею притаились и постоянно готовы взойти во всякую щель.

По несчастью, их останавливает не одна грубая рука насилия, их останавливает столько же, если не больше, роковое несчастие масс — их невежество *и роковое просвещение* других сословий, ученых, не хотящих переучиваться, монополистов, не хотящих поступиться ни одной привилегией и оттого могущих потерять все, и совершенно справедливо; они отстаивают свои права без веры; наивное пониманье, исключающее вину и ответственность, давно возмущено и перервано выстрелами на площади и спо-

рами везде — в книгах и сходках, в камерах и журналах. Неведением социализма в наше время отговариваться нельзя.

И это не все: социализм был не меньше задержан в развитии внутренними причинами, как и внешними. Чувство боли от общественной неправды было очень ясно, желание выйти из сознанно скверного положения очень справедливо, но от этого до лечения далеко. Социализм, страстно увлеченный, с желанием кары и мести, бросил свою перчатку старому миру, прежде чем узнал силу свою и определил мысль свою. Седой боец поднял ее — и не Голиаф, а Давид пал. С тех пор ему было много досуга обдуматься в горькой школе изгнания и ссылки. Додумался ли он до того, чтоб не бросать перчатки, не имея силы, не зная, что будет после битвы, кроме казни врага? Не знаю.

Не воином, не судьей должен он явиться... суд он держал, пусть же он явится исполнителем судеб в ином смысле слова, пусть он «увенчает здание» и завершит революцию. *Ему* следует столкнуть последнюю глыбу, мешающую идти вперед своей *неподсудимостью,* в рвущийся поток мысли и водрузить на ее месте знамя разумных отношений людских и действительных, трезвых, логических законов общежития. Не уничтожить и разбить должен он политическую экономию, а превратить ее из эмпирического свода рассуждений и наблюдений, не смеющего касаться до святых твердынь существующего, в экономическую науку, посягающую на все.

Но для этого нужен огромный внутренный труд и огромный нравственный подвиг. Для водружения нового знамени надобно отбросить старое знамя непримиримого раздора, исключительно враждебного антагонизма. Военные крики его до того сбили понятия самых передовых бойцов, что они, как Квазимодо, бросают каменья и льют свинец на truanderie, пришедшую спасти цыганку, которую они защищают [30].

Поймет ли, наконец, звонарь, что враг сзади, что он не *ее* спасает, а помогает *ему,* и бросит ли он его черную фигуру с колокольни?.. это покажет будущее. Но во всяком случае тем, которые стоят со стороны социализма, надобно яснее и покойнее высказаться, а для этого необходимо яснее и проще понять задачу.

Лихорадочный, острый период нарождения для социализма прошел.

Страстная, вдохновенная форма, в которой является новое учение, глубоко захватывающее жизнь от очага до площади, его церковные ризы, его фантазия, не знающая

пределов, его фанатизм, не знающий сомнений, его юная нетерпимость, его ревность прозелитизма — все это на месте вначале. Без идеалов, без поэзии люди не оставляют одр свой, чтоб идти за учителем; но за яркими цветами зари настает дневная работа, с помехами и ошибками, с дождем и ведрами, с каменистой почвой и болотами, с отклонениями и уступками, с компромиссами и диагоналями. Для этой работы нужны не кадилы и не рипиды [31], а простые орудия труда и простые формулы разума.

Фразы, от которых билось сердце, текли слезы и кровь, все эти молитвы гражданской литургии в начале революции, с которыми массы шли на бой, сгубили ее потом. У всякого возраста свой язык и свой смысл слов. Псалмы Давида были марсельезой гугенотов. Порицать язык другого времени так же нелепо, как говорить им. Социальные идеи пережили свою героическую интродукцию; ни бархатный жилет верховного отца Анфантена, ни фаланстер Фурье, ни государственная барщина, ни communa bonorum, ни разрушение семьи, ни отрицанье собственности — ничего не сделают теперь сверх того, что они сделали для вызова на сцену и постановки вопросов [32].

Поле, по-видимому, стало беднее, но замечательно очистилось, много выяснилось в том, где искать ответы и где их не может быть.

Люди недовольны экономическими условиями труда, упроченным неравновесием сил, их потерей, рабством работы, злоупотреблением накопленных богатств — но они

не хотят переезжать в рабочие казармы,

не хотят, чтоб правительство гоняло их на барщину,

не хотят разрушать семьи и очага,

не хотят поступиться частной собственностью,

т. е. они хотят при обновлении, при перерождении сохранить, насколько возможно, свою привычную жизнь, согласуя ее с новыми условиями. На каких же разумных основаниях можно сделать, согласить такие сложные и противуречащие потребности? В этом-то и задача, весь социальный вопрос так и становится, освобожденный от громовых туч своих и молний.

Есть ли решенья?

В прошлом письме я взял на себя смелость, j'ai hasardé [33] сказать, что одно из *действительных* решений представляет русский народный быт в его современном развитии. Бедное село наше, с своей скромной общинной жизнию, с своим общинным землевладением, наша черная Русь и крестьянская изба невольно вырезываются на сцене, с которой больше и больше исчезают в тумане фаланстеры,

Икарии, национальные рабочие, государственные подряды и пр.

Возражения, которые я слышал на эту стародавнюю мысль мою, все без исключения, не только не переубедили меня, но вообще были несерьезны и походили на богословские доказательства *текстом,* имеющие вес только для тех, кто сам принимает текст за критериум истины.

Женева, 1 июня 1865

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Прежде чем мы будем продолжать наш *аргумент,* как говорят здешние школьники, я должен вам рассказать о разговоре, который был у меня с одним из ваших друзей по поводу моих писем к вам. Он прямо из Москвы, и тут-то я увидел, как был прав, что поздравлял вас с долгим отсутствием из России. Разговор, о котором идет речь, близок к нашему предмету, и мы им, как маленьким проселочным объездом, незаметно выедем на нашу большую дорогу. «Вы престранный человек,— говорил он,— и я не могу вам надивиться; в вашей мысли два потока, я думаю, что вы пишете двумя разными перьями, из двух разных чернильниц. С одной стороны, вы болезненно ясно понимаете все страшное положение наше и беспощадно клеймите его; с другой — вы полны прежних надежд и верований. Как будто ничего не было, как будто правительство не резало Польши и общество не плескалось с диким упоеньем в ее крови, как будто литература не превратилась — консерваторская в донос, прогрессивная в извозчичью брань, как будто вы не знаете, какая сонная, сытая, ко всему безучастная апатия овладела обществом, которое бесновалось, года три-четыре тому назад, в «восторге неком пламенном», говоря о своем либерализме, гуманизме, прогрессизме...»

Затем, так как это не в первый раз, я уж и ждал: «...если б вы только могли провести месяц или два в Петербурге или Москве, как бы вы отрезвились...»

— Не думаю...

— Хорошо говорить издали, а посмотрели б, что делается, поближе. Люди, рвавшиеся на деятельность, люди, которые были готовы идти на каторгу с Михайловым и Обручевым, стояли сложа руки, когда Чернышевский был у позорного столба; люди, находившие вас отсталым, люди, шедшие на площадь, социалисты, демократы — теперь...

— Вольно же вам было пыль, поднявшуюся перед

грозой, принять за самую грозу... все легкое и пустое прежде всего уносится ветром, кружится в воздухе, а потом опять падает на мостовую, в канаву, это явление не новое, но ново то, что у нас приходят в отчаяние от того, что сухие листья и бумажные змеи приняли за небесных герольдов и архангелов. Мы проходим скверной полосой, но мы не сядем в ней, и наш ропот, исполненный безнадежностию, происходит от непривычки к борьбе с ее капризными приливами и отливами. В этом отношении есть чему поучиться нам у западных людей, особенно у англичан. Мы ужасно скоро бросаемся на все и ужасно скоро все бросаем. Ни выдержки, ни терпенья. Выбиваемся из сил от всякой неудачи, непредвиденное препятствие конфузит нас, ошибка заставляет теряться, поражение — опускать руки. Веры мало, дыхание коротко. От того ли это, что мы не находим все еще своего настоящего дела, или от чего другого — все это очень печально, тем не меньше в настоящем случае в этой невыдержке лежит залог, что и беснующийся патриотизм так же скоро пройдет, износится, как прошел галопирующий либерализм. Перестрадав весь позор этой печальной эпохи, мы предвидим ее конец. Неужели вы думаете, что судьбы России изменятся от этой катковско-муравьевской грязи по ступицу. Лапти по ней кой-как пройдут, а если увязнут кой-какие сапоги, особенно немецкой работы, беда, право, не велика.

— Да ведь и мы с вами их носим...

— Я и не вижу особой необходимости ни в вас, ни во мне: но в этом случае вы ошибаетесь: мы выйдем, может, босыми, может, потонем, но с чистой совестью, с чистыми ногами.

— А если не потонем, то куда же пойдем? Я не спорю, мало ли чего может быть «лет через пятьсот», по пушкинскому выражению [34]; но теперь-то, когда все молодое состарилось за ночь, когда потухли таланты, в университетах пьют тосты за Муравьева, когда журналы...

— Опять старая история. Прежде чем требовать и негодовать, следовало бы определить себе, в чем состояла *общественная задача европеизма в общей экономии русского развития,*— не та задача, которую сами себе ставили люди или которую мы за них ставили, а та, которая досталась им на часть по самому течению жизни. Вы их клянете и браните, а мне кажется, что они *свое дело сделали* и теперь сходят со сцены по миновании надобности. И это в то же время, как по другой лестнице спускается другая Россия,— Россия Английского клуба, мертвых и ревизских душ, гумна и конюшни.

— Ну эти пьесу свою сыграли до конца, а какая же пьеса была у наших?

— Пьесу-то вы и проглядели... Она преинтересная и называется «Знакомство двух незнакомцев, или Новая смесь французского с нижегородским».

— Ничего не понимаю.

— Что ж мне с вами делать? Общественная задача западной цивилизации в России состояла *в объяснении социальных начал русского быта и в усвоении социальных идей Запада*... Двадцать лет тому назад едва осмеливались намекать на это славянофилы, Гакстгаузен, мы и потом то новое поколение, на которое вы нападаете,— оно-то и заявило свои социальные стремления и вместе с тем стремления чисто русские, это факт, и его из сознания топором не вырубишь. Люди, участвовавшие в этом, могут цвести или завянуть, писать романы или и не читать их, жить долго или скоро умереть — все равно, свою службу они отправили. Очень вероятно, что им мерещилось гораздо больше, а именно что они будут призваны на осуществление своих идеалов... это не удалось. До полного приложения много еще пройдет случаев и ужасов, ужасы почти всегда пропорциональны силе власти, неразвитости масс и количеству войска; а тут еще наткнемся на какую-нибудь глупую войну, на какую-нибудь глупую дворянскую конституцию, на какую-нибудь «счастливую случайность», как выражался Александр I, или на какую-нибудь «несчастную»... Все может быть, но лишь бы продолжалось то социальное развитие, которое прозябает на наших полях. Наша сила тут, как Самсонова, была в волосах.

— Все это хорошо... да где же взять столько голландской флегмы или философского спокойствия?

— Хотите, я вам открою секрет моей философии? Он может равно пригодиться для частной и для общей жизни, вся тайна заключается в тексте: «Марфа, Марфа, печешися о мнозе, *едино же* есть на потребу» [35]. Узнать, определить для себя это *единое* и оставить все, отца, мать и прилепиться к нему; за ним следить со всей настойчивостью, страстью, ревностью, к которой человек способен, допуская всему остальному меняться, изменять, уклоняться, совсем лопать. Человек, глубоко сосредоточенный на одном, должен быть *легкомысленным* во всем другом, иначе он растеряется и ни во что не принесет полной силы. Отчего Ротшильды богаты и богатеют? Оттого, что все их существование постоянно подчинено главной цели. Основной тон жизни Кобдена была свобода торговли, и он во всех событиях, во всех вопросах смотрел прежде всего и после всего на

free trade. Перед всякой войной и после всякой войны Кобден обсуживал могущие быть от них стеснения или расширения международных торговых отношений. Во Франции революция — Кобден рассчитывает шансы трактата; во Франции другая — Кобден посылает проект. А там *Пам* ли министром в Лондоне, Персиньи ли в Париже, ограбили ли немцы белым днем Данию или нет — это не то чтоб было все равно, но не на первом плане. Равнодушны ли мы к кровавым путям, по которым идет правительство наше, поддерживаемое обществом,— это вы знаете... два года из нашей груди не вырвалось светлого звука, два года мы постоянно были на похоронах, униженные, словно и мы участвовали в убийстве, и при всем том живой о живом и думает, и пока Россия не своротила с главного тракта, пока она *туда идет,* какая бы скорбь ни была на душе, мы не впадем в отчаяние и не поступимся нашей верой. В 1862 году я говорил *: «Только тот, кто, призванный к деятельности, поймет быт народа, не утратив того, что ему дала наука, кто затронет народные стремления и на осуществлении их оснует свое участие в общем земском деле, тот только и будет *женихом грядущим.*

Кто же будет этот суженый?

Император ли, который, отрекаясь от петровщины, совместит в себе царя и Стеньку Разина? Новый ли Пестель? Опять ли Емельян Пугачев, казак, царь и раскольник, или крестьянин и пророк, как Антон Безднинский?

Трудно сказать.

Но кто б он ни был, наше дело — идти к нему навстречу с хлебом и солью».

Вот вся тайна моей философии, весь мой махиавеллизм. Многие догадываются о ней, но никто не рискует прямо высказать, так еще мало свободен наш разум и наш язык от разных картонных драконов и отставных святынь. К тому же мы мало привыкли избирать *единое на потребу* и идти постоянно к нему. Есть люди, которые постоянно в жизни видят ее изнанку, ее шероховатую сторону, ее случайные недостатки и из-за них теряют всю гармонию, всю картину светлой, лицевой стороны ее. Организации желчно-раздражительные и нетерпеливые специалисты, неловкие в обобщении, затерявшиеся в мелочах, они делаются в общественной жизни тем, что на языке Французской революции называлось *алармистами* [36]; они охлаждают каждый порыв, бросают сомнения там, где нужна вера, они стягивают

* «Полярная звезда», VII кн., II вып., «В. Н. Каразин».

в подробности там, где их надобно забыть, и всего больше *во лжи,* тогда когда *правы,* потому что лестница от частного к общему у них потеряна, потому что правда их плоска и их взаимное отношение утрачено. Если оптимизм — большая глупость, то пессимизм — большое несчастие, и как ни жаль их, но удивляться мудрено тому, что Комитет общественного спасения рубил головы алармистам.

— Сила крестная с нами,— сказал ваш приятель, расхохотавшись,— да это вы меня просто прочите на гильотину.

— Непременно, если вы воротитесь с вашими привычками в 1794 год.

Вы, мой милый путешественник, я знаю, не делите нетерпеливого и капризного взгляда этого, но его делят многие, и это дурной признак. Старцы Сибири возвратились через тридцать лет каторги [37] с молодыми надеждами, с горячей верой! Мы сами вынесли длинное путешествие через николаевскую Сахару, и чего, чего не было на пути. Разбуженные 1825 годом, мы росли, имея за собой страшную судьбу предшественников, возле страшное безучастие среды и впереди страшное *ничего.* Грубые факты, глупые факты гнали слово, мысль с лица земли, а умственная деятельность росла в тиши в ту меру, в которую беднела общественная жизнь. Люди спасались от погрома, от дикой силы, удаляясь в отвлеченную науку или отыскивая между полусогнившими костями отгадку новых бед и наталкиваясь именно на те тайники русской жизни, о которых мы говорили... Седые волосы показались на нашей голове... перешли и мы за тридцать... за сорок лет. Сильнейшие бойцы, с крепкими мышцами, гибли один за одним, Белинский умер, Гоголь шел в сумасшедший дом, Петрашевский с друзьями шли на каторгу — еще тише... один грустный голос Грановского раздавался, как псалтырь у похороненного тела, и пророчил сквозь слезы жизнь будущего века и веру в судьбы человечества... Молча смотрело новое поколение, зачатое в плаче и скорби, изуродованное до хилости, оскорбленное до юродства, сознававшее свое бессилие, свое бесправие. Я жил тогда вдали — что было в этой дали, вы знаете по преданиям. Все, все изменило; потерянный в лондонском тумане, свидетель голодной смерти единого свободного народа и мученичества эмиграции, я проповедовал о будущности России, а Николай, медуза Николай был еще жив. Теперь *есть борьба, есть работа.*

Будучи в меньшинстве собирающегося войска, материальная сила не с нашей стороны, зато у противной громады,

кроме ее и привычки, ничего нет — ни ума, ни образования, ни единства цели, ни плана. Правительство беспрестанно отталкивает напор, кричит «смирно!», ловит забежавших вперед — это дело полицейское, но что ж оно хочет сказать в этом *смирно,* что сделать на расчищенном плац-параде? — *Как что? Известно что.* А в сущности вовсе не известно, и всего меньше правительству. Оно не злее и не хуже прежнего, но оно больше мечется, кидается, теребит, оно больше боится. Разве этот страх не наша победа? Рядом с «пороньем горячки» оно делает бездну несправедливостей, глупостей, ошибок — к этому пора привыкнуть. Да и кто же ждал от него ума, гуманности, справедливости? Ведь это все же продолжение Николая, Павла и пр.

Вот когда оно по немецкому совету и по наговору помещичьих журналистов подталкивает всякими распоряжениями и искушениями крестьян на замену общинного пользования землей наследственным разделом ее в собственность, тогда действительно мороз дерет по коже. Мало ли что можно напортить, имея в своих руках такую бесконтрольную власть, такой приманчивой вещью, как буржуазная собственность, покупаемая со льготами. Правительство, умевшее поддержать двести лет крепостное состояние и ввести его в XVIII веке там, где его не было, имеет слишком богатые средства и слишком широкую совесть, чтоб его не бояться. Буржуазная оспа теперь на череду в России, пройдет и она, как дворянски-конституционная, но для этого не надобно дразнить болезнь и «высочайше» способствовать ей.

Если мы вынесем эти посягательства не протестуя, мы не будем иметь даже того извинения, которое имели наши цивилизаторы; они или вовсе не понимали, или верили в пользу вколачиваемого образования, скроенного по иностранным шаблонам. Тут место борьбе и обличению, место энергии и страсти, тут мы должны преследовать, клеймить без устали и остановки. А вести войну с частными промахами и гнусностями правительства хотя и должно, но это не может стоять на первом плане.

То же приходится сказать о нашем благородном обществе, о том, которое называло увлекавшихся юношей зажигателями, которое рукоплескало ссылке Чернышевского, казням поляков и посылало телеграммы Муравьеву и его литературному дрягилю...[38] Кто же составляет основу и ядро этого общества, этой России, которой Зимний дворец — в двух Английских клубах, а крепости и будки во всех помещичьих домах? Та же прежняя матушка Россия — Россия «Недоросля» и «Мертвых душ», «Горя от

ума» и «Рассказов охотника». Пеночкин стал либеральным государственным человеком, но все же остался Пеночкиным, Ноздрев стал *красным* патриотом, муравьевским якобинцем, оставшись Ноздревым... Разве мы этой России, идущей от петровских заводов, от разных Салтычих и Бироновых, не знали прежде? Разве не пели мы ей на все голоса «De profundis» [39] и «Со святыми упокой»? Чему же дивимся мы, что она не изящно умирает; она не римский гладиатор, а просто русский помещик, отдающий богу душу, делающий до конца глупости и заботящийся, как Николай в последнюю минуту, можно ли или нет причащаться, не выбривши бороды.

Как сословие дворянство имеет меньше жизненной силы, чем правительство,— последняя, материальная сила его улетучилась — оно обнищало.

И перед этими-то врагами наша молодежь хочет сложить руки в унынии... Полноте, это мимолетные минуты отчаяния и досады, в которых мешается гнев и любовь, плач о падших и чувство материального бессилия. Они должны пройти.

1 июля 1865

ПИСЬМО ПЯТОЕ

Вас еще удивляет, оскорбляет глубокое непониманье наших старших братий *о цивилизации?* Удивлялся и я, негодовал и я — и теперь едва покоряюсь темной силе. Злые духи, раз поселившись в человеке, да еще имея за себя давность,— упорны; их изгнание или заговаривание никогда не было делом легким. Нет людей под рукой, они бросаются, как вы знаете по писаниям, в стадо многокопытных и с ними мутят воду. Разве изобретут какую-нибудь машину для *дренажа человеческого ума,* а то одной логикой не много сделаешь.

Человек уверен, убежден, что истина, сказанная им, выведенная им, доказанная им, убеждает и других. Ему возражают — он отвечает, ему приводят новые сомнения — он приводит новые доводы и думает, что дело сделано. Противники соглашаются, восторгаются — и вы можете быть уверены с той несомненностью, с которой вы ждете лунного затмения, что через два-три месяца явятся те же возражения, те же сомнения, те же озлобления вроде уток в известной детской игрушке, которые постоянно выходят из правой башенки и отправляются в левую, без всякого конца, потому что все это одни и те же.

Годы целые бьешься, бьешься о непобедимую мощь непонимания, думаешь: «Ну! сколько-нибудь выиграл...» Не тут-то было, все на одном месте... После десятого разговора вам возражают точно то же, что при начале первого, *совершенно соглашаясь со всем, что было говорено в промежутках.*

Казалось бы, оставить их в покое,— горбатого лечит одна могила — сил нет. Человек не может с рыбьим хладнокровием смотреть на другого, когда тот идет не по настоящей дороге, да еще, того и гляди, попадется под колеса почтовой кареты, в которой скачет сама история.

Откуда эта лень ума, эта робость силлогизма, это желанье не идти дальше, набросить покрывало?.. Давно ли, кажется, западный человек, освобождаясь от двух самых грубых опек, рвался вперед с отвагой в мысли и деле, отрицая все не оправданное разумом, потрясая все существующее и по дороге создавая науку и ставя огромный вопрос современности? Его-то он и испугался, как Фауст вызванного им духа. Смел он был в ожидании, в теоретическом отрицании, в ломании внешних цепей — черед пришел до приложений, и западный человек стал *революционным консерватором* — красным белого цвета. Порог ли это, за который он запнулся, или его предел — покажет время, но до тех пор у нас с ним нет языка. Выходя из отвлеченных сфер, мы встречаем в нем закоснелого врага или непонимающего друга. Последний хуже. Для меня нет ничего противнее, как *непониманье с сочувствием* и с некоторой любовью.

«Что вам нравится в моих статьях? — говаривал я многим и многим из западных друзей,— дайте себе отчет и вы увидите, что мы стоим на противуположных полюсах. Вы или увлекаетесь дружбой ко мне, или моим слогом; сущность моей мысли не принята вами и скорее противна вам, чем симпатична. Для меня это бесконечно печально,— печально за вас и за ваших, и я вас прошу — не восхищайтесь моими статьями или поймите их. В 1848 году вы сделали fiasco — затем реакция, апатия: на земле империя порядка, на небе воздушный шар социальных теорий, плавающий по воздуху без вожжей, руля и почвы, куда бы спуститься. Вы все говорите, что видите прошлые ошибки, что ищете новых решений, вы все жалуетесь, что старинные стены и развалины вам не дают ступить шага, вы ждете в раздумье и не можете ума приложить, что делать. Являются какие-то люди, *которые* приносят вам весть о стране, в которой существуют искони задатки иного социального устройства, на полях которой нет развалин, а есть только

что поставленные острожные частоколы, нет устарелых прав, а есть надоевшее бесправие, нет консервативных верований, а есть силой удерживающиеся цепи и веревки.

Что же вы сделали с этими вестями? Исследовали ли вы, справедливы или ложны показания этих людей и в чем состоит это *естественное* решение вопроса? Нет. Вы продолжали, с одной стороны, риторическую войну возгласов на старые беранжеровски-либеральные напевы, которые нас так и переносят в блаженные времена тьеровского либерализма и оппозиции Гизо. С другой — вы все еще хотите нам перелить в жилы вашу старую кровь, с вашей старой мудростью, с которой вы дошли до второго пришествия империи.

Из вашей цивилизации нам только и нужно то, что вы в ней считаете варварским, то, чему вы запираете двери, и то, что одно могло бы вас спасти так, как спасет нас. А вы, вместо пониманья, хотите нас учить вашему кодексу, вашему канцелярскому и камерному порядку. *Нам ваше пониманье* не нужно, нам нужна ваша наука, скрыть ее вы не можете: она родилась у вас, но она не ваша. Вам нужно нас знать, иначе вы можете по-римски поплатиться за старческое невнимание к варварам, за аристократическое пренебрежение новых народов».

Так, как в «Гамлете» трагедия представляется в трагедии и на сцене сцена, так я хочу в письме к вам передать другое письмо, написанное мною года три тому назад. Вы увидите, как вопрос этот мало двигается. В 1862 г. один нелепый лондонский журнал снова напал на Бакунина и по дороге зацепил и нас, я отвечал несколькими словами с откровенностью македонского солдата и с учтивостью русского гарнизонного офицера [40].

Вслед за тем я получил письмо от одной англичанки...[41]

Перебирая всю мою жизнь за границей, я должен сознаться, не обижая многих и многих мне близких и дорогих людей, полное пониманье нашего вопроса я встретил *один раз* — и это не в мужчине, а в женщине, и притом в англичанке.

Письмо было от нее. Она испугалась тона полемики и того озлобления, которое могло идти за пределы жалкого листка. Письмо ее было так благородно и полно дружбы, что мне пришло в голову серьезно разъяснить вопрос в ряде писем к ней. Пока я собирался, дела приняли другой оборот — нас покрыло дымным и кровавым туманом петербургской реакции и польского восстания. Ненависть ко всему русскому еще раз оправдалась. Где тут было делать различие между официальной Россией и той, о которой мы

говорили! К тому же дворянская литературная чернь заткнула за пояс правительство и полицию.

Я оставил в портфеле письмо, написанное к ней. И, с горестью сложа руки, ждал, чем кончится это испытанье. Вот вам оно:

«...Мне трудно отвечать на ваше письмо, за ваши добрые, дружеские слова, я, кроме сердечной благодарности, не могу ничего сказать хорошего или утешительного. Я боюсь за свою откровенность, но не могу, писавши к вам, остановиться на полдороге... Не сердитесь же на лампу за то, что она освещает. Вообще дела людские хороши en gros [42]. История, как Альпы, красива издали... вблизи серые камни, замаранный снег, обрывы и все еще бездна дороги, и притом дурной, тяжелой дороги впереди...

Позвольте мне напомнить начало нашего знакомства. Вы протянули мне руку, не зная меня лично, и протянули ее во имя дела, которое я делал, и во имя мира, о котором я свидетельствовал. Не знаю, каким вдохновением, каким наитием вы почувствовали *живые всходы* под нашими снегами и отгадали, что мрачный и немой мир наш не *отходил,* а *нарождался.* Вы приветствовали его во мне, когда я случайно попался на вашей дороге, и я бесконечно вам благодарен за это,— но что сделали другие? Что сделала *старая гвардия* цивилизации, с которой я сблизился на ее Ватерлооском поле; что сделали покрытые сединами и шевронами колонновожатые рода людского, которые завели его в болото и потеряли путь?

Сначала они меня слушали с тем молчанием, с которым слушают, находясь не в авантаже, даже безвредных сумасшедших. Потом, когда половина предсказанного стала осуществляться, они, как римские сенаторы в деле Сципиона, закрыли глаза... [43] А вы говорите: объясняйте им, толкуйте.

Ненависть к России, никак не надобно ошибаться, не относится исключительно к правительству, к дворянству или «схизматическому» духовенству, а просто-напросто *гулом ко всему русскому.* Вы составляете исключение, может еще два-три человека, да и то если вы без ненависти смотрите на народ русский, то скажите откровенно, *любите ли вы Европу?* Ненависть к России не взаимна, совсем напротив. Россия с начала XVIII века находила в Европе свои модели, свои выкройки, свои прописи, тянулась за ней во всем, подражала ей и едва теперь начинает сторожить уши. С тридцатых годов либеральная Европа привыкла на нашей спине, с спартанской педагогической несправедливостью, наказывать гадости всех правительств; чем больше

она теряла право критики домашних дел, тем свирепее секла она Россию, не замечая, что она хлещет не только по той России, которая все ломит и все давит, а по той, которую все давит и все ломит. Это зрелище довольно новое. Слыхали ли вы, чтоб за неаполитанских Бурбонов кто-нибудь стал позорить крестьян на terra di lavoro [44], горцев в Калабрии или за австрийское удушливое императорство бросать грязью в тирольца или морава? *Тут* ненависть к правительству и к силам, его поддерживающим; *там* зоологическое, инстинктивное отвращение, *консервативная* ненависть старой расы, встречающейся с неизвестным intrus [45], с новой расой, бродящей по границе и словно засматривающей в глаза. А ведь мы смотрели до сих пор вовсе не так, как Франц Моор, спрашивая своего дряхлого отца: «Что ж ты вечно хочешь жить, что ли?» [46] Мы смотрели от внутренней тоски, мы искали совета и науки. Встречая в последнее время надменную ненависть, и мы наконец начинаем хмуриться. Из этого могут вырасти беды, кровавые столкновения, вы хотите их устранить. Хотел бы и я, но где же возможность, где элементы?.. Вы говорите: «Продолжайте ваше апостольство, раскрывайте глаза западным людям, не прибавляйте яду и озлобления в натянутое положение». Простите меня, я не узнаю тут вашу самобытную, безбоязненную мысль: sans peur ni reproche! [47] Где же ваше гордое смирение перед фактической необходимостью? Вас исполняет ужасом «собирающаяся борьба двух разных цивилизаций», и я смотрю на нее с ужасом, но не могу же я кинуться навстречу лавине!..

Вы сомневаетесь в *достаточности* причин, вы сомневаетесь в ненависти и относите ее к недоразумению, вы говорите, что это чувство новое. Я был бы рад согласиться с вами, но мне сдается, что причин больше, чем надобно, больше, чем их было во всех роковых столкновениях «двух цивилизаций» — мира греческого, например, с миром персидским, мира германского протестантизма с миром романского католицизма, мира романской революции с миром германского консерватизма...

Мы разумом побеждаем в себе, т. е. мы — несколько человек, порывы физиологических антипатий, и то при малейшем поводе они берут верх.

Ну а там, где всякое очеловечение неизвестно и где ненависть раздувают всеми силами — из видов, из риторики, из непонимания? Вы правы, это чувство ненависти не всегда существовало, но на этом-то я и основываю его страшную будущность, *оно в росте.*

Пока Россия являлась ученицей, антагонизму не было

места, философы XVIII века ласкали ее, поощряли, льстили ей; лицемерный, литературный либерализм Екатерины II был принят au pied de la lettre [48]. Хваля ее, бранили своих (обратная игра той, которую я отметил выше). При Наполеоне Европа с Россией померилась, узнали, что им друг друга не сломить, и успокоились на дипломации и конгрессах; вопросы были спутаны, дело шло не о «двух цивилизациях», а о завоевательном начале в борьбе с национальным. Пол-Европы было с Россией, русские победы были немецкими победами, русская политика была общеевропейской, ультраконсервативной, специально-немецкой, но не национальной, не русской. Открытый антагонизм между Европой и официальной Россией начался с 1830 года. Дерзкая, обуховая политика Наполеона, гонения дома, а всего больше в Польше вооружили общественное мнение всего мира против России. Россия казалась постоянным тормозом, задерживавшим всякое движение Европы, мешавшим всякому прогрессу.

Но и этот антагонизм не был еще серьезен. Борьба Ормузда и Аримана решена вперед. Европа представляла все хорошее — свободу, науку, цивилизацию, гуманность; Россия — материальную силу, бесправие, крепостное состояние, самовластие, Сибирь, рудники, кнут. Чисто отрицательное начало не может выдерживать войну с началом положительным. И как бездарно ни была ведена Крымская война со стороны союзников, но она показала не одну, а несколько ахилловых пят России. Она показала, что народ не был за войну, что общество не было за войну, что литература не была за войну. Она показала общее неудовольствие, общий ропот. Мрачное отчаяние, с которым защищали Севастополь, выражало только народное «не тронь меня» и свидетельствовало о той силе, которую могла бы возбудить народная борьба. Для прочной, долгой борьбы, для серьезного, исторического антагонизма необходим *нерешенный вопрос*, необходимо, чтоб *правда и неправда* была с обеих сторон и чтоб вопрос был на живот и на смерть.

Где же вопрос, на котором «две цивилизации» могли бы торжественно слиться, отрекаясь от всех антагонизмов, или окончательно расшибиться друг об друга в диком единоборстве? Вы его ставили много раз с такой ясностью, что мне, если б я не к вам писал, пришлось бы переписать ваши слова...»

Первое письмо этим оканчивалось, второго я не писал. Польское восстание, как я сказал, захватило все внимание

и надолго смешало карты. Озлобление, ненависть к нам Европы удесятерились не только действиями русского правительства, но и чувством собственного бессилия, невольной измены, стыда.

В этом хаосе страстей должен был бы потухнуть последний луч пониманья. Совсем напротив, именно в это время, по какому-то ясновидению ненависти, заклятейшие враги начали разглядывать *действительную почву* нашего антагонизма... а наши западные друзья, не раскусив смысла, подхватили их слова и начали бить, не отдавая себе никакого отчета, *кого они бьют.*

В 1863 году вышла в Париже брошюра, писанная поляком, «La Pologne et la cause de l'ordre» *. Она ставила вопрос совершенно ясно и указывая Европе, консервативной и либеральной, в чем ей грозит опасность от России и почему она должна всеми мерами стараться стерпеть главу этой гидры. Католик, писавший эту книгу, пошел дальше Донозо Кортеса; Донозо Кортес стращал одной покорной массой войск и единством воли, располагающей ими. Автор брошюры прямо говорит, что Россия, сверх дикой силы, неустановившейся и готовой на все, представляет хаотическое отрицание западных государственных форм, что во всех проявлениях внутри бродящей силы ее страшный фермент *социализма*, незаарканенного и мечущегося во все стороны, который ничего не пощадит, ни перед чем не остановится — ни перед духовной, ни перед гражданской святыней...

Наконец-то то, что мы проповедовали столько лет, стало являться на площади в полном параде, в Сан-Бенито [50], с зажженными свечами в руках, бросающими длинные черты тени... Кто будет теперь сомневаться в наших словах? Их подтверждают враги. *Мир порядка* отлучает нас, мир *ниспровержения* его протянет нам руку...

Не тут-то было.

Они говорили об официальной, окровавленной, казнящей России. Не в Зимнем же дворце, не в казармах и канцеляриях *тот страшный фермент*, о котором говорил автор брошюры... Загляните под казенное красное сукно.

— Нет, нет,— кричат радикалы со всех сторон,— знаем мы вас, вы не лучше, вы все *коммунисты, социалисты!*

— А вы, господа,— так и хочется им ответить,— вы все-таки вдвое ближе к всероссийскому императорству, которое ругаете по привычке, чем к вольным людям,

---

* Советуем не читавшим этой брошюры ее прочесть [49].

ищущим действительной свободы и действительной правды.

С ними, caro mio [51], будьте уверены, не скоро сговоримся мы.

20 июля 1865

ПИСЬМО ШЕСТОЕ

На этот раз, любезный друг, я пишу к вам не письмо, а скорее post scriptum к двум прошлым письмам.

Меня паки и паки упрекают в недомолвке, в неясности, требуют, чтоб я сказал категорически, в чем дело, отчего Россия guter Hoffnung, а Европа в импассе... [52]

Да ведь если я, двадцать лет говоря одно и то же, не дошел до того, чтоб растолковать свою мысль, трудно себе представить, чтоб мне удалось теперь. К тому же рассказать, в чем дело,— значит ни больше ни меньше как изложить целый курс социализма и рассказать историческое развитие

От Ромула до наших дней [53].

Это мне не под силу. Что касается до общих мест, до сентенций и афоризмов — они большей частью оттого и безжизненны, что общи. В частных развитиях и применениях живее передается мысль. К тому же я не могу забыть, что и М. П. Погодин писал когда-то исторические афоризмы [54].

Я через два-три часа еду и хочу в ответ на полученное мною замечание только поставить несколько точек на i. Предупреждаю в одном — что все это ужасно старо и может скорее служить попреком за невнимание, чем новым постановлением вопроса.

Государства — таков наш главный тезис — сложились, как все сложилось в природе, по неопределенным стремлениям, по открывавшимся возможностям, прилаживая и изменяя внутренние потребности к внешним обстоятельствам. По мере развития мысли, сознания является желание разумнее, целесообразнее устроиться. Французская революция была колоссальной попыткой заменить политический, юридический, религиозный быт, так, как он вырос под разными влияниями,— разумным, так, как его понимали тогда. Книжный, философский идеал энциклопедистов был совершенно достаточным в руках меньшинства, чтоб разрушить седые стены старой Бастильи... но, опрокидывая могучим потоком все церковно-политическое устройство,

революция остановилась перед экономическим вопросом, так, как реформация перед текстом св. писания. Ни реформация со своими сектами, ни революция со своими не могут *шагу идти дальше,* не выходя первая из христианства, вторая — не касаясь экономического вопроса.

Предоставить орудия работы, экономические силы, творчество и производительность, скучение богатств и распределение их случаю и привычному праву — не сообразно с разумом, с современным пониманием. Бездна материала пропадает без рук, бездна рук гибнет без материала, огромные богатства без производительности, огромные запасы без сбыта, избыток и голод, наконец, большинство всех народов, страдающее в нужде и невежестве, именно от случайного распределения сил и орудий. В этом хаосе нельзя жить, поняв его; неведением теперь отзываться нельзя — страстное желание исторгнуть жизнь из старых форм совершенно последовательно. Но между прошедшим, за которое никто не отвечает, и будущим, за которое *мы будем отвечать,* с одной стороны — *сознание необходимой перемены,* с другой — *выгода отстаивания приобретенного.*

Недостаточность прежних гражданских идеалов ясна не только для тех народов, которые прошли ими, но и вообще для всех народов *идущих.* Для нас это особенно важно. Нам нет никакой необходимости переходить *всеми* фазами политической эволюции, для того чтоб вступить в фазу экономического развития.

Чем прочнее и больше выработаны политические формы, законодательство, администрация, чем дороже они достались, тем больше препятствий встречает экономический переворот. Во Франции и Англии ему представляется больше препятствий, чем в России, чем в Молдовалахии. Тут нет ни гордости, ни унижения; это факт, бросающийся в глаза. Само собой разумеется, что одна неразвитость гражданских форм не обусловливает еще социального развития, иначе Турция была бы ближе всех стран к нему. В России есть почва в быте народном, в народном характере,— почва невозделанная, но готовая принять первое семя; семя это принесло к нам с Запада. Признание за народом права на землю — величайшая победа, сделанная народным смыслом *и социальной идеей.* Консервативная партия в экономическом смысле у нас только что слагается, ее росту надобно помешать. Императорская власть чисто внешняя, у ней сила, а не смысл. Препятствия на пути нашего развития искусственные, это не рвы, а бревна, но

бревен могут натаскать много, если мы будем сидеть сложа руки. Вот все, что мы проповедовали. Я и теперь еще убежден, что мы можем идти далее по пути социального развития без общих потрясений, без экспроприации, без колонизации, без всех тех страшных вещей, которыми в Европе останавливают, как медузиной головой, естественный ход дел.

Именно на этой помехе естественному росту основано все безумие современного состояния, например, во Франции. Сила империи и реакции в этом avortement [55] революции.

Революцию, так, как она шла с 1789 года, не могли своротить с дороги ни обе империи, ни обе реставрации; ее остановила громадность социальной задачи и парализовало необыкновенное отношение к ней деятельной среды, развитого меньшинства. Пока дело шло о политических правах, все образованное стояло со стороны движения; дошедши до социального вопроса, сделалось новое расщепление. Несколько человек остались верными логике и движению, но масса образованных отступила и очутилась, при своих оппозиционных замашках, с консервативной стороны. Народ, за которого прежний революционер становился ходатаем, снова пал на руки попам или вовсе остался беспомощным в потемках низменных сфер жизни; адвокаты его, скрывавшие за собой его детскую неразвитость, расступились, и мы увидали несколько пророков на горе да внизу спящую тяжелым сном народную массу. Идти вперед боялись, идти назад было невозможно, вера в прошедшее была утрачена; надо было выжидать, ладить, удерживать нужное и ненужное, отстаивать приобретенное, отталкивать новое. Такому положению дел простой деспотизм империи, т. е. самодержавной полиции, естественнее конституционной монархии.

Колеблющаяся среда либерализма, основанная на освобождающемся разуме и держащаяся за обязательные предания,— среда неискренная, полная страхов и угрызения совести, в которой сосредоточивается вся деятельная сила Франции, падает из ошибки в ложь, из лжи в ошибку. Она не верит и поддерживает католицизм, она боится социализма и хлопочет о народном образовании, она не имеет храбрости открыто звать на помощь невежество и великую узду голода. Из такого нравственного сумбура жизнь не может осесть серьезно, а беспрерывно расползается, чинится, меняется, беспрерывно торопится, не зная куда, зачем, в каком-то чаду противуречий.

«Империя — мир!» — кричат перед войной.

«Даровое ученье, всеобщее ученье, и да погибнет социализм!» — говорят республиканцы.

Работник мрачно смотрит на все, говоря: «Работы, работы, и не нужно мне ваших свобод», забывая, что не будет обеспеченной работы — без обеспеченной свободы.

И эти хаотические сумерки выдают нам за лучший цвет цивилизации... Что за вздор!

...Неужели и вы находите что-нибудь неясного в этом сжатом изложении? где? в чем? Пишите, я готов отвечать.

ПОРЯДОК ТОРЖЕСТВУЕТ!

L'ordre règne à Varsovie.

Sebastiani (1831) [1]

I

Если Содом и Гоморра гибли так интересно, как гибнут *старые порядки* в Европе, я нисколько не дивлюсь, что Лотова жена не вовремя обернулась, зная, что ей за это солоно придется [2].

Едва мы подходим к концу 1866 года, так и тянет оглянуться.

Ну и год!.. *И в гостях и дома* — хорош он был, бедностью событий его попрекнуть нельзя...

О Западе мы почти никогда не говорим. Без нас о нем говорят много и громко, он сам говорит еще больше и еще громче, помощи нашей ему не нужно, перекричать его мы не можем. К тому же было время — мы высказали наше мнение дотла. Но события становятся до того крупны и резки, несутся так быстро, что по необходимости перед ними останавливаешься, поверяешь и сличаешь думанное с совершающимся.

Старый порядок вещей, упорно державшийся на своих правах давности, стал распадаться с отчаянной быстротой. «Гнилая рыба» *, о которой говорил Гёте, валится кусками с костей, на первый случай в прусскую каску [4]. Хороша будет уха, сваренная в ней!

Разложение *старого* мира не пустая фраза, теперь в этом трудно сомневаться. Характер органического разложения состоит именно в том, что элементы, входящие в данное взаимное отношение друг к другу, делают вовсе не то, что они назначены делать, что они хотят делать, а это-то мы и видим в Европе.

Охранительная сила, консерватизм гонит взашеи *законных* королей и властителей, рвет свои трактаты, рубит сук, на котором сидит.

Революция рукоплещет замене глупых и слабых правительств сильным военным деспотизмом.

---

* Die Welt geht auseinander wie ein fauler Fisch [3].

Все делается — в этом единственный смысл реакции — для прочности, покоя, равновесия, и все чувствуют, знают, что Европа, сшитая *прусскими иголками* [5], сшита на живую нитку, что все завтра расползется, что все это не в самом деле, что в самом деле будущность мира, этого великого, цивилизованного, исторического мира, висит на нитке и зависит, как в сказке о «Заколдованной розе», от почек, но не розы — а пятидесятивосьмилетнего человека [6]. Вот куда реакция спасла мир. Мир, стоявший на трех китах, был прочнее.

Давно известно, да и Байрон повторял, что нет человека, который не обрадовался бы, услышав, что с его другом случилось несчастье, которое он предвидел и от которого предостерегал. Относительно политического мира и это удовольствие притупилось для нас. Восемнадцать лет тому назад нас прозвали «Иеремиями, плачущими и пророчащими на развалинах июньских баррикад» [7], и с тех пор каждый год сбывается что-нибудь из того, что мы предсказывали; сначала это льстило самолюбию, потом стало надоедать.

Был в Европе больной человек, до него-то и добивался Николай Павлович [8], сам не очень здоровый; теперь вся Европа — больница, лазарет и, главное, дом умалишенных. Она решительно не может переварить противоречий, до которых дожила, не может сладить с переломленной революцией внутри, с двойной цивилизацией, из которых одна в науке, другая в церкви, одна чуть не двадцатого столетия, а другая едва XV. Да и легко ли спаять в одно органическое развитие — буржуазную свободу и монархический произвол, социализм и католицизм, право мысли и право силы, уголовную статистику, объясняющую дело, и уголовный суд, рубящий голову, чтоб она поняла.

Иной раз кажется, будто Европа успокоилась, но это только кажется. Она в своих задачах нигде, никогда не доходила до точки, а останавливалась на *точке с запятой*. Парижский трактат — точка с запятой, Виллафранкский мир — точка с запятой, завоевание Германии Пруссией — *семиколон*. От всех этих недоконченных революций и передряг в крови старой Европы бродит столько волнений, *страхов и беспокойств*, что она не может заснуть, а ей этого хочется. Лишь только она задремлет, кто-нибудь — добро еще Наполеон, а то Бисмарк — поднимет такой треск и шум, что она, испуганная, вскакивает и спрашивает: «Где горит и что?» И где бы ни горело, и что бы ни горело — погорелая она, кровь течет ее, деньги приплачиваются ею... Петр I как-то оттаскал за волосы невинного арапчонка,

думая, что он его разбудил; в Европе не только некому оттаскать виновного, но еще перед ним все становятся на колени. Оно, впрочем, и лучше, что есть будильники, а то и не такую беду наспал бы себе мир.

Люди по натуре беспечны, и, не ударь гром, они и не перекрестятся, как говорит пословица. Человек завел сад и жену, развел цветы и детей, обманул всех соседей, продавая им втридорога всякую дрянь, обобрал всю мышечную силу окрестных бедняков за кусок хлеба и, благодаря прочному, законами утвержденному порядку, лег спать вольным франкфуртским купцом, а на другой день проснулся подданным прусского короля [9], которого всю жизнь ненавидел и которого должен любить больше жены и цветов, больше детей и денег. В доме его бражничают прусские драгуны, цветы его съели лошади, детей съест рекрутчина... Вот он и подумает теперь, что ему обеспечило *государство и реакция,* в пользу которых он платил деньги, кривил душой, без веры молился и без уважения уважал. Вместе с ним подумает и эта ватага калек перехожих, слепых и безумных королей Лиров, пущенных по миру в оборванных порфирах — не народами, а своим братом, Hohenzollern hochverschwistert [10].

Другие народы и другие венценосцы тоже подумают теперь о смысле и крепости *присяги, преданности престолу,* о *святости законных династий.*

Потсдамский лейб-пастор настрочил молитву для ганноверских церквей и заставил их сегодня молиться за вчерашнего врага в бесконечно смешных выражениях. Этого не делал и Батый.

Кажется, что может быть смешнее и нелепее всего этого... а есть роль смешнее, именно революционеров.

Правительства, сколачивающие единства и сортирующие людей и области по породам не для составления родственных *групп,* а для образования сильных, *единоплеменных государств,* знают по крайней мере, что делают; но помогающие им, если не руками, то криком и рукоплесканиями, революционеры и эмигранты — понимают ли они, что творят?

В этом-то бессмыслии и заключается одна из тайн той хаотической путаницы в голове современного человека, в которой он живет. *Старым умам,* в их логической лени, легче убивать других и быть ими убитыми, чем дать себе отчет о том, что они делают, легче *верить в знамя,* чем разобрать, что за войско за ними.

Они мечтали о *свободе, равенстве и братстве,* ими взбудоражили умы, но дать их не умели и не могли: «Нель-

зя же все вдруг да разом, и Рим не в один день был построен», а потому, для постепенности, они помирились с реакцией на том, что, вместо свободы лица, будет свобода государства, национальная независимость, словом, та *свобода,* которой искони бе пользуется Россия и Персия. Все шаг вперед. Только жаль, что вместо равенства будет племенное различие и вместо братства — ненависть народов, сведенных на естественные границы.

В 1848 году реакция явилась *реакцией,* она обещала порядок, т. е. полицию, и порядок, т. е. *полицейский,* она восстановила. Но лет в десять смирительный дом без развлеченья надоел, бесплодное, отрицательное знамя полицейского отпора и благоустройства износилось. И вот малопомалу начало показываться новое, как бы это сказать, земноводное, амфибическое знамя; оно водрузилось между реакцией и революцией, так что вместе принадлежало той и другой стороне, как Косидьер — порядку и беспорядку [11]. Освобождение национальностей от чужеземного ига, *никак не от своего,* сделалось общим бульваром враждебных начал.

Лопнувшие гранаты Орсини [12] возвестили новую эпоху, и с тех пор пошли всякие чудеса: латинский мир в Мексике, австро-прусский в Дании, Пруссо-Австрия друг в друге, завоевание Венеции поражением Италии на суше и на море, Франция, укрепляющая *против себя* рейнскую границу, присоединение пол-Германии к Пруссии — к государству без отечества и которое должно бы было первое распуститься в немецкое gesammtes Vaterland [13].

И, как всегда бывает, возле крупных событий несутся в какой-то неистовой «пляске смерти»... личности, случайности, подробности, от которых волос становится дыбом.

Возьмите хоть эту женщину, переплывающую океан, чтоб спасти поддельную корону своего мужа, которую она принимает за настоящую *латинскую.* Родной брат не дает ей наследства отца, единственный покровитель пожимает плечами и показывает ей статуи Кановы; она падает в обморок, и когда раскрывает глаза, перед ней стоит *он* с стаканом воды, и она, уже полуповрежденная, с криком: «Меня хотят отравить!» бежит вон, бежит к папе. В Ватикане встречаются эти два бессилия, эти две лжи. Старик, которому скоро нечего будет благословлять «ни в городе, ни в вселенной», видя у ног своих полуразвенчанную, верующую в него женщину, приходит в бешенство. Она держит его за сутану и просит чуда,— грубый старик отталкивает ее, осыпает бранью, чтоб скрыть, что у него нет чудотвор-

ной силы. Совсем *сумасшедшую,* ее везут из Ватикана, а она шепчет: «Меня хотят отравить» [14].

Около выжившего из ума старика и безумной летят осколки всевозможных корон, больших и малых, увлекая с собой и другую стародавность, другую *подагру,* которую не могут поддержать ни чахлые эрцгерцоги, ни жирные монсиньоры.

На расчищенном месте ставятся на зиму военные бараки. На этих биваках будет продолжаться история.

Все рассортировано по зоологии и признано по национальностям; одна заштатная Австрия отстала, не зная, какую кокарду прицепить к надтреснутой короне — *славянскую, немецкую или венгерскую.* Догадаться, что она прежде всего федерация и что она только путем федерации может воскреснуть, не трудно, но недостает мозгов.

Этот акт финала сыгран превосходно, быстро, отчетливо, с поразительным ensembl'ем.

Остались кой-какие «слабости», до которых не коснулись и которым предоставили роль маленьких зверьков, сажаемых в львиную клетку для обнаружения великодушия «царя зверей».

...О, Ромье! Забытый Ромье, как он был прав, проповедуя необходимость противоставить, как плотину, напору социальных волн национальные вопросы! [15]

Но великодушие великодушием, надобно же знать и меру. До сих пор один *наружный* порядок был возможен... его подтачивали тысячи подземных кротов, его подмывали тысячи подземных ручьев. Что сделаешь, пока рядом с вольными типографиями есть железные дороги, пока легкость передвижения и трудность преследования *за границей* помогают друг другу. Год тому назад парижские студенты ездили вместе с немецкими в Льеж, а в нынешнем французские и немецкие работники сходились на совещание с английскими и швейцарскими в Женеве [16]. Простая логика говорит, что Франция и Пруссия не могут, не должны терпеть на европейском континенте без явной опасности для себя, без вопиющей непоследовательности,— терпеть на ином основании республик или свободных государств, как терпелась безгласная республика Сан-Марино и оперная Валь д'Андоре...

...Тут поневоле приходит на ум так сильно грешащая против национальной сортировки молитва:

Gott protège la Svizzera! [17]*

---

* Когда в Швейцарии вводили одинаковую монету во всех кантонах, в федеральном собрании представился вопрос: на каком языке сделать

Да, Швейцарии жаль, истинно, глубоко жаль!

Трудно, больно себе представить, что вековая, готическая свобода изгонится из ее ущелий, с ее вершин, что на Альпах будут развеваться прусские флаги и трехцветное знамя французов. А с другой стороны, так ясно, что подобные противоречия, при огромном неравенстве, рядом существовать не могут. Все эти клочки свободных государств, терпимые, как игорные и публичные домы, по разным соображениям, по разным снисхождениям,— то как лайка между двумя камнями, то из боязни, чтоб другая рука не протянулась за своим паем,— утратили свое право на слабость, свою привилегию на край гибели. Никаких соображений, никаких уважений не осталось. Франция и Пруссия до того сильны, что они остановились: Франция не взяла берегов Рейна, Пруссия не добрала всей Саксонии,— все равно, все божье да их — нынче не взято, завтра можно взять.

Один кусок не по челюстям — Англия. Недаром Франция так рвется через канал... привести в порядок ненавистную страну с ее ненавистным богатством...

Англия поблагоденствует еще: в ней будет уже не всемирная выставка, а всемирный склад всего, до чего доработалась цивилизация; в ней действительно увенчается и пышно развернется последняя фаза средневековой жизни, свободы, собственности. Все это до тех пор, пока туго понимающий, *но понимающий* работник выучит по складам, но твердо такие простые правила, как «Мало Habeas corpus'a, надобно еще кусок хлеба», и французскую комментарию к ней в английском переводе [18]: «У кого есть дубина, у того есть хлеб!» *

...Да, смертельно жаль Швейцарии; ее недостатки, ее грехи мы знаем; но ведь она не за них будет наказана, а за то, что осталась свободная, федеральная, республиканская между двух деспотических армий.

надпись кругом монеты, чтоб не обидеть ни одну из национальностей. Один из представителей, шутя, предложил вырезать: «Gott protège la Svizzera», и этим кончил вопрос. Собрание велело чеканить монету без всяких фраз, а просто с означением ценности.

Не замечательно ли, что в двух странах, в которых республика вошла в жизнь и кровь,— в Северо-Американских Штатах и в Швейцарии — спаяны вместе несколько народностей: одна состоит из всесветных пришельцев и бродяг, другая — из разноплеменных союзников.

* Мы просим наших читателей вспомнить, что в 1853 и 1854 мы предсказывали, что Европа придет к этому с своей реакцией, в ряде писем под заглавием: «Le vieux Monde et la Russie» [19].

Смотрим, смотрим, откуда может прийти спасение,— и не видим.

Есть добрые люди, которые думают, что французский солдат остановится перед святым словом «Республика», перед святыми Альпами, дававшими убежище его отцам и братьям. В прошлом столетии он смело переходил горы и реки, *с ним была революция*, но во имя реакции он не пойдет бесславно душить кучку вольных граждан...

...Эти добрые люди не знают, что такое французский солдат нашего времени, воспитанный Алжиром, зуавами, туркосами...

Есть другие хорошие люди, которые думают, что сама Швейцария должна проснуться, забыть ежедневную суету, федеральные и кантональные сплетни, коммерцию горами и иностранцами и сделать теперь *все то, что она сделает, но слишком поздно*, т. е. схватиться за карабин, кликнуть клич народным массам соседних государств и указать им весь ужас, грозящий от этих нововавилонских и ассирийских монархий. Конечно, это было бы недурно, и во всяком случае дало бы Швейцарии хорошую, великую кончину...

Но кто же может откликнуться?

Бельгия, что ли?.. Сила, нечего сказать.

Или уж не Австрия ли пойдет на деревяшке выручать *свободу* мира, с побитыми войсками и победоносными иезуитами?

И, в сущности, какое дело народным массам, что из них составляют вавилонскую или ассирийскую монархию? Разве чересполосица, урезки и прирезки Венского конгресса были лучше? Разве им было когда-нибудь лучше? О немецких мелкопоместных королях, герцогах и говорить нечего. Надобно прочесть речь баденского министра иностранных дел в камере, чтоб подивиться, какими разбойниками управлялись немцы до тех пор, пока не пошли на округление прусских владений *.

Правда, что массы и прежде восставали всегда бессмысленно, но они бежали за какой-нибудь радугой, была какая-нибудь повальная мономания, фанатическая вера, которая для них делалась дороже семейного крова и своей жизни.

---

* Выведенный из терпения нападками в камере, он рассказал, как Австрия и Бавария вступали с Баденом в союз и в то же время тайно между собой приготовлялись присоединить Баден к Баварии... Слово «разбойник» потому тут идет, что разбойники между собою-то по крайней мере честны...

Где теперь эта радуга, это слово, этот идеал? Швейцарец будет защищаться в своих горах, как лев, как вепрь, до последней капли крови: он будет защищать свое, стародавнее, родное, он знает, *что* отстаивать. Ну, а другим что за дело? Другие просто не поймут; да и в самом деле, как понять, когда для защиты человеческих прав приходится становиться с *австрийской стороны*...

Хорош сумбур, к которому привела спасительная *реакция* наших западных стариков, зато:

Революция — побеждена,
Красные — побеждены,
Социализм — побежден,
Порядок — торжествует,
Трон — упрочен,
Полиция — сажает,
Суд — казнит,
Церковь — благословляет...

Радуйтесь и благословляйте в свою очередь!

...Стало, так-таки просто — голову в перья и ждать, когда беда разразится?

Беда-то разразится, в этом нет сомнения; но головы прятать не нужно. Лучше самоотверженно ее поднять, прямо посмотреть в глаза событиям, да и в свою совесть кстати.

События столько же создаются людьми, сколько люди событиями; тут не фатализм, а взаимодействие элементов продолжающегося процесса, бессознательную сторону которого может изменять сознание. Историческое дело — только дело живого *пониманья* существующего. Если десять человек понимают ясно, чего тысячи темно хотят, тысячи пойдут за ними. Из этого еще не следует, что эти десять поведут к добру. Тут-то и начинается вопрос совести.

На каком основании Наполеон и Бисмарк ведут Европу? Что *они поняли?*

Наполеон понял, что Франция *изменила* революции, что она остановилась, что она испугалась; он понял ее *скупость* и то, что все остальное подчинено ей. Он понял, что старое, сложившееся общество, в котором сосредоточены деятельные силы страны, все вещественные и невещественные богатства, хочет не свободы, а ее представительной декорации, с полным правом d'user et d'abuser [20]. Он понял, что новое общество, идущее прямо к социальному перевороту, ненавидит старое, но бессильно. Он понял, что масса не

знает ни того ни другого и вне Парижа да двух-трех больших центров живет готическими фантазиями и детскими легендами. Он все это понял — посреди шума и возгласов оканчивающейся республики 1848 года, посреди самонадеянных притязаний разных партий и неугомонной оппозиции; оттого-то он и молчал и выжидал, когда «груша поспеет».

С своей стороны и Бисмарк не хуже Наполеона оценил своих филистеров; на лавках франкфуртского парламента ему был досуг их раскусить. Он понял, что немцам политическая свобода столько же нужна, сколько Реформация им дала религиозной, что и эта свобода им нужна только der Theorie nach [21], что они власти повиноваться привыкли, а к строгой английской самозаконности вовсе не привыкли. И этого было бы довольно; но он больше понял: он понял то, что в настоящую минуту немцы снедаемы завистью к Франции, ненавистью к России, что они бредят о том, чтоб быть сильным государством, сплотиться... зачем?.. если б это можно было объяснить, тогда это не было бы помешательством. Итальянская Unità спать не давала немецкому Einheits-патосу [22]. Что выйдет из итальянской Unità, мы не знаем. Но необходимость ее, для того чтоб прогнать австрийцев, Бурбонов и папу,— очевидна. Немцы не для своего освобождения хотели единства, а с агрессивной целью; их столько обижали, что им самим захотелось обидеть других. Бисмарк все это понял... Опозоривши, унизивши народное представительство в Берлине до той степени, до которой в истории нашего века не доходило ни одно правительство, он присмотрелся — народ молчит. А... если так... патриотический вопрос о Шлезвиг-Голштейне вперед и давай бить датчан. Вся Германия рукоплескала неровному бою. Немецкие выходцы в Лондоне, в Нью-Йорке, Париже праздновали победы *Австрии и Пруссии.* После этого опыта нечего было бояться, нечего церемониться,— маска долой, и Бисмарк из Германии пошел сколачивать империю пруссаков, употребляя на пыжи клочья изорванной конституции. «Вы хотели сильного государства — вот вам оно, Франция с нами теперь посчитается... Вы хотели унижения Австрии — мы вам ее забили почти до возрожденья. Liebchen, was willst du den mehr?» [23].— «Свободы, граф, свободы!» — «Ну уж это извините, да вам ее и не нужно. Пользуйтесь вашим величием, молитесь за будущего императора пруссов и не забывайте, что рука, которая раздавила целые королевства, раздавит всякую неблагодарную попытку с вашей стороны с неумолимой строгостью. Sie sind entlassen, meine Herrn!» [24]

...Если отрешиться от наших симпатий и антипатий, забыть, что нам лично дорого и что ненавистно, то особенно кручиниться о том, что делается в Европе, вряд ли придется. Военные диктатуры и беззаконные империи ближе к выходу, чем традиционные королевства и законные монархии. В них Европа не застрянет, а подведется к одному знаменателю... а перегорит и миром или войной дойдет до страшной пустоты. Эта пустота и будет могилой всего отжившего.

Прудон как-то с ужасным бесчеловечием упрекал Польшу, что «она не хочет умирать» [25]. Мы гораздо справедливее можем это сказать о *старой* Европе. Она всеми силами удерживается в жизни, а болезнь, а смерть все подвигаются. Сознание, мысль, наука и все ее приложения давно переросли готические и мещанские формы старого государства. Дух в разладе с телом, изнуренное, узкое и полное недугов, оно сковывает его. Французская революция 1789 года тогда еще испугалась этого и оттого вся сбилась в войну и политику; она рада была внешним занятиям — и из «прав человека» развился кодекс *мещанского права.*

Как ни была шатка и бледна революция 1848, но и она сильно рванулась продолжать перерванное политикой перерождение, и тут-то началась последняя борьба умирающего старика, отстаивающего дни свои, вооруженного целым арсеналом вековых оружий, с отроком, сильным одной мыслью, одной верой, одной истиной, который в первой схватке пустил пращу и не попал. Кажется, чего лучше: старый Голиаф победил [26] — а умирает-то он, а не отрок; еще два-три таких судорожных припадка кровавого бешенства, как окончившаяся война, еще два-три геройских лечения доктора Бисмарка — и больному нечего бояться ни испанской чахотки, ни голландской водяной...

Но ведь может же он перед смертью придушить мальчишку, дерзко напоминающего ему, что пора умирать.

Может. Хотя это и далеко не верно.

Что же тогда?..

Идеи сеются не в землю. Наука, мысль — не glebae adscripti, не *крепки почве*...

...Нет места евангелию в Иудее — его несут в Рим, его проповедуют варварам; нет молодому работнику простора в отеческом доме, на родных полях — он уйдет в Америку... не знаю куда...

Мы это говорим не в первый раз, но считаем необходимым иногда повторять, и особенно необходимым повторить

теперь, когда у нас все покрыто такими темными тучами и все так быстро, быстро приуныло.

II

Да, но он обманул, он не сдержал слова, он не дал покоя, он не дал мира, он не дал жизни, а продолжил смерть; он отвел глаза от опасности, замаскировал пропасть декорациями и самой войной не достиг ни до какой прочности. Лишь только умолкли барабаны... поднимается прежнее негодование, и тот же грозный вопрос «Что мы сделали с Авелем?» [27] раздается в ушах старого мира, призывая его к страшному суду.

Приходится сложить *билан* [28], но задача ликвидации *старой фирмы* ужасно сложна, слишком много всякого добра, нажитого пóтом и кровью, наследственного и купленного на трудовую копейку. Как бы ни была очевидна *справедливость,* но трудно же без боя и сопротивления все пустить с молотка. Проволочками, паллиативами ищет старый дом отдалить банкрутство.

Только две страны из всех вступивших в большое русло состоят на особых правах у истории и иначе обращены к будущему.

Их задача проще.

Их положение менее сложно.

Их не тревожит в настоящее время «ненужное воспоминание и неразрешимый спор» *.

О Северо-Американском союзе нечего хлопотать, он выплывет на всех парусах, au large [30].

Россия еще легче могла бы найти свой фарватер, но она сбилась с дороги за какими-то туманами, сама выдумала себе обязательное прошедшее, сама потопила старые корабли, набросала каменья в своем море и боится ударить веслом.

Силы и время тратятся по-пустому.

У правительства недостаток *пониманья,* у нас — *веры.*

Весь успех нашей вновь испеченной из затхлой европейской муки реакции основан на этом.

---

* Много раз приводили мы эти превосходные стихи Гёте об Америке:

Dich stört nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit [29].

Объяснить что-нибудь правительству — гигантский подвиг, за который мы не возьмемся; оно скорее набредет темным инстинктом, натолкнется ощупью на дело, чем что-нибудь поймет.

Нам хочется другого: очистить снова наш основной вопрос от всего хлама и ила и сказать падающим в вере друзьям нашим то, что сказал своим товарищам Сиэс после знаменитого «Allez dire» Мирабо: «Мы сегодня то же, что были вчера,— будем продолжать» [31].

...Несколько месяцев тому назад я долго беседовал с одним старцем. Он *половину* своего с лишком шестидесятилетнего существования провел в тюремном заключении; его гнали всю жизнь, гонят теперь — не только враги, но свои. Человек этот, забытый в тюрьме, явился в 1848 из могил Mont-Saint Michel'я каким-то привидением середь ликований Февральской революции, и, когда от него ждали радостного привета, крика, восторга, он громко сказал: «Мы тонем», и толпа, выпустившая его из тюрьмы, отступила от него, как от злодея, как от юродивого или зачумленного... *«И топите нас вы, а не враги наши»*,— продолжал он. Его посадили опять в клетку и, пользуясь его заключением, оклеветали его, а *республика потонула, и потопили ее они.*

Новые пятнадцать лет смотрел он из-за тюремных решеток на гибель всех начинаний, всех упований; седой, как лунь, вышел он на этот раз из тюрьмы; старика встретила прежняя ненависть, прежняя злоба, и, сломленный физически, в страшной бедности, в совершенном одиночестве исчез он в горах, вне своей родины.

Старик этот — *Огюст Бланки.*

Некогда грозный трибун, потрясавший массы, заставлявший бледнеть своих судей с лавки обвиняемых, стал тих, его речь, полная мысли, стала мягче, сдержаннее, но, когда я с недоверием отозвался о роли Франции, глаза его сверкнули. «Европе одно спасенье — Париж... подавленный, молчащий Париж... вы не знаете, что бродит и зреет в парижских массах... парижский работник выручит Францию, Республику... всю Европу». И какая-то юная улыбка показалась на губах его. Он встал, худой, седой — одни кости и кожа, прошелся по комнате и молча остановился, глядя вдаль, потом покачал головой и сказал: «Если я не очень скоро умру, я еще увижу это, а вы и подавно». Вот он — апостол Петр, Кальвин, Сен-Жюст, наши старцы 14 декабря, «каторжные веры», как выразился Кокрель

о гюгенотах... мне представился умирающий Ворцель и склоненный к его изголовью Маццини.

Да, это та вера, которая двигает горы, которой чудотворную власть едва можно измерить, которая больному говорит: «Возьми одр твой и иди за мной» [32] — и больной идет!

Бланки ушел. Я был подавлен им, и что-то темное всплывало на душе. На столе лежала книга [33]; я ее взял, уверенный, что найду ложь, грязь, клевету *,— и не мог от нее оторваться: другой ряд мучеников, неусыпных деятелей, юных и старых бойцов явился передо мной. *Виленская* официальная литература поставила удивительный памятник *польской эмиграции.* Даже с точки зрения съезжей и с миросозерцанием квартальных надзирателей она велика верой и любовью, настойчивостью и несокрушаемостью. Обвинительный тон памфлета, грубые выражения и грубые насмешки над преданностью и несчастьем, даже безграмотный язык как будто с большей рельефностью представляют эту геройскую кучку, этот Ecce homo [34], заушаемый и в терновом венке. С 1831 до 1866 она работает, работа рушится; она начинает вновь — она рушится опять; она опять начинает. Правительства, давшие ей убежище, так же теснят ее, как те, которые отогнали ее от границ своих; она теряет лучших людей, скитается из страны в страну и нигде не привыкает, и отвсюду только *возвращается* в свою родину, неся в груди неисторгаемую веру в наступающее ее освобождение и готовность лечь за нее костьми.

Отчего же у нас так *мало* веры, отчего наша вера так слаба? Отчего так многие у нас повесили голову и опустили руки при первой неудаче, при первых несчастных опытах, не давая *себе отчета даже в том, что не ошибочно ли сделаны они были?*

Неужели для того, чтоб верить *великой верой,* нужно отчаянное положение или мистическое помешательство?

Что в самом деле переменилось в нашем внутреннем вопросе?.. Мы проходим темной четвертью месяца, в ненастной ночи совершаются ужасы, говорятся мерзости — вот и все; но где же характер прочности, необходимости, живучести этого явления? Где наткнулись мы на предел, на родовую ограниченность, на племенную неспособность? Какие элементы *общей надежды* разрушились, оказались

* «Польская эмиграция до и во время последнего мятежа» (из «Вестника Западной России»), Вильно, 1866. Мы когда-нибудь еще возвратимся к этому кому грязи, так замечательно не попавшему в цель.

ложными? Исследовали ли мы *силу,* нас победившую, и причину, почему она так легко нас победила? Спросонья, без определенной цели, на новом для нас перепутье мы быстро увлекаемся в ту или другую сторону, потому что не имеем определенной дороги, и увлекаемся *так* — по английскому выражению, by and by [35] — и оттого тотчас готовы идти назад, в сторону. Спотыкнувшись, мы впадаем в отчаяние, мы натягиваем неверие, чтоб сорвать сердце, и равнодушие, чтоб отмстить за боль. Это короткое дыханье, эта способность *измены* доказывают, что все бывшее — *одно введение,* что это еще «не служба — службишка, а служба будет впереди» [36].

Борьба у нас едва завязывается, едва обозначается.

Самой реакции нету полных *пяти лет.* Пали великие жертвы, целый народ, не хотящий быть с нами, зарезан. Муравьев был великим человеком и Катков великим писателем — общество заявило себя мерзее Муравьева и Каткова вместе, крепостники подняли голову с наглостью, честное, независимое слово задавлено, люди пошли на каторгу по фальшивым документам, суд над врагами существующего порядка делался в непроницаемой тайне, правительство, запершись на ключ, судило само в своем деле противно началам, им признанным, смертная казнь, беззаконно введенная, сделалась чем-то обыденным, гражданских преступников судят офицеры, утверждают генералы, расстреливают солдаты, как будто всякий человек делается *военным,* как только кого-нибудь зарежет или ограбит.

Все это печально и наполовину не нужно даже с *их* точки зрения. Но разве можно было ждать что *это* правительство, последний плод, выращенный в оранжереях Зимнего дворца, поступит дельно и бесстрастно, что оно поступит умно и человечески? Разве можно было ждать, что общество, составленное из людей, выросших в разврате помещичьей жизни, привыкнувшее с детских лет к самоуправству и рабству, к зрелищу страданий и истязаний, что общество, воспитавшееся на взятках и ябедах, в канцеляриях и шемякиных судах, что общество, составленное из действующих лиц Островского, из зверинца «темного царства», поступит умно и человечески? что оно, как Савл, ослепнет негодяем и прозреет апостолом? [37]

Нельзя же было ждать, чтоб Александр Николаевич, заснув за чтением «Что делать?» или «Колокола», проснулся бы с рьяным желанием отдать землю народу и начать в Зимнем дворце женские и мужские мастерские.

Тогда и борьба была бы не нужна, достаточно было бы чуда.

В мрачном здании петербургском действительно повеяло другим воздухом, там-сям явились вехи и заглавия, посулы и намерения, но, с другой стороны, старая николаевская плющильная машина осталась и была в полном ходу.

Пресс, которым сдавливалась каждая человеческая мысль в голове в продолжение тридцати лет, был тут; все осталось цело — армейское управление гражданской частью, барская олигархия, подьяческая бюрократия. И вы мечтали, что со всем этим правительство сдалось бы без боя, так, как думали московские и петербургские либералы-помещики, что стоит потребовать la charte [38], так государь тотчас ее и закажет Буткову или Корфу.

В правительственной жизни русской один новый элемент развился в последнее время, и его мы ценим очень дорого — это царский язык, беспрестанно болтающий, это полиция, справляющая свои нужды с трещоткой в руках, это литературная декастерия, ежечасно поддерживающая царское величие и православную святость, это вольнонаемная и временнообязанная журналистика, защищающая престол-отечество...

Этот шаг в грязь — огромный шаг вперед.

Грязь высохнет и отстанет, но замолчать нельзя будет. Жаль грубое, невежественное уничтожение честных органов, но нам было бы вдвое жаль, если б упразднились бесчестные органы.

Не то важно, *что* правительство говорит, а то, почему оно говорит. Оно говорит потому, что у него *веры нет*. Оно чувствует потребность не только других, но и себя убедить, что оно *сильно* по-прежнему, очень *сильно*. Будь у него николаевская самоуверенность, оно стало бы разить, не раскрывая рта. Оно говорит потому, что *боится*. В безответной немоте, окружающей его, что-то не то, что было прежде: слышна мышья беготня истории...

А мы молчим, снедаемые в свою очередь неверием и страхом.

Из этого нелепого положения надобно выйти. Боясь моря, мы страдаем от качки, удерживаясь на одном месте в каком-то невозможном равновесии. Счастье наше, что корабль не идет ни назад, ни на мель не садится.

«Да что нам делать? Говорите определеннее, формулируйте...»

Требование от нас, чтоб мы формулировали нашу мысль о русском деле, повторяется довольно часто. Оно удиви-

тельно и заставляет нас невольно улыбнуться наивному доказательству того невниманья и той небрежности, с которой люди вообще читают. Вся наша деятельность, вся наша жизнь была только *формулированием одной мысли, одного убеждения,*— именно того, о котором спрашивают. Можно сказать, что мы всю жизнь ошибались, можно сказать, что наша мысль гибельна и убежденье нелепо, но сказать, что мы нашего воззрения *не формулировали,* с общечеловеческой логикой и памятью в голове — *нельзя.*

Может, под «формулами» друзья наши понимают, как французы, рецепты, т. е. вперед данные снадобья и приказы, как поступать в таком случае и в таком. Действительно, у нас таких формул нет. Да их и не нужно. Серьезные рецепты импровизируются на общих основаниях науки и на частном исследовании данного случая.

Усвойте себе общий взгляд, общую формулу, и вы почти никогда не ошибетесь в частном приложении... если не измените ей сознательно или бессознательно.

Итак, прежде чем продолжать наш обзор, протвердим еще раз нашу алгебру.

Для этого нам необходимо, прежде всякого формулирования, напомнить кое-что из *школьных тетрадей.* Все, что мы хотим сказать, очень не ново... даже чрезвычайно старо, но не имея в виду этого старого, можно легко сбиться. Всякая формула ничего не значит без ясного пониманья элементов, из которых она составлена.

Животные, достигая возможного органического совершенства, останавливаются на нем, повторяясь, или продолжают исподволь применяться к среде, оставляя в наследство измененные или улучшенные органы. Человек отличается от животных *историей:* характер ее, в противуположность животному развитию, состоит в преемственности больше или меньше сознательных усилий для устройства своего быта, в наследственной, родовой усовершимости инстинкта, пониманья, разума при помощи памяти.

Ясно, что стадная жизнь составляет такое же необходимое условие исторического развития, как и самые лица.

Начало истории — непокорность лица поглощающей его семье, стремление стать на свои ноги и невозможность на них удержаться. Племенным безразличием замыкается животный мир. Мир человеческий в библии начинается *грехопадением* и *убийством,* разрушающим семейную

связь, т. е. постановлением своей воли выше заповеди и выше первого условия сожития.

Своеволье и закон, лицо и общество и их *нескончаемая* борьба с бесчисленными усложнениями и вариациями составляют всю эпопею, всю драму истории. Лицо, которое только и может *разумно* освободиться в обществе, бунтует против него. Общество, не существующее без лиц, усмиряет бунтующую личность.

Лицо ставит себя целью.

Общество — себя.

Этого рода антиномии (нам часто приходилось говорить об них) составляют полюсы всего живого; они неразрешимы потому, что, собственно, их разрешение — безразличие смерти, равновесие покоя, а жизнь — только *движение.* Полной победой лица или общества история окончилась бы хищными *людьми* или мирно пасущимся стадом...

Руссо, говорящий, что человек родился *быть свободным,* и Гёте, говорящий, что человек не может *быть свободным,*— оба правы и оба не правы [39].

Личность не могла оторваться от общества, общество не могло закабалить лица, но притязания свои они подняли в высшую сферу — в сферу *права.* Оно разработалось всей новой историей, всем европейским развитием:

до юридической самосохранности — в Англии,

до прав человека — в 1789,

до прав разума — в науке.

С другой стороны, власть противупоставила не только свое право, но и свою *силу,* основанную на отвлеченном понятии государства как цели личностей, на античном Salus populi [1], на христианском порабощении личной совести совестью общественной.

Теоретически освобожденная личность очутилась в какой-то логической, отвлеченной пустоте; слабая практически, она стала лицом к лицу перед правительственной силой, опертой на государстве и церкви.

Волна индивидуализма дошла до перегиба.

Права лица и мысли остаются приобретением мифическим, книжным, великим как догмат, ничтожным как приложение. Между ними и их осуществлением, как непереходимая пропасть, *бедность и невежество.* Личности мало прав, ей надобно *обеспечение и воспитание,* чтобы воспользоваться ими. Человек, не имеющий собственности, безличен. Право на ее приобретение несостоятельно. Одна артель может выручить неимущего. Артель основана на круговой поруке, на *пожертвовании* части личности для общего дела.

С собственности готической, аристократической, феодальной, цеховой, городской сняты все тяги, она не несет на себе никаких *обязанностей* относительно бедных масс и вообще никаких, кроме обязанности найма сторожей в свое охранение, судей в свое оправданье. Милостыня, которую дают нищей братии, сострадание к ним — чувство хорошее, но не обязанность относительно нуждающихся. С тех пор как массы поняли это, они не поддерживают политического, революционного движения и враждебно смотрят на мещанство, главного представителя индивидуализма. Боясь их, мещанство ищет опоры и защиты в правительстве, опертом на невежестве тех же масс. Отсюда неслыханная ни в какие времена сила новых полицейских правительств.

Выход один. Его указала Франция, второй раз принимая миродержавную инициативу. Социальный вопрос, поставленный ею,— *открытый вопрос* для всей Европы.

Устранить его невозможно, разрешить его на пути национальном, политическом, на пути реформ, заменяющих меньшим злом большее, невозможно; тут не поможет ни итальянская Unità, ни Бисмаркова Пруссия, ни даже manhood suffrage [40] в Англии.

Между Европой и Азией развивается страна на иных основаниях. Она выросла колонизацией, захватывая в свою жизнь всякую всячину, она окрестилась без католицизма, она сложилась в государство без римского права и сохраняя как народную особность свою оригинальное понятие об *отношении человека к земле.*

Оно состоит в том, что будто бы всякий работающий на этой земле *имеет на нее право как на орудие работы.* Это сразу ставит Россию на социальную почву, и притом на чрезвычайно новую.

О *земле* не поминала ни одна революция, домогавшаяся *воли,* по крайней мере после крестьянских войн. Ни с горных высот Конвента, ни с высот июньских баррикад мы не слышали слова *земля.* Понятие земляного участка так чуждо европейскому пониманью, что Лассаль старался вытолкнуть землю из-под ног работника как гирю, мешающую его свободной личности.

У нас право на землю — не утопия, а реальность, бытовой факт, существующий в своей естественной непосредственности и который следует возвести в факт вполне сознательный. Все сельское население принимало спокон века это *естественное право* свое, не рассуждая

о нем. Его только не знали в высших слоях, образованных на западный лад.

Сельская община при тех обстоятельствах, при которых она развивалась, ценой *воли* продала землю общиннику. Личность, имеющая право на землю, сама становилась крепка земле, крепка общине. Вся задача наша теперь состоит в том, чтоб развить полную свободу лица, не утрачивая общинного владения и самой общины.

Возможно ли это? В этом, в свою очередь, наш вопрос будущего.

Большое счастье, что наше право на землю так поздно приходит к сознанию. Оно прежде не выдержало бы одностороннего напора западных воззрений. Теперь они сами являются в раздумье, с сомнением в груди. Социализм дал нам огромное подспорье.

Середь ночи, следовавшей за 14 декабрем, за польским восстанием 1831 г., середь поразительной легости, с которой николаевский гнет придавил все ростки, первые, закричавшие «земля», были московские славянофилы, хоть и они левой ногой стали на действительную почву, но все же первые.

Они поняли нашу экономически-социальную особность в наделе землей, в переделе земли, в сельской общине и общинном землевладении; но, понявши одну сторону вопроса, они опустили другую — *волю,* к которой рвалась личность, закабаленная селом, царем, церковью. Поклонники старины *назло* петровским порядкам, истые националисты, *преднамеренные* православные, они с неблагодарностью забыли, что им дала единоспасающая цивилизация Запада, при свете которой они нашли свой клад в земле и разглядели его.

Европа, плывшая тогда на всех парусах буржуазного либерализма, не имела понятия о том, как живет в стороне немой мир России; сами образованные русские мешали ей видеть что-нибудь другое, кроме плохих копий с ее собственных картин.

Первый пионер, пошедший на открытие России, был Гакстгаузен. Случайно попавши на следы славянского общинного устройства где-то на берегах Ельбы, вестфальский барон поехал в Россию и, по счастью, адресовался к Хомякову, К. Аксакову, Киреевским и др. Гакстгаузен был действительно одним из первых, повестивших западному миру о русской сельской коммуне и ее глубоко аутономических и социальных началах — и когда?

Накануне Февральской революции, т. е. накануне первого широкого, но неудачного опыта ввести социальные

начала в государственный строй. Европе был недосуг — за своим печальным fiasco она не заметила книгу Гакстгаузена. Россия оставалась для них тем же непонятным государством, с самовластным императором во главе, с огромным войском, грозящим всякому свободному движению в Европе.

За Гакстгаузеном почти непосредственно идут наши опыты ознакомить Запад с неофициальной Россией.

Целых семь лет *учили* мы, насколько могли, где могли — России. Пифагорово число мало помогло *. Нас слушали рассеянно до Крымской войны, с ненавистью во время ее, без пониманья прежде и после.

«Трудно себе представить, в каком безвыходном, запаянном наглухо круге понятий бьется современный европейский человек и как ему трудно достается, как его сбивает с толку, как ему становится ребром всякая мысль, не подходящая под заученные им правила, под заготовленные им рубрики. Рядовые литераторы и журнальные поденщики стоят на первом плане. У них для ежедневного обихода есть запас мыслей, знаний, суждений, негодований, восторгов и, главное, прилагательных слов, которые у них идут на все; их по мере надобности сокращают, растягивают, подкрашивают в ту или другую краску. Эта трафаретная работа необычайно облегчает труд; ее можно продолжать во всяком расположении, с головною болью, думая о своих делах, так, как старухи вяжут чулок. Но все это идет, пока дело вертится около знакомых предметов. Новое событие, неизвестный факт принимается, напротив, с скрытой злобой — как незваный гость, его стараются сначала не замечать, потом выпроводить за дверь, а если нельзя иначе — оклеветать» [41].

Строки эти были написаны в 1858 году. Тогда уже дверь в Россию была не совсем закрыта, и мы, оставляя Запад, обратили наше слово к России. Пробуждаясь, она, после смерти Николая, жадно искала свободной речи.

С чем же мы явились перед ней?

---

* «Vom andern Ufer» — 1850.
«Du dévelop[pement] des idées révolution[naires] Russie» — 1851.
«Le socialisme et le peuple russe, lettre à J. Michelet» — 1851.
«Le vieux Monde et la Russie» — 1854.
Статьи в жерсейском журнале «L'Homme» и пр.

III

Со смертью Николая языки развязались. Накопившиеся, подавленные, затаенные и желчные мысли выступали на свет и рассказывали о своих грезах, каждая на свой лад. В тогдашней России было что-то праздничное, утреннее, весеннее и совершенно хаотическое.

Удивительная смесь разных возрастов человечества, разных направлений, воззрений — давно исчерпанных и едва початых — явились на сцене. Это был оперный бал, в котором ярко мелькнули всевозможные костюмы, от либеральных фраков с воротником на затылке времен первой реставрации до демократических бород и причесок. Немецкий доктринаризм рабства и абсолютизма, забытые общие места политической экономии шли рядом с православным социализмом славянофилов и с западными социальными учениями «от мира сего». И все-то это отражалось не только в общественном мнении, не только в полураскованной литературе, но в самом правительстве.

Многие ждали, что оно погнется в легко конституционном смысле; правительство устояло, хотя и само чувствовало, что остаться по-прежнему *военно-судной империей* было невозможно. В сущности, одно *дело* и было для него возможно,— делом этим оно наносило себе японский удар, воображая им обновиться.

Вся проснувшаяся Россия искренно жаждала независимого слова — слова, не потертого цензурным ошейником, и не было ни одного вольного станка в ответ этой потребности, кроме лондонского. Мы оставили Запад в стороне и обратили все силы на то родное дело, к которому стремились с детства, через всю жизнь.

«Полярная звезда» и «Колокол» являются в самый разгар переезда и перестановки мебели, в то возбужденное время неустоявшегося брожения, в которое каждое слово могло сделаться зачатием и точкой отправления. Что же мы, обрушившие на себя ответственность первой свободной русской речи, сказали? С чем явились перед едва протиравшим себе глаза исполином?

Вся положительная, созидающая часть нашей пропаганды сводится на те же два слова, которые вы равно находите на первых страницах наших изданий, в ее последних листах,— на *Землю и Волю,* на развитие того, что нет *Воли без Земли* и что *Земля не прочна без Воли.*

Мы были глубоко убеждены, что аграрные основания нашего сельского быта выдержат напор западного изуверства собственности, как выдержали немецкий деспотизм,

что *Земля* остается при деревне и крестьянин при наделе, что, имея землю и, следственно, избу, что, имея выборное начало и сельское самоуправление, русский человек непременно дойдет *до воли* и превратит насильственную связь с общиной в добровольно соглашенную, в которой личная независимость будет не менее признана круговой поруки. Мы были убеждены и теперь еще не совсем в этом разубедились, что *почин,* что первые шаги нашего переворота совершатся без *кровавых потрясений.*

Главным камнем на дороге лежало чудовищное *крепостное право,* его обойти нельзя было ни конституционной хартией, ни каким-нибудь собранием «нотаблей». Против крепостного права и были устремлены все наши удары, все усилия; устранению его мы подчинили все интересы.

Рядом с освобождением крестьян мы неотступно требовали *освобождения слова* как условия, как той атмосферы, без которой нет народного совета в общем деле. Одна гласность, одна печать могла заменить бессословный собор, который до освобождения крестьян был невозможен; одно живое, не связанное никакими формами, никаким цензом *представительство слова* могло уяснить вопросы и указать, что в самом деле и насколько созрело в народном разумении.

Около были частные борьбы и частные случаи, возникали вопросы из событий и совершались события, путавшие все карты, вызывавшие страстные отпоры и увлеченья, но, срываясь с пути, мы постоянно возвращались к нему и постоянно держались наших двух основных идей.

И вот почему, когда государь признал в принципе освобождение крестьян *с землей,* мы без малейшей непоследовательности и совершенно искренно сказали наше «Ты побеждаешь, Галилеянин!», за которое нас столько порицали с обеих сторон [42].

Скажем мимоходом, что наше простое отношение к правительству не хотели понять ни доктринеры верноподданничества, ни пуритане демагогии. Оппозиционный характер нашей пропаганды, так точно как и обличительный, составляли для нас одну из практических необходимостей, а не цель, не основу; твердые в нашей вере, мы не боялись никакого *мирщенья* и, легко меняя оружия, продолжали ту же битву. Сбиться с дороги было для нас невозможно.

Не смешно ли человеку второй половины XIX столетия, вынесшему на своих плечах, стоптавшему своими ногами столько правительственных форм, одних бояться, перед другими идолопоклонствовать? Форма, как ее разумеют на языке военных приказов,— «мундир», и он поневоле при-

лаживается к живому содержанию... а не прилаживается, так внутри слабо и пусто. Поправляйте живое тело — мундир непременно лопнет, если узок. И будьте уверены, что нет ни очень хороших, ни безусловно скверных мундиров. Для нас мещанская камера народных представителей, не представляющая народа, так же противна, как Правительствующий сенат, ничем не правящий.

Мысль о перевороте без кровавых средств нам дорога; все, что было говорено противоположного об нас,— такое же вранье, как то, что *мы* уверяли поляков, что Россия была готова к восстанию в 1862. В ней, впрочем, не было ничего фантастического; в русской жизни нет тех непримиримых, упорных, взаимно уничтожающих сил, которые вели западную жизнь от одного кровавого конфликта к другому. Если такая непримиримость существовала, то это между крестьянином и помещиком, но она-то первая и разрешилась мирно, и разрешилась бы вовсе без крови, если б трусливое правительство и враждебные крестьянскому делу исполнители его не натянули ее без нужды.

Наше императорство и наше барство — без корней и знают это. Они приготовлялись собороваться маслом в 1862 году — и ожили, только когда им на выручку явились: петербургский пожар, катковское клеветничество и польское восстание. Народ любит царя как представителя защиты, справедливости (факт общий всем неразвитым народам) и не любит императора. Царь для него идеал, император — антихрист. Императорская власть держится войском и бюрократией, т. е. машинами. Войско бьет всякого по приказу, без разбора; бюрократия переписывает и исполняет волю начальства без рассуждения. Такого рода правительства не вырубаются топором, а при первой весенней теплоте распускаются в волнах жизни народа и тонут в них.

Мы твердо были убеждены в последнем. Уничтожалось же помещичество на наших глазах, как исчезающие картины, бледнея и превращаясь в разные тусклые уродства. Русское императорство имеет цели внешней политики, цели своего самосохранения и огромную власть, но принципа не имеет; то же следует сказать о среде, его окружающей,— и это с самого Петра. Со дня смерти Николая до его похорон двор и штаб, министерство и общество успели сделаться либеральными «поверхностно, лицемерно». Но кто же сказал, что прежде все были глубокими и искренними абсолютистами?

Русское правительство было на дороге к какому-то превращению, но, испугавшись, круто своротило с нее.

Главная ошибка наша была ошибкой во времени, да, сверх того, соображая все стихии, все силы, мы забыли одну из самых могучих сил — *силу глупости*. На ней снова укрепилось старое.

Освобождение крестьян, ропот помещиков, настроение общества, журналистики, некоторых правительственных кругов... и все это вместе неминуемо вело *к первому шагу*, т. е. к созванию думы или собора. Опыты московского и петербургского дворянства доказывают это очевидно, но они, как и следует помещикам, опоздали. Когда они подняли голос, государь был второй раз венчан на царство во всем самодержавии своем европейскими угрозами и народными овациями.

Силы патриотической реакции мы не предвидели. Одушевление 1612 и 1812 года только понятны при действительной опасности отечества; ее не было, но было желание всякого рода демонстраций,— немые пользовались языком.

Мы смотрели на реакцию как на несчастье дня и продолжали на первом плане разбор и обсуживание экономического и административного переворота в одном и том же духе и направлении *русского социализма*.

Отстаивая на первом плане право на землю, мы проповедовали развитие выборного самоуправления от села к волости, от волости к округу, от округа к области,— дальше мы не шли, *не должны были* идти,— дальше мы указывали, с одной стороны, безобразие личного самовольства, военно-канцелярского управления страной, серального бесчинства и помещичьего зверства; с другой — на виднеющийся вдали собор, выбранный вольным союзничеством областей для обсуждения *земского дела*.

Один из самых труднейших вопросов — не по трудности содержания, а по закоснелости предрассудков, обороняющих противоположный взгляд,— был вопрос об «общинном владении землею». Мы добивались у *наших* экономистов и либералов того вниманья, которое нам дал Стюарт Милль, сказав, что «общинное владение», неизвестное, нигде не развившееся и, следственно, неисчерпанное, носящее в себе возможности многих форм и результатов, и составляет вопрос. В то время как личная собственность, по римскому праву, дала всё... все приложения и с ними и *оказалась* далеко не состоятельной *.

Мы предвидим улыбку многих при слове *русский*

---

* Излагать здесь нашу мысль об общинном владении не приходится; желающие ее вспомнить могут пересмотреть целый ряд статей в «Колоколе», да, сверх того, «Письма к иноку» в «Общем вече» [43].

социализм. Чему люди не смеялись прежде пониманья? Это одна из принадлежностей той миродержавной силы, которая нами не была взята в расчет.

Мы *русским социализмом* называем тот социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владенья и общинного управления,— и идет вместе с работничьей артелью навстречу той экономической *справедливости,* к которой стремится социализм вообще и которую подтверждает наука.

Название это тем необходимее, что рядом с нашим учением развивались, с огромным талантом и пониманием, теории чисто западного социализма, и именно в Петербурге. Это раздвоение, совершенно естественное, лежащее в самом понятии, вовсе не представляло антагонизма. Мы служили взаимным дополнением друг друга.

Первые представители социальных идей в Петербурге были *петрашевцы.* Их даже судили как «фурьеристов» *. За ними является сильная личность *Чернышевского.* Он не принадлежал исключительно ни к одной социальной доктрине, но имел глубокий социальный смысл и глубокую критику современно существующих порядков. Стоя один, выше всех головой, середь петербургского броженья вопросов и сил, середь застарелых пороков и начинающихся угрызений совести, середь молодого желания иначе жить, вырваться из обычной грязи и неправды, Чернышевский решился схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшим и стремившимся, *что им делать.* Его среда была городская, университетская,— среда развитой скорби, сознательного недовольства и негодованья; она состояла исключительно из работников умственного движения, из пролетариата, интеллигенции, из «способностей». Чернышевский, Михайлов и их друзья первые в России звали не только труженика, съедаемого капиталом, но и труженицу, съедаемую семьей, к иной жизни. Они звали женщину к освобождению работой от вечной опеки, от унизительного несовершеннолетия, от жизни на содержании, и в этом — одна из величайших заслуг их.

Пропаганда Чернышевского была ответом на *настоящие* страдания, слово утешения и надежды гибнувшим в суровых тисках жизни. Она им указывала выход. Она дала тон литературе и провела черту между в *самом деле* юной Россией и прикидывавшейся такою Россией, немного либеральной, слегка бюрократической и слегка крепостниче-

* Нас в 1834 году правительство обвиняло в сен-симонизме.

ской. Идеалы ее были в совокупном труде, в устройстве мастерской, а не в тощей палате, в которой бы Собакевичи и Ноздревы разыгрывали «дворян в мещанстве» и помещиков в оппозиции.

Огромный успех социальных учений между молодым поколением, школа, вызванная ими, нашедшая себе не только литературные отголоски и органы, но начала практического приложения и исполнения, имеют историческое значение. Освобождение крестьян с признанием их права на землю, с сохранением общины и обращение к социализму молодых и деятельных умов, не закупленных жизнью, не сбитых с толку доктринаризмом, служили неопровержимым доказательством в пользу нашей всегдашней веры в характер русского развития.

В то время как мы, следуя шаг за шагом за прениями редакционной комиссии, за введением Постановлений 19 февраля и разбирая самые Постановления, старались ввести в сельский переворот, в самые учреждения наиболее своего взгляда, в Петербурге, Москве и даже в провинциях готовились фаланги молодых людей, проповедовавших словом и делом общую теорию социализма, которой *частным случаем* являлся сельский вопрос.

Но в этом-то *частном случае* и была архимедова точка, *почин* русского государственного пересоздания. Однажды — земля, уступленная крестьянам, право на землю, признанное и введенное в законодательство. Однажды — выборное начало сельской общины, утвержденное, и общинное землевладение, оставленное на свои собственные силы, как бы для последнего искуса... остальное должно было идти неминуемо с быстротой развивающейся спирали, у которой вынут с одной стороны сдерживавший шкворень.

Крестьянская реформа, при всей сбивчивой неполноте своей, тотчас повела к экономическим, административным и юридическим последствиям своим — введением земских учреждений, нового суда и пр. Это были силлогизмы, которых не было возможности миновать.

Все реформы, начиная с крестьянской, были не только неполны, но преднамеренно искажены. Ни в одной из них не было той шири и откровенности, того увлечения в разрушении и создании, с которым ломали и создавали великие люди и великие революции; но *во всех* была признана негодность, несостоятельность старого правительства *указов и произвола;* но во всех двигался зародыш, которого развитие было задержано и, может, изуродовано, но который был *жив.*

Мы следили за всеми реформами и каждую прикидыва-

ли на общую родоначальную мысль коренного переворота, который тихо и незаметно, sans phrase [44], входил глубже и глубже в землю и подымался над озимью полей. Мы не выходили из настоящего положения ни в голубую даль дорогих для нас идеалов, ни в чистые сферы отвлеченной социологии; мы сколько могли отстраняли все вопросы, не находившиеся на череду, как, например, вопрос семейный, религиозный *.

До конца 1863 года мы всё еще усиливались, несмотря на родную распутицу, следить за государственной колымагой и тем громче звонили, чем больше она сбивалась с дороги. Если ямщики не слушались, окружающая их толпа слушала и, осыпая нас ругательством, делала долю того, что мы говорили. Оглохла и она. И с тех пор деятельная речь должна была на время уступить одному крику обличения и негодования, которое вызывало общество, валяющееся в крови и грязи, вместе с *пустым, бездушным и изменившим* правительством.

Правительство отступило по всей линии, и при всем этом его отступление не имело ни серьезного оправдания, ни серьезного характера. Если оно в самом деле думало арестами зря и ссылками без разбора остановить *историю*, уже обличившееся народное развитие, оно было бы безмерно жалко, но мы полагаем, что так далеко не шли виды Зимнего дворца. Дворец, поддерживаемый в страхе и тревоге своими евнухами и риторами, боялся не *истории*, а чего-то из-за угла, и это в то время, когда он сам всенародно и громко говорил, что правительство никогда не чувствовало *себя* сильнее и народнее, как именно тогда. И не мудрено. Из-за патриотизма люди забыли все человеческое в сердце и все *бесчеловеческое* в императорстве; газеты были полны верноподданническими акафистами... крестьяне, освобожденные от помещиков, и помещики, освобожденные от состояния, старообрядцы и евреи, казаки и немцы,— все на словах бежало поддерживать трон и алтарь... Следовало ждать льгот, расширения прав, но правительство с ужасом указывало на несколько статей, на несколько молодых людей и отвечало на взрыв преданностей взрывом гонений и неистовств. Чего именно оно боялось, оно не говорило.

Во все этом, бессомненно, было что-то безумное, так оно и кончилось — *выстрелом 4 апреля* [45].

Те, которые *надеялись*, озлобились на не исполнившего

---

* Если мы говорили много о старообрядцах, то это вовсе не с религиозной точки зрения, а с точки зрения социальной и политической.

надежд. Первая фанатическая, полная мрачной религии натура схватила пистолет.

Месть не удалась, но предлог был дан и схвачен с дикой радостью, реакция была оправдана, царские *пугатели* были оправданы. И тем не менее если месть не удалась, то *и террор не удался*. Начавшись ложно, он запутался и увяз в полицейской грязи.

Что сделала муравьевская облава, что вытрубил его лейб-трубач Катков? Где вселенский заговор, в котором участвовали все темные силы мира сего, английские банкиры, эмигранты в Швейцарии, эмиссары и миссионеры Маццини, поляки, мы и не мы, наконец, какой-то, всему миру неизвестный «всемирно-революционный комитет»?

От всего дела остался труп — немым свидетелем скверной царской мести — и несчастные, сосланные *без суда и защиты* люди, уличенные в том, что они *не хотели* цареубийства...

Убить несколько человек, кого на скорую руку веревкой, кого хронически тюрьмой, не мудрено; убивать умеет и локомотив, и чума, и бешеная собака. Террор хватает дальше: ему мало людей, он хочет убивать мысли, идеи, верования... и действительно после ряда пьяных и безумных неистовств явилась высочайшая цидула к князю Гагарину с ученическими упражнениями о праве собственности, социализме; она пошла на полицейские выкройки женских юбок и имела последствием введение кринолин в государственные учреждения.

Эхо на выстрел Каракозова обличило страшную пустоту в Зимнем дворце, печальное отсутствие серьезной мысли, обдуманности... да и на всех «горных вершинах» наших тоже. Что за нетопыри, что за совы, за во́роны встрепенулись, поднялись и вылетели на белый свет! Откуда спустили, из каких богаделен, смирительных домов или кладбищ... этих прокаженных, не то светских архиереев, не то духовных генералов, пошедших, во имя царя и церкви, в крестовый поход против разума и образования и начавших нести богословско-полицейскую *чушь*, от которой и Россия уже отвыкла?

Все это так, но вслушайтесь, что говорят эти нетопыри и архиереи, министры и совы... Нам дела нет, понимают ли они или не понимают и как понимают; вопрос у нас в том, чтоб узнать, против чего именно они идут, чего боятся, как католики боялись протестантизма, как французские монархисты — революции. Великий враг их, антихрист, страшный суд, которого они боятся, против которого идут,— социализм.

И это не огромный шаг вперед?

И это значит останавливать историю, идти вспять?

Они боятся... не конституции, не республики, не демократии... они боятся социализма да еще смешанного с каким-то *нигилизмом.*

Думали ли они когда-нибудь, что, собственно, сверх синих очков и коротких волос содержится под этим словом?

Мы об *нигилизме* еще будем говорить, но здесь хотим только обратить вниманье тех добросовестных людей, которые повторяют, как попугаи, слово, не зная его смысла. Они могут поверить, что нигилизм — женщина, положившая ноги на стол и пьющая шампанское, и притом женщина, родившаяся за «обедом флигель-адъютанта князя Б.» в сороковых годах, у которого смеялись над шагистикой Николая, а потому мы для них скажем, что *нигилизм* в серьезном значении — *наука и сомнение, исследование вместо веры, пониманье вместо послушанья.*

Объявляя себя против народного благосостояния и человеческой мысли, против социализма и разума, правительство становится за изуверство, крепостничество, глупость...

Последний террор действительно убил его больше, чем людей. Он убил нравственно значение правительства; оно, покачиваясь и болтая вздор, сходит с блестящего помоста, на котором драпировалось со смерти Николая, под руку с Осип Ивановичем Комиссаровым-Костромским.

Бой будет *вне его, помимо его.*

Ничем не усчитываемая власть может много вредить, но в самом деле остановить движение, которого оно испугалось и которое уносит весь материк к другим судьбам, *не может.* Оно двигается с ним нехотя, бессознательно, как человек, спящий на корабле.

Да двигается ли? И вообще двигаемся ли мы?

Присмотритесь, возьмите точку, две и их прежнее положение к окружающим предметам, возьмите, например, этого генерала-дурака, порющего дичь перед мировым судьей [46], и женщину, служащую письмоводителем судьи... довольно и этого. Движение целых созвездий наблюдают сквозь тряпки очень редкой ткани.

Дикая реакция, гадкая реакция — да, да и тысяча раз да... жертвы падут направо и налево... но где же великий тормоз, чтоб остановить движение? Разве отнимают у крестьян землю, разве их исключают из выборов? Разве самое следствие по каракозовскому делу не указывает, что в московской молодежи была мысль пропаганды между фабричными работниками-крестьянами, первой попытки

органического сочетания тех двух социальных оттенков, о которых мы говорили?

— Да, но эту-то молодежь и схватили, и сослали. Жаль ее, но места сосланных пусты не останутся.

Вспомним, что было при Николае... и не при нем ли началась та вулканическая и кротовая работа под землей, которая вышла на свет, когда он сошел с него?

В прошлое пятилетье мы немного избаловались, распустились, забывая, что нам были даны не *права, а поблажки.* Пора опять сосредоточиться.

Досадно, что история идет такими грязными и глухими проселками, но ведь одно *сознание* идет прямым путем. Не меняя нашей программы, и мы пойдем ее дорогой, лавируя с ней, теснясь с ней. Да и как же иначе, когда реакция торжественно признала ее и она действительно сделалась, по выражению брюссельских «Отголосков», «*знаменем против знамени Зимнего дворца*».

Мы ли будем держать его, или другие нас сменят — не в этом дело,— знамя наше, знамя «Земли и Воли», водруженное *нами, признано* враждебным станом.

PROLEGOMENA

I

Ничего нового мы сказать не собираемся — часть статей, которые мы намерены опубликовать, уже известна; в остальных можно будет найти лишь краткое изложение и развитие того, что говорилось и повторялось нами по крайней мере в течение двадцати лет.

В чем же причина нашего появления в свет?

В поразительном упорстве, с которым видят лишь отрицательную сторону России и осыпают одними и теми же бранными словами и проклятиями прогресс и реакцию, грядущее и настоящее, перегной и молодые ростки.

Единственные русские публицисты на Западе, мы не хотим брать на себя ответственность за молчание.

Русский призрак, использованный после 1848 года Донозо Кортесом в интересах католицизма, возрождается с новой силой в противостоящем лагере [1]. Опять готовы прикрыть завесой позабытые «права человека» [2] и отменить уже несуществующую свободу, дабы бдительно охранять «Блага цивилизации», подвергающиеся угрозе, и — отбросить подрастающих Аттил и будущих Аларихов за Волгу и за Урал. Опасность так велика, что решились предложить Австрии протянуть единственную оставшуюся у нее руку Пруссии, которая уже ампутировала у нее другую руку [3]... что посоветовали всем государствам вступить в священный союз военного деспотизма против империи царей. Пишутся книги, статьи, брошюры на французском, немецком, английском языках; произносятся речи, начищается до блеска оружие... и упускается лишь одно — *серьезное изучение России.* Ограничиваются рвением, горячностью, возвышенностью чувств. Полагают, что проявление жалости к Польше равносильно знанию России.

Такое положение вещей может привести к серьезным последствиям, огромным ошибкам, огромным несчастьям, не говоря уж о весьма реальном несчастье — находиться в полном заблуждении.

Немного есть на свете зрелищ, более печальных и душераздирающих, чем старческое упрямство, которое отворачивается от истины — вследствие умственной усталости, вследствие боязни изменить уже сложившееся мнение. Гёте заметил, что старые ученые теряют с годами чутье реального, наблюдательность и не любят возвращаться к первоосновам своей теории [4]. У них уже сформировались устойчивые понятия, вопрос уже разрешен ими, и они не хотят к нему возвращаться.

Мы говорили десять лет тому назад *: «Трудно себе представить, до какой степени наглухо замкнут круг, в котором движется и бьется большая часть людей на Западе. Новый факт сбивает их с толку, мысль, находящаяся вне рамки, рубрики,— тревожит их. Большая часть поденщиков гласности располагает для ежедневного обихода запасом общих мест, великодушия, негодования, восторгов и прилагательных слов, применяемых ко всем событиям. Они их немножко изменяют, переделывают, подкрашивают местным колоритом — и все в порядке... *Трафареты* необычайно облегчают труд, и без вмешательства непокорного факта колесо катится своей дорогой; и с какой же плохо скрытой злобой встречают этих незваных гостей, как стараются не замечать их, выпроводить за дверь; а если они не уходят, то как стараются оклеветать их...»

С 1848 года мы проповедовали, что помимо России воинственной и деспотической, завоевательной и агрессивной — спасающей Австрию и оказывающей помощь реакции — существует Россия в периоде прорастания, что от подземных течений тянет совсем иным воздухом, нежели воздух официального Петербурга.

Мир предавался отчаянию, но этому утешению не внимал.

То, что казалось парадоксальным до Крымской войны, стало, вскоре же после нее, очевидным, неоспоримым фактом. «Great Eastern» Севера оторвался от своих льдов, вышел в открытое море — и натолкнулся на восстание в Польше [5].

Поляки — чересчур поспешно и при малоблагоприятных обстоятельствах — захотели исправить ошибку своего бездействия во время Крымской войны. Они были несчастливы в своем неравном браке; русское же правительство — черство, нагло, даже когда идет на уступки. Героическое нетерпение их понятно. С горестью видя, что

---

* «Россия и старый мир». Русское изд[ание], опуб[ликованное] в Лондоне, 1858.

движение нельзя было задержать, мы сказали им накануне их восстания *: «Братья, разорвите с Россией, станьте независимы, идите с Западом, вы имеете на это все права; однако, разрывая с Россией, попытайтесь глубже ее узнать». На это не последовало ответа. И надобно прибавить, что среди соседних народов нет ни одного, который меньше знал бы Россию, чем Польша **. На Западе Россию просто не знают. Поляки же *умышленно* не желают ее знать. Сколько несчастий можно было бы избежать, если бы поляки не боялись найти в своем враге что-либо хорошее! Правда, они говорили в 1831 году: «За вашу и нашу свободу!» Но какова же свобода, к которой мы стремимся? Та ли это самая свобода?.. Поляки слишком часто смешивают свободу с политической независимостью. Последней-то мы обладаем и меньше всего о ней хлопочем; утратить ее мы не можем.

Завязывается борьба. Польша дарует свою кровь, Европа — свои газетные статьи. Опечаленные и полные мрачных предчувствий, мы, первые из русских, приветствовали «идущих на смерть» [9]. Поляки не олицетворяли для нас *ни нового принципа, ни будущего* — они олицетворяли *право, историю; справедливость* была на их стороне.

Ими двигало и не стремление к идеалу — они хотели требовать отнятое, восстанавливать, воскрешать. Именно в этом-то и заключается различие между нами. Мы можем сколько угодно оглядываться вокруг себя — нам нечего требовать обратно, нечего извлекать из могил, нам предстоит лишь расчистить поле для своих способностей и стремлений. Но тем не менее сердцем и душой мы были с поляками, нас тревожило только одно: мы опасались, как бы их восстание не затормозило нашего движения вперед, не достигнув своей цели. Наши предвидения оправдались, и гнусный Муравьев, покончив с Литвой, был призван возглавлять политическую инквизицию в Петербурге. Общий террор и палач слили воедино мучеников того и другого дела.

---

* В заключении серии статей о Польше в «Колоколе» [6].

** Конечно, бывают и исключения: я сошлюсь на весьма замечательную книгу, изданную в Париже в 1863 году одним поляком, под названием «La Pologne et la cause de l'ordre» [7]. Автор доказал, что ненависть нисколько не теряет от глубокого знания своего врага. Во многих случаях мы разделяем его мнения, он — наши; мы черпали из одних и тех же источников. Может ли быть лучший критерий, чем эта встреча двух противоположных чувств! Спешу добавить, что, говоря о посвященных России статьях в немецких и французских газетах, мы сделали исключение для блестящих и превосходных картин Ш. Мазада в «Revue des Deux Mondes» [8].

Когда успокоились страсти, легко можно было, несмотря на рыдания и крики бешенства, установить *два факта*. В первом убеждены вы, мы же нисколько не сомневаемся в другом. Один факт заключается в том, что польская Польша не погибла; другой — в том, что русское *движение* не приостановлено. Это факт чрезвычайно важный, и мы требуем лишь расследования, чтоб установить нашу ошибку или же признать нашу правоту. Вместо этого испускают вопли, исполненные тревоги и ожесточения, изобретают этнографические оскорбления, осыпают Россию ударами фальшивой филологии. Ее изгоняют из Европы, ее изгоняют из семьи иранцев [10]. Ну серьезно ли все это?

Наши храбрые враги не знают даже того, что мы с этой стороны весьма мало уязвимы; мы выше зоологической щепетильности и весьма безразличны к расовой чистоте; это нисколько не мешает нам быть вполне славянами. Мы довольны тем, что в наших жилах течет финская и монгольская кровь; это ставит нас в родственные, братские отношения с теми расами-париями, о которых человеколюбивая демократия Европы не может упомянуть без презрения и оскорблений. Нам не приходится также жаловаться на туранский элемент. Мы добились несколько большего, чем чистокровные славяне Болгарии, Сербии и т. п.

Нас изгоняют из Европы — подобно тому как господь бог изгнал из рая Адама. Но есть ли полная уверенность в том, что мы принимаем Европу за Эдем и звание европейца — за почетное звание? В этом иногда сильно ошибаются. Мы не краснеем от того, что происходим из Азии, и не имеем ни малейшей необходимости присоединяться к кому бы то ни было справа или слева. Ни в ком мы не нуждаемся, мы — часть *света между Америкой и Европой*, и этого для нас достаточно. Быть может, петербургские немцы сильно скандализованы утратой своего чистого славянства, своего яфетического иранства, и глубоко оскорблены тем, что их не желают признавать в Европе.— Быть может, московские одержимые, для довершения смешного, ввяжутся в ученую борьбу — нас это нисколько не касается.

И только благодаря вам, западные наши учителя, благодаря вашей науке прониклись мы такой философией. Отсталые во всем, мы побывали у вас в выучке — и не отшатнулись *от выводов, которые заставили вас свернуть со своего пути*. Мы не скрываем того хорошего, что получили от вас. Мы позаимствовали ваш светильник, чтобы ясно увидеть ужас своего положения, чтобы отыскать открытую дверь и выйти через нее,— и мы нашли ее благодаря вам.

К чему нам теперь — раз мы умеем ходить самостоятельно — учительская ферула, и, если вы помыкаете нами,— прощай, школа!

Но прежде чем «церемонно» покинуть нас, скажите-ка: отчего вы изо всех сил стараетесь сделать *молодого Медведя* своим врагом? Разве недостаточно вам воевать *со старым,* который нам еще более враждебен, нежели вам, и которого мы ненавидим сильнее, чем вы? Подумайте-ка о том, что старый зависит от вас гораздо больше, нежели молодой; он нравственно несвободен, вы гнетете его своим авторитетом. Он ворчит, он дуется, но оскорбляется вашими порицаниями, ибо он вас уважает и боится вас — не физической вашей силы, а вашего умственного превосходства, вашей аристократической спеси. У нас же бугор почтительности отсутствует; не питаем мы и одинакового чувства уважения ко всему, что есть на Западе. Мы видели вас в минуты изрядной слабости. Единственное, что мы чтим у вас безгранично, религиозно,— *это наука.* Но ведь наука — это полная противоположность вашим учреждениям, вашей нетерпимости, вашему государству, вашей морали, вашим верованиям. Вы владеете искусством прикрывать своими благородными стремлениями, своими возвышенными непоследовательностями ту пропасть, которая отделяет жизнь от науки, однако пропасть остается.

Мы видели вас слишком близко и знаем вас, мы привыкли любить вас и знать — вы же нас не знаете и отрицаете нас.— Мы протестуем.

Часовые, затерянные на рубеже двух миров, которых подстрекают к нападению друг на друга, связанные тысячью нитей с обоими, мы не можем молчать и снова решаемся сигнализировать о ложном пути, крикнув со своей сторожевой вышки: «Берегись ошибки!» *

---

* Иногда, чрезвычайно редко, какой-нибудь выдающийся ум в изумлении останавливается и констатирует факт, мало соответствующий шаблонным представлениям о России. Факт этот кажется единичным, изолированным, почти чудовищным — за систематическое исследование таких фактов не принимаются, и он пропадает из виду. Один знаменитый человек сказал мне в Вето, говоря об освобождении в России крестьян с землею [11]: «Конвент 93 года — а он отличался достаточной смелостью — отступил бы перед мерой, столь глубоко подрывающей право собственности. Мне кажется, что успех этого социалистического мероприятия во многом обязан пассивной покорности дворянства». «Не думаю, чтоб это было так,— сказал я,— тем более что дворянство было весьма далеко от пассивной покорности. Это мероприятие прошло потому, что оно вполне соответствовало национальному духу, и потому, что освобождение без земли у нас было невозможно. Оно вызвало бы, без всякого сомнения, жакерию. Социальный переворот подобного размаха мог произойти спо-

II

Для начала мы хотим очень коротко рассказать о том, как нынешнее состояние западной цивилизации отражается в наших умах чужеземцев, зрителей, людей, которые сформированы вашей наукой, но, имея иное происхождение и иную традицию, идут своим весьма трудным путем, не восхищаясь вашим. Вы не слишком-то привыкли выслушивать мнения, доносящиеся извне. Вы так долго представляли собой *цивилизацию, и всю цивилизацию,* единственную великую историю *и единственное* великое настоящее, что оробевшие Анахарсисы не смели откровенно высказывать свое мнение; когда же вы сами принимаете на себя их роль, сочиняя персидские, турецкие, американские и прочие письма [12], то вы занимаетесь только критикой частностей. Если же вы иногда и высказываете неприятную истину, то горе тому, кто коснется королевы, не принадлежа к ее роду!

Времена быстро переменились. Окружавший вас ореол уже не ослепляет взора. Ваше монопольное и неоспоримое господство поколеблено докучливой и беспокойной соседкой. Обращаешь взгляд к ее новому жилищу, по ту сторону Атлантического океана,— и видишь, что она продолжает вас, *завершая;* вы много обещали, она многое приводит в исполнение; вам принадлежит идеал, воплощение — ей.

Ваша цивилизация — словно переполненное море, она не может ни ограничиться своим прежним ложем, ни выступить за его роковые пределы. Она бьется со всех сторон о скалы, которые не может ни поглотить, ни перехлестнуть, ни смыть; отсюда — странная растерянность, бесплодное волнение; нападение — отпор, и fiasco следует за fiasco.

Вы не можете занять новое ложе, не отбросив далеко свои ветхие лохмотья, вам же хочется их сохранить. Вы слишком скаредны, чтобы уступить часть наследства, нет в вас и достаточного самоотвержения, чтобы удовольствоваться почетным покоем вдовствующей королевы, которая, позабыв о королевской власти, занимается только своим хозяйством. Вы пребываете вследствие этого в состоянии

койно лишь у народа, обладающего *иными понятиями о собственности,* чем народы Запада».

Никто об этом серьезно не подумал.

Социалисты так же, как и прочие.

Совокупность этих фактов вынуждает нас еще раз явиться перед судом, требуя допуска *свидетеля защиты* на процесс об отлучении, который ведется против России.

временной нерешительности; сами того не сознавая, вы искренне лицемерны и довольствуетесь словами, не имея ничего реального.

Формы и основы современной организации государства, общества — как они постепенно были выработаны историей, без единства и плана — не отвечают более требованиям рационального государства, сформулированным наукой и сознанием деятельного и развитого меньшинства. Все, что было эластичного в старых формах, нашло свое проявление; все комбинации, все компромиссы были пущены в ход. Преобразования не могут развиваться, не взрывая эти формы, не расшатывая эти *вечные* основы общества. Разум должен либо отступить и признаться с чисто христианским смирением, что его идеал — «не от мира сего», либо решиться разбить эти формы и более не заботиться о судьбе *вечных основ*.

Эти *вечные основы* — не что иное, как весьма недолговременные основы двуглавой, ублюдочной организации — эксфеодального, буржуазного и военного государства — компромисса, колеблющегося между двумя крайностями — малонадежной диагонали между свободой и самовластьем, социального и политического эклектизма, нейтрализующего всякую инициативу. К этой золотой середине тяготеют в нерешимости цивилизованные народы. Те из них, которые, как Голландия, победили противоборствующие силы, чувствуют себя прекрасно. Возможно, что латино-германские народы не пойдут уже дальше, что это их окончательное состояние. Видения минувшего, видения грядущего еще смущают их и не дают им прочно утвердиться в занятом ими положении. Эти платонические угрызения совести утихнут, как утихла скорбь христиан в отношении грехов рода человеческого,— они останутся как прекрасные воспоминания, как pia desideria [13], как возвышенный романтизм, как молитва богача о бедняках. Собственно говоря, нет безусловной необходимости в том, чтобы ясно выраженный идеал осуществился в том или ином определенном месте,— лишь бы он осуществился. Разве Индия не осталась в роли Матери, а Иудея — в роли Иоанна Предтечи? Останавливаются не там, где вздумается, а там, где не хватает сил, где не хватает пластицизма, энергии. Мы вовсе не хотим сказать, что латино-германский мир исключен из новой социальной палингенезии, которую он сам же и открыл миру. У природы и истории — все званые гости, однако невозможно вступить в новый мир, неся, подобно Атласу, на своих плечах мир старый. Надобно умереть «в старом Адаме», чтобы воскреснуть

в новом,— т. е. надобно пройти через *подлинно радикальную* революцию.

Мы прекрасно знаем, что нелегко определить конкретно и просто то, что мы понимаем под радикальной революцией. Рассмотрим еще раз единственный пример, предлагаемый нам историей: *революцию христианскую.*

Мир «вечного города», побежденный варварами, испускал дух от истощения, изнемогая под чрезмерно тяжелой ношей, которую Рим взвалил на его плечи. Большая часть его идеала завоевателя осуществилась; того же, что *оставалось,* не хватало для движения вперед. У него было свое прошлое, престиж силы, цивилизации, богатства; он все же мог бы еще долго влачить свое существование, расслабленный и утомленный. Но происходит революция, которая бросает ему прямо в лицо: «Твои добродетели —для нас блестящие пороки; наша мудрость — нелепость для тебя, что же общего между нами?» Следовало либо раздавить ее, либо пасть пред крестом и тем, кто на нем распят.

Вам известна легенда (Гейне так кстати вспомнил ее в своем путешествии на Гельголанд) о корабельщиках, возвращавшихся в страхе и волнении из Греции в Италию. Они рассказывали (то было во времена Тиберия), что однажды ночью, когда они приставали к Пелопоннесской земле, на скале появился зловещего вида человек, подавая им знак приблизиться и громко крича им: «Пан умер!» [14]

Он тогда еще не был мертв, старый Пан, но уже находился в агонии, и не было иного средства для его спасения, кроме смерти. Соборование умирающего длилось столетия. Он обратился в новую веру, принял пострижение и завещал все свое состояние церкви. Монах занял место цезарей, Олимп превратился в лазаретный сад и заполнился умирающими, иссохшими, бесполыми, казненными; виселица с трупом заняла место Юпитера, а место его жизнерадостных сотрапезников — две женщины в слезах. Вот что мы понимаем под радикальной революцией.

Остатки, обломки, разрозненные камни древнего здания сохранились, но они были вмурованы в новое, они более не *первенствовали.*

Христианский мир, со своей стороны, пережил многочисленные кризисы и многочисленные преобразования, видоизменения, однако ни одного *радикального.* Возрождение, Реформация не порывают с церковью, они упрощают ее, очеловечивают, украшают и поклоняются ей в новом издании. Даже революция представляет собой секуляризацию христианства и канонизацию древнего мира. Она является христианской и римской по своему духу, безжало-

стно принося личность в жертву «salus populi», Молоху государства, республики — подобно тому как церковь приносила в жертву живого человека во имя «спасения души, славы божией». Ведя борьбу, Реформация и Революция сделали колоссальный шаг вперед и затронули принципы совершенно справедливые, но неосуществимые при данном состоянии государства. Краеугольные камни, глыбы старых стен, принесенные ими в их новый град, стесняли каждый шаг. Они теряли всю свою энергию в неразрешимых противоречиях, в безысходной борьбе.

Права юридического лица.

Права человека.

Права разума.

Свобода, Равенство, Братство.

Радуга, преисполненная обещаний, обоими концами касающаяся земли, не пуская в нее корней.

Неприкосновенность личности вступала в столкновение с безоговорочным покровительством, которое государство оказывало собственности. Право человека сталкивалось с римским правом. Право разума отрицалось вооруженной религией. И так далее. Свобода была несовместима с сильным государством, с государственной церковью и государственной же армией. Не существует *равенства* при неравенстве развития, между верхами, залитыми светом, и массами, погруженными во мрак. Нет *братства* между хозяином, который пользуется и злоупотребляет своим правом имущего, и работником, который используется и подвергается злоупотреблениям потому, что он неимущий. Кто же тот гений, который сумел бы объединить в одной гармоничной формуле, разрешить посредством одного уравнения, выразить понятным образом связь и взаимодействие великих противоречивых сил, разнородных факторов, взаимно раздираемых и в то же время продолжающих оставаться основами современного общества? Есть ли что-нибудь общее между юриспруденцией и экономической наукой, между судилищем и статистикой? Могут ли они сколько-нибудь сносно сосуществовать? Вы чувствуете это, *вы знаете это,* и потому-то вы совершаете грех против разума. Вы находитесь в положении человека, который занес ногу, чтобы перейти границу, но, охваченный приступом тоски по родине, застывает в этой плачевной позе.

Никто не принуждает вас покидать свое отечество, но тогда уж надобно спокойно оставаться у родительского очага и сбросить с себя одежду странствующего революционера. Совмещение консерватизма и революционности начинает возмущать. Вас мучают угрызения совести, и, чтобы

оправдаться в собственных глазах, вы повторяете старую песню об опасностях, угрожающих нравственности, порядку, семье, в особенности религии. А у вас-то самих ее нет, если не считать худосочного деизма, бессильного и бесплодного. Религия в вашем представлении — это только крепкая узда для масс, самое страшное пугало для простаков, высокая ширма, которая мешает народу ясно видеть то, что происходит *на земле,* заставляя его возводить взор к небесам.

Нравственность, семья. Какая нравственность? Нравственность порядка, *существующего* порядка, нравственность почитания властей и собственности; все остальное — фиоритуры, орнаменты, декорации, сентиментализм и риторика.

И когда ж это революция была безнравственной? Революция всегда сурова, доблестна по обязанности, чиста по необходимости; она всегда — самопожертвование, ибо она всегда — опасность, гибель личностей во имя всеобщего. Разве были безнравственны первые христиане? или гугеноты, или пуритане, или якобинцы? Вот вооруженные заговоры, государственные перевороты — те и вправду не слишком-то непорочны, но ведь это *ретроволюции.* Что же касается религии, то революция в ней не нуждается, она сама — религия.

Даже социализм, в своих наиболее восторженных, юношеских фазах, в сен-Симонизме и в фурьеризме, никогда не доходил ни до общности имущества, проповедовавшейся апостолами, ни до Платоновой республики подкидышей [15], ни до полного отрицания семьи посредством создания специальных заведений для детоубийства во чреве матери и публичных домов безбрачия и воздержания.

На самом деле речь идет не о семье, не о нравственности — речь идет о том, чтобы спасти *незначительную долю свободы и значительную — собственности;* все же остальное — красноречие, иносказания. Собственность — это блюдо чечевичной похлебки, за него вы продали великое будущее, которому ваши отцы широко распахнули ворота в 1789 году. Вы предпочитаете обеспеченное будущее удалившегося от дел рантье — отлично, но не говорите же, что делаете это ради счастья человечества и спасения цивилизации. Вам всегда хочется прикрывать свой упрямый консерватизм революционными атрибутами; это оскорбляет, и вы унижаете другие народы, делая вид, будто все еще стоите во главе движения; это оскорбление почти смехотворно.

Прудон весьма негуманно говорил одной несчастливой

нации: «Вы не умеете умирать» [16]. Мы хотели бы сказать вам: «Вы не в силах ни возродиться, ни покорно принять бодрую и откровенную старость». А наше положение хуже, чем ваше, оно грубей, но гораздо проще, и не следует забывать, что у вас это *увенчание здания*, в то время как мы вколачиваем еще *сваи фундамента*.

III

Мы находимся в преддверии нашей истории. Мы росли, созревали, укреплялись, проходили суровую выучку — и приносим с собой лишь сознание собственных сил, своих способностей. Это больше симптомы, чем факты. Мы, в сущности, никогда еще не жили; мы провели тысячу лет *на земле* и два столетия в школе, занятые подражанием. Мы только начинаем выходить из периода прорастания, и это — благо для нас *.

Из всех богатств Запада, из всех его наследий нам ничего не досталось. Ничего римского, ничего античного, ничего католического, ничего феодального, ничего рыцарского, почти ничего буржуазного нет в наших воспоминаниях. И по этой причине никакое сожаление, никакое почитание, никакая реликвия не в состоянии остановить нас. Что же касается наших памятников, то их придумали, основываясь на убеждении, что в порядочной империи должны быть свои памятники. Вопрос для нас заключается не в продлении жизни наших умирающих, не в погребении наших мертвецов,— это для нас не представляет никакого затруднения,— а в том, чтоб узнать, где находятся живые и сколько их.

Потомки поселенцев, а не завоевателей, мы — народ крестьянский, над которым находится тонкий слой *отщепенцев*. Жители полей и представляют собой основу и нравственную силу. Бурные потоки славян, обрушившиеся на равнины между Волгой и Дунаем, осели там, где почувствовали усталость, и заняли земли, которые им пришлись по вкусу, как стихию, никому не принадлежащую. Законных прав у них не было — ничего, кроме голода и плуга. Финские племена, кое-как перебивавшиеся в этих лесах, в этих пустынях, были поглощены славянами. Они продолжали влачить свое жалкое существование или же смешивались

---

* Не могу не привести еще раз стихи Гёте, с которыми он обращается к Америке:

Dich stört nicht im Innern,
Zu Lebendiger Zeit,
Unnützes Errinern,
Vergeblicher Streit [17].

с пришельцами, оставив им несколько слов из своего языка и кое-что в чертах лица.

Нет ничего героического, эпического в этом происхождении — распашка нови, труд и скрещивание с бедными туранцами, к которым питают такую неприязнь публицисты Запада.

Возникают далеко расположенные друг от друга города, укрепленные деревни; княжества начинают складываться в довольно бесформенное федеральное государство. Потом монгольское иго, борьба и освобождение, принудительное объединение и растущее государство. Зачаточное государство это цепко держится, несмотря на все превратности, с упорной настойчивостью, вовсе не свойственной славянскому характеру. Быть может, это первый плод ассимиляции с циклопическими расами, недвижными и сильными своей минералогической устойчивостью, своей первобытной цепкостью, своим выносливым долготерпением. Если они и нарушили славянскую чистоту нашей крови, то зато укрепили государство, которое послужило ядром современной России.

Крестьянское население, превратившись в государство, *сохранило* — и в этом-то заключалось и его будущее, и его самобытность — веру в то, что обрабатываемая крестьянином земля принадлежит ему, не может быть отчуждена, пока он остается в общине, и что новая община, принимая его, обязана наделить его землей. Правительство в этом ничего не смыслило и сохранило эти обычаи до самого введения крепостного права (XVII век), когда оно передало земли и крестьян помещикам, царствующей фамилии, государству.

Принцип права на землю неоспорим; это факт, а не тезис. Изначальная идея собственности была блестящим образом исключена из обсуждения Прудоном [18]. Это заранее данная величина, догма «божественного происхождения», это *первопричина* истории. Полагают, что связь между человеком и собственностью существовала еще в доисторические времена, постоянно, подобно той, которая развилась под воздействием римского права, германских обычаев и которая существует еще и поныне, продолжая свое развитие на Западе путями индивидуализма — до самой встречи с социальными идеями, ее отрицающими и кладущими ей конец. На Востоке находят непросвещенный *центр*; он развивается в России на общинной основе и готов к слиянию с утверждаемым им de facto социализмом, которому он придает совсем другие пропорции и открывает перед ним необъятное будущее.

Создается впечатление, будто вся мрачная и тяжелая история русского народа была выстрадана исключительно ради этого прогрессивного развития экономической науки, ради этих социальных зародышей. Испытываешь искушение рукоплескать медленному ходу исторического развития в нашей стране.

Пройдя через длинный, однообразный и изнурительный ряд столетий, согбенный под ярмом нищеты, согбенный под бичом крепостного права, он сохранил *религию земли.* Странный и скорбный путь развития, при котором зачастую зло приносило с собою добро и vice versa [19]. Одним из самых жестоких ударов, перенесенных русским народом, был удар цивилизации, которая пыталась лишить нас национальности, не делая нас гуманными, и она-то нам открыла нас самих *посредством социализма,* к которому она питает отвращение.

Жители полей были оставлены вне насильственно навязанной цивилизации. Великий педагог Петр I удовольствовался тем, что скрепил еще сильнее цепи крепостного права. Крестьянин, оплеванный, поруганный, ограбленный, продаваемый, покупаемый, приподнял на мгновение голову [20], пролил потоки крови, заставил содрогнуться от ужаса Екатерину II на ее престоле; и, побежденный армиями цивилизации, он снова впал в угрюмое, пассивное отчаяние, держась лишь за свою землю — за этот последний сосец, который не давал ему умереть с голоду и который даже крепостное право не сумело у него вырвать. Так он и оставался, неподвижный и в состоянии изнеможения, отчаяния, почти целое столетие, выражая иногда свой протест убийством помещика или же неудачными местными бунтами.

В то время как вооруженный крестьянин переходил Балканы и Альпы, одерживал победы и расширял границы империи, его отец, его брат умирали под розгами, законным образом ограбленные алчным, расточительным и диким дворянством; все у него было отнято: сила его мускулов, его жена, его дитя,— но по странному отсутствию логики земля (в уменьшенном количестве, урезанная, умышленно дурно выбранная) оставалась за ним.

Сколько пролилось на нее слез, образуя новую связь между нею и бедным преследуемым страдальцем! Никто не узнает, сколько вытерпел он за эти сто лет процветания государства. Его жалоба, его крик боли и агонии, его упрек — все затеряно в архивах безжалостной полиции, в отрывочных воспоминаниях какой-нибудь служанки, какого-нибудь камердинера. Этот Лаокоон погибал со своими

сыновьями темной зимней ночью, и ни один ваятель не был очевидцем этой неравной борьбы его с двумя змеями — дворянством и правительством. Снег все окутал своим саваном — и это историческое преступление, это преступление, совершавшееся по мелочам, поражавшее каждую деревню, каждую общину, непрерывно продолжаясь, сохраняясь, помогло несчастному крестьянину узаконить свое право на землю.

Если б освобождение пришло прежде нашего времени, у крестьянина отняли бы землю, не предоставив ему подлинной свободы. Лишних полвека мученичества и страданий спасли его великое орудие труда. *Право на землю* не смогло бы устоять под напором экономических идей Запада, поддерживаемых не только правительством, столь безразличным к выбору средств, но и «просвещенными людьми», либералами, доктринерами, публицистами. И только после сокрушительной критики существующего порядка вещей, произведенной социализмом, жизненный принцип русского развития смог быть спасен.

О земле почти повсюду забывали во время революций на Западе; она находилась на втором плане, так же как и крестьяне. Все делалось в городах и городами, все делалось для третьего сословия, потом изредка вспоминали о городском работнике, но о крестьянине — почти никогда. Крестьянские войны в Германии являются исключением, и потому-то крестьяне, с громкими криками требовавшие земли, были совершенно раздавлены. Производились секуляризации, конфискации, дробления, перемены владельцев, классов, перемещения поземельной собственности; все это имело чрезвычайно важные последствия; не было только ни новой основы, ни принципа, ни общей организации. Мы ничего не слышали ни с высот Конвента, если не считать Робеспьера, который поднялся на трибуну, чтобы отречься от своих аграрных проектов, ни с Июньских баррикад. Один из самых передовых людей, Лассаль, находит, что земля слишком связывает, слишком прикрепляет к месту, отягощает свободную личность работника, задерживает его движение, словно ядро, прикованное к его ногам, тогда как мы предпочитаем чувствовать под своими ногами кормилицу-землю, вместо того чтобы раскачиваться в воздухе, по воле ветров, не имея иной опоры против нищеты, кроме двойной нищеты забастовки.

Мы не говорим, что наше отношение к земле является *разрешением* социального вопроса, однако мы убеждены, что это *одно из решений.* Социальные идеи, в своем воплощении, будут обладать многообразием форм и применений,

как принципы монархический, аристократический, конституционный. Наше решение — не утопия, это реальность, факт естественный, я скажу даже — физиологический. Географические условия нам благоприятствуют. Совокупность внешних обстоятельств должна соответствовать стремлениям, способностям нового организма, иначе он зачахнет. Что совершила бы Северная Америка без своих территориальных пространств? С другой стороны, наилучшие внешние условия бывают недостаточны. Что совершили испанцы по ту сторону Атлантического океана?

Вопрос для нас состоит не в том, чтобы отрицать или утверждать право на землю, а в том, чтобы осознать его, обобщить, развить, применить, *исправить* его личной независимостью.

Патриархальная община предоставляла землю отдельному лицу в обмен за его *свободу*. Человек оставался прикрепленным к земле, к общине. Именно с землей перешел он к помещику, именно с землей он и освобождается. Необходимо освободить его от земли, но таким образом, чтобы он ее не потерял. Ему нужны *Земля и Воля*. На Западе прочно установилось мнение, будто каждый шаг к расширению прав личности неизбежно будет сделан за счет прав общины. С чего это взяли? Сельская община оказалась впервые вовлеченной в социальное развитие огромного государства. И надобно выждать, к чему приведет это движение, прежде чем извлекать выводы. Замечание это принадлежит Стюарту Миллю. Недавние события доказывают, что нет ничего несовместимого в терминах «общинное владение» и «личная свобода». Грандиозное зрелище возникает по соседству с тем миром, который бесплодно проделывал всевозможные опыты, начиная от фаланстера и Икарии — до уравнительных ассоциаций. Сельская община и личность сельского жителя чрезвычайно далеко шагнули вперед в России с 1861 года. Находившийся в зачаточном состоянии принцип *самоуправления* *, раздавленный полицией и помещиком, начинает все более и более избавляться от своих пеленок и свивальников; избирательное начало укореняется, мертвая буква становится реальностью [21]. Староста, общинные судьи, сельская полиция — все избирается, и права крестьянина простираются уже далеко за пределы общины. Он является ее представителем на общегубернских собраниях, в суде присяжных, и надобно читать газеты, чтобы знать, как он там действует. Он оправдывает, когда это возможно, он

* Так хорошо оцененный вестфальским бароном Гакстгаузеном и американским социологом Кэри.

оправдывает в сомнительных случаях. И что же, рост его не отмечен, его достижения не изучены... и более того, когда эта огромная человеческая масса пробуждается, исполненная силы, здоровья, то образованная часть общества расценивает ее как людское стадо, в совершенном согласии с последними представителями нашего былого барства.

Человеколюбцы, филантропы, *сторонники братства,* вздыхающие о краснокожих, и общества покровительства животным всех мастей презрительно смотрят или совсем не смотрят на целый народ, который вступает во владение огромной территорией и чье первое слово является *социальной формулой* не только осуществимой, *но уже осуществленной!* Народ, который поставил на место неопределенного права «на труд» отчетливое право «на землю» и который вместо того, чтобы повторять ужасный вопль отчаяния: «У кого есть пуля — у того есть хлеб» [22], сохраняет убеждение, что «у него есть хлеб, потому что у него есть земля».

В сведениях недостатка не было, однако никто не взял на себя труд ознакомиться с ними. Слышались туманные речи о русском, азиатском, туранском *коммунизме,* но с ним сразу же покончили, заявив, что все дикари *начинали* с общинного владения, чтобы прийти в конце концов к образованному пролетариату; что когда-нибудь земли не хватит, что агрономия не может процветать в подобных условиях и т. п., и т. п. Еще задолго до освобождения крестьян один-единственный человек осознал значение сельской общины у нас — это Гакстгаузен, о котором я упомянул выше. Обнаружив некоторые следы общинных установлений на берегах Эльбы и пораженный их устройством, он отправляется, в 1846 году, исследовать Россию несколько поглубже той мостовой, по которой катилась изящная коляска маркиза де Кюстина; торопливо проехал он Петербург, Москву и углубился в *черноземье.* Возвратился он оттуда, расхваливая русскую общину и указывая пальцем на ее социалистические и *республиканские* начала. По странному совпадению, это произошло накануне революции 48 года, накануне первой попытки ввести, в большом масштабе, социализм в государственное устройство. Момент был весьма подходящий, но попытка провалилась, а настроение умов было таково, что книга Гакстгаузена промелькнула незамеченной.

Мы также пытались поднять голос среди всеобщего уныния и мрачнейшей реакции (1850—1855), но успели не больше, нежели старый вестфальский барон; сделав вид, что все это принято к сведению, прошли мимо нас. События

заговорили в свой черед. Веянье жизни пронеслось по России: крепостное право отмирало, дворянство отмирало, старое здание инквизиционного суда рушилось; грозные голоса пробились наружу сквозь решетки цензуры; правительству, на миг увлеченному этим течением, было как-то не по себе, и оно готово было пойти на уступки. Реалистическое, сильное, молодое учение находило свое выражение все более и более отчетливо, с неумолимой логикой и смелостью выводов и применений к любым обстоятельствам. Все это прошло незамеченной тенью... Внимание отвлечено было иным, западный мир смотрел во все глаза на ужасную трагедию, развернувшуюся в Польше. Да, то была трагедия тем более ужасная, что ее не ожидали. В 1861 году все в России стояли за Польшу; правительство еще колебалось между малой хартией и виселицей, между великим князем и Муравьевым, когда могучая рука пришла ему на помощь,— рука европейской дипломатии, с ее миролюбиво-воинственными нотами. От уколов этого вмешательства невооруженной рукой свирепый патриотизм овладел обществом; все, что еще таилось дикого в глубинах русской души, обнаружилось с наглостью беспримерной в нашей новой истории. Набросились на Польшу и на *Молодую Россию*. И только тогда правительство почувствовало себя достаточно сильным, чтобы начать ужасный судебный процесс над идеями, процесс стоглавый, бесконечный, поглощавший жертву за жертвой, распространившийся на всю страну и продолжающийся еще и поныне.

И не с упреком обращаемся мы к вам. Мы знаем, что вы не ответственны за бедствия, которые ваша дипломатическая помощь навлекла на бедную Польшу, мы прекрасно знаем, что вы не принимаете участия в общественных делах. Вам передают акты для обсуждения, как передают больных из госпиталей в прозекторскую — после их кончины. Мы находимся в слишком сходном положении, чтобы не уметь заботливо щадить других. К несчастью, вы живете в мире вымыслов и иллюзий, подобно тому как потомки некогда царствовавших фамилий постоянно мечтают о свалившейся с их головы короне, и вы — вы также мечтаете об эмансипации народов, о защите их свобод, словно это ваши свободы.

Ваши свободы... да где ж они?

Надобно подняться высоко в Альпы или же переплыть море, чтоб увидеть там крошечную частицу их.

Вы гордитесь великим прошлым, и эта гордость мешает вам видеть нынешнее ваше состояние, и его причины, и угрожающую вам опасность.

Опасность грозит вам не со стороны России; если Россия дошла до Парижа, то потому только, что нашлись пруссаки и другие немцы, чтобы проводить ее и указать ей дорогу. Опасность для вас заключается в неуспехе Революции.

Потревожить грезы старца, почитаемого нами,— жестоко, но отчего ж он так заносчив и так слеп, так дерзок и так нетерпим? Можно подумать, что он все еще выступает с tonans трибуны Конвента, гордо опираясь на права человека, неприкосновенный, свободный, уважаемый. Можно подумать, что это Европа Вольтера и энциклопедистов, якобинцев и жирондистов, Канта и Шиллера.

Одна лишь Англия могла бы сказать свое веское слово, но она молчит.

Свобода — в Соединенных Штатах, и они, далекие от всякой ненависти к России, протягивают ей дружескую руку, провидя ее будущее [23]

Мы полностью готовы чтить в вас ваше прошлое. Мы только того и желаем, чтобы прикрыть ваши язвы из благодарности за науку, которую вы нам преподали; но воздайте же хоть немного справедливости тем, *кто родился вчера* (как выражался Тертуллиан) *и у кого есть обеспеченное завтра.*

Несчастье обязывает, обязывает по крайней мере не швырять в других камнями, не продолжать невозможной роли распорядителя и освободителя целого мира, великого часовщика вселенной.

Ваши часы остановились.

IV

Внизу *сельская община,* застывшая в ожидании, медлительная, но уверенная в собственном развитии, консервативная, как мать, несущая младенца в своем чреве, и много переносящая, переносящая все, кроме отрицания своей основы, своего фундамента. Это женское начало и краеугольный камень всего здания, его монада, клетка огромной ткани, именуемой Россия.

Наверху бок о бок с государством угнетающим, государством *усмиряющим, свободная мысль* становится силой, властью, признанной ее врагами,— властью, на которую указывает император в своем схоластическом послании председателю Государственного совета, указывает близорукая и сонная церковь, указывает литературная полиция полиции преследующей — под именем нигилизма.

Нигилизм этот, однако, не какая-то организация, не

заговор — это убеждение, мнение. И от этого-то мнения Александр побледнел и закричал своим министрам «Берегись!», указывая на *«нескольких молодых людей темного происхождения»*. Был ли он прав или же были правы те, кто нагнал на него страх? Это слишком свободное мнение, эта мысль без богословских пут, без светской осмотрительности, без идеализма, романтизма, сентиментализма, без показной добродетели и притворного ригоризма,— превозносило только науку и следовало только по ее путям. Нагота эта вызывала страх, это простота оледенила сердца властей предержащих.

Совершенно естественно возникает вопрос: каким же образом перекинуть мост между этой мыслью, не имеющей другой узды, кроме логики, и свободной общиной; между беспощадным, исследующим знанием и слепой и наивной верой; между возмужалой и суровой наукой и погруженным в глубокий сон взрослым младенцем, которому грезится, что царь — его добрый батюшка, а богородица — лучшее средство от холеры и пожаров?

Которому грезится также, что обрабатываемая им земля принадлежит ему.

Реалистическое меньшинство встречается с народом на почве социальных и аграрных вопросов. Мост, таким образом, уже наведен.

Мысль, знание, убеждение, догмат никогда не остаются у нас в состоянии теории и абстракции, не стремятся заточить себя в академический монастырь или же спрятаться в шкафу ученого, среди ядов; напротив, не достигнув зрелости, они бросаются с чрезмерной стремительностью в практическую жизнь, желая допрыгнуть, со связанными ногами, от прихожей до конца арены. Мы можем жить — и продолжительное время — в состоянии нравственного оцепенения и умственной спячки, но стоит только пробудиться мысли — и, если она не погибает сразу же под тяжелым и давящим бременем среды, если ей удается устоять перед оскорблением и пренебрежением, перед опасностью и безразличием, она смело старается дойти до крайнего вывода, ибо логика наша не знает ограничений — следствий и следов зарубцевавшегося, но отнюдь не стершегося прошлого.

Расплывчатый дуализм немцев, которые знают, что жизнь der théorie nach [24] не совпадает со сферами практической деятельности, и мирятся с этим, в высшей мере антипатичен русскому духу.

Разношерстное общество, лишенное руля, внешне равнодушное, пресыщенное и наивное, развращенное и про-

стосердечное, отнюдь не оставалось спокойным перед новым очистительным горнилом мысли. Женщины и девушки жадно устремились к новым учениям, громко требуя личной независимости и достоинства труда.

Ничего подобного не было видано со времени появления сен-симонизма.

Общество, в котором женщина так изнемогает, а мысль так неумолима, неизбежно оказалось глубоко истерзанным и в состоянии разброда; оно должно было быть раздавлено, унижено, обмануто, оскорблено, оно должно было, наконец, *сомневаться*, чтобы броситься без страха и оглядки в холодное и безбрежное море голой истины. Кто знает историю наших исстрадавшихся душ, наших болезненных, искалеченных развитий? Мы попытались обрисовать драму, роман, муку нашей умственной эмбриогении... Кто помнит об этом?

Вырванные ударом грома или, вернее, барабана из сонной и растительной жизни, из объятий матери (бедной и грубой крестьянки, но все-таки матери), мы увидели, что лишены всего, начиная с платья и бороды. Нас приучили презирать собственную свою мать и насмехаться над своим родительским очагом. Нам навязали чужеземную традицию, нам швырнули науку и объявили нам, по выходе из школы, что мы рабы, прикованные к государству, и что государство — это нечто вроде отца Сатурна, который, под именем императора, заглатывает нас при первом же независимом жесте, при первом свободном слове. Нам наивно заявляли, что цивилизовали нас ради общественной и правительственной выгоды и что отныне за нами не признают никаких человеческих прав.

Все, что предпочитает заглатывать вместе с Сатурном, нежели быть им проглоченным, выстроилось рядом с ним, усиливая давление на нижний слой народа и бросая на каторгу строптивых — из числа тех, кто получил образование, «ради дела общественной пользы».

Столь странная система не могла долго продержаться, она не имела необходимых условий для устойчивости, поэтому при первом же призыве живые силы вышли из берегов (1812 год) и на следующий день после победы начали требовать гарантий для человеческого существования. Попытка 1825 года провалилась, но толчок был силен. Престол Петра I, едва успевший утвердиться после землетрясения (последние судороги народа, сопротивлявшегося рабству), получил новое предупреждение, идущее от *своих*. Удар этот был не из легких. Долго внушал он страх Николаю.

Внутренняя тревога, снедавшая нас в течение тридцати лет этого царствования, была мучительней, чем все несчастья, которые падали на нашу голову. Мы были сбиты с толку, лишены корней, не знали народа, ненавидели родительский дом — очаг преследования крепостных, ненавидели правительство — как могущественного и свирепого врага всякого умственного развития, всякого прогресса... У нас при нашем бессилии имелось лишь одно оружие — ученье, лишь одно утешение — ирония.

И именно ученье даровало нам иную родину, иную традицию; то была традиция великой борьбы XVIII века. О, как мы любили вас, изо всех сил вбирая в свои легкие свежий воздух, впервые повеявший на мир через огромную пробоину 1789 года. Мы с благоговением склоняли головы перед мрачными и сильными личностями ваших святых отцов великого республиканского собора, пришедшими водворить эру *разума* и свободы.

Страстная вера, которую питала русская молодежь к немецкой теории, к французской *практике*, казалось, была оправдана и увенчана в 1848 году.

Вы знаете оборотную сторону медали: 48-й год еще не закончился, а мы уж возвратились из современного Иерусалима, подобно Лютеру, возвратившемуся из Ватикана. Снова heimatlos [25] бродяги нравственного мира, мы остались без точки опоры перед могуществом императора Николая, которое гигантски усилилось и приобрело еще более мрачный характер.

Рука, направлявшая нас извне, дрожала за свои сокровища и силилась вырваться. Мы выпустили ее. То было наше последнее освобождение, то был наш *нигилизм*... Выпустив эту руку, мы бросились в открытое море на собственный страх и риск, в том направлении, которое она указала нам ранее.

Не успели отправленные в ссылку участники Июньских дней добраться до места своего назначения, как в Петербурге было обнаружено социалистическое общество [26]. Николай действовал с обычной своей жестокостью. Личности погибли, идеи сохранились, дали ростки. Преобладающий характер движения был настолько явно *социалистическим*, что оба противостоящих умственных течения, обе школы, не имевшие между собой ничего общего,— школа научная, аналитическая, реалистическая и школа национальная, религиозная, историческая — сошлись во всех вопросах, касавшихся сельской общины и ее аграрных учреждений [27].

Вскоре появилось третье и очень своеобразное училище.

Правительство объявило о своем твердом намерении освободить крестьян. Все были согласны с тем, что время личного освобождения крестьян наступило. Но не в этом заключался основной вопрос, суть была в том, чтоб определить — надобно ли освобождать их с землей, которую они обрабатывают, или же оставить землю помещику, а народ наделить правом бродяжничества и свободой умирать с голоду. Правительство было в нерешительности, колебалось, не имело никакого сложившегося и твердого мнения. Царь склонялся к тому, чтобы наделить землей, советники же его, естественно, были против этого. Находясь в таком затруднении, правительство начало — в стране канцелярских тайн и немоты — почти публичное обсуждение этого жизненно важного вопроса. Печати было разрешено, в известных пределах, принимать в нем участие. Все политические и литературные оттенки, все школы — скептические и мистические, социалистические и панславистские, лондонская пропаганда и петербургские и московские газеты,— соединились в общем деле защиты права крестьянина на землю, против притязаний олигархического меньшинства. Не молчал больше и народ; он не допускал *даже возможности* освобождения без земли. Наконец, правительство, после новых колебаний, заставлявших нас дрожать от беспокойства, склонилось на нашу сторону. Освобождение с землей было в принципе решено. Это было крупным торжеством и огромным шагом вперед.

С того дня правительство уже не в состоянии затормозить движение. Для возвращения вспять надобно решиться вырвать землю у крестьян. Вероятно, был такой момент, когда возможно было попытаться сделать это,— к счастью, он был упущен.

Дворянство, слишком осмотрительное, чтобы действовать путем насилия в столь горячий и опасный момент, медлительное в решениях, выразило свою оппозицию бессилия, когда крестьянская земля от него уже ушла.

Пятилетие, протекшее между смертью Николая и появлением манифеста об освобождении крестьян в марте 1861 года, образует великую эпоху не только в истории России, но и в истории XIX века.

О, как глубоко я сожалел и всегда буду сожалеть, что мне нельзя было увидеть собственными глазами все происходившее тогда в России.

Напряженность становилась все более и более заметной; все сжималось и стягивалось с еще большей силой; томительный, тягостный гнет давил непрерывно, с механическим однообразием, и вдруг — перелом: веревки, впив-

шиеся в тело, ослаблены, арестанты в одно прекрасное утро видят, что дверь не заперта; они не знают, куда идти, некоторые выбегают на волю и возвращаются в казематы. Каждый освобождался на свой лад. Слово «Свобода» никем произнесено не было, но его услышали все, император Александр так же, как и остальные. Он тоже чувствовал, что тягостный надзор перестал давить, забывая, что надзором этим был он сам.

Событие назрело — формы поддались, слова переменили значение; утрачена была вера в могущество установлений, перед которыми трепетали накануне и которые продолжали оставаться неизменными. Россия может еще пройти через фазы ужаснейшей тирании, безграничного произвола, но к мертвенному и давящему режиму Николая возвратиться она не может.

Многое из того, что явилось тогда на свет, было преждевременно, иногда — преувеличенно. Юные силы, так долго подавляемые, лишенные всякого выхода, всякого направления и физически сдерживаемые дисциплиной, в которой не было ничего человеческого, теперь переливались через край; но в разгаре этой великой утренней оргии проявились никем не подозревавшиеся ранее силы, завязались плоды, которые отлично перенесут немилосердную зиму все еще продолжающегося белого террора.

Одним из первых шагов молодежи была организация *воскресных школ и ассоциаций работников и работниц*. Мастерская, основанная на социалистических принципах, сопутствовала школе и естественным образом соприкасалась с сельской общиной. Деревенские жители, сами состоя в аграрных ассоциациях, создали, века тому назад, в весьма широких масштабах, работничьи ассоциации. Рядом с *постоянной* общиной — *артель*, подвижная община, работничья ассоциация.

Эти школы, эти ассоциации являлись в то же время и мостками между городом и деревней, между двумя ступенями развития. И все это было разбито, раздавлено правительством, охваченным страхом и бешенством, после истории с пожарами, ключ к которой так и не был найден. Все это возродится.

Но, поднимая завтра этот Сизифов камень, который царю благоугодно будет сбросить вниз послезавтра, можно потерять целые столетия, не слишком-то продвигаясь вперед. Все это так, но завтра же, может быть, удастся сбросить вместо камня правительство. У нас слишком много хаоса и несообразностей, чтоб удивляться неожиданностям.

Самые невозможные вещи осуществляются у нас с неве-

роятной быстротой; перемены, равные по своему значению революциям, совершаются не замеченные Европой.

Никогда не следует упускать из виду, что у нас каждая перемена — только перемена декораций: стены сделаны из картона, дворцы — из размалеванного холста. То, что видишь на подмостках большого императорского театра,— *не настоящее*, начиная от людей. Этот вельможа — лакей; этот министр, диктатор и деспот — революционер; этот образованный, утонченный господин — калмык по привычкам и нравам. Все заимствовано. Наши чины — чины немецкие, их даже не потрудились перевести на русский язык — Collegien Registrator, Kanzelarist, Actuarius, Executor сохранились и поныне, чтобы поражать слух крестьян и возвеличивать достоинство всевозможных писцов, писарей и прочих конюхов бюрократии.

Мы же, словно подкидыши в воспитательном доме, чувствуем — не зная другого родительского очага, что этот дом — не наш, и страстно желаем его уничтожить.

В этой империи фасадов, где нет ничего подлинного и реального, кроме народа внизу и просвещения наверху, существует лишь два начала, представляющих собой исключение, две разрушительные силы: военная отвага и отвага отрицания. Не забудем, что «деятельное отрицание — это созидательная сила», как сказал много лет тому назад наш друг Михаил Бакунин [28]. Нельзя говорить серьезно о консерватизме в России. Даже самое слово это не существовало до освобождения крестьян. Мы можем стоять, не трогаясь с места, подобно святому столпнику, или же пятиться назад подобно раку, но мы не можем быть консерваторами, ибо нам нечего хранить. Разностильное здание, без архитектуры, без единства, без корней, без принципов, разнородное и полное противоречий. Гражданский лагерь, военная канцелярия, осадное положение в мирное время, смесь реакции и революции, готовая и продержаться долго и на завтра же превратиться в развалины.

В тот день, когда Петр, византийский царь, сделался императором на германский лад и поселился в Петербурге, царизм утратил всякую консервативную почву. С той поры император изменчив, как Протей: он и женщина и мужчина, Романов и Голштейн. Цивилизатор с кнутом в руке, с кнутом же в руке преследующий всякое просвещение, охраняющий традиции, ломающий традиции, бреющий бороду своей империи из революционных побуждений и выколачивающий пыль из старой бородатой церкви, чтоб оказать сопротивление революции.

Сегодня — первый *дворянин*, завтра — *первый из наро-*

да; сегодня ему может прийти в голову мысль продолжать безумное царствование Павла I, завтра — объявить себя Пугачевым II. Я всегда восхищался гермафродитическим прилагательным, которое Вольтер употребил, говоря: *Екатерина Великий* — смешение полов, функций, совокупность, поглощение, смесь разнородных элементов.

Дворянство сильно желало бы играть роль консерваторов-тори, но, к счастью, оно пришло к этой мысли на следующий день после утраты сокровища, которое должно было предать консервации. Дворянство не обладает действительной ценностью; своим могуществом оно обязано было царю — царь отнял свой палец, и оно существует только по названию [29]. Здоровая, молодая часть дворянства старается, чтобы позабыли о ее происхождении, забывает о нем сама, ищет работы и сливается с остальным населением. Другая же часть — упрямая, раздраженная — изнуряет себя озлоблением и теряет последние силы, истощившиеся в трех бесплодных оппозициях. В корыстолюбивой оппозиции раскрепощенной общине, в лицемерной и предательской оппозиции бюрократии, под которой она подразумевает правительство, и в ожесточенной, тупоумной, мстительной и злопамятной оппозиции свободной мысли, новым стремлениям, деятельной и устремившейся в движение молодежи. Ненавидимая народом, подозреваемая правительством и презираемая образованной молодежью, она бродит, изнуренная, постаревшая и озлобленная, и не может утешиться, хотя бы как Калипсо, от разлуки с прекрасным крепостным правом.

То, что мы сейчас сказали о *земельном* дворянстве, мы можем с еще большим основанием сказать о дворянстве *чернильном*. Бюрократия представляет собой только орудие: это гражданский полк, который не рассуждает *под перьями*; она будет продолжать действовать, с *усердием и воровством,* при Павле I, как при Пугачеве II. Будучи по своему положению врагом крупного дворянства, она сливается с мелким. Это класс, которому нечего хранить, кроме папок и архивов.

Правительство, дворянство и бюрократия сходятся в одном убеждении, которое само по себе менее всего консервативно: они согласны в том, что необходимы *значительные реформы*. Часть дворянства стремится получить парламентское представительство и взять управление под свой контроль. Правительство и бюрократия всегда испытывают желание реформировать государство посредством цивилизующего деспотизма. Они всегда действуют в духе Петра I, Иосифа II: им хочется децентрализовать и дать маленькие

свободы, полагая, что это отобьет вкус к большим; они хотят уступить часть управления — лишь бы не тронули пресвятые права неограниченного самодержавия. В течение некоторого времени это могло бы еще продолжаться — при энергичном царе и одаренном министре, если бы оба трудились изо всех сил, чтобы поскорей вырыть себе могилу. Люди же посредственные не годятся для этой задачи — они создадут беспорядочную реакцию, оскорбительный беспорядок, именно то, что производит в настоящее время правительство Зимнего дворца. Дворянская конституция никого не удовлетворила бы, и правительство всегда сумеет раздавить ее, опираясь на отстраненных, на недовольных и на крестьян.

Итак, остается созыв «великого собора», представительства без различия классов,— единственное средство для определения действительных нужд народа и положения, в котором мы находимся. К тому же это и единственное средство выйти без потрясения, без переворота — террора и ужаса, без потоков крови из длинного предисловия, называемого петербургским периодом.

Длящаяся и поныне жестокая реакция не обладает ни единством, ни планом, ни глубиной: у нее в руках сила, наследственная бесцеремонность; она натворит беды — она не остановится ни перед чем, но также ничего и не остановит.

Каково бы ни было *первое Учредительное собрание, первый парламент* — мы получим свободу слова, обсуждения и законную почву под ногами.

С этими данными мы можем двигаться вперед. Дорога трудна — но у какого народа была она усыпана розами? Все препятствия вне нас — внутреннее нас ничто не удерживает.

У нас в лагере прогресса не будет ни легитимистов, ни аристократов, ни клерикалов, ни антисоциалистических республиканцев, ни демократов-централизаторов, ни четерпимых деистов, ни царствующих буржуа.

К этому мы будем возвращаться еще неоднократно. Но уже теперь мы имеем право закончить нашу статью-преддверие, сказав, что нет достаточной причины ни для того, чтобы осыпать нас проклятиями — страшась нас, ни вдаваться в скорбь — сожалея о нас. К счастью, мы не так сильны и не так несчастны.

1 декабря 1867

[ПИСЬМО О СВОБОДЕ ВОЛИ]

Дорогой Александр!

Я внимательно перечитал твою брошюру о нервной системе. Пишу тебе не для того, чтоб оспорить ее или предложить иное решение, а только для того, чтоб отметить отдельные уязвимые стороны твоего метода, который кажется мне чересчур односторонним.

Расходимся мы с тобой не в главном, однако мне кажется, что ты слишком упрощенно разрешаешь вопрос, выходящий за пределы физиологии; последняя доблестно выполнила свою задачу, разложив человека на бесчисленное множество действий и реакций, сведя его к скрещению и круговороту непроизвольных рефлексов; пусть же она не препятствует теперь социологии восстановить целое, вырвав человека из анатомического театра, чтобы возвратить его истории.

Смысл, который обычно вкладывают в слова *воля* или *свобода воли*, несомненно, восходит к религиозному и идеалистическому дуализму, разделяющему самые неразделимые вещи; для него воля в отношении к действию — то же, что душа в отношении к телу.

Как только человек принимается рассуждать, он проникается основанным на опыте сознанием, будто он действует по своей воле; он приходит вследствие этого к выводу о самопроизвольной обусловленности своих действий — не думая о том, что само сознание является следствием длинного ряда позабытых им предшествующих поступков. Он констатирует целостность своего организма, единство всех его частей и их функций, равно как и центр своей чувственной и умственной деятельности, и делает из этого вывод об объективном существовании души, независимой от материи и господствующей над телом.

Следует ли из этого, что чувство свободы является заблуждением, а представление о своем *я* — галлюцинацией? Этого я не думаю.

Отрицать ложных богов необходимо, но это еще не все: надобно искать под их масками смысл их существования. Один поэт сказал, что предрассудок почти всегда является детской формой предчувствуемой истины.

В твоей брошюре все основано на том весьма простом принципе, что человек не может действовать без тела и что тело подчинено общим законам физического мира. Действительно, органическая жизнь представляет собой лишь весьма ограниченный ряд явлений в обширной химической и физической лаборатории, ее окружающей, и внутри этого ряда место, занимаемое жизнью, развившейся до сознания, так ничтожно, что нелепо изымать человека из-под действия общего закона и предполагать в нем *незаконную* субъективную самопроизвольность.

Однако это нисколько не мешает человеку воспитывать в себе способность, состоящую из разума, страсти и воспоминания, «*взвешивающую*» условия и определяющую выбор действия, и все это не благодаря милости божьей, не благодаря воображаемой самопроизвольности, а благодаря своим органам, своим способностям, врожденным и приобретенным, образованным и скомбинированным на тысячи ладов общественной жизнью. *Действие,* таким образом понимаемое, несомненно является функцией организма и его развития, но оно не является обязательным и непроизвольным подобно дыханию или пищеварению.

Физиология разлагает сознание свободы на его составные элементы, упрощает его для того, чтобы объяснить посредством особенностей отдельного организма, и теряет его бесследно.

Социология же, напротив, принимает сознание свободы как совершенно готовый результат разума, как свое основание и свою отправную точку, как свою посылку, неотчуждаемую и необходимую. Для нее человек — это нравственное существо, то есть существо общественное и обладающее свободой располагать своими действиями в границах своего сознания и своего разума.

Задача физиологии — исследовать жизнь, от клетки и до мозговой деятельности; кончается она там, где начинается сознание, она останавливается на пороге истории. Общественный человек ускользает от физиологии; социология же, напротив, овладевает им, как только он выходит из состояния животной жизни.

Итак, физиология остается по отношению к междуличным явлениям в положении органической химии по отношению к самой физиологии. Без сомнения, обобщая, упрощая, сводя факты к их наипростейшему выражению,

мы доходим до *движения,* и мы, быть может, находимся на верном пути; однако мы теряем мир отдельных явлений, многоразличный, своеобразный, детализированный,— тот мир, в котором мы живем и который единственно реален [1].

Все явления исторического мира, все проявления агломерированных, сложных, обладающих традицией, высокоразвитых организмов имеют в своей основе физиологию, но переступают за ее пределы.

Возьмем к примеру эстетику. Прекрасное, конечно, не ускользает от законов природы; невозможно ни создать его без материи, ни ощущать его без органов чувств; но ни физиология, ни акустика не могут создать теорию художественного творчества, искусства.

Память, передающаяся от поколения к поколению, традиционная цивилизация — все, что явилось следствием человеческого общежития и исторического развития, произвели нравственную среду, обладающую своими началами, своими оценками, своими законами, весьма реальными, хотя и мало поддающимися физиологическим опытам.

Так, например, *я* для физиологии — лишь колеблющаяся форма отнесенных к центру действий организма, зыблющаяся точка пересечения, которая ставится по привычке и сохраняется по памяти. В социологии *я* — совсем иное; оно — первый элемент, *клетка общественной ткани,* условие sine qua non [2].

Сознание вовсе не является необходимостью для физиологического *я*; существует органическая жизнь без сознания или же с сознанием смутным, сведенным к чувствам боли, голода и сокращения мускулов. Поэтому для физиологии жизнь не останавливается вместе с сознанием, а продолжается в разных системах; организм не гаснет разом, как лампа, а постепенно и последовательно, как свечи в канделябре.

Общественное *я,* наоборот, предполагает сознание, а сознательное *я* не может ни двигаться, ни действовать, *не считая себя свободным,* то есть обладающим в известных границах способностью делать что-либо или не делать. Без этой веры личность растворяется и гибнет.

Как только человек выходит путем исторической жизни из животного сна, он стремится все больше и больше вступить во владение самим собою. Социальная идея, нравственная идея существуют лишь при условии личной автономии. Поэтому всякое историческое движение является не чем иным, как постоянным освобождением от одного рабства после другого, от одного авторитета после другого, пока оно не придет к самому полному соответ-

ствию разума и деятельности,— соответствию, при котором человек *чувствует себя свободным.*

Если индивидуум однажды вступил, подобно ноте, в социальный концерт, то у него не спрашивают о происхождении его сознания, а принимают его сознательную индивидуальность как индивидуальность свободную; и он первый поступает подобным же образом.

Каждый звук производится колебаниями воздуха и рефлексами слуха, но он приобретает для нас иную ценность (или существование, если хочешь) в единстве музыкальной фразы. Струна обрывается, звук исчезает,— но пока она не оборвалась, звук не принадлежит исключительно миру вибраций, но также и миру *гармонии,* в недрах которого он является *эстетической реальностью,* входя в состав симфонии, предоставляющей ему возможность вибрировать, доминирующей над ним, поглощающей его и продолжающейся дальше.

Социальная личность — это обладающий сознанием звук, который раздается не только для других, но и для себя самого. Продукт физиологической необходимости и необходимости исторической, личность старается утвердиться в течение своей жизни между двумя небытиями: небытием до рождения и небытием после смерти. Полностью развиваясь по законам самой роковой необходимости, она постоянно ведет себя так, словно она свободна; это необходимое условие для ее деятельности, это психологический факт, это факт социальный.

Надобно хорошо отдавать себе отчет в столь общих явлениях; они требуют большего, чем отрицание, чем непризнание; они требуют строгого исследования и объяснения.

Не было религии, не было периода в развитии философии, которые не пытались бы разрешить эту антиномию и не приходили бы к выводу, что она неразрешима.

Человек во все времена ищет своей автономии, своей свободы и, увлекаемый необходимостью, *хочет делать лишь то, что ему хочется;* он не хочет быть ни пассивным могильщиком прошлого, ни бессознательным акушером будущего, и он рассматривает историю как свое свободное и необходимое дело. Он верит в свою свободу, как верит во внешний мир — такой, каким он его видит, потому что он доверяет своим глазам и потому что без этой веры он не мог бы сделать и шагу. Нравственная свобода, следовательно, является реальностью психологической или, если угодно, антропологической.

«А объективная истина?» — скажешь ты.

Ты знаешь, что вещь в себе, «an sich» немцев — это magnum ignotum [3], как абсолют и конечные причины; в чем же состоит объективность времени, реальность пространства? Я не знаю этого, но знаю, что эти координаты мне необходимы и что без них я погружаюсь во мрак безграничного и бессвязного хаоса.

Человек обожествил свободу воли, как он обожествил душу; в детстве своего духа он обожествлял все отвлеченное. Физиология сбрасывает идола с его пьедестала и полностью отрицает свободу. Но следует еще проанализировать понятие о свободе как феноменологическую необходимость человеческого ума, как психологическую реальность.

Если бы я не боялся старого философского языка, я повторил бы, что *история является не чем иным, как развитием свободы в необходимости.*

Человеку *необходимо сознавать себя свободным.*

Как же выйти из этого круга?

Дело не в том, чтоб из него выйти, дело в том, чтоб его понять.

К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Одни мотивы, как бы они ни были достаточны, не могут быть действительны без достаточных средств.

Иеремия Бентам
(Письмо к Алекс[андру] [1])

Нас занимает *один и тот же* вопрос. Впрочем, один *серьезный вопрос* и существует на историческом череду. Все остальное — или его растущие силы... или болезни, сопровождающие его развитие, т. е. страдания, которыми новый и более совершенный организм вырабатывается из отживших и тесных форм, прилаживая их к высшим потребностям. Конечное разрешение у нас обоих *одно*. Дело между нами вовсе не в разных началах и теориях, а в разных методах и практиках, в оценке сил, средств, времени, в оценке исторического материала. Тяжелые испытания с 1848 разно отозвались на нас. Ты больше остался, как был, тебя жизнь сильно помучила — меня только помяла, но ты был вдали — я стоял возле. Но если я изменился — то вспомни, что *изменилось все*.

Экономически-социальный вопрос становится теперь иначе, чем он был двадцать лет тому назад. Он пережил свой религиозный и идеальный, юношеский возраст — так же, как возраст натянутых опытов и экспериментаций в малом виде, самый период жалоб, протеста, исключительной критики и обличенья приближается к концу. В этом великое знамение его совершеннолетия. Оно достигается наглазно, *но не достигнуто* — не от одних внешних препятствий, не от одного отпора, но и от внутренних причин. Меньшинство, идущее вперед, не доработалось до ясных истин, до практических путей, до полных формул будущего экономического быта. Большинство — наиболее страдающее — стремится одною частью (городских работников) выйти из него, но удержано старым, традиционным миросозерцанием другой и самой многочисленной части. Знание и пониманье не возьмешь никаким coup d'État и никаким coup de tête [2].

Медленность, сбивчивость исторического хода нас бесит и душит, она нам невыносима, и многие из нас, изменяя

собственному разуму, торопятся и торопят других. Хорошо ли это или нет? В этом весь вопрос.

Следует ли толчками возмущать с целью ускорения внутреннюю работу, которая очевидна? [3] Сомнения нет, что акушер должен ускорять, облегчать, устранять препятствия, но в *известных* пределах — их трудно устано[в]ить и страшно переступать. На это, сверх логического самоотвержения, надобен [т]акт и вдохновенная импровизация. Сверх того, не везде одинаковая работа — и одни пределы.

Петр I, Конвент научили нас шагать семимильными сапогами, шагать из первого месяца беременности в девятый и ломать без разбора все, что попадется на дороге. Die zerstörende Lust ist eine schaffende Lust [4] — и вперед за неизвестным богом-истребителем, спотыкаясь на разбитые сокровища — вместе с всяким мусором и хламом.

...Мы видели грозный пример кровавого восстания, в минуту отчаяния и гнева сошедшего на площадь и спохватившегося на баррикадах, что у него нет знамени [5]. Сплоченный в одну дружину, мир консервативный побил его — и следствие этого было то ретроградное движение, которого следовало ожидать,— но что было бы, если б победа стала на сторону баррикад? — в двадцать лет грозные бойцы высказали все, что у них было за душой?.. Ни одной построяющей, органической мысли мы не находим в их завете, а экономические промахи, не косвенно, как политические, а прямо и глубже ведут к разорению, к застою, к голодной смерти [6].

Наше время — именно время окончательного изучения того изучения, которое должно предшествовать работе осуществления так, как теория паров предшествовала железным дорогам. Прежде дело хотели взять грудью, усердием, отвагой и шли зря, на авось — мы на авось не пойдем.

Ясно видим мы, что дальше дела не могут идти так, как шли, что конец исключительному царству капитала и безусловному праву собственности так же пришел, как некогда пришел конец [ца]рству феодальному и аристократическому. Как перед 1789 обмиранье мира средневекового началось с сознания несправедливого соподчинения среднего сословия, так и теперь переворот экономический начался сознанием общественной неправды относительно работников. Как тогда упрямство и вырождение дворянства помогло собственной гибели, так и теперь упрямая и выродившаяся буржуазия тянет сама себя в могилу.

Но общее постановление задачи не дает ни путей, ни средств, ни даже достаточной среды. Насильем их не завоюешь. Подорванный порохом, весь мир буржуазный, когда

уляжется дым и расчистятся развалины, снова начнет с разными изменениями *какой-нибудь буржуазный* мир. Потому что он *внутри не кончен и потому еще, что ни мир построяющий, ни новая организация* не настолько готовы, чтоб пополниться, осуществляясь. Ни одна основа из тех, на которых покоится современный порядок, из тех, которые должны рухнуть и пересоздаться, не настолько почата и расшатана, чтоб ее достаточно было вырвать силой, чтоб исключить из жизни. Государство, церковь, войско отрицаются точно так же логически, как богословие, метафизика и пр. В известной научной сфере они осуждены, но вне ее академических стен они владеют всеми нравственными силами.

Пусть каждый добросовестный человек сам себя спросит, готов ли он. Так ли ясна для него новая организация, к которой мы идем, как общие идеалы — коллективной собственности, солидарности,— и знает ли он процесс (кроме простого ломанья), которым должно совершиться превращение в нее старых форм? И пусть, если он лично доволен собой, пусть скажет, готова ли та среда, которая по положению должна первая ринуться в дело.

Знание неотразимо — но оно не имеет принудительных средств — излеченье от предрассудков медленно, имеет свои фазы и кризисы. Насильем и террором распространяются религии и политики, учреждаются самодержавные империи и нераздельные республики, насильем можно разрушать и расчищать место — не больше. Петроградизмом социальный переворот дальше каторжного равенства Гракха Бабёфа и коммунистической барщины Кабе не пойдет [7] Новые формы должны все обнять и вместить в себе все элементы современной деятельности и всех человеческих стремлений. Из нашего мира не сделаешь ни Спарту, ни бенедиктинский монастырь. Не душить одни стихии в пользу других следует грядущему перевороту, а уметь все согласовать — к общему благу (как мечтали о страстях фурьеристы) [8]

Экономический переворот имеет необъятное преимущество перед всеми религиозными и политическими революциями — в трезвости своей основы [9]. Таковы должны быть и пути его — таково обращение с данным. По мере того как он вырастает из состояния неопределенного страданья и недовольства, он невольно становится на *реальную почву*. Тогда как все другие перевороты постоянно оставались одной ногой в фантазиях, мистицизмах, верованиях и неоправданных предрассудках патриотических, юридических и пр.

Экономические вопросы подлежат математическим законам. Конечно, математический, как и всякий научный, закон носит доказательства в самом себе и не нуждается ни в эмпирическом оправдании, ни в большинстве голосов. Но для *приложения* эмпирическая сторона и все внешние условия осуществления выступают на первый план. «Мотивы могут быть истинны, но без достаточных средств они не осуществятся». Все это принято во всех делах человеческих и обходится слишком сангвиническими людьми в деле такого значения, как общественное пересоздание. Какой механик не знает, что его выкладка, формула не перейдет в действительность, пока в ряду явлений, захватываемых ими, будут элементы, неподчиняющиеся, посторонние или подлежащие другим законам. Большею частью в физическом мире эти возмущающие элементы несложны и легко вводятся в нее, как вес линии маятника, упругость среды, в которой делаются его размахи, и пр. В мире исторического развития это не так просто. Процессы общественного роста, их отклонения и уклонения, их последние результаты до того переплелись, до того неразымчато взошли в [гл]убочайшую глубь народного сознания, что приступ [к] ним вовсе не легок, что с ними надобно очень считаться,— и одним реестром отрицаемого, отданным, как в «приказе по социальной армии», ничего, кроме путаницы, не сделаешь.

Против ложных догматов, против верований, как бы они ни были безумны, одним отрицаньем, как бы оно ни было умно, бороться нельзя,— сказать «не верь!» так же авторитетно и, в сущности, нелепо, как сказать «верь!». Старый порядок вещей крепче *признанием его,* чем материальной силой, его поддерживающей. Это всего яснее там, где у него нет ни карательной, ни принудительной силы, где он твердо покоится на *невольной* совести, на неразвитости ума и на незрелости новых воззрений *, как в Швейцарии и Англии.

Народное сознание так, как оно выработалось, представляет естественное, само собой сложившееся, безответственное, *сырое* произведение разных усилий, попыток, событий, удач и неудач людского сожития, разных инстинктов и столкновений — его надобно принимать за есте-

---

* Что говорить о папских силлабусах и индексах, о полицейских наказаниях за такие-то и такие-то мнения, о сенатских решениях философских вопросов, когда неясность, сбивчивость самых элементарных понятий поражают в мире *свободного мышления,* в высших сферах оппозиций и революции... Вспомни старый спор Маццини против Прудона [10] и новое препирательство о вмененни, о воле, об идеализме, о позитивизме — Жирардена, Луй Блана, Жюль Симона.

ственный факт и бороться с ним, как мы боремся со всем бессознательным — изучая его, овладевая им и направляя его же средства — сообразно нашей цели.

В социальных нелепостях современного быта никто не виноват и никто не может быть казнен — с большей справедливостью, чем море, которое сек персидский царь [11], или вечевой колокол, наказанный Иоанном Грозным. Вообще винить, наказывать, отдавать на копья — все это становится ниже нашего пониманья. Надобно проще смотреть, физиологичнее и окончательно пожертвовать уголовной точкой зрения, а она, по несчастью, прорывается и мешает понятия, вводя личные страсти в общее дело и превратную перестановку невольных событий в преднамеренный заговор. Собственность, семья, церковь, государство были огромными воспитательными формами человеческого освобождения и развития — мы выходим из них по миновании надобности.

Обрушивать ответственность за былое и современное на последних представителей «прежней правды», делающейся «настоящей неправдой», так же нелепо, как было нелепо и несправедливо казнить французских маркизов за то, что они не якобинцы, и еще хуже — потому что мы за себя не имеем якобинского оправдания — наивной веры в свою правоту и в свое право. Мы изменяем основным началам нашего воззрения, осуждая целые сословия и в то же время отвергая уголовную ответственность отдельного лица. Это мимоходом — для того, чтоб не возвращаться.

Прежние перевороты делались в сумерках, сбивались с пути, шли назад, спотыкались... и, в силу внутренней неясности, требовали бездну всякой всячины, разных вер и геройств, множество выспренних добродетелей, патриотизмов, пиетизмов. Социальному перевороту ничего не нужно, кроме *пониманья и силы,* знанья — и средств.

Но пониманье страшно обязывает. Оно имеет свои неотступные угрызения разума и неумолимые упреки логики.

Пока социальная мысль была неопределенна, ее проповедники — сами верующие или фанатики — обращались к страстям и фантазии столько, сколько к уму. Они грозили собственников карой и разорением, позорили, стыдили их богатством, склоняли их на добровольную бедность страшной картиной ее страданий. (Странное captatio benevolentiae [12] — согласись.) Из этих средств социализм вырос. Не то надобно доказать собственникам и капитал[иста]м, что их обладание грешно, безнравственно, беззаконно (понятия, взятые из совсем иного миросозерцания, чем наше),

а то, что [современная монополь их — вредная и обличенная] *нелепость*, [нуждающаяся в огромных] контрфорсах, чтоб не рухнуть, что эта нелепость пришла к сознанию неимущих, в силу чего оно становится *невозможным*. Им надобно показать, что борьба против неотвратимого — бессмысленное истощение сил и что, чем она упорнее и длиннее, тем к большим потерям и гибелям она приведет. Твердыню собственности и капитала надобно потрясти расчетом, двойной бухгалтерией, ясным балансом дебета и кредита. Самый отчаянный скряга не предпочтет утонуть со всем товаром, если может спасти часть его и самого себя, бросая другую за борт. Для этого необходимо только, чтоб опасность была *так же* очевидна для него, как *возможность спасения*.

Новый водворяющийся порядок должен являться не только мечом рубящим, но и силой хранительной [13]. Нанося удар старому миру, он не только должен спасти все, что в нем достойно спасения, но оставить на свою судьбу все немешающее, разнообразное, своеобычное. Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании.

Но этого и не будет. Человечество во все времена, самые худшие, показывало, что у него в potentialiter [14] — больше потребностей и больше сил, чем надобно на одно завоевание жизни,— развитие не может их заглушить. Есть для людей драгоценности, которыми оно не поступится и которые у него из рук может вырвать одно деспотическое насилие, и то на минуту горячки и катаклизма.

И кто же скажет без вопиющей несправедливости, чтоб и в былом и отходящем не было много прекрасного и что оно должно погибнуть вместе с старым кораблем.

Ницца, 15 января 1869

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Международные работничьи съезды становятся ассизами [15], перед которыми вызывается один социальный вопрос за другим, они получают больше и больше организующий склад, их члены — эксперты и следопроизводители. Они самую стачку и остановку работ допускают как тяжелую необходимость, как pis aller [16], как средство сосчитать свою силу как боевую организацию. Серьезный характер их

поразил врагов. Сильное *их покоя* испугало фабрикантов и заводчиков. Было бы огромное несчастие, если б они преждевременно вышли из этого строя.

Работники, соединяясь между собой, выделяясь в особое «государство в государстве», достигающее своего устройства и своих прав помимо капиталистов и собственников, помимо политических границ и границ церковных, составляют первую сеть и первый всход будущего экономического устройства. Международный союз может вырасти в Авентинскую гору à l'intérieur [17] — отступая на нее, мир рабочий, сплоченный между собой, покинет мир, пользующийся без работы, на свою доходную непроизводительность... и он, [о]тлученный, nolens-volens [18], пойдет на сделки. А не пойдет — тем хуже для него, он сам себя поставит *вне закона* — и тогда гибель его отсрочится только настолько, насколько у нового мира нет сил. А пока их нет — надобно в тиши собирать полки и не грозить. Угроза при бессилии вредна. Подавленный взрыв двинет назад. Досуг нужен для двойной работы — серьезного изученья и вербованья пониманьем,— а настороженный враг, имеющий силу в руках, схватится за оружие для своей обороны, прежде чем противный стан успеет построиться. Уничтожать и топтать всходы легче, чем торопить их рост. Тот, кто не хочет ждать и работать, тот идет по старой колее пророков и прорицателей, иересиархов, фанатиков и цеховых революционеров... А всякое дело, совершающееся при пособии элементов безумных, мистических, фантастических, в последних выводах своих непременно будет иметь и безумные результаты рядом с дельными. Сверх того, пути эти все больше и больше зарастают для нас травой, пониманье и обсуживание — наше единственное оружие. Теократические и политические догматы не требуют пониманья, они даже тверже и крепче покоятся на вере, без духа критики и анализа. «Папу надобно считать непогрешимым и уважать, царя слушаться, отечество защищать, писания и предписания исполнять...» Все прошлое, из которого мы хотим выйти, так и шло. Менялись формы, образы, обряды — сущность оставалась та же. Человек, склонявший голову перед капуцином, идущим с крестом, делал то же, что человек, склоняющий голову перед решением суда, как бы оно нелепо ни было. Из этого-то мира нравственной неволи и подавторитетности, повторяю, мы и бьемся выйти в ширь пониманья, в мир *свободы в разуме*.

Всякая попытка обойти, перескочить сразу — от нетерпенья, увлечь авторитетом или страстью — приведет к страшнейшим столкновениям и, что хуже, к почти неми-

нуемым поражениям. Обойти процесс пониманья так же невозможно, как обойти вопрос о силе. Навязываемое предрешение всего, что *составляет вопрос,* поступает очень бесцеремонно с *освобожденным веществом.* Взять вдруг человека, умственно дремавшего, и огорошить его в первую минуту, спросонья, рядом мыслей, сбивающих все его нравственные понятия и к которым ему не поставлено лестницы,— вряд ли много послужит развитию! — а скорее смутит, собьет с толку оглашенного или, обратным действием, оттолкнет его в свирепый консерватизм.

Я нисколько не боюсь слова «постепенность», опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей. Постепенность так, как непрерывность, неотъемлема всякому процессу разуменья. Математика передается постепенно, отчего же конечные выводы мысли и социологии могут прививаться, как оспа, или вливаться в мозг так, как вливают лошадям сразу лекарства в рот?

Между конечными выводами и современным состоянием есть практические облегчения, компромиссы, диагонали, пути. Понять, которые из них короче, удобнее, возможнее,— дело практического такта, дело революционной стратегии. Идя без оглядки вперед, можно затесаться, как Наполеон в Москву,— и погибнуть, отступая от нее... не доходя даже до Березины.

Международное соединение работников, всевозможные соединения их, их органы и представители должны всеми силами достигать того невмешательства власти в *работу*, которое она не делает в *управлении собственностью,* должны становиться вольным парламентом четвертого состояния и вырабатывать, вырабатывать свою внутреннюю организацию, будущую канву, без всяких вперед идущих теодицей и космологий.

Формы, сдерживающие людей в полунасильственных и в полудобровольных ковах, á la longue [19] не вынесут напора логики и развития общественного пониманья. Одни из них до того внутри сгнили, что им стоит дать толчок ногой; другие, как рак, держатся корнями в дурной крови. Ломая одинаким образом те и другие, можно убить организм и, наверное, заставить огромное большинство отпрянуть. Всего яростнее восстанут за «рака»... наиболее страждущие от него... Это очень глупо, но пора с глупостью считаться как с громадной силой.

Во всей Европе подымется за старые порядки сплошь все крестьянское население. А разве мы не знаем, что такое сельское население? Какова его упорная сила и упорная

косность? Отобрав из рук революции земли эмигрантов, оно-то и подсидело республику и революцию. Конечно, оно отпрянет и накинется по неразумью и невежеству... но в этом-то вся важность.

На неразумье и невежестве зиждется вся прочность существующего порядка, на них покоятся старые, устарелые воспитательные формы, в которых люди вырастали из несовершеннолетия и которые жмут теперь меньшинство — но которых вредную ненужность большинство не понимает. Мы знаем, что значит ошибиться в возрасте и в степени пониманья. Всеобщая подача голосов, навязанная неприготовленному народу, послужила для него бритвой, которой он чуть не зарезался.

Но если понятия государства, суда сильны и крепки, то еще крепче укоренены понятия о семье, о собственности, о наследстве... Отрицание собственности — само по себе бессмыслица. «Собственность не погибнет»,— скажу, парафразируя известную фразу Люд[овика]-Филиппа, видоизменение ее, вроде перехода из *личной* в *коллективную*, неясно и неопределенно [20]. Крестьянину на Западе так же необходимо привилась его любовь к *своей* земле, как в России легко понимается крестьянством общинное владение. Нелепого тут ничего нет. Собственность, и особенно поземельная, для западного человека представлялась освобождением, его самобытностью, его достоинством и величайшим гражданским значением. Может быть, он убедится в невыгоде беспрерывно крошащихся и дробимых участков и в выгоде сводного хозяйства, общинных запашек полей... но как же его «без пристрастия» уломать, чтоб он спервоначала отказался от веками взлелеянной мечты, которой он жил и тешился и которая действительно поставила его на ноги — прикрепила *к нему* землю — к которой *он* был прежде крепок?

Вопрос, прямо идущий за тем,— вопрос о наследстве — еще труднее [21]. Кроме холостых фанатиков вроде монахов, раскольников, икариан и пр., никакая масса не согласится на безусловное отречение от права завещать какую-нибудь часть своего достояния своим наследникам. Я не знаю довода, по которому было бы можно противудействовать против этой формы любви избирательной или кровной, против передачи вместе с жизнию, с чертами, даже с болезнями — вещей, служивших мне орудием. Разве во имя обязательного *братства* и *любви ко всем*. В худшем человеческом положении у дворовых крепостных людей были кой-какие тряпки, которые они оставляли своим и которые почти никогда не отбирались помещиками. Отними у само-

го бедного мужика право завещать — и он возьмет кол в руки и пойдет защищать «своих, свою семью и свою волю», т. е. непременно станет за попа, квартального и чиновника, т. е. за трех своих злейших опекунов, обирающих его, предупреждающих, чтоб он ничего не оставил своим... но не оскорбляющих его человеческое чувство к семье, как он его понимает.

Что же тогда?.. Или свернуть свое знамя и отступить, потому что сила, очевидно, будет с их стороны, или ринуться в бой и в случае местной, временной победы начать водворение нового порядка — нового освобождения... избиением!

Аракчееву было сполгоря вводить свои военно-экономические утопии, имея за себя секущее войско, секущую полицию, императора, Сенат и Синод, да и то ничего не сделал. А за упразднением государства — откуда брать «экзекуцию», палачей и пуще всего фискалов — в них будет огромная потребность? Не начать ли новую жизнь с сохранения социального корпуса жандармов?

Неужели цивилизация кнутом, освобождение гильотиной составляют вечную необходимость всякого шага вперед?..

...Дальше я не пойду теперь. А скажу в заключение вот что. Стоя возле трупов, возле ядрами разрушенных домов, слушая в лихорадке, как расстреливали пленных, я всем сердцем и всем помышлением звал дикие силы на месть и разрушение старой, преступной веси,— звал, даже не очень думая, чем она заменится [22].

С тех пор прошло двадцать лет.

Месть пришла с другой стороны, месть пришла сверху... Народы все вынесли, потому что ничего не понимали ни тогда, ни после; середина вся растоптана и втоптана в грязь... Длинное, тяжелое время дало досуг страстям успокоиться и мыслям отстояться, дало досуг на обдумание и наблюдение.

Ни ты, ни я, мы не изменили наших убеждений, но разно стали к вопросу. Ты рвешься вперед по-прежнему с страстью разрушенья, которую принимаешь за творческую страсть... ломая препятствия и уважая историю только в будущем. Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять *шаг людской* в былом и настоящем, для того чтоб знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной — не могут идти.

И еще слово. Высказывать это в том кругу, в котором мы живем, требует если не больше, то, конечно, не меньше

мужества и самостоятельности, как брать во всех вопросах самую крайнюю крайность. Я думаю, ты со мной согласишься в этом.

25 января 1869. Nizza

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО

Нет, любезные друзья, мозг мой отказывается понимать многое из того, что вам кажется ясным... из того, что вы допускаете — и против чего я имею тысячи возражений.

Мозг стареет, может быть,— и я беру в свою защиту то, что один из наших друзей писал обо мне или против меня.

«Человеку очень мудрено втолковать что-нибудь, о чем этот человек думает иначе. Тут действительно физиологический процесс, о котором столько говорят общими местами — и которого никто не хочет принять в расчет, как скоро дело доходит до дела. Мозг ничего не вырабатывает произвольно, а всегда вырабатывает результат соотношения принятых им впечатлений. Следственно, если впечатления у одного разнятся от впечатлений у другого на какой-нибудь дифференциал, то дальнейшее развитие соотношения впечатлений и результата, из них выводимого, т. е. постановка и дальнейшее развитие уравнения (которое есть единственная форма мозговых действий), может разойтись у одного от другого на расстояние, не возможное к совпадению.

В этом вся мудрость доказательства, доходящая почти до тщетных усилий».

Эти строки, собственно писанные против меня, совершенно справедливы, печально справедливы *.

Мои возражения, так, как и вообще возражения, нетерпеливым людям начинают надоедать. «Время слова,— говорят они,— прошло, время дела наступило». Как будто

---

* Отрывок этот, приведенный из ответа Огарева на мое письмо к Бакунину, оканчивается так:

«Каждый отдельный мозг, вследствие наращения в себе своих впечатлений, встречает от них уклоняющиеся новые впечатления — или вовсе мимоходно, или не с достодолжной емкостью, или совсем отрицательно (т. е. враждебно). Отсюда каждый человек убежден или предубежден, что он прав, что́ положительно не может быть доказано даже в таких абстрактных специальностях, как математические построения (теория Тихо де Браге так же была построена на математических построениях, как и теория Галилея), и потому действительное признание истины требует новых мозгов, не увлеченных предыдущими впечатлениями. На этом даже зиждется знаменитое историческое развитие, или прогресс» [23].

слово не есть *дело?* [24] Как будто время *слова* может пройти? Враги наши никогда не отделяли *слова* и *дела* и казнили за *слова* не только одинаким образом, но часто свирепее, чем за дело. Да и действительно, какое-нибудь «Allez dire à votre maître» [25] Мирабо не уступят по влиянию никакому coup de main [26].

Расчленение *слова с делом* и их натянутое противуположение не вынесет критики, но имеет печальный смысл как признание, что все уяснено и понято, что толковать не о чем, а нужно исполнять. Боевой порядок не терпит рассуждений и колебаний. Но кто же, кроме наших врагов, готов на бой и силен *на дело*? Наша сила — в силе мысли, в силе правды, в силе слова, в исторической *попутности*... Международные сходы только сильны проповедью, материально дальше отрицательной силы гревы [27] они не могут идти.

— Стало быть, остается по-прежнему сидеть сложа руки весь век, довольствуясь прекрасными речами.

— Не знаю, весь ли век или часть его, но наверное до тех пор не сходить в рукопашную, пока нет ни единства убеждений, ни сосредоточенных сил... Быть правым в бою немного значит, правота давала победу только в суде божием — у нас на небесное вмешательство надежды мало.

Чем кончилось польское восстание — правое в требовании, мужественное в исполнении, но невозможное по несоразмерности сил?..

Каково теперь на совести тем, которые подталкивали поляков? [28]

На это говорят наши противники с каким-то философским фатализмом:

«Избрание путей истории не в личной власти; не события зависят от лиц — а лица от событий. Мы только мнимо заправляем движением, но, в сущности, плывем куда волна несет, не зная, до чего доплывем».

Пути вовсе не неизменимы. Напротив, они-то и изменяются с обстоятельствами, с пониманьем, с личной энергией. Личность создается средой и событиями, но и события осуществляются личностями и носят на себе их печать — тут взаимодействие. Быть страдательным орудием каких-то не зависимых от нас сил — как дева, бог весть с чего зачавшая,— нам не по росту. Чтоб стать слепым орудием судеб, бичом, палачом божиим — надобно наивную веру, простоту неведения, дикий фанатизм и своего рода непочатое младенчество мысли. Честно мы не можем брать на себя ни роль Аттилы, ни даже роль Антона Петрова. Принимая их, мы должны будем обманывать других или самих себя.

За эту ложь нам придется отвечать перед своей совестью и перед судом близких нам по духу.

То, что мыслящие люди прощали Аттиле, Комитету общественного спасения и даже Петру I, не простят нам. Мы не слыхали голоса, призывающего нас свыше к исполнению судеб, и не слышим подземного голоса снизу, который указывал бы путь. Для нас существует один голос и одна власть — *власть разума и пониманья.*

Отвергая их, мы становимся расстригами науки и ренегатами цивилизации.

Самые массы, на которых лежит вся тяжесть быта, с своей македонской фалангой работников, ищут слова и пониманья — и с недоверием смотрят на людей, проповедующих аристократию науки и призывающих к оружию.

И заметьте, проповедники не из народа, а из школы, из книги, из литературы. Старые студенты, жившие в отвлеченьях, они ушли от народа дальше, чем его заклятые враги. Поп и аристократ, полицейский и купец, хозяин и солдат имеют больше прямых связей с массами, чем они. Оттого-то они и полагают возможным начать экономический переворот с tabula rasa, с выжиганья дотла всего исторического поля, не догадываясь, что поле это с своими колосьями и плевелами составляет всю непосредственную почву народа, всю его нравственную жизнь, всю его привычку и все его утешенье.

С консерватизмом народа труднее бороться, чем с консерватизмом трона и амвона. Правительство и церковь сами початы духом отрицания, борьба мысли недаром шла под их ударами — она заразила разящую руку; самозащищение правительства — корыстно и гонения церкви — лицемерны.

Народ — консерватор по инстинкту, и потому, что он не знает ничего другого, у него нет идеалов вне существующих условий; его идеал — буржуазное довольство так, как идеал Атта Тролля у Гейне был абсолютный белый медведь [29]. Он держится за удручающий его быт, за тесные рамы, в которые он вколочен — он верит в их прочность и обеспеченье. Не понимая, что эту прочность он-то им и дает. Чем народ дальше от движения истории, тем он упорнее держится за усвоенное, за знакомое. Он даже новое понимает только в старых одеждах. Пророки, провозглашавшие социальный переворот анабаптизма, облачились в архиерейские ризы. Пугачев для низложения немецкого дела Петра сам назвался Петром, да еще самым немецким, и окружил себя андреевскими кавалерами из казаков и разными псевдо-Воронцовыми и Чернышевыми.

Государственные формы, церковь и суд выполняют овраг между непониманием масс и односторонней цивилизацией вершин. Их сила и размер — в прямом отношении с неразвитием их. Взять неразвитие силой невозможно. Ни республика Робеспьера, ни республика Анахарсиса Клоца, оставленные на себя, не удержались, а вандейство надобно было годы вырубать из жизни. Террор так же мало уничтожает предрассудки, как завоевания — народности. Страх вообще вгоняет внутрь, бьет формы, приостанавливает их отправление и не касается содержания. Иудеев гнали века — одни гибли, другие прятались... и после грозы являлись и богаче, и сильнее, и тверже в своей вере.

Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены *внутри*. Как ни странно, но опыт показывает, что народам легче выносить насильственное бремя рабства, чем дар излишней свободы.

В сущности, все формы исторические — volens-nolens — ведут от одного освобождения к другому. Гегель в самом рабстве находит (и очень верно) шаг к свободе [30]. То же — явным образом — должно сказать о государстве: и оно, как рабство, идет к самоуничтожению... и его нельзя сбросить с себя, как грязное рубище, до известного возраста.

Государство — форма, через которую проходит всякое человеческое сожитие, принимающее значительные размеры. Оно постоянно изменяется с обстоятельствами и приладживается к потребностям. Государство везде начинается с полного порабощения лица — и везде стремится, перейдя известное развитие, к полному освобождению его. Сословность — огромный шаг вперед как расчленение и выход из животного однообразия, как раздел труда. Уничтожение сословности — шаг еще больший. Каждый восходящий или воплощающийся принцип в исторической жизни представляет высшую правду своего времени — и тогда он поглощает лучших людей; за него льется кровь и ведутся войны — потом он делается ложью и, наконец, воспоминанием... Государство не имеет собственного определенного содержания — оно служит одинаково реакции и революции — тому, с чьей стороны сила; это — сочетание колес около общей оси, их удобно направлять туда или сюда — потому что единство движения дано, потому что оно примкнуто к одному центру. Комитет общественного спасения представлял сильнейшую государственную власть, направленную на разрушение монархии. Министр юстиции Дантон был министр революции.

Инициатива освобождения крестьян принадлежит са-

модержавному царю. Этой государственной силой хотел воспользоваться Лассаль для введения социального устройства. Для чего же — думалось ему — ломать мельницу, когда ее жернова могут молоть и нашу муку?

На том же самом основании и я не вижу разумной применимости — в отречении.

Между мнением Лассаля и проповедью о неминуемом распущении государства в федерально-коммунную жизнь лежит вся разница обыкновенного рождения и выкидывания. Из того, что женщина беременна, никак не следует, что ей завтра следует родить. Из того, что государство — форма *преходящая*, не следует, что это форма уже *прешедшая*... С какого народа, в самом деле, может быть снята государственная опека, как лишняя перевязка, без раскрытия таких артерий и внутренностей, которые *теперь* наделают страшных бедствий, а *потом* спадут сами?

Да и будто какой-нибудь народ может безнаказанно начать такой опыт, окруженный другими народами, страстно держащимися за государство, как Франция и Пруссия и пр. Можно ли говорить о скорой неминуемости безгосударственного устройства, когда уничтожение постоянных войск и разоружение составляют дальние идеалы? И что значит *отрицать* государство, когда главное условие выхода из него — *совершеннолетие* большинства. Посмотрели бы вы, что делается теперь в просыпающемся Париже. Как тесны грани, в которые бьется движенье, и как они никем не построены, а сами выросли как из земли.

Post scriptum.

Маленькие города, тесные круги страшно портят глазомер. Ежедневно повторяя *с своими одно и то же*, естественно, дойдешь до убеждения, что везде говорят одно и то же. Долгое время убеждая в своей силе других... можно убедиться в ней самому — и остаться при этом убеждении... до первого поражения.

Bruxelles — Paris. Август 1869

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Иконоборцы наши не останавливаются на обыденном отрицании государства и разрушении церкви, их усердие идет до гонения науки. Тут ум оставляет их окончательно [31].

Робеспьеровской нелепости, что атеизм аристократичен [32], только и недоставало объявления науки аристократией.

Никто не спрашивает, насколько вообще подобные определения идут или нет к предмету,— вообще весь спор «науки для науки» и науки только как пользы — вопросы, чрезвычайно дурно поставленные.

Без науки *научной* — не было бы науки прикладной.

Наука — сила, она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия, и ей до употребления нет дела. Если наука в руках правительства и капитала — так, как в их руках войска, суд, управление. Но это не ее вина. Механика равно служит для постройки железных дорог и всяких пушек и мониторов.

Нельзя же остановить ум, основываясь на том, что большинство не понимает, а меньшинство злоупотребляет пониманьем.

Дикие призывы к тому, чтоб закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии и к самой вредной. За ним так и следует разнуздание диких страстей — le déchaînement des mauvaises passions [33]. Этими страшными словами мы шутим, нисколько не считая, вредны [ли] они для дела и для слушающих.

Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей. Христианство проповедовалось чистыми и строгими в жизни апостолами и их последователями, аскетами и постниками, людьми, заморившими все страсти — кроме одной. Таковы были гугеноты и реформаторы. Таковы были якобинцы 93 года. Бойцы за свободу в серьезных поднятиях оружия всегда были святы, как воины Кромвеля,— и оттого сильны.

Я не верю в серьезность людей, предпочитающих ломку и грубую силу развитию и сделкам. Проповедь нужна людям,— проповедь неустанная, ежеминутная,— проповедь, равно обращенная к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину. Апостолы нам нужны прежде авангардных офицеров, прежде саперов разрушенья,— апостолы, проповедующие не только своим, но и противникам.

Проповедь к врагу — великое дело любви. Они не виноваты, что живут вне современного потока, какими-то просроченными векселями прежней нравственности. Я их жалею, как больных, как поврежденных, стоящих на краю пропасти с грузом богатств, который их стянет в нее,— им надобно раскрыть глаза, а не вырвать их — чтоб и они спаслись, если хотят.

Я не только жалею людей, но жалею и вещи, и *иные вещи* больше *иных людей*.

Дико необузданный взрыв, вынужденный упорством,

ничего не пощадит; он за личные лишения отомстит самому безличному достоянию. С капиталом, собранным ростовщиками, погибнет другой капитал, идущий от поколенья в поколенье и от народа народу. Капитал, в котором оседала личность и творчество разных времен, в котором сама собой наслоилась летопись людской жизни и скристаллизовалась история... Разгулявшаяся сила истребления уничтожит вместе с межевыми знаками и те *пределы* сил человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях... с начала цивилизации.

Довольно христианство и исламизм наломали древнего мира, довольно Французская революция наказнила статуй, картин, памятников,— нам не приходится играть в иконоборцев.

Я это так живо чувствовал, стоя с тупою грустью и чуть не со стыдом... перед каким-нибудь кустодом, указывающим на пустую стену, на разбитое изваяние, на выброшенный гроб, повторяя: «Все это истреблено во время революции»...

Bruxelles. Июль 1869

[ИЗ ПЕРЕПИСКИ]

Т. Н. ГРАНОВСКОМУ

21—26 (9—14) сентября 1849 г. Женева.

[...] А вот тебе, Гранка, тема на диссертацию. Национальность или группа национальностей представляет органическое, самобытное и *ограниченное* существо; ограниченность непременно идет из самой личности, иначе это была бы Allgemeinheit [1], идея, все что угодно, но не замкнутый Naturprodukt [2]. Эту ограниченность сломить невозможно, как сделать, ex[empli] gr[atia] [3], чтобы у оленя — травоядного, не изменяя его до того, что он сделается волк, а не олень, были бы мускулы так развиты и зубы так устроены, как у льва, напр[имер]. Народы — факт,— такой факт, как Альпы, как пчелы,— им тяжко от ограниченности, тяжко *теми* людьми, которые отрешились от породы, от времени,— ну, они и тяготись себе, а рыбы все-таки от этого летать не станут. — Чем больше, Гр[ановский], ты взойдешь в физиологию истории, в naturwissenschaftliche Behandlung [4] ее, тем яснее сделается для тебя, что история только и отделяется от природы развитием сознания, а впрочем, вовсе не покорена законам филос[офии] истории, не имеет цели, каждый народ представляет результат, la composité [5] всякой всячины, условий климатологических и иных, тянется, складывается, выходит с горбом, выходит с зобом — il faut accepter le fait naturel [6]. Посмотрите, как здесь бьются теперь исключительные умы, и всё по-пустому, глухие не слышат их Бетговена, слепые не видят их Рафаилов etc., etc., etc.

Вот тебе, Петр Григорич, и Гегель! [...] [7]

М. ГЕССУ

3 марта 1850 г. Париж.

Приношу вам тысячу благодарностей за ваше прекрасное письмо, дорогой господин Гесс; не ждите теперь ответа, я хочу лишь поделиться с вами для начала некоторыми субъективными соображениями.

Вы совершенно правы, когда говорите, что римские философы были вне своей современности; апостол Павел или Юлиан Консервативный были гораздо крепче связаны с действительностью, чем Сикст Эмпирик, Лукиан и т. д.,— но разве они могли свободно выбирать, разве не историческая необходимость выгнала их из истории, разве это их вина, что они смотрели на вещи трезвее, чем христиане?

Связь, соединяющая нас с прошлым и с нашей средой, не всегда так слаба. Это симптом упадка, приближения катаклизма. Англичане, напр[имер], если исключить отдельные эксцентричные индивидуальности, такие, как Байрон, Шелли, остаются на уровне современности. Они что-то продолжают, у них есть традиции, какое-то жизненное дело, правила поведения. Мы находимся в другом положении; это ощутимое нарушение преемственности, этот Bruch [1] не есть нечто преднамеренное, сама среда толкает нас к сомнению, будит отвращение; и, после долгих усилий, страданий и разочарований, вы оказываетесь сломленным, или же ваша титаническая натура начинает восставать, проникается скепсисом и чувствует неистовое желание развенчать все на свете. Обстоятельства — 24 февраля, ex[empli] grat[ia] — могут перевернуть вас, могут увлечь, но они могут также и заставить вас остановиться в самом разгаре вашего увлечения.

Брошюра, о которой вы говорите,— даже не пропагандистское сочинение: в ней преобладает элемент, так сказать, лирический и совершенно субъективный. Если она вас заинтересовала, то потому, что она правдива; в ней за сомнением чувствуются ярость и слезы; я освободился от своих горестных ощущений, написав ее. Капп опубликовал перевод моих писем об итальянской революции 1847 г. etc. (издание Гофмана и Кампе) [2], в первых из этих писем вы найдете меня в совершенном упоении, увлечении (хотя они были написаны после первой статьи «Перед грозой»).

Но это не всё. Вы, *может* быть, забываете, что моя позиция наблюдателя определяется моей национальностью; я физиологически принадлежу к другому миру, я могу с бóльшим равнодушием констатировать наличие страшного рака, снедающего Западную Европу. Мы в России страдаем только от нашей детской неразвитости и материальной нужды, но нам принадлежит будущее. Славянский мир еще не жил во всей полноте своих сил; теперь он инстинктивно приготовил себе огромную арену действия — Россию. В этом отношении мы, русские, находимся в совсем ином положении, чем римские философы,— у тех не было ничего, кроме их мысли, мрачной и гордой (хотя,

признаюсь, я питаю слабость к этим людям; эта независимость, эта освобожденность личности, при которой ничего уже не ждут от людей, наполняет трепетом мое сердце), и они предвидели то время, когда Юстиниан закроет их школы или какой-нибудь другой император сожжет византийскую библиотеку, чтобы покончить с их наукой. Мы же, напротив, только ждем, когда пробьет час выступить. [...]

В. С. ПЕЧЕРИНУ

21 (9) апреля 1853 г. Лондон.

25, Euston Square.
21 апреля, 1853 г.

Почтеннейший соотечественник,

душевно благодарю вас за ваше письмо[1] и прошу позволение сказать несколько слов à la hâte[2] о главных пунктах.

Я совершенно согласен с вами, что литература, как осенние цветы, является во всем блеске перед смертью государств. Древний Рим не мог быть спасен щегольскими фразами Цицерона, ни его жиденькой моралью, ни волтерианизмом Лукияна, ни немецкой философией Прокла. Но заметьте, что он равно не мог быть спасен ни элевзинскими таинствами, ни Аполлоном Тианским, ни всеми опытами продолжить и воскресить язычество.

Это было не только невозможно, но и не нужно. Древний мир вовсе не надобно было спасать, он дожил свой век, и новый мир шел ему на смену. Европа совершенно в том же положении: литература и философия не сохранят дряхлых форм, а толкнут их в могилу, разобьют их, освободят от них.

Новый мир — точно так же приближается, как тогда. Не думайте, что я обмолвился, назвав фаланстер — казармой; нет, все доселе явившиеся учения и школы социалистов, от С.-Симона до Прудона, который представляет одно отрицание,— бедны, это первый лепет, это чтение по складам, это терапевты и ессениане древнего Востока. Но кто же не видит, не чует сердцем огромного содержания, просвечивающего через односторонние попытки, или кто же казнит детей за то, что у них трудно режутся зубы или выходят вкось?

Тоска современной жизни — тоска сумерек, тоска перехода, предчувствия. Звери беспокоятся перед землетрясением.

К тому же все остановилось. Одни хотят насильственно

раскрыть дверь будущему, другие насильственно не выпускают прошедшего; у одних впереди пророчества, у других — воспоминания. Их *работа* состоит в том, чтоб мешать друг другу, и вот те и другие стоят в болоте.

Рядом другой мир — Русь. В основе его — коммунистический народ, еще дремлющий, покрытый поверхностной пленкой образованных людей, дошедших до состояния Онегина, до отчаяния, до эмиграции, до вашей, до моей судьбы. Для нас это горько. Мы жертвы того, что не вовремя родились; для *дела* это безразлично, по крайней мере не имеет того смысла.

Говоря о революционном движении в новой России, я вперед сказал, что с Петра I русская история — история дворянства и правительства. В дворянстве находится революционный фермент; он не имел в России другого поприща — яркого, кровавого, на площади,— кроме поприща литературного, там я его и проследил.

Я имел смелость сказать (в письме к Мишле) [3], что образованные русские — *самые свободные* люди; мы несравненно дальше пошли в отрицании, чем, напр[имер], французы. В отрицании чего? Разумеется, старого мира.

Онегин рядом с праздным отчаянием доходит теперь до положительных надежд. Вы их, кажется, не заметили. Отвергая Европу в ее изжитой форме, отвергая Петербург, т. е. опять-таки Европу, но переложенную на наши нравы, слабые и оторванные от народа,— мы гибли. Но малопомалу развивалось нечто новое — уродливо у Гоголя, преувеличенно у панславистов. Этот новый элемент — элемент веры в силу народа, элемент, проникнутый любовью. Мы с ним только начали понимать народ. Но мы далеки от него. Я и не говорю, чтоб *нам* досталась участь пересоздать Россию; и то хорошо, что мы приветствовали русский народ и догадались, что он принадлежит к грядущему миру.

Еще одно слово. Я не смешиваю науки с литературно-философским развитием. Наука если и не пересоздает государства, то и не падает в самом деле с ним. Она — средство, память рода человеческого, она — победа над природой, освобождение. Невежество, *одно невежество* — причина пауперизма и рабства. Массы были оставлены *своими воспитателями* в животном состоянии. Наука, одна наука может теперь поправить это и дать им кусок хлеба и кров. Не пропагандой, а химией, а механикой, технологией, железными дорогами она может поправить мозг, который веками сжимали физически и нравственно.

Я буду сердечно рад...

В. С. ПЕЧЕРИНУ

4 мая (22 апреля) 1853 г. Лондон.

25, Euston Square, 4 мая, 1853.

Почтеннейший соотечественник,

я был у вас для того, чтоб пожать руку русскому, которого имя мне было знакомо, которого положение так сходно с моим... Несмотря на то, что судьба и убеждения вас поставили в торжествующие ряды победителей, меня — в печальный стан побежденных, я не думал коснуться разницы наших мнений. Мне хотелось видеть русского, мне хотелось принесть вам живую весть о родине. Из чувства глубокой деликатности я не предложил вам моих брошюр, вы сами желали их видеть. Отсюда ваше письмо, мой ответ и второе письмо ваше от 3 мая [1]. Вы нападаете на меня, на мои мнения (преувеличенные и не вполне разделяемые мною), нельзя же мне не защищаться. Я не давал того значения слову *наука*, которое вы предполагаете. Я вам только писал, что я совокупность всех побед над природой и всего развития, разумеется, ставлю вне беллетристики и отвлеченной философии.

Но это предмет длинный, и без особого вызова не хочется повторять все так много раз сказанное об нем. Позвольте мне лучше успокоить вас насчет вашего страха о будущности людей, любящих созерцательную жизнь. Наука не есть учение или доктрина, и потому она не может сделаться ни правительством, ни указом, ни гонением. Вы, верно, хотели сказать о торжестве социальных идей, свободы. В таком случае возьмите страну самую «материальную» и самую свободную — Англию. Люди созерцательные, так, как утописты, находят в ней угол для тихой думы и трибуну для проповеди. А еще Англия, монархическая и протестантская, далека от полной терпимости.

И чего же бояться? Неужели шума колес, подвозящих хлеб насущный толпе голодной и полуодетой? Не запрещают же у нас, для того чтоб не беспокоить лирическую негу, молотить хлеб [2].

Созерцательные натуры будут всегда, везде; им будет привольнее в думах и тиши, пусть ищут они себе тогда тихого места; кто их будет беспокоить, кто звать, кто преследовать? Их ни гнать, ни *поддерживать* никто не будет. Я полагаю, что несправедливо бояться улучшения жизни масс потому, что производство этого улучшения *может* обеспокоить слух лиц, не хотящих слышать ничего внешне-

го. Тут даже самоотвержения никто не просит, ни милости, ни жертвы. Если на торгу шумно, не торг перенесть следует, а отойти от него. Но журналы всюду идут следом — кто же из *созерцательных* натур зависит от premier-Paris или premier-Londres? [3]

Вот видите, если вместо свободы восторжествует антиматериальное начало и монархический принцип, тогда укажите *нам* место, где нас не то что не будут беспокоить, а где нас не будут вешать, жечь, сажать на кол, как это теперь отчасти делается в Риме и Милане, во Франции и России.

Кому же следует бояться? Оно конечно — смерть не важна sub specie aeternitatis [4], да ведь с этой точки зрения и все остальное не важно.

Простите мне, п[очтеннейший] с[оотечественник], откровенное противуречие вашим словам и подумайте, что мне было невозможно иначе отвечать.

Душевно желаю, чтоб вы хорошо совершили ваше путешествие в Ирландию.

А. А. ГЕРЦЕНУ

29—30 (17—18) сентября 1858 г. Путней.

[...] Пора узнать твою будущую и подробную программу занятий. Помни, что тебе в особенности недостает *классического* образования, т. е. того общего очеловечения, которое именно и называется «humaniora». При специальных занятиях естественными науками тебе будет мудрено сделать многое, но, несколько образовав себя чтением и посещением какого-нибудь курса философского, можешь воспитать себя сколько-нибудь и в эту сторону. Без нее страшно то, что легко можно впасть в ремесленничество науки и за множеством фактов потерять общность дела.

Товарищи тебе помогут в отыскивании источников или средств по части философии. Напиши, кто читает в Вюрцбурге и что читает и чем руководствуется по части философии.

Далее, не забывай, что самое колоссальное орудие многостороннего образования — чтение. Так как ты до сих пор не был большим начетчиком, то ты можешь ограничиться теми книгами, о которых записку мы раз составляли.

Не мешает ознакомиться и с древностью — не только по школьным книгам. Возьми Фоссов перевод Гомера, Софокл также хорошо переведен.

Исторические сочинения постоянно надобно читать. Шлецера «История XVIII ст[олетия]» очень полезна. Ты

продолжай in extenso [1] Альтгаузовы уроки. Я здесь нашел огромное сочинение на немецком — Страль и Германа: «Geschichte des russischen Staates» [2]. Возьми-ка ее в библиотеке и прочти, напр[имер], с Петра I. A propos [3], когда будешь у Мар[ии] Каспар[овны], возьми у нее присланную мне «Историю Петра» [4].

Ты себе отметь эти книги на записке и мало-помалу читай их. Дальнейшие замечания я сообщу тебе, когда ты мне напишешь подробно о твоих занятиях. [...]

А. А. ГЕРЦЕНУ

13—14 (1—2) октября 1858 г. Лондон.

[...] Насчет занятия, разумеется, надобно слушать Фогта, но о философии он говорит все же вздор. Если бы был самый плохой доцент, то все же он может дать тебе порядочные книги, а уж это твое дело — выработать научный Standpunkt [1], его не заменят ни обилие сведений, ни опыты. [...]

А. А. ГЕРЦЕНУ

1 декабря (19 ноября) 1859 г. Фулем.

1 декабря 1859.
Park House. Fulham.

Любезнейший Studiosus, скажи твоим теопумпам, что с конца вопрос не начинают, и спроси их в свою очередь: а разве *кристаллизация* больше понятна, чем *сознание?* Животное сознание — сначала чувство голода и отыскивание по химическому сродству пригодной пищи... Иди отсюда с усовершенствованием организма и дойдешь до Гёте, но равно не объяснишь, как камень скристаллизовался и как органическая смесь дошла до сознания,— отчего не объяснишь? Конечно, не оттого, что этого понять нельзя, а оттого, что наука очень недавно стала заниматься этими вопросами с надлежащей точки зрения. Все то, что мы в природе не знаем, Бэкон называл Magnum ignotum [1]. Вот это был добросовестный мыслитель, а другие, как запнутся, выдумывают новую силу, душу, жизнь.

Но, не умея объяснить многого, с другой стороны, мы отрицательно можем многое оспорить, отвергнуть — напр[имер], что кристаллизация зависит от свойства кристаллизирующихся частей и среды и вовсе не составляет их *цели*, а последствие.

Так и сознание есть la résultante [2] организма, а не внесено в него, *не отдельно от него;* нелепость отделять силу машины от машины — не для выкладки математической, а воображая, что в самом деле колеса на одну сторону, а сила на другую,— только не очевидна для теологов. [...]

А. А. ГЕРЦЕНУ

14—15 (2—3) декабря 1859 г. Фулем.

14 декабря.
Park House. Fulham.

[...] Теперь к философскому вопросу. Есть разные образы незнания. Можно не знать вещь *положительно,* т. е. не знать, *что она,* но знать отрицательно ее — qu' elle n'est pas [1].

Пример: человек видит в первый раз часы; отчего двигается стрелка, он этого не знает, но когда ему кто-нибудь скажет: оттого, что у часов *бьется сердце,* то он прямо ответит: *это вздор.* Если же ему кто-нибудь скажет, что это особая *часовая сила,* он его только собьет, но ему будет легче принять, чем существование сердца в золотом ящике.

Не то трудно объяснить, как приятель хочет видеть другого, а то, как вообще живой организм чувствует себя и не себя, то, что ему нравится, и то, что ему противно. Однажды понимая сознание, рядом психологических наблюдений дойдешь до всего.

Впрочем, не думай, чтоб тебе легко было спорить с поврежденными прежде, чем ты займешься сколько-нибудь философией и диалектикой. [...]

Э. КИНЭ

30 (18) декабря 1865 г. Женева.

Милостивый государь,

вы не откажете мне в праве разъяснить то, что я взял на себя смелость высказать в рекомендательном письме, которое мой молодой друг имел честь вам передать. Может быть, я плохо изъяснился. Итак, вот моя мысль и причина, по которой она мне особенно дорога.

Мы представляем собой почин *иного* отношения человека к почве, наша задача состоит в опыте развития личной свободы без потери *права на землю,* в опыте ограничения суверенного права недвижимой собственности суверенным

правом каждого человека на поземельное владение,— словом, в опыте сохранения общинной собственности рядом с личным пользованием. Мы посельщики, сами разработавшие нашу землю, привычные к полевым переделам, не ощущающие бремени завоевателей на наших плечах, и нам легче других народов осуществить решение этой социальной задачи. Отношение человека к земле, так, как мы его понимаем, не новое изобретение в России, это исконный, так сказать, *естественный* факт, мы его нашли родившись, потом забросили, не оценили и теперь хотим, с искренним раскаянием, развить его при помощи науки и опыта западного мира. Отнимите у нас эту задачу, и мы снова впадем в варварство, из которого едва выходим, останемся ордой завоевателей.

И вот причина, почему мы не променяем наш аграрный закон, находящийся в эмбриональном состоянии, ни на старое латинское право, ни на англосаксонское законодательство. Религия собственности по римскому закону, по французскому кодексу убила бы наше будущее, так, как убила в союзе с церковью вашу великую революцию. Ясно, что с двумя такими абортивами — Республика не могла родить ничего живого.

Народ парижский понял это, когда, поднимая в первый раз голову после бурь террора, он обратился к Конвенту со зловещими криками: «Хлеба!» Его прогнали прочь — он больше не мешается в дела — и он прав.

Крайности Бабёфа, утопии почти всех социальных учений нисколько не опровергают сути дела. Напротив, сила бреда свидетельствует о силе болезни. Галлюцинации подтверждают заболевание — дают право на патологическое заключение. Если терапия не удалась — из этого не следует, что вопрос следует обойти,— к тому же, как мы видим, это невозможно. Социальный, экономический вопрос — Magnum ignotum нашего времени. Потому-то мы всякий раз, когда представляется случай, и обращаем внимание наших «старших», наших «отцов сенаторов» в науке и в цивилизации, на то, что прорастает в наших степях. До сих пор на Россию смотрели как на лавину, угрожающую падением. А мы хотим показать, что под снегом есть земля и что этой землей владеют *иначе*, чем исторической землей старого мира.

Такова была причина, которая побудила меня в 1851 г. обратиться к знаменитому вашему другу (смею сказать теперь, и моему) Ж. Мишле с длинным письмом «о русском народе и социализме» [1]. Вообще после неудачи Февральской революции я только об одном этом и пропове-

дую. Вы, наверное, признаете это смягчающим обстоятельством? Восхищаясь созданной вами строгой, величавой, полной силы и отваги картиной самоубийства революции посредством католицизма, я невольно вспомнил о *другом враге*.

Позвольте мне предложить вам (как только я буду иметь экземпляр лондонского издания, вышедшего в 1862 г.) работу моего друга Огарева «О положении России» [2] — просмотрев ее, вы найдете in extenso [3] то, что я сейчас затронул в своем письме. Французское издание «Колокола» уже прекратилось. Господин Фонтен намерен редактировать журнал, составленный из перевода наших статей.

Примите, милостивый государь, искреннее выражение моего глубокого уважения.

Алекс. Герцен.

30 декабря 1865.
Grande Boissière. Женева.

P.S. Вы мне позволите, милостивый государь, привести общую часть письма в нашем журнале?

Н. П. ОГАРЕВУ

3 февраля (22 января) 1867 г. Флоренция.

[...] Второй коллоквиум Шиффа не был так удовлетвор[ител]ен, как первый, и я начинаю думать, что спор опять-таки *номинальный*. «Ответственность за поступки объективная, а не субъективная»... с этим является снова суд и, пожалуй, казнь. Подожду третий разговор. Физиологическая необходимость многого не объяснит, есть элементы, ею неуловимые, напр[имер] исторические антецеденты, даже наследственность. Есть закраина, где оба термина антиномии переходят друг в друга, т. е. где человек с сознанием пользуется правом ступить левой или правой ногой, хотя приведение в исполнение идет уже по физиологической необходимости. Попробуй написать, чего нет — тезисы другого тона с некоторым развитием. По-моему, это право важнее математических фантазий. [...]

Н. П. ОГАРЕВУ

13 (1) февраля 1867 г. Флоренция.

[...] Тезисы твои хороши, и я их всем прочел и читаю, но вполне они меня не удовлетворили [1].

1^ое^. Даже Доманже никогда не говорил об абсолютном

libre arbitre [2], а об очень *относительной* способности, de la volition [3] как о сложной функции физиологического процесса, состоящей в зависимости от остальных и имеющей свою самость.

2. Я совершенно не понял, что ты хотел сказать тем, что в организме нет особого органа — воли. Центр[альный] орган всех высших физиологических явлений — мозг. Где же отдельный орган — памяти, изящного или красоты... не понимаю.

3. Еще меньше понимаю, по-моему, вовсе не идущую к делу отметку о крике больных — ни крик, ни помешательство к делу не идут. Еще бы отрубить голову да и спросить: судороги произвольные или нет? Способность *помнить* пропадает в обмороке, ergo — памяти нет.

Я не возражаю на главкую тему, а ищу ясного пониманья. До сих пор Шифф довел *до* тех явлений, которые неученый язык называет волей, выбором. Законов, вполне отрицающих его, я еще не слыхал и жду. Дело так не легко, что у нас ни языка, ни категории, ни слов нет, чтоб выразить невольную волю желанья и избранья. Весь строй общественных и личных отношений должен пересоздаться на основаниях фатализма, с одной стороны, и беспощадной защиты — с другой (это-то Шифф и назвал объективной ответственностью,— я не знаю, почему ты ее отбросил). Объясняй, пиши... Volo videre quo modo aedificatis [4],— как говорил сумасшедший Гро Прудону. [...]

Н. П. ОГАРЕВУ

22 (10) февраля 1867 г. Венеция.

[...] Ты в изложение вносишь не только разум, но и какую-то инквизиторскую нетерпимость, которой у Шиффа вовсе нет (да и не в твоем характере). Ни ты, ни Шифф всей сложности задачи, особенно в ее историческом воплощении, не касались. Тебя обрадовало слово volition [1] — назови практическим разумом, разумом деятельным и объясни его законы и отношения, так чтоб я, сказавши теперь: «Это дурной поступок», не говорил нелепости. Далее сегодня вопрос откладываю — и еще раз советую писать именно об этом. Я под словом «математ[ические] фантазии» хотел сказать фантазии о математике, так, как бы мог сказать о себе, если б начал штудиум медицины: «Моя фантазия медицины» — etc. [...]

ПРИМЕЧАНИЯ
УКАЗАТЕЛИ

ПРИМЕЧАНИЯ

К печатаемым в настоящем томе произведениям Герцена, написанным в течение двадцати с лишним лет жизни за границей, можно применить характеристику, которую он дал своей знаменитой художественной биографии «Былое и думы»,— «отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге» (10, 9). В этих произведениях своеобразно соединились и переплелись история и теория — отражение текущих исторических событий, живой отклик на них и разработка общих теоретических проблем, служащая основой для понимания этих событий и для практических выводов относительно позиции в современном революционном движении.

Исторический период, к которому относятся публикуемые в данном томе произведения, был временем, когда в Западной Европе в основном завершались буржуазные преобразования, интенсивно развивались буржуазно-демократические движения вообще и буржуазно-национальные движения в частности. В процессе происходящих социальных преобразований на арену истории все более активно выступал рабочий класс, всемирно-историческая роль которого была уже в 1840-х гг. определена К. Марксом. К концу данного периода (1848—1871) «домарксовский социализм *умирает*. Рождаются самостоятельные *пролетарские* партии: первый Интернационал (1864—1872) и германская социал-демократия» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 23, с. 2).

Важные исторические события происходят в то время и в России. Нарастание кризиса крепостного строя приводит к революционной ситуации, которая завершилась крестьянской реформой 1861 г.— крупнейшей вехой на пути развития капитализма в России. Российское освободительное движение вступает во второй — разночинский — этап своего развития.

В жизни Герцена 1848—1869 гг.— время широкой и многосторонней общественной деятельности. «Великой заслугой» назвал В. И. Ленин создание Герценом вольной русской прессы за границей. В эти годы определилось историческое место Герцена в российском освободительном движении: в условиях, когда наметилось размежевание демократической и либеральной тенденций, Герцен был представителем демократической тенденции, хотя ему и были свойственны отступления от демократизма к либерализму.

Уже в 30—40-х гг. Герцен был поборником социалистических идей. После 1848 г. его социалистические убеждения складываются в систему «русского», «крестьянского» социализма — своеобразную разновидность утопического социализма; он выступает в это время как основоположник народничества.

В. И. Ленин отмечал, что «благодаря вынужденной царизмом эмиг-

рантщине революционная Россия обладала во второй половине XIX века таким богатством интернациональных связей, такой превосходной осведомленностью насчет всемирных форм и теорий революционного движения, как ни одна страна в мире» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 41, с. 8). Деятельность Герцена в 1848—1869 гг., его сотрудничество в немецких, французских, английских, итальянских журналах и газетах, его дружеские отношения с рядом видных европейских общественных деятелей, литераторов, ученых, переводы его произведений на иностранные языки — пример широких интернациональных связей, складывавшихся в XIX в. у революционной России, крупный вклад в создание и развитие таких связей.

Особенности исторического периода 1848—1871 гг., названного В. И. Лениным периодом «бурь и революций», характер тогдашней общественной деятельности Герцена в значительной мере объясняют тот факт, что в его теоретической мысли первый план заняли тогда проблемы *социальной философии* — прежде всего философии истории и социализма. К специальному рассмотрению собственно философских вопросов Герцен обращался в то время лишь спорадически. Однако вопросы эти продолжали интересовать его и так или иначе затрагивались во многих герценовских работах данного периода. В них нашла, в частности, отражение сильно занимавшая его мысль еще в 40-х гг. проблема соотношения философии и естествознания. В условиях, когда в Западной Европе широкое распространение получили позитивизм и естественнонаучный материализм, проблема эта приобретала особенно важное значение. Публикуемые в настоящем томе произведения и письма Герцена («Опыт бесед с молодыми людьми», «Разговоры с детьми», письмо «О свободе воли», главы «Былого и дум») показывают, что он остался верен высказанной им в 40-х гг. идее союза философии и естественных наук. Эта идея получает у него своеобразное развитие применительно к проблемам человека. В глазах Герцена человек — не только физическое существо, но и «клетка общественной ткани». Герцен утверждает поэтому, что исключительно естественнонаучный подход к проблемам человека не может привести к их разрешению; решить их можно, лишь вовлекая в анализ философию, социологию, историю.

В 50—60-х гг. в теоретической деятельности Герцена обозначилось новое, важное и плодотворное направление: предметом его пристального внимания становится история русской общественной мысли, в особенности ее развитие в первой половине XIX в. Разнообразные мотивы и стимулы, обращавшие внимание Герцена к истории русской мысли, имели один общий источник — осознание исторической значительности той «умственной работы», которая совершалась тогда в среде «образованной России»,— значительности не только с точки зрения внутреннего развития страны, но и в общеевропейском масштабе. В таком подходе к русской мысли и русской литературе — историческая проницательность Герцена и его заслуга перед историей России. Ряд произведений, помещенных в настоящем томе,— «Русский народ и социализм», главы из книги «О развитии революционных идей в России» и из «Былого и дум» — характеризуют Герцена как историка русской мысли.

В значительной мере именно в связи с проблемами развития русской мысли Герцен обращался в данный период и к характеристике некоторых представителей западноевропейской философии. Показательно, в частности, что в годы, когда на Западе гегелевская философия сплошь и рядом третировалась как устарелая и ненужная схоластика, для Герцена Гегель оставался великим мыслителем, вооружающим человека «мощным тараном» диалектического метода. Именно к этому времени относится получившая широкую известность характеристика Герценом философии Гегеля как «алгебры революции».

К началу заграничного этапа жизни Герцена его философские воззрения в основном сложились. Однако произведения, написанные в 1848—1869 гг., говорят о продолжающемся развитии его философской мысли, об укреплении ее материалистических основ, о конкретизации ряда ее диалектических идей. Если в философских работах 40-х гг. («Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы») развитие в природе понималось телеологически, так что возникновение сознания оказывалось целью этого развития, то в рассматриваемый период телеология решительно изгоняется Герценом и из природы, и из истории и подвергается резкой критике.

Наиболее значительные изменения происходят после 1848 г. в социальной философии Герцена. Опыт текущих исторических событий, в особенности суровые уроки поражения революции 1848 г., заставляет Герцена расстаться с прежним взглядом на историю как на процесс, движимый развитием разума, с верой в то, что осуществление социалистического идеала необходимо в силу его несомненной «разумности» и что путь к социализму откроет социальная революция на Западе.

Разрыв с прежними воззрениями был тяжким и болезненным, мысль Герцена оказалась перед тупиком глубокого скептицизма и пессимизма. Трагические раздумья Герцена, его «духовная драма» запечатлены в одном из самых значительных его произведений — цикле «С того берега».

Признание того, что история имеет «собственную эмбриогению», не совпадающую с развитием разума, означало для Герцена констатацию существующего разрыва между мышлением и историческим бытием, трагического «дуализма» мысли и истории. Остановиться на этом значило бы признать социалистический идеал лишь одним из созданий мысли, не имеющим реальных оснований для своего осуществления. Такие скептические мотивы порой звучали у Герцена. Однако идеалы социализма были ему слишком дороги, и он попытался найти выход из тупика «дуализма» разума и реальной истории. Социальная философия Герцена в 1848—1869 гг. являет картину теоретических исканий, направленных на то, чтобы установить «мост» между идеалом и действительностью, отыскать в самой исторической действительности объективную возможность осуществления социалистического общественного идеала. Это направление мысли Герцена выразилось в разработке философско-исторической концепции, обосновывающей возможность устранения «дуализма» между идеалами человеческого разума и реальным ходом истории.

Философия истории Герцена выражена в ряде публикуемых в настоящем томе произведений («С того берега», «Роберт Оуэн», «Порядок торжествует!», «Prolegomena», эпистолярные циклы «Концы и начала», «Письма к противнику», «Письма к путешественнику», «К старому товарищу»). В них раскрываются такие важнейшие ее черты, как отрицание телеологического взгляда на историю и критика исторического фатализма, взгляд на историческое развитие как на идущее (подобно развитию в природе) не по прямой линии, а по различным направлениям, как развитие многовариантное, представляющее собой процесс осуществления той или иной возможности, возникшей в результате сложившихся обстоятельств. Философско-историческая концепция Герцена акцентирует активную роль человека в истории. Вместе с тем она признает, что разум не может осуществить свои идеалы, не считаясь с существующими фактами истории, что результаты ее составляют «необходимую базу» операций разума. Подобно тому как человек, изучая природу, постигая ее законы, использует в своих целях возможности, сложившиеся в природе, точно так же он может и должен использовать для осуществления своих идеалов те возможности, которые имеются в исторической действительности. Так Герцен наводит «мост» между идеалом и действительностью.

Философия истории Герцена 1848—1869 гг. была своеобразной

попыткой преодолеть просветительские иллюзии относительно решающей роли разума и просвещения в историческом развитии. В ней явственно проступает важная плодотворная тенденция: успешность сознательной и целеустремленной деятельности человека по совершенствованию общественной жизни связывается с познанием реального хода истории, с использованием объективно сложившихся исторических обстоятельств и условий, причем решающее место среди последних отводится экономическим институтам. Последовательно развиваясь, эта тенденция могла вести к материалистическому пониманию истории. Однако Герцен остановился на полпути: он не смог понять обусловленность самого сознания законами общественного бытия, понять сам социалистический идеал как осознанное выражение объективных тенденций общественного развития; идеал этот остался у него результатом спонтанного развития разума.

В помещенных в данном томе работах Герцена ясно видна связь между его философией истории и его утопически-социалистической теорией — «русским социализмом». В русской сельской общине с ее уравнительным землепользованием и «мирским» самоуправлением Герцен увидел реальный, в самой исторической действительности существующий зародыш того общественного устройства, которое соответствует передовым идеалам разума — идеалам социализма. Соединение передовых идеалов, выработанных на Западе, с теми социалистическими началами, которые в зародышевой форме существовали в сельском устройстве России, представлялось ему наиболее реальным для того времени путем к социалистическому переустройству общества. Первыми необходимыми шагами для этого являлись в его глазах освобождение крестьян с землей, сохранение и развитие общинного землевладения, уничтожение сословного деления общества, распространение на все политическое устройство страны «мирского» самоуправления.

Теория «русского социализма» предполагала, что Россия, развивая имеющиеся в ней зачатки социалистических общественных отношений, может миновать стадию капиталистического развития, противоречия которого уже выявились в то время на Западе. Критика буржуазного общества, его социального устройства, его политических институтов и духовной жизни занимает большое место в публикуемых в данном томе работах Герцена («С того берега», «Западные арабески», «Роберт Оуэн», «Джон Стюарт Милль и его книга «On liberty»», «К старому товарищу»). В критике этой — проницательной, острой и страстной — нередко звучали, однако, скептические мотивы, неверие в революционные возможности западноевропейских «работников». Под влиянием подъема рабочего движения в Западной Европе в начале 60-х гг., приведшего к образованию в 1864 г. первого Международного товарищества рабочих, скептицизм все в большей мере уступает место в мысли Герцена надеждам на силы европейского рабочего класса. «У Герцена скептицизм был формой перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 21, с. 257). Доказательство этого Ленин видел в письмах «К старому товарищу», свидетельствующих о том, что, разрывая с анархистом Бакуниным, Герцен обратил свои взоры не к либерализму, а к I Интернационалу.

При подготовке данных примечаний использованы комментарии к соответствующим произведениям из академического Собрания сочинений Герцена. В тексте примечаний ссылки на это издание даются в скобках (первая цифра обозначает том издания, вторая — страницу).

«С того берега» — произведение Герцена чрезвычайно важное, в особенности для понимания его общественно-философских взглядов. Герцен не раз говорил, что статьи, составившие книгу,— его «логическая исповедь», выражение его личных, мучительно пережитых сомнений, разочарований, ненависти, гнева, отчаяния и надежд. В то же время он рассматривал «С того берега» как попытку осмыслить исторические события 1848 г. В письме к Прудону от 27 августа 1849 г. он говорил, что его сочинение можно было бы назвать «философией революций 48 г.» (23, 178). Непосредственное эмоциональное восприятие, осмысление и оценка современных событий тесно связывались у Герцена с раздумьями над общими проблемами философии истории и социализма. Сочетание и переплетение лирического, публицистического и философского элементов придают книге совершенно особый колорит; такое сочетание становится в значительной мере характерным и для последующей литературной деятельности Герцена.

Вместе с тем это — книга, запечатлевшая напряженные и страстные *поиски* Герценом выхода из тупика пессимизма и скептицизма, его попытки найти решение поставленных перед ним историческими событиями проблем, жизненно важных для него не только с теоретической точки зрения, но и в плане выяснения путей практической революционной деятельности.

В книге «С того берега» явственно обозначился тот перелом в герценовской мысли, который имел важнейшее значение для всей дальнейшей деятельности Герцена как теоретика. «Перелом» этот выразился в отказе от сложившегося у него в 40-х гг. (в значительной мере под влиянием Гегеля) представления об истории как «разумном» процессе. Именно на таком представлении об истории основывалась в 40-х гг. уверенность Герцена в закономерности и необходимости осуществления социалистического идеала. Отказ от идеи «разумности» истории привел его к вопросу, который он сформулировал так: «Где лежит необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу» (см. наст. том, с. 19), иными словами, вопрос о реальных исторических основаниях воплощения в жизнь идеалов социализма. В статьях «С того берега» ясно видны пути, на которых Герцен пытается преодолеть разрыв, «дуализм» мысли и истории. Найти верное решение этих проблем он не смог — для этого нужно было новое, материалистическое понимание истории. Отсюда — ясно выступающие в книге противоречия герценовской мысли, наличие в ней и верных, плодотворных тенденций, направленных к историческому материализму, и одновременно ошибочных тенденций, ведущих к натурализму или волюнтаризму.

Крушение надежд Герцена на революцию 1848 г. как на революцию «социальную», отказ его от философско-исторических идей, которых он придерживался ранее, поиски новых решений проблем исторического развития и социализма выражены в статьях комментируемой книги в своеобразной полемической форме. В письме к московским друзьям от 19—20 июня 1851 г. Герцен говорил о своих статьях: «Да вы всё не так смотрите на мою философию истории, это не наука, а обличие, это бич на нелепые теории и на нелепых риторов-либералов, фермент — и больше ничего, но это захватывает и ведет к жизни, это сердит и заставляет думать» (24, 184). Своеобразен и сам характер полемики Герцена. Он часто избирает для нее форму диалога, причем далеко не всегда становится всецело на сторону одного из участников спора. Такой характер полемики не случаен. Герцен не просто опровергает здесь те или иные взгляды — он испытывает их верность, собирая возможные аргументы в их защиту. Подобным же образом он не только противопоставляет им иную точку зрения, но и проверяет ее, намеренно отыскивая возможные возраже-

ния против нее. Таким путем он ищет решения волнующих его вопросов.

Книга впервые была издана (на немецком языке) в 1850 г. В это издание не входили три последние главы, написанные позднее, но были включены статьи «An Georg Herwegh» («К Георгу Гервегу»), почти одновременно напечатанная по-французски под названием «La Russia» («Россия»), и «An Guiseppe Mazzini» («К Джузеппе Мадзини»). Первое издание книги на русском языке вышло в Лондоне в 1855 г., затем перепечатано там же в 1858 г.

Сыну моему Александру

Впервые напечатано в 1855 г. Это посвящение было прочтено Герценом сыну 31 декабря 1854 г. на встрече Нового года в присутствии европейских революционных эмигрантов.

[1] Здесь: великий строитель мостов (лат.).— *3*

[2] В черновой рукописи, факсимиле которой было опубликовано в «Речи» (1912, № 83), вместо *с ним погибнуть* было «с революцией погибнуть» (см. Варианты черновой рукописи.—6, 440).— *3.*

[3] В черновой рукописи вместо *грядущего* было «революции, великого» (см. Варианты черновой рукописи.—6, 440).— *3.*

⟨Введение⟩

Впервые напечатано в 1855 г. Обращение «Прощайте» в ранней редакции имело итальянское название «Addio!» (см. 6, 316).

[1] «С того берега» (нем.).—*4.*

[2] любовной досаде (франц.).—*4.*

[3] 2 декабря 1851 г. президент Франции Луи Бонапарт осуществил государственный переворот.—*4.*

[4] С *Р. Зольгером* Герцен познакомился осенью 1847 г. в Париже. Р. Зольгер был, по-видимому, автором цикла анонимных передовых статей, опубликованных в 1850 г. в «Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben», полемически направленных против идей Герцена в книге «С того берега». Статья в 12-м номере журнала, называвшаяся «Untergangsturm» («Крушение»), привлекла внимание Герцена. Выпады Зольгера были направлены против неверия в революционно-социалистические возможности народных масс. В герценовских оценках современного народного движения Зольгер усмотрел «аристократический эгоизм», которому противопоставлял призыв идти к народу. В письме к А. Колачеку (издателю журнала) от 12 февраля 1851 г. Герцен, назвав статью Зольгера «пылкой и талантливой», решительно отверг упрек в том, что он проповедует «аристократический эгоизм». Разъясняя свою позицию, он подчеркивал, что она отнюдь не означает измену революционному делу. Герцен сообщал Колачеку, что намерен позже ответить Зольгеру в журнале (см. 24, 162—163). Своего намерения «многое написать на эту тему» Герцен не осуществил, но он кратко ответил Зольгеру в XIII письме цикла «Писем из Франции и Италии» (см. 5, 208). Хотя в полемике с Зольгером сказывались скептицизм и пессимизм Герцена после поражения революции 1848 г., однако Герцен был прав, отвергая адресованные ему упреки в проповеди «всеотрицающего индивидуализма». Немало верного было и в герценовских взглядах на массовое революционное движение в Европе в конце 40-х гг. Не удивительно поэтому, что, как отмечает Герцен, Зольгер при встрече с ним в Англии в 1852 г. признал, что был не прав.—*4.*

[5] См. ниже открытое письмо к Ж. Мишле «Русский народ и социализм» и примечания к нему (наст. том, с. 154).—*4.*

[6] Герцен цитирует с некоторыми купюрами произведение Н. М. Карамзина «Мелодор к Филалету».—*6.*

[7] высокомерное игнорирование (нем.).—*11.*

[8] Герцен имеет в виду немецкого экономиста барона А. Гакстгаузена, посетившего в 40-х гг. Россию и издавшего затем трехтомный труд «Studien über die innere Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Rußlands, 1847—1852» («Исследования внутренних отношений, народной жизни и в особенности сельских учреждений России, 1847—1852»). В результате изучения аграрных отношений в России, а также под влиянием славянофилов, с которыми он встречался в 40-х гг., Гакстгаузен пришел к выводу, что существование сельской общины является одной из особенностей русской жизни, отличающей ее от жизни западноевропейских народов. Знакомство с трудом Гакстгаузена способствовало укреплению надежд Герцена на русскую сельскую общину как на учреждение, с которым должно быть связано будущее развитие страны. Однако для Герцена русская община была зародышем социалистических отношений, Гакстгаузен же видел в ней проявление «патриархального принципа», на котором, по его мнению, основана вся общественная и политическая жизнь русского народа. Герцен резко критиковал реакционные идеи Гакстгаузена, защиту вестфальским бароном помещичьей и монархической власти в России (подробнее критику взглядов Гакстгаузена см. 12, 34—61, 94—117).— *12.*

Перед грозой

Статья «Перед грозой», написанная Герценом в Италии в конце 1847 г.,— результат тех тревожных сомнений в возможности близкого социального переворота в Европе (в первую очередь во Франции), которые породило у Герцена его знакомство с буржуазным Парижем в 1847 г. Сомнения в том, что современная Франция способна воплотить в жизнь социалистические идеалы, перерастают у Герцена в общий философско-исторический вопрос: есть ли основания полагать, что передовые идеалы, выработанные человеческой мыслью, непременно должны осуществиться? В статье «Перед грозой» впервые высказан ряд идей, свойственных философско-исторической мысли Герцена в 50—60-х гг.: отрицание телеологического взгляда на историю, признание «собственной», не подчиненной разуму «эмбриогении» истории, натуралистическая тенденция в объяснении исторического процесса и др.

Впервые напечатана на немецком языке в 1850 г. Русский текст впервые опубликован в 1855 г.

[1] Осенью 1847 г. в Ницце Герцен часто встречался со своим московским другом И. П. Галаховым. «Наши долгие разговоры, наши споры навели меня на мысль записывать их. Одним из наших разговоров начинается «С того берега»» (9, 120).—*13.*

[2] Мир, человек и бог — неужели это все тайна?
Нет; но не любят о них слушать — и тайна темна.
(Пер. С. Ошерова)

Гёте, 65-я эпиграмма из цикла «Epigramme. Venedig».— *13.*

[3] В немецком издании 1850 г. было: «Если б люди не разучились изучать природу в человеке, если б они могли понять себя в природе и природу в себе, если б они захотели понять их нераздельность» (нем.) (см. Варианты немецкого издания (1850 г.).—6, 453).—*15.*

[4] Карфагенский полководец Гамилькар Барка заставил своего девятилетнего сына Ганнибала поклясться в том, что он посвятит свою жизнь борьбе против Рима.—*16.*

[5] Герцен несколько вольно передает строки из стихотворения Шиллера «Дева с чужбины».—*17*.

[6] Имеется в виду персонаж басни Лафонтена «Дунайский мужик».—*19*.

...мир терпит крушение; старый корабль, истрепанный всеми волнами, он поглощается пучиною — давайте спасаться вплавь! (франц.) Цитата из стихотворения Беранже «Suicide» на смерть покончивших самоубийством поэтов В. Эскуса и О. Лебра (имена поэтов указаны Герценом в примечании неточно).—*20*.

[8] маска Гиппократа (лат).—*20*.

[9] Герцен неточно передает слова Макбета («Макбет», акт V, сцена 5).—*23*.

[10] помни о смерти (лат.). С таким приветствием обращались друг к другу при встрече члены католического монашеского ордена траппистов.—*23*.

[11] свод гражданских законов (лат.).—*23*.

[12] потенциально (лат.).— *23*.

[13] театральные эффекты (франц.).—*24*.

[14] Итальянский мыслитель *Джамбаттиста Вико* в своей книге «Основания новой науки об общей природе наций» (1721) развил теорию исторического круговорота, согласно которой все народы в разное время проходят три этапа развития, после чего движение по восходящей линии сменяется движением по линии нисходящей.—*24*.

[15] Согласно греческой мифологии, бог Кронос (лат. Сатурн), которому было предсказано, что он будет лишен власти своими детьми от брака с Реей, проглатывал всех своих детей тотчас после рождения. Рее удалось спасти только последнего ребенка — Зевса (лат. Юпитер), заменив его камнями, завернутыми в пеленки. Возмужав, Зевс лишил отца власти.—*24*.

[16] Герцен использует мысль Гёте из стихотворения «Sommer» (цикл «Vier Jahreszeiten») (см. том 1 наст. изд., с. 142).—*24*.

[17] В рукописной копии, сделанной рукой Н. Х. Кетчера, этот абзац читается так: «Прогресс — неотъемлемое свойство сознательного развития. Это деятельная память и физиологическое усовершение людей, образованной общественности. Конечно, не весь человеческий род участвует в нем, но вообще выход из патриархального семейного быта обусловливает совершенствование; оно нейдет так сухо, прямолинейно, так жалко правильно, как думают; но отрицать его невозможно; это премия тем, которые после нас являются» (см. Другие редакции.—6, 336).—*25*.

[18] «Идущие на смерть приветствуют тебя» (лат.). Слова, с которыми в Древнем Риме гладиаторы перед боем обращались к императору.—*25*.

[19] Здесь: недоразвитость (франц.).—*26*.

[20] тотчас, без приготовления (лат.).—*27*.

[21] государственный переворот (франц.).—*28*.

[22] Слова Гамлета в сцене на кладбище («Гамлет», акт V, сцена 1).—*29*.

[23] помни о жизни (лат.).—*29*.

После грозы

Статья, написанная месяц спустя после кровавой расправы буржуазии с парижскими рабочими,— свидетельство того огромного значения, которое имело поражение французского пролетариата в 1848 г. в жизни Герцена как мыслителя и революционера. Июньские дни, писал он в «Былом и думах», «были ужасны, они положили черту в моей жизни» (10,

222). Там же Герцен прекрасно охарактеризовал «После грозы» и другие статьи «С того берега», написанные после июньских дней: «Наскучив бесплодными спорами, я схватился за перо и сам себе, с каким-то внутренним озлоблением, убивал прежние упования и надежды; ломавшая, мучившая меня сила исходила этими страницами заклинаний и обид, в которых и теперь, перечитывая, я чувствую лихорадочную кровь и негодование, выступающее через край,— это был выход» (10, 226).

Впервые напечатана на немецком языке в 1850 г., русский текст впервые опубликован в 1855 г.

[1] В шестом томе Собрания сочинений А. И. Герцена в 30 томах в качестве подстрочного приложения приведена хранящаяся в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина копия не включенного в прижизненные издания «С того берега» посвящения к главе «После грозы» (см. 6, 40—41).—*31.*

[2] Да погибнет! (лат.) —*31.*

[3] площади Бастилии (франц.).—*31.*

[4] ворот Сен-Дени (франц.).—*31.*

[5] «Часовой, берегись!» (франц.).—*31.*

[6] городской ратуше (франц.).—*31.*

[7] новом мосту (франц.).—31.

[8] Герцен имеет в виду реакционную роль, которую сыграли в июньские дни буржуазные республиканцы, чьим органом была газета «National». Наиболее видными представителями этого направления в составе Временного правительства были А. Марраст, Ж. Бастид и Э. Ж. Л. Гарнье-Пажес. К партии «Насионаля» был близок и Л. Э. Кавеньяк, возглавивший расправу с парижским пролетариатом.—*32.*

[9] славные ребята (франц.).—*32.*

[10] «Умереть за Родину» (франц.). Слова припева песни, популярной в среде парижской мелкой буржуазии. Герцен не раз упоминал эти слова в своих статьях, причем говорил о них с иронией и негодованием, имея в виду тот смысл, который вкладывало в них парижское мещанство. *Мобиль* — созданная Временным правительством мобильная гвардия; входившая в ее состав молодежь принадлежала большей частью к люмпен-пролетариату.—*32.*

[11] площади Согласия (франц.).—*33.*

[12] См. поэму Байрона «Абидосская невеста», песнь вторая, XXVI.—*33.*

[13] *Мать* Нерона Агриппина Младшая, с помощью которой он стал императором, была впоследствии убита по его приказанию.—*34.*

[14] *21 января 1793 г.* был казнен французский король Людовик XVI.—*34.*

[15] благо народа (лат.).—*35.*

[16] Государственным знаменем Франции после Февральской революции было *трехцветное знамя,* хотя представители народных масс требовали замены его красным знаменем. В виде уступки требованиям масс к древку трехцветного знамени была прикреплена красная розетка.—*35.*

[17] Герцен имеет в виду деятельность Учредительного собрания, избранного на основе всеобщего избирательного права; его заседания открылись 4 мая 1848 г. В Учредительном собрании преобладали буржуазные республиканцы.— *35.*

[18] Парижский архиепископ Аффр умер от ран, полученных им 25 июня 1848 г. перед баррикадой в Сент-Антуанском предместье в тот момент, когда он шел уговаривать восставших прекратить борьбу. Выстрел в него последовал из рядов правительственных войск.— *35.*

[19] *Гора* — фракция во французском Учредительном и Законодательном собраниях в 1848—1851 гг., представлявшая партию мелкобуржуазных демократов-республиканцев во главе с Ледрю-Ролленом. В феврале

1849 г. к этой партии примкнули мелкобуржуазные социалисты, возглавлявшиеся Луи Бланом (Новая Гора).— *36.*

[20] *Ф.-Р. де Ламенне* в основанной им после Февральской революции газете «Le peuple constituant» («Народ-учредитель») резко осудил июньскую расправу правительства с восставшими. После этого выступления газета Ламенне была закрыта Кавеньяком, стоявшим во главе правительства.— *36.*

[21] В сентябре 1792 г. в Париже была произведена казнь заключенных в тюрьмах контрреволюционеров, вызванная опасением, что внутренняя контрреволюция может оказать поддержку приближавшейся к Парижу прусской армии.— *36.*

[22] К *27 июня* восстание парижских пролетариев было подавлено. В честь победы Кавеньяка в Париже была устроена иллюминация.— *36.*

[23] Статуя Наполеона, находившаяся на воздвигнутой в 1806 г. Вандомской *колонне,* была разрушена в 1814 г. и вновь восстановлена в 1833 г.— *36.*

[24] В 1840 г. *прах* Наполеона был перенесен с острова Святой Елены в Париж, в Дом инвалидов.— *36.*

[25] Да здравствует смерть! (франц.).— *36.*

LVII год республики, единой и нераздельной

В статье сформулирован один из важнейших выводов, сделанных Герценом на основе опыта революционных событий 1848 г. Политика Временного правительства, деятельность Учредительного собрания, июньские дни и диктатура Кавеньяка — все это ясно показало Герцену буржуазный характер республики, провозглашенной во Франции 25 февраля. У Герцена складывается убеждение, что республиканская форма государственного устройства сама по себе отнюдь не является гарантом достижения реального равенства и справедливости и что осуществление идеалов социализма требует коренной ломки всех устоев современного общества, в том числе всех существующих государственных форм.

Впервые напечатано на немецком языке в 1850 г. Русский текст в переработанном виде опубликован в 1855 г.

[1] Это — не социализм, это — республика! (франц.).— *37.*

[2] 22 сентября 1848 г. (1 *вандемиера* LVII года по республиканскому календарю, введенному во Франции во время буржуазной революции XVIII в.) праздновалась 57-я годовщина провозглашения первой республики во Франции.— *37.*

[3] «Да здравствует демократическая республика!» (франц.).— *37.*

[4] меблированных комнат (франц.).— *39.*

[5] По евангельскому преданию, апостол *Петр* трижды отрекся от Христа в ночь, когда Христос был схвачен по приказанию первосвященника (Матф. 26, 69—74).— *41.*

[6] благие пожелания (лат.).— *41.*

[7] Т. Р. Мальтус в своей книге «Опыт о законе народонаселения» писал, что для бедняков нет места на пиршестве природы.— *42.*

[8] в бельэтаже (франц.).— *45.*

[9] Из «Оды к премудрой Киргизкайсацкой Царевне Фелице, писанной неким Татарским Мурзою» Державина (у Державина — «запиваю»).— *45.*

[10] силами природы (нем.).— *46.*

[11] *Палеологи* (1261—1453) и *Комнины* (1057—59, 1081—1185) — последние династии византийских императоров, считавшихся наследниками греческой культуры и образованности среди средневекового «варварства»,— в качестве примера обреченной на смерть, пережившей себя культуры.— *47.*

Лейтмотив статьи ясно звучит уже в самом ее названии: «Отжили!» Это — мотив «отходной» старому миру, выносимого ему смертного приговора. Однако пессимистическое убеждение в невозможности социального «воскрешения» старого мира в настоящее время отнюдь не колеблет веры Герцена в правоту и силу идеалов социализма. Беспощадное отрицание учреждений и верований «старого мира» стоит в статье рядом с «приветом» возникающему, будущей «заре».

В статье высказана мысль, чрезвычайно важная для всего последующего развития социальной философии Герцена: «исполнение» социализма будет представлять «неожиданное сочетание отвлеченного учения с существующими фактами». Эта идея займет видное место в обосновании Герценом «русского социализма».

Впервые напечатана на немецком языке в 1850 г. Русский текст впервые опубликован в 1855 г.

[1] Отжили! (лат.) Таким восклицанием Цицерон возвестил римским гражданам о состоявшейся казни пяти участников заговора Катилины.— *48.*

[2] 4 ноября 1848 г. французское Учредительное собрание приняло конституцию; ее торжественное обнародование состоялось 12 ноября (а не 20, как указано у Герцена).— *48.*

[3] *Двое вожатых* — глава исполнительной власти Кавеньяк и председатель Учредительного собрания Марраст.— *48.*

[4] *Июльская колонна* была воздвигнута в 1840 г. на площади Бастилии.— *49.*

[5] См. прим. 10 к с. 32.— *49.*

[6] И. П. Галахов. См. прим. 1 к с. 13.— *49.*

[7] В хранящейся в Государственном Историческом музее писарской копии, восходящей к ранней редакции, после слов «Делаем ли мы это?» было: «Природу человек только и одолевает, изучая ее; в отношении к ней он показывает, как понимает свое участие и свое действие, он не даст ей приказы, как колдун, и не ограничивается ролей праздного зрителя, как вы сказали; он высматривает для того, чтобы, как Франклин, вырвать молнию, чтоб обессилить громовую тучу. Природа всякий раз уступает, ибо она так же мало борется против мысли, как и история,— это все романтический поклеп. Она уступает вам, им — вы сильны изучением ее. Я вас теперь спрашиваю» (см. Варианты.—6, 443).— *52.*

[8] Имеется в виду октябрьское восстание в Вене в 1848 г.— *53.*

[9] досады (франц.).— *54.*

[10] злобу (франц.).— *54.*

[11] 6 августа 1848 г. главнокомандующий австрийской армией *И. В. Радецкий* овладел Миланом, что сыграло решающую роль в подавлении национально-освободительного движения в Ломбардии и во всей Северной Италии.— *54.*

[12] Речь идет о деятельности общегерманского Национального собрания, заседания которого открылись 18 мая 1848 г. Действия собрания во Франкфурте показали полную неспособность немецкой либеральной буржуазии подвинуть вперед решение задач буржуазной революции в Германии. Это учреждение, «претендовавшее быть новой центральной властью в Германии, оставило все в том же самом виде, в каком застало» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 8, с. 49).— *55.*

[13] с точки зрения вечности (лат.).— *55.*

[14] Имеется в виду казнь в сентябре 1792 г. приближенной королевы Марии-Антуанетты *М.Т.Л. де Ламбаль*, принцессы Кариньян — одной из активнейших участниц контрреволюции.— *56.*

[15] Герцен имеет в виду строки Лукреция («О природе вещей», кн. 2):

Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры,
С твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого.
(Пер. Ф. А. Петровского).—*56*.

[16] Восстание в *Палермо* началось 12 января 1848 г.; революционная *Вена* пала 1 ноября 1848 г.—*56*.

[17] Сражение под *Прейсиш-Эйлау* 8 февраля 1807 г. было одним из самых кровопролитных сражений во время наполеоновских войн.—*56*.

[18] 25 июня 1807 г. на плоту посреди Немана у Тильзита состоялось *свидание* Наполеона и Александра I. В результате переговоров между Россией и Францией был заключен Тильзитский мир.—*56*.

[19] всегда в движении (лат.).—*57*.

[20] *Упрямый старик* — король Луи Филипп; *упорный квекер* — Ф.П.Г. Гизо; *бесхарактерный теофилантроп* — А.М.Л. де Ламартин.—*57*.

[21] Имеется в виду Ж. П. Марат, который был врачом.— *57*.

[22] Речь идет о газете Ф. В. Распайля «L'Ami du Peuple».—*57*.

[23] *Диета* — собрание выборных.—*58*.

[24] См. прим. 18 к с. 35.—*60*.

[25] См. *Шекспир*. Король Лир, акт II, сцена 4.—*62*.

[26] А. Барбес за участие в восстании 1839 г., организованном «Обществом времен года», был приговорен к смертной казни, которую король Луи Филипп заменил пожизненным заключением. После Февральской революции Барбес был освобожден.—*63*.

[27] Имеется в виду религиозное празднество в Индии, во время которого на огромной колеснице вывозился идол Джаггернаут.—*64*.

[28] *Каспар Гаузер* — дикий человек, выросший вне контактов с человеческим обществом и обнаруженный в окрестностях Нюрнберга в 1828 г.— *64*.

[29] барщина (от франц. corvée).— *66*.

[30] Временное правительство ввело дополнительный налог в *45 сантимов* на каждый франк по всем четырем прямым налогам. Этот дополнительный налог пал прежде всего на крестьянство. «С этого момента в глазах французского крестьянина *республику* олицетворял *налог в 45 сантимов*...» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 7, с. 22).—*66*.

[31] в порядке дня.— *67*.

Consolatio

Диалог «Consolatio» — продолжение мучительных поисков Герценом верного взгляда на происходящие события и определение собственной позиции. Диалог свидетельствует об усилении в 1849 г. скептических мотивов в герценовской мысли, растущем у него сознании все большего расхождения между его заветными мыслями, стремлениями и идеалами и реальным развитием исторических событий. «Утешение» (Consolatio) он склонен видеть теперь лишь в том, чтобы сохранить трезвость и ясность взгляда, не отступать перед истиной, как бы горька она ни была. Этот печальный вывод не может, однако, считаться полным и исчерпывающим выражением тенденций развития герценовской мысли того времени. Показательно, что авторская дата окончания статьи (1 марта 1849 г.) является также датой, стоящей под герценовским обращением к друзьям в России («Прощайте»), в котором Герцен говорит о своем решении остаться за границей для того, чтобы *работать* для России, чтобы свободной, бесцензурной речью «разбудить дремлющее сознание народа».

Впервые напечатана на немецком языке в 1850 г. В переработанном виде русский текст впервые опубликован в 1855 г.

[1] Утешение (лат.).—*69*.

[2] Не для свободы люди рождены.
(Пер. С. Соловьева).
Гёте. [Торквато] Тассо [,действ. II, явл. I].—*69*.

[3] По евангельскому рассказу, Христос, увидев оплакивавших умершего *Лазаря,* прослезился сам и, придя к пещере, где тот был похоронен, воскресил его (Иоан, 2, 11—45).—*69.*

[4] Так назывались, по имени филантропа А. О. де Монтиона, оставившего бóльшую часть своего состояния для благотворительных целей, установленные во Франции премии за добродетель.—*73.*

[5] если только (франц.).—*74.*

[6] последний, решающий довод (лат.).—*74.*

[7] опровержение (франц.); нелепость (от лат. non — не и sensus — смысл).—*75.*

[8] См. *Руссо Ж. Ж.* Об общественном договоре, или Принципы политического права, кн. I, гл. 1.—*75.*

[9] Общественного договора (франц.). (По названию книги Ж. Ж. Руссо).—*78.*

[10] первенство по достоинству (лат.).—*78.*

[11] См. *Аристотель.* Метафизика I, 3. Эти слова Аристотеля привел Гегель в «Лекциях по истории философии», которые Герцен читал в 1844 г. Герцен неоднократно цитировал эти слова Аристотеля.— *78.*

[12] «Братство или смерть!» (франц.).—*79.*

[13] «Кошелек или жизнь» (франц.).—*79.*

[14] прав человека (франц.).—*79.*

[15] См. прим. 8 к с. 75.—*80.*

[16] жираф (от лат. Cameleopardalidae).— *80.*

[17] «Атеизм аристократичен» (франц.). Слова из речи Робеспьера, произнесенной им в Якобинском клубе 21 июля 1793 г.—*81.*

[18] Праздник Верховного существа (франц.). По предложению Робеспьера 7 мая 1794 г. Конвент принял декрет об установлении новой государственной религии — культа Верховного существа. 8 июня 1794 г. состоялось посвященное Верховному существу торжественное празднество, во время которого Робеспьер выступил в роли своего рода первосвященника.—*81.*

[19] *Клоц* (А. Клоотс) был казнен 24 марта 1794 г.—*82.*

[20] потустороннего (нем.).—*84.*

[21] посюстороннего (нем.).—*84.*

[22] пребывание в стороне (итал.).—*85.*

[23] Мысль о сходстве современного положения в Европе со временем разложения Древнего Рима Герцен высказал в письме к Огареву от 17 октября 1848 г. и повторил в письме к нему же от 10 июня 1849 г., почти буквально воспроизведя то, что сказано о положении римских философов в статье «Consolatio» (см. 23, 141—142).—*85.*

Эпилог 1849

Характеризуя французскую революцию 1848 г. в своей работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», Маркс отметил, что в отличие от революции XVIII в. она двигалась не по восходящей, а по нисходящей линии. 1849 год был годом дальнейшего движения революции «по нисходящей линии» и во Франции, и в других странах Европы (см. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. 8, с. 141). Не удивительно, что в статье Герцена вновь и вновь звучит мотив гибели, смерти старого мира.

Впервые напечатано на немецком языке в органе немецкой демократической эмиграции «New-Yorker Abendzeitung» в 1850 г. Русский текст впервые опубликован в 1855 г.

[1] Агнцы боле тут жертвой не падут,
Но людские жертвы без числа!
(Пер. А. Толстого)
Гёте. «Коринфская невеста».— *87.*

[2] Говоря о *восстановленной гильотине* в Париже, Герцен имеет в виду факты нарушения декрета Временного правительства об отмене смертной казни за политические преступления. *Буржский процесс* — слушавшийся в Бурже 7 марта — 3 апреля 1849 г. процесс вождей революционного массового выступления 15 мая 1848 г. В результате процесса Бланки был приговорен к 10 годам одиночного заключения, другие руководители выступления — к различным срокам тюремного заключения и ссылке в колонии. Под *кефалонийскими виселицами* подразумевается жестокое подавление англичанами восстания на о. Кефалония. *Брат короля прусского* — наследный принц Вильгельм — командовал прусскими войсками, жестоко подавившими в мае — июне 1849 г. революционное движение в Бадене. *Римская республика*, провозглашенная 9 февраля 1849 г. Учредительным собранием в Риме, пала 3 июля 1849 г. в результате интервенции войск Франции, Австрии и неаполитанского королевства. Говоря о *народе, изменившем человечеству*, Герцен имеет в виду участие Франции в интервенции против Римской республики. *Венгерская* армия под командованием Гёргея, изменившего делу революции, 13 августа 1849 г. сдалась русским царским войскам, посланным для подавления восстания в Венгрии.— *87*.

[3] В 80-х гг. I в. до н. э. в Риме во время обострения борьбы между сторонниками *Мария* и приверженцами Суллы, Марий, потерпев сначала поражение, добился затем победы и жестоко расправился со своими противниками.— *87*.

[4] *Роберт Блум* (Блюм) — представитель левого крыла общегерманского Национального собрания — был послан в Вену в качестве комиссара. После взятия Вены контрреволюционными войсками он был арестован, предан военному суду и расстрелян.— *88*.

[5] См. прим. 14 к с. 24. Corci e ricorsi — приливы и отливы (итал.), perpetuum mobile — вечное движение (лат.).— *89*.

[6] суета сует (лат).— *91*.

[7] Герцен цитирует строки Дж. Байрона из «Паломничества Чайльд Гарольда» (песнь I).— *91*.

[8] Имеются в виду создатели социалистических систем первой трети XIX в.— *91*.

[9] См. «Гамлет», акт I, сцена 5.— *92*.

Omnia mea mecum porto

Статья — своего рода кульминация скептических и пессимистических мотивов в мысли Герцена после поражения революции 1848 г. Герцен готов признать неизбежным и теоретически объяснить и оправдать отход от участия в революционной борьбе, поскольку, по его мнению, в то время не было таких общественных сил, которые хотели бы и могли бы осуществить «социальную республику». «Видя, что все рушится, я хотел спастись, начать новую жизнь, отойти с двумя-тремя в сторону, бежать, скрыться... от лишних. И надменно я поставил заглавием последней статьи: «Omnia mea mecum porto»» (10, 234) — так писал впоследствии Герцен в «Былом и думах». Провозглашенный здесь Герценом «надменный» лозунг находился, однако, в резком противоречии со всеми жизненными устремлениями Герцена как мыслителя и революционера. Он не мог стать и не стал итогом развития герценовской мысли.

Впервые напечатано анонимно на немецком языке в журнале «Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben» (1850, N 8). Русский текст в переработанном виде впервые опубликован в 1855 г.

[1] Все свое несу с собой (лат.).— *94*.

[2] «Не Катилина у ваших ворот, а смерть!» Прудон (Голос народа) (франц.). Измененное Герценом выражение Прудона в статье «Философия 10 марта. Статья 2-я», помещенной в газете «La Voix du Peuple» 29 марта 1850 г.— *94.*

[3] «Иди сюда, сядем за стол! Кого же встревожит такая глупость? Мир разлагается, как гнилая рыба, мы не станем его бальзамировать» (нем.). Не совсем точная цитата из «Кротких Ксений» Гёте.— *94.*

[4] По евангельскому преданию, *Симеон-богоприимец*, старец-священник, воспринял в иерусалимском храме новорожденного Христа (Лук. 2, 25—32).— *95.*

[5] Дело чести (франц.).— *96.*

[6] По библейскому преданию, все жители городов *Содом* и *Гоморра* были истреблены богом за их развратную жизнь, за исключением Лота и его двух дочерей (Быт. 19,1—29).— *100.*

[7] Герцен имеет в виду полемику Прудона с республиканскими членами Горы. Увлеченный резкими выступлениями Прудона против буржуазной демократии, Герцен в 1848—1850 гг. склонен был видеть в Прудоне самого смелого и последовательного революционера во Франции (см., например, его письмо к московским друзьям в сентябре 1849 г.— 23, 189). Следует иметь в виду, что Герцену были неизвестны многие откровенные выражения соглашательских устремлений Прудона, содержавшиеся в его «Записных книжках» и в переписке.— *101.*

[8] Имеются в виду статьи Прудона, направленные против Луи Наполеона, вызвавшие тюремное заключение Прудона и притеснения, которым он подвергся, уже находясь в тюрьме.— *101.*

[9] В 1849 г. *Э. Кабе* пытался организовать коммунистическую колонию в Северной Америке.— *101.*

[10] См. прим. 10 к с. 32.— *105.*

[11] Герцен имеет в виду изображенные Б. Констаном в его романе «Адольф» взаимоотношения между Адольфом и Элеонорой (у Герцена *Альфред* вместо Адольф).— *107.*

Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас, и Юлиан, император Римский

25 февраля 1850 г. Герцен писал Г. Гервегу: «Я хотел было послать тебе весьма замечательную речь некоего Донато Кортеса (в Мадриде), но она мне нужна, я хочу написать об этом несколько слов. Вот оно — desperatio [отчаяние] и дикий крик ужаса. Смысл всего того, что он говорит, таков: существует лишь одно средство спасти общество — это постоянная армия. Солдат и поп! Власть и пассивное повиновение» (23, 281). «Средству», предложенному Донозо Кортесом, попытке представить католицизм «спасением» мира, Герцен противопоставляет убеждение, что обновить и «спасти» общество может только социализм.

Впервые напечатано на французском языке в парижской газете «La Voix du Peuple» 18 марта 1850 г. Русский перевод (отчасти переработанный) впервые напечатан в издании 1855 г.

[1] По евангельскому преданию, апостол Фома не верил в воскресение Христа до тех пор, пока не коснулся его ран (Иоан. 20, 24—29).— *109.*

[2] *Речь* испанского политического деятеля *Кортеса* была произнесена 30 января 1850 г. в Законодательном собрании в Мадриде.— *110.*

[3] *Нантский эдикт*, изданный Генрихом IV в 1598 г., был своеобразным компромиссом между католической и протестантской (гугенотской) группами французского дворянства. Объявляя католицизм господствующей религией во Франции, он в то же время предоставлял значительные права и привилегии гугенотам.— *113.*

[4] В стихотворении Байрона «Тьма» (1816) изображено видение гибнущего мира и смерти двух еще остававшихся в живых людей, не выдержавших ужасного вида друг друга. Это стихотворение Байрона Герцен не раз упоминал в своих произведениях и письмах (см. «Западные арабески», а также письмо М. Гессу от 26 ноября 1849 г.— 23, 210).— *114.*

[5] «Благо народа — высший закон, пусть погибнет мир, да совершится правосудие» (лат.).— *114.*

[6] Герцен имеет в виду книгу ярого противника революции и атеизма Жозефа де Местра «О папе» (1819).— *115.*

[7] передовица (франц.).— *115.*

[8] Особенно жестокая расправа с еретическим движением альбигойцев произошла во время начатого в 1209 г. по инициативе римского папы крестового похода против них. *Варфоломеевская ночь* — наиболее кровавый эпизод религиозных гражданских войн во Франции в XVI в., массовая резня гугенотов в Париже в ночь на 24 августа (день св. Варфоломея) 1572 г.— *115.*

[9] Восклицание, приписываемое христианскими апологетами боровшемуся против христианства Юлиану Отступнику.— *117.*

[10] *Общества улицы Пуатье* — в 1848—1849 гг. руководящий штаб так называемой партии порядка, объединявшей монархические партии легитимистов, орлеанистов и бонапартистов, а также некоторых особо реакционных буржуазных республиканцев.— *117.*

О развитии революционных идей в России

Книга занимает важное место в идейном наследии Герцена. Здесь наиболее полно и систематически изложена его концепция истории России; эта концепция выступает историческим обоснованием идей «русского социализма». Особый интерес книга представляет для истории русской общественной мысли. Печатаемые в настоящем томе главы, характеризующие русскую мысль и русскую литературу 1830—1840-х гг., наряду с соответствующими главами «Былого и дум» по праву заняли одно из важнейших мест в демократическом направлении историографии русской общественной мысли XIX в.

В V главе Герцен впервые сформулировал вывод, имевший огромное значение для развития его теории «русского социализма» и его социальной философии в целом: восстание декабристов показало, что существует «разрыв» между передовой русской мыслью и массами народа, устранение которого является важнейшей и настоятельнейшей задачей русского освободительного движения.

Впервые опубликована в 1851 г. на немецком языке в журнале «Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben», Januar — Mai. Перевод не авторизован. В 1851 г. вышла отдельным изданием на французском языке в Ницце; второе издание книги, дополненное и отредактированное Герценом, вышло в 1853 г. В русском переводе впервые издана в 1861 г., без участия Герцена, в Москве, нелегально, литографическим способом. Печатается в настоящем томе в переводе С. И. Рошаль.

[1] Имеется в виду книга Кюстина «La Russie en 1839» («Россия в 1839 г.»), вышедшая в Париже в 1843 г. В России книга была строжайше запрещена, однако распространялась нелегальными путями. Герцен познакомился с нею в 1843 г. (см. Дневник за 1843 г.— 2, 311—313).— *118.*

[2] Имеются в виду крестьянские волнения в начале 1840-х гг. в Казанской, Вятской и ряде других губерний.— *121.*

[3] Сведения Герцена о печатании *в типографии Н. И. Греча* «революционных прокламаций» не соответствовали действительности.— *124.*

[4] по должности (лат.).— *124.*

[5] Очевидно, имеется в виду так называемый сунгуровский заговор 1831 г.— дело, по которому была осуждена группа *студентов* Московского университета, обвинявшихся в том, что они не донесли правительству о намерении Н. П. Сунгурова создать тайное революционное общество.— *126.*

[6] Журнал «Библиотека для чтения», основан в 1834 г.— *127.*

[7] *Приветствие... Николаю* — стихотворение Пушкина «Герой»; *два политических стихотворения* — «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России».— *128.*

[8] Имеется в виду книга «Выбранные места из переписки с друзьями».— *128.*

[9] Слово *материализм* Герцен употребляет здесь не в его философском смысле, а как понятие обыденного сознания (приверженность материальным благам и чувственным удовольствиям).— *128.*

[10] Первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева было опубликовано в «Телескопе» в 1836 г., № 15.— *129.*

[11] Цитата из первого «Философического письма» Чаадаева.— *129.*

[12] Слова из трагедии французского драматурга Ж. Ротру «Венцеслав». В некоторых списках стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта» помещены как эпиграф.— *132.*

[13] Цитата из стихотворения Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского».— *132.*

[14] Известная античная скульптурная группа *Лаокоон* (I в. до н. э.) изображала троянского жреца Лаокоона и двух его сыновей в момент, когда их душат две гигантские змеи, посланные Аполлоном в наказание Лаокоону. Содержание, которое вложено здесь в слова о трагическом *в смысле Лаокоона*, раскрывается в «Prolegomena», где Герцен говорит о русском народе как о Лаокооне, борющемся с «двумя змеями» — дворянством и правительством (см. наст. том, с. 513).— *135.*

[15] Такого рода высказывания содержатся в «Мертвых душах», в «Театральном разъезде после представления новой комедии» и в «Развязке «Ревизора»».— *136.*

[16] См. прим. 24 к с. 175.— *136.*

VI. Московский панславизм и русский европеизм

Глава показывает изменение взглядов Герцена на славянофильство по сравнению с 40-ми гг. Если ранее Герцен рассматривал славянофильство как течение целиком книжное, литературное, не имеющее корней в русской жизни, то теперь он видит в нем явление, порожденное русскими условиями, попытку найти выход из существующего положения в России. Резко критикуя славянофилов за идеализацию допетровских порядков и православия, за монархизм, Герцен в то же время не рассматривает их как сторонников правительства и потому считает возможным союз со славянофилами в общей борьбе против николаевского режима.

[1] Отец Белинского служил флотским лекарем в Кронштадте, затем был уездным врачом в Чембаре (ныне г. Белинский).— *141.*

[2] За формальными мотивами исключения *Белинского* из Московского университета стояло стремление университетского начальства избавиться от вольнодумного студента — автора антикрепостнической драмы «Дмитрий Калинин», написанной Белинским во время пребывания в университете.— *141.*

[3] Имеется в виду книга *Л. Фейербаха* «Сущность христианства»; *газета Арнольда Руге* — литературно-философский журнал левых гегель-

янцев «Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst» (1838—1841).— *143.*

[4] Термины *прекраснодушие*, «прекрасная душа», употреблявшиеся в кружках русской молодежи в 1830—1840 гг., были восприняты от Шиллера и Гёте (см., например, *И. В. Гёте.* Годы учения Вильгельма Мейстера; *Ф. Шиллер.* О грации и достоинстве). Постепенно они утратили тот смысл, в котором употребляли их Шиллер и Гёте,— «прекрасная душа» как гармоническое единство в человеке разума и чувственности, долга и склонности — и приобрели иронический оттенок: «прекраснодушие» стало означать отрыв от реальной действительности, непонимание ее и неумение с ней считаться.— *144.*

[5] Сложившиеся ранее и укоренившиеся традиции и представления (от исп. fuero, в данном случае — обычай, обычное право).— *146.*

[6] Герцен использует эпизоды евангельских преданий: о *Никодиме* (Иоан. 3, 1—21), о *рыбаках*, ставших учениками Христа (Матф. 4, 18—22).— *147.*

[7] Во время тюремного заключения в 1849 г. Прудон продолжал выступать со статьями и писать книги.— *147.*

[8] Имеются в виду статья К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» («Современник», 1847, № 2) и статья Ю. Ф. Самарина «О мнениях «Современника» исторических и литературных» («Москвитянин», 1847, ч. II).— *149.*

[9] действии совершенном... действии совершающемся (лат.).— *150.*

[10] «Господин и раб» (нем.).— *151.*

[11] Имеются в виду так называемые потемкинские *деревни.*— *152.*

[12] Герцен цитирует вышеназванную статью Ю. Ф. Самарина в «Москвитянине».— *152.*

[13] Герцен считал, что признание *славянофилами* общины как основы сложившегося народного быта и дальнейшего развития страны означает близость славянофильства к идеям социализма.— *153.*

Русский народ и социализм

С французским историком Ж. Мишле Герцен познакомился в Париже в июне 1851 г. Как показывает их переписка (встретились вновь они лишь в 1864 г.), между ними установились дружеские отношения. Мишле с большим уважением отзывался об известных ему произведениях Герцена (в особенности о книге «Du développement des idées révolutionnaires en Russie», которую Герцен подарил ему при их знакомстве). С своей стороны Герцен ценил демократическую и антиклерикальную направленность работ французского историка (см. 12, 227—290).

Поводом для выступления Герцена с открытым письмом к Мишле послужили неверные и несправедливые оценки русского народа и его революционных возможностей, содержавшиеся в очерке Мишле «Pologne et Russie. Légende de Kostiuszko» («Польша и Россия. Легенда о Костюшко»), напечатанной в августе — сентябре 1851 г. в парижской газете «L'Avènement du Peuple». Открытое письмо Герцена было написано в сентябре 1851 г. и впервые опубликовано на французском языке в той же газете. В конце 1851 г. оно было напечатано в Ницце отдельной брошюрой, которая, однако, не получила распространения во Франции, так как почти весь отправленный туда тираж был конфискован французской таможенной полицией в Марселе. В авторизованном русском переводе оно вышло отдельным изданием в Лондоне в 1858 г.

Цель выступления Герцена отнюдь не сводилась лишь к критике ошибочных мнений Мишле. Открытое письмо к французскому историку было частью задачи, поставленной перед собой Герценом за рубежом,—

«знакомить Европу с Русью». Задача эта включала пропаганду идей «русского социализма». Рассматриваемое в этом плане открытое письмо к Мишле — один из программных документов герценовской мысли, важная веха в развитии идей «русского социализма» как разновидности ранненароднических воззрений. Именно здесь впервые была сформулирована важная и характерная для всего русского народничества мысль: «Человек будущего в России — мужик». Письмо к Мишле в известной мере было также своеобразным ответом на дошедшие до Герцена критические отзывы его московских друзей о книге «Du développement des idées révolutionnaires en Russie» (см. прим. 28 к с. 179).

Мишле принял герценовскую критику с пониманием и уважением. Несколько лет спустя, публикуя в «Полярной звезде» рецензию на «Renaissance» Мишле, Герцен в примечании напомнил читателям о своем письме к Мишле и добавил: «Мишле с величайшим беспристрастием принял мои замечания, требовал серьезных объяснений, согласился с ними и это с той искренностью и простотой, которая только принадлежит людям, страстно любящим истину» (12, 288—289).

Впервые опубликовано в сильно сокращенном виде на французском языке в парижской газете «L'Avènement du Peuple» № 63 (1851 г., 19 ноября) под заглавием «Le peuple russe. Lettre à M. J. Michelet, professeur au Collège de France». Первое отдельное издание вышло в Ницце в 1851 г., первое русское издание было напечатано в Лондоне в 1858 г.

[1] Инициал «И» в имени Мишле — от русского перевода имени Жюль (Иулий).— *154.*

[2] быть или не быть (англ.) — слова Гамлета в одноименной трагедии У. Шекспира (акт III, сцена 1).— *155.*

[3] *Шекспир У.* «Ричард II», акт II, сцена 1.— *156.*

[4] См. прим. 5 к с. 41.— *156.*

[5] Речь идет о падении в 1849 г. под ударами вторгшихся французских войск Римской республики, провозглашенной в 1848 г.— *158.*

[6] В январе 1831 г. варшавские повстанцы отслужили панихиду по пяти повешенным декабристам.— *159.*

[7] Имеется в виду выступление Бакунина 29 ноября 1847 г. в Париже на празднестве в честь годовщины польского восстания 1830 г.— *160.*

[8] См. *Аристотель.* Физика II, 9.— *160.*

[9] Во французском тексте «apatie étonnante» (см. 7, 280) — удивительную апатию. Возможно, опечатка в русском издании 1858 г.— *161.*

[10] По библейскому преданию, во время пира Валтасара таинственная рука начертала на стене слова «мене, мене, текел, упарсин» (исчислено, взвешено, разделено), предвещавшие гибель Валтасару и Вавилону (Дан. 5, 5; 25—28).— *162.*

[11] См. прим. 4 к с. 73.— *163.*

[12] непременное (лат.).— *163.*

[13] Суждение Гегеля о хитрости Герцен отметил в 1844 г. при чтении книги Розенкранца «Жизнь Гегеля» (см. 2, 381).— *164.*

[14] Герцен имеет в виду реформаторскую деятельность Петра I.— *168.*

[15] Герцен цитирует книгу Л. Тенгоборского «Études sur les forces productives de la Russie», v. I. Paris, 1852.— *168.*

[16] В «Легенде о Костюшко» Мишле упомянул о крестьянском восстании в Поволжье.— *170.*

[17] В книге «Du développement des idées révolutionnaires en Russie», глава VI (см. 7, 243).— *170.*

[18] Право первой ночи (лат.).— *171.*

[19] Олений парк (франц.) — название района Версаля, служившего местом развратных похождений Людовика XV.— *172.*

[20] ямах ада (итал.).— *173.*

[21] Не вполне точная цитата из монолога Сальери в «Моцарте и Сальери» Пушкина.— *174.*

[22] Лермонтов написал стихотворение «Дума», цитируемое Герценом, в 24 года.— *174.*

[23] Речь идет о картине *К. Брюллова* «Последний день Помпеи». Аналогичное мнение об этой картине Герцен высказал в 1842 г. в дневнике (см. 2, 229).— *174.*

[24] Имеется в виду превращение, происшедшее с героем трагедии Байрона, легендарным ассирийским царем *Сарданапалом.*— *175.*

[25] Во французском тексте «du reste de l'Europe» (остальной Европы) (см. 7, 297). Возможно, опечатка в русском издании 1858 г.— *175.*

[26] сомнения (от франц. scrupule).— *176.*

[27] золотой серединой (франц.).— *177.*

[28] О Гакстгаузене см. прим. 8 к с. 12.— *179.*

[29] В 1851 г. Бакунин находился не в *Шлиссельбурге,* а в Петропавловской крепости.— *181.*

БЫЛОЕ И ДУМЫ

Глава XXV

Глава, равно как и печатаемая ниже XXX глава четвертой части «Былого и дум», уже вскоре после публикации получила в русской литературе особое значение. Здесь не только освещались интересные эпизоды жизни Герцена и ряда близких ему людей; в этих главах своеобразно воссоздавался важный этап *истории русской общественной мысли,* была дана яркая характеристика личности, идей, образа мышления виднейших представителей русской интеллигенции 30—40-х гг. XIX в.— Станкевича, Белинского, Грановского, Чаадаева, братьев Киреевских, Хомякова и др. Более того, в ткани герценовского рассказа явственно проступали некоторые общие существенные черты и закономерности развития русской мысли на данном этапе. Страницы герценовских мемуаров чрезвычайно точно и живо передавали общую *атмосферу* идейной жизни 30—40-х гг.— атмосферу самоотверженных теоретических *исканий.* Не скрывая трудностей, с которыми сталкивалась передовая русская мысль в процессе этих исканий, не обходя ее ошибок и заблуждений, Герцен по достоинству оценил присущие ее представителям глубину теоретических интересов, страстное стремление к истине, готовность к борьбе за свои убеждения.

С точки зрения развития философской мысли в России особый интерес представляет герценовское освещение той роли, которую сыграла в этом немецкая классическая философия (Шеллинг, Гегель, Фейербах), и того, как русская мысль «перерабатывала» идеи немецких мыслителей. Проницательность герценовского анализа, меткость и живость данных им характеристик лиц и идей сделали его мемуары одним из основных источников по истории русской философской мысли 30—40-х гг. В таком значении их утвердило, в частности, широкое использование материалов XXV главы (в публикации «Полярной Звезды» на 1855 г.) Чернышевским в шестой главе «Очерков гоголевского периода русской литературы». Рассказанная Герценом история «переработки» русской мыслью философии Гегеля послужила Чернышевскому основанием для сделанного им вывода: «С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету» (*Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч., т. III. М., 1947, с. 224).

В некоторых случаях герценовские утверждения и оценки не вполне

точны. В первую очередь это относится к характеристике Н. В. Станкевича и его кружка. Следует иметь в виду, что Герцен не соприкасался непосредственно с кружком в наиболее интенсивный период деятельности последнего (1834—1837). Суждения о кружке, высказанные в XXV главе «Былого и дум», основывались преимущественно на впечатлениях от встреч с членами кружка в более позднее время (1839—1840). Сопоставляя кружок, группировавшийся в начале 30-х гг. вокруг него и Огарева, с кружком Станкевича, Герцен верно отметил преобладание в первом интересов политических, во втором — философско-эстетических. Однако в герценовских характеристиках обоих кружков слишком подчеркивались различия между ними и «направление» кружка Станкевича односторонне определялось как «почти исключительно умозрительное». Не вполне точными были и характеристики идейного развития некоторых членов кружка, в том числе самого Станкевича и Бакунина.

Впервые опубликована в «Полярной Звезде» (1855 г., кн. I, с. 81—101) в составе «Былого и дум (отрывки из третьего тома «Записок Искандера»)» как глава VIII с названием «Юная Москва» и с подзаголовками: «Круг Станкевича — Философский формализм — Профессор М. Павлов — В. Белинский и М. Бакунин — Гегель — Ссора с Белинским и мир — Новгородские споры с дамой». Как свидетельствует замечание в тексте главы, вариант, опубликованный в «Полярной Звезде», был написан Герценом в 1854 г. Подготавливая отдельное издание своих мемуаров, Герцен дополнил и подверг стилистической правке главу; она была включена во II том «Былого и дум», вышедший в декабре 1861 г., и получила новую нумерацию (глава XXV) в соответствии с общей нумерацией глав I и II томов. Часть главы, дополнившая первоначальный вариант, была опубликована в VII книге «Полярной Звезды» на 1862 г. (выпуск 1, с. 112—124) под названием «Юная Москва тридцатых годов (круг Станкевича)» с авторским примечанием: «Из ненапечатанной части «Былого и дум»».

[1] 3 марта 1838 г. Герцен тайно приезжал из Владимира в Москву для свидания со своей будущей женой Н. А. Захарьиной. 9 мая —дата приезда Герцена и Н. А. Захарьиной во Владимир и их венчания.— *183.*

[2] Из стихотворения Шиллера «Resignation» («Отречение»).— *183.*

[3] См. «Дон Карлос» Ф. Шиллера, действ. II, явл. 2.— *184.*

[4] Дело, занятие (англ.).— *184.*

[5] Н. П. Огарев женился в Пензе, где он отбывал ссылку, на М. Л. Рославлевой, племяннице пензенского губернатора А. А. Панчулидзева.— *185.*

[6] сдержанность (франц.).— *186.*

[7] сущности (от франц. fond).— *186.*

[8] власти природы (нем.).— *187.*

[9] обиды (франц.).— *187.*

[10] Имеются в виду Н. Х. Кетчер и Н. М. Сатин, бывшие членами герценовского кружка в начале 30-х гг.— *189.*

[11] Ко времени возвращения Герцена из Владимира в *Москву* Грановский уже вернулся в Россию.—*190.*

[12] Станкевич уехал за границу в 1837 г.; умер он в ночь на 25 июня 1840 г. в итальянском городе Нови, недалеко от озера Комо.— *190.*

[13] *Привратником гегелевской философии* Г. Гейне назвал А. Руге в предисловии ко 2-му изданию своей работы «К истории религии и философии в Германии» (1852).— *191.*

[14] На *Маросейке* жил В. П. Боткин, у которого в то время часто собирались (а иногда и жили) друзья по кружку Станкевича. На *Моховой* улице расположен Московский университет.— *191.*

[15] в сыром виде (лат.).— *191.*

[16] Из стихотворения Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во врем бессонницы».— *192.*

[17] «Фауст» Гёте, ч. I, сцена 4.— *172.*

[18] Здесь: задушевности, лиризму (от нем. Gemüt).— *192.*

[19] наоборот (лат.).— *193.*

[20] Имеется в виду заметка Гегеля в «Исторических этюдах» о публичной казни. Герцен был знаком с этой заметкой еще по первой ее публикации в альманахе Р. Прутца «Literarhistorisches Taschenbuch» (1843).— *193.*

[21] Эта трактовка Герценом тезиса Гегеля в «Философии права» была подвергнута критике Г. В. Плехановым, справедливо утверждавшим, что начало достаточной причины «несравненно беднее содержанием, нежели этот тезис» (*Плеханов Г. В.* Избр. филос. произв. в пяти томах, т. IV. М., 1958, с. 721). Однако Герцен не всегда отождествлял тезис о разумности действительного с началом достаточной причины. Так, в статье «Буддизм в науке», критикуя «формалистов» и имея в виду, в частности, русских проповедников «примирения с действительностью», он писал: «...они проповедовали примирение со всей темной стороной современной жизни, называя все случайное, ежедневное, отжившее, словом, все, что ни встретится на улице, *действительным* и, следственно, имеющим право на признание; так поняли они великую мысль, «что все действительное разумно...»» (3, 77).— *194.*

[22] Рим. 13, 1.— *194.*

[23] испить из самого источника (лат.).— *195.*

[24] Имеется в виду книга: *Michelet G.* Vorlesungen über die Persönlichkeit Gottes und Unsterblichkeit der Seele (Лекции о личности бога и бессмертии души). Berlin, 1841.— *195.*

[25] Знакомство Герцена с В. И. Филипповичем и его женой Л. Д. Филиппович состоялось в конце 1841 г.— *195.*

[26] А. И. Тиме.— *197.*

[27] Речь идет о книге Ф. Шеллинга «Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums». Tübingen, 1803 («Лекции о методе академических занятий»).— *197.*

[28] Имеется в виду сочинение К. Бурдаха «Die Phisiologie als Erfahrungswissenschaft». Leipzig, 1835—1840 («Физиология как опытная наука»).— *197.*

[29] дух (нем.).— *198.*

[30] «Сущность христианства» (нем.). Н. П. Огарев заехал в Новгород, направляясь за границу, 31 мая 1842 г.— *198.*

[31] Во время кратковременного пребывания Герцена в Петербурге в декабре 1839 г. между ним и Белинским происходили те споры, о которых Герцен рассказал выше. «Примирительное» их *свидание* состоялось в середине 1840 г.—*198.*

[32] более роялисты, чем сам король (франц.).— *199.*

[33] Имеется в виду первое «Философическое письмо» *П. Я. Чаадаева,* опубликованное в «Телескопе» в 1836 г., № 15.— *199.*

[34] Герцен имеет в виду статью восьмую из цикла статей Белинского «Сочинения Александра Пушкина».— *200.*

[35] «О развитии революционных идей в России», гл. VI.— *200.*

[36] Вероятно, А. Краевский.— *201.*

[37] нижние этажи (франц.).— *201.*

[38] в тесной компании (франц.).— *201.*

[39] И. И. Панаеву.— *202.*

[40] Я. М. Неверов (в 30-х гг.— друг Н. В. Станкевича).— *203.*

[41] благопристойную и умеренную (франц.).— *203.*

[42] Огарев приехал к Герцену в Лондон 9 апреля 1856 г.— *205.*

[43] Имеется в виду книга «Николай Владимирович Станкевич. Пере-

писка его и биография, написанная П. В. Анненковым» (М., 1857). Герцен прочел ее в 1861 г. 1 марта он писал И. С. Тургеневу: «Не постигаю, каким образом я в свое время не прочитал Анненкова книгу «О Станкевиче». Это чрезвычайно важная публикация. Так и пахнет чистым, родным воздухом — от этой кучки людей благородных, идеалистов. Ну где же в Европе (кроме Италии) вы встретите что-нибудь подобное?» (27, кн. 1, 138). Мысль, заключенная в последней фразе, повторена Герценом в настоящей главе «Былого и дум».— *205.*

[44] Имеются в виду «Сочинения В. Белинского», ч. 1—12, изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина (М., 1859—1862). Первые четыре части вышли в 1859 г.— *205.*

[45] В действительности появление книги П. В. Анненкова вызвало отклик в журналах того времени. Особенно важное значение имела публикация в «Современнике» (1858, кн. IV) статьи Н. А. Добролюбова «Николай Владимирович Станкевич», полемически направленной против отзыва о книге Анненкова И. Льховского в «Библиотеке для чтения». Статья Добролюбова, в которой содержалась высокая оценка Станкевича, и в частности роли Станкевича в идейном развитии Белинского, была (наряду с «Очерками гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского) одним из проявлений борьбы революционных демократов 60-х гг. за наследие передовой русской мысли предшествующих десятилетий.— *205.*

[46] Использовать *Гегеля* для обоснования некоторых славянофильских идей пытались, в частности, Ю. Ф. Самарин и К. С. Аксаков.— *207.*

[47] мещанину (от нем. Spießbürger).— *207.*

[48] школьник... уже будущий рассудительный мужчина, умеющий воспользоваться положением (франц.).— *208.*

[49] *Н. П. Сунгуров* и члены его кружка были сосланы в 1833 г.— *209.*

[50] В действительности «ученые занятия» Н. В. Станкевича в середине 30-х гг. имели гораздо более серьезный и целенаправленный характер.— *211.*

[51] Утверждение Герцена неточно. Еще во время военной службы в Западном крае в 1834 г. *Бакунин* довольно много читал, в том числе книги по истории и философии.— *212.*

[52] Не совсем точная цитата из письма Т. Н. Грановского к Я. М. Неверову от 8 августа 1840 г.— *213.*

[53] гуманизма (лат.).— *213.*

[54] стой, путник (лат.).— *214.*

[55] «Былое и думы» (первая часть) вышли в переводе Делаво под заглавием «Le Monde russe et la Révolution. Mémoires de A. Hertzen. 1812—1835». Paris, 1860. Письмо В. Гюго к Герцену от 15 июля 1860 г. опубликовано в издании Сочинений Герцена под ред. М. К. Лемке (т. 14, с. 796).— *214.*

[56] «Исповедь сына века» (франц.).— *214.*

Глава XXX

НЕ НАШИ

Как уже отмечалось (см. прим. к главе XXV «Былого и дум»), XXX глава четвертой части мемуаров Герцена имеет важное значение как источник по истории общественной мысли в России во второй четверти XIX в. Значительный интерес в этом плане представляют содержащиеся в главе характеристики славянофильства 40-х гг. и его отдельных представителей. Здесь отразилось отношение Герцена к славянофильству, характерное для того времени, когда он выступал как родоначальник

своеобразной формы ранненароднических воззрений — «русского социализма». Как и ранее (в 40-х гг.), Герцен решительно отвергает идеализацию славянофилами допетровских форм русской общественной жизни и славянофильскую религиозно-идеалистическую философию. Вместе с тем Герцен считает теперь, что в славянофильстве имеются скрытые за ошибочной религиозной доктриной верные и глубокие идеи. К ним он относит в первую очередь понимание славянофилами русской сельской общины. Однако при этом Герцен, в противоположность славянофилам, подчеркивает, что развитие зародышей нового общественного устройства, заключенных, по его мнению, в сельской общине, возможно лишь на основе соединения русского «быта» и западной «мысли» (т. е. идей социализма).

Важное значение для истории русской общественной мысли имела герценовская характеристика П. Я. Чаадаева. «Былое и думы» и «О развитии революционных идей в России» положили начало той трактовке идей Чаадаева, которая, не отрицая религиозно-идеалистического характера чаадаевской мысли, связывала историческое место и значение Чаадаева в первую очередь с открыто заявленным им протестом против самодержавно-крепостнических порядков в России. Эта трактовка, получившая свое дальнейшее развитие в трудах Чернышевского, Плеханова и советских историков отечественной философии, противостоит попыткам отделить Чаадаева от истории российского освободительного движения, представить его далеким от освободительных идей мистиком (М. Гершензон, а также ряд зарубежных историков русской мысли). Оставшиеся неизвестными Герцену и выявленные лишь после Октябрьской революции архивные материалы (записи и письма Чаадаева) подтверждают правоту традиции, начало которой положил своей трактовкой Чаадаева Герцен.

Первый раздел главы впервые опубликован в «Полярной Звезде» на 1855 г., кн. I, с. 150—160 в составе главы XI «Еще раз юная Москва» с подзаголовками: «Новый московский круг — Панславизм и П. Я. Чаадаев — Запад и Восток Европы». Второй раздел впервые опубликован в «Полярной Звезде» на 1858 г., кн. IV, с. 133—148 в составе главы III с подзаголовками: «Наши и не наши — Тогдашняя жизнь — И. П. Галахов — Славянофилы — Киреевские и Хомяков — Московские литературные вечера — Новое поколение — Начало разномыслия». Перепечатано в издании «Былого и дум» 1861 г. в переработанном виде, с дополнениями и изменением нумерации главы.

[1] Цитата из написанного Герценом некролога К. С. Аксакову (см. 15, 9—11).— *215.*

[2] наши друзья-враги... наши враги-друзья (франц.). Из стихотворения П. Беранже «Мнение этих девиц».— *215.*

[3] Австрийский канцлер *К. В. Меттерних* презрительно говорил об Италии, что она представляет собой лишь «географическое понятие».— *216.*

[4] германизмом (от старонем. Teutschtum).— *216.*

[5] «Сколь дорога отчизна благородному сердцу» (франц.) — неточная цитата из трагедии Вольтера «Танкред» (акт III, сцена 1).— *217.*

[6] Герцен иронизирует над псевдонародным языком патриотических прокламаций, выпускавшихся в 1812 г. московским главнокомандующим и военным губернатором *Ф. В. Ростопчиным.*— *217.*

[7] Намек на стихотворение Пушкина «Клеветникам России».— *218.*

[8] «Боже, храни короля» (англ.) — государственный гимн Великобритании.— *218.*

[9] Имеется в виду *статья* М. А. Погодина «О прибытии царской фамилии в Москву» («Москвитянин», 1849, № 7, кн. I).— *218.*

[10] Имеется в виду драма С. А. Гедеонова «Смерть Ляпунова».— *218.*

[11] Пьеса Н. В. Кукольника *«Рука всевышнего отечество спасла»* носила монархический и шовинистический характер. Критическая рецензия Н. А. Полевого на эту пьесу послужила поводом для закрытия в 1834 г. журнала «Московский телеграф».— *218.*

[12] *Л. Гай* — хорватский политический деятель, один из руководителей иллиризма — общественно-политического и культурного движения в Хорватии 30—40-х гг. XIX в. Во время посещения России в 1840 г. Л. Гай сблизился с московскими славянофилами. В 1848—1849 гг. поддерживал И. Елачича, избранного баном (наместником) Хорватии и проводившего политику, направленную против революционной Венгрии.— *219.*

[13] Имеется в виду С. П. Шевырев.— *219.*

[14] «Оставьте всякую надежду» (итал.). Цитата из поэмы Данте «Божественная комедия» («Ад», песнь 3).— *220.*

[15] Неточность Герцена. Пятнадцатая книжка *«Телескопа»*, где было напечатано первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, вышла в свет осенью 1836 г. (ценз. разр. от 29 сентября 1836 г.).— *220.*

[16] Герцен излагает одно из мест первого «Философического письма».— *221.*

[17] После публикации в «Телескопе» «Философического письма» Чаадаева *Ф. Ф. Вигель* послал митрополиту Серафиму возмущенное письмо, имевшее характер доноса. Однако решение о закрытии «Телескопа» состоялось раньше и независимо от письма Вигеля.— *221.*

[18] знати (англ.).— *222.*

[19] Из стихотворения А. С. Пушкина «Полководец».— *222.*

[20] За сражение под Кульмом Чаадаев получил не железный *крест*, а орден св. Анны.— *222.*

[21] Неточная цитата из стихотворения Пушкина «К портрету Чаадаева».— *222.*

[22] Чаадаев жил на Новой *Басманной* ул.— *222.*

[23] Имеется в виду возмущение Семеновского гвардейского полка в 1820 г. Генерал *Ил. В. Васильчиков* был тогда командиром гвардейского корпуса, в состав которого входил Семеновский полк.— *223.*

[24] Александр I находился в октябре 1820 г. в Троппау, где был созван II конгресс Священного союза.— *223.*

[25] Существует несколько версий, объясняющих причины ухода *Чаадаева* в *отставку*. Герцен излагает одну из них, распространенную в его время. Точные причины ухода Чаадаева в отставку полностью не выяснены.— *224.*

[26] В Северное *общество* декабристов *Чаадаев* вступил в 1821 г.— *224.*

[27] *Чаадаев* вернулся в Россию из-за границы в 1826 г.— *224.*

[28] С *Шеллингом Чаадаев* познакомился в 1825 г. в Карлсбаде, позднее их знакомство поддерживалось перепиской. Философские воззрения Чаадаева периода «Философических писем» в определенной мере связаны с философией раннего Шеллинга, главным образом с «Системой трансцендентального идеализма». Высоко ценя философскую деятельность Шеллинга, Чаадаев в то же время признавался, что движение его мысли далеко не всегда совпадало с построениями и выводами немецкого философа (см. Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, т. II. М., 1914, с. 183). Шеллинг отзывался о Чаадаеве с большим уважением.— *224.*

[29] городу и миру (лат.).— *225.*

[30] как дети (франц.).— *225.*

[31] Не совсем точная цитата из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву» (1818).— *226.*

[32] Цитата из стихотворения Пушкина «Чаадаеву» («К чему холодные сомненья») (1824). Герцен ошибочно отнес дату написания стихотворения ко времени после вступления на престол *Николая I.*— *226.*

[33] «Соборное Уложение царя Алексея Михайловича» 1649 г.— *228.*

[34] Подразумевается коалиция Англии и Франции в Крымской войне против России в 1853—1856 гг.— *230.*

[35] к вящей славе Гегеля (лат.).— *232.*

[36] непринужденности (франц.).— *233.*

[37] Давно минувшие времена... (итал.).— *233.*

[38] болтовня (от франц. causerie).— *234.*

[39] *Беришоны* — жители французской провинции Берри, где жила Жорж Санд.— *234.*

[40] Журнал *«Европеец»* издавался И. В. Киреевским в 1832 г. Издание было прервано на третьем номере. Главным поводом к закрытию журнала послужила статья И. В. Киреевского «Девятнадцатый век» (начало в № 1 журнала, окончание — в № 3, не вышедшем в свет), написанная, по выражению Николая I, «в духе самом неблагонамеренном».— *237.*

[41] В альманахе *«Денница»* на 1830 г. была помещена статья И. В. Киреевского «Обозрение русской словесности 1829 года», где речь шла и о *Н. И. Новикове.* Сообщаемые Герценом сведения о конфискации альманаха и об аресте цензора не верны. Однако статья Киреевского вызвала в русской критике того времени весьма громкие споры (см. об этом: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. XI. М., 1956, с. 59).— *237.*

[42] Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Из Гёте» («Горные вершины»).— *238.*

[43] Это письмо Белинского Герцену неизвестно. См. запись в Дневнике от 17 мая 1844 г. (2, 354).— *241.*

[44] Речь идет об изданной *М. П. Погодиным* книге «Лекции профессора *Погодина* по *Герену* о политике, связи и торговле главных народов древнего мира», ч. 1—2. М., 1835—1836.— *242.*

[45] М. П. Погодин перевел на русский язык трагедию Гёте *«Гёц фон Берлихинген».— 242.*

[46] См. 2, 108—110.— *242.*

[47] По названию Кучук-Кайнарджийского мира, завершившего в 1774 г. упорную шестилетнюю войну между Россией и Турцией.— *244.*

[48] Имеется в виду Н. М. Языков. Названием *«Не наши»* Герцен объединяет три различных, но очень близких по духу стихотворения Языкова: «Константину Аксакову», «К не нашим», «К Чаадаеву».— *244.*

[49] Выступая против Н. М. Языкова (в стихотворении «Союзникам»), *К. С. Аксаков* отнюдь не отказывался от славянофильских взглядов.— *244.*

[50] Говоря о *чтеце,* Герцен имеет в виду Ф. Ф. Вигеля.— *244.*

[51] О Евдокии (Авдотье) Павловне Глинка см. ниже, «Ответ русской даме» и примечания к нему.— *245.*

[52] Имеется в виду журнал «Современник».— *246.*

[53] Статья К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» («Современник», 1847, № 1). Ответ Самарина — его статья «О мнениях «Современника» исторических и литературных» («Москвитянин», 1847, ч. II).— *246.*

[54] Цитата из написанного Герценом некролога *К. Аксакову* («Колокол», 1861 г., 15 января).— *246.*

[55] Нет, родная! манит сына
На охоту гор вершина!
(Пер. Л. Мея)
Из стихотворения Ф. Шиллера «Альпийский стрелок».— *247.*

Глава XXXII

Начало главы (с некоторыми отличиями от окончательного текста отдельного издания «Былого и дум») впервые опубликовано в «Полярной

Звезде» на 1858 г., кн. IV, с. 148—154 в составе главы III (подзаголовки главы см. выше, в примечаниях к главе XXX). Продолжение главы впервые опубликовано в той же книге «Полярной Звезды» (с. 186—191) как глава V с подзаголовками: «Последняя поездка в Соколово — Теоретический разрыв — Натянутое положение — Дамское общество — Mesalliance — Из журнала женщины — Dahin! Dahin!»

Глава представляет значительный интерес для истории русской философской мысли: в ней рассказывается о том «теоретическом разрыве» среди западников 1840-х гг., который был следствием перехода в то время Белинского, Герцена и Огарева на позиции материализма и атеизма.

[1] «Туда! Туда!» (нем.). Из песни Миньоны в романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера», кн. 3, гл. 1.— *248.*

[2] в личность абсолютного духа (нем.).— *248.*

[3] задней мыслью (франц.).— *248.*

[4] не совсем точная цитата из дневниковой записи Герцена от 18 декабря 1844 г. (см. 2, 397).— *248.*

[5] В Дневнике 18 января 1844 г. Герцен писал о том, что *Филарет* поручил профессору Московской духовной академии Ф. А. Голубинскому «опровергнуть» гегелевскую философию. «Итак,— писал Герцен,— крот прокапывает и в духовную академию» (2, 327).— *249.*

[6] Герцен имеет в виду «Письма об изучении природы».— *250.*

[7] Прекрасный вид (от франц. belle vue).— *252.*

[8] Е. Ф. Корш — участник герценовского кружка в 40-х гг.— *253.*

[9] М. С. Щепкин.— *253.*

[10] дачная жизнь (итал.).— *253.*

[11] Эпиграф ко второму разделу главы XXIX «Былого и дум» (см. 9, 121).— *255.*

[12] Из стихотворения Огарева «Искандеру».— *255.*

[13] откровенность (франц.).— *256.*

ЗАПАДНЫЕ АРАБЕСКИ

Тетрадь вторая

«Западные арабески» были опубликованы впервые в «Полярной Звезде», кн. 2 на 1856 г., с. 167—200; в скобках было указано: «Из четвертой части «Записок Искандера». 1847—1852». В состав «Западных арабесок» входили здесь главки: I. «Сон». II. «В грозу». III. «Приметы». IV. «Тифоидная горячка». V. «Отъезд». VI. «Il pianto» и не имевшая названия главка. В издании 1866 г. «Былого и дум» «Западные арабески» были включены Герценом в состав пятой части мемуаров и разделены на две «тетради», публикуемые как ненумерованные главы. В этом издании главка, не имевшая названия, получила наименование «Post scriptum».

Герцен придавал «Западным арабескам» важное значение. 31 марта 1856 г., сообщая М. К. Рейхель о том, что вскоре намеревается послать ей окончание своих записок и «Западные арабески», Герцен писал: «Я ужасно за них стою и думаю, что это самое художественное из моих писаний и самое злое...» (25, 337). Во второй тетради «Западных арабесок» сконцентрированы характерные мотивы критики Герценом буржуазного Запада.

[1] Плач (итал.).— *257.*

[2] См. прим. 13 к с. 34.— *257.*

[3] Описка. Речь идет о словах *Григория Назианзина* в письме к *Василию Великому*. Это выражение Григория Назианзина привел Ф. Гфрёрер

(см. *Gfrörer F.* Geschichte der christlichen Kirche. Stuttgart, 1841, II Buch, Kap. 4, S. 321). Эти слова привлекли внимание Герцена в 40-х гг. при чтении книги Гфрёрера. В декабре 1844 г. он привел их (в несколько ином, чем здесь, переводе) в Дневнике как пример взглядов «безумных религиозников», отвергающих и подавляющих естественные стремления человека (2, 395). Он упомянул о них также в пятом письме («Схоластика») «Писем об изучении природы».— *257.*

[4] пресыщенность (нем.).— *258.*

[5] Речь идет об эпизоде, имевшем место во время пребывания Франклина со своим маленьким *внуком* во Франции. Как и *Вольтер*, Франклин был деистом.— *259.*

[6] римский народ. «Я — Дав, не Эдип» (лат.). См. *Теренций.* Андрианка, акт I, сцена 2.— *259.*

[7] Аббат *Сиейес* в брошюре «Что такое третье сословие?» (1789) утверждал, что, будучи в настоящее время «ничем», третье сословие должно стать *всем.*— *260.*

[8] с досады (франц.).— *260.*

[9] Выражение «совлечь с себя старого Адама» («ветхого человека») восходит к посланиям апостола Павла. *Ионатан* — прозвище североамериканцев.— *261.*

[10] Стихотворение Байрона «Сон» автобиографично.— *261.*

[11] Из «Паломничества Чайльд-Гарольда» Байрона (песнь первая, 13).— *261.*

[12] В *Равенне* Байрон жил в 1819 г., на вилле *Диодати* (в Швейцарии) — летом 1816 г.— *261.*

[13] с точки зрения вечности (лат.).— *261.*

[14] «она спасена» (нем.). *Гёте.* Фауст, ч. 1, эпилог.— *262.*

[15] «Тьма» (англ.). См. прим. 4 к с. 114.— *262.*

[16] Ну и ладно (итал.).— *262.*

[17] Н. А. Герцен умерла 2 мая 1852 г.— *263.*

[18] Здесь: поверхностно (франц.).— *263.*

[19] Имеется в виду книга Яна Амоса Коменского «Orbis Sensualium pictus» («Мир в картинках»).— *264.*

[20] народное благо (лат.).— *266.*

[21] каждый за себя (франц.).— *266.*

[22] старая лавка (англ.).— *266.*

[23] Обычного права (англ.).— *266.*

[24] благопристойность (нем.).— *267.*

[25] Здесь: косности.— *267.*

[26] правдою и неправдою (лат.).— *268.*

[27] великое восстановление (лат.). «Великое восстановление наук» — основной труд Ф. Бэкона, оставшийся незавершенным. Герцен употребляет здесь слова «великое восстановление» в более широком смысле, имея в виду Возрождение.— *269.*

[28] Начальные строки А. С. Пушкина из «Послания Дельвигу». Как указано выше, «Западные арабески» были опубликованы в «Полярной Звезде» на 1856 г. Там же Герцен опубликовал и это посвящение в виде эпиграфа к последней, не имевшей названия главке.— *269.*

[29] Не радостная... но приносящая безопасность (итал.).— *270.*

Прибавление

ДЖОН СТЮАРТ МИЛЛЬ И ЕГО КНИГА «ON LIBERTY»

Книгу Дж. Стюарта Милля «On liberty». London, 1859 («О свободе») Герцен прочел, очевидно, вскоре после ее выхода в свет. 18 февраля 1859 г. он писал М. Мейзенбуг: «В книге Ст. Милля есть несколько красивых страниц — вы тоже можете взять дня через два» (26, 239). Можно предполагать, что Герцен обратился к Миллю с какими-то вопросами или соображениями по поводу этой книги (возможно, через редактора «Continental Review» Т. К. Сэндерса, посетившего его около 20 марта 1859 г.). 24 марта Герцен писал Сэндерсу: «...я весьма признателен вам за сообщение ответа Дж. С. Милля — теперь буду терпеливо ждать его возвращения с континента» (30, кн. 2, 581). 28 октября 1859 г. Герцен сообщал М. Мейзенбуг: «Я написал длинное возражение Ст. Миллю» (26, 300). Возможно, Герцен имел в виду данное Прибавление (именно к нему отнесены эти слова в комментариях к 26-му тому 30-томного Собрания сочинений Герцена). Непонятно, однако, почему Герцен, в 1859 г. постоянно переписывавшийся с Мейзенбуг и неоднократно с ней встречавшийся, сообщал ей в октябре о статье, появившейся весной и, по всей вероятности, известной ей по «Колоколу» или «Полярной Звезде». Основываясь на приведенных выше словах Герцена в письме к Сэндерсу, можно допустить, что речь шла в данном случае о не дошедшем до нас письме Герцена к Дж. Ст. Миллю.

В книге Милля «О свободе» типичная для буржуазного либерализма апология индивидуализма и фритредерства сочеталась с некоторыми критическими мотивами в оценке современного состояния европейского капиталистического общества и с весьма неопределенными социально-реформаторскими устремлениями. Внимание Герцена книга Милля привлекла именно своими критическими мотивами. Ему, который, начиная с «Писем из Avenue Marigny», постоянно обличал нравственность и культуру «мещанства», импонировали утверждения Милля о господстве в современном буржуазном обществе «посредственности», о «стирании» личностей, понижении нравственного уровня «среднего сословия» и т. п. В то же время Герцен видел, что у Милля отсутствует ясная положительная программа социальных преобразований, признание необходимости коренного социального переворота.

Напечатано в 1859 г. дважды: в «Колоколе» от 15 апреля и в «Полярной Звезде», кн. V на 1859 г., в составе главы III «Отрывков из V части «Записок Искандера»», без заголовка и с небольшим добавлением в конце (см. Варианты.— 11, 596).

[1] Статьи либерального французского журналиста *Л. Прево-Парадоля* по вопросам литературы, истории и политики печатались в 1850-х гг. в газете «Journal des Débats». *Ш. Ф. Монталамбер* — автор книг «De l'avenir politique de l'Angleterre» («О политическом будущем Англии»), «Pie IX et lord Palmerston» («Пий IX и лорд Пальмерстон») и др. Вследствие психической болезни прусского короля Фридриха-Вильгельма IV регентом был назначен в 1858 г. его брат Вильгельм. Психическое расстройство Фридриха-Вильгельма IV Герцен имеет в виду ниже, говоря об управлении в Пруссии «именем сумасшедшего».— *271.*

[2] Здесь: обнаружится (нем.). Из стихотворения Гёте «Пряха».— *271.*

[3] 14 января 1858 г. в Париже *Орсини* совершил неудачное покушение на Наполеона III. Герцен познакомился с ним в Ницце в 1851 г. Об Орсини см. «Былое и думы», гл. XXXVII.— *272.*

[4] Да погибнут те, кто раньше нас высказал сказанное нами (лат.).— *272.*

[5] Совет, правление (от англ. board). Дж. Ст. Милль в течение ряда лет (вплоть до передачи в 1858 г. управления Индией в руки государства) служил в Ост-Индской компании и дослужился до поста ее президента.— *272.*

[6] Герцен имеет в виду изданную в Лондоне в 1644 г. книгу Дж. Мильтона «Areopagitica: A Speech for the liberty of unlicensed Printing» («Ареопагитика. Речь в защиту свободы печати»).— *272.*

[7] Герцен имеет в виду книгу А. Токвиля «L'ancien régime et la Révolution» («Старый режим и революция»).— *273.*

[8] Цитата из главы III книги Ст. Милля «On liberty».— *273.*

[9] лавочниками (франц).— *274.*

[10] «Смотрите сюда, на этот портрет и на тот... Кудри Гипериона, чело самого Юпитера; взгляд как у Марса... Посмотрите теперь на другой, вот ваш супруг...» (англ.). Слова Гамлета, обращенные к матери («Гамлет», акт III, сцена 4).— *274.*

[11] навязчивой идеи (франц.).— *274.*

[12] великое неизвестное (лат.).— *274.*

[13] Не вполне точная цитата из III главы книги Милля «On liberty».— *275.*

[14] коллективная посредственность (англ.). Выражение принадлежит Миллю.— *276.*

[15] Цитата из II главы книги Милля «On liberty».— *276.*

[16] филантропическая забава (англ.).— *276.*

[17] Цитата из III главы книги Милля «On liberty».— *276.*

[18] «Западные арабески. Тетрадь вторая» были напечатаны в «Полярной Звезде» на 1856 г., кн. II. См. эту главу в наст. томе и комментарии к ней.— *276.*

[19] Цитата из III гл. книги Милля «On liberty».— *276.*

[20] Там же.— *276.*

[21] Всегда то же самое (лат.).— *277.*

[22] *Скидам* — голландская водка.— *277.*

[23] *Меледа* — бесконечные и безрезультатные хлопоты.— *277.*

[24] Герцен имеет в виду брата Наполеона I — Луи Бонапарта, занимавшего голландский престол в 1806—1810 гг.— *278.*

[25] порядочность (англ.).— *278.*

[26] Кн. V «Полярной Звезды», где был помещен разбор книги Милля, вышла в свет в начале июня 1859 г.— *280.*

РОБЕРТ ОУЭН

Вошедшему в состав «Былого и дум» очерку «Роберт Оуэн» Герцен отводил значительное место в своем литературном творчестве. 19 декабря 1860 г. он писал И. С. Тургеневу: «...вчера кончил большую етюду «Р. Оуэн» — очень, очень желал бы тебе ее прочесть, вещь смелая и, сколько кажется, удачная...» (27; кн. 1, 122). Позднее, в письме к сыну от 17—19 апреля 1869 г., он заметил: статья об Оуэне — «из лучших моих статей» (30, кн. 1, 87).

Статья не только раскрывает отношение Герцена к одному из виднейших представителей утопического социализма; она представляет большой интерес как выражение философско-исторических воззрений Герцена. В ней чрезвычайно отчетливо охарактеризован ряд важных и характерных для его философии истории мотивов: отрицание телеологического взгляда на историю и критика исторического фатализма, признание вариантности путей исторического движения, связанной с различными создающимися в ходе этого движения условиями и возможностями, утверждение активной роли человека в истории, стремление найти объективную основу осуществления социалистического идеала.

Впервые опубликовано в «Полярной Звезде» на 1861 г., кн. VI, с. 273—324.

[1] *Рылеев К. Ф.* Войнаровский, ст. 253.— *281.*

[2] Заприте целый мир, откройте дверь Бедлама,
И вы увидите, что в мире все пойдет,
Как и доныне шло, дорогой той же самой,
Где здравомыслие «soi-disant» ведет.
Я б это доказал немедленно и прямо,
Будь у людей ума один хотя бы лот,
Но мне с point d'appui не встретиться такою,
И я, как Архимед, мир обреку покою. (Пер. Г. Шенгели)

Байрон. Дон Жуан, песнь XIV, строфа 84.

soi-disant — так называемое (франц.); point d'appui — точка опоры (франц.).— *281.*

[3] Речь идет о Матильде Биггс, поддерживавшей тесные дружеские отношения с Мадзини, с рекомендательным письмом которого она представилась Герцену в Ницце. Дружбу с М. Биггс Герцен сохранял в течение всей своей жизни в Англии.— *281.*

[4] См. прим. 11 к с. 78.— *282.*

[5] не виновен (англ.).— *282.*

[6] По евангельскому рассказу, Иисус Христос на вопрос о том, почему он и его ученики едят и пьют вместе с мытарями и грешниками, ответил, что он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию (Лук. 5, 29—32); по другому рассказу, Иисус прошел к своим ученикам по морю (Матф. 14, 25—32).— *282.*

[7] переводчик (от арабск.).— *283.*

[8] В Нью-Ленарке (Шотландия) находилась большая хлопчатобумажная фабрика, управление которой с 1800 г. было в руках Оуэна, осуществившего здесь ряд мероприятий, направленных на улучшение труда и быта рабочих. Филантропические эксперименты Оуэна получили широкую известность и в Англии, и на континенте. Николай I посетил Нью-Ленарк в 1815 г.— *283.*

[9] Р. Оуэн умер глубоким стариком. В последние годы жизни он высказывал некоторые мистические идеи.— *283.*

[10] скорбящую мать (лат.). Говоря о желании Оуэна *отворить селлюлярную клетку,* Герцен имеет в виду выступления Оуэна против религии.— *284.*

[11] *Другой старик* — Иоанн Богослов, который на о. *Патмос* получил откровения (Откр. 1, 9).— *284.*

[12] Первое потребительское кооперативное общество, основанное в 1844 г. рабочими ткацкой мануфактуры в английском городе Рочдейл.— *284.*

[13] Первая Всемирная выставка в Лондоне в 1851 г.— *284.*

[14] Ассоциация общественной науки (англ.). Национальная ассоциация для содействия развитию социальных наук была организована в Англии в 1857 г.— *285.*

[15] новой гармонии (англ.). «Новая гармония» — название трудовой коммуны, организованной Оуэном в Америке (1824—1828).— *285.*

[16] защиты (франц.).— *285.*

[17] и все было кончено (англ.).— *285.*

[18] вихрем (нем.).— *286.*

[19] Статья об Оуэне была помещена в октябрьской книжке журнала за 1860 г. без подписи.— *286.*

[20] Без пользы жизнь — безвременная смерть (Пер. Н. Вильмонта). Слова Ифигении в трагедии Гёте «Ифигения в Тавриде» (действ. I, явл. 2).— *286.*

[21] старческое слабоумие (англ.).— *286.*

[22] звездные (от франц. sideral).— *287.*

[23] Быт. 9, 22—27.— *287.*

[24] бывший торговец холстом (англ.). В юности Оуэн служил приказчиком в галантерейных магазинах Лондона и Манчестера.— *288.*

[25] Герцен употребляет слово *подлый* в его первоначальном смысле, означавшем принадлежность к низшему сословию.— *288.*

[26] Герцен цитирует (не вполне точно) речь Оуэна в Таверне лондонского Сити 21 августа 1817 г.— *289.*

[27] он не был мучеником, но он был отверженным (англ.).— *289.*

[28] Имеется в виду, вероятно, биография Р. Оуэна, написанная У. Л. Саргантом: «Robert Owen and his social philosophu» («Роберт Оуэн и его социальная философия»). Лондон, 1860.— *289.*

[29] «Попытка превратить этот сумасшедший дом в разумный мир» (англ.).— *290.*

[30] У. Л. Саргант.— *290.*

[31] Когда он разбивает цепь! (нем.). Из стихотворения Ф. Шиллера «Слова веры».— *291.*

[32] обычном праве (англ.).— *291.*

[33] Право Habeas Corpus — провозглашенное актом английского парламента в 1679 г. право каждого обвиняемого (за исключением случаев государственной измены) до начала процесса быть оставленным на свободе под залог.— *291.*

[34] Имеется в виду континентальная блокада, введенная *Наполеоном I* для того, чтобы закрыть английским товарам доступ на континент.— *292.*

[35] См. прим. 11 к с. 261.— *292.*

[36] П. Б. Шелли в 1817 г. был лишен права воспитывать своих детей из-за «незаконной связи» его с Мэри Годвин и из-за его атеистических взглядов.— *292.*

[37] сумасшедший дом (англ.).— *292.*

[38] Здесь: как красное словцо (франц.).— *292.*

[39] Герцен излагает основной тезис, на котором базировалось учение Оуэна.— *293.*

[40] *Хрустальный* («Хрустальный») дворец — здание, выстроенное в Лондоне из железа и стекла архитектором Дж. Пэкстоном для Всемирной выставки 1851 г.— *294.*

[41] «Лагерь Валленштейна» (нем.) Шиллера, явл. 8.— *294.*

[42] по праву рождения (франц.).— *294.*

[43] завоевания, достижения (нем.).— *295.*

[44] так захотела природа (лат.).— *296.*

[45] Да будет свет (лат.).— *297.*

[46] По католической легенде *кровь* епископа *Януария*, хранящаяся в особом сосуде в Неаполе, способна в ряде случаев закипать.— *297.*

[47] В диалоге Лукиана «Зевс-трагик».— *298.*

[48] См. прим. 22 к с. 266.— *298.*

[49] Верхнее одеяние, которое древние римляне получали право носить по достижении совершеннолетия.— *299.*

[50] по-детски (франц.).— *300.*

[51] По учению Ш. Фурье члены фаланги (ассоциации), являющейся основной ячейкой будущего гармонического общества, должны жить вместе в общем громадном здании — *фаланстере. Икария* — коммунистическая республика, изображенная Э. Кабе в его утопическом романе «Путешествие в Икарию».— *300.*

[52] народный банк (франц.).— *300.*

[53] *Потешное* войско из малолетних, организованное Петром I, явилось зародышем будущей регулярной армии России.— *302.*

[54] стой, путник! (лат.).— *303.*

[55] Речь идет о войне, начатой весной 1859 г. Францией в союзе с Сардинским королевством против Австрии.— *304.*

[56] друг мой (итал.).— *305.*

[57] в конце концов (франц.).— *306.*

[58] благо народа (лат.).— *306.*

[59] Речь идет о книге Прудона «De la justice dans la Révolution et dans l'Église» 1858 г. («О справедливости в революции и в церкви»). Критику Герценом этой книги Прудона см. в «Былом и думах» (10, 196—201).— *306.*

[60] В трагедии Д. Аддисона «Катон».— *307.*

[61] Каин, убивший своего брата Авеля и на вопрос отца, где Авель, ответивший: «...разве я сторож брату моему?» (Быт. 4, 8—10).— *307.*

[62] Имеется в виду «Заговор во имя равенства» (1796), возглавлявшийся Г. Бабёфом.— *308.*

[63] Равенство. Свобода. Всеобщее благосостояние (франц.).— *308.*

[64] «Или смерть!» (франц.).— *308.*

[65] Речь идет о проекте декрета об управлении, ряд статей которого Герцен далее цитирует (см. *Буонарроти Ф.* Заговор во имя равенства, т. II, MCMXLVIII, с. 303—304).— *308.*

[66] Речь идет о проекте экономического декрета. Статьи этого декрета, относящиеся к разделам «Об общественном труде», «О распределении и использовании имущества общины» и «О торговле», Герцен цитирует выборочно, представляя эти документы в упрощенном виде (см. *Буонарроти Ф.* Указ. соч., с. 310—318).— *308.*

[67] отсутствие гражданских добродетелей (франц.).— *309.*

[68] Укрыт, накормлен, одет и обеспечен развлечениями (франц.). *Amusé* в документах «Заговора равных» означает, что каждый член национальной общины будет иметь развлечения.— *309.*

[69] умеренно (франц.).— *310.*

[70] Не вполне точное изложение соответствующего места из «Ответа на письмо за подписью М. В., адресованное Гракху Бабёфу» (см. *Буонарроти Ф.* Указ. соч., с. 226).— *310.*

[71] у нее есть жемчуга и бриллианты (нем.). Герцен использует слова из стихотворения Г. Гейне «Du hast Diamanten und Perlen» из цикла «Heimkehr» («Возвращение на родину»).— *310.*

[72] в изображении (лат.).— *310.*

[73] Противники якобинской диктатуры, централизованной государственной власти во время Великой французской революции.— *310.*

[74] повстанческий (франц.).— *311.*

[75] Здесь: это новая победа (франц.).— *312.*

[76] В сказке Ш. Перро «Рауль Синяя Борода».— *312.*

[77] Г. Бабёф и О. А. Дартэ были казнены 27 мая 1797 г.— *313.*

[78] Наполеон Бонапарт.— *313.*

[79] Это обещало многое (франц.).— *313.*

[80] Из «Ответа на письмо за подписью М. В. ...» (см. *Буонарроти Ф.* Указ. соч., с. 233).— *313.*

[81] Пища древних спартанцев (лакедемонцев) отличалась простотой и отсутствием излишеств.— *313.*

[82] Имеется в виду сражение при Ватерлоо 18 июня 1815 г.— *314.*

[83] делай то, что должно, и пусть будет то, что будет (франц.).— *314.*

[84] постепенно (франц.).— *315.*

[85] Лук. 22, 22.— *316.*

[86] в общем (франц.).— *317.*

[87] «Гамлет», акт V, сцена I.—*317.*

[88] тайной мыслью (франц.).— *317.*

[89] непорочный (от франц. immaculé).— *317.*

[90] *Уголино,* заточенный в 1288 г. вместе с детьми и внуками, был обречен с ними на голодную смерть и, по преданию, использованному Данте в «Божественной комедии», пережил гибель детей, решившись на людоедство.— *319.*

[91] не дозревает (от франц. avorter).— *320.*

ОПЫТ БЕСЕД С МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ

Опыты Герцена конца 50-х гг. в области популярного изложения основ материалистического истолкования природных явлений (см. также публикуемую ниже статью «Разговоры с детьми») были вызваны, по всей вероятности, прежде всего семейными педагогическими целями. Несомненно, однако, что они имели более широкое, общественное значение как пример популяризации и пропаганды материалистически-атеистического мировоззрения и своеобразная пропедевтика к изучению естественных наук. Основные идеи, проводимые Герценом в статье,— признание объективности природы и ее законов, утверждение познаваемости природных явлений, противопоставление научных методов исследования природы подходу «риторико-теологическому».

Впервые опубликовано в «Полярной Звезде» на 1858 г., IV, с. 288—301.

[1] Имеется в виду сцена из комедии Мольера «Мнимый больной» (3-е действ.), представляющая шуточную церемонию присвоения звания бакалавру, которого изображает главный персонаж — Аргоан. На вопрос доктора, почему опиум усыпляет, бакалавр отвечает (ломаным, мнимонаучным языком), что опиум имеет свойство усыплять. Герцен употребляет вместо «опиума» и «усыпительной силы» «ревень» и «слабительной силы».— *332.*

ОТВЕТ РУССКОЙ ДАМЕ

В январе 1859 г. Герцен получил письмо от А. П. Глинки — писательницы и поэтессы религиозно-мистического направления, жены поэта Ф. Н. Глинки (см. «Звенья», 1950, № VIII, с. 41—54). В пространном письме А. П. Глинка упрекала Герцена в том, что в его критике по адресу Запада и России «говорит не теплое чувство участия, а горькая раздражительность, желчь», что он не указывает «лекарства» для излечения тех «недугов», которыми возмущается. Утверждая, что «нужно, прежде всяких других преобразований, заняться воспитанием собственной души, в духе евангелия, любви к ближнему...», она призывала Герцена обратиться к религии и «свою волю, подчиненную страстям и гордости ума, отдать под закон божий». Об этом послании А. П. Глинки Герцен писал М. К. Рейхель: «А Евдокия Глинка пишет мне письмо в 23 страницы — говорит, что пора в религию, да и только, так, говорит, богу приспичило» (26, 236).

Герцен воспользовался письмом А. П. Глинки как поводом для защиты той ориентации, которой тогда придерживался «Колокол»,— ориентации на обличение крепостничества и агитацию за освобождение крестьян с землей (см., например, первое письмо «Россия и Польша», 14, 7—17). Одновременно он использовал письмо А. П. Глинки для критики христианской религии и утверждения правомерности борьбы «со всеми остающимися узами на независимости мышления».

Впервые опубликовано в «Колоколе», л. 36, от 15 февраля 1859 г.

[1] На этих страницах помещен рассказ из «Былого и дум» о венчании Герцена с Н. А. Захарьиной (см. 8, 374). А. П. Глинка показалось «стран-

ным», что во время венчания Герцен не молился и был в состоянии замечать детали совершавшегося обряда (см. «Звенья», 1950, № VIII, с. 44).— *334.*

[2] *Потир* — церковная чаша для причастия.— *334.*

[3] Имеется в виду поручик лейб-гвардии егерского полка Я. И. Ростовцев — один из доносчиков на декабристов, сделавший впоследствии блестящую служебную карьеру.— *338.*

[4] Эта критика «доктрины» и доктринеров имеет в виду Б. Н. Чичерина.— *339.*

[5] *Двуглавый орел* — русский императорский герб. *Пчелы* — эмблема французской империи.— *339.*

РАЗГОВОРЫ С ДЕТЬМИ

I

Название статьи и стоящая в ее начале цифра «I» позволяют предполагать, что Герцен намеревался написать цикл статей, однако дальнейшего продолжения статья не имела.

Опубликовано впервые в «Полярной Звезде» на 1859 г., кн. V, с. 252—260.

[1] Имеется в виду изображение анге. онах.— *344.*

[2] Инфузория.— *345.*

КОНЦЫ И НАЧАЛА

Непосредственным стимулом к созданию эпистолярного цикла «Концы и начала» были споры Герцена с И. С. Тургеневым во время пребывания последнего в Лондоне в середине мая 1862 г. Уже 21 мая, т. е. через два дня после отъезда Тургенева, Герцен сообщал ему в письме: «Я собираюсь писать тебе *авангардное* письмо — о нашем споре» (27, кн. 1, 222).

Будучи своеобразным продолжением спора, который завязался при личных встречах Герцена с Тургеневым, «Концы и начала» частично отразили также и ту полемическую переписку, которая возникла между ними в связи с публикацией первых писем цикла (см. об этом ниже). Однако нельзя полностью отождествлять идейного противника Герцена в «Концах и началах» с Тургеневым. Как и в ряде других своих эпистолярных циклов, Герцен, отправляясь от фактов и реальных личностей, создает обобщающий образ носителя определенных идей, которым он полемически противопоставляет собственные воззрения.

«Концы и начала» — одно из тех значительных произведений Герцена, в которых ясно выражен ряд идей и мотивов, характерных для его социальной философии. Здесь очень отчетливо высказана и развита одна из важнейших идей герценовской философии истории — идея *вариантности* исторического развития. Ясно видна в этом цикле и попытка объяснить эту вариантность натуралистически, опираясь на аналогии с развитием природы. Явственно вырисовывается в «Концах и началах» и связь между идеей вариантности исторического развития и «русским социализмом»: при помощи этой идеи Герцен обосновывает тезис о своеобразии путей, которыми идут в истории различные народы, и о возможности для России миновать стадию буржуазного общества. Большой интерес представляет также содержащаяся в «Концах и началах» критика буржуазной цивилизации.

Впервые опубликовано в «Колоколе» в 1862 г. (1 июля; 1 августа; 22 августа; 8 сентября; 15 сентября; 22 октября; 1 ноября) и в 1863 г. (15 января; 15 февраля). Предисловие впервые опубликовано

в издании Русской типографии в Берне в 1863 г. (в целях маскировки местом издания было указано норвежское местечко Норкепинг).

[1] Имеется в виду эпизод из «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь 25, строфы 34—76).— *347.*

[2] отдалении (итал.).— *348.*

[3] М. Н. Муравьев («Вешатель»), жестоко подавивший польское восстание 1863 г.— *348.*

[4] «Пока мы молоды» (лат.).— *351.*

[5] «Нас примет Земля» (лат.).— *351.*

[6] Имеется в виду цикл стихотворений Гёте «Западно-восточный диван».— *351.*

[7] это уже кое-что (франц.).— *352.*

[8] везде и нигде (нем.).— *352.*

[9] *Кампо Санто* — знаменитое кладбище на соборной площади Пизы с многочисленными гробницами, скульптурами и фресками мастеров Проторенессанса.— *352.*

[10] Герцен имеет в виду скульптурный портрет *Роберта Пиля* в Национальной галерее в Лондоне.— *353.*

[11] летопись, хроника (от лат. fāstī).— *353.*

[12] *Генриху IV* приписывают слова о том, что он хотел бы видеть по воскресеньям курицу на обеденном столе каждого крестьянина.— *354.*

[13] три хорошо обставленные спальни (франц.).— *356.*

[14] свой угол (франц.).— *356.*

[15] См. в наст. томе статью «Джон Стюарт Милль и его книга «On liberty»» и примечания к ней.— *357.*

[16] преувеличивает (от франц. exagérer).— *357.*

[17] «Бог — наша твердыня» — псалом Лютера, бывший гимном протестантов во время Реформации.— *358.*

[18] теперь и всегда (итал.).— *359.*

[19] Венецианская республика, эмблемой которой был *лев св. Марка*, находилась тогда под игом Австрии. *Черно-желтая тряпка* — австрийский флаг.— *359.*

[20] великое неизвестное (лат.).— *360.*

[21] возрождении (итал.).— *361.*

[22] в конце концов (франц.).— *361.*

[23] По евангельскому преданию, принимавшая Христа у себя в доме Марфа хлопотала по хозяйству, чтобы угостить его, в то время как ее сестра Мария села у его ног и слушала его проповедь (Лук. 10, 38—42).— *361.*

[24] Герцен имеет в виду внутреннюю и внешнюю политику К. Б. Кавура, ориентировавшегося на пример Бельгии как классический для того времени образец капиталистического развития на континенте.— *361.*

[25] Имеется в виду в первую очередь Б. Н. Чичерин, доктринерский характер воззрений которого Герцен критиковал неоднократно.— *361.*

[26] Отжили (лат.). См. прим. 1 к с. 48.— *364.*

[27] дорогой мой (итал.). 22 августа в письме к И. С. Тургеневу Герцен спрашивал: «Читал ли ты ряд моих посланий к тебе («Концы и начала») — доволен ли ими, али прогневался,— прошу сказать» (27, кн. 1, 252). В ответе, датированном 27 августа, Тургенев писал, что «только теперь прочел» два письма «Концов и начал». Я «нашел в них всего тебя, с твоим поэтическим умом, особенным умением глядеть и быстро и глубоко, затаенной усталостью благородной души...». Здесь же он сообщал, что намеревается отвечать Герцену в «Колоколе» (см. *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28 томах. Письма в 13 томах, т. 1, с. 38—40). От этого намерения Тургенев в дальнейшем отказался, мотивируя в письме к Герцену 8 октября «приостановку» работы над ответом на «Концы и начала» тем, что всем известно, что они адресованы ему, а он получил официозное

предостережение не печататься в «Колоколе» (см. там же, с. 51).— *364.*

[28] тупиков (франц.).— *365.*

[29] Эта тема была развита Герценом в главе «Умирающий» повести «Доктор, умирающие и мертвые» (см. 20, 527—545).— *367.*

[30] святошами (франц.).— *367.*

[31] и этого изменника Ламартина (франц.).— *367.*

[32] „да здравствует республика, единая и нераздельная“ (франц.).— *367.*

[33] неточная цитата из «Горя от ума» (действ. II, явл. 5).— *368.*

[34] чтобы использовать свое положение (франц.).— *369.*

[35] по прописям (франц.).— *370.*

[36] Герцен использует название драмы А. Дюма-сына «Блудный отец».— *371.*

[37] «Наш друг чересчур злоупотребляет скобками» (франц.).— *372.*

[38] русских князьях (франц.).— *373.*

[39] в несколько опошленном виде (франц.).— *373.*

[40] *П. А. Клейнмихель*, министр путей сообщения (1842—1855) — один из самых типичных и жестоких бюрократов николаевского режима; его увольнение в октябре 1855 г. было с удовлетворением воспринято в широких кругах русской общественности.— *374.*

[41] *Маджента и Сольферино* (Италия) — места, где в 1859 г. австрийская армия была разбита итало-французскими войсками. Герценовские суждения о войне 1859 г. Франции и Сардинии против Австрии ошибочны: война эта вызвала большой национальный подъем во всей Италии и была определенным этапом на пути освобождения Северной Италии от австрийского ига и образования единого итальянского национального государства.— *375.*

[42] *Амфиктионы* — племена в Древней Греции, соседствующие с храмом какого-либо известного бога, собирались на празднества при его святилище, обсуждали при этом общие дела амфиктионии (союза амфиктионов) и улаживали споры между отдельными ее членами.— *375.*

[43] Имеются в виду восстание в *Индии* в 1857—1859 гг. против колониального гнета Англии, занятие в 1860 г. англо-французскими войсками *Пекина*, гражданская война в США (1861—1865).— *375.*

[44] Неточная цитата из эпиграммы Пушкина «В академии наук».— *376.*

[45] *Бэкон Ф.* Новый органон, аф. XCV.— *376.*

[46] с паучьего полета (франц.).— *377.*

[47] См. в наст. томе статью «Донозо Кортес, маркиз Вальдегамас и Юлиан, император римский» и примечания к ней.— *377.*

[48] Лиги мира (англ.).— *377.*

[49] Лес спит; лев ранен... (итал.).— *378.*

[50] *Ф. Шиллер.* Разбойники, действ. IV, сцена 5.— *378.*

[51] Дж. Мадзини и Дж. Гарибальди.— *379.*

[52] 29 августа 1862 г. потерпела неудачу попытка Гарибальди освободить Рим: в битве при Аспромонте отряд волонтеров Гарибальди был разбит королевскими войсками, сам Гарибальди был ранен и взят в плен.— *379.*

[53] Намек на выступление «Северной пчелы», в котором оправдывались действия итальянского правительства против Гарибальди.— *380.*

[54] Автор романа неизвестен.— *380.*

[55] развязности (франц.).— *382.*

[56] в общем (франц.).— *384.*

[57] манера выражаться (франц.).— *384.*

[58] Здесь: недоразвитых форм (франц.).— *385.*

[59] конец, крайняя точка (лат.).— *388.*

[60] Из стихотворения Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы».— *388.*

[61] единая и неделимая (франц.).— *388.*

[62] «Бог и народ» (итал.) — девиз национально-освободительного движения в Италии, возглавлявшегося Мадзини.— *389.*

[63] Герцен имеет в виду реакционную, написанную с позиций бонапартизма брошюру О. Ромье «Le spectre rouge» («Красный призрак»), вышедшую в 1850 г.— *391.*

[64] всеобщее избирательное право (франц.).— *391.*

[65] вольнодумец (франц.).— *392.*

[66] приспособленец (франц.).— *392.*

[67] Немецкая поговорка, означающая безвыходное положение.— *392.*

[68] В день воскресения господня
Воскресли также и они...
(Пер. Б. Пастернака)
Слова Фауста («Фауст», ч. I, сцена 2).— *392.*

[69] шампанскую настойку (франц.).—*393.*

[70] «Воспоминания о последних днях Байрона и Шелли» (англ.).— *395.*

[71] Спокойной ночи, спокойной ночи, дорогая матушка Доротея! (нем.).— *396.*

[72] Цитата из «Горя от ума» (действ. III, явл. 12).— *396.*

[73] Французский народ — народ храбрецов! (франц.).— *396.*

[74] стрелков (от англ. rifleman).— *396.*

[75] бакалейщик... и сын (англ.).— *396.*

[76] Лиги мира.— *396.*

[77] Герцен имеет в виду свою повесть «Поврежденный» (см. 7, 363—385). Упоминаемый далее *лекарь (Филипп Данилович)* и *чудак (Евгений Николаевич)* — действующие лица повести.— *397.*

[78] Имеется в виду эпизод нападения воров на Дон Жуана (*Байрон.* Дон Жуан, песнь XI, 10—16).— *397.*

[79] почетный легион (франц.).— *400.*

[80] Английский закон о неприкосновенности личности.— *400.*

[81] В добрый час! (франц.).— *400.*

[82] твердыня (нем.).— *401.*

[83] Остановись! Стой! (франц.).— *402.*

[84] подходами (от франц. approche).— *402.*

[85] родильном доме (франц.).— *403.*

[86] европейской породе (лат.).— *404.*

[87] В рассуждениях *поправленного господина* использованы высказывания Тургенева в письмах к Герцену в связи с «Концами и началами». Так, 8 ноября 1862 г. по поводу «Письма шестого» «Концов и начал» Тургенев писал: «Враг мистицизма и абсолютизма, ты мистически преклоняешься перед русским тулупом и в нем-то видишь — великую благодать и новизну и оригинальность будущих общественных форм...» Здесь же Тургенев утверждал, что русские, принадлежа «и по языку и по породе к европейской семье», должны идти «по той же дороге», что и другие европейские народы. «Я,— писал здесь Тургенев,— не слыхал еще об *утке,* которая, принадлежа к породе *уток,* дышала бы жабрами, как рыба» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем в 28 томах. Письма, т. V, с. 67).— *404.*

[88] смирительная рубашка (нем.).— *406.*

[89] смирительная рубашка (франц.).— *406.*

[90] снова (итал.).— *407.*

[91] разновидность (лат.).— *407.*

ИСКОПАЕМЫЙ ЕПИСКОП, ДОПОТОПНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ОБМАНУТЫЙ НАРОД

Поводом для статьи послужило открытие мощей воронежского епископа Тихона Задонского 13 августа 1861 г. Статья интересна как яркое выражение антирелигиозных и демократических взглядов Герцена; народу и его интересам противостоят, как показывает Герцен, не только помещик и подьячий, но и царь и архиерей.

Большую выдержку из данной статьи привел В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена» как свидетельство того, что при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом демократ брал в нем верх над либералом, что в 1860-х гг. Герцен «встал на сторону революционной демократии против либерализма» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 21, с. 261).

Впервые опубликовано в «Колоколе», л. 105, 15 августа 1861 г.

[1] Имеется в виду представление синода о причислении воронежского епископа Тихона к лику святых и об открытии его мощей, утвержденное Александром II.— *408.*

[2] Епископ кавказский *Игнатий* до пострижения служил в инженерной команде.— *408.*

[3] Имеются в виду подавления бездненского и кандеевского крестьянских восстаний в 1861 г. О восстании в Бездне см. прим. 13 к с. 423.— *410.*

[4] Имеются в виду статьи М. П. Погодина, восхвалявшие царское «освобождение» крестьян.— *410.*

[5] См. прим. 18 к с. 35.— *411.*

[6] См. прим. 13 к с. 423.— *412.*

ПИСЬМА К ПРОТИВНИКУ

Адресат «Писем к противнику» — известный славянофил Ю. Ф. Самарин. «Письма» возникли как результат встреч и споров Герцена с Самариным во время пребывания последнего в Лондоне в июле 1864 г. Беседы, продолжавшиеся в течение трех дней (21—23 июля), обнаружили резкое расхождение точек зрения их участников на коренные вопросы русской общественной и политической жизни. О позиции, занятой в этих спорах оппонентом Герцена, можно судить по «Письмам к противнику», по герценовским высказываниям о полемике в личных письмах к Самарину и Огареву (см. 28, письма 492, 493, 494, 504, 515), а также по письмам Самарина к Герцену в августе — октябре 1864 г. (см. «Русь», 1883, № 1, с. 30—42 и № 2, с. 23—30). Споря с Герценом, Самарин оправдывал правительственный террор против участников революционного движения в России и польского восстания 1863 г., резко нападал на революционную молодежь и ее лидеров («„Современник" ненавидит. Чернышевского тоже»,— писал Герцен Огареву 22 июля). Самарин осуждал деятельность Герцена, считая, что им движет стремление к революции «революции ради», и утверждал, что герценовская пропаганда в «Колоколе» «подействовала на молодое поколение как гибельная, противуестественная привычка» («Русь», 1883, № 1, с. 36).

В нападках Самарина на позиции «Колокола» и на русское революционное движение вообще особое место занимала критика материализма. Именно в философском материализме Самарин усматривал источник тех социальных и политических убеждений, против которых он восставал в спорах с Герценом. Трактуя материалистическое мировоззрение крайне упрощенно, в духе сведения духовного к материальному, он утверждал, что материализм полностью исключает возможность самоопределения, свободу действий и ответственность человека, отдавая личность во власть

«вещественной необходимости». Он упрекал Герцена в непоследовательности, ибо, придерживаясь принципов материализма, невозможно, по его мнению, вменять людям в заслугу или в вину их слова и поступки (см. «Русь», 1883, № 1, с. 37—38).

Выявившаяся в лондонских спорах противоположность идейных и политических позиций Герцена и Самарина выходила далеко за пределы личных разногласий. Отдавая себе отчет в общественной значимости вопросов, вокруг которых разгорелись споры, и различных точек зрения на эти вопросы, Герцен попытался перенести полемику в печать. 29 июля он написал Самарину о своем намерении начать в «Колоколе» ряд писем без имени Самарина, «без намеков — и совершенно в серьезном тоне» (27, кн. 2, 497), и послал вариант начала первого «письма». Он предложил также Самарину отвечать на эти «письма» в «Дне» (газете славянофильского направления) или в «Колоколе»; «...я с величайшей готовностью помещу все — если не будет крепких слов о предметах, дорогих мне» (там же).

Самарин продолжил спор с Герценом в личных письмах, от печатной же полемики воздержался, указав на то, что на страницах «Колокола» он «по совести» не может выступить, а высказаться полно и откровенно в «Дне» ему помешала бы цензура (см. «Русь», 1883, № 2, с. 24—25).

«Письма к противнику» были опубликованы в «Колоколе»: письмо первое — 15 ноября 1864 г., письмо второе — 1 января 1865 г., письмо третье — 1 февраля 1865 г.

[1] Свойственное Герцену в 40-х гг. скептическое отношение к славянофильским взглядам на общину сменилось в 50-х гг. убеждением, что «открытие» славянофилами сельской общины как той особенности русского народного быта, с которой должно быть связано будущее развитие страны, заключает в себе истину и является исторической заслугой славянофильства. Это убеждение высказано Герценом в ряде произведений 50-х гг., в частности в публикуемой в настоящем томе XXX главе «Былого и дум». В первопечатном тексте главы, говоря о спорах в 40-х гг. между западниками и славянофилами, Герцен прямо признавал: «То, что у них было истинного, мы не ценили» («Полярная Звезда», 1855, кн. I, с. 150).— *413.*

[2] блага народа (лат.).— *415.*

[3] с этого начинается счет (франц.).— *415.*

[4] Имеется в виду «Письмо к императору Александру Второму» (март 1855 г.), впервые опубликованное в «Полярной Звезде», 1855, кн. I, с. 11—14.— *415.*

[5] тупика (от франц. impasse).— *415.*

[6] ни то ни сё (англ.).— *416.*

[7] Имеется в виду т. I Полного собрания сочинений Алексея Степановича Хомякова, вышедший в 1861 г. под редакцией И. С. Аксакова. *Русский, читавший* книгу Хомякова,— Ф. М. Достоевский.— *417.*

[8] Понятие «материализм» Герцен связывал обычно с определенными философскими учениями, а именно с системами метафизического материализма XVII—XVIII вв. (см. «Письма об изучении природы», VIII письмо «Реализм»). Считая эти системы «моментами» в истории философского знания, выразившими «крайность реализма» и превзойденными дальнейшим развитием философии, Герцен избегал определять свои философские воззрения словом «материализм».— *419.*

[9] *Князь В. А. Черкасский,* активный деятель крестьянской реформы, предлагал сохранить телесные наказания, разграничивая число допустимых ударов для взрослых и для детей и женщин. Герцен в «Колоколе» не раз выражал возмущение позицией «секолюбивого князя» и его сторонников.— *419.*

[10] Герцен цитирует письмо к нему Самарина от 3 августа 1864 г. («Русь», 1883, № 1).— *420.*

[11] *Гардемарин* Владимир Трувеллер во время заграничного плавания в 1861—1862 гг. был у Герцена в Лондоне и приобрел издания его лондонской типографии с целью их распространения среди моряков. По доносу он был арестован и сослан в Западную Сибирь. Об «истории Трувеллера» Герцен рассказал в «Былом и думах» (11, с. 305—306). Подпоручик Петр *Сливицкий* за участие в революционной военной организации был расстрелян 16 июня 1862 г. *М. Муравский,* участник революционного движения 60-х гг., был арестован в 1862 г. и по приговору суда сослан в Сибирь. Все эти факты расправы с участниками революционного движения освещались на страницах «Колокола».— *423.*

[12] *М. Л. Михайлов* взял на себя всю вину за составление и распространение написанного им вместе с Н. В. Шелгуновым и напечатанного в лондонской Вольной типографии революционного обращения «К молодому поколению». О Михайлове и его трагической судьбе «Колокол» писал неоднократно. *В. А. Обручев,* участник революционного движения 60-х гг., сотрудник «Современника», был в 1861 г. арестован и приговорен к каторжным работам. О *Мартьянове* см. статью Герцена «П. А. Мартьянов и земский царь» (18, 11—15).— *423.*

[13] В апреле 1861 г. в селе Бездна Казанской губ. произошло восстание крестьян, недовольных условиями «освобождения». Восстание было жестоко подавлено правительственными войсками, а его руководитель крестьянин Антон Петров был судим полевым судом и расстрелян 19 апреля 1861 г.— *423.*

[14] Панихида состоялась 16 апреля 1861 г.; с речью на ней выступил профессор Казанского университета А. П. Шапов.— *424.*

[15] Речь идет о Н. А. Серно-Соловьевиче, авторе изданной в 1861 г. в Берлине брошюры «Окончательное решение крестьянского вопроса».— *424.*

[16] Имеется в виду прокламация *«Молодая Россия»,* написанная одним из организаторов студенческого движения в Москве, П. Г. Заичневским, и широко распространенная в мае 1862 г. в Москве, Петербурге и провинции. В прокламации говорилось о необходимости и неизбежности в ближайшее время в России социальной революции, содержались призывы к захвату власти и установлению диктатуры революционного меньшинства с целью создания нового общественного строя. Прокламация чрезвычайно напугала реакционную и либеральную прессу и правительственные круги, с ней стали связывать провокационные утверждения о причастности революционной молодежи к майским пожарам в Петербурге. Герцен был не согласен со многими положениями «Молодой России», он считал несвоевременным и нереалистичным призыв к немедленному революционному перевороту и упрекал молодежные круги, из которых вышла прокламация, в незнании народа и его настроений, в революционной риторике (см. в т. 17 статьи «Мясо освобождения», «Молодая и старая Россия», «Журналисты и террористы»). Тем не менее он рассматривал издателей «Молодой России» как людей одного с ним революционного лагеря, объяснял их заблуждения горячностью молодости, «святым нетерпением» и защищал их от нападок реакции. «...Юношеский *через край* «Молодой России» нам дорог после неистовств России не старой, но сгнившей в незрелости»,— писал он в 1867 г. (20, кн. 1, 11).— *424.*

[17] Герцен цитирует письмо к нему Самарина от 8 августа 1864 г.— *425.*

[18] досады (франц.).— *425.*

[19] Намек на издания И. С. Аксакова «Русская беседа» и «День».— *425.*

[20] Речь идет об одном из эпизодов борьбы между эбертистами и сторонниками Робеспьера в конце 1793—начале 1794 г. В феврале 1794 г. эбертисты в руководимом ими Клубе кордельеров завесили черным покрывалом Декларацию прав человека и гражданина в знак протеста против деятельности Комитета общественного спасения.— *426*.

[21] Цитата из письма Самарина Герцену от 3 августа 1864 г.— *427*.

[22] 8 августа 1863 г. по подозрению в разбое был расстрелян Григорий Рузавин. Приговор коллегии военного суда был утвержден исправлявшим должность нижегородского генерал-губернатора генерал-адъютантом Н. А. Огаревым. В «Общем вече» (1863 г., 1 ноября, № 22) было приведено официальное сообщение об этом факте и дана возмущенная оценка его как примера вопиющего беззакония.— *428*.

[23] Осенью 1862 г. русское правительство приняло решение о проведении в Королевстве Польском рекрутского набора по заранее составленным спискам. Набор этот послужил одним из поводов для начала восстания. Герцен рассматривал набор как провокацию и не раз характеризовал его словом «подтасованный».— *430*.

[24] слишком петербургским (нем.).— *431*.

[25] Т. е. рекрутский набор в Польше.— *431*.

[26] Имеются в виду М. Н. Муравьев («Вешатель») и М. Н. Катков.— *431*.

ПИСЬМА К ПУТЕШЕСТВЕННИКУ

«Письма к путешественнику» — один из важных документов, позволяющих судить о том направлении, в котором шло развитие герценовской теории «русского социализма» после реформы 1861 г.

Герцен и в условиях реформ 1860-х гг. сохраняет уверенность в том, что Россия не утратила возможности достичь социализма, минуя фазу буржуазного развития. В то же время, с тревогой наблюдая в правительственной политике тенденции, ведущие к буржуазному развитию страны, он допускает и возможность «буржуазной осны» в России. В «Письмах к путешественнику» ясно выражено складывавшееся постепенно у Герцена в 60-х гг. представление о «русском социализме» как *одном из вариантов*, «частном случае» развития общества к социализму. Здесь также впервые четко сформулирована идея *бессословности* как основы правовых отношений, соответствующих общинному «экономическому быту».

Опубликовано впервые в «Колоколе» в 1865 г.: «Письмо первое» — 25 мая, «Письмо второе» — 1 июля, «Письмо третье» — 15 июля, «Письмо четвертое» — 1 августа, «Письмо пятое» — 17 августа, «Письмо шестое» — 1 сентября. Непосредственный адресат «Писем к путешественнику» точно не установлен.

[1] Ирония Герцена обращена против Б. Н. Чичерина и его единомышленников — сторонников централизованного бюрократического государства, неоднократно заявлявших о «слабости» государственной формы, существующей в Америке.— *434*.

[2] *Лаццарони* — кличка деклассированных, люмпен-пролетарских элементов Италии.— *435*.

[3] Герцен имеет в виду ноты министра иностранных дел А. М. Горчакова, который в июне 1863 г., отвечая на ноты Англии, Франции и Австрии по польскому вопросу, решительно отверг требования западных держав (о созыве европейского конгресса для решения польских дел и др.). Русское правительство и реакционная пресса намеренно преувеличивали угрозу войны со стороны названных держав, разжигая шовинистические настроения и говоря, в частности, о новом 1812 годе.— *437*.

[4] Стремясь воспрепятствовать росту революционных настроений среди польских крестьян, царское правительство весной 1864 г. провело в Королевстве Польском аграрную реформу, передавшую землю, находившуюся в пользовании крестьян, в их собственность.— *437.*

[5] Имеется в виду статья *М. А. Бакунина* «Русским, польским и всем славянским друзьям», опубликованная в прибавлении к л. 122—123 «Колокола» от 15 февраля 1862 г.— *437.*

[6] Речь идет о газете «Весть».— *438.*

[7] Получившая широкую известность фраза гр. *Ф. В. Ростопчина,* сказанная по поводу 14 декабря 1825 г. В статье «Русские немцы и немецкие русские» Герцен передал замечание Ростопчина следующим образом: «У нас все делается наизнанку,— сказал умирающий Ростопчин, услышав весть о 14 декабря.— В 1789 году французская roture хотела стать вровень с дворянством и боролась из-за этого, это я понимаю. А у нас дворяне вышли на площадь, чтоб потерять свои привилегии,— тут смысла нет» (14, 178); roture — чернь (франц.).— *239.*

[8] самомнение (франц.).— *440.*

[9] вопрос чести (франц.).— *441.*

[10] По евангельскому преданию, Пилат предложил народу освободить (по пасхальному обычаю) одного из узников — Христа или Варавву; по наущению первосвященников и старейшин народ потребовал отпустить Варавву (Лук. 23, 17—25).— *441.*

[11] В марте — апреле 1865 г. начались переговоры между папой Пием IX и итальянским королем Виктором-Эммануилом, который требовал сосредоточения в своих руках гражданской власти, предоставляя папе свободную и независимую юрисдикцию над всем итальянским духовенством. Переговоры эти, связанные с вопросом о воссоединении Италии, кончились неудачей.— *441.*

[12] См. прим. 4 к с. 114.— *441.*

[13] Имеется в виду Декларация независимости США, провозглашенная 4 июля 1776 г.— *443.*

[14] сильную власть (франц.).— *443.*

[15] с любовью (итал.).— *443.*

[16] См. прим. 7 к с. 42.— *444.*

[17] Свойственные ряду систем западноевропейского утопического социализма тенденции к строгой регламентации общественной жизни Герцен сравнивает с установлением диктатуры Наполеона Бонапарта в результате государственного переворота *18 брюмера* (9 ноября) 1799 г. и Луи Бонапарта, через год после государственного переворота *2 декабря* 1851 г. провозгласившего себя императором Наполеоном III.— *444.*

[18] См. в наст. томе открытое письмо к Ж. Мишле «Русский народ и социализм» и примечания к нему.— *444.*

[19] не подлежащий изменению (франц.).— *445.*

[20] Определение собственности как «кражи» дано было Прудоном в книге «Qu'est ce que la propriété» («Что такое собственность»). С этой книгой Герцен познакомился в 1844 г. (см. запись в Дневнике от 3 декабря 1844 г.— 2, 391).— *446.*

[21] По евангельскому преданию, Христос воскресил умершую дочь священнослужителя Иаира, сказав при этом, что она не умерла, а спит (Лук. 8, 41—56).— *447.*

[22] Речь идет о швейцарском политическом деятеле Джемсе Фази (см. о нем «Былое и думы», гл. XXXVIII.— 10, 94—115).— *447.*

[23] Герцен иронически сопоставляет резко отрицательное отношение Дж. Фази к социализму с враждебным отношением сиракузского тирана Дионисия Младшего к попыткам Платона во время его второй (367 г. до н. э.) и третьей (361 г. до н. э.) поездок в Сиракузы ослабить тиранию.— *447.*

[24] О личном свидании Бентама с Александром I, приезжавшим в Лондон в 1814 г., нет никаких сведений. Бентама посетил сопровождавший Александра I князь Адам Чарторижский и вел с ним беседу, связанную с неосуществившимся намерением царя воспользоваться советами Бентама при составлении кодекса русских законов.— *448.*

[25] *Франсуа-Жозеф Брусе* — известный французский врач, лечивший кровопусканием. *Винцент Присниц* — один из основателей водолечения.— *448.*

[26] По учению Пьера Леру движение общества к равенству и свободе проходит три стадии: освобождение от тирании семейной, от тирании государственной, от тирании собственности. Говоря о «полемике Прудона», Герцен имеет в виду критику Прудоном буржуазной республики во Франции в 1848—1851 гг.— *449.*

[27] Термин *социализм* был введен в употребление в 20-х гг. XIX в.— *449.*

[28] Имеется в виду выступление Альбера Брисбейна, основателя фурьеристского движения в Америке, на заседании прудоновского «Народного банка» в мае 1849 г. Герцен писал об этом в «Письмах из Франции и Италии» (5, 183—185).— *450.*

[29] В «Первом послании к коринфянам» апостол Павел призывал их преодолеть существующие между ними разногласия: «Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов; я Аполлосов; я Кифин; а я Христов»» (1, 10—12; см. также 3, 3—7, 22—23).— *450.*

[30] Герцен имеет в виду эпизод из «Собора Парижской богоматери» В. Гюго (кн. X, гл. IV); truanderie (франц.) — здесь: сброд.— *451.*

[31] *Кадила... рипиды* — предметы церковной утвари, употреблявшиеся при богослужении.— *452.*

[32] Высказанные здесь мысли о том, что для социалистических идей наступает новый «возраст», что они должны освободиться от «фраз», «церковных риз», «фантазии» и пр., были развиты Герценом в письмах «К старому товарищу» (см. в наст. томе «Письмо первое»). Communa honorum (лат.) — коммуна добрых дел.— *452.*

[33] рискнул (франц.).— *452.*

[34] Цитата из «Евгения Онегина» (гл. VII, строфа XXXIII).— *454.*

[35] См. прим. 23 к с. 361.— *455.*

[36] Люди, склонные к возбуждению необоснованных тревожных настроений (от франц. alarme — тревога). Герцен здесь имеет в виду деятелей так называемой «молодой эмиграции» (об отношениях между ними и Герценом см.: *Козьмин Б.* Герцен, Огарев и «молодая эмиграция».— Литературное наследство, т. 41—42, с. 1—48).— *456.*

[37] Имеются в виду декабристы, возвратившиеся из Сибири после смерти Николая I.— *457.*

[38] «Дрягилем» (крючником) Муравьева-«Вешателя» Герцен называет здесь М. Н. Каткова.— *458.*

[39] Заупокойный псалом католического богослужения.— *459.*

[40] В марте 1862 г. в журнале «The Free Press» была напечатана статья, в которой утверждалось, что Бакунин — агент русского правительства, и делались аналогичные намеки по адресу издателей «Колокола». Герцен и Огарев ответили на эту клевету открытым письмом «Издателю «The Free Press»» (16, 78—79). См. также статью Герцена «Ultimatum» (там же, 99—101).— *461.*

[41] Герцен имеет в виду Эмилию Рив, письмо от которой он получил в мае 1862 г.— *461.*

[42] в общих чертах (франц.).— *462.*

[43] Речь идет о процессе против Луция Сципиона, обвиненного партией Катона в утайке государственных денег и в дипломатических промахах.— *462.*

[44] пашня (итал.).— *463.*

[45] вторжением (лат.).— *463.*

[46] «Разбойники» Ф. Шиллера, действ. II, явл. 2.— *463.*

[47] без страха и упрека (франц.).— *463.*

[48] за чистую монету (франц.).— *464.*

[49] Автор названной брошюры — польский эмигрант граф Сбышевский. О Донозо Кортесе см. в наст. томе «С того берега», ст. VIII.— *465.*

[50] *Сан-Бенито* (санбенито) — саван, надевавшийся на осужденных инквизицией.— *465.*

[51] мой дорогой (итал.).— *466.*

[52] guter Hoffnung — быть беременной (нем.); импасе (от франц. impasse — тупик), т. е. Россия исполнена надежды, а Европа в тупике.— *466.*

[53] Цитата из «Евгения Онегина» (гл. I, строфа VI).— *466.*

[54] Имеются в виду «Исторические афоризмы Михаила Погодина», 1836.— *466.*

[55] выкидыш (франц.).— *468.*

ПОРЯДОК ТОРЖЕСТВУЕТ!

Статья была задумана Герценом как «заключительная» статья «Колокола» за 1866 г., призванная дать обзор и оценку положения, сложившегося в Западной Европе и в России к концу года. В действительности она вышла за рамки такого обзора: помимо оценок сложившейся исторической ситуации и попытки определить перспективы дальнейшего общественного развития она содержит ряд положений, характеризующих теорию «русского социализма» и философско-исторические воззрения Герцена. Здесь он впервые вводит термин «русский социализм». Разъяснение, даваемое в статье этому термину, показывает, что Герцен рассматривает «русский социализм» как разновидность, частный случай общей теории социализма. Интересна также выдвинутая здесь мысль о сочетании в русском социалистическом движении двух «социальных оттенков»: она свидетельствует о растущем внимании Герцена к проблемам социалистической пропаганды в городе, среди фабричных рабочих.

Статья «Порядок торжествует!», и в первую очередь данная в ней характеристика социализма Чернышевского и его соотношения с «русским социализмом» Герцена, была подвергнута резкой критике в брошюре А. А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела» (см. *Козьмин Б.* Герцен, Огарев и «молодая эмиграция».— Литературное наследство, т. 41—42, с. 28—30).

Опубликовано впервые в «Колоколе» 1 декабря 1866 г., л. 230; 1 января 1867 г., л. 231—232; 1 февраля 1867 г., л. 233—234.

[1] «В Варшаве царит порядок!» Себастиани (1831) (франц.). Слова из речи министра иностранных дел Франции О. Себастиани во французском парламенте в сентябре 1831 г., сказанной в связи с подавлением польского восстания.— *470.*

[2] По библейскому преданию, бог, решив разрушить Содом за грехи его жителей, послал ангелов, которые вывели из города праведного Лота и его семью, предупредив их, чтобы они уходили, не оглядываясь. Жена Лота из любопытства оглянулась и была превращена в соляной столп (Быт. 19, 1—26).— *470.*

[3] «Мир разлагается, как гнилая рыба» (нем.) — цитата из «Кротких ксений» Гёте (V).— *470.*

[4] Речь идет об агрессивной, милитаристской политике Пруссии, направляемой Бисмарком.— *470.*

[5] Имеется в виду новое оружие — игольчатое ружье с ударником,

сыгравшее значительную роль в победе Пруссии в австро-прусской войне 1866 г.— *471.*

[6] Император Франции Наполеон III страдал болезнью почек.— *471.*

[7] Такой отзыв о Герцене в связи с его книгой «С того берега» был помещен в австрийской газете «Lloyd».— *471.*

[8] *Больным человеком* Николай I называл Турцию.— *471.*

[9] В сентябре 1866 г. Франкфурт-на-Майне был присоединен к территории Пруссии.— *472.*

[10] высокородственным Гогенцоллерном (нем.). После присоединения ряда мелких немецких государств к Пруссии их властители оказались лишенными трона.— *472.*

[11] *М. С. Косидьер*, участник французской революции 1848 г., после революции занял пост префекта полиции.— *473.*

[12] Имеется в виду неудачное покушение *Ф. Орсини* на Наполеона III.— *473.*

[13] единое отечество (нем.).— *473.*

[14] Речь идет о мексиканской императрице Шарлотте, отправившейся в 1866 г. в Европу, чтобы просить Наполеона III и папу Пия IX помочь ее мужу императору Максимилиану в его борьбе за сохранение престола. Ей отказали в помощи и больную, находящуюся в припадке помешательства, отправили в Бельгию, к ее брату королю Леопольду II.— *474.*

[15] См. прим. 63 к с. 391.— *474.*

[16] В сентябре 1866 г. в Женеве состоялся первый конгресс I Интернационала.— *474.*

[17] Фраза «Да благословит бог Швейцарию» составлена из слов немецкого, французского и итальянского языков.— *474.*

[18] Герцен перефразирует слова Л. О. Бланки из «Обращения к народу» (см. *Бланки Л. О.* Избр. произв. М., MCMLII, с. 149—153).— *476.*

[19] «Старый мир и Россия» (франц.) — цикл статей Герцена (см. 12, 167—200).— *475.*

[20] пользоваться и злоупотреблять (франц.).— *477.*

[21] в теории (нем.).— *478.*

[22] пафос единства (нем.).— *478.*

[23] «Чего же ты еще хочешь, милая?» (нем.) — не совсем точная цитата из стихотворения Гейне «Du hast Diamanten und Perlen» («У тебя есть бриллианты и жемчуга»).— *478.*

[24] можете идти, господа! (нем.).— *478.*

[25] Отрицательное отношение к идее национальной самостоятельности Польши высказано в ряде произведений Прудона.— *479.*

[26] Герцен использует образы библейского предания о юноше Давиде, победившем силача Голиафа (I Цар. 17, 12—51).— *479.*

[27] Сын Адама Авель, по библейскому преданию, был убит своим братом Каином (Быт. 4, 8).— *480.*

[28] баланс (от франц. bilan).— *480.*

[29] «Тебе, живущей в настоящем, не тревожат душу ни напрасные воспоминания, ни бесполезные споры» (нем.). Из стихотворения Гёте «К Соединенным Штатам».— *480.*

[30] в открытое море (франц.).— *480.*

[31] 23 июня 1789 г. на заседании Национального собрания Франции в ответ на приказание Людовика XVI депутатам сословий разойтись и заседать порознь, посословно, Мирабо сказал церемониймейстеру: «Скажите вашему господину, что мы находимся здесь по воле народа и уйдем отсюда, только уступая силе штыков».— *481.*

[32] По евангельскому преданию, слова Христа, обращенные к больному (Матф. 9, 6).— *482.*

[33] Автор книги — В. Ф. Ратч.— *482.*

[34] «Се человек» (лат.) — по евангельской легенде, слова Пилата о Христе (Иоан. 19, 5).— *482.*

[35] между прочим (англ.).—*483.*

[36] Неточно приведенные слова из сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок».— *483.*

[37] В «Деяниях апостолов» рассказывается о том, как гонитель христиан Савл после божественного озарения, ослепившего его, уверовал в бога и Христа и, прозрев, стал апостолом Павлом (Деян. 9, 3—18).—*483.*

[38] хартию (франц.).—*484.*

[39] См. прим. 2 к с. 68 и прим. 8 к с. 75.—*486.*

[40] избирательное право для мужчин (англ.). В XIX в. в Англии женщины не пользовались избирательным правом.—*487.*

[41] Герцен цитирует предисловие к русскому изданию писем к В. Линтону «Старый мир и Россия» (см. 12, 452).—*489.*

[42] Герцен употребил эти слова по отношению к Александру II в статье «Через три года» (см. 13, 197).—*491.*

[43] *«Письма к иноку»* — статьи Н. П. Огарева, помещенные в приложении к «Колоколу» — *«Общем вече»* 22 августа 1862 г.; 1 и 15 ноября 1863 г.; 1 декабря 1863 г.; 1 января и 15 февраля 1864 г.—*493.*

[44] без лишних слов (франц.).—*496.*

[45] 4 апреля 1866 г. Д. Каракозов совершил неудачное покушение на Александра II.—*496.*

[46] Имеются в виду «Сцены у мировых судей», опубликованные в «Голосе» 1 сентября 1866 г.—*498.*

PROLEGOMENA

Опубликовано впервые на французском языке в № 1 «Kolokol» 1 января 1868 г. В помещенном там же редакционном объявлении об издании «Колокола» на французском языке Герцен писал: «...мы решили начать с краткого повторения всего, что было написано нами о России» (20, кн. 1, 8). Таким «повторением» — изложением основных идей герценовской теории «русского социализма» — и явилась статья «Prolegomena». Печатается в переводе с французского Л. Р. Ланского.

[1] Герцен имеет в виду антирусские выступления в иностранной, в частности французской, прессе, усилившиеся после польского восстания 1863 г. Об использовании *русского призрака* Донозо Кортесом см. в наст. томе ст. VIII «С того берега» и примечания к ней.—*500.*

[2] См. прим. 20 к с. 426.—*500.*

[3] В результате поражения в австро-прусской войне 1866 г. *Австрия* потеряла Венецию и вынуждена была согласиться с образованием Северогерманского союза, конституция которого юридически закрепляла гегемонию Пруссии в Германии.—*500.*

[4] Эта мысль Гёте привлекла внимание Герцена еще при его знакомстве с естественнонаучными трудами Гёте в 1840-х гг. (см. 2, 388).—*501.*

[5] Герцен называет Россию именем широко известного в 1860-х годах английского парохода-гиганта *«Great Eastern»*.— *501.*

[6] Имеется в виду серия статей «Россия и Польша» (см. 14, 7—59).—*502.*

[7] См. прим. 49 к с. 465.—*502.*

[8] Французский писатель и журналист *Шарль Мазад* в 1862—1868 гг. поместил в журнале *«Revue de Deux Mondes»* ряд статей о России. Герцен в «Колоколе» не раз отзывался об этих статьях положительно. Он считал, что «г-н Мазад располагает явно достоверными источниками, он хорошо осведомлен, у него нет предвзятого мнения» (20, кн. 1, 309).—*502.*

[9] Герцен перефразирует известное обращение римских гладиаторов

к императору перед боем: «Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» — *502.*

[10] Имеется в виду лженаучная «теория» неславянского (монгольского, «туранского») происхождения русского народа, выдвинутая польским реакционным историком Ф. Духинским. — *503.*

[11] Речь идет об Э. Кине. — *504.*

[12] Имеются в виду «Персидские письма» Монтескьё (1721), книга К. Мармье «Письма об Америке» (1852) и др. — *505.*

[13] благие пожелания (лат.). — *506.*

[14] *Гейне* вспоминал эту легенду в книге «Людвиг Бёрне». — *507.*

[15] Платон предлагал создавать специальные дома для детей, родители которых были лишены права иметь семью и собственность. — *509.*

[16] *Прудон* имел в виду Польшу. — *510.*

[17] «В твоем существовании, полном жизни, тебя не смущают ни бесполезные воспоминания, ни бесплодные споры» (нем.). К этим строкам из стихотворения Гёте «К Соединенным Штатам» Герцен обращался неоднократно начиная с 1840-х гг. (см. запись в Дневнике 18 января 1844 г.—2, 327). — *510.*

[18] Герцен имеет в виду книгу *Прудона* «Qu'est ce que la propriété» («Что такое собственность»), вышедшую в Париже в 1840 г. — *511.*

[19] наоборот (лат.). — *512.*

[20] Имеется в виду Пугачевское восстание. — *512.*

[21] Не располагая полными и достоверными сведениями о современном состоянии дел в России, в том числе о положении крестьянства, Герцен явно преувеличил здесь право *самоуправления*, предоставленное крестьянам царскими реформами 1860-х гг. — *514.*

[22] См. прим. 18 к с. 475. — *514.*

[23] Герцен неоднократно высказывал мнение, что Соединенные Штаты являются «молодой» страной, в которой в отличие от Западной Европы идет процесс интенсивного развития. Ему свойственна была некоторая идеализация американских общественных отношений. В то же время он постоянно подчеркивал, что Америка представляет собой *буржуазную* демократию (см., напр., 12, 351), и резко критически отзывался о ряде сторон американских общественных порядков. — *517.*

[24] согласно теории (нем.). — *518.*

[25] лишенные родины (нем.). — *520.*

[26] Кружок М. В. Петрашевского. — *520.*

[27] Здесь сказалось представление Герцена о близости взглядов славянофилов на русскую сельскую общину с его взглядами на нее. — *520.*

[28] Эта мысль была высказана М. А. Бакуниным в статье «Die Reaktion in Deutschland» («Реакция в Германии»), напечатанной под псевдонимом Jules Elisard (Жюль Элизар) в органе левых гегельянцев «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst» в 1842 г. — *523.*

[29] Здесь проявилась свойственная Герцену в 1860-х гг. недооценка реальной силы, сохранившейся фактически в руках русского дворянства и после реформы 1861 г. — *524.*

ПИСЬМО О СВОБОДЕ ВОЛИ

Поводом для статьи послужили в первую очередь суждения о свободе воли, высказанные в работах по физиологии нервной системы А. А. Герцена (сына А. И. Герцена), в частности в прочитанных им в 1867 г. во Флоренции публичных лекциях, а также в брошюре «Studio fisiologico sulla Volontà» («Физиологическое исследование о воле»). В 1867 г. у профессора Флорентийского университета Морица Шиффа, ассистентом которого в то время был А. А. Герцен, происходила дискуссия о свободе

воли. Шифф и А. А. Герцен считали, что проблема свободы воли исключительно компетенция физиологии. Смотря на проблему с этих позиций, А. А. Герцен приходил к выводу, что вся человеческая деятельность сводится к непроизвольному развитию рефлексов и потому свобода воли невозможна и должна рассматриваться как иллюзия.

По предложению Герцена в спор включился Н. П. Огарев. В написанных им «тезисах» о свободе воли он отстаивал строгую детерминированность человеческих действий и утверждал, что признать свободу воли значило бы ввести «новый принцип невещественной и независимой души, которой присутствие равно не нужно и не имеет места» (см. *Огарев Н. П.* Избранные социально-политические и философские произведения, т. II. М., 1956, с. 170).

Тезисы Огарева не вполне удовлетворили Герцена, находившего, что отрицание идеалистического индетерминизма еще не разрешает вопроса о возможности выбора, несомненно присутствующей в поведении человека, и что решить проблему свободы воли невозможно в рамках физиологии.

Интерес, проявленный Герценом к вопросу о свободе воли, не случаен. С проблемой свободы воли были органически связаны вопросы, занимавшие большое место в философии, социологии и этике Герцена,— об исторической закономерности и активной роли человека в истории, о возможности моральной оценки человеческих поступков, об ответственности человека за свои действия, о вине и наказании и т. п.

Письмо о «свободе воли» — яркое свидетельство существенного отличия философской позиции Герцена от естественнонаучного материализма и направленности теоретических исканий русского мыслителя в сторону диалектико-материалистического решения проблем человека и его деятельности.

Впервые опубликовано в итальянском переводе с французского: «Lettere inedita di Alessandro Herzen padre a suo figlio il Dottore Alessandro» (Strenna della Rivista Europea. Firense, 1871, p. 109—114). По-французски напечатано впервые в «Revue philosophique de la France et de l'étranger», 1876, № 9, p. 290—293, под заглавием «Lettre inédite de A. Herzen sur la volonté» («Неизданное письмо А. Герцена о воле»). Первый русский перевод был помещен в «Православном обозрении» за 1877 г., т. I, с. 285—293. В 1890 г. «Письмо о свободе воли» было напечатано по-русски (в переводе Г. Паперна) в книге А. А. Герцена «Общая физиология души» (СПб., 1890).

[1] Аналогичные мысли высказаны Герценом в письме к дочери — Н. А. Герцен 9 июня (28 мая) 1868 г. Герцен писал здесь: «Дело не в том, что изучение начинается физиологией, а в том, что физиологи воображают разрешить своей частной физиологией явления социологические и на это у них сил нет. Социо[логия] может быть сведена на физиологию, как физиология — на химию, химия — на движение; их единство знать надобно, но это такое же неопределенное, как другие, как слово бесконечность». И далее: «Представь себе, если мы восстанем на то, что собаку называют собакой, а будем, сводя ее на составные части, говорить: «Ах, видите вы эту окисленную и проуглененную селитро-известковую массу с железцем... и фосфором — как раз бежит по тротуару». Как много мы выиграем — а все может быть верно» (29, кн. 1, 364).—*528.*

[2] необходимое условие (лат.).—*528.*

[3] великое неизвестное (лат.).—*530.*

К СТАРОМУ ТОВАРИЩУ

Письма «К старому товарищу» занимают особое место в литературном наследии Герцена. Написанные незадолго до смерти, они как бы подвели итог всей идейно-политической эволюции Герцена и обнаружили новые тенденции развития его мысли.

Поводом к написанию «писем» послужили выявившиеся к концу 1860-х гг. существенные расхождения между Герценом и Бакуниным («старым товарищем»). Сам Герцен полагал, что разногласия между ними относятся к проблемам революционной тактики; в действительности, однако, разногласия эти были более глубокими, проявлялись в трактовке широкого круга важнейших проблем социальной революции и обнаруживали пропасть между воззрениями Герцена и анархизмом Бакунина.

Отрицательное отношение Герцена к авантюристической «агитационной кампании», развернутой Бакуниным и Огаревым в 1869 г. (о ней см. в статье Б. П. Козьмина «Герцен, Огарев и «молодая эмиграция»».— Литературное наследство, т. 41—42, с. 32—36), появление брошюры Бакунина «Постановка революционного вопроса» обострили разногласия между Герценом и Бакуниным и привели к тому идейному разрыву, свидетельством которого явились письма «К старому товарищу». Обнаружились и серьезные расхождения в ряде вопросов между Герценом и Огаревым, испытавшим в 1869 г. значительное влияние идей Бакунина и Нечаева. Полемика с Огаревым нашла прямое выражение в окончательной редакции «писем»: начиная с третьего «письма», Герцен адресует свои возражения не только Бакунину, но и Огареву.

Первоначальной редакцией двух первых писем «К старому товарищу» была статья «Между старичками». 31 января 1869 г. Герцен сообщал Огареву: «Я написал длинное, дельное и едкое письмо к Бакун[ину] для печати в «Поляр[ной] звезде» — под заглавием «Между старичками».— Он не назван, но узнают все» (30, 24). Статья в целом остается неизвестной, известны лишь два отрывка из нее (см. 20, 660—662). Со статьей «Между старичками», а также с первоначальной редакцией третьего «письма» из цикла «К старому товарищу» ознакомился Огарев, у которого они вызвали ряд возражений (см. «Ответы» Огарева «Старому другу».— Литературное наследство, т. 61, с. 193—204). Замечания и возражения Огарева, содержавшиеся в его «Ответах», помогли Герцену уточнить и глубже аргументировать ряд важных положений писем «К старому товарищу».

Большой интерес для характеристики тех взглядов на социальную революцию, которые выражены в «письмах», представляют в особенности: твердая установка Герцена на необходимость теоретической подготовки революции, на разработку революционной теории; историзм в подходе к государству и отрицание бакунинского анархистского требования немедленного уничтожения государства; понимание социальной революции не только отрицания старого мира, но и как сохранения созданных в этом мире общечеловеческих ценностей; надежды на Международное товарищество рабочих — I Интернационал как на организацию, которая может и должна послужить делу воспитания и сплочения масс.

Оставаясь на позициях утопического социализма, Герцен не мог до конца понять историческую роль рабочего класса в социалистическом преобразовании общества. Не понял он и действительного содержания и исторического значения деятельности I Интернационала. В трактовке ряда вопросов, обсуждавшихся на конгрессах I Интернационала, он расходился с линией, которую проводил Маркс. Не избавился окончательно Герцен и от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма: он утверждал в «письмах», что социализм должен обращать свою «пропо-

ведь» равно к работнику и хозяину, к земледельцу и мещанину. Отмечая наличие в «письмах» такого рода старых буржуазно-демократических фраз, В. И. Ленин вместе с тем подчеркивал, что, разрывая с анархистом Бакуниным, Герцен «обратил свои взоры не к либерализму, а к *Интернационалу*, к тому Интернационалу, которым руководил Маркс,— к тому Интернационалу, который начал *«собирать полки»* пролетариата, объединять *«мир рабочий»*, «покидающий мир пользующихся без работы»!» (*Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 21, с. 257).

Впервые письма «К старому товарищу» были напечатаны по-французски в кн.: *Herzen A.* De l'autre rive. Troisième édition (première édition française). Traduit du russe par Alex. Herzen fils. Genève, 1870. Articles inédits, p. 215—246 (*Герцен А.* С того берега. Третье издание (первое французское издание). Перевод с русского Алекс. Герцена-сына. Женева, 1870. Неопубликованные статьи, с. 215—246). Русский текст опубликован впервые в «Сборнике посмертных статей Александра Ивановича Герцена» (Женева, 1870, с. 269—292) с пропусками и искажениями.

[1] *Письмо Бентама к Александру I* было напечатано в апрельской книжке «Вестника Европы» за 1869 г. в статье А. Н. Пыпина «Русские отношения Бентама».—*531.*

[2] coup d'État — государственный переворот (франц.), здесь: насилие; coup de tête — безрассудный, смелый поступок (франц.), здесь: наскок.—*531.*

[3] Настоящая редакция данной фразы — результат поправок, внесенных Герценом под влиянием замечаний Огарева (см. Варианты.— 20, 712). Огарев возражал против характеристики Герценом «внутренней работы» как «беспрерывной, неуловимой». «Я не вижу,— писал Огарев,— в историческом ходе рода людского этой беспрерывной, неуловимой инкубации. История шла гораздо больше борьбой и прыжками, чем творческой тишиной внутренней работы» (Литературное наследство, т. 61, с. 198). Ознакомившись с возражениями Огарева, Герцен подчеркнул в его рукописи слово «беспрерывной» и написал против этого места: «Я не говорил о беспрерывности, а говорю о теперичной минуте» (см. Замечания на рукописи Н. П. Огарева «Ответы старому другу».—20, кн. 2, 622). Однако окончательная редакция цитированных Огаревым строк показывает, что Герцен признал справедливость замечания Огарева и счел нужным исключить слова «беспрерывной, неуловимой».—*532.*

[4] «Страсть разрушения есть творческая страсть» (нем.) — слова Бакунина в статье «Die Reaktion in Deutschland» («Реакция в Германии»), напечатанной под псевдонимом Jules Elisard в «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst», 1842, S. 247—251.— *532.*

[5] Герцен имеет в виду революцию 1848 г. во Франции.—*532.*

[6] Противопоставление Герценом в статье «Между старичками» экономических и политических «промахов» (см. 20, кн. 2, 662) вызвало возражения Огарева. В первом «ответе» Огарев доказывал неправомерность такого противопоставления, обращая внимание Герцена на то, что и политические «промахи» могут вести и действительно вели к экономическому разорению (см. Литературное наследство, т. 61, с. 194). Окончательная редакция первого «письма» показывает, что Герцен исключил то резкое противопоставление экономических и политических «промахов», против которого возражал Огарев. Однако Герцен считал ошибочным мнение Огарева о том, что «сословность» — «экономический промах», т. е. что современное сословное (классовое) устройство общества не имеет своего экономического основания и исторического оправдания. На рукописи первого «ответа» Огарева Герцен написал: «Нет, сословность не промах, а возраст. Первые зубы — не промах — а выпасть должны» (см. 20, кн. 2, 622). Более подробно возражал Герцен Огареву в первой редакции третьего «письма» (см. 20, кн. 2, 662).— *532.*

[7] Выражение неизменно отрицательного отношения Герцена к идеям «уравнительного» коммунизма.— *533.*

[8] Фурье считал, что будущее «социетарное» общество должно не изменить или уничтожить *страсти*, т. е. побуждения, управляющие действиями человека, а дать им верное применение и гармонически сочетать их в «унитеизме» — высшей страсти, направляющей личность к единству с обществом, к отысканию всеобщего блага.— *533.*

[9] В автографе слова *экономический переворот* написаны вместо зачеркнутого слова *социализм* (см. Варианты.—20, 713). Можно предположить, что это исправление здесь, как и в другом месте первого «письма» (см. прим. 13),— результат подготовки Герценом текста «письма» к печати. Сообщая 30 июня 1869 г. Огареву о своем желании напечатать «где-нибудь в Брюс[селе] часть наших препинаний», Герцен добавлял: «...по части социализма, может, формы следует изменить» (30, кн. 1, 144).— *533.*

[10] Герцен имеет в виду выступления *Мадзини* против социалистических идей, в частности критику им Прудона; об этой критике Герцен писал в «Былом и думах» (см. 11, 41). Говоря о «новом препирательстве о влиянии, о воле» и т. д., Герцен, по всей вероятности, имеет в виду споры о свободе воли в европейской прессе 60-х гг.— *534.*

[11] По рассказу Геродота, *персидский царь* Ксеркс, предполагая осуществить вторжение в Грецию, построил два моста через Геллеспонт. Разразившаяся буря снесла и уничтожила мосты. «Узнав об этом, Ксеркс распалился страшным гневом и повелел бичевать Геллеспонт, наказав 300 ударами бича, и затем погрузить в открытое море пару оков» (*Геродот.* История, кн. VII, 34—35).— *535.*

[12] Букв.: снискание благоволения, заискивание (лат.). Здесь: способ привлечь на свою сторону.— *535.*

[13] В автографе слова *новый водворяющийся порядок* стоят вместо зачеркнутого слова «социализм» (см. Варианты.—20, 714 и прим. 9).— *536.*

[14] потенциально (лат.).— *536.*

[15] Суды присяжных (от франц. cour d'assises).— *536.*

[16] крайнее средство (франц.).— *536.*

[17] По преданию, в 494 г. до н. э., во время борьбы патрициев с плебеями в Древнем Риме, плебеи в знак протеста против притеснений со стороны патрициев удалились на *Авентинскую гору*; à l'interieur — внутри (франц.).— *537.*

[18] волей-неволей (лат.).— *537.*

[19] в конце концов (франц.).— *538.*

[20] Уничтожение существующих форм собственности было для Герцена важнейшей стороной социального переворота. Слова Герцена о *неясности и неопределенности* перехода собственности из личной в коллективную относятся не к самому идеалу коллективной собственности, а к путям, формам преобразования собственности.— *539.*

[21] В вопросе об отношении к праву наследования Герцен расходился с Бакуниным, который считал, что отмена этого права законодательным путем, в рамках существующего государства, станет отправной точкой социалистической революции.— *539.*

[22] См. главу «После грозы» цикла «С того берега».— *540.*

[23] Герцен цитирует отрывок из первого «ответа» Огарева на статью «Между старичками» (см. Литературное наследство, т. 61, с. 193).— *541.*

[24] Эти строки направлены против анархистских установок Бакунина в брошюре «Постановка революционного вопроса».— 542.

[25] См. прим. 31 к с. 481.— *542.*

[26] внезапному удару (франц.).— 542.

[27] забастовка (от франц. grève).— *542.*

[28] Герцен имеет в виду Бакунина.—*542.*

[29] В поэме Г. Гейне «Атта Тролль» *медведь Атта Тролль* (в котором Гейне сатирически изобразил немецких мелкобуржуазных радикалов) представляет себе бога — творца мира в виде огромного снежно-белого медведя.—*543.*

[30] Имеются в виду утверждения *Гегеля* в «Философии истории».—*544.*

[31] В прокламациях, написанных весной и летом 1869 г., Бакунин утверждал, что молодежь не должна стремиться к овладению наукой, ибо наука служит исключительно интересам царя и капитала и ничего не может дать народу.—*545.*

[32] См. прим. 17 к с. 81.—*545.*

[33] Эти слова направлены против Бакунина.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

В настоящий том включены письма (1849—1869) Герцена, представляющие интерес для характеристики его философских воззрений, его философии истории и теории «русского социализма».

1. Т. Н. Грановскому
21—26 (9—14) сентября 1849 г. Женева

Впервые опубликовано в Полн. собр. соч. А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке, т. V, с. 279—283. Печатается в сокращении.

[1] всеобщность (нем.).—*548.*

[2] продукт природы (нем.).—*548.*

[3] например (лат.).—*548.*

[4] естественнонаучное обсуждение (нем.).—*548.*

[5] Здесь: смешение.—*548.*

[6] нужно считаться с фактом природы (франц.).—*548.*

[7] Ироническая фраза Герцена имеет в виду гегельянца П. Г. Редкина.—*548.*

2. М. Гессу
3 марта 1850 г. Париж

Впервые опубликовано на языке подлинника (немецком) в кн.: *Irma Goitlin.* Probleme des Gesellschaft und des Haates bei Moses Hess. Leipzig, 1931, S. 163—166; в русском переводе — Литературное наследство, т. 7—8, с. 79—81. Ответ на письмо М. Гесса от февраля 1850 г. (см. там же, с. 74—79), в котором Гесс критиковал книгу « С того берега». Печатается в сокращении.

[1] разлом (нем.).—*549.*

[2] Имеются в виду «Письма с Via del Corso», опубликованные на немецком языке в 1850 г. (см. Письма из Франции и Италии, письма 5—8.—5, 68—131) —*549.*

3. В. С. Печерину
21 (9) апреля 1853 г. Лондон

Представленные в данном томе два письма к В. С. Печерину опубликованы впервые в «Полярной Звезде» на 1861 г., кн. VI, в составе главы из «Былого и дум» — «Pater V. Petcherine» (11, 391—403). Здесь же опубликованы в русском переводе Герцена письма к нему В. С. Печерина.

Критически относясь к современному буржуазному обществу как «тиранству» материальной цивилизации, влекущему за собой упадок духовной жизни, В. С. Печерин видел спасение от этого «тиранства» в религии. Упованиям В. С. Печерина на религию Герцен противопоставлял надежду на развитие науки, которое может и должно, по его убеждению, способствовать избавлению человечества от страданий.

[1] Имеется в виду письмо В. С. Печерина от 15 апреля 1853 г. (см. 11, 397).—*550.*

[2] наскоро (франц.).—*550.*

[3] См. в наст. томе «Русский народ и социализм».—*551.*

4. В. С. Печерину
4 мая (22 апреля) 1853 г. Лондон

[1] Перевод письма В. С. Печерина см. 11, 401—402.—*552.*

[2] Полемическое использование этих мыслей Герцена Ф. М. Достоевским см. «Идиот» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. в тридцати томах, т. 8, с. 309—312, а также т. 10, с. 172). См. также Подготовительные материалы к «Подростку» (там же, т. 16, с. 78).—*552.*

[3] передовицы Парижа и Лондона (франц.).—*553.*

[4] с точки зрения вечности (лат.).—*553.*

5. А. А. Герцену
29—30 (17—18) сентября 1858 г. Путней

Письма сыну — А. А. Герцену, фрагменты которых помещаются ниже, впервые были опубликованы в Полн. собр. соч. А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке (т. 9, с. 347—349 и 351—352; т. 10, с. 161—162). Письма дополняют и развивают мысли о союзе философии и естествознания, высказанные Герценом еще в работах 1840-х гг. Письма свидетельствуют также об отличии философской позиции Герцена от естественнонаучного материализма (в частности, от вульгарного материализма К. Фогта).

[1] Здесь: полностью (лат.).—*554.*

[2] Имеется в виду кн. *Strahl Ph., Hermann E.* Geschichte des russischen Staates. Hamburg, 1832—1853 (*Штраль Ф., Германн Е.* История русского государства. Гамбург, 1832—1853).—*554.*

[3] кстати (франц.).—*554.*

[4] Речь идет о первых трех томах «Истории царствования Петра I» Н. Г. Устрялова, изданных в 1858 г.—*554.*

6. А. А. Герцену
13—14 (1—2) октября 1858 г. Лондон

[1] точка зрения (нем.).—*554.*

7. А. А. Герцену
1 декабря (19 ноября) 1858 г. Фулем

[1] Здесь: функция (франц.).—*554.*

8. А. А. Герцену
14—15 (2—3) декабря 1859 г. Фулем

[1] чем она не является (франц.).—*555.*

9. Э. Кине
30 (18) декабря 1865 г. Женева

Впервые опубликовано в русском переводе в «Современном мире», 1908, № 11, с. 23—25. На языке подлинника (франц.) впервые напечатано в Полн. собр. соч. А. И. Герцена под ред. М. К. Лемке, т. XVIII, с. 293—294. Часть письма была опубликована Герценом в русском переводе в пятом письме цикла «Письма к будущему другу» (см. 18, 97—99).

[1] См. в наст. томе «Русский народ и социализм».—*556.*

[2] Имеется в виду брошюра Н. П. Огарева «Essai sur la situation russe» («Опыт о положении в России»). Лондон, 1862.—*557.*

[3] в более подробном виде (лат.).—*557.*

11. Н. П. Огареву
13 (1) февраля 1867 г. Флоренция

Письма Н. П. Огареву, фрагменты которых печатаются в настоящем томе, впервые были опубликованы в «Вестнике Европы», 1908, № 1, с. 109—110, 113—115, 116—117.

Письма связаны с размышлениями Герцена над проблемой свободы воли и дискуссиями по поводу этой проблемы в близких Герцену кругах (см. примечания к письму сыну «О свободе воли»).

[1] См. примечания к письму «О свободе воли».—*557.*

[2] свобода воли (франц.).—*558.*

[3] хотение, проявление воли (франц.).—*558.*

[4] хочу видеть, как построишь (лат.).—*558.*

12. Н. П. Огареву
22 (10) февраля 1867 г. Венеция

[1] хотение, проявление воли (франц.).—*558.*

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абелярд (Абеляр) Пьер (1079—1142), французский философ и теолог. Сформулировал собственное учение, получившее название концептуализма — 193

Августин Аврелий (Блаженный) (354—430), христианский теолог — 78

Агафатокл, архиерей — 411

Агриппина Младшая (16—59), жена римского императора Клавдия — 257

Адлерберг Владимир Федорович (1790—1884), граф; главноуправляющий почтовым департаментом с 1841 по 1856 г.— 436

Адриани (Андриане) Александре (1797—1863), политический деятель, участник революционного движения в Италии и Франции — 224

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), русский общественный деятель, публицист и поэт, славянофил — 210

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860), русский литератор, славянофил — 210, 215, 228, 232, 234, 240, 241, 244, 246, 488

Аларих I (ок. 376—410), первый король вестготов — 349, 352, 500

Александр I (1777—1825), российский император — 56, 131, 218, 224, 226, 376, 448, 455

Александр, Александр Николаевич, Александр II (1818—1881), российский император — 242, 408, 484, 518, 522

Александр Македонский (356—323 до н. э.), полководец древности — 28, 317

Алексей (1690—1718), сын Петра I — 217

Алексей Михайлович (1629—1676), русский царь — 134, 135, 181

Альба Фернандо Альварес де Толедо (1507—1582), герцог; испанский полководец и государственный деятель — 389

Анаксагор из Клазомен в Малой Азии (ок. 500—428 до н. э.), древнегреческий философ — 78, 282

Анахарсис, скиф — 505

Андреев Осип Федорович, самарский старообрядческий священник — 412

Андросов Василий Петрович (1803—1841), статистик, редактор «Атенея» и «Московского наблюдателя», участник кружка Станкевича — 219

Анибал (Ганнибал) (ок. 247—183 до н. э.), карфагенский полководец — 16

Анненков Павел Васильевич (1813—1887), русский критик и мемуарист — 211
Антонелли Джакомо (1806—1876), итальянский кардинал, глава Государственного совета Папской области — 361
Антоний, архиерей — 411, 412
Антоний, до пострижения — Авраамий Гаврилович Смирницкий (1773—1846), архиепископ воронежский — 408
Анфантен Бартелеми-Проспер (1796—1864), французский социалист-утопист, последователь Сен-Симона — 452
Аполлон (Аполлоний) Тианский (I в.), древнегреческий философ-идеалист, представитель новопифагорейской школы — 550
Апраксин Антон Степанович (1817—1899), граф; генерал-майор свиты; руководил в 1861 г. подавлением крестьянского восстания в с. Бездна, Казанской губернии — 424
Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834), граф; генерал от артиллерии, временщик при Павле I и Александре I, военный министр (1808—1810), организатор и главный начальник военных поселений — 309, 383, 436, 540
Ариост (Ариосто) Лудовико (1474—1533), итальянский поэт — 292
Аристид (ок. 540 — ок. 467 до н. э.), афинский полководец — 74
Аристотель (384—322 до н. э.), древнегреческий философ и ученый — 22, 78, 160, 282
Аргольдт Иван Николаевич (? — 1862), поручик; член революционной организации русских офицеров в Польше — 428, 429
Аффра, Афр (Аффр, Affre) Дени Огюст (1793—1848), парижский архиепископ — 35, 411
Аттила (?—453), предводитель гуннов, возглавлял их опустошительные набеги на Галлию и Италию — 500, 542

Бабёф (Бабеф, Baboeuf) Гракх (наст. имя и фамилия — Франсуа Ноэль) (1760—1797), деятель Великой французской революции — 309—313, 533, 556
Бажанов Василий Борисович (1800—1883), протопресвитер; с 1835 г. преподаватель закона божьего в семье Николая I — 408
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824), английский поэт-романтик — 33, 80, 83, 114, 132, 136, 206, 224, 258, 259, 261—263, 286, 291, 292, 335, 360, 395, 471, 549
Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), русский революционер, один из основателей и теоретиков анархизма — 142, 160, 181—183, 189, 190, 194, 210, 212, 213, 232, 437, 461, 523
Барбаросса, см. Фридрих I
Барбес Арман (1809—1870), французский революционер, участник Июльской революции 1848 г.— 63, 116
Барклай-де-Толль (Барклай де Толли) Михаил Богданович (1761—1818), генерал-фельдмаршал — 217
Баррас Поль (1755—1829), виконт; французский политический деятель, депутат и комиссар Конвента в период

якобинской диктатуры; один из руководителей Директории — 367
Барро Одилон (1791—1873), французский политический деятель — 67, 368
Батый (первая пол. XIII в.), монгольский хан — 472
Бах Иоганн Себастьян (1685—1750), немецкий композитор — 218
Бедо (Bedeau) Мари Альфонс (1804—1863), французский генерал, орлеанист — 32
Беккария (Беккариа) Чезаре (1738—1794), итальянский просветитель, юрист и публицист — 175
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848), русский критик — 127, 141—145, 183, 189, 190, 193, 194, 198—205, 209, 210, 212, 213, 232, 239, 241, 243, 244, 246, 248, 249, 252, 403, 422, 457
Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807—1873), русский поэт — 129
Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844), граф; генерал от кавалерии, с 1826 г. шеф жандармов и главный начальник III отделения — 119, 130
Бентам Иеремия (1748—1832), английский философ, представитель школы утилитаризма — 266, 306, 448
Беранже Пьер Жан (1780—1857), французский поэт — 20, 66
Бернадский (Бернацкий) Алоизий Проспер (1778—1854), польский общественный и политический деятель — 160
Берье (Беррье, Berryer) Никола Рене (1703—1762), придворный Людовика XV — 172
Бетговен (Бетховен) Людвиг ван (1770—1827), немецкий композитор — 64, 192, 352, 548
Бибиков Александр Ильич (1729—1774), генерал-аншеф — 180
Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772), герцог курляндский; фаворит императрицы Анны Иоанновны — 217, 246, 383, 436, 459
Бисмарк Отто фон Шёнгаузен (1815—1898), князь; прусский государственный деятель и дипломат; с 1862 г. министр-президент Пруссии — 471, 478, 479
Бичурин Никита Яковлевич (в монашестве — Иакинф) (1777—1853), священник; служил в русской миссии в Китае — 201
Блан Луи (1811—1882), французский социалист-утопист — 450, 534
Блум (Блюм) Роберт (1807—1848), глава демократической партии Саксонии во время революции 1848 г.— 88
Блюхер Геблард Лебрехт (1742—1819), князь Вальштатт; прусский генерал-фельдмаршал — 314
Боденштедт Фридрих (1819—1892), немецкий писатель — 133
Болдырев Алексей Васильевич (1780—1842), профессор Московского университета; цензор — 221
Бонапарт, см. Наполеон I
Бонапарт Луи (Шарль Луи Наполеон Бонапарт) (1808—1873), французский император

(1852—1870) Наполеон III — 67, 268
Бонарроти, см. Микеланджело Буонарроти
Бонер (Бонёр, Bonheur) Роза (1822—1899), французская художница — 357
Борис Годунов (ок. 1552—1605), русский царь — 228
Боткин Василий Петрович (1811—1869), русский критик и публицист — 209, 213, 232
Бошар (Bauchart) Александр Кентен (1809—1887), французский монархист, докладчик следственной комиссии по делу об Июньском восстании — 116
Браге Тихо (1546—1601), датский астроном, реформатор практической астрономии — 541
Бранкалеоне (XIII в.), подеста Рима в 1253—1258 гг., после бегства папы Иннокентия IV; ввел демократическую конституцию — 95
Брейсбен (Брисбейн) Альбер (1809—1890), основатель фурьеристского движения в Америке — 300, 450
Броневский Дмитрий Богданович (1797—1867), генерал, директор Царскосельского лицея (1840—1853) — 251
Брум Генри (1778—1868), лорд; английский государственный деятель — 285, 287, 449
Бруно Джордано (1548—1600), итальянский философ-пантеист и поэт — 214, 290
Брут Марк Юний (85—42 до н. э.), в Древнем Риме глава (вместе с Кассием) заговора 44-х против Цезаря — 222, 266
Брут Старший (Брут Луций Юний) (ок. 500 до н. э.), по древнеримской легенде, основатель республики в Риме. Брут «от природы нравом обладал твердым, как закаленный меч...» (Плутарх) — 313
Брюллов Карл Павлович (1799—1852), русский художник — 174
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), русский писатель и журналист, агент III отделения — 124, 127, 219, 242
Бурбон, Бурбоны, королевская династия, занимавшая престол во Франции в XVI—XIX вв.— 35, 66, 169, 361, 463, 478
Бурмейстер Христиан (1709—1785), немецкий философ — 250
Бутков Владимир Петрович (1818—1881), государственный секретарь, член Государственного совета и Комитета министров — 484
Бэкон Фрэнсис (1561—1626), философ, родоначальник английского материализма — 78, 81, 110, 554
Бюше Филипп Жозеф (1796—1865), французский политический деятель — 224

Вагнер Рихард (1813—1883), немецкий композитор — 352
Вальдегамас Хуан Франциско Донозо Кортес (1803—1853), испанский маркиз, умеренный либерал, после революции 1848 г.— крайний реакционер — 28, 109—115, 117, 377, 395, 465, 500
Ван-Дик (Ван Дейк) Антонис (1599—1641), фламандский живописец — 353
Ванини Джулио Чезаре (псевд. Лючиллио) (1585—1619),

итальянский философ-пантеист, испытал большое влияние Дж. Бруно — 290
Варнгаген фон Энзе Рахиль Антония Фредерика (1771—1833), немецкая писательница, хозяйка литературного салона в Берлине — 232
Василий Великий (Кесарийский) (ок. 330—379), церковный деятель, теолог, философ-платонист — 257, 389
Васильчиков Илларион Васильевич (1775—1847), князь; генерал — 223
Ватке Вильгельм (1806—1882), немецкий философ, теолог — 191
Ваттель Эмерих (1714—1767), швейцарский юрист — 375, 376
Веллингтон (Уэллингтон) Артур Уэлсли (1769—1852), герцог; английский фельдмаршал — 314
Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827), русский поэт — 130, 131
Вердер Карл (1806—1893), немецкий философ-гегельянец и поэт — 191
Верди Джузеппе (1813—1901), итальянский композитор — 357
Виардо Луи (1800—1883), французский литератор и критик — 135
Вигель Филипп Филиппович (1786—1856), управляющий департаментом духовных дел иностранных вероисповеданий — 130, 221
Вико Джамбаттиста (1668—1744), итальянский философ — 24
Виктор-Эммануил II (1820—1878), король Сардинии и объединенной Италии (1849—1878) — 441
Виндишгрец Альфред (1787—1862), австрийский фельдмаршал — 55
Владимир Святославович (? — 1015), великий князь киевский — 140, 152
Волабель Ашиль (1799—1879), министр народного просвещения в кабинете Кавеньяка — 224
Вольтер (псевд.; наст. имя и фамилия Франсуа Мари Аруэ) (1694—1778), французский писатель и философ-просветитель, деист — 44, 92, 109, 175, 233, 254, 259, 268, 271, 403, 517
Вольфий (Вольф) Христиан (1679—1754), немецкий философ и математик — 250
Воронцов Михаил Семенович (1782—1856), князь; государственный и военный деятель — 543
Ворцель Станислав Габриэль (1799—1857), руководитель польского национально-освободительного движения — 256

Гай Людевит (1809—1872), хорватский политический деятель — 219
Гакстгаузен Август Франц Людвиг (1792—1866), барон; немецкий литератор и экономист — 179, 240, 488, 489, 515
Галилей Галилео (1564—1642), итальянский ученый, один из основателей точного естествознания — 214
Ганс Эдуард (ок. 1798—1839), немецкий профессор права, гегельянец — 193
Гарибальди Джузеппе (1807—

1882), деятель итальянского национально-освободительного движения — 282, 354, 358, 398
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), немецкий философ — 41, 81, 90, 91, 142, 151, 165, 191, 193—195, 198, 199, 207, 209, 212, 249, 307, 352, 377, 543
Гейне Генрих (1797—1856), немецкий поэт — 191, 206, 507, 543
Гейнц (Генц) Фридрих (1764—1832), австрийский государственный деятель и публицист — 302
Гельдерлин (Гёльдерлин) Иоганн Христиан Фридрих (1770—1848), немецкий поэт — 193
Гемпден Джон (1594—1643), деятель английской буржуазной революции — 437
Генрих IV (1050—1106), германский король и император «Священной Римской империи» — 354
Гервинус Георг Готфрид (1805—1871), немецкий историк — 377
Герен Арнольд (1760—1842), профессор истории Геттингенского университета — 242
Германик (15 до н. э.— 19 н. э.), римский полководец — 349
Геродот (ок. 484—425 до н. э.), древнегреческий историк — 211
Герцен Александр Александрович (1839—1906), сын А. И. Герцена — 554, 555
Гесс Мозес (1812—1875), немецкий мелкобуржуазный публицист — 548
Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий писатель, мыслитель и естествоиспытатель — 13, 24, 26, 43, 44, 83, 87, 91, 94, 98, 192, 193, 197, 207, 262, 268, 271, 291, 360, 470, 480, 486
Гиббон Эдуард (1737—1794), английский историк — 29, 291
Гиз Генрих (1550—1588), герцог; глава католической партии во время гугенотских войн и один из организаторов Варфоломеевской ночи (24 августа 1572); основатель «Священной лиги» (1576), созданной для борьбы с протестантизмом — 389
Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874), французский историк и политический деятель, министр иностранных дел (1840—1847) и премьер-министр Франции — 42
Гладстон Уильям (1809—1898), министр финансов Англии — 449
Глинка Авдотья (Евдокия) Павловна, рожд. Голенищева-Кутузова (1795—1863), русская писательница, жена Ф. Н. Глинки — 237, 245
Глинка Федор Николаевич (1786—1880), русский писатель; декабрист — 237, 245
Гнейст Рудольф Генрих (1816—1895), немецкий ученый и политический деятель — 431
Гоббс Томас (1588—1679), английский философ, создатель первой законченной системы механистического материализма — 259
Гогарт (Хогарт) Уильям (1697—1764), английский живописец, график — 353
Гогенлоэ Хлодвиг Карл (1819—1901), князь Шиллингсфюрст; германский рейхсканцлер и

прусский министр-президент — 225
Годунов, см. Борис Годунов
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852), русский писатель — 125, 128, 134—137, 152, 205, 239, 457, 551
Голиок Джордж Джекоб (1817—1906), английский политический деятель и публицист — 291
Гольбах Поль Анри (1723—1789), французский философ-материалист — 233
Гомер, легендарный древнегреческий эпический поэт — 352, 553
Горгиас (Горгий) (ок. 483—375 до н. э.), древнегреческий философ-софист — 235
Гош Лазар (1768—1797), генерал, полководец эпохи Великой французской революции — 367, 435
Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), русский историк — 190, 209, 212, 231, 232, 234, 237, 239, 241—244, 249, 252—255, 269, 422, 456, 548
Грант Улисс Симпсон (1822—1885), генерал, во время Гражданской войны в США в 1861—1865 гг. главнокомандующий армией северян — 413
Греч Николай Иванович (1787—1867), русский журналист и писатель — 124, 127, 242
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829), русский поэт — 232
Григорий Гильдебрандт, Григорий VII (между 1015 и 1020—1085), римский папа — 95
Григорий Назианзин (Григорий Богослов) (ок. 330 — ок. 390), церковный деятель и мыслитель; представитель восточной патристики — 257, 389
Григорий XVI (1765—1846), римский папа — 59
Гримм Фридрих Мельхиор (1723—1807), барон; немецкий литератор и дипломат, живший в Париже — 233
Гроций Гуго (1583—1645), голландский юрист, философ и государственный деятель, основоположник буржуазной философии права — 375, 376
Губе Ромуальд Михайлович (1803—1890), историк-юрист — 139
Гумбольдт Александр Фридрих Генрих (1769—1859), немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник — 291, 338
Гуттен Ульрих фон (1488—1523), немецкий гуманист, писатель-сатирик — 268
Гэ Дельфина (1804—1855), французская писательница — 233
Гюго Виктор Мари (1802—1885), французский писатель — 214, 225, 368, 369, 449

Давид (X в. до н. э.), царь Израильско-Иудейского государства — 451
Дант (Данте) Алигьери (1265—1321), итальянский поэт — 64, 175, 244, 245, 352
Дантон Жорж Жак (1759—1794), деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев — 34, 44, 274, 337, 544
Дашкова Екатерина Романовна, рожд. Воронцова (1743—1810), княгиня; первый президент

Петербургской Академ
ук — 197, 232
Делаво Анри, переводчик произведений А. И. Герцена на французский язык — 214
Демулен Камиль (1760—1794), деятель Великой французской революции — 34, 248, 337
Державин Гаврила Романович (1743—1816), русский поэт — 124, 200
Джонсон, лондонский торговец бакалейными товарами — 396
Дидро Дени (1713—1784), французский философ-материалист — 233, 254, 259, 376
Диккенс Чарлз (1812—1870), английский писатель — 126
Диоклециан (Диоклетиан) (243 — между 313 и 316), римский император — 116
Дионисий Младший, правитель Сиракуз (367—357 до н. э.) — 447
Диц, домовладелец в Москве — 219
Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), русский поэт — 124
Доманже Жозеф, французский эмигрант в Лондоне, учитель сына А. И. Герцена — 558
Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), генерал-лейтенант; начальник штаба корпуса жандармов (1835—1839), управляющий III отделением — 338

Екатерина Великая, Екатерина II Алексеевна (1729—1796), российская императрица — 133, 134, 152, 175, 181, 217, 231, 273, 356, 515, 524
Елагина Авдотья Петровна, рожд. Юшкова, по первому браку Киреевская (1789—1877), хозяйка литературного салона в Москве, мать И. В. и П. В. Киреевских — 234
Елизавета Петровна (1709—1761), российская императрица — 134
Елисавета (Елизавета) Тюдор (1533—1603), английская королева — 281
Ермолов Алексей Петрович (1772—1861), русский полководец и дипломат — 191, 232

Жан-Жак, см. Руссо Жан Жак
Жильбер Никола Жозеф (1751—1780), французский сатирический поэт — 42
Жирарден Эмиль де (1806—1881), французский буржуазный публицист — 534
Ж. Санд, Жорж Санд (псевд.; наст. имя и фамилия Аврора Дюдеван) (1803—1876), французская писательница — 126, 187, 214, 234, 245, 449
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852), русский поэт — 201

Закревский Арсений Андреевич (1786—1865), граф; генерал от инфантерии, финляндский генерал-губернатор (1823—1831), министр иностранных дел (1828—1831) — 338, 422
Зольгер Рейнгольд (1817—1866), немецкий литератор — 4

Иаков Энтузиаст (прозв.; наст. имя и фамилия Ростовцев Яков Иванович) (1803—1860), государственный деятель, член секретного и главного комитетов, созданных для составления законопроекта об отмене

крепостного права, позднее — председатель редакционных комиссий — 338
Иван Антонович (1740—1764), российский император — 181
Иван Васильевич, см. Киреевский Иван Васильевич
Иванов Александр Андреевич (1806—1858), русский художник — 358
Игнатий (до пострижения — Дмитрий Александрович Брянчанинов) — (1807—1867), военный инженер до 1827 г., архимандрит Сергиевой лавры с 1834 г., епископ кавказский и черноморский с 1857 до 1861 г.— 408
Иеллачич (Елачич) Иосиф (1801—1859), хорватский националист, австрийский генерал, участник подавления венгерского восстания в 1849 г.— 219
Измайлов Лев Дмитриевич (1763—1836), генерал-лейтенант — 383
Иоанн Грозный, Иоанн Васильевич (Иван IV Васильевич Грозный) (1530—1584), великий князь «всея Руси», русский царь — 228, 535
Иосиф II (1741—1790), император так называемой «Священной Римской империи германской нации» — 524
Исидор (до пострижения — Яков Сергеевич Никольский) (1799—1892), митрополит киевский, затем петербургский и новгородский — 408
Кабэ (Кабе) Этьенн (1788—1856), французский коммунист-утопист — 396, 450, 533
Кавеньяк Луи Эжен (1802—1857), французский генерал, военный диктатор в июньские дни 1848 г., глава правительства (июнь — декабрь 1848) — 32, 35, 42, 54, 57, 60, 63, 67, 68, 116
К[авелин] Константин Дмитриевич (1818—1885), русский историк и публицист, профессор истории русского законодательства Московского (1844—1848) и по кафедре гражданского права Петербургского (1857—1861) университетов — 281
Кавур Камилло Бензо (1810—1861), граф; государственный деятель Пьемонта, дипломат — 355, 361
Калигула (12—41), римский император — 35
Кальвин Жан (1509—1564), деятель Реформации, основатель кальвинизма — 41, 81, 389, 435, 482
Кампе Юлий (1792—1867), немецкий издатель, руководитель фирмы «Гофман и Кампе» — 549
Каннинг Джордж (1770—1827), министр иностранных дел и премьер-министр Англии — 225
Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ, родоначальник немецкого классического идеализма — 107, 212, 249, 291, 306, 517
Капп Фридрих (1824—1884), немецкий политический деятель и литератор — 4, 549
Каразин Василий Назарович (1773—1842), русский государственный и общественный деятель — 465
Каракозов Дмитрий Владими-

рович (1840—1866), революционер-террорист; 3 сентября казнен за покушение на Александра II — 497
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), русский историк и поэт — 6, 124, 217
Карл-Альберт (1798—1849), король Сардинии (Пьемонта) — 55
Карл X (1757—1836), граф д'Артуа до вступления на престол; французский король (1824—1830) — 85, 240
Карл XII (1682—1718), шведский король — 157
Карлейль Томас (1795—1881), английский писатель, историк и философ-идеалист — 272
Каррерас, лондонский торговец — 357
Карус Карл Густав (1789—1869), немецкий естествоиспытатель и философ-шеллингианец — 197
Катилина Луций Сергий (108—62 до н. э.), римский политический деятель, глава заговора (63 г. до н. э.), раскрытого Цицероном — 387
Катков Михаил Никифорович (1818—1887), русский журналист и публицист — 209, 424, 437, 483, 497
Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842), русский историк и критик — 242
К[етчер] Николай Христофорович (1806—1886), врач, поэт-переводчик, друг юности Герцена, участник его кружков 30-х и 40-х гг. — 185, 186, 253
Кине Эдгар (1803—1875), французский политический деятель, писатель — 55
Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), русский философ-идеалист, один из основателей славянофильства — 200, 215, 237, 238, 240, 246, 253, 417, 488
Киреевский Петр Васильевич (1808—1856), русский фольклорист, славянофил — 215, 237—240, 244, 246, 417, 488
Киселев Павел Дмитриевич (1788—1872), министр государственных имуществ — 120
Клапка Дьёрдь (1820—1892), венгерский генерал, в 1848 г. вступил в национальную армию Л. Кошута, в мае 1849 г. — глава военного министерства; после поражения венгерской революции эмигрировал — 378
Клейнмихель Петр Андреевич (1793—1869), граф; генерал от инфантерии, главноуправляющий путями сообщения — 130
Клеопатра (69—30 до н. э.), последняя царица Египта — 26, 447
Клоц, Клооц (Клоотс) Анахарсис (наст. имя Жан Батист) (1755—1794), философ-просветитель и публицист, участник Великой французской революции, член Конвента; казнен по приговору революционного трибунала — 34, 82, 306, 544
Клюшников Иван Петрович (1811—1895), русский поэт — 211
Кобден Ричард (1804—1865), английский общественный и политический деятель — 374, 396, 455, 456
Кобург (Кобург-Заальфельд) Фридрих Иосия (1737—1815),

саксонский принц; австрийский фельдмаршал — 367
Козловский Петр Борисович (1783—1840), русский дипломат — 167
Кокрель Атанас Лоран Шарль (1795—1868), французский богослов, противник кальвинизма — 482
Колар (Коллар) Ян (1793—1852), чешский поэт — 147
Колумб Христофор (1451—1506), мореплаватель — 27, 39, 179, 267, 316
Кольрейф Юлий Павлович (1813—1844), участник сунгуровского тайного общества — 126
Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842), русский поэт — 131, 133, 134, 142, 173, 209
Комиссаров-Костромский (Комиссаров) Осип Иванович (1838—1892), костромской мещанин, спас Александра II, толкнув покушавшегося на него Каракозова — 498
Конарский Шимон (1808—1839), польский революционер — 159
Консидерант (Консидеран) Виктор (1808—1893), социалист-утопист, ученик и последователь Фурье — 300
Констан Бенжамень (Бенжамен) (1767—1830), французский писатель — 107
Константин I Великий (ок. 285—337), римский император — 200, 230
Константин Николаевич (1827—1892), великий князь; генерал-адмирал, наместник Царства Польского, председатель Государственного совета; брат Александра II — 430
Конт Огюст (1788—1857), французский философ и социолог — 291
Коперник Николай (1473—1543), польский астроном — 267
Короваев (Кузьмин-Короваев) Аглай, офицер, пытавшийся организовать побег польского революционера Конарского — 159
Кортес, см. Вальдегамас Хуан Франциско Донозо Кортес
Корф Модест Андреевич (1800—1872), граф; государственный секретарь — 484
К[орш] Евгений Федорович (1810—1897), редактор «Московских ведомостей» и участник кружка А. И. Герцена в 40-х гг.— 249, 255
Косидьер (Коссидьер) Марк (1808—1861), французский политический деятель — 473
Костюшка (Костюшко) Тадеуш (1746—1817), польский национальный герой, руководитель освободительного восстания 1794 г.— 154, 444
Кошихин (Котошихин) Григорий Карпович (ок. 1630—1667), подьячий Посольского приказа, вступивший в тайные сношения со шведами и бежавший в Швецию — 135
Кошут Лайош (1802—1894), руководитель венгерского национально-освободительного движения, вождь венгерской революции 1848—1849 гг.— 378
Красинский Зыгмунт (1812—1859), польский поэт — 224
Красов Василий Иванович (1810—1855), поэт, друг Станкевича и Белинского — 213
Крицкие (Критские), братья:

Василий (1810—1831); Михаил (1809—1836); Петр (1806 — после 1855), организаторы политического кружка — 126

Кромвель Оливер (1599—1658), деятель английской буржуазной революции XVII в.— 61, 274

Крюков Дмитрий Львович (1809—1845), профессор римской словесности и древностей в Московском университете; участник кружка А. И. Герцена в 40-х гг.— 232, 248

Ксанф (1-я половина V в. до н. э.), древнегреческий историк — 198

Кузень (Кузен) Виктор (1792—1867), французский философ-идеалист, эклектик — 110

Кук Джемс (1728—1779), английский мореплаватель — 243

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), русский писатель — 129

Кюстин Адольф (1790—1857), французский литератор — 118, 122

Лабмаль (Ламбаль) Мария Тереза (1749—1792), принцесса; приближенная Марии Антуанетты — 56

Лакордер Жан Батист Анри (1802—1861), французский католический проповедник — 224, 355

Ламартин Альфонс Мари Луи (1790—1869), французский поэт и историк, министр иностранных дел — 377

Ламе Габриель (1795—1870), французский математик и физик — 365

Ламенне Фелисите Робер (1782—1854), французский публицист, один из идеологов христианского социализма — 36, 91, 224, 225

Лассаль Фердинанд (1825—1864), немецкий социалист — 487, 513, 545

Лафайет Мари Жозеф Поль (1757—1834), маркиз; деятель Великой французской революции — 68, 437

Лебцельтерн Людвиг (1774 — 1854), граф; австрийский дипломат — 224

Левассор Пьер (1808—1870), французский комический актер — 355

Ледрю-Роллен Александр Огюст (1808—1874), французский политический деятель и публицист — 37, 57, 59

Лелевель Иоахим (1786—1861), польский историк и политический деятель — 282

Лео Генрих (1799—1878), мецкий историк — 225

Леопарди Джакомо (1798—1837), итальянский поэт — 224, 270

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841), русский поэт — 131—134, 137, 173, 174, 239

Ле-Ру (Леру) Пьер (1797—1871), французский мелкобуржуазный социалист-утопист — 45, 57, 272, 296, 449

Лессинг Готгольд Эфраим (1729—1781), немецкий философ и писатель — 9

Ли Роберт Эдуард (1807—1870), генерал, во время Гражданской войны в США (1861—1865) командующий армией южан-рабовладельцев — 413

Линкольн Авраам (1809—1865), президент США — 439
Лойола Игнатий (1491—1556), основатель ордена иезуитов — 109
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765), русский поэт, ученый и философ — 134
Лукиан (ок. 120 — ок. 190), древнегреческий писатель-сатирик — 298, 549
Лукреций (Тит Лукреций Кар) (I в. до н. э.), римский поэт и философ-материалист — 56
Львов Алексей Федорович (1798—1870), русский композитор, директор придворной капеллы; в молодости служил в III отделении — 218
Людвиг XV, Людовик XV (1710—1774), французский король — 34, 272, 280, 389
Людовик-Наполеон, см. Бонапарт Луи
Людовик XVI (1754—1793), французский король — 34
Людовик XVIII (1755—1824), французский король — 85, 233
Лютер Мартин (1483—1546), деятель немецкой Реформации — 41, 81, 95, 520
Ляпунов Прокопий Петрович (?—1611), рязанский боярин, деятель Смутного времени 1605—1611 гг.— 218, 431

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855), русский государственный деятель — 425
Мазад Шарль (1821—1863), французский писатель и журналист — 502
Мазепа Иван Степанович (1644—1709), гетман Украины — 134
Макридий, архиерей — 411
Мак-Магон Мари Эдм Патрис (1808—1893), французский генерал, политический деятель — 304
Мальтюс (Мальтус) Томас Роберт (1766—1834), английский экономист — 42
Маргейнеке Филипп Конрад (1780—1846), немецкий философ и теолог — 191
Марий Гай (ок. 157—86 до н. э.), римский полководец — 87, 302
Марио Джузеппе (1810—1883), граф Кандиа; итальянский певец — 355
Мария Антуанетта (1755—1793), французская королева, жена Людовика XVI — 233
Марраст Арман (1801—1852), французский политический деятель — 67, 280
Марсо Франсуа Северен (1769—1796), французский генерал эпохи Великой французской революции, участник штурма Бастилии — 367, 435
Мартьянов Петр Алексеевич (1835—?), бывший крепостной; посещал Герцена в Лондоне — 423
Маццини (Мадзини) Джузеппе (1805—1872), итальянский деятель национально-освободительного движения — 63, 256, 281, 296, 354, 358—360, 379, 447, 482
Мейендорф Александр Казимирович (1798—1865), барон; крупный чиновник, экономист — 201
Мельхиседек, архиепископ пензенский с 1860 г.— 411
Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869), генерал и адмирал, дипломат, морской ми-

нистр в 1827—1828 гг.— 223
Меншиков Александр Данилович (1673—1729), русский государственный деятель, сподвижник Петра I — 217
Местр Жозеф де (1753—1821), граф; французский публицист, политический деятель и католический философ — 91, 359
Меттерних Клеменс Венцель (1773—1859), князь; австрийский государственный деятель — 32, 42, 216, 224, 302
Микеланджело Буонарроти (1475—1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт — 44, 352
Милль Джон Стюарт (1806—1873), английский философ-позитивист и экономист — 271—276, 278, 280, 292, 357, 361, 369, 449
Мильтон Джон (1608—1674), английский поэт и публицист — 271
Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912), генерал-адъютант, военный министр в 1861—1881 гг.— 436
Милютин Николай Алексеевич (1818—1872), товарищ министра внутренних дел — 436
Минин Сухорукий (Минин Козьма) (Захарьев-Сухорук) (?—1616), организатор национально-освободительной войны русского народа в 1612 г.— 431
Мирабо Оноре Габриель Рикети (1749—1791), граф; деятель Великой французской революции — 44, 287, 481
Михаил Павлович (1798—1849), великий князь — 251
Михаил Петрович, см. Погодин Михаил Петрович
Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865), поэт и публицист, сотрудник «Современника»; арестован в 1861 г. по доносу В. Д. Костомарова и сослан на каторгу за распространение написанной им вместе с Н. В. Шелгуновым прокламации «К молодому поколению» — 423
Михелет Карл Людвиг (1801—1893), немецкий философ-идеалист, правый гегельянец — 191, 195
Мицкевич Адам (1798—1855), польский поэт — 147, 159, 224
Мишле Жюль (1798—1874), французский историк романтического направления — 4, 154, 245, 444, 551, 556
Мольер Жан Батист (1622—1673), французский драматург — 332
Монталамбер Шарль Форб де Трион (1810—1870), французский писатель и политический деятель — 111, 151, 271, 396
Монтескье (Монтескьё) Шарль Луи (1689—1755), французский философ-просветитель, правовед — 175
Монтефиоре Моисей (1784—1885), лондонский банкир — 304
Морган Сидней (1783—1859), леди; ирландская писательница — 224
Мордвинов Николай Семенович (1754—1845), граф; адмирал, сенатор, член Государственного совета с 1810 г., член Комитета министров — 338
Морошкин Федор Лукич (1804—1857), профессор Московского университета по кафедре права — 235
Моцарт Вольфганг Амадей

(1756—1791) — австрийский композитор — 192, 352
Мочалов Павел Степанович (1800—1848), русский актер — 200
Муравский Митрофан Данилович (1837—1879), деятель революционного движения 50—60-х гг.— 423
Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866), генерал-губернатор Северо-Западного края (1863—1865) — 431, 436, 437, 454, 458, 483, 502, 516
Мурчисон Родерик Импи (1792—1871), английский геолог и путешественник — 306
Мюнстер, Мюнцер Фома (Томас) (ок. 1490—1525), вождь крестьянства и городских низов в период Реформации и Крестьянской войны в Германии (1524—1525) — 293, 355
Мюссе Альфред де (1810—1857), французский поэт — 214

Надеждин Николай Иванович (1804—1856), критик, журналист и этнограф; редактор «Телескопа» — 221
Наполеон (Наполеон Бонапарт) (1769—1821), французский император — 14, 21, 56, 66, 95, 102, 157, 193, 253, 261, 292, 313, 360, 441, 464, 471, 478
Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (37—68), римский император — 34
Нестор (конец XI — начало XII), летописец и древнерусский писатель, монах Киево-Печерского монастыря — 245
Нибур Бартольд Георг (1776—1831), немецкий историк античности — 91, 377
Николай, Николай Павлович, Николай I (1796—1855), российский император — 118, 119, 122, 125, 126, 128, 135, 139, 159, 165, 167, 176, 181, 205, 218—220, 223, 225, 226, 234, 239, 243, 246, 251, 256, 283, 288, 299, 301, 376, 408, 415, 426, 436, 457, 458, 471, 489, 490, 492, 498, 499, 519—521
Новиков Николай Иванович (1744—1818), русский писатель и журналист —237

Огарев Николай Платонович (1813—1877), русский революционный демократ, философ-материалист, поэт и публицист — 183—190, 198, 205, 252—255, 269, 429, 557
Одоевский Владимир Федорович (1804—1869), князь; писатель и музыкальный критик — 133, 201
Окен Лоренц (псевд.; наст. имя Оккенфус) (1779—1851), немецкий натурфилософ — 189, 197
О'Коннор Фергюс Эдвард (1794—1855), один из руководителей чартистского движения, член палаты общин — 371
Олсоп Томас (1795—1882), английский политический деятель и публицист, друг Р. Оуэна — 272, 285
Оранский Николай Диомидович, секретарь канцелярии московского губернатора, был секретарем в обеих следственных комиссиях по делу Герцена, Огарева и др. в 1834—1835 гг.— 185
Орлов Алексей Федорович (1786—1861), князь; генерал-адъютант, шеф жандармов и начальник III отделения

(1844—1856); с 1856 г. председатель Государственного совета и Комитета министров, позже председатель Секретного комитета по крестьянскому делу — 431

Орлов Михаил Федорович (1788—1842), генерал-майор, декабрист — 221, 225, 232

Орлова Екатерина Александровна (1797—1885), жена М. Ф. Орлова — 222

Орсини Феличе (1819—1858), итальянский революционер, участник борьбы за национальное освобождение Италии — 272, 282, 286, 473

Островский Александр Николаевич (1823—1886), русский драматург — 483

Отто Иоганн Карл (1816—1897), немецкий философ-теолог — 191

Оуэн, Овен Роберт (1771—1858), английский утопический социалист — 274, 281—321, 338, 400, 420, 449

Павел I (1754—1801), российский император — 432, 458, 524

Павлов Михаил Григорьевич (1793—1840), профессор физики, минералогии и сельского хозяйства в Московском университете — 189, 191

Падлевский Зыгмунт (Сигизмунд) (1835—1863), один из вождей польского восстания 1863 г.— 431

Паисий, воронежский священник — 408

Пам (Пальмерстон) Генри Джон Темпл (1784—1865), английский государственный деятель — 456

Панин Виктор Никитич (1801—1874), граф; министр юстиции (1841—1861), член Секретного и Главного комитетов по крестьянскому делу — 338

Парадоль (Прево-Парадоль) Люсьен (1829—1870), французский журналист — 271

Паскевич-Эриванский (Паскевич) Иван Федорович (1782—1856), граф Эриванский; генерал-фельдмаршал — 32, 430

Пенн Вильям (Уильям) (1644—1718), английский квакер, основатель Пенсильвании, английской колонии в Сев. Америке — 22

Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788—1880), академик, астроном и математик, профессор и ректор Московского университета — 191

Перейра (Перейр) Эмиль (1800—1875), французский банкир — 449

Периклес (Перикл) (ок. 490—429 до н. э.), древнегреческий государственный деятель — 222

Персиньи Жан Жильбер Виктор (1808—1872), герцог; французский государственный деятель — 456

Пестель Павел Иванович (1793—1826), декабрист — 131, 239

Петр Алексеевич, Петр I (1672—1725), российский император — 9, 118, 134, 138—140, 146, 149, 153, 175, 217, 227, 228, 239, 242, 246, 309, 317, 383, 426, 436, 492, 512, 519, 523, 524, 532, 543, 551

Петр Васильевич, см. Киреевский Петр Васильевич

Петр Григорич (Григорьевич), см. Редкин Петр Григорьевич

Петр II (1715—1730), российский император — 217
Петр III (1728—1762), российский император — 217
Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821—1866), русский революционер — 181
Петров Антон (наст. имя и фамилия Антон Петрович Сидоров) (1824—1861), крепостной крестьянин, в апреле 1861 г. возглавил восстание в селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии — 424, 428, 542
Печёрин (Печерин) Владимир Сергеевич (1807—1885), профессор греческой филологии в Московском университете, впоследствии эмигрировал и принял монашество — 239, 550, 552
Пёшо Жак (1758—1830), французский публицист и литератор — 172
Пий IX (1792—1878), папа римский — 55, 59, 224
Пиль Робер (Роберт) (1788—1850), английский государственный деятель — 353
Питт Уильям (Младший) (1759—1806), английский государственный деятель — 367
Платон Афинский (428/7—348/7 до н. э.), древнегреческий философ и писатель, родоначальник идеалистического направления в философии — 22, 306, 307, 389
Плиний Младший (61 или 62 — ок. 114), римский писатель — 116
Плиний Старший (23 или 24—79), римский ученый, писатель — 45
Погодин Михаил Петрович (1800—1875), русский историк и публицист, один из идеологов «официальной народности» — 231, 242, 243, 410, 411, 466
Пожарский Дмитрий Михайлович (1578 — ок. 1614), князь; организатор национально-освободительной борьбы русского народа в войне 1612 г.— 431
Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), журналист, историк и писатель — 124, 126, 143, 199
Поляковский, протопоп в Саратове — 412
Потебня Андрей Афанасьевич (1838—1863), подпоручик; член «Земли и воли», руководитель подпольной революционной организации русских офицеров в Польше, участник восстания 1863 г.— 427, 429, 431, 432
Потемкин Григорий Александрович (1739—1791), князь; генерал-фельдмаршал, государственный деятель — 383
Прокл (ок. 410—485), древнегреческий философ-идеалист — 550
Прудон Пьер Жозеф (1809—1865), французский мелкобуржуазный социалист, теоретик анархизма — 45, 57, 94, 101, 102, 117, 147, 212, 224, 272, 288, 300, 374, 377, 392, 449, 550
Пугачев Емельян Иванович (ок. 1742—1775), руководитель крестьянского восстания — 135, 180, 217, 524, 543
Путятин Евфимий Васильевич (1803—1883), адмирал; глава русской торгово-дипломатиче-

ской экспедиции в Японию (1852—1855), морской агент при русском посольстве в Лондоне (1858—1861) — 408

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837), русский поэт — 11, 43, 123, 125, 128, 131, 132, 173, 174, 194, 197, 217, 221, 222, 225, 226, 232, 251, 269

Радецкий Иозеф Венцель (1766—1858), граф; австрийский фельдмаршал — 32, 54—56, 60, 63, 68

Раевская Софья Алексеевна, рожд. Константинова (1769—1844), мать Е. Н. Орловой — 222

Распай, Распаль Франсуа Венсан (1794—1878), французский естествоиспытатель — 57, 116

Растопчин, Ростопчин Федор Васильевич (1763—1826), граф; генерал от инфантерии, московский главнокомандующий в 1812 г. — 217, 439

Рафаил, Рафаэль Санти (1483—1520), итальянский живописец — 44, 218, 548

Р[едкин], Редкин Петр Григорьевич (1808—1891), юрист, профессор Московского университета (1835—1848) — 232, 248, 249, 448

Рейнхард (Рейнхардт) Генрих Август Оттокар (1751—1828), немецкий писатель — 373

Рейхенбах Оскар (1815—?), граф; немецкий политический деятель, депутат франкфуртского Национального собрания в 1848—1849 гг.; с 1850 г. был в эмиграции в Англии, затем в Америке — 356

Рекамье Жюли Аделаида (1777—1849), хозяйка литературно-политического салона в Париже — 233

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669), голландский живописец — 352, 353

Ригби, друг и помощник Р. Оуэна — 285

Ридигер Федор Васильевич (1783—1856), граф; русский генерал, участвовал в подавлении революции 1849 г. в Венгрии — 430

Риензи (Риенцо) Кола ди (1313—1354), вождь антифеодального восстания пополанов в Риме (1347) и глава Римской республики (существовала май — декабрь 1347 и август 1354 г.) — 95, 239

Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (1763—1825), известный под псевдонимом Жан Поль, немецкий писатель — 390

Робеспьер Максимильен Мари Изидор де (1758—1794), политический мыслитель, вождь Великой французской революции — 81, 90, 243, 248, 271, 389, 442, 513, 544

Розенкранц Иоганн Карл Фридрих (1805—1879), немецкий философ-гегельянец, историк литературы — 191

Ройе-Коллар Пьер Поль (1763—1845), французский политический деятель и философ, глава так называемой школы «доктринеров» — 225

Ромье Огюст (1800—1855), французский публицист — 391, 474

Ронге Иоганн (1813—1887), немецкий пастор, один из инициаторов движения «немецких католиков» — 224

Россель (Рассел) Джон (1792—1878), лорд; английский поли-

тический деятель, премьер-министр в 1846—1852 гг.— 261

Россини Джоаккино Антонио (1792—1868), итальянский композитор — 192

Ростковский Францишек, унтерофицер, член подпольной организации русских офицеров в Польше, расстрелян 16 июня 1862 г.— 428

Ротшильд Джемс (1792—1868), барон; представитель банковского дома Ротшильдов в Париже — 455

Ротшильд Лионель (1808—1889), барон; представитель банковского дома в Лондоне — 289, 304, 455

Руге Арнольд (1802—1880), немецкий радикальный публицист, младогегельянец — 143, 191

Рунич Дмитрий Павлович (1780—1860), член Главного управления училищ, попечитель Петербургского учебного округа (1821—1826) — 425

Руссо Жан Жак (1712—1778), французский философ-просветитель — 17, 21, 22, 44, 69, 70, 72, 73, 75—78, 83, 90, 106, 259, 266, 268, 388, 442, 486

Салтычиха (Салтыкова) Дарья Николаевна (1730—1801), помещица, за истязания крестьян была приговорена в 1768 г. к смертной казни, замененной пожизненным заключением — 459

Самарин Юрий Федорович (1819—1876), русский общественный деятель, публицист; славянофил — 210, 240, 243

Сантер Антуан Жозеф (1752—1809), деятель Великой французской революции, якобинец — 367

С[атин] Николай Михайлович (1814—1873), поэт и переводчик, друг юности Герцена, участник студенческого кружка А. И. Герцена и Н. П. Огарева — 252

Сахаров Иван Петрович (1807—1863), этнограф, археолог и фольклорист — 201

Свербеев Дмитрий Николаевич (1799—1876), московский дворянин, в его доме собирались представители славянофилов и западников — 234

Сенар Антуан Мари (1800—1885), член французского Учредительного собрания в 1848 г., министр внутренних дел в кабинете Кавеньяка — 35

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э.— 65 н. э.), римский политический деятель, философ и писатель, представитель стоицизма — 22, 78, 395

Сенковский Осип Иванович (1800—1858), журналист, редактор журнала «Библиотека для чтения» — 127, 128

Сен-Жюст, С.-Жюст Луи (1767—1794), деятель Великой французской революции — 90, 259, 426, 442, 482

Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760—1825), граф; французский мыслитель, социалист-утопист — 147, 293, 550

Сеславин Александр Никитич (1780—1858), генерал-майор, партизан во время Отечественной войны 1812 г.— 431

Сийэс Эммануэль Жозеф (1748—1836), аббат; деятель Великой

французской революции — 260
Сикст Эмпирик (Секст Эмпирик) (2-я пол. II в.— нач. III в.), древнегреческий философ, синтезировавший идеи скептицизма — 548
Симон Жюль (1814—1896), французский политический деятель — 534
С[кворцов] Андрей Ефимович, друг А. И. Герцена в период вятской ссылки, учитель вятской гимназии — 220
Скобелев Иван Никитич (1778—1849), генерал; комендант Петропавловской крепости (с 1839 г.) — 200
Сливицкий Петр Михайлович, подпоручик; член подпольной организации русских офицеров в Польше, за революционную пропаганду в войсках расстрелян 16 июня 1862 г.— 423, 428
Сократ (470/469—399 до н. э.), древнегреческий философ — 28, 70, 78, 403
Софокл (496—406 до н. э.), древнегреческий драматург — 352, 553
Спиноза Барух (Бенедикт) (1632—1677), нидерландский философ-материалист, пантеист и атеист — 9, 81, 110, 307
Сталь (Сталь) Анна Луиза Жермена де (1766—1817), французская писательница — 233
Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), руководитель московского философско-литературного кружка 30-х гг.— 142, 183, 189, 190, 205, 206, 209—213
Стенли (Дерби Эдуард) (1799—1869), лорд Стэнли; английский политический деятель — 272
Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882), граф; государственный деятель — 219, 242, 249
Сунгуров Николай Петрович (1805—?), возглавлял тайное общество в Москве в конце 1820-х гг.; был арестован в 1831 г. и приговорен к каторжным работам, умер в Сибири — 209
Сю Эжен (1804—1857), французский писатель — 449

Талиен (Тальен) Жан Ламбер (1767—1820), деятель Великой французской революции, якобинец — 367
Тацит Корнелий (ок. 58 — ок. 117), римский историк — 27, 45, 273
Темпль, английский судья — 291
Тенгобрский Людвиг Валерьянович (1793—1857), чиновник, экономист и статистик — 167, 168
Тереза (Левассер Тереза) (1721—1801), жена Жан Жака Руссо — 70
Тертулиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — после 220), христианский теолог и писатель — 115, 116, 517
Теруань де Мерикур (наст. имя Анна Теруань) (1762—1817), деятельница Великой французской революции — 197
Тест Жан Батист (1780—1852), французский государственный деятель — 450
Тиберий Клавдий Нерон (42 до н. э.— 37 н. э.), римский император — 507
Тимофеев Алексей Васильевич

(1812—1883), русский поэт — 129
Тихон Задонский (1724—1783), воронежский епископ — 408, 409, 411, 412
Товянский Андрей (1799—1878), польский мистик, глава религиозной секты — 196
Токвиль Алексис Шарль Анри Морис (1805—1859), французский историк, публицист и политический деятель — 273
Толстой Яков Николаевич (1791—1867), русский эмигрант; стал с 1837 г. агентом III отделения в Париже — 223
Траян Марк Ульпий (53—117), римский император — 116
Трелоне (Трелони) Эдвард Джон (1792—1881), английский писатель — 395
Трувеллер (Трувелье) Владимир Васильевич (1842—?), юнкер; сослан в Сибирь в 1864 г. за распространение нелегальной литературы — 423
Тургенев Александр Иванович (1785—1846), русский общественный деятель и публицист — 232
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883), русский писатель — 135, 200, 204
Тьер Луи Адольф (1797—1877), французский государственный деятель, историк — 111, 441

Фаддей Бенедиктович, см. Булгарин Ф. Б.
Фальмерейр Якоб Филипп (1790—1861), немецкий историк и путешественник — 4
Фаредей (Фарадей) Майкл (1791—1867), английский физик — 290
Фейербах Людвиг (1804—1872), немецкий философ-материалист и атеист — 41, 143, 192, 198, 224, 249
Фигнер Александр Самойлович (1787—1813), полковник; командир партизанского отряда в Отечественной войне 1812 г. — 431
Филарет, до пострижения — Василий Михайлович Дроздов (1783—1867), московский митрополит — 351, 411
Филипс Джордж, манчестерский фабрикант, член парламента — 288
Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814), немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма — 83, 212, 291
Фогт Карл (1817—1895), немецкий естествоиспытатель и философ, один из представителей вульгарного материализма — 554
Фокс Чарлз Джемс (1749—1806), английский политический деятель — 287
Фома Кемпийский (1379—1471), монах, богослов — 266
Форстер Иоганн Георг Адам (1754—1794), немецкий натуралист и писатель — 243
Франкер Луи Бенжамен (1773—1849), французский математик — 191
Франц II (1768—1835), последний император так называемой «Священной Римской империи» — 376
Фрёбель Юлиус (1805—1893), немецкий публицист, демократ — 4
Фридерик II, Фридрих II (1712—1786), прусский ко-

роль; полководец — 91, 157, 216, 392
Фукье-Тинвиль (Фукье-Тенвиль) Антуан (1746—1795), прокурор Революционного трибунала во Франции в 1793 г.— 33
Фультон Роберт (1765—1815), американский изобретатель — 313
Фурье Шарль (1772—1837), французский социалист-утопист — 147, 288, 293, 306, 396, 400, 420, 452

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860), русский мыслитель, поэт, публицист, идейный вождь славянофильства — 147, 210, 215, 217, 226, 231, 232, 235—237, 240, 246, 417, 421, 422, 488

Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н. э.), римский диктатор — 95, 184
Цельс (II в.), римский философ, эпикуреец — 115
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.), римский государственный деятель, оратор, теоретик и философ-стоик — 22, 78, 302, 389, 550
Цынский Лев Михайлович, генерал-майор; московский обер-полицеймейстер в 1834—1845 гг.— 391
Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856), русский философ и политический мыслитель — 129, 130, 136, 137, 199, 203, 206, 215, 220—227, 232, 234, 239, 421
Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889), русский революционный демократ — 423, 458, 494, 543

Шаллер Юлиус (1810—1868), немецкий философ-гегельянец — 191
Шатобриан Франсуа Рене де (1768—1848), французский писатель — 91, 218, 232
Шафарик Павел Йосеф (1795—1861), словацкий историк и лингвист — 147
Шведенборг (Сведенборг) Эмануэль (1688—1772), шведский теософ, мистик — 84
Шебуев Василий Кузьмич (1777—1855), русский художник — 218
Шеве Шарль Франсуа (1813—1875), французский публицист — 224
Шевырев Степан Петрович (1806—1864), историк, профессор Московского университета — 231, 242—245
Шекспир Уильям (1564—1616), английский драматург и поэт — 23, 156,172, 207, 259, 352
Шеллей, Шелли Перси Биши (1792—1822), английский поэт — 286, 291, 292, 403, 549
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854), философ, представитель классического немецкого идеализма — 189, 224, 232
Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805), немецкий поэт, драматург и теоретик искусства — 44, 83, 193, 218, 262, 268, 291, 517
Шипов Сергей Павлович (1789—1876), военный деятель, участвовал в подавлении польского восстания 1830—1831 гг. —223
Шишков Александр Семенович (1754—1841), государственный деятель и писатель; ми-

нистр просвещения (1824—1828) — 217

Шлегель Фридрих (1772—1829), немецкий критик, философ культуры, языковед, писатель; ведущий теоретик иенских романтиков — 225

Шлецер (Шлёцер) Август Людвиг (1735—1809), немецкий историк, написавший ряд работ о России — 553

Шопен Жан Мари (1795—1870), французский литератор и переводчик с русского языка — 133

Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий философ-идеалист — 306, 395

Шуберт Франц Петер (1797—1828), австрийский композитор — 192

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863), русский театральный деятель — 232

Эгмонт Ламораль (1522—1568), граф; нидерландский полководец и политический деятель — 389

Эзоп (ок. 620 — ок. 560 до н. э.), древнегреческий баснописец — 73

Эккартсгаузен Карл (1752—1803), немецкий писатель-мистик — 225

Юлиан Отступник, Юлиан Консервативный (331—363), римский император — 85, 100, 111, 115, 116, 549

Юм Дэвид (1711—1776), английский философ-идеалист, историк, экономист и публицист — 81, 233, 259, 291, 425

Юстиниан I (482 или 483—565), византийский император — 550

Яворский Стефан (1658—1722), богослов и церковный деятель — 199

Якоби Фридрих Генрих (1743—1819), немецкий философ-идеалист — 4

Якушкин Иван Дмитриевич (1793—1857), декабрист—224

УКАЗАТЕЛЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ

Абадонна (Аваддон) в иудаистической мифологии олицетворение поглощающей, скрывающей и бесследно уничтожающей ямы, могилы и пропасти преисподней; фигура, близкая к ангелу смерти; Аваддон встречается в текстах Ветхого завета — 317

Авель, в ветхозаветном повествовании второй сын Адама и Евы — 355, 405, 480

Авраам, в ветхозаветных преданиях избранник Яхве, заключивший «завет» (союз), родоначальник евреев и арабов — 296

Адам, в библейских сказаниях первый человек — 355, 405, 480

Апеллес (Аполос), имя, упоминаемое в Новом завете — 450

Ариман, греческое название божества религии зороастризма Ангро-Майнью (Анхра-Манью), олицетворение сил зла, тьмы и смерти — 464

Атта Тролль, персонаж одноименной поэмы Г. Гейне — 543

Афродита, в греческой мифологии богиня любви и красоты — 389

Ваал, восходящая к раннему средневековью греческая форма библейского Баал, возникшего из первоначального Балу,— одно из наиболее употребительных прозвищ богов отдельных местностей и общих богов, например бога бури, грома и молний, дождя и связанного с дождем плодородия и др.— 390

Вулкан, в римской мифологии бог разрушительного и очистительного пламени — 318

Гамлет, герой одноименной трагедии У. Шекспира — 28, 54, 200, 207, 287, 398

Гарольд (Чайльд Гарольд), герой поэмы Дж. Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда» — 261

Гера, в греческой мифологии сестра и супруга Зевса, верховная олимпийская богиня — 389

Голиаф, в ветхозаветном предании великан-филистимлянин, побежденный в единоборстве Давидом — 451, 479

Гретхен, героиня трагедии И. В. Гёте «Фауст» — 288, 396

Дон-Жуан, герой одноименной поэмы Дж. Байрона — 281, 397

Дон-Карлос (Дон Карлос), герой драмы И. Ф. Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский» — 184
Дон Кихот Ламанчский, Дон-Кихот (Дон Кихот), герой романа М. Сервантеса де Сааведры «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — 38, 364—367, 371, 379, 390—391
Доротея, персонаж поэмы И. В. Гёте «Герман и Доротея» — 396

Жавер, герой романа В. Гюго «Отверженные» — 368
Жан Валжан (Жан Вальжан), герой романа В. Гюго «Отверженные» — 368, 369
Журден, герой комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» — 448

Иаков, в ветхозаветном предании патриарх — 296
Иегова (Яхве), в иудаизме непроизносимое имя бога — 389
Илья Муромец, герой древнерусских былин — 235
Иоанн Предтеча (Иоанн Креститель), в христианских представлениях последний в ряду пророков, предвозвестников прихода Мессии; непосредственный предшественник Иисуса Христа — 506
Исаак, в ветхозаветных преданиях сын Авраама и Саары — 306

Каин, в ветхозаветном предании сын Адама и Евы — 85, 262, 405
Карл Мор (Моор), герой драмы И. Ф. Шиллера «Разбойники» — 337
Калибан, герой пьесы У. Шекспира «Буря» — 80
Калипсо, в греческой мифологии нимфа, персонаж поэмы Гомера «Одиссея» — 524
Кент, герой трагедии У. Шекспира «Король Лир» — 286, 367
Квазимодо, герой романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери» — 451
Козетта, героиня романа В. Гюго «Отверженные» — 369

Лазарь, в христианских преданиях человек, воскрешенный Иисусом Христом через четыре дня после погребения — 152, 216
Ларины, персонажи романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» — 232
Лаокоон, в греческой мифологии троянский прорицатель — 135, 512
Лир, герой трагедии У. Шекспира «Король Лир» — 62, 366, 367, 472
Луцифер, Люцифер, в христианской традиции одно из обозначений сатаны — 107, 262, 317
Ляпунов, герой драмы С. А. Гедеонова «Смерть Ляпунова» — 219

Магдалина (Мария Магдалина), в христианских преданиях женщина из Галилеи, последовательница Иисуса Христа — 36
Манилов, герой поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» — 383
Манфред, герой одноименной драматической поэмы Дж. Байрона — 262
Мариюс, герой романа В. Гюго «Отверженные» — 369

Мария, библейский персонаж — 306, 361
Марк, евангелист. В христианской традиции ему приписывается Евангелие от Марка — 359
Маркиз Поза, герой трагедии И. Ф. Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский» — 184, 337
Марс, один из древнейших богов Италии и Рима; бог войны — 24
Марфа, библейский персонаж — 361, 455
Матфей, евангелист. В христианской традиции ему приписывается Евангелие от Матфея — 388
Мефистофель, герой трагедии И. В. Гёте «Фауст» — 192, 262
Моисей, в преданиях иудаизма и христианства первый пророк Яхве и основатель его религии, законодатель, религиозный наставник и политический вождь еврейских племен в так называемом исходе из Египта в Ханаан (Палестину) — 306, 392

Нептун, один из древнейших римских богов, владыка морей — 383, 459, 495
Ноздрев, герой поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» — 234
Ной, в преданиях иудаизма и христианства герой повествования о всемирном потопе — 435

Онегин (Евгений Онегин), герой романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» — 239
Ормузд, греческое название божества религии зороастризма Ахурамазды, олицетворение света, доброго начала — 464

Павел, в христианской традиции «апостол язычников», не знавший Иисуса Христа во время его земной жизни. До миссионерской апостольской своей деятельности носил имя Савл (Саул) — 450, 483
Пан, в греческой мифологии божество стад, лесов и полей — 389, 507
Петр, в христианских преданиях один из двенадцати апостолов — 41, 156, 482
Печорин, герой романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» — 239
Проспер (Просперо), герой пьесы У. Шекспира «Буря» — 80
Протей, в греческой мифологии морское божество, способное принимать облик различных существ и обладающее многознанием — 523
Прюдом, персонаж ряда карикатур и литературных произведений А. Монье — 353

Рем, в римской мифологии братблизнец основателя Рима — 355, 405
Рея, в греческой мифологии древняя богиня, титанида, мать Зевса — 24
Робер Макер, герой одноименной комедии Б. Антье и Ф. Лемétра — 353
Робинзон, герой романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» — 92
Ромул, в римской мифологии основатель Рима — 405

Савл, см. Павел

Самсон, герой ветхозаветных преданий — 147
Санчо Панса, герой романа М. Сервантеса де Сааведры «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — 65, 371
Сарданапал, герой одноименной трагедии Дж. Байрона — 136
Сатурн, один из древнейших богов римской мифологии — 24, 34, 361, 519
Сизиф, герой греческой мифологии — 5, 89, 90
Симеон Богоприимец, герой новозаветных преданий — 95
Собакевич, герой поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» — 234, 495
Сусанна (Сюзанна), героиня комедии П. Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — 233

Тарас Бульба, герой одноименной повести Н. В. Гоголя — 135
Телемак, герой эпической поэмы Гомера «Одиссея» — 397
Титан, Титаны, в греческой мифологии боги первого поколения — 261, 317
Тогенбург, герой баллады «Рыцарь Тогенбург» Ф. Шиллера — 68

Улисс, латинская форма имени Одиссей, героя эпической поэмы Гомера — 38

Христос (Иисус Христос), в христианской религиозно-мифологической системе богочеловек, вмещающий в единстве своей личности всю полноту божественной природы как богсын — 39, 74, 103, 151, 378, 390, 408

Фамусов, герой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» — 232
Фауст, герой одноименной трагедии И. В. Гёте — 17, 174, 287, 288, 460
Фемида, в греческой мифологии богиня правосудия — 72
Фигаро, герой комедии П. Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — 233
Фома, в христианском предании один из двенадцати апостолов — 109
Фортинбрас, герой трагедии У. Шиллера «Гамлет» — 54
Франц Моор, герой трагедии И. Ф. Шиллера «Разбойники» — 463

Чацкий, герой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» — 232

Эдип, герой трагедий Софокла — 54
Эон, в мифологических представлениях позднеантичного язычества персонификация времени — 6

Янус, в римской мифологии бог входов и выходов, всякого начала — 215, 247

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Авторитет 16, 124, 413, 537
(см. Массы)
Анабаптизм (анабаптисты) 41, 543
Анархия
— литературная 124
Антиномии 349, 486, 529, 557
— крайние грани, между которыми колеблется жизнь 298
— социально-гражданская 440
— безусловного права собственности и неотрицаемого права на жизнь 416
Аристократия 43
(см. Мещанство)
Атеизм 40, 101, 143, 545
— греков 298
— и религия 34

Бедность и богатство (довольство) 42, 43
Благосостояние
— народное (общенародное) 449, 450, 498
Будущее 12, 39, 61, 62, 150, 156, 263, 442, 444, 502, 551
— России (будущность России, Россия *будущего*) 161, 177, 205, 214, 226, 457, 549
— и настоящее 20, 24, 129, 500
— и прошедшее (прошлое, дряхлый мир) 91, 92, 99, 100, 109, 111, 123, 148, 149, 303, 310, 350, 386, 393, 407, 432, 467, 529
Буржуазия 46, 268, 532
(см. также Мещанство)
Быт (жизнь) 446, 448, 466, 535, 543
— исторический 450
— народный (б. народа) 383, 456, 467
— сельский 490
— экономический 313
— формы 386, 407
(см. Государство, Человек)

Вера 84, 335, 481, 482, 537, 542
— в силу народа 551
— и откровение 235
(см. Нигилизм, Противуречия)
Вещество
— законы 325, 330
— сочетания и разложения 327
— средоточие 327—331
— равновесие 327, 329
— и пространство 325, 326
Вещь в себе 530
Возможность (возможное) 75
— личной жизни 320
— в. в природе дремлет бездна 315
— [в развитии] народов 320
— [в развитии] общества 285
— в развитии организма 293
— и необходимость 160
Возрождение 507
(см. Наука)
Война 374, 375, 398, 400, 480

— и международное право 376
(см. Народ)
Воля 98, 341, 488, 491, 534, 558
— личная (своеволие) 113
и закон 486
— и предопределение 306
Воспитание 16, 52, 98, 103, 121, 189, 206, 264, 286, 300, 426
— главный путь водворения нового порядка (по Оуэну) 311
— *очеловечивало* учеников всякий раз, когда принималось 208
— и наказание 420
(см. Личность, Противуречия, Свобода воли, Человек)
Время
— объективность 530

Государство (государства, государственная жизнь, государственный быт, строй) 292, 443, 466, 487, 511, 512, 519, 540
— идет к самоуничтожению 544
— г. б.— преступный плод узурпации 311
— отвлеченное понятие г. как цели личности 486
— форма *преходящая,* но не прешедшая 545
— мещанское 386, 416
— мещанское и народное 362
— главные начала, на которых выводились г. 296
— социальное пересоздание г. с. 449
— формы и основы 506
— развивает потребности и идеалы... которых осуществление несовместимо с г. ж. 299
— и свободная мысль 517
— и церковь 306, 339
(см. Личность, Отрицание, Рабство, Свобода, Совершеннолетие)

Движение 528
— беспрерывное д. всего живого 24
— частиц вещества 328—333
(см. Массы)
Дворянство 459, 493, 524
— вырождение 532
— и личность 438
— и народ 438
Деизм (деисты) 509, 525
Действие (дело, деятельность, движение, труд) 66, 68, 98, 178, 184, 231, 262, 337, 533
— как функция организма и его развития 527
— историческая (историческое) 108, 528
— отрицательное 108
— политическое д. в России (русское д.) 180, 503
— противное нашим убеждениям, преступно 107
— революционное 487, 551
— сознательное и ощупью 52
— социалистическое 520
— человека (личности) 526, 527, 529
— участие речью в современном д. своей родины 339
(см. Инстинкт, Массы)
Демократия 42
— как борьба, отрицание иерархии 61
Деспотизм 66, 119, 139, 162, 230, 314, 377, 468, 490
— военный 470
— и оппозиция 122
(см. Народ)
Диалектика
— Гегеля 199
Добро и зло 82, 370, 512
— мещанства 353
Доктрина 375
— религия, из которой бог выехал, а церковная утварь осталась 339

Доктринерство (доктринаризм, доктринеры) 377, 378, 384, 490, 491, 495, 513
— мешает пониманью 374
— противник д. сама природа, сама история 376
Долг 146, 296
Досуг
— и праздность — первые условия прогресса, свободы, искусства и сознания 295
— и рабство 295
Дуализм 104, 150, 518
— это христианство, возведенное в логику 103
— идеалистический 526
— в науке 193
Дух
— и тело 344

Естествоиспытатели 311
(см. Фатализм)

Жизнь
— общественная 527
— органическая 528
— практическая 104
— исследование ж.— задача физиологии 527
— цель 75

Закон (законы) 177, 445, 528
— математические 534
— общий з. возникновения 328
— общие 362
— исторического развития не противуположны з. логики, но они не совпадают 52
— общежития 451
(см. Вещество, История, Противуречия)
Западники 337, 352
(см. Славянофильство)
Здравый смысл 323
— потребность 303
Знание (ведение) 329, 336, 340, 341, 531
— чистое 377
— природы 342
— и предрассудки 533
Идеал (идеалы) 72, 104, 314, 495, 502, 506
— гражданские 467
— общие 533
Идеализм (идеалисты) 27, 50, 54, 192, 260, 418, 534
— и материализм 109
Иллюминаты 21, 401
Инстинкт (инстинкты, естественные, темные влечения, страсти) 46, 52, 75, 98, 276, 287, 335, 535, 537
— животных 82
— самосохранения и законы 295
— и деятельность 67
— и история 52
— у масс 52, 53
Искусство 137, 352
— теория 528
— и мещанство 353, 354, 357
(см. Досуг)
Истина 79, 81, 198, 262, 263, 304, 367, 444, 501
— объективная 413
— критериум 453
— науки 254
— и метода 414
— и нравственность 293
— и предрассудок 43
(см. Любовь)
История 23, 27, 28, 54, 75, 77, 89, 112, 137, 140, 147, 150, 152, 190, 275, 302, 315, 460, 462, 469, 499, 502, 506, 510, 512, 540, 547
— действительно объективная наука 52
— деятельная и прогрессивная часть человечества 163
— импровизируется, редко повторяется 24
— как свободное и необходимое дело человека 529
— не возвращается 227

— представляет нам *на самом деле* схваченную, неосевшую, оседающую формацию 386
— прогрессивное продолжение животного развития 163
— *является не чем иным, как развитием свободы в необходимости* 530
— всемирная 381
— физиология 548
— философия 548
— цель 25
— и природа 548
(см. Народ, Природа, Человек)
Историческая фаза
— каждая и. ф. имеет полную действительность, свою индивидуальность 45

Католицизм (католичество, католики) 79, 111, 112, 224, 225, 268, 274, 390, 395, 401, 468, 471, 500, 557
— и Реформация и революция 388, 389
(см. Протестантизм)
Коммунизм (коммунисты) 78, 80, 101, 162, 164, 229, 442, 450
— казарменный 444
— русский 515
— сельский (крестьянский) 170, 173 (см. также Община)
(см. Нравственность)
Консерватизм (консерваторы, консервативная партия) 57, 60, 109, 157, 194, 364, 450, 467, 509, 523, 532, 538
— как охранительная сила 470
— *революционный* 460
— и революционность 508
— и революция (и революционеры) 55, 361, 463
Красота 355
— как исключение, роскошь природы 24
— физическая 77

Либерализм (либералы) 39, 40, 42, 168—170, 249, 258, 259, 312, 395, 454, 461, 468, 513
— и народ 65
Литература 134, 137, 152, 172—174, 193, 200, 209, 233, 239, 242, 246, 381, 428, 436, 490, 494
— подпольная 425
— и государство 550
Личность (личности, лицо) 9, 98, 146, 273, 277, 528, 529, 535, 547, 548
— живая сила, могучий бродильный фермент 149
— как продукт физиологической необходимости и необходимости исторической 529
— истинная, действительная монада общества 103
— исключительные (великие, сильные, перехватывающая, преобразователи) 77, 78, 293, 298, 312
— независимая 100
— свободная л. и земля 513
— историческое отношение л. к обществу 107
— неприкосновенность л. и безоговорочное покровительство государством собственности 508
— обеспечение 486
— освобожденность 550
— подчинение обществу 102
— поглощение в боге и в государстве 339
— стирание 355, 363, 370, 395
— и воспитание 276, 486
— и государство 139, 148, 149, 170
— и идеи 520
— и масса 275, 395
— и общество 107, 486, 487
— и произвол 156
— и смерть 41
— и среда 542
— и эгоизм 147

— у славянофилов 150, 153
(см. Права, Природа, Фатализм)
Любовь 183, 189
— животная, узкая 106
— чувство л. к родине 217
— в христианстве 106
— к истине — страсть 335
— к человечеству 67

Массы 42, 78, 108, 264, 274, 295, 297, 391, 450, 476, 477, 478, 487, 551, 552
— движение 64
— развитие 97
— мысль у м. тотчас переходит в действие 53
— и авторитет 102
— и личная свобода 102
— и образованное (развитое) меньшинство (умы) 64, 74, 77, 82, 83
— и передовые 18
— и поэты 207, 391
— и пониманье 543
(см. также Народ; см. Либерализм, Религия)
Материализм (материалист) 419, 420, 425
Метода 195
— диалектическая 193
— и содержание 150
(см. Истина)
Мещанство 266, 312, 320, 391, 406
— главный представитель индивидуализма 487
— conglomerated mediocrity Стюарта Милля 202
— окончательная форма западной цивилизации, ее совершеннолетие 394
— основано на безусловном самодержавии собственности (мир до крайности доведенного права собственности) 354, 358, 362
— личность 265
— и аристократия 354, 363
— и пролетариат (пролетарии) 358, 362, 363
(см. Государство, Добро и зло, Искусство, Народ, Протестантизм)
Мир (миры) 20
— древний 22
— католико-феодальный 38
— старый 470, 556
— старый и новый 21, 34, 506, 550
— свобода 35
— столкновение двух исторических 380, 381
Мир (миры)
— возникновение (образование новых) 328—330
— отдельных явлений и исторический м. (физический и исторического развития) 528, 534
Мистицизм (мистическое воззрение, мистическая философия, мистики) 21, 195, 196, 225, 317
— художественный м. Киреевских 238
— Чаадаева 224
Моралисты 107
(см. Эгоизм)
Мысль 480, 518, 519
— свободная 524
— теоретическая 22
— борьба 543
— история развития 446
Мышление
— *свободное* 534
Музыка 352
— философия 192

Народ (народы) 11, 41, 42, 48, 49, 90, 123, 133—136, 154, 155, 157, 158, 164—166, 170, 175, 180, 208, 349, 394, 406, 407, 410, 415, 417, 428, 432, 468, 478, 506,

512, 515, 521, 525, 539, 540, 548, 556
— консерватор по инстинкту 543
— произведения природы 163
— коммунистический 551
— состарившиеся без полного развития мещанства 405
— нравственная жизнь
— состояние соответственности внешнего общественного устройства с потребностями н. 278
— право на землю 467
— и война 464
— и движение истории 543
— и деспотизм (деспотия) 66, 145, 279
— и духовенство 411
— и его религия 296
— и пророки 390
(см. также Массы; см. Благосостояние, Совершеннолетие)
Народность 10, 176, 218, 219, 544
— идея н. сама по себе идея консервативная 215
— окружается революционной ореолой, когда народ борется за независимость 216
(см. Поэзия)
Натуралист 57
— о творце 105
Наука 110, 209, 249, 322, 323, 446, 456, 461, 464, 480, 504, 508, 518, 519, 545, 554, 556
— не есть учение или доктрина 552
— победа над природой, освобождение 551
— составляла майорат человечества 351
— германская (немецкая) 90, 191
— естественные 328, 329, 421
— idée fixe в эпоху Возрождения 274
— *научная* и прикладная 546
(см. Дуализм, Истина, Противуречия)
Необходимость
— историческая 79, 169, 549
— физиологическая 557
— у Аристотеля 160
(см. Личность, Свобода и необходимость)
Необходимость и случайность 441
Нигилизм (нигилист) 351, 520
— *наука и сомнение, исследование вместо веры, пониманье вместо послушанья* 498
— это убеждение, мнение 518
Ничто
— определение 346
Нравственность 104, 146, 264, 266, 276, 383, 388, 389, 403, 414, 427, 444, 445, 509, 546
— абсолютная... не существует, н. несколько, все они очень относительны, то есть исторические 389
— вечной н. нет 107
— условная 105
— христианская 114, 314
— религии основывали на покорности 102, 103
— русского крестьянина, вытекающая инстинктивно, естественно из его коммунизма 167
— и поведение 109

Образование (Humaniora, ученье) 42, 112, 121, 156, 176, 211, 229, 264, 268, 303, 381, 383, 421, 440
— как общее очеловечение 553
— народное 468
(см. Рабство)
Образованность (образованный мир) 10, 384, 393
Общественность (общественная жизнь) 80, 82, 111, 146, 457
— как основная стихия жизни человеческой 106

Общество (общественная форма, общественное устройство) 113, 299, 320
— социалистическое 520
— *вечные* основы 506
— распадение 234
(см. Противуречия)
Общества (ассоциации)
— кооперативные 312, 449
— покровительства животным 515
Община 120, 495
— народная (коммуна) 309
— *постоянная* о.— *артель* и подвижная о., работничья ассоциация 522
— сельская (крестьянская) 165—168, 170, 171, 229, 442, 488, 511, 514, 517, 520
— славянская о. и социализм 148
— и личная независимость (свобода) 491, 514
(см. Права)
Общинное владение (общинное пользование землей) 449, 493
— и буржуазная собственность 458
(см. Свобода)
Обычай
— в жизни человечества 275
Организм 528
— развитие 293
Отрицание (отрицанье) 146, 199, 534, 543, 551
— государства 533, 545
— государства, церкви, войска 533
— социализмом полнейшим образом всего старого порядка вещей 112
— той или другой стороны общественных условий 98
(см. Демократия, Цивилизация)

Панславизм (панслависты) 137, 162, 181, 216, 219, 551
(см. Славянофильство)
Пантеизм 143, 198
— кружка Станкевича 209
Патриотизм 152, 217, 218, 429, 432, 454, 516
— языческий 391
(см. Славянофильство)
Переворот (катаклизм) 388, 536, 546
— геологический 368
— демократический 377
— мирный органический 46
— сельский 495
— социальный см. Революция
— экономический 467, 532, 533, 543
— в природе 46, 47

Позитивизм 534
Пониманье (понимание, возможность понимать, разуменье) 67, 71—73, 109, 159, 192, 202, 302, 303, 315, 322, 345, 414, 450, 461, 465, 467, 477, 478, 481, 485, 531, 535, 537—539, 542, 543, 546
— понимать — это уже действовать 66
— европейское 487
— эстетическое 287
— мира человеком 97
— постепенность так, как и непрерывность, неотъемлема всякому процессу р. 538
(см. Доктринерство, Массы, Нигилизм, Противуречие, Схоластика)

Поэзия (поэт) 123, 128, 261
— русская 131—134, 137, 173
— в истинных своих произведениях всегда народен 207
(см. Массы)

Право 486, 502
— гражданское 377
— латинское 556

— международное 377 (см. Война)
— уголовное 377
Права (право) 499
— на землю (поземельное владение) 487, 488, 493, 495, 511, 513, 514, 521, 555, 556 (см. Народ)
— личности и п. общины 514
— человека (личности) 9, 486, 500, 508, 517
— юридического лица 508 (см. Собственность)
Православие 140
— греческое (византизм) как апатичный католицизм 139 (см. Протестантизм, Славянофильство)
Предопределение 317
— и свобода 316
Предрассудок (предрассудки) 109, 493, 544
— затрудняют нам простое изучение окружающей нас жизни 323
— является детской формой предчувствуемой истины 527
— исторические 323
— общественный 291 (см. Знание, Разум)
Преемственность 549
— поколений 369
— в истории 485
Прекрасное
— не ускользает от законов природы 528
Природа 26, 27, 53, 163, 198, 315, 324, 327, 328, 506, 552, 554
— никогда не идет правильным маршем вперед 23
— истинная во всем, что делает 15
— в п. нет торопливости 303
— неочеловеченная (голая, дикая) 350
— естествоиспытатели о планах и целях п. 296
— закон 326
— изучение 323
— цель 25
— развитие п. незаметно переходит в развитие человечества 52
— беспрерывно манит к жизни 29
— консерватизм и революционный элемент в п. 47
— и история 51
— и личность 262
— и сознание 46 (см. Красота, Наука, Переворот, Человек)
Причина 340
— мнимая 341
Прогресс 318, 384, 399, 464, 500, 525
— определение 25
— бесконечен 26
— человечества 377 (см. Досуг)
Пролетариат (пролетарий) 40, 42, 78, 311, 399, 444, 494, 515 (см. Мещанство)
Пространство
— реальность 530
Протестантизм (протестанты) 41, 155, 274, 401
— революционная закваска 442
— и византизм 296
— и католицизм (католики) 296, 463, 497
— и мещанство 268
— и церковь 394
Противуречия (противоречие) 110, 468, 471, 475
— снятие п. пониманием 440
— веры и сознания 389
— закона и совести 389
— общественного быта 310
— общества и лица 360
— слов и дел 393, 541
— *слов* учения с *былями* жизни

(между воспитанием и нравами) 208
— церкви и науки 389
— юридического быта и быта экономического 416
Прошедшее и настоящее (былое и настоящее, и современное) 535, 540
Пуританизм 366

Рабство 299, 339, 544
— как начало государства, образования, человеческой свободы 295
— низшая ступень человеческого оознания у Гегеля 151
— первый шаг к цивилизации 80 (см. Досуг)
Развитие (развития) 328, 329, 450, 454, 495, 538, 552
— как стремление к *лучшему* от обычного 275
— *должно* беспрестанно отклоняться 362
— историческое (исторический ход) 466, 512, 531
— исключительные 75
— народное 496
— социальное 468
— экономическое 467
— воспитательные формы человеческого освобождения и р. 535
— фазы 407
— животных 370
— в природе 385 (см. Массы)
Разум (ум) 98, 100, 306, 318, 498, 527
— последнее усилие, вершина, до которой развитие не часто доходит 202
— деятельный 558
— освобождающийся 468
— и авторитет 336
— и инстинкт (у зверя) 323
— и предрассудки 392
— и религия 508 (см. Свобода)
Рационализм (рационалисты)
— религиозный 155
— отрицание религии 40
Реальность
— психологическая 530
— эстетическая 529
Революция (социальный переворот) 44, 45, 59, 79, 89, 99, 147, 149, 153, 170, 177, 230, 233, 259, 269, 368, 390, 395, 401, 415, 448, 461, 468, 470, 471, 477, 478, 495, 504, 507, 517, 523, 533, 534, 539, 544, 556, 557
— idée fixe в XVIII столетии 274
— 1830 г. в Варшаве (польское восстание) 159, 464
— 1830 г. (Июльская революция 1830 г. во Франции) 21
— 24 февраля, р. 1848 г. (Февральская р. 1848 г. во Франции) 56—58, 90, 479
— французская (Великая французская революция 1789 г.) 34, 308, 388, 449, 466, 467, 479
— *христианская* 507
— и личность 508
— и монархия (монархисты) 40, 497
— и народ 279, 280, 367
— и нравственность 509
— и *пониманье* 535
— Дон-Кихоты (рыцари) р. 365, 366, 379, 391, 394
— и либерализм 394
— и реакция 58, 113, 138, 156, 257, 473, 476
— и религия 509
— и свобода 155
— и собственность 46 (см. Католицизм, Консерватизм)
Религия 79, 80, 84, 107, 143, 317, 336, 371, 433, 509, 529, 533

— главное препятствие к гармоническому развитию нового общежития людей (по Оуэну) 289
— и массы 509
— и фатализм и доктринаризм 318
(см. Народ, Нравственность, Разум, Революция, Славянофильство)
Республика 36, 38, 59, 102, 146, 269, 366, 391, 396, 533, 539, 556
—во Франции (французская) 32, 34, 56, 57, 92, 364, 367
— и монархия 35
Реформация 147, 269, 390, 467, 478, 508
— и церковь 507
(см. Католицизм, Христианство)
Романтизм 53
Рыцарство (рыцарь) 268
— как первообраз мира феодального 264
— личность 265

Свобода (воля) 58, 75, 78, 90, 97, 156, 159, 272, 277, 279, 291, 339, 396, 412, 464, 465, 469, 475, 478, 500, 509, 513, 517, 526, 544, 553
— личная 555 (см. Массы)
— нравственная с. является реальностью психологической 529
— буржуазная 471
— мир *с. в разуме* 537
— лица и с. государства 473
— лица и общинное владение 488
— слова 525
— и государство 508
— и равенство 426
— и самовластье 506
(см. Досуг, Мир, Рабство, Свобода и необходимость, Сознание)
Свобода воли 526, 530
Свобода и необходимость 417, 529
Семья 509, 539, 540
— сельская 171
Сен-симонизм см. Социализм
Скептицизм 259, 387
Славянофильство (славянофилы, *славяне*) 138, 141, 144, 145, 147—150, 152, 153, 199, 200, 206, 217—219, 226, 227, 234—236, 244, 246, 337, 455, 488
— не освобождало, а связывало, не двигало вперед, а толкало назад 140
— истина их воззрения 215
— возвращение к народу не было действительным 228
— исторический патриотизм 151, 215
— любовь к русскому народу, русскому быту, русскому складу ума 247
— национализм, полное, оконченное отчуждение всего западного у П. В. Киреевского 239
— преувеличенное чувство народности 215
— протест против оскорбленного чувства народности 231
— религия (православие) 151, 215, 237
— сочувствие панславизму 216
— спор с западниками 413—416
— университетская, доктринерская партия с. 241—243
(см. Личность, Мистицизм, Социализм)
Слова
— необходимы как знаки, это стропилы, вехи по дороге к

истине, а не сама истина 333
Случайность (случайное) 72
— в природе и истории 260
(см. Необходимость)
Смерть 293, 419, 553
— определение 94
— вовсе не лежит в понятии живого организма, она вне его, за его пределом 387
— насильственна 387
— с теологической точки зрения 419
— форм гражданственности 95
— и жизнь 486
(см. Личность, Христианство)
Собственность 265, 445, 446, 487, 490, 505, 509
— коллективная 533, 539
— личная и общинная 170, 556,
— поземельная 513, 539
— безусловное право (право) 394, 497, 532
— отрицание с.— само по себе бессмыслица 539
— религия 556
— *управление* 556
(см. Личность, Мещанство, Общинное владение, Человек)
Совершеннолетие (совершеннолетние) 109, 183, 186, 209, 239, 323, 531
— как ровное, тихое развитие 396
— право 300
— большинства — главное условие выхода из государства 545
— народа 449
(см. Мещанство)
Совесть 477
(см. Противуречия)
Сознание 318, 528
— есть la résultante организма, а не внесено в него 555
— является следствием длинного ряда позабытых им предшествующих поступков 526
— животное 554
— народное (народа) 10, 534
— основанное на опыте 526
— история развития 446
— идет прямым путем 499
— свободы 527
(см. Досуг, Природа, Противуречие)
Социализм (социалист, социалисты) 45, 62, 89, 111, 116, 147, 153, 168, 230, 231, 300, 362, 391, 396, 415, 444, 447, 448, 450, 451, 465, 466, 468, 469, 471, 477, 488, 497, 498, 505, 511, 513, 535
— бытовой 445
— западный 494
— православный с. славянофилов 490
— *русский*, тот, который идет от земли и крестьянского быта 493, 494
— начало 288
— общая теория 495
— сен-симонизм 147, 519
— сен-симонизм и фурьеризм — наиболее восторженные, юношеские фазы с. 509
— и политика 449
(см. Община, Отрицание, Цивилизация)
Социология 538
— отвлеченная 496
— и физиология 526—528
— и человек 526, 527
Софисты 193
Справедливость 444, 502
— экономическая 494
Стоицизм 387
Страдание (страдания) 14, 494, 531
— это вызов на борьбу, это сторожевой крик жизни 15

— всегда достигают уровня надежд 50
— всегда сопровождают необыкновенное развитие 73
Страх 156, 295, 297, 324, 343, 344
Схоластика (схоластики) 195
— средневековые 193
— мешает пониманью 374

Тело (тела) 326, 329, 332
(см. также Вещество)

Фатализм 317, 542, 558
— естествоиспытателей 297
— о личностях 316
(см. Религия)
Философия 529, 553
— немецкая (германская) 143, 189, 190
Гегеля 193, 194
ф. Гегеля — алгебра революции 195
(см. Диалектика)
— римская 22
— и религия 199
(см. Музыка)
Философы 21, 113
— римские и христиане 549
Фурьеризм см. Социализм

Христианство (мир христианский, христиане) 60, 62, 275, 362, 417, 432, 507, 547
— полная апотеоза смерти 197
— религия противоречий 103
— и Реформация 394
— и языческий (древний, римский) мир (и Рим, и римские консерваторы) 29, 45, 61, 79, 85, 100, 111, 115, 116, 258, 366, 386, 387, 389, 418

Церковь 303, 395, 517, 523, 544
— англиканская 371
— восточная 140
— новообрядческая 410, 411
(см. Государство, Противуречия)
Цивилизация (цивилизации, форма гражданственности, гражданская форма) 17, 19, 20, 42, 43, 51, 64, 99, 141, 156, 168, 258, 297, 356, 382, 402, 403, 455, 459, 461—464, 469, 471, 475, 505, 507, 544, 547, 556
— бесконечна, как мысль, как искусство 23
— высшее усилие, венец эпохи 22
— изменяемость ф. гр. 41
— не гибнут, пока род человеческий продолжает жить без совершенного перерыва 22
— городская 349
— римская (ц. Рима) 22
и варварство 23
— традиционная ц. как следствие человеческого общежития и исторического развития 528
— самоотрицание европейской ц. в социализме 170
Человек (люди) 14, 26, 33, 75, 146, 304, 315, 455, 460, 537, 557
— как нравственное существо, то есть существо общественное и обладающее свободой 527
— как деятель в мире истории 51
— как принадлежность собственности 266
— суду не подлежит, а *воспитанию — очень* (у Оуэна) 294
— творческая натура 61
— великие (гений) 27, 28
— свободный 96, 97, 100, 107, 529, 530
— зависимость от среды, эпохи 98
— нравственная независимость 98
— отношение к почве 555
— положение в истории 316

— права 443, 446
— самобытность ч. не есть еще вражда с обществом 98
— стремление л. к более гармоническому быту совершенно естественно 319
— своей культурой развил растительные и животные виды 385
— и государство 140
— и дело 102
— и жизнь 29
— и истина 459
— и мир животных (и животные) 80, 485
— и общество (общественное устройство) 99, 295
— и природа 17, 52, 316
— и собственность 511
— и церковь 140
(см. Действие, Пониманье, Права, Социология)
Человечество (род человеческий) 27, 28, 46, 53, 100, 113, 155, 164, 184, 261, 262, 299, 300, 378, 457, 536
— несовершеннолетний 363
(см. История, Любовь, Наука, Природа, Прогресс, Обычай)

Эгоизм (эгоисты, индивидуализм) 105
— как дурная привычка у моралистов 106
— как основная стихия жизни человеческой 106
— Гёте, Байрона 360
— и братство — эти два неотъемлемые начала жизни человеческой 106, 107
Эклектизм 110
— социальный и политический 506
Энциклопедисты 517
Эстетика 528

СОДЕРЖАНИЕ

С того берега 3
О развитии революционных идей в России 118
V. Литература и общественное мнение после 14 декабря 1825 года . . . . . —
VI. Московский панславизм и русский европеизм 138
Русский народ и социализм 154
Былое и думы 183
Глава XXV . . . . . —
Глава XXX. Не наши 215
Глава XXXII 248
Западные арабески. Тетрадь вторая 257
Прибавление. Джон Стюарт Милль и его книга «On Liberty» 271
[Глава IX]. Роберт Оуэн 281
Опыты бесед с молодыми людьми 322
Ответ русской даме 334
Разговоры с детьми 340
Концы и начала 347
Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ 408
Письма к противнику 413
Письма к путешественнику 434
Порядок торжествует! 470
Prolegomena 500
[Письмо о свободе воли] 526
К старому товарищу 531
[Из переписки] 548
Примечания 559
Указатель имен 614
Указатель мифологических и литературных персонажей 637
Предметный указатель 641

Герцен А. И.

Г41 Сочинения в 2-х т.: Т. 2/Редкол.: М. Б. Митин (пред.) и др.; Общ. ред. А. И. Володина, З. В. Смирновой; Сост., авт. примеч. З. В. Смирнова.— М.: Мысль, 1986.— 654 с., 1 л. портр.— (Филос. наследие).— В надзаг.: АН СССР. Ин-т философии.

В пер.: 3 р. 10 к.

Во 2-й том Сочинений русского философа-материалиста, революционного демократа входят работы 1848—1870 гг.: «С того берега», «Русский народ и социализм», «Концы и начала» и другие.

Для специалистов-философов, преподавателей, аспирантов, студентов.

Г $\frac{0302010000\text{-}028}{004(01)\text{-}86}$ подписное

ББК 87.3(2)
ІФС

Александр Иванович Герцен

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

Том 2

Заведующая редакцией *Л. В. Литвинова*
Редактор *В. Г. Сукач*
Младший редактор *С. О. Крыштановская*
Оформление серии художника *В. В. Максина*
Художественный редактор *С. М. Полесицкая*
Технический редактор *В. Н. Корнилова*
Корректор *Т. М. Шпиленко*

ИБ № 2727

Сдано в набор 10.12.84. Подписано в печать 18.11.85. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Обыкн. нов. гарн. Высокая печать. Усл. печатных листов 34,54 (с вкл.). Усл. кр.-отт. 34,47. Учетно-издательских листов 42,21 (с вкл.). Тираж 45 000 экз. Заказ 1749. Цена 3 р. 10 к.

Издательство «Мысль».
117071. Москва, В-71, Ленинский проспект, 15.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136. Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.